

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

**14
ДЕКАБРЯ
1825
ГОДА
и его
ИСТОЛКОВАТЕЛИ**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

14
ДЕКАБРЯ
1825
ГОДА
и его
ИСТОЛКОВАТЕЛИ
(ГЕРЦЕН и ОГАРЕВ
против барона
КОРФА)



МОСКВА "НАУКА"

1994

Издание подготовлено
д.и.н. Е.Л.Рудницкой, д.и.н. А.Г. Тартаковским

Ответственный редактор
Е.Л. Рудницкая

Рецензенты
доктор исторических наук В.А. Дьяков,
доктор исторических наук М.А.Рахматуллин

14 декабря 1825 года и его истолкователи (Герцен и Огарев
Ч54 против барона Корфа). – М.: Наука, 1994. 455 с.
ISBN 5–02–009774–8

Публикация продолжает воспроизведение исторической серии Вольной русской типографии. В ее основе лежит “14 декабря 1825 года и император Николай. Издано редакцией “Полярной звезды” по поводу книги барона Корфа” (Лондон, 1858) и “Восшествие на престол императора Николая I-го” (СПб., 1857). Кроме этих двух библиографических раритетов издание включает “Записки” Николая I, его пометы на полях рукописей и книги Корфа, ответы Корфа на критику Герцена и Огарева и другие материалы. Таким образом, читатель получит целостный документальный комплекс о междуцарствии и восстании декабристов 14 декабря 1825 года.

Для историков, филологов, преподавателей.

ч 0503010000 – 200 48 – I полугодие 1994
042(02) 94

ББК 63.3(2)4

ISBN 5–02–009774–8

© Е.Л. Рудницкая, А.Г. Тартаковский,
вступительная статья, комментарии, 1994
© Российская академия наук, 1994

ОТ РЕДАКТОРА*

Декабризм, несомненно, одна из притягательнейших тем отечественной истории. Особенно с начала XX в. она привлекает пристальное внимание исследователей. Обилие введенных в научный оборот документальных источников, масса литературы могут создать впечатление об исследовательской исчерпанности темы. Но это ошибочно. В силу самой ее значительности – начало революционного процесса в России – тема декабризма, его трактовка не могли не испытывать на себе идеологического прессинга.

Идейная схватка вокруг декабризма развернулась буквально по свежим следам трагических событий 14 декабря 1825 г. Уже в ночь с 14 на 15 декабря, когда в Зимний дворец на допрос к императору (так начал свое царствование Николай I) стали доставлять первых захваченных офицеров, чьи части вышли на Сенатскую площадь, стала твориться история декабризма. Ее официальная версия нашла свое выражение уже в первых же правительственных сообщениях о происшедших событиях, а затем в итоговых документах следствия и суда над декабристами. Именно эта линия положила начало историографической традиции, которая получила свое концепционное и фактологическое закрепление в книге барона М.А. Корфа “Восшествие на престол императора Николая I-го”.

Книга будировала оформление другой, революционной концепции декабризма, начало которой было ранее положено А.И. Герценом и Н.П. Огаревым, и получила свое развернутое изложение в их книге “14 декабря 1825 и император Николай”, направленной против сочинения Корфа. Так начался спор вокруг декабристов. И, казалось бы завершенный, он вновь исподволь пробивается в современной отечественной историографии. Именно в его дальнейшем прояснении – цель настоящего издания. Вместе с тем оно продолжает и завершает многолетнюю работу по републикации и изучению ценнейших изданий учрежденной Герценом в 1853 г. в Лондоне Вольной русской типографии, давно ставших библиографическими раритетами (в отличие от всех предыдущих изданий данной серии книги “14 декабря 1825 и император Николай” и “Восшествие на престол императора Николая I-го” воспроизводятся не факсимильно, а путем набора). Замысел возможно полного переиздания всего вышедшего из-под типографского станка Герцена принадлежал М.В. Нечкиной, и его реализация должна быть отмечена не только в плане создания источниковой основы для изучения русской общественной мысли, но и как примечательное явление нашей культуры. Нельзя не сказать и о значительном вкладе в исполнение этого замысла Н.Я. Эй-

* © Е.Л. Рудницкая

дельмана, участвовавшего в подготовке почти всех публикаций, а в ряде случаев выступившего в качестве единственного их комментатора.

Данная, итоговая публикация, сложная по своему составу, что обусловлено тем идейным смыслом, который в нее вложен. По существу он созвучен замыслу Герцена, когда им были соединены в конволюте “А. Радищев – М. Щербатов” два диаметрально противоположных по своему политическому смыслу произведения: “О повреждении нравов в России” и “Путешествие из Петербурга в Москву”. Отнюдь не допуская идейной аналогии в столкновении двух позиций, Корфа и издателей “Полярной звезды”, чьим назначением было поднять традицию декабристов, мы полагаем, что совместная публикация книг дает возможность, вернувшись к истокам, обрести более адекватное понимание историографических традиций и в конечном счете самого декабризма, понимания, свободного от идеологических шор и политической конъюнктуры.

Кроме этих двух книг, в издание включены в качестве дополнения материалы, возникшие главным образом в связи с появлением книги Корфа, замечания Николая I на его труд, воспоминания великого князя Михаила Павловича, документы, запечатлевшие реакцию Корфа на выступления против него Вольной русской прессы, а также некоторые наиболее развернутые отклики на его сочинение самих декабристов (А.Н. Сутгофа, С.П. Трубецкого).

Тексты публикуемых книг и документов даются по современной орфографии, но с сохранением некоторых типичных для эпохи особенностей правописания. Текстологическая работа с публикуемыми в настоящем издании архивными рукописями проведена А.Г. Тартаковским. В их сверке принимала участие И.В. Ружицкая. Именной аннотированный указатель составлен Л.С. Новоселовой-Чурсиной, которой выполнена работа и по подготовке рукописи к печати.

Е. Рудницкая

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТЬ И КНИГА БАРОНА КОРФА*

1 января 1858 г. в Лондоне вышла книга «14 декабря 1825 и император Николай. Издано редакцией “Полярной звезды”. По поводу книги барона Корфа». Само название несло в себе полемический вызов книге статс-секретаря барона М.А. Корфа “Восшествие на престол императора Николая I-го”, отпечатанной в Петербурге “по высочайшему повелению” в типографии императорской канцелярии и ставшей известной публике в конце лета 1857 г.

Было бы ошибкой ограничить смысл выступления издателей “Полярной звезды” А.И. Герцена и Н.П. Огарева столкновением независимых литераторов и правительственного историографа в оценке событий, связанных с началом царствования Николая I.

Книге “14 декабря 1825 и император Николай” принадлежит особое место в истории русского свободомыслия. Она преломила в себе осмысление двух моментов истории России, которые могли бы определить весь дальнейший ход развития страны: восстание на Сенатской площади 1825 г. и вступление правительства на путь реформ в 1857 г. Два русских человека, духовное становление которых получило решающий импульс от драматических событий 14 декабря 1825 г., размышляют над их значением для русского самосознания, над их соотношением с новой фазой истории своего отечества.

Проблема революции и реформы – центральная в этой книге. Она ставится не столько в политическом ее аспекте, сколько в плане постижения феномена исторического пути России. Эти размышления включают в себя и понимание традиции, преемственности в общественном движении, его ведущих сил, соотношение национальной самобытности и цивилизации в ее европейском содержании, характера воздействия западной мысли и исторического опыта европейских народов на русскую общественную мысль.

Книга, вышедшая в Вольной типографии, и сочинение, созданное по воле монарха, в своем противостоянии положили начало историческому осмыслению и оценке первой в истории России революционной попытки изменить ее политический и социальный облик. Столкновение непримиримых позиций первых толкователей 14 декабря 1825 г. как бы включает в себе модель всей его последующей историографии. Попробуем объективно оценить с позиций нашего современного исторического видения эту начальную завязь спора о путях русского развития.

Критическая оценка книги, изданной Герценом и Огаревым, невозможна без обращения к истории сочинения самого Корфа и предварительного краткого знакомства с самим автором.

* © Е.Л. Рудницкая, А.Г. Тартаковский

РОЖДЕНИЕ ЗАМЫСЛА

Не только прилежание, благонравие и тщеславие отличали барона Модеста Андреевича Корфа, как это запомнилось его однокашникам – воспитанникам первого выпуска Царскосельского лицея. Корф, несомненно, был наделен незаурядными деловыми качествами, столь необходимыми для чиновника, успешно совершавшего государственную карьеру, – умением быстро схватывать существо предмета, обобщать и приводить в стройный порядок множество разнородных и противоречивых данных, четко и ясно излагать самые запутанные вопросы, обширной образованностью, особенно в области историко-юридических наук, наконец, громадной работоспособностью. Все это в сочетании с безукоризненной исполнительностью и благоговейной преданностью престолу и обеспечило Корфу восхождение на самые высоты государственного управления.

После окончания в 1817 г. лицея Корф был зачислен в Министерство юстиции и вскоре в Комиссию составления законов. С 1823 г. он определяется в Министерство финансов, а по воцарении Николая I, в 1826 г., переходит во II Отделение собственной е.и.в. канцелярии, которое фактически возглавлял возвращенный еще в 1821 г. в Петербург М.М. Сперанский. Под его началом Корф прослужил пять лет. Выделив Корфа среди других чиновников и высоко оценив его “золотое перо”, Сперанский увидел в нем своего будущего “наследника” на государственном поприще. “Барон Корф лучший наш работник”, – не раз говорил он окружающим и во всей последующей его судьбе сыграл едва ли не решающую роль. Сперанский, в частности, привлек Корфа к работе над двумя крупнейшими кодификационными трудами – 45-томным “Полным собранием законов Российской империи” и 15-томным “Сводом законов” (по словам самого Корфа, пять из них было создано непосредственно им).

Сперанский же обратил внимание Николая I на молодого способного чиновника, и именно по его рекомендации Корф был назначен в 1831 г. управляющим делами Комитета министров, в мае 1834 г. стал “статс-секретарем его величества”, а с декабря исправлял должность государственного секретаря (утвержден в ней в 1839 г.). “Вообще о бароне Корфе, – вспоминал В.В. Стасов, – сохранилась память как о самом блестящем после Сперанского и во всех отношениях выходившем из ряда вон государственном секретаре”. В 1843 г. Корф назначается членом Государственного совета. На этих постах он сближается с придворными кругами и царской семьей. Николай I одаривает Корфа своим расположением, назначает его правителем дел во всевозможные правительственные комитеты и поручает ему редактирование важнейших государственных актов. Постепенно он занимает положение незаменимого сотрудника царя, а потом и наследника престола, в будущем Александра II. “Это человек в наших правилах и смотрит на вещи с нашей точки зрения”, – отзывался о Корфе Николай I, и в этом он не ошибся.

В 1848 г., в разгар европейских революций, Корф входит в чрезвычайный (“Бутурлинский”) цензурный “Комитет 2 апреля”, созданный для “постоянного надзора за духом и направлений книгопечатаний” (в

1855 г., на закате деятельности Комитета, он исполняет обязанности и его председателя), в 1861 г. назначается главноуправляющим II Отделения собственной е.и.в. канцелярии, а в 1864–1872 гг. председательствует в Департаменте законов Государственного совета. Длительная и беспорочная служба Корфа не раз отмечалась царскими наградами, а в 1872 г., по выходе в отставку, он возводится в графское достоинство.

С октября 1849 по декабрь 1861 г. Корф состоял директором Императорской публичной библиотеки – эти годы были, пожалуй, самыми яркими и плодотворными на его служебном поприще, причем не только как администратора, но и как деятеля культурно-просветительского толка. При предшественниках Корфа это богатейшее книжное собрание было крайне запущенным, неустроенным и малопосещаемым заведением. “Едва вступив в управление библиотекой, – свидетельствовал работавший с Корфом В.В. Стасов, – он совершил ряд переворотов, сделавших из нее не только одно из самых наших великих, но и европейских учреждений”.

Пользуясь своими правительственными связями, Корф добился перевода библиотеки в ведение Министерства императорского двора, благодаря чему неизменно получал крупные средства на ее содержание. Он предпринял энергичные усилия по комплектованию ее фондов, пополнению их из многих частных собраний и закупки книг за рубежом, по их каталогизации и приведению в известность старых фондов, переустройству рукописного отдела с его ценнейшими памятниками средневековой и новой русской письменности, произведениями на древних, западных и восточных языках. Был основан отдел “Rossica”, с уникальной коллекцией иностранной литературы о России, демократизирован распорядок работы библиотеки, открыт доступ в нее широкому кругу посетителей. Корф организовал постоянные выставки рукописно-книжных и изобразительных раритетов, на базе которых читались “маленькие публичные курсы”, и всем этим заложил основы превращения возглавляемого им учреждения в подлинно публичную библиотеку с отчетливо выраженным научно-просветительским профилем. Один из ближайших сотрудников Корфа, известный русский писатель и философ В.Ф. Одоевский, вполне заслуженно называл его в этой связи “*воссоздателем*” Императорской публичной библиотеки” (курс. наш. – *Авт.*).

Корфу удалось собрать целую плеяду замечательных библиографов и архивистов, эрудитов в области древней и средневековой письменности, истории книжного дела и изобразительных искусств, внесших весомый вклад в “воссоздание” Публичной библиотеки и обогативших своими трудами русскую науку. И в первую очередь среди них надо назвать упомянутого выше В.В. Стасова – знаменитого в будущем художественного и музыкального критика, историка искусств, фольклора, археолога, только еще вступившего тогда на учено-просветительское поприще. С середины 1850-х годов Стасов становится штатным сотрудником художественного отдела Публичной библиотеки, занимается пополнением ее фондов книжными материалами и автографами писателей, музыкантов, художников, составлением каталога иностранных сочинений о России – излюбленного детища директора библиотеки. Корф всячески

поощрял литературно-искусствоведческие работы Стасова и популяризацию им в печати художественных сокровищ и новых приобретений библиотеки. Корф вообще по достоинству оценил его талант и разностороннюю образованность, его энтузиазм, энергию и поразительное трудолюбие, доверяя ему наиболее сложные и ответственные дела. Характерно, например, что когда в начале 1860-х годов Корф, покинув Публичную библиотеку, был назначен главноуправляющим II Отделением собственной е. и. и. канцелярии, то по выражению самого Стасова, он “перетащил” его туда для подготовки конфиденциальных политических записок.

В октябре 1856 г. Александр II поручает Корфу монументальный труд – собрание материалов для составления истории царствования Николая I, и уже в декабре, с согласия царя, Корф привлекает к этому Стасова, который зачисляется в специально образованную для того Комиссию и получает допуск к прежде мало доступным секретнейшим бумагам государственных архивов.

С тех пор Стасова и Корфа – даже после ухода последнего из Публичной библиотеки – связывает многолетнее сотрудничество в создании трудов по политической истории России XVIII – первой половины XIX в., готовившихся не только по заказу Александра II, но и по личной инициативе Корфа, главным образом для самого царя и придворных сфер. В рамках занятий Комиссии по составлению истории царствования Николая I ими вместе были подготовлены в течение 1857 г. начальные главы его биографии “Рождение и первые двадцать лет жизни (1797–1817)” и в 1860 г. “Обзор деятельности цензуры в царствование императора Николая I”. Благодаря их сотрудничеству был также написан и ряд других исторических сочинений, в том числе “Десять лет преобразований в России” (1866) и “История императора Иоанна Антоновича и его семейства”, известная еще под названием “Брауншвейгское семейство” (1863–1865)¹.

Надо, вместе с тем, сказать, что относительно их атрибуции в литературе высказывались противоречивые и порою взаимоисключающие точки зрения. Представители официальной историографии конца XIX – начала XX в., а отдельные ученые и позднее, однозначно приписывали эти сочинения Корфу и даже публиковали их под его именем, да к тому же и при жизни Стасова, но его имя вовсе при том не называлось; биографы же Стасова и специалисты по истории XVIII в. объявляли только его их единственным автором, отрицая причастность к ним Корфа. Дело осложнялось также и тем, что еще в годы жизни Стасова некоторые из указанных выше сочинений публиковались вообще анонимно². Справедливости ради, заметим, однако, что сам Корф основное участие в создании этих трудов отводил Стасову. Так, в ходе подготовки “Брауншвейгского семейства” Корф писал ему: “прекрасной этой работой Вы поистине сооружаете себе памятник [...] я не могу не радоваться тому, что эта трудная задача выполнена именно Вами”, а в связи с представлением завершенной рукописи Александру II сообщал Стасову: “я не упустил возобновить в памяти его величества имени истинного автора этой работы”. Свою же роль в написании труда о Брауншвейгском семействе

Корф оценивал более чем скромно, обронив в одном из писем к Стасову фразу: “личное мое участие ограничивалось почти только тем, что я постоянно им любовался”. Однако эти самоуничижительные отзывы, продиктованные, видимо, литературно-научной щепетильностью Корфа и особым расположением к своему младшему сотруднику, ни в коей мере не могут умалять его собственного вклада в создание этого сочинения. Ибо сохранившиеся документальные материалы о его подготовке и прежде всего автографы и авторизованные копии, равно как и переписка Корфа со Стасовым за 1863–1865 гг., неопровержимо свидетельствуют о том, что оно явилось плодом их совместной авторской работы, причем раскрывается сама ее “технология”.

Корф определял “общий тон” повествования, концепцию, характер истолкования отдельных событий, рекомендовал к включению конкретные данные по тем или иным сюжетам. Стасов же занимался сбором печатных и рукописных источников (в том числе и в архиве Тайной канцелярии), хотя иногда Корф предоставлял ему неизвестные документы и подсказывал направление их поисков. Стасову принадлежал и весь черновой труд по подготовке по главам первоначального варианта рукописи, поступающей к Корфу, который вносил в нее свои дополнения, иногда очень существенные, в виде целых “тетрадей”, сокращал и редактировал текст, предлагал перемены в его композиции и новые формулировки. В случае одобрения всех этих изменений Стасовым и переделки им рукописи она переписывалась и уже в окончательно отделанном виде Корф представлял ее Александру II. Таким же, примерно, способом составлялись и некоторые другие исторические сочинения Корфа и Стасова.

К сказанному об их учено-литературном сотрудничестве следует добавить, что даже широко известный как единолично-авторский труд Корфа – двухтомное жизнеописание Сперанского – также создавался при активном содействии Стасова. По указанию весьма осведомленного историка Публичной библиотеки, если Ф.В. Одоевский и А.Ф. Бычков помогали Корфу в разыскании материалов и чтении корректур, то “в изложении текстов главное участие принимал Стасов”³.

Однако между ними установились не только прочные деловые, научные связи, но и взаимная привязанность, перешедшая в личную дружбу. В некрологе Корфу Стасов писал, что, будучи “постоянным свидетелем его кипучей деятельности, давшей столько плодотворных результатов для нашего отечества”, “был также удостоен в продолжении многих лет интимных отношений с ним, изустно и на письме”. В другой своей статье он счел долгом помянуть “гуманную, симпатичную личность барона Корфа, представлявшего такое светлое и блестящее исключение среди общего бюрократического нашего мира прежнего времени”. Кончина Корфа в январе 1876 г. глубоко потрясла Стасова (“эта смерть почти неожиданная, порядочно меня сверзила”, – признавался он в письме к сестре) и он задумал составить его подробную биографию: “кому и писать про Корфа, как не мне?! Никто его, конечно, так не знал и не ценил, как я. Да я же и был при нем целых 20 лет”! Стасов выхлопотал у Александра II разрешение на занятия в архивах высших государственных

учреждений России, где десятилетиями протекала деятельность Корфа. посмертно разбирал его личные бумаги, разыскивал биографические сведения у его родственников, однако, замысел этот остался неосуществленным. Память о Корфе Стасов неизменно чтит до конца дней своих. Когда в 1895 г. тяжело заболел бывший сподвижник Корфа, директор Публичной библиотеки А.Ф. Бычков, В.В. Стасов писал брату: “случись с ним теперь катастрофа, это было бы величайшее несчастье для Библиотеки [...] все-таки он *последний* из школы барона Корфа, и с ним прекращается все, что тот начал, выдумал и затеял”⁴.

В свете всего этого – и тут мы забегаем несколько вперед по ходу нашего повествования – должно отметить еще одно немаловажное обстоятельство, проясняющее тот биографический и психологический фон, на котором разворачивалась в 1857–1858 гг. полемика с Корфом лондонских изгнанников по поводу выхода из печати “Восшествия на престол императора Николая I-го”. Нетривиальность ситуации заключалась в том, что при столь близких личных и деловых отношениях Стасова с Корфом, завязавшихся как раз в те самые годы (из дальнейшего изложения будет видно, что совпадение ими начальных глав биографии Николая I хронологически совпало и теснейшим образом переплелось с подготовкой Корфом к изданию помянутой выше книги), он, Стасов был вместе с тем человеком духовно довольно близким к его едва ли не главному тогда антагонисту – Герцену.

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что среди своих русских современников Стасов был одним из самых ревностных почитателей творчества Герцена. В то же время он – и не менее заинтересованный читатель изданий Вольной русской типографии в Лондоне, непосредственно связанный с герценовским кругом. В конце 1850-х – начале 1860-х годов Стасов внимательно следит за проникавшими в Россию листами “Колокола”, особенно за теми из них, где помещались статьи Герцена, и бережно хранит их у себя. Возмущенный решением правительственных властей о переводе в 1861 г. Румянцевского Музея из Петербурга в Москву, чему он активно противодействовал, Стасов собирался даже написать об этом обличительную статью и отправить ее к Герцену для публикации в “Колоколе”. Одним из его корреспондентов был родной брат Стасова – Дмитрий Васильевич, юрист и общественный деятель, летом 1859 г. негласно посетивший Герцена в Фулеме. А три года спустя сам Стасов во время поездки в Лондон на Всемирную выставку неоднократно встречался с Герценом, но тайный агент III Отделения, наблюдавший за герценовским домом, выслеживает Стасова, наряду с другими его русскими посетителями, и при возвращении в Россию он подвергается на границе допросу и обыску. Много лет спустя, вспоминая, как в Лондоне он “вечерно все проводил у Герцена,” Стасов писал: “Я был тогда в него все равно что влюблен [...] Герцен тоже меня очень любил и говорил он, *ценил высоко*”. Уже к началу 1860-х годов Герцен был для Стасова “одним из гениальнейших писателей нашего времени”, и, плененный его даром художника-публициста и глубоко неординарного мыслителя, он, с чрезмерным даже пристрастием, ставил его – наравне с Л. Толстым – “выше

всех писателей в России [...] Даже выше и гораздо, чем Пушкин и сам Гоголь”⁵.

На этом примере мы лишний раз убеждаемся в том, сколь сложными, причудливыми, можно сказать, диффузными были личные и идейные взаимоотношения людей той эпохи, не поддающиеся адекватному пониманию, если смотреть на них сквозь призму распространенных в нашей недавней историографии прямолинейно-ортодоксальных представлений.

Представление о Корфе было бы неполным, если бы мы не сказали несколько слов о позиции, занятой им в политической жизни страны второй половины 1850-х – начала 1860-х г. В эпоху общественно-демократического подъема, наступившего после смерти Николая I, когда Александр II все более склонялся к реформаторскому курсу, Корф, как и некоторые другие просвещенные сановники прежнего царствования, примкнул к либеральной бюрократии, включившейся в подготовку буржуазных реформ – разумеется, в тех пределах, которые допускались их достаточно консервативными убеждениями и волей нового царя. Еще в конце 1855 г. по докладу Корфа был упразднен чрезвычайный цензурный комитет, что заметно облегчило положение русской печати после семи лет “цензурного терроризма”. В 1857 – начале 1858 г. он входил в Секретный комитет по крестьянскому делу, с которого и началось на правительственном уровне обсуждение условий освобождения крестьян в России. По своему должностному положению руководителя высших законодательно-юридических учреждений Корф был причастен к подготовке Судебной реформы 1864 г., но венцом его реформаторских усилий явилось участие в подготовке Земской реформы. При рассмотрении ее проекта в Государственном совете Корф как главноуправляющий II Отделения собственной е.и.в. канцелярии представил специальную записку, в которой выступил за большую самостоятельность земств, расширение сферы их компетенции и их независимость от правительственной администрации, в том числе и губернской, за устранение сословного начала при земских выборах, улучшение условий крестьянского представительства и т.д. Записка Корфа была учтена в окончательной редакции проекта и в целом, немало способствовала последовательному внедрению либерально-буржуазных принципов в организацию местного управления пореформенной России. “По глубине своего содержания, – отзывался о записке историк земской реформы, – она имеет выдающееся значение среди всего того, что было когда-либо написано о земских учреждениях. Опытный администратор и тонкий юрист, граф Корф предвосхитил выводы государственной теории самоуправления”, получившей “права гражданства” уже в последующую историческую эпоху⁶.

Но вернемся в ту эпоху, когда Корф работал над книгой о междоусобице и 14 декабря 1825 г. Ее подготовка запечатлелась в большом комплексе документальных материалов, сохранившихся донныне в архивах. Вместе с тем яркий свет на долгую и сложную историю создания книги проливает личный дневник Корфа, который систематически велся им с 1838 по 1852 г. (первые отрывочные записи относятся еще к 1820 -м годам⁷).

Даже на фоне богатейшей мемуаристики XIX в. этот дневник представляет собой уникальное явление. Острый глаз, цепкая память, обстоятельность и пунктуальность позволили Корфу, несмотря на сухость языка, создать насыщенную картину жизни сановного николаевского Петербурга. Придворная, светская круговерть, тщательно фиксируемая осведомленным наблюдателем, который знал не только официальную, но и личную подоплеку, двигавшую поступками описываемых им людей, делает дневник Корфа кладезем ценнейших сведений. Поразительна его эрудиция в отношении фамильных связей и биографий своих современников. За записями Корфа чувствуется несомненный самоконтроль, но и при преобладающем тоне внешней бесстрастности в них прорываются личные ревнивые и обличительные характеристики своих высокопоставленных коллег. Написанный в подчеркнуто верноподданническом тоне, с явной ориентацией на возможную посмертную публикацию, дневник Корфа ценен для историка необозримым богатством фактов, сообщаемых сразу же по следам событий с исключительной педантичностью. В этом событийном потоке среди описаний придворных церемоний, приемов, функционирования высших государственных учреждений, личных контактов автора, в том числе и с членами императорской фамилии, можно вычленить множество последовательно освещаемых сюжетов.

Корф хорошо понимал ценность своего дневника. Это обстоятельство, а также авторское честолюбие побудили его уже в последние годы жизни сделать дневник достоянием читающей публики еще и не в самом отдаленном будущем. О характере замысла он рассказал в предисловии к подготовленной публикации: «Настоящие тетради содержат в себе выборку из дневника, веденного мною с 1838-го по 1852-й год, и нескольких немногих заметок моих за предыдущие годы. Многое из виденного и слышанного из прошлого и прочувствованного я тотчас клал на бумагу. Представленные здесь извлечения из него имеют характер и форму лишь отрывков. Впрочем, они и не вполне передают его содержание. Для многого еще не наступило время гласности... В полном своем составе заветные мои тетради могут, по самому их назначению, развернуться тогда только, когда уже давно не будет ни меня, ни людей моей эпохи с давнишними их страстями». Сопоставление публикации, осуществленной в «Русской старине» через 23 года после смерти Корфа под названием «Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа»⁸, с изначальным текстом дневника полностью подтверждает точность приведенной выше характеристики. Это касается и записей, связанных с подготовкой книги «Восшествие на престол императора Николая I-го».

Есть еще один важный источник для реконструкции ее истории. Осенью 1857 г. в связи с нападками на него Вольной русской печати Корф пишет обширнейшую, на 132 листа, *in folio* «Историческую записку о происхождении и издании книги «Восшествие на престол императора Николая I»». Основанная на дневнике, она вместе с тем содержит ряд ценных данных, отсутствующих в нем и существенно обогащающих наши представления о происхождении этого труда Корфа⁹.

Еще в 1847 г. Николай I поручил Корфу прочесть курс правоуказания великому князю Константину Николаевичу. В ходе этих занятий возникла записка об истории самодержавия в России. Заключительный ее раздел, где речь шла о вступлении на престол Николая I, и натолкнул непосредственно на мысль о создании исторического труда, посвященного этому событию.

Надо здесь сказать, что вкус к серьезным занятиям историей проявился у Корфа еще задолго до того. Преимущественной сферой его исторических интересов стала “новая” Россия – от начала XVIII в. до близких к современности десятилетий, т.е. тот же “императорский” период русской истории, который с 1850-х годов оказывается и в центре историко-публицистических интересов Герцена и Огарева. Выше мы уже коснулись историографической деятельности Корфа применительно к этому периоду в связи с его сотрудничеством со Стасовым. Теперь добавим к тому еще несколько штрихов.

Еще в первые послелицейские годы Корф задумался целью составить “каталог иностранных книг, содержащих в себе сведения о России” – труд, продолженный им в последующем и в значительной мере подготовивший создание отдела “Rossica” в Публичной библиотеке. В этом отношении он был крупнейшим знатоком и не раз выступал в качестве авторитетного консультанта архивистов, публикаторов, историков. Когда Пушкин – лицейский однокашник Корфа – работал над “Историей Петра I”, то советовался с ним и, получив от него перечень иностранных сочинений о петровской эпохе, с благодарностью отвечал в октябре 1836 г.: “Вчерашнее письмо твое мне драгоценно во всех отношениях и останется у меня памятником. Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить. Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна [...] Какое поле – эта новейшая русская история! И как подумаешь, что оно вообще еще не обработано, и что кроме нас, русских, никто того не может и предпринять”. (Как видим, глубокая заинтересованность Пушкина в изучении “новой” и “новейшей” истории России совпадала с направленностью исторических интересов Корфа, и вряд ли такое совпадение случайно). С середины 1850-х годов Корф постоянно печатает в “Отечественных записках” и других журналах результаты своих совместных с сотрудниками Публичной библиотеки разысканий в данной области в виде подробных обзоров иностранных сочинений о России XVII – XIX в. Особо пристальный интерес Корфа, помимо петровского времени, вызывала запретная тогда, в сущности, для публики эпоха “Дворцовых переворотов” – напомним, что именно по его замыслу и плану было составлено историческое повествование о Брауншвейгском семействе. В 1842 г. по заданию Николая I Корф занялся разработкой истории Государственного совета, несколькими годами спустя задумал обширный труд о царствовании Александра I, использовав позднее выявленные при том исторические материалы для своей книги “Жизнь графа Сперанского”, а с конца 1856 г. возглавил, как мы уже отмечали, масштабные работы по истории царствования Николая I¹⁰.

Для нас, однако, важно иметь в виду, что начальный момент нового царствования – 14 декабря 1825 г. – также уже давно привлек пристальное внимание Корфа. Интерес был возбужден собственными впечатлениями памятного дня: как сказано в одной из записей Корфа за 1839 г., он “провел весь день 14 декабря 1825 года от полудня до 8-го часа вечера во дворце, видел и сам разделял общее смятение и ужас; видел ворвавшийся во дворцовый двор мятежный лейб-гренадерский полк и изгнание его оттуда саперным батальоном; находился при той торжественной минуте, когда по усмирении мятежа царь с царицею в придворной церкви в присутствии всего двора пали на колени и в сем смирении перед всевышним пробыли в продолжении всего благодарственного молебства... Эти минуты неизгладимы в моей памяти”. Чувство грозной опасности, нависшей над режимом, преломилось в нем как глубоко личное. Под датой “1826”, отражающей не момент записи, а время, которому она посвящена, Корф отметил, что князь Любецкий, в то время министр финансов Царства Польского, рассказал ему впоследствии, как, отъезжая тогда в Варшаву, он, угадывая желание Николая видеть Константина Павловича на коронации, предложил ему свое посредничество. По подсказке Николая Любецкий обратился к супруге Константина, княгине Лович. “Сильное ее влияние, – пишет Корф со слов Любецкого, – убедило великого князя неожиданным своим приездом в Москву обрадовать Государя и успокоить Россию”.

В дневнике за 1838 г. Корф пишет о ежегодном праздновании Николаем дня 14 декабря: он “считал всегда это число днем истинного своего восшествия на престол”. В этот день при дворе проходили благодарственные молебствия, царь посещал Конногвардейский и Преображенский полки, первыми прибывшие на Сенатскую площадь против восставших¹¹. К 1841 г. относится пространная запись, касающаяся осведомленности Николая в бытность его великим князем об отречении Константина и своих правах на престол¹². В 1843 г. Корф уже прямо пишет о необходимости вести записи событий царствования Николая I и выражает озабоченность тем, что “время утекает и до сих пор ничего не сделано, так что у государя остается всего только написанный им самим подробный рассказ о событиях и первых последствиях 14-го декабря 1825 года”¹³. Обратим внимание, что Корфу уже в то время был известен факт существования записок Николая.

Итак, побудительный толчок к созданию книги дали занятия Корфа с вел. кн. Константином Николаевичем. По заведенному порядку некоторые части своего курса, “когда дело касалось предметов сколько-нибудь щекотливых”, Корф представлял в рукописи царю. Так было с “Историческим очерком самодержавия в России”, так он предполагал поступить и с “Историческим очерком нашего престолонаследия”¹⁴. Ответственность темы требовала особой документальной оснащенности. В основу были положены прежде всего официальные источники: акты Государственного совета и Манифест Николая I о восшествии на престол от 14 декабря 1825 г., содержащий правительственную версию восстания. События 14 декабря трактовались исключительно как результат легкомысленного ув-

лечения революционными учениями Запада, а потому происшествие совершенно случайное, как “вспышка”, действие “злоумышленников”, только доказавшее неподверженность России “сей заразе”.

Эту схему надлежало облечь в плоть, придать ей фактическую убедительность. Началась целеустремленная и долгая работа Корфа по сбору материала “от свидетелей и деятелей событий дня 14-го декабря 1825 года” и междоусобицы. Уже в “Историческом очерке нашего престолонаследия” для изложения истории воцарения Николая I Корф заимствовал, по его словам, “из рассказов В. Князя Михаила П-ча и гр. Орлова и из записок моих по рассказам покойных гр. Сперанского и кн. А.Н. Голицына...”¹⁵. Так с самого начала определился круг лиц, оживлявших историю воцарения: члены императорской фамилии, ближайшее окружение Николая и высшая государственная элита.

Ввиду болезни Николая Корф вручил свой очерк о престолонаследии цесаревичу, вел. кн. Александру Николаевичу. Наследнику очерк понравился, он рассказал о нем царю, при этом, видимо, и было решено поручить Корфу создание специального труда о воцарении Николая I. На ближайшем занятии своего брата, 16 декабря 1847 г., наследник прочитал учителю и ученику рукопись записок Николая об этих событиях, а в начале января 1848 г. предложил Корфу составить “полный и отчетливый исторический рассказ”: “Все это, сведенное воедино, пополненное одно другим и настоящим образом редижированное, могло бы составить вещь чрезвычайно интересную. Эти события так важны, – продолжал наследник, – что не должны умереть для истории, и еще хуже было бы, если б их впоследствии исказили какими-нибудь вымыслами или неправильными толками”, и “ таким образом, – добавил он, – будет у нас самое достоверное целое, если не для современников, так, по крайней мере, для потомства”¹⁶. В дневнике за 6 января 1848 г. Корф отметил дальнейший ход беседы: «Потом наследник распространялся насчет главной идеи работы, ее плана, подробностей [...], указал мне главные источники для дополнения материалов, закончив так: “Мне не нужно просить, чтобы все это осталось совершенно между нами, доверяя вам, я доверяю как самому себе”»¹⁷.

Стало быть, главную роль в замышляемом предприятии играл вел. кн. Александр Николаевич, сосредоточивший в своих руках идейное и организационное руководство по созданию труда, возложенного на Корфа¹⁸. Любопытно, что сам Николай I считал этот труд прежде всего делом наследника. 20 февраля 1848 г. на балу у П.А. Клейнмихеля царь, ознакомившись с первоначальным его вариантом, сказал Корфу: “Я прочел [...] твою работу для Александра Николаевича”¹⁹.

Здесь уместно будет уточнить бытующее в литературе мнение о том, что порученный Корфу труд был будто бы призван противостоять европейским революциям 1848 г., послужив “одним из идеологических орудий реакции в борьбе против революционного движения”²⁰. На самом деле, замысел этого труда, возникший у наследника-цесаревича еще за полтора месяца до поступления в Петербург первых известий о февральских событиях во Франции²¹, с ними, разумеется, не был связан, а родил-

ся в недрах двора как акт исторического самосознания царской семьи. Создание книги Корфа диктовалось имманентной логикой упрочения николаевского режима и являлось в известной мере итогом исподволь творимой задолго до того в ее лоне (и в первую очередь самим Николаем I) версии его воцарения. Тем меньше оснований полагать, что книга Корфа уже в 1848 г. была якобы нацелена на то, чтобы “развенчать декабристов в глазах общественного мнения”²². М.В. Нечкина поставила даже под сомнение предназначенность книги в момент ее появления только узкому кругу августейших читателей, произвольно истолковав приведенные выше слова наследника-цесаревича Корфу с пожеланием избежать в его труде искажений и “неправильных толков”: слова эти, «конечно, не являются установкой для предполагавшегося “узкого” круга читателей из царского дома! Речь явно шла о широком круге читателей, о каком-то противоядии революционной декабристской традиции»²³.

Однако в конце 1840-х – начале 1850-х годов по самому характеру исторической обстановки речи обо всем этом идти еще не могло. Не говоря уже о том, что в общественном мнении России вопрос о декабристах впервые открыто, гласно встал лишь после их амнистии в августе 1856 г. Книга Корфа, как увидим далее, была предназначена тогда исключительно для членов правящей династии в качестве ее “семейной тайны” и сколько-нибудь широкого читателя, а тем паче общественного резонанса, естественно, не имела.

СЕКРЕТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Корф принялся за дело с необычайным рвением. В его распоряжение был предоставлен писарь. Спустя три дня работа продвинулась настолько, что Корф обращается к наследнику с вопросом, может ли он по частям, вчерне представлять ее на просмотр, и, получив согласие, уже 10 января вручает ему первую “порцию”. На протяжении нескольких дней состоялись три такие встречи, продолжавшиеся часа по два. Слушая чтение Корфа, наследник “тут же делал разные замечания и [...] исправления”²⁴. По мере переписки рукопись давалась по указанию наследника на просмотр участнику событий и члену Следственной комиссии по делу декабристов вел. кн. Михаилу Павловичу, “игравшему тут, – свидетельствует Корф, – большую роль”. И уже 21 января Корф записывает в дневнике: “Сегодня – ровно через пятнадцать суток от полученного мною поручения – я представил наследнику мою работу, окончательно исправленную и переписанную начисто, что составило 250 страниц довольно мелкого письма”²⁵. Перед этим Александр Николаевич одобрил составленный Корфом проект предисловия, вписав в него имя Корфа как автора труда. 11 февраля наследник сообщил Корфу, что государь прочел всю его работу и что “он сделал в ней некоторые перемены и дополнения”. При этом Николай выразил желание, чтобы работа Корфа была продолжена описанием событий в ночь с 14 на 15 декабря и самого 15-го числа. Однако это намерение осуществлено не было и к нему никогда больше не возвращались²⁶.

Интерес к 14 декабря 1825 г. был заслонен событиями не менее грозными и более животрепещущими. Царский двор был ошеломлен пришедшим в Петербург 21 февраля известием о Парижской революции, бегстве короля Людовика-Филиппа и провозглашением Французской республики. Однако еще перед этим рукопись по приказанию наследника была переправлена для “проверки и возможных еще дополнений” министру императорского двора графу В.Ф. Адлербергу, который, по словам Корфа, во времена описываемых событий был самым приближенным адъютантом Николая Павловича.

С унынием отмечал Корф утерю наследником всякого интереса к его труду. “До того ли теперь и Ему, и Государю? – записывает он 5 марта. – Это древняя история, у которой новейшие события отняли всякий интерес” и “обратили почти в личную, малозначущую биографию, в распластанную лужу перед бурей на океане!” Хотя “буря” февральской революции притушила интерес августейшей фамилии к уже отступившей в прошлое революционной угрозе у себя “дома”, Корф сделал все возможное, чтобы не дать ему угаснуть совсем. Он испрашивает у наследника позволения (и получает на то разрешение) передать рукопись “кроме Адлерберга еще Орлову, Кавелину и Василию Перовскому для возможных к ней добавлений из личных их воспоминаний. Тогда, по крайней мере, исчерпаны будут все уже источники”²⁷.

Однако выясняется, что свидетельствами бывших генерал-адъютантов Николая В.Ф. Адлерберга, А.Ф. Орлова²⁸, В.А. Перовского и А.А. Кавелина источники для пополнения рукописи не исчерпываются. Получив их замечания, Корф испрашивает у наследника 30 июня 1848 г. разрешение дать рукопись гр. П.Д. Киселеву и гр. Д.Н. Блудову и “кому-либо для прочтения” под свою ответственность²⁹. Продолжая разыскания, он извлекает новые детали из рассказов кн. П.П. Гагарина (в 1825 г. – обер-прокурор Общего собрания Московского департамента Сената), из рукописи истории лейб-гренадерского полка, составленной полковым адъютантом Пузановым. Побуждаемый просьбой наследника о предоставлении ему копии, Корф собственноручно переписывает всю рукопись, внося поправки и дополнения, сделанные Николаем, а также все остальные скопившиеся в его руках новые сведения: при этом “продолжались какие-нибудь починки и переделки”.

Эта работа была завершена 29 июля 1848 г. и в тот же день отправлена по назначению³⁰. “На этом, – пишет Корф в “Исторической записке”, – дело остановилось до глубокой осени 1848-го года”.

Дальнейшая судьба рукописи оказалась связанной с вмешательством вел. кн. Ольги Николаевны. По словам Корфа, великую княгиню отличал либеральный образ мыслей, усвоенный, вероятно, за годы жизни вне России (в 1846 г. она вышла замуж за герцога Виртембергского). Вскоре после своего приезда, в конце октября 1848 г., Ольга Николаевна приглашает к себе Корфа. Речь зашла о его труде, с которым она уже успела познакомиться, как и с книгой Н.Г. Устрялова “Историческое обозрение царствования императора Николая I (СПб., 1847) и изданным в том же году в Париже сочинением Шницлера “Histoire intime de la

Russie sous empereurs Alexandre et Nicolas”. Глава первая сочинения Устрялова – “Восшествие на престол” – занимала 12 страниц и представляла собой почти дословный пересказ высочайшего манифеста, опубликованного 22 декабря 1825 г. Литературным пересказом Донесения Следственной комиссии была книга Шницлера.

Конечно, труд Корфа несопоставим с этой казенной скорописью, ничего не прибавляющей ни с фактической стороны, ни в истолковании событий в целом. Ольга Николаевна высказала пожелание, чтобы он был напечатан хотя бы в ограниченном числе экземпляров, для членов царской фамилии. Эта мысль получила одобрение Николая I, и 2 декабря 1848 г. он распорядился, чтобы рукопись была отпечатана в типографии II Отделения императорской канцелярии в 25 экземплярах. Распоряжение должно было быть исполнено “в глубокой тайне” и под личным наблюдением Корфа. Специально оговаривалось, чтобы весь тираж был вручен в руки царю для “непосредственной от него раздачи кому он заблагорассудит”. Выход книги приурочивался к 23-летней годовщине 14 декабря. 13 декабря Корф передал все отпечатанные экземпляры наследнику престола. Книга была озаглавлена: “Историческое описание 14-го декабря 1825 года и предшедших ему событий” и содержала VII и 168 с. в 8-ю долю листа. В знак монаршей благодарности через два дня Корф был приглашен в Зимний дворец на обед к императору, а на следующий день – к цесаревичу. Здесь он получил в подарок печатный экземпляр своего сочинения и был осыпан комплиментами присутствовавших на обеде членов императорского дома.

Издание книги Корф отнюдь не воспринял как окончание дела. Эпоха “штурма и натиска”, потрясая легитимистскую Европу, требовала более глубокого обоснования правительственной версии событий 1825 г. Корф ясно осознавал потенциально охранительный смысл своего сочинения. В докладной записке на имя наследника, мотивируя намерение продолжить дальнейшие изыскания, Корф писал, что они должны “способствовать осуществлению Августейшей мысли Вашей: создать и сохранить для потомства достоверное и возможно полное изображение события, в котором так ярко ознаменовался могущественный милосердный дух монарха, так резко отделился наш образ действия от того, что мы видим теперь на преступном и гиблом западе”³¹.

Корф продолжал поиски новых материалов: “[...] Мне удалось разными случайными распросами собрать еще некоторые, дополнительные сведения об этом историческом событии, частью весьма любопытными...”³² Все свои дополнения к книге Корф по заведенному порядку представил наследнику, а тот – царю. Уже 19 февраля 1849 г. Корф записывает в дневник, что Александр Николаевич вернул их ему испещренными “отметками” Николая. “Отметки”, замечает Корф, были “частью довольно колкими, разумеется не на счет редактора, а на счет тех лиц, которых показания тут собраны”³³.

Корф получил разрешение дать книгу на прочтение генерал-адъютантам И.А. Сухозанету, Н.А. Исленеву, А.К. Геруа и П.Н. Игнатьеву, “более или менее участвовавшим в событиях этого дня”³⁴. Было реали-

зовано также соображение Корфа о желательности получить описание событий, происходивших в те дни в Москве, от митрополита Филарета, поскольку в книге они излагались лишь на основе рассказов А.Н. Голицына и П.П. Гагарина. Воспоминания Филарета были написаны им по просьбе наследника во время пребывания двора на пасхальных праздниках в Москве. Получены же они были в Петербурге только в ноябре 1849 г. и после прочтения Николаем переданы Корфу. Вопреки первоначальному замечанию наследника, что воспоминания Филарета “не содержат в себе ничего ни особенно важного, ни много нового”, Корф характеризует их как “вещь очень любопытную, которая составит важное дополнение к [...] истории 14 декабря”³⁵.

В этой записке, озаглавленной “Воспоминания, относящиеся к восшествию на престол Государя императора Николая Павловича”, по словам Корфа, совсем в ином виде, чем в его книге, описывались подробности составления Филаретом Манифеста 1823 г. и действий его по получении в Москве известия о кончине Александра I. Свидетельство Филарета вошло полностью в следующее издание книги, но, как пишет Корф, “в переименованной редакции, потому что в подлиннике оно написано каким-то полуприказным, полуцерковным языком в совершенную противоположность обычному красноречию проповедей замечательного нашего Иерарха”³⁶.

Тогда же наследник вручил Корфу найденный наконец рескрипт Константина П.В. Лопухину, а также открытый лист вел. кн. Михаилу Павловичу, написанный рукой Николая и подписанный императрицей-матерью, на право вскрытия пакетов, которые шли из Варшавы в Петербург (оба документа были обнаружены в бумагах Михаила Павловича после его смерти)³⁷.

Из своих собственных материалов о Сперанском Корф извлек копию письма вел. кн. Александра Павловича к графу В.П.Кочубею 1796 г. В конце февраля 1848 г. он представляет наследнику “извлечение из записок, оставшихся после покойных генерал-адъютантов графов Комаровского и Толя, любопытную записку графа Чернышева о происходившем в Таганроге после кончины Александра и еще две записки генерал-адъютантов Игнатьева и Сухозанета, относившиеся к тем же событиям”³⁸.

Между тем привычный ход работы Корфа над своим сочинением осложняется назначением его директором Публичной библиотеки, повлекшим за собой некоторое отдаление от двора³⁹. Это вызвало у Корфа двойственное чувство: с одной стороны, появлялась возможность более углубленных занятий историей, с другой – уязвлялись его честолюбивые устремления царедворца. Корф ревниво фиксирует в дневнике малейшие нюансы в отношении к нему царя и наследника. Крайне подобострастный тон всех его писем к наследнику, касающихся подготовки сочинения о 14 декабря, показывает, насколько он дорожил положением придворного историографа. С благоговением Корф отмечает знаки августейшей милости и признательности, с горечью – уменьшение интереса к его труду.

Так, еще в феврале 1849 г., когда он общался с наследником по поводу продолжения своих разысканий для дополнения вышедшей книги, он записывает: “Аудиенция была милостивой, но только в обыкновенном официальном смысле слова: по крайней мере, мне показалось, что не было той радушной, приятной теплоты, которая в прошлом году отличала отношения наследника ко мне. Пожатие руки, разумеется, было, но не было поцелуев, которыми прежде всегда почти оканчивались, а нередко и начинались наши свидания”⁴⁰. Огорчаясь, Корф тем не менее отнюдь не ослабил своего рвения. В результате количество вновь собранных документов оказалось столь значительным, что позволило ему уже в январе 1850 г. заявить наследнику о своем “намерении приготовить к будущему 14 декабря, т.е. к 25-летию этого дня, новое, со всеми собранными потом дополнениями, издание нашей работы”. “Edition revue et corrigée”, – отвечал наследник и более ничего насчет этой мысли не прибавил”, – записал Корф⁴¹. Но затем наступил длительный антракт.

Вновь вернуться к своей “заветной работе” Корф смог только в начале 1853 г. К тому времени у него в руках оказались опять новые документы. Через великих князей Николая и Михаила Николаевичей, которым по поручению царя он читал с конца 1851 г. курс законоведения, Корф получает от императрицы Александры Федоровны выписку из ее дневника о дне 14 декабря 1825 г., прокомментированную ему устно. Разного рода заметки он получил “от генерала Головина, графа Блудова (об участии Карамзина в проектировании манифеста 1825 г., что граф сам от него слышал), генералов Бибикова и Зальца и разных деятелей того дня...”⁴². (Перечень главнейших новых материалов, пополнивших первое издание, см. наст. изд., с. 212–213.)

По мере поступления в распоряжение Корфа этих материалов он, по заведенному порядку представлял их наследнику. В конце зимы 1853 г. Александр Николаевич высказал столь долгожданное для Корфа мнение о том, что при таком количестве дополнительно им собранного материала “выйдет почти новая книга”. А уже 18 марта Корф поднес цесаревичу окончательную, уже третью, считая с самого начала, ее редакцию, переписанную писцом. Экземпляр был вручен Николаю, хотя начинавшаяся война с Турцией отодвигала все на второй план. Тем не менее Николай не только прочитал рукопись, но и сделал в ней “разные поправки и поправки” (см. наст. изд., с. 351–354)⁴³. Таким образом, Николай трижды обращался к труду Корфа: замечания на первоначальную рукопись в 1848 г., на дополнения, представленные ему Корфом в феврале 1849 г., и, наконец, в марте 1853 г. на рукопись, подготовленную ко второму изданию со всеми новыми материалами и исправлениями.

Доработанная по замечаниям Николая книга была отпечатана в феврале 1854 г. вновь в 25 экземплярах и поднесена императору. Она имела теперь уже название “Четырнадцатое декабря 1825-го года”. Ее объем возрос до 250 страниц в том же формате в 8-ю долю листа. Справедливо, видимо, замечание Корфа о том, что вряд ли Николай раскрыл его сочи-

* Издание дополненное и исправленное (*фр.*).

нение: ему уже было не до того. Мрачное начало царствования перекрывал позор военного поражения.

Но Корф оставался неутомим. Уже 21 февраля 1855 г., через три дня после смерти Николая, он обращается с письмом к брату нового царя, вел. кн. Константину Николаевичу. Напоминая историю возникновения книги о 14 декабря 1825 г., он задается вопросом: “Не время ли теперь, в скорбные, посвященные воспоминаниям об усопшем нашем Благодетеле, часы, огласить эту новость перед целою Русью?” И тут же прилагал проект предисловия. Письмо было передано Александру II. Оно вернулось с резолюцией: “Теперь еще не время”.

Прошло полтора года, и, хотя в стране за это время многое изменилось, общество было взбудоражено либеральными ожиданиями, а верховная власть начала склоняться к реформаторскому курсу, Александр II продолжал оставаться на прежней своей позиции относительно книги Корфа, который в первые дни ноября 1856 г. опять попытался добиться ее обнародования. Представился следующий случай.

Незадолго до того французский историк и литератор А. Баллейде, собиравший в России материалы для биографии Николая I, попросил у Корфа экземпляр одного из “секретных” изданий его книги. Обеспокоенный тем, что Баллейде поспешит выпустить ее во Франции и “таким образом книга, удержанная до сих пор в тайне на русском языке, прежде всего сделается известною и России, и остальной Европе в иностранном переводе”, Корф полагал, что “неудобства сего можно бы избежать только или отказом г-ну Баллейде, или общенародным изданием упомянутой книги в русском подлиннике”⁴⁴. И с этим предложением через министра императорского двора В.Ф. Адлерберга он обратился к Александру II. Последний же, как свидетельствует Корф в “Исторической записке”, “не соизволил ни на сообщение барону Баллейде описания событий 14-го декабря 1825-го года, ни на издание оно” (т.е. книги Корфа) в России, ибо, по мнению царя, “описание это должно в целости войти в историю блаженной памяти императора Николая Павловича, для составления которой его Величество поручил мне собрать нужные материалы”⁴⁵.

Поручение же было возложено на Корфа царем, ценившим его услуги на поприще придворной историографии, всего за несколько недель перед тем. Ему предписывалось ни много ни мало как “собрать все факты и документы, могущие служить источниками для составления полной истории жизни и царствования” покойного императора, причем Корфу были открыты все “гласные и секретные” архивы с разрешением брать из них любые документы и реестры, которые понадобятся для работы. Речь шла, таким образом, о монументальном историческом труде, подготовка (а тем более издание) которого могла завершиться много лет спустя. (Достаточно сказать, что Корф занимался им до самой смерти, и представленные им в 1875 г. царю 92 тома материалов о Николае I так и не охватили всего его царствования⁴⁶.) Совершенно очевидно поэтому, что, пообещав Корфу в начале ноября 1856 г. включить его книгу о междуцарствии и 14 декабря в состав этого будущего труда, Александр II откладывал ее публикацию фактически на самое неопределенное время.

Прошло еще полгода.

С присущим ему старанием Корф принялся за порученный труд, к которому, как пишет в “Исторической записке”, “прилепился всеми силами моей души”, и уже в апреле 1857 г. представил Александру II “семь больших томов” с материалами к жизнеописанию Николая I, заключавшими в себе и выборку из дневников Корфа со сведениями о государственной деятельности императора. 17 апреля, в день своего рождения, Александр II удостоил Корфа “необыкновенно лестным рескриптом”, пожаловав ему бриллиантовый перстень, и, уже когда тот готов был откланяться, вдруг сказал: “Знаете ли, что мне кажется: что теперь наступило время обнародовать вашу 14-го декабря”. “Пораженный такою внезапностью”, Корф робко заметил, уместен ли будет этот шаг после помилования царем декабристов, поставившего как бы последнюю точку в отношении к ним правящей династии. На это Александр II возразил: “незачем хранить это более в тайне, да такое умолчание было бы даже и противно моей совести, потому что мне известны нелестные и превратные толки, ходящие об этом происшествии не только в Европе, но и в самой России [...] нужно же, наконец, чтобы история взяла свое [...] Я уверен, что это произведет благоприятное впечатление”. При этом Александр II распорядился, чтобы имена оставшихся в живых декабристов не упоминались в книге “для публики” (III Отделение представило об этом специальные справки), в остальном же ее не следовало подвергать каким-либо купорам и исправлениям: “tout cela de l’histoire”, – уверенно заявил царь⁴⁷.

Так излагает Корф обстоятельства, при которых царь повелел обнародовать книгу, в полуофициальной “Исторической записке”. Из докладной же записки Корфа Александру II от 14 апреля 1857 г. мы узнаем, что повеление это было дано не в торжественный для Александра II день, 17 апреля 1857 г., а на деловой аудиенции 13 апреля, когда он уже распорядился “приступить к напечатанию в общее сведение истории первого царственного дня Августейшего [...] родителя”⁴⁸.

Чем же была вызвана такая резкая перемена? Что побудило Александра II нарушить семейно-династическую тайну вокруг книги Корфа?

На первый взгляд можно было бы подумать, что поводом к тому послужили касавшиеся декабристов обличения царизма Вольной русской печатью в Лондоне. В самом деле, еще в 1851 г. вышли в свет французское и немецкое издания брошюры А.И. Герцена “О развитии революционных идей в России”, едва ли не центральное место в которых занимала апология декабризма в свете острой критики николаевского деспотизма. Тогда же, как выясняется из дневника Корфа, брошюра негласно распространялась и в России⁴⁹. Однако к 1857 г. интерес к ней, несомненно, потух, и для правительства никакой опасности она не представляла. По той же причине трудно согласиться и с тем, что “главным стимулом появления в печати книги М.А. Корфа” было желание правительства «противопоставить что-либо “Полярной звезде”, снявшей вето с истории декабристов»⁵⁰.

Публикации “Полярной звезды” о недавнем русском прошлом действительно доставляли царской власти и придворной аристократии немало неприятного. Однако первая и вторая книги альманаха, вышедшие в марте и мае 1856 г., материалов о декабристах почти не содержали, а если и касались их, то косвенно. Декабристская тема заметно заявляет о себе лишь с третьей книги “Полярной звезды”, изданной в Лондоне в середине апреля 1857 г.⁵¹ Понятно, что каким-либо образом подтолкнуть Александра II к обнародованию книги Корфа, к чему он склонился не позднее 13 апреля в Петербурге, это, конечно, не могло.

Решение царя на сей счет было инициировано тем, что в промежуток времени от начала ноября 1856 до середины апреля 1857 г. происходило вокруг декабристов и, главное – в связи с их появлением после амнистии в Европейской России. Ведь мотивируя в разговоре с Корфом решение издать его книгу “в общее сведение”, и Александр II акцентировал внимание, как мы помним, на необходимости парировать какие-то “превратные толки”, имевшие хождение именно в России.

Сам акт амнистии, объявленный в дни коронации нового императора, с которым связывались преобразовательные надежды, был воспринят, по словам Н.В. Басаргина, “как уступка общественному мнению”⁵², и дал мощный и явно непредвиденный правительством импульс спонтанному оживлению интереса и к самим декабристам, и к тому делу, ради которого они пострадали. В обстановке либерально-демократического подъема и приступа к крестьянской реформе воспрывшее от николаевского деспотизма общество естественно обратило свои сочувственные взоры к возвращавшимся после 30-летнего отсутствия ветеранам освободительного движения. Вокруг декабристов вновь возродилась тлевшая в глубинах общественного сознания устная легенда, представлявшая их в ореоле мученичества и героизма.

И хотя из 34 живших в Сибири декабристов с октября 1856 по апрель 1857 г. вернулось всего 10-12 человек, появление в центре России этой, в сущности, горстки старых, больных, измученных невзгодами, но полных духовных сил и нравственного обаяния людей стало событием крупного политического значения, которое само по себе явилось важным фактором предреформенной общественно-политической ситуации и нарастания оппозиционных настроений.

По пути из Сибири, в городах и на почтовых станциях декабристов приветствовала местная интеллигенция, восторженно смотрела на них военная и учащаяся молодежь, почтительным вниманием окружал их простой народ, а когда они потянулись в столицы (в конце 1856 – начале 1857 г. здесь уже были С.Г. Волконский, С.П. Трубецкой, М.И. Муравьев-Апостол, И.Д. Якушкин, Е.П. Оболенский, Г.С. Батеньков, Н.В. Басаргин, И.И. Пущин, В.И. Штейнгель), представители различных общественных кругов – от славянофилов до разночинцев – спешили засвидетельствовать им свое уважение. Декабристы открыто появлялись в московских салонах и гостиных, вступали в обсуждение животрепещущих вопросов, которые волновали тогда Россию, делились своими каторжными воспоминаниями, свободно высказывались по самым острым полити-

ческим темам, принимали, наконец, практическое участие в общественной жизни, включившись несколько позднее и в подготовку реформ⁵³.

Сочувственное внимание к декабристам обрело отчетливо выраженную антиправительственную окраску – и не в последнюю очередь благодаря тем ограничительным мерам, которыми царская администрация сопровождала провозглашение амнистии, например, запрещение селиться им в Москве и Петербурге, установление над ними полицейского надзора, что не могло не вызывать возмущение либеральной общест-венности⁵⁴.

Все это не на шутку встревожило верховную власть, и в первую оче-редь самого Александра II, который явился инициатором новых пресле-дований бывших “государственных преступников” под видом их неза-конного пребывания в Москве, и весьма симптоматично, что эти гонения непосредственно предшествовали апрельским разговорам царя с Кор-фом. 17 февраля 1857 г. шеф жандармов и начальник III Отделения В.А. Долгоруков сообщал Московскому генерал-губернатору А.А. Зак-ревскому: “До сведения государя императора дошло, что из лиц, по поли-тическим преступлениям находившихся в Сибири и прощенных в день св. коронации их Величества, некоторые, именно Муравьев-Апостол, Оболенский и Батеньков, проживают в Москве без разрешения и *позво-ляют себе входить в самые неприличные разговоры о царствующем порядке вещей* [...] Что же касается Трубецкого и Волконского, то они будто бы бывают в обществах с длинными седьми бородами и в пальто. Его величеству угодно знать, в какой степени слухи сии справедливы”.

В ответ же на заверение Закревского, что декабристы держат себя скромно и антиправительственных разговоров не ведут, Александр II с неумолимой жесткостью потребовал, чтобы “правила” о разрешении им жить в Москве “были исполнены в точности”, при этом предписывалось: “лицам, которым воспрещен въезд в столицы, не должно позволять жить в губерниях Московской и С.-Петербургской”⁵⁵. Отзываясь на царские распоряжения, сын декабриста И.Д. Якушкина – Е.И. Якушкин 30 марта 1857 г. из Москвы писал с недоумением И.И. Пущину: “Как наказание эти меры не имеют смысла после 30-летней ссылки в Сибирь, как предо-стережение они также непостижимы [...] Эта мера скорее может навре-дить правительству, чем невнимание к возвращенным. Вас ставят на пье-дестал [...] Разумеется, в городе говорят об этих строгостях, и вы можете сами понять, за кого общественное мнение”⁵⁶.

Теперь, думается нам, вполне очевидна природа опасений Александра II насчет “превратных толков” о декабристах, и подвигнувших его пере-менить свой взгляд на судьбу сугубо “секретной” до того книги Корфа. Казавшиеся в 1848 г. “древней историей”, события 1825 г. вдруг опять обрели исключительно злободневное звучание. Развенчание декабри-стов в глазах России и Запада становится теперь для самодержавия дей-ствительно насущной необходимостью. Погасить вспыхнувшее вокруг них общественное возмущение, идейно их скомпрометировать, парали-зовать возможность возрождения в умственной жизни страны освобод-ительных декабристских идеалов, утвердить, наконец, незыблемость

официальной трактовки обстоятельств восшествия на престол Николая I, восходящей еще к царским актам 1825–1826 гг., – таков был политический смысл намерения Александра II издать книгу Корфа “в общее сведение”.

Приступив после царского решения к подготовке окончательного ее текста, Корф воспользовался новыми материалами, найденными при работе над жизнеописанием Николая I, и дополнил книгу его перепиской с Константином Павловичем, письмом вел. кн. Михаила Павловича, написанным во время его остановки в Неннале по дороге в Варшаву, показаниями адъютанта А.П. Лазарева, посланного туда же с донесением о принесенной в Петербурге присяге, некоторыми сведениями из мемуаров А.Х. Бенкендорфа⁵⁷. Заново было написано предисловие, и после одобрения Александром II дополненный и уточненный экземпляр книги был отдан на просмотр В.Ф. Адлербергу, сделавшему ряд замечаний. Была оговорена и коммерческая стороны издания – вся выручка от него поступала в пользу Публичной библиотеки. Вместе с тем царь особо позаботился о переводе книги на иностранные языки ввиду ее несомненного “интереса для всей Европы” и с тем, чтобы избежать искажений переводов в зарубежных изданиях⁵⁸.

К 22 июля 1857 г. книга была отпечатана (как и два предыдущих “секретных” издания) в типографии II Отделения императорской канцелярии тиражом в 8 тыс. экземпляров⁵⁹. По предложению Д.Н. Блудова ей дали новое название: «Восшествие на престол императора Николая I-го» с добавлением: “Составлено по высочайшему поведению. Третье издание (Первое для публики)”. Объем нового издания почти вдвое превышал первое при более убористом шрифте.

Книга была разрекламирована с поистине государственным размахом. 5 августа развернутое объявление об ее выходе (одобренное Александром II) появилось, одновременно с поступлением тиража в продажу, в “Северной пчеле”, 6-го и 7-го – во всех петербургских, 8-го – в московских газетах, а также в столичных офицiosaх “Journal de St.-Peterbourg” и “Le Nord”. По распоряжению министра внутренних дел объявление было помещено во всех губернских ведомостях⁶⁰.

Как же книга была встречена читающей публикой?

Забегая немного вперед, отметим, что А.И. Герцен и Н.П. Огарев в своих обличениях Корфа склонны были считать, что, если его книга и расходилась, то главным образом благодаря принудительным мерам правительственной администрации в отношении зависимых от нее чиновников и вообще множества иных людей, ибо “всякий возьмет экземпляр из опасения подпасть под надзор III Отделения”⁶¹. В некоторых современных работах утверждается даже, что “книга Корфа была с негодованием встречена большинством читателей”⁶². Мнение это, однако, разительно расходится с реальными данными об ее распространении и восприятии в России.

Меньше чем за месяц громадный по тем временам тираж разошелся почти полностью⁶³, и, как свидетельствовал Корф в “Исторической записке”, столь “быстрый сбыт первого издания, очевидно, указывал на

необходимость второго, особенно при беспрестанно возраставшем приливе требований от иногородних”. В конце августа Корф обратился к Александру II с предложением выпустить это повторное издание, на что последовало высочайшее согласие, и 6 и 7 сентября в столичных газетах появилось объявление о нем, а уже 19 сентября это второе для публики (или четвертое по общему счету) издание было отпечатано тиражом в 3600 экземпляров⁶⁴. Публика раскупила их насколько быстро, что 16 октября Корф снова обращается к царю с просьбой еще об одном – третьем для публики (пятом) – издании. Причем на сей раз он рассчитывал на демократически более широкого, массового читателя, предлагая для “доступности книги всем классам населения напечатать ее в меньшем формате и компактным шрифтом, что позволит продавать экземпляры вместо 2-х р. по 1-му”⁶⁵.

Корф пристально следил за реакцией публики на свое сочинение и в “Исторической записке”, не боясь упреков в нескромности, отмечал, например: “Россия безмолвно наслаждалась этим сочинением”, “судьба этой книги принадлежала к редким исключениям в истории русской литературы: все высшее общество бросилось на нее тотчас по ее появлении и, можно сказать, проглотило ее содержание”, а “в среднем образованном и читающем классе книга имела вообще самое благодетельное влияние”⁶⁶. Можно было бы, конечно, заподозрить Корфа в тщеславно-тенденциозном преувеличении успеха своей книги, однако, его оценки находят подтверждение в ряде независимых друг от друга источников.

Так, один из петербургских агентов III Отделения доносил 25 сентября 1857 г. его начальнику В.А. Долгорукову: «В столице нашей с особенной жадностью читается сочинение ст. сек. барона Корфа “Восшествие на престол императора Николая I”»⁶⁷. Такого же рода признаниями была полна и пресса, сразу же по выходе книги откликнувшаяся на нее⁶⁸. Надо сказать, что правительство стремилось взять под свой контроль реакцию общественности на столь важное издание, разослав 17 августа секретный циркуляр с предписанием присылать в Главное управление цензуры все отзывы на него, направлявшиеся затем на просмотр автору⁶⁹. Но в том и не было особой нужды, поскольку в подцензурной печати появление серьезных критических разборов сочинения, которое, как верно отмечал сам Корф, было обязано “существованием своим высочайшей воле” и имело, “так сказать, участниками своей редакции всех почти членов императорского дома”, почти исключалось⁷⁰. Тем не менее в этих в основе своей восторженно-панегирических отзывах мы находим и некоторые крупницы истины – в том, что касается распространения книги, во всяком случае.

Газеты и журналы самых разных идейных направлений с поразительным единодушием, в сходных выражениях констатируют, в сущности, одно и то же. Рецензент “Санкт-Петербургских ведомостей” 6 августа – на следующий же день после поступления книги в продажу – уже уверен в том, что ей “предстоит весьма обширный круг читателей”. 12 августа Н.И. Греч в “Северной пчеле” замечал: “Мы слышали, что издание раскупается нарасхват, с быстротою, какой еще не бывало примера в Русской книжной торговле”. «“Восшествие на престол императора Нико-

лая Г" [...] сосредоточивает на себе в настоящую минуту общественное внимание», – извещал 28 августа своих подписчиков “Русский инвалид”. В сентябрьской книжке “Современника” Н.А. Добролюбов писал: “Сочинение барона Корфа [...] известно уже большей части читающей публики. Как ни мало прошло времени после его появления в свет, но оно уже прочитано с жадным любопытством всеми, кто только имел возможность достать его”. “Книга, находящаяся перед нами, уже прочитана с жадностью всею читающею Россию», – вторила “Современнику” в ноябре “Библиотека для чтения”.

Рецензент “Русского инвалида” словно в воду глядел, когда в конце августа 1857 г. писал о книге Корфа: “Скоро тысячи ее экземпляров распространятся не по одному Русскому царству, но и по всему просвещенному миру и в переводе на употребительнейшие европейские языки”. Усилия в этом отношении Александра II и Корфа не прошли бесследно. Помимо французского, английского, польского и по меньшей мере трех немецких изданий, моментально разошедшихся большими тиражами, книга широко популяризировалась прессой Австрии и Германии. По свидетельству Корфа, авторитетнейшая “*Algemeine Zeitung*” (Аугсбург), “перенесла на свои страницы почти все сочинение целиком” и многие “немецкие журналы без церемонии перепечатали у себя всю книгу”. Вместе с тем она была выпущена и в итальянском, голландском, шведском, финском и даже греческом переводах⁷¹.

К этому следует добавить, что известный на Западе двухтомный труд А. Баллейдье “История императора Николая” был, в сущности, не чем иным, как переложением книги Корфа (Баллейдье сумел все-таки добыть каким-то конфиденциальным путем одно из ее “секретных” изданий, о чем сам рассказывал летом 1857 г. в Париже помощнику Корфа по Публичной библиотеке кн. В.Ф. Одоевскому⁷²). Осенью 1857 г. она буквально наводнила собой европейский книжный рынок.

Чтобы понять причины столь небывалого успеха корфовского сочинения, необходимо представить себе читательский фон или, иначе говоря, уяснить, что вообще могло знать к 1857 г. русское общество о 14 декабря и междуцарствии.

“ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ”

Для Николая I эти события, омрачившие начало царствования, почти на всем его протяжении были не только семейно-династической, но и государственной тайной. Причем это касалось как самого восстания, и процесса над декабристами с роковым его исходом, так и беспрецедентно-скандальных обстоятельств, сопровождавших переход к нему престола. Поэтому если и допускались толкования на сей счет, то лишь сугубо официальные, заявленные в царских манифестах и первых правительственных сообщениях конца 1825 – начала 1826 г., а затем получившие развернутое обоснование в знаменитом “Донесении Следственной комиссии”.

Оно было задумано как отчет о следствии над “злоумышленниками” для императора и предстоявшего суда, но фактически в Верховном уго-

ловном суде “Донесение” не фигурировало. Для него готовил документы М.М. Сперанский, а правитель дел Следственного комитета А.Д. Боровков (29 мая он был переименован в комиссию) составил для судебного процесса на каждого обвиняемого специальные “записки”⁷³. Главное же назначение “Донесения” состояло в оповещении публики. Сначала его написание было поручено Боровкову. Но из-за загруженности текущими делами он не успевал к назначенному сроку, и тогда работа над “Донесением” была возложена на Д.Н. Блудова⁷⁴.

Поклонник и последователь Н.М. Карамзина, один из основателей “Арзамаса”, близкий приятель В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, А.С. Пушкина, просвещенный литератор, “либералист”, но вместе с тем преуспевающий дипломат и прочно вступивший на бюрократическую стезю действительный статский советник, Д.Н. Блудов, по словам декабриста А.Е. Розена, “знал о цели” тайных обществ “гораздо лучше и подробнее многих, потому что был в дружбе и в связи со многими главнейшими” его членами⁷⁵. Сразу же по воцарении Николая I он был рекомендован ему Карамзиным как лицо, владеющее “отечественным языком в совершенстве” и достойное “того, чтобы быть перед народом” изъяснителем “монаршей мысли”, и 28 февраля 1826 г. прикомандировывается к Следственному комитету “из Министерства иностранных дел [...] для составления журнальной статьи о ходе и замыслах тайных обществ в России”⁷⁶.

Перу Блудова принадлежало еще самое первое правительственное сообщение о восстании (первоначально Николай I предполагал доверить его Карамзину, но тот, ссылаясь на пережитые 14 декабря волнения и расстроенное здоровье, от этого отказался). Блудов написал его в Зимнем дворце поздно вечером 14 декабря, за что и удостоился похвалы нового императора, сказавшего ему в знак благодарности: “Теперь ты мой”⁷⁷. Сообщение это, начинавшееся знаменательной фразой: “Вчерашний день будет без сомнения эпохой в Истории России”, утром 15 декабря было помещено в Прибавлениях к “Санкт-Петербургским ведомостям”, а несколько дней спустя – и в других газетах. Обличая офицеров-“мятежников” в намерении “навлечь на Россию все бедствия безначалия”, унижительно отзываясь о примкнувших к ним как о лицах “гнусного вида во фраках”, как о “немногих пьяных солдатах и немногих же людях из черни также пьяных”, оно как бы уже обозначило ракурс освещения официальной версией событий 14 декабря.

На базе “журнальной статьи”, при активном содействии Боровкова, Блудов подготовил ко 2 мая 1826 г. первоначальный вариант “Донесения”, поступивший к А.И. Чернышеву и новому флигель-адъютанту царя В.Ф. Адлербергу и 10 мая обсуждавшийся у Николая I в присутствии всех членов Следственного комитета. После доработки окончательный вариант “Донесения” 30 мая был снова представлен царю, а 12 июня опубликован в качестве приложения к “Русскому инвалиду”. Вслед за тем “Донесение” было напечатано почти всеми столичными газетами и выдержало несколько изданий отдельной брошюрой на русском и французском языках. Летом и осенью 1826 г. оно свободно продавалось в

книжных лавках, объявления об этом не сходили со страниц столичной прессы и вывешивались на улицах провинциальных городов. Тогда же “Донесение” было опубликовано во всех крупных зарубежных газетах, получив огромную известность в европейских странах⁷⁸. Именно на нем были основаны по преимуществу иностранные исторические сочинения, касавшиеся декабристов, в частности весьма популярные во второй четверти XIX в. труды Ф. Лакруа и И. Шницлера⁷⁹.

Французский поэт и драматург Ж.Ф. Ансело, посетивший в 1826 г. Петербург и Москву в составе официальной миссии, в своей книге “Шесть месяцев в России” полагал даже, что, пойдя на столь широкую публикацию “Донесения”, “правительство до известной степени сделало процесс гласным и отдало его на суд общества”⁸⁰. О том же писал и Н.И. Греч, которому в конфиденциальном порядке III Отделение поручило дать отзыв на “Донесение” перед его напечатанием: “Обнародование сего доклада уничтожит все слухи и толки [...]. Сия безусловная гласность в деле толикой важности подает надежду, что и в других делах, гражданских и уголовных, оная будет введена к устрашению злонамеренных и успокоению честных людей”. Указал он и на литературные достоинства “Донесения”: “порядок, изложение, слог, язык его могут назваться образцовыми”, что дает “сему изложению необыкновенную силу и живость”⁸¹. Представление о “Донесении” как документе не столько юридического, сколько литературного и публицистического свойства разделяли и сами декабристы. Так, Н.И. Тургенев не без основания отмечал, что Блудов “дал рапорту вид литературного произведения, предназначенного подействовать более на толпу обыкновенных читателей, нежели на просвещенных и сведущих судей”⁸².

Выдвинутое еще около 70 лет назад и принятое некоторыми современными историками мнение о том, что “Донесение” – “тенденциозный и лживый до последнего знака препинания” документ, что “свою работу Блудов сделал грубо и топорно”, не обмолвившись “ни единым словом” о стремлениях и целях декабристов⁸³, требует существенных уточнений.

Прежде всего нельзя забывать, что составление “Донесения” как правительственного документа не было делом одного Блудова – первоначальный вариант правился А.И. Чернышевым и В.Ф. Адлербергом, затем в него вносили поправки другие члены Следственного комитета и, главное, Николай I. По мемуарному свидетельству П.В. Долгорукова, передававшего рассказы самого Блудова, царь “прибавил к рукописи еще разные свои затеи”, Блудов же “имел непростительную слабость согласиться на эти дополнения, то есть принять их на свою нравственную ответственность!!!”⁸⁴. Сохранились, между прочим, автографы Блудова трех редакций “Донесения” – в них запечатлены следы этого многократного редакторского вмешательства⁸⁵.

Разумеется, уже по самому своему назначению “Донесение” не могло не быть пронизано тоном принижения и личной дискредитации декабристов. “Люди незрелого ума”, они то и дело уличаются в “видах личной корысти”, “суетном любопытстве”, “смешном невежестве”, “совершен-

ном незнании отечественного края”, в “безумии”, “дерзостном честолюбии”, “злодейских страшных умыслах”, в “изъявлении кровожадности” и т.д.⁸⁶ Как писал о “Донесении” декабрист А.М. Муравьев, оно “имело одну лишь цель – выставить нас глупцами и злодеями”⁸⁷.

Но искажение реального облика декабристов достигалось здесь не столько этими инвективами, эпитетами, так сказать, внешней, обрамляющей стороной документа, сколько системой умолчания одних черт их идеологии и практической деятельности и искусственным выпячиванием других. Правда, приведенное выше суждение об отсутствии в “Донесении” каких-либо данных о стремлениях и целях декабристов нельзя признать вполне справедливым. Даже при беглом его просмотре нетрудно заметить, что политические цели тайных обществ изложены Блудовым с не допускающей никаких кривотолков ясностью. Здесь не раз говорится о декабристских планах введения в России представительного правления в форме то ли конституционной монархии, то ли республики, о борьбе этих течений на разных этапах истории движения и т.д. Даже М.С. Лунин в своем обличительном “Разборе Донесения тайной следственной комиссии” должен был признать роль блудовского офицоза в доведении до русской публики политических целей декабристских обществ. “Обнародовав начала предполагаемых преобразований”, комиссия, по его словам, “без ведома своего содействовала успеху конституционного дела столь же, сколько все усилия Тайного союза, не распоряжавшегося столь могущественными средствами гласности”⁸⁸.

Однако социально-экономическая программа декабристов, более близкая и доступная массе населения, оказалась в “Донесении” действительно обойденной, но не по инициативе Блудова, а по воле Николая I. 15 мая 1826 г. он предписал Следственному комитету исключить из “Донесения” упоминания о таких социально животрепещущих планах декабристов, как освобождение крестьян, наделение их землей, сокращение “срока службы солдатам”, “возмутить военных поселян”, а также о попытках тайного общества привлечь на свою сторону в случае успеха переворота крупных государственных деятелей (М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова, П.Д. Киселева), завязать отношения с иностранными державами и о “средствах [...] обольстить войска, народ и вообще найти себе сообщников”.

Такого рода “крамольные” сведения были перенесены в особое “Секретное приложение”. В преамбуле к нему Следственный комитет прямо сослался на то, что они именно потому изъяты из “Донесения”, что, “сделавшись известными, могли бы обратиться в орудие зложелательства, дать повод к неосновательным толкам или быть причиною [...] волнения в умах людей непросвещенных, наипаче же в низших состояниях”⁸⁹. Документы с этими сведениями представлялись настолько сокровенными, что непосредственный их распорядитель Боровков Блудова к ним вообще не допустил. “Я давал ему материалы, – вспоминает он в своих записках, – кроме тех, которые его величеству не благоугодно было оглашать”, в том числе и те, что свиде-

тельствовали о тайных замыслах декабристов опереться на видных государственных сановников⁹⁰.

Наряду с тем Блудовым были вычленены и нарочито акцентированы явно неблагоприятные для репутации декабристов в общественном сознании той эпохи сюжеты, например данные об их “изменнических” сношениях с польскими заговорщиками или о децентрализаторских проектах, ведущих якобы к анархии и распаду страны. Наконец, были непомерно раздуты любые, вплоть до мимолетных разговоров, мотивы царубийства⁹¹, занявшие в “Донесении” едва ли не центральное место, будто бы это и было самой главной целью тайных обществ, все же иные, исторически куда более значимые программные и идейно-тактические установки декабристов отступали тем самым на задний план.

В результате их выступление оказалось представленным как случайное происшествие, не имевшее исторических корней в русской общественной жизни, как привнесенная извне зараза, чуждая народу, неколебимому в своей преданности царствующей династии. В разгроме же восстания Николаем I, каждый шаг которого в день 14 декабря изображался в самой превосходной степени, усматривалось проявление “Промысла Божия”.

Объективности ради надо, однако, признать, что с чисто фактической точки зрения ни прямых вымыслов, ни грубой лжи, ни каких-либо передержек “Донесение” в себе не содержало. Оно тесно привязано к следственным документам и в воссоздании 10-летней истории конспиративных организаций, хода восстаний на Сенатской площади и Черниговского полка на Украине всецело опирается на собственные показания подследственных, записи их допросов и очных ставок, обильно здесь цитируемых. Благодаря этому “Донесение” передает, хотя и в извлечении, живые голоса самих декабристов с их неподдельной интонацией, фразеологией, оценками.

“Донесение” явилось, по сути дела, первой сжатой, но точной и информационно насыщенной, разработкой материалов следственного процесса, единственным печатным источником, из которого можно было черпать конкретные сведения на этот счет. И до тех пор пока сами следственные дела не стали вводиться в оборот, оно продолжало сохранять документально-историческое значение.

В этом отношении, например, показательно, что такой крупный ученый, как А.Н. Пыпин, в известной книге “Общественные движения в России при Александре I”, вышедшей в 1870–1871 гг., событийную сторону истории декабристских обществ освещал главным образом по блудовскому “Донесению”⁹².

Предваряя наше последующее изложение, отметим, что фактическую ценность “Донесения” признавали А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Красноречиво свидетельствует об этом уже само его включение в сборник “14 декабря 1825 и император Николай” для корректировки книги Корфа. В предисловии к сборнику Герцен писал о “Донесении”: “Противердить его молодому поколению необходимо”. Огарев в “Разборе” книги Корфа назвал его “драгоценным документом”, ибо, “как ни старалась

Комиссия исказить дело, все же ее донесение служит великой защитой, великим оправданием, похвальным словом для людей 14 Декабря”, ибо в нем”клевета высказана с простотою правды”, “еще видно, – продолжал Огарев, – что донесение писано людьми александровской эпохи, т.е. людьми, по крайней мере, не без внешнего образования”.

Вот эта двойственная природа “Донесения” – наличие в нем ценной исторической информации, которая не укладывалась в рамки официально-охранительной концепции и не “погашалась” ею, – во многом определила судьбу документа в условиях нарастания реакционного курса внутренней политики Николая I. Самодержавная власть скоро опомнилась, почувствовала реальную опасность для себя “Донесения”, и после 1826 г. его не только не переиздавала и не популяризировала, а, наоборот, стремилась, видимо, изъять из обращения. «Несмотря на все старания, вложенные в редактирование памфлета, – писал декабрист А.М. Муравьев, именно так определявший жанр “Донесения”, – Блудов не мог преуспеть: несколько изданий были тотчас расхвачены – так сильна была жажда узнать о столь новом у нас деле. Правительство увидело необходимость запретить публикации “Донесения Следственной комиссии”»⁹³. Насколько оно стало с тех пор нежелательным для правящих кругов, видно хотя бы из того, что его содержание никак не отразилось на крайне беглом описании событий 14 декабря 1825 г. в официально-панегирическом труде Н.Г. Устрялова “Историческое обозрение царствования Николая I” (1847).

Можно полагать, что к концу 1820-х годов “Донесение” выпало из читательского оборота, в 1830–1840-е годы оно – библиографический раритет, и лишь отдельные его печатные экземпляры удерживались в просвещенных слоях дворянского общества. Имелось оно, например, в библиотеке Пушкина, послужив одним из источников его познаний о декабристах. Установлено, в частности, что все декабристские строки десятой главы “Евгения Онегина” – поэтическая перифраза соответствующих текстов “Донесения”⁹⁴. Его экземплярами располагали в Сибири М.С. Лунин и Н.М. Муравьев, С.П. Трубецкой, М.А. Фонвизин⁹⁵, а за границей – Н.И. Тургенев, уделивший, как известно, полемике с ним значительную часть первого тома мемуарно-исторического труда “Россия и Русские”.

Спустя три десятилетия после выпуска “Донесения” его экземпляры уже до такой степени вышли из обихода, что когда, например, в 1855 г. Н.А. Добролюбов – студент Главного Педагогического института – один из номеров рукописной газеты “Слухи” посвятил декабристам, построив его на фактических данных “Донесения”, то заимствовал он их не из самого его печатного издания, а из текста труднодоступной тогда книги немецкого историка И. Шницлера, упоминающей выше⁹⁶.

К концу 1826 г. относится еще один эпизод, ознаменовавший собой переход от допускаемого в жестких границах официальной версии толкования событий 14 декабря к их замалчиванию, к тому, чтобы вытравить о них всякую память. В Санкт-Петербургский цензурный комитет поступила рукопись “Месяцеслова” на 1827 г. где в заметках о “достопа-

мятных происшествиях” последних лет в самом благонамеренно-официальном духе давалось описание “гнусного заговора” 14 декабря, его подавления, восстания Черниговского полка, учреждения Верховного уголовного суда и казни декабристов.

Министр народного просвещения А.С. Шишков, опираясь на предварительное заключение цензора П.И. Гаевского, в декабре 1826 г. во всеподданнейшем докладе, по свойственному ему простодушию, выразился как нельзя более откровенно: “Нужно ли в календарях описывать сие с такою подробностью? Не лучше ли упомянуть о сем слегка и короче? Нет никакой надобности упоминать и оставлять о сем память в календаре. О худых примерах лучше умалчивать, нежели твердить о них и предавать во всенародное известие. Желательно, чтоб подобные происшествия для чести государства в самой Истории забыты были, и твердить о них в календарях под именем достопамятных событий кажется мне весьма непристойно”. И хотя Николай I полагал, что само восстание следовало бы все же изобразить “простыми, но сильными словами” – “затем только, чтобы доказать везде усердие и верность войск”, в целом он вполне одобрил мнение Шишкова, явившееся своего рода “кредо” верховной власти в столь щекотливом для нее вопросе постдекабристской эпохи. Теперь даже в осуждающих тонах распространяться о декабристах сколько-нибудь подробно признавалось вовсе вредным и неуместным⁹⁷.

В этой связи нельзя обойти вниманием известное высказывание Пушкина в сентябре 1827 г., тогда же записанное в дневнике А.Н. Вульфа: “Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову – пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря”⁹⁸. В литературе о Пушкине эти слова трактуются обычно как отражение его реальных историографических замыслов⁹⁹. Но в свете сказанного выше – хотя бы в том, что касается начала царствования Николая I и 14 декабря, – их нельзя расценить иначе как иллюзией, величайшим заблуждением поэта, не представлявшего себе истинной, глубоко скрытой для непосвященных позиции правительства в отношении декабристов.

Разумеется, это не означает, что в николаевское царствование декабристские имена и сочинения вообще не попадали на страницы печати. Публикации произведений “государственных преступников”, преданных после следствия Верховному уголовному суду, под их собственными именами безоговорочно пресекались. Однако анонимно некоторые из них попадали все-таки в печать – по неведению цензуры или в исключительных случаях благодаря упорным ходатайствам влиятельных родственников и друзей, вовлекавшим часто в свою орбиту даже особ царствующего дома.

Так, в конце 1820-х – 1830-х годах в “Северных цветах” и “Литературной газете” Дельвига–Пушкина, а также и в других изданиях появлялись порой без указания авторства поэтические и прозаические сочинения декабристов-литераторов – Н.А. Бестужева, А.О. Корниловича,

В.К. Кюхельбекера, А.И. Одоевского, К.Ф. Рыльева. В декабре 1829 г. в “Русском инвалиде” и “Санкт-Петербургских ведомостях” была напечатана без подписи “Некрология генерал от кавалерии Н.Н. Раевского” – недавно умершего прославленного героя 1812 г. Автором ее был зять покойного, виднейший деятель тайных обществ М.Ф. Орлов, сосланный после следствия в свое калужское имение. Факт этот был, конечно, хорошо известен в тесной среде военно-дворянской интеллигенции и литераторов пушкинского круга. Между тем весьма характерно, что ни сам Пушкин – близкий приятель Орлова – в кратком отзыве на “Некрологию” в “Литературной газете” (1830), ни его друг и дальний родственник Д.В. Давыдов в пространных мемуарно-критических “Замечаниях” на “Некрологию” (1832) на авторство Орлова не указали ни малейшим намеком¹⁰⁰. Анонимно был издан в 1833 г. экономико-социологический трактат Орлова “О государственном кредите”, хотя к тому времени ему было разрешено вернуться из ссылки в Москву и он жил открытым домом. Год спустя также анонимно увидели свет в Москве и двухтомные “Записки о походах 1812 и 1813 годов” заточенного в Бобруйскую крепость декабриста В.С. Норова.

Сосланный в Сибирь, а затем переведенный рядовым на Кавказ активнейший участник восстания 14 декабря А.А. Бестужев, уже известный до того прозаик и критик, после 1825 г. исчез с литературного горизонта, но с 1830 г. он получил право печататься, подписывая свои сочинения “Александр Марлинский”. И вот под этим псевдонимом в разных столичных журналах и отдельными изданиями выходят его романтические повести и рассказы из кавказской жизни, снискавшие автору громадную популярность. “Под чужим именем сделал себе имя [...] в изгнании сделался любимцем публики”, – писал о своем брате Н.А. Бестужев. Не кто иной, как М.А. Корф, в своих дневниковых записках замечал по этому поводу: “Многие тогда восхищались произведениями его бойкого, хотя всегда жеманного пера, но никто, однако, не смел печатно поднять завесы с его псевдонима, и фамилии Бестужева в литературном мире, так же как и в мире политическом, не существовало”¹⁰¹.

Имена отдельных декабристов упоминались иногда в некоторых изданиях и сами по себе – опять же по явно цензурному недосмотру. Таких примеров немного, и поэтому их полезно суммировать. В самый разгар следственного процесса – в конце февраля – начале марта 1826 г. – в Петербурге вышла справочная книга В. Соца “Опыт библиотеки для военных людей”, где среди видных русских военных писателей названы томившиеся тогда в Петропавловской крепости Н.М. Муравьев, И.Г. Бурцов, А.О. Корнилович, П.А. Муханов. Летом 1826 г. издатель “Отечественных записок” П.П. Свиньин напечатал здесь “Некоторые замечания на Опыт теории налогов. Сочинение Н.И. Тургенева” – декабриста-эмигранта, заочно осужденного по I разряду и по конфирмации приговоренного в каторжную работу вечно¹⁰².

В 1830 же г. в «Список авторов, участвовавших в десятилетнем издании “Отечественных записок”» П.П. Свиньин включил имена всех декабристов, печатавшихся в журнале, в том числе и повешенного К.Ф. Рыльева

ва¹⁰³. В “Записках о походах 1812 и 1813 годов” В.С. Норова (Ч. 2. С. 96) упомянут среди раненых в Кульмском сражении “прапорщик Матвей Муравьев” – приговоренный к 20-летней каторги М.И. Муравьев-Апостол, брат тоже повешенного С.И. Муравьева-Апостола.

Как видим, даже те упоминания декабристов, которые так или иначе проникали в русскую печать, были столь редки, случайны и разрознены, что вряд ли могли быть замечены рядовым читателем того времени, а тем более хоть каким-то образом отозваться в общественном мнении. Зато “заговор молчания” вокруг них Николай I поддерживал с неукоснительной последовательностью. Симптоматично, например, что в изданной в 1855 г. “Памятный книжке” Царскосельского лицея из 29 его первых выпускников 1817 г. оказались исключенными имена всего двух, но это были декабристы В.К. Кюхельбекер и И.И. Пущин¹⁰⁴.

Когда еще в 1826 г. готовилось открытие в Зимнем дворце портретной галереи генералов – участников кампаний 1812–1814 гг., то по личному распоряжению Николая I из нее был изъят написанный в 1822 г. английским живописцем Дж. Доу портрет декабриста, генерал-майора С.Г. Волконского. Не был помещен в галерею и портрет М.Ф. Орлова, произведенного в генерал-майорское звание за взятие Парижа в марте 1814 г. Не случайно, видимо, не нашли здесь места и портреты отважно сражавшихся в войнах с Наполеоном генералов М.Л. Булатова, П.Н. Ивашева, Н.И. Сутгофа, чьи сыновья также были замешаны в декабристском заговоре и восстании¹⁰⁵.

Вообще представления о внешнем, физическом облике декабристов николаевское правительство искореняло из общественной памяти с каким-то особым, почти болезненным рвением, и как тут не вспомнить о громком скандале, разразившемся в связи с выходом в свет в конце 1838 г. первого тома альманаха А.Ф. Смирдина “Сто русских литераторов”. Наряду со стихотворением и повестями погибшего еще в 1837 г. на Кавказе А.А. Бестужева, разумеется, под псевдонимом “А. Марлинский” – здесь был помещен и его портрет с факсимиле “Александр Бестужев” (статья, среди портретов других авторов, в том числе и придворного историка генерал-лейтенанта А.И. Михайловского-Данилевского).

Это могло бы пройти и незамеченным в верхах, если бы в марте 1839 г. том альманаха с портретом А.А. Бестужева не показал Николаю I вел. кн. Михаил Павлович, особенно возмущенный тем, что “вместе с генералом поместили и бунтовщика”. “Его развесили везде, а он хотел нас перевешать”, скалалбурил взбешенный царь и потребовал объяснений от А.Х. Бенкендорфа и министра народного просвещения С.С. Уварова, ведавшего цензурой. Результатом недолгого разбирательства явились увольнение с должности управляющего канцелярией III Отделения А.Н. Мордвинова, давшего, как выяснилось, разрешение на публикацию портрета, и грозное предписание разыскать и уничтожить все его нераспроданные экземпляры.

Стало быть, царская семья и сам Николай I расценили прецедент с бестужевским портретом как чуть ли не личное оскорбление. Либеральный чиновник (в будущем сенатор) К.Н. Лебедев дал этому вполне убе-

дительное толкование: “Преступник, даже тот, которому позволено было издавать свои сочинения, не должен иметь преимущества народной картины; одно снисхождение не дает права для публичной привилегии”¹⁰⁷. Еще точнее, но с истинно верноподданническим сочувствием логику царского восприятия объяснил в своих записках сам М.А. Корф: “Государь, до сведения которого это дошло, крайне разгневался, на что, конечно, имел полное основание: ибо таким образом черты и подпись государственного преступника, умершего и политически и физически увечивались в потомстве, в виду правительства и как в насмешку над правосудною его карою”¹⁰⁸. Из этого видно, что в ближайшем окружении Николая I публикация портрета А.А. Бестужева была понята – ни больше ни меньше – как попытка ревизии приговора над декабристами и дискредитации царя в глазах общественного мнения.

Позднее власти запретили писать портреты декабристов находившемуся в Сибири шведскому художнику К.П. Мазеру и всячески препятствовали им самим заниматься портретной живописью в своей среде. “Так как государем императором воспрещено поселенцам из государственных и политических преступников снимать портреты с себя”, – писал в декабре 1850 г. со ссылкой на шефа жандармов А.Ф. Орлова Тобольский гражданский губернатор местному полицмейстеру, – то “было бы лучше, если бы и состоящие на службе в Сибири из означенных преступников не снимали с себя портретов и не пересылали оных к своим родственникам, дабы портретами своими они не обращали на себя неуместное внимание”¹⁰⁹.

Поводом же к такому запрету послужила деятельность петербургского “дагерротиписта” А. Давиньона по изготовлению в 1845 г. в Иркутске фотографических снимков живших там на поселении декабристов. Это глубоко встревожило Николая I – ведь как ни внове были тогда в России достижения “дагерротипии”, не представляло труда понять, что фотографические снимки могли тиражироваться и расходиться в обществе уже совершенно бесконтрольно со стороны властей. Так или иначе, но, когда отосланные декабристами родственникам в Европейскую Россию снимки перехватило III Отделение, были приняты решительные меры. На самого А. Давиньона было заведено следственное дело, и он даже подвергся аресту, а оставшиеся у него и иркутских ссыльных снимки конфискованы со строжайшим воспрещением всем находившимся в Сибири “государственным преступникам” изготавливать и распространять свои изображения¹¹⁰.

“Табу” столь жестко наложенное на малейшие ассоциации с декабристами, дало свои печальные плоды. Остается только добавить, что в николаевское царствование декабристская тема была изъята из школьного преподавания, не звучала с университетских кафедр, отсутствовала в литературе, критике и публицистике. В этом отношении весьма характерно, например, что, по наблюдению Ю.Г. Оксмана, в обширном литературном наследии В.Г. Белинского, в его многочисленных обзорах, статьях, рецензиях 30–40-х годов мы не встретим ни прямых, ни косвенных упоминаний о декабристах. Даже в его пространных разборах творчества

А.А. Бестужева-Марлинского или Ф.Н. Глинки нет ни малейшего намека на их декабристское прошлое¹¹¹.

Поскольку же события 1825 г. даже в официальной трактовке исключались из публичного обсуждения, то естественно, что в николаевское 30-летие они почти никак не отражались и в подцензурной историографии. Нельзя, конечно, упускать из виду, что забвению его декабризма идейно, так сказать, потенциально противостояла декабристская мемуарно-историческая традиция, зародившаяся еще на каторге и в ссылке в форме коллективного обсуждения сибирскими узниками ключевых событий истории тайных обществ, восстания и следствия и в виде первых попыток письменного закрепления ими своих воспоминаний (в основе своей утраченных), а затем, в конце 30–40-х годов, запечатленная в таких замечательных мемуарно-исторических и историко-публицистических памятниках, как “Взгляд на русское тайное общество” и “Разбор донесения тайной следственной комиссии” М.С. Лунина, “Записки” И.И. Горбачевского и “Обозрение проявлений политической жизни в России” М.А. Фонвизина. Однако они имели тогда хождение в считанном числе списков и никакого влияния на общество не имели, в большей же своей части декабристские мемуары будут написаны уже после амнистии и на страницы русской печати начнут проникать лишь в 1860–1870-х годах. А единственное опубликованное в николаевскую эпоху историко-мемуарное произведение из декабристской среды – “Россия и Русские” Н.И. Тургенева (трижды издано в 1847 г. в Европе на французском языке) – в самой России было малодоступно.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже самые просвещенные люди эпохи имели о декабристах весьма смутное представление. Их познания на этот счет питались главным образом устными преданиями и мемуарной молвой, циркулировавшими в узких кругах дворянской интеллигенции. Вспомним, например, в данной связи, насколько скудны, неточны и прилизательны были фактические сведения о тайных политических организациях 10–20-х годов, персонально о декабристах, их сочинениях и т.д. в написанной в 1850 г. брошюре А.И. Герцена “О развитии революционных идей в России”.

Словом, мы не ошибемся, если скажем, что к моменту издания книги Корфа восстание 14 декабря и все ему сопутствовавшее представлялось “белым пятном” “императорского периода” российской истории. Правда, накануне или почти одновременно с ней декабристская тема вновь возникла на страницах казенно-панегирического обозрения николаевского царствования, выпущенного официозным литератором и драматургом Р.М. Зотовым (выход его в свет помечен 1857 г., но цензурное разрешение было дано еще 12 июля 1856 г.)¹¹², о котором Герцен с презрением отзывался в “Колоколе” как о “плюгавой книге”¹¹³. И хотя автор как очевидец событий 1825 г. сообщал некоторые ценные подробности и свой рассказ строил на конкретике “Донесения Следственной комиссии”, словно воскрешенного из исторического небытия, в целом он неуклонно следовал одиозным оценкам царских манифестов 30-летней давности.

Сказанное, думается, в достаточной степени проясняет истоки того бурного интереса к книге Корфа, который окружил ее сразу же по выходе в свет. Конечно, она тоже была пронизана духом этих манифестов и явилась своего рода апофеозом охранительно-монархической версии событий 1825 г., завершив длительный процесс ее складывания и литературной обработки¹¹⁴. Изображая декабристов “злоумышленниками”, “изменниками”, “горстью молодых безумцев”, “скопищем мятежников” и т.д., Корф всячески нагнетал мотив “цареубийства” и стремился подчеркнуть их разобщенность с солдатами, с общественной средой, с массой населения: “народ наш гнушается всяким преступным замыслом против царственной семьи, искони являющейся предметом его любви и благоговения”.

По части искажения и фальсификации дела декабристов книга Корфа даже превзошла блудовское “Донесение”. Она не только умалчивала о социальной программе декабристов, но полностью обходила их политические лозунги, их планы введения в России представительного, конституционного строя и еще в большей мере отдавала дань верноподданнической трактовке событий, в унизительно-льстивых, почти лакейских тонах идеализируя, возвеличивая каждый шаг членов царствующей фамилии, хотя надо признать, что в данном случае Корф вряд ли кривил душой, выражая свои подлинные монархические убеждения, свою глубоко укоренившуюся преданность престолу и лично Николаю I.

Всем этим, однако, содержание книги Корфа не исчерпывалось, а потому было бы неверно ограничиться только такими расхожими среди историков обозначениями, как “клеветническая”, “гнуемое писание”, “грязное творение”, или односторонне характеризовать ее лишь как “махровый цветок охранительного течения”¹¹⁵. Официозно-верноподданническая риторика Корфа, вполне обычная в подобного рода произведениях той эпохи, вряд ли затронула тогда всерьез основную массу публики, а вот документально оснащенное описание одного из самых критических и вместе с тем сокровенных моментов истории самодержавного государства, да еще санкционированное верховной властью, чему в идеологической практике царизма вообще не было аналогов, – вот эта сторона корфовского сочинения не могла не привлекать внимания.

Тем более что наряду с официальными изданиями, в том числе и блудовским “Донесением”, Корф привлек материалы совершенно уникальные по новизне и ценности, дотоле никому не известные и в своей совокупности будоражившие воображение читателей. Это были, как мы уже указывали, во-первых, документы, извлеченные из государственных и царских архивов и, во-вторых, свидетельства участников событий 1825 г. из правительственного лагеря (от особ императорской фамилии до рядовых флигель-адъютантов). Корф не только собирал их уже составленные записки, но неустанно побуждал фиксировать на бумаге свои воспоминания или сам записывал их мемуарные рассказы (некоторые из этих записей ныне исчезли, и книга Корфа сохраняет в этом отношении значение первоисточника). Разумеется, эти документально-мемуарные материалы освещали ход восстания в сугубо правительственном ракурсе, однако из-

вестное уже прежде они обогащали множеством интереснейших фактов, сообщая всему повествованию несомненный оттенок подлинности.

Но, что особенно важно, книга Корфа впервые обнажила крайне щепетильные обстоятельства междоусарствия (им посвящена большая часть текста – 125 с. из 206). Если о декабристском восстании еще теплились раньше хоть какие-то сведения, то цикл событий от смерти Александра I 19 ноября до воцарения Николая 14 декабря 1825 г. являлся, что называется, “тайной за семью печатями”, получившей лишь тенденциозно-выхолощенную интерпретацию в царских манифестах конца 1825–1826 г, да еще в упомянутой выше “Истории” Н.Г. Устрялова. Восстанавливая предысторию междоусарствия, Корф начинает ее с секретнейшего письма Александра к В.П. Кочубею 1796 г., где молодой великий князь, наследник престола, высказал желание отречься и подверг убийственной критике придворные нравы и крупнейших екатерининских вельмож. Затем Корф раскрывает добровольно-вынужденные мотивы отречения Константина Павловича, сложные взаимоотношения по этому поводу в царской семье, уклончиво-двузначную позицию Александра I в вопросе об обнаружении заветчательных распоряжений о престолонаследии, наконец, день за днем, час за часом прослеживает все перипетии самого династического кризиса. Причем наиболее важные, с его точки зрения, документы Николая и Константина за декабрь 1825 г. Корф опубликовал в Приложениях.

Ничего подобного о высших государственных тайнах империи русское читающее общество до того не получало, и это тогда же было должным образом оценено. По свидетельству самого Корфа в “Исторической записке”, при появлении его книги в Петербурге, “по необыкновенному интересу собранных тут материалов, и по небывалости у нас подобного, можно сказать, Государственного откровения, только об этом и шла речь”, “огромное большинство прочло книгу с чувством благодарности к Монарху за его доверие как акт благородной откровенности Правительства, открывающей собой новую эру в нашей политической литературе”. Даже в Германии и других странах к его книге отнеслись, констатирует Корф, “не только как явлению литературному, но и как акту политическому, как новому откровению великого духа юного нашего императора”¹¹⁶.

Все это писано Корфом поздней осенью 1857 г., но еще в начале августа точно так же отзывалась о его книге русская пресса. Уже первый рецензент книги в “Санкт-Петербургских ведомостях”, говоря об описании в ней восшествия на престол Николая I, отмечал: “Ныне государь император Александр Николаевич признать изволил за благо поделить эту тайною с своим народом и, в вечную память незабвенного родителя, сделать упомянутое описание *общеизвестным и доступным всей публике*”. Две недели спустя газета вновь напоминала: “Читателям нашим уже известно о выходе в свет этой книги, которая должна произвести глубокое впечатление не только в России, но и во всем читающем мире [...], не только в русской, но и во всех других литературах мало творений, столь любопытных, как это”, ибо “оно бросает яркий свет на

важный период нашей истории, который без того всегда остался бы неясным”. Его, бесспорно, следует отнести к разряду “исторических откровений. Смело можно сказать, что эта книга – явление еще небывалое, редкий пример благородной откровенности” и т.д.¹¹⁷

Замечательно, что такие оценки близкой к официальным кругам газеты по сути своей совпадали с политически весьма многозначительным отзывом Н.А. Добролюбова в “Современнике”: “Без сомнения, любознательность публики привлеклась самим предметом, представляющим так много возвышенных воспоминаний и столь дорогим для каждого русского, умеющего ценить великие явления своей истории. Но независимо от предмета, – продолжал Н.А. Добролюбов, – сочинение барона Корфа приобретает новую цену” еще и потому, что “он мог изучить и представить все описанные им события так, как до него никто не имел возможности узнать их”. Само появление этой книги дает нам “понятие о том, как благодетельное правительство наше старается передать народу сведения о великих фактах нашей истории”. “Факт издания книги барона слишком красноречив, – завершал он свой отзыв, – чтобы мы могли что-нибудь прибавить к нему. Сердце каждого русского, наверное, бьется сильнее при чтении этой книги, с первой страницы ее предисловия до последней страницы приложений”¹¹⁸.

Но именно это более чем красноречивое “государственное откровение” в освещении династической подоплеки событий 1825 г. спровоцировало неожиданно для Корфа и самого Александра II резкую критику “справа”, со стороны “тесного кружка” “литературных староверов”, “салонов”, а точнее говоря, реакционно настроенных правительственных сановников и придворной аристократии, столпов прежнего царствования, поднявших против Корфа, как он пишет, “общее восстание”. Люди этого круга были напуганы даже не столько содержанием книги (хорошо им знакомым по двум ее прежним, “закрытым” изданиям), сколько ее обнаружением: “сетовали о появлении книги на Божий свет и полагали, что она, как семейная тайна, должна была оставаться под спудом”. Даже в “Исторической записке” Корф не называет поименно своих недоброжелателей. Известно, однако, что рупором “мнения салонов” явился В.Ф. Адлерберг.

Наибольшие нападки вызвали публикация в книге сакраментального письма Александра В.П. Кочубею 1796 г. и рассказ Корфа о его ничем не объяснимых колебаниях в последние годы жизни при решении судеб престола. Это было расценено как “живая сатира” на “Александра Павловича, который оставил Россию в жертву междоусобиц из трусости” и в угоду личным взаимоотношениям с двумя младшими братьями. Сразу же стали возникать аллюзии с современным положением вещей, и было усмотрено, что книга Корфа бросает тень на нынешнего императора и размывает устои дома Романовых как правящей династии: раз Александр II счел нужным предать огласке это “секретное” письмо, 60 лет пролежавшее без движения в тайниках архивов, значит, он солидаризируется с намерением своего царственного дяди отказаться от престола, а потому дает понять, что и сам “желает отречься”.

Нападки на Корфа в конце лета и осенью 1857 г. обрели настолько острый характер, что во всем этом увидели “опасную пропаганду”, предвещая, что его книга “даст повод к самым превратным толкам, даже, смешно сказать, – недоумеает он в “Исторической записке”, – послужит основанием революционному движению”. “Так или почти так скажут те, которые желают революции и тайно работают на нее, и вот чему поверит толпа, когда это все будет провозглашаться в писаниях, тайно циркулирующих и тотчас публикуемых за границей”, – толковал “мнение салонов” В.Ф. Адлерберг, прямо указывая на возможность использования книги Корфа в целях обличения царствующей династии демократической общественностью и Вольной русской печатью за рубежом.

“И многие из этих нареканий делались мне прямо в лицо”, – с горечью замечает Корф, более всего опасавшийся, как бы не поколебалось благорасположение императорской фамилии и он не был бы заподозрен в “преднамерении [...] компрометировать монаршее достоинство”. А к тому были свои основания, так как о недовольстве его книгой стало известно царю и Корфу пришлось даже объясняться на этот счет с вдовствующей императрицей Александрой Федоровной. Александр II был явно обескуражен охранительной критикой книги Корфа, и когда в середине октября 1857 г. тот представил ему доклад с указанием на то, что она принята “публикою с благодарностию и сочувствием”, царь против этих слов отметил: “К несчастью, не всеми”.

Но соизмеряя одобрение Александром II его труда с историографическими взаимоотношениями Александра I с Карамзиным (“История государства Российского”) и Николая I с Пушкиным (“История Пугачева”), Корф был слишком уверен в себе, чтобы смириться с возводимыми на него обвинениями. В типично либеральном духе негодует он в “Исторической записке” на “высшее общество”, “предпочитающее всегдашний мрак”, “восстающее против всякого шага вперед в общественной жизни”, “ненавидящее всякую гласность”, и сокрушается по поводу отсутствия в России “проявления” этой самой “гласности в чем бы то ни было”, не сомневаясь, что обнародование по повелению царя его книги и есть как раз важный шаг на пути к достижению такой гласности¹¹⁹. В этом же Корф был убежден совершенно искренне и именно соответствие ее либеральным веяниям эпохи, видимо, всячески выставлял своему старинному лицейскому однокашнику И.И. Пущину, встретившись с ним летом 1857 г., – еще до выхода книги в свет¹²⁰.

И тут не может не броситься в глаза, что о реакции на нее “слева”, со стороны самих декабристов, Корф в “Исторической записке” не обмолвился ни словом.

Известие о выходе книги Корфа вызвало в декабристской среде острый интерес. «Читайте новую книгу “Восшествие на престол Николая I”, – писал И.И. Пущин М.И. Муравьеву-Апостолу 14 августа 1857 г. – Вы, верно, читали уже в газетах объявления. Я жду с нынешней почтой это произведение Корфа. Скажите мне что-нибудь по прочтении»¹²¹. Находившийся в это время в Москве декабрист А.Н. Сут-

гоф тут же сделал на полях книги Корфа ценнейшие фактические замечания и исправления, касающиеся событий 14 декабря. Они фиксировали тенденциозность изложения Корфа, стремление к уничтожению и искажению действий возставших (см. публикацию “Заметки А.Н. Сутгофа о 14 декабря 1825 г.” в наст. изд. с. 378–382). Живую реакцию вызвала его книга и у С.П. Трубецкого. Осенью 1857 – в начале 1858 гг. он составил замечания на труд Корфа, где не только подверг его критическому разбору, но и сообщил ценные сведения о междоусобице (см. наст. изд., с. 383–389). Полемиически заострены против книги Корфа и относящиеся к тому же времени заметки Трубецкого на воспоминания декабриста В.И. Штейнгеля¹²².

Следует заметить, что отношение “слева” было неоднозначно. Оно определялось различием в общественных настроениях вернувшихся из Сибири декабристов. Когда Пущин писал Муравьеву-Апостолу, ему было уже известно мнение В.И. Штейнгеля, одним из первых откликнувшегося на книгу. Увлеченный либеральными начинаниями Александра II Штейнгель был поражен прежде всего самой возможностью появления сочинения подобного рода, беспрецедентного в отечественной политической литературе. “Редактор его, – продолжал Штейнгель, – барон Корф. За исключением умолчаний, все сущая истина – и истина неизменно сознательная; конечно, не без увлечения сколько возможно унижить уничтоженных; но самый факт уже означает противное [...] Замечательно, что личность ничья не оскорблена”¹²³. Как видно, у Штейнгеля не вызвало возражения изложение фактической основы хода событий, однако в характере изложения он видит тенденциозное стремление “унизить уничтоженных”.

Столь же примирительным было мнение Е.П. Оболенского. 8 сентября он писал И.И. Пущину из Калуги: «Прочел я книгу “Восшествие на престол императора Николая I”, она не может подлежать никакому суждению. Это царственная тайна, раскрытая для всех, но общее впечатление, признаюсь, я его не могу определить. Ничего особенно резкого я не ощутил, но прочел с живым любопытством. Описание неполное и не может быть историческим документом. Оно не связано с предыдущим временем и потому не имеет полного смысла»¹²⁴. Именно то обстоятельство, что книга касается “запрещенного события”, подчеркивал, видимо, Корф, объясняя ее значение И.И. Пущину. Однако мнение Пущина оказалось резко отрицательным. Продолжая эту тему в переписке с М.И. Муравьевым-Апостолом, он писал ему 23 августа: “Корфова книга вам не понравится, я с отвращением прочел ее, хотя он уверял меня, что буду доволен. Значит, он очень дурного мнения обо мне. Совершенно то же, что в рукописной брошюре, только теперь не выставлены имена живых. Убийственная раблепная лесть убивает с первой страницы предисловия”¹²⁵.

Пущин не ошибся: отзыв брата казненного декабриста был предельно резок. 29 августа 1857 г. М.М. Муравьев-Апостол писал И.И. Пущину: “Я читал произведение пера вам некогда одноклассного. Не знаю, чему более удивляться – глупости или подлости. Во всяком случае, надобно

иметь медный лоб, чтобы явиться со своими восторженными возгласами, когда история не спешила произнести свой приговор. Факты тут. Все это, наверно, будет разобрано в своем месте, нет сомнения. Охота же себя добровольно привязывать к позорному столбу на посмеяние людей”¹²⁶. А за неделю до того, 22 августа, он еще определеннее высказался о своих ожиданиях: «Жду с любопытством, что скажет “Полярная звезда” при разборе панегирика. Есть простор перу”»¹²⁷.

Удара с этой стороны ждал, видимо, и сам Корф. Фигура Герцена – выдающегося писателя, непримиримого критика самодержавного строя, организатора русской бесцензурной печати – уже давно привлекла к себе внимание Корфа, и он был достаточно осведомлен об обличительно-публицистической деятельности лондонского изгнанника, о ее размахе и разящей силе ее полемических выпадов. Естественно, что все это Корф воспринимал с сугубо охранительных позиций, хотя и признавал литературную одаренность Герцена и его незаурядную роль в русском общественном движении оппозиционного толка. Выше мы цитировали отклик в дневнике Корфа за октябрь 1851 г. на выход в свет брошюры Герцена “О развитии революционных идей в России”. Сетуя на вестное распространение в стране этой “скверной” книги, Корф вместе с тем отмечает, “что в ней много справедливого”, а самого Герцена характеризует как человека “с гораздо примечательным талантом, нежели другие наши эмигранты”. Но в этой дневниковой записи оказалось утешительным то обстоятельство, что тогда же именно по инициативе Корфа – активнейшего члена “Бутурлинского комитета” – последний вынес вердикт о запрете хождения в России экземпляров брошюры и – попутно – об изъятии из продажи старых номеров “Отечественных записок” за 1840-е годы с циклом статей Герцена “Дилетантизм в науке”, исполненных “безрассудства и вольнодумства”¹²⁸. Но особую бдительность Корфа вызвало основание Герценом в Лондоне Вольной русской типографии. Обнаружив в ноябре 1853 г. в одной из немецких газет объявление о продаже ряда изданий типографии, Корф незамедлительно оповестил о том III Отделение, в результате чего такого рода объявления стали тщательно изыматься из всех поступивших в Россию иностранных газет¹²⁹.

Парадоксально, однако, что этот ревностный борец со свободным словом Герцена, верный страж “цензурного терроризма” в возведении преград на пути проникновения в Россию печатной продукции Вольной русской типографии явился, как теперь выясняется, едва ли не первым собирателем и библиографом ее изданий. Совсем недавно в Петербургском отделе Архива Академии наук, в бумагах академика А.Ф. Бычкова – ближайшего сподвижника Корфа по Публичной библиотеке, а впоследствии и ее директора – был найден в высшей степени любопытный документ: «Реестр произведений “вольной книгопечатни”, находящем (так в тексте. – *Авт.*) в особом картоне за моей печатью, от которой ключ хранится у старшего библиотекаря Бычкова». Это не что иное, как писанный собственноручно Корфом библиографический список изданий Вольной типографии, фиксирующий их с

1853 до 1857 г., хотя и не исчерпывающе, но весьма полно: из 33 выпущенных за тот период произведений здесь учтено 23 от самых первых изданий вплоть до 4-го листа “Колокола” со знаменитым герценовским “Письмом к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)”, появившимся в октябре 1857 г. “Реестр” датируется временем не ранее 1858 г., и сам факт его составления, скорее всего, был связан с выходом в свет сборника “14 декабря 1825 и император Николай”, равно как и вообще с развернувшейся как раз тогда полемикой Вольной русской печати с Корфом, которая, как увидим далее, не на шутку его встревожила. Собирал же Корф издания Вольной типографии по мере того, как они выходили в свет. В его распоряжение поступали их экземпляры, конфискованные на таможне и в почтовом ведомстве. Он заботился и о том, чтобы зарубежные комиссионеры Публичной библиотеки внимательно следили за движением на европейских книжных рынках вольных изданий Герцена и своевременно скупали их по запросам.

Так, летом 1856 г. В.Ф.Одоевский извещал из-за границы Корфа о получении заказанных им книготорговцу Шмидту книжек “Полярной звезды”. Еще одним источником получения вольных изданий были дипломатические каналы, в частности российское посольство в Берлине¹³⁰. Наконец, значительную роль в их собирании сыграл известный русский библиограф и коллекционер, корреспондент Вольной печати в Лондоне С.Д. Полторацкий, живший в те годы за границей и снабжавший Корфа ее изданиями.

23 апреля 1854 г. в ответ на предложение Полторацкого прислать очередную их партию Корф извещал его: “Часть мерзостей Герцена из русской его типографии дошла уже до нас и хранится в б-ке *за мою печатью*. Должно надеяться, что по принятым, вследствие моих указаний, от правительства мерам немного экземпляров проскочит в Россию, но если бы и много, спрашивается, какое бы они произвели действие и для кого, для каких классов написаны эти напыщенные гадости, которых даже и образованному молодому человеку, не говоря уже о простолудине, не достанет никогда терпения прочитать...”¹³¹. Корф действительно держал издания лондонской типографии за “семью печатями”. По регистрационным журналам поступавшей в Публичную библиотеку литературы видно, что они сразу же направлялись непосредственно к нему и хранились в особом режиме, не смешиваясь даже с книгами секретного отдела библиотеки, и никто, кроме Корфа и А.Ф. Бычкова, не имел к ним доступа¹³².

При создании коллекции вольных герценовских изданий Корф, несомненно, руководствовался интересами Публичной библиотеки, в частности стремлением обеспечить полноту комплектования ее фондов зарубежными изданиями о России. Не меньшую роль, однако, играли и соображения политического свойства, и здесь нельзя не отдать должное уму и проницательности Корфа, уже с первых шагов деятельности Вольной типографии распознавшего, какую опасность таят ее пропагандистско-разоблачительные материалы для царского режима, правящей династии и ее приверженцев.

Но вернемся к началу осени 1857 г.

Удовлетворенный широким распространением своей книги за рубежом, Корф проявлял беспокойство по поводу задержки в публикации английского перевода – он был подготовлен, как мы уже отмечали, преподавателем наследника Шау, а его издание взял на себя известный лондонский книгоиздатель Муррей. Наконец, в газете “Athenaeum” от 19 сентября 1857 г. Корф прочел о его выходе. Но в том же номере публиковалось сообщение, полученное редакцией от Ивана Головина, о готовящемся “Трюбнером и Ко” английском издании сочинения Корфа “Восшествие на престол императора Николая I” с введением и критическими примечаниями Александра Герцена. Так впервые в историю книги Корфа вплетается имя создателя Вольной русской печати за границей.

Примечательны размышления Корфа, вызванные этим оповещением: “Следственно и английскому нашему переводу являлся соперник – и какой еще? С введением и критическими примечаниями пресловутого Герцена–Искандера, который в мстительной своей ненависти к императору Николаю, к его памяти, даже к его имени не оставит облить все это желчью и ядом и которого работа, как нет сомнения, придется более по вкусу и более удовлетворит любопытство и чувство героев Альмы и Редана, чем наш невинный перевод!” “Жала Герцена, – продолжает Корф, – я непременно ожидал и еще ожидаю в русских его изданиях...”¹³³

Корф не ошибся, Герцен “не долго заставил себя ждать”.

“АНТИКОРФИКА”

В переписке Герцена нет упоминания о его намерении издать “Восшествие на престол императора Николая I” на английском языке. Вероятно, он сразу отказался от этой мысли, узнав об издании, готовившемся Мурреем. Реакция Герцена была моментальной; складывался другой замысел. О нем оповестил только начавший выходить “Колокол” – «Прибавочные листы к “Полярной звезде”», как первоначально именовалась газета. Его 4-й номер, от 1 октября 1857 г., открыло “Письмо к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)”, помеченное 20 сентября 1857 г., т.е. следующим днем после публикации в “Athenaeum”, – первый удар, нанесенный Герценом. Это было начало контрнаступления в борьбе за историческую оценку декабристов. В том же номере газеты сообщалось: «Редакция “Полярной звезды” намерена в самом непродолжительном времени издать разбор сочинения г. Корфа, “Донесения следственной комиссии и (приговора) Верховного уголовного суда 1826 года”, причем весь текст донесения и приговора будет перепечатан».

Таким образом, полностью оформилась идея “Антикорфики”, как именовал замысел Герцен; были определены характер и состав будущей книги. “Антикорфика” должна была дать в руки читателя наряду с критической оценкой самого сочинения и единственные доступные тогда документальные источники по истории движения. Но главный удар должен был нанести разбор самого сочинения. Данная установка была отражена в названии, которое получила книга: «14 декабря 1825 и император

Николай. Издано редакцией “Полярной звезды”. По поводу книги барона Корфа».

Редакция “Полярной звезды” имела прочную почву под ногами, чтобы столь оперативно откликнуться на петербургское издание*.

Тема декабризма сквозная в самосознании Герцена и Огарева. Не углубляясь в систематическое рассмотрение проблемы, достаточно освещенной в литературе, отметим лишь, что начало ее концептуальной разработки было положено статьей Герцена “Россия” в 1849 г. С самого начала декабризм вписывался Герценом в единую ткань русского исторического процесса, на нем была сосредоточена его мысль после крушения европейских революций 1848 г. Декабризм он понимает как результат усвоения Россией европейской цивилизации, привнесенной Петром, усвоения идеи свободы и одновременно как результат глубокого разрыва между носителем этой идеи – средним дворянством, его образованного меньшинства с правительством, с одной стороны, и народом – с другой. Именно в среднем дворянстве, писал Герцен, “таится зародыш и умственный центр грядущей революции”¹³⁴. Это положение лежит в основе раскрытия Герценом смысла восстания 14 декабря 1825 г., как отпущения грехов “всей касты, ее расчета за целый век”, как завершения петровского периода, подлинного приобщения к европейской цивилизации.

Уже в статье “Россия” Герцен высказывает свое суждение о возможном исходе выступления “этих героических людей, которые с горстью солдат вышли на Исаакиевскую площадь”. Именно в силу своего глубинного характера оно “было близко к успешному завершению”. Задаваясь вопросом, что произошло бы при таком исходе, он отвечал: “Народ и дворянство спокойно приняли бы *совершившийся* факт”¹³⁵.

Дальнейшее развитие концепция декабризма получила в увидевшей свет впервые на немецком языке в 1851 г. работе Герцена “О развитии революционных идей в России”. Этой книгой Герцен по-своему отмечал 25-летие царствования Николая I – 25-летие восстания декабристов.

Идею об определяющей роли революционного начала в общественном развитии и значении в этой связи 14 декабря в истории России Герцен дополняет характеристикой народа. Он исходит из посылки, что “крестьяне являются наименее прогрессивной частью всех народов”, в России это усугубляется тем обстоятельством, что “деревня осталась в стороне от реформы Петра”, “ни одна политическая идея до него (рус-

* Заряд против Корфа содержала и помещенная в том же 4-м номере “Колокола” убийственная заметка Герцена по поводу книги Альфонса Баллейды, в котором сам Корф видел, как уже упоминалось, соперника и плагиатора: “Несчастья не ходят в одиночку, – говорит Шекспир, – а толпою. Вслед за книгой статс-секретаря и кавалера Корфа явилась история императора Николая в двух томах, сочинение Баллейды. Этой книги мы совсем не понимаем. Ну, положим, Корф, статс-секретарь, кавалер, тайный советник, библиотекарь и не знаю что, имеет право на подобострастие перед Николаем. Но этот Баллейды (Альфонс) по доброй воле, по химическому средству написал книгу еще более верноподданническую!..

Но если “усердие все превозмогает”, то усердие с излишеством все портит. Нельзя заподозрить нас в симпатии к императору Николаю, а уж, и нам что-то сделалось жалко, что Корф и Баллейды выдают Николая и всех присных его на всеобщее посмешище, не щадя ни пола, ни возраста” (Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. С. 47).

ского народа. – *Авт.*) не дошла...”¹³⁶. Он остался в стороне. Противоборствующими силами стали “покровитель-деспотизм и покровительствуемая цивилизация”. Их первая битва произошла 14 декабря.

Заслуга декабристов – в попытке действенного претворения идеи свободы, вскормленной западной цивилизацией, в попытке осуществить прорыв из царства деспотизма в царство свободы. Само поражение послужило кристаллизации освободительных умоновстроений: “Безмолвному немому бездействию был положен конец, с высоты своей виселицы эти люди пробудили душу у нового поколения, повязка спала с глаз”¹³⁷.

Сам Герцен своей личностью, развернутой пропагандой как бы овеществил собственное понимание смысла декабризма. Создание альманаха «“Полярная звезда”, “третнего обозрения освобождающейся России», напрямую символизировало продолжение дела этих людей при новых исторических обстоятельствах: окончания царствования Николая I, ожиданий и надежды на возвращение императорства на путь реформ. Выход 1-й книги “Полярной звезды” намечался ко дню казни декабристов, но был задержан: она появилась в начале августа 1855 г. Открывавшая ее статья Герцена о новом издании и помещенное вслед за ней “Письмо к императору Александру II” были подчинены идее противопоставления обстоятельства вступления на престол Николая I и начала царствования Александра II.

Герцен призывает Александра II поначалу “дать свободу русскому слову и уничтожить крепостное право – спасти крестьянина от будущих злодейств”, спасти “его от крови, которую он должен будет пролить”¹³⁸. Герцен указывает императору на самоочевидную минимальность требований для государственного решения задач, поставленных декабристами и отринутых Николаем.

Первое письмо Искандера Александру II датировано 10 марта 1855 г., второе – “По поводу книги барона Корфа” – 20 сентября 1857 г. За это время была подведена черта под Крымской войной и лондонская пропаганда вступила в новую полосу. Вместе с приехавшим в Лондон Огаревым Герцен начинает с июня 1857 г. издавать газету “Колокол”. Пристально всматривались лондонские пропагандисты в события, происходившие в России.

Речь, произнесенная Александром II перед депутатами московского дворянства 30 марта 1856 г., содержала намек на намерение правительства освободить крестьян, внушала веру в понимание правительством неотложности приступа к реформам. Однако, подвергая внимательному разбору действия Александра II, “Полярная звезда”, “Колокол” обнаруживали крайнюю противоречивость его начинаний. В самом факте издания книги Корфа “по высочайшему повелению” руководители Вольной русской печати усматривали подтверждение тому. Они восприняли ее как знак отхода Александра II от реформистских намерений. Пропагандистский накал “антикорфики” питало стремление направить Александра II на путь реформ. Вместе с тем позиция, занятая лондонскими пропагандистами, опиралась на их глубокие раздумья о путях русского развития. Исходные постулаты – невозможность сохранения крепостного права и гибельность

кровавого народного возмущения – служили основанием развивавшейся ими теории “самодержавной революции”. Принимая эстафету от декабристов, они не могли не учитывать их опыт. Он корректировался убеждением об исходной цивилизующей роли императорства в России.

Еще в 1854 г. в письме к английскому публицисту В.Линтону (“Старый мир и Россия”) Герцен писал, что при определенных предпосылках импульс коренных преобразований в стране может исходить от трона: “Если бы русский престол достался действительно энергичному человеку, он стал бы во главе освободительного движения, он покрыл бы истинной славой конец петербургского периода и ускорил бы неизбежный процесс, который за отсутствием такого человека поглотит престол. Но для всего этого нужен Петр I, а не Николай”¹³⁹. Той же точки зрения придерживался и Огарев, разработавший для царя-реформатора целую программу будущих преобразований. Мысль об их исторической обусловленности он развил в публицистическом цикле “Русские вопросы”, с мая 1856 г. печатавшемся в “Полярной звезде”. Первая же статья цикла начиналась знаменательными словами: “Мы уверены, что император Александр освободит крепостных людей в России. Их нельзя не освободить, не подвергнув государство финансовому разорению, или дикой пугачевщине, или тому и другому разом”¹⁴⁰.

Как видим, Герцен и Огарев разделяли в ту пору распространенные в образованных кругах русского общества опасения на счет того, что при консервативных умонастроениях крестьянской массы, задавленной вековым феодальным угнетением, при отсутствии развитой политической жизни и демократических установлений “революция снизу” обернется в России всеразрушающим бунтом. В обстановке общественного подъема второй половины 50-х годов XIX в. и намечавшихся реформаторских поползновений правительства осознание этого объективного факта российской действительности явилось, быть может, одним из самых веских аргументов в пользу идеи “революции сверху”.

Неоконченная рукопись Огарева “Что бы сделал Петр Великий?”, над которой он работал в апреле–мае 1857 г., отражает стремление подвести теоретический фундамент под эту идею. Ставшее известным в Лондоне учреждение в январе 1857 г. Секретного комитета по крестьянскому делу свидетельствовало уже о серьезности намерений Александра II. Как видно из плана статьи, Огарев предполагал окончить ее обращением к царю. Статья-обращение должна была служить наказом, рекомендацией правительству, делающему первые шаги на пути к подготовке реформ. Предлагаемая Огаревым программа включала общую финансовую меру государства по выкупу крестьян с землей у помещиков, преобразование судебной и административной власти посредством замены чиновничества выборными администрацией и судом; ликвидацию цензуры; уничтожение рекрутства и сокращение численности армии; свободу вероисповедания; руководящую роль науки в жизни; гласность в самом широком смысле этого понятия.

Свою программу Огарев построил в форме предположений о том, как бы поступил Петр Великий, если б увидел Россию в ее теперешнем

положении. Идеализация Петра, которая пронизывает статью, была в значительной степени обусловлена ее назначением – активизировать правительство в его реформаторских усилиях. Огарев трактует императора как исторического деятеля, понявшего задачи момента и выразившего интересы нации в целом¹⁴¹.

Установка Герцена и Огарева на реформаторский потенциал монархической власти возникла не на пустом месте. Трагический исход декабрьского восстания 1825 г., крах попытки революционным насилием изменить государственный уклад России подтолкнули мыслящее русское общество к поискам иных путей исторического прогресса, иных способов социально-политического обновления страны. И практика “просвещенного абсолютизма”, особенно же прецедент Петра I, к которому, кстати, со второй половины 20-х годов неоднократно апеллировал николаевский режим, имела здесь наиважнейшее значение. Перспектива коренных преобразований все более связывалась в общественном сознании с деятельностью просвещающегося самодержавия, побуждаемого к тому политически и культурно наиболее развитыми слоями дворянства.

Это была по своей сути либерально-просветительская социологическая концепция, отвергающая революционный радикализм и ориентированная на эволюционное развитие страны. Взгляд на самодержавие как рычаг общественных преобразований, довольно емко выразившийся в тезисе “правительство у нас всегда впереди народа”, исповедовался в 1830–1840 гг. людьми самых разных идейных воззрений, так или иначе оппозиционно настроенных к господствующему строю. Едва ли не впервые сформулированные в 1832 г. П.Я. Чаадаевым такого рода взгляды не раз высказывались А.С. Пушкиным, П.А. Вяземским, литераторами и учеными, группировавшимися вокруг московских философских кружков, В.Ф. Одоевским, М.П. Погодиным, В.Г. Белинским, М.А. Фонвизиным и другими представителями дворянской и нарождающейся разночинской интеллигенции. Представление о том, что русское общество отстает от правительства, которое сооружает “прочный храм просвещения”, популяризировалось и исторической публицистикой “Московского телеграфа”¹⁴². Отметим в этой связи, что еще в 1836 г. и сам Герцен в “Отдельных замечаниях о русском законодательстве”, признавая, что “прогрессивное начало есть правительство”, отмечал: “Нигде правительство не становилось настолько перед народом, как в России”¹⁴³.

Таким образом, ставка Герцена и Огарева во второй половине 50-х годов на реформаторскую инициативу самодержавия может быть истолкована как своего рода итог длительного развития русской общественной мысли в ее стремлении нащупать наиболее приемлемый для национально-исторических условий России путь социально-экономических преобразований. Между тем в нашей литературе о Герцене и Огареве их теория “самодержавной революции”, “апелляция к царю” долгое время односторонне и уничижительно квалифицировались как отступничество от “единственно верной” революционной линии, как проявление идейно-политической непоследовательности, как “либеральные колебания” и т.д. Но, как явствует из сказанного, эта позиция была результатом не за-

блуждений, а учета реальной исторической ситуации, осознания нравственной ответственности за судьбы страны. Отчетливо понимая, что революция и реформа решают одни и те же исторические задачи, Герцен, Огарев и их единомышленники вплоть до начала 60-х годов отдавали все же предпочтение (хотя и с известными колебаниями) реформаторскому пути, позволяющему избежать кровавых катаклизмов с их совершенно непредсказуемыми социальными последствиями.

Первое публичное выступление Герцена по поводу книги барона Корфа – открытое письмо к Александру II в “Колоколе”, как бы синтезировало концепцию декабризма, ранее излагавшуюся Герценом, с идеей “самодержавной революции”. В то же время книга Корфа заставила Герцена и Огарева внести новый элемент в теоретические обоснования, которыми они пытались подкрепить свои надежды на “революцию сверху”. Деятельность Александра I, его либеральные устремления и замыслы государственных реформ рассматриваются как логическое продолжение петровских преобразований во имя дальнейшей европеизации России, приобщения к цивилизации Запада.

Такой же характер по своим конечным целям носило выступление декабристов, и в этом его историческое значение и место в общей цепи развития русской общественной жизни. Декабристами, таким образом, завершается петровский период русской истории¹⁴⁴. Но ныне преобразования, стоящие перед Россией, продолжающие стремления тайных обществ при Александре I и его самого, должны исходить из национальных условий русского крестьянского быта, его поземельного, общинного устройства, носить социальный, народный характер. Следовательно, смысл реформ, которых он ожидал от Александра II, Герцен рассматривал уже с позиций русского общинного социализма.

Широкий исторический подход к трактовке декабризма Герцен противопоставляет “жалкому, ложному, рабскому воззрению на события” Корфа.

Обращение Герцена к Александру II оказалось глубоко созвучным общественным настроениям в России. Об этом красноречиво свидетельствует отклик К.Д.Кавелина, имевшего широкие связи в университетских, журналистских кругах и в “верхах”. “Твое последнее письмо к императору по поводу книги Корфа, – писал он Герцену в начале 1858 г., – циркулирует в списках и производит неописанное действие. Ничего подобного наша литература действительно не представляла”¹⁴⁵. Не разочаровало оно и тех, кто ждал от Герцена правды о декабристах. М.И. Муравьев-Апостол нашел в выступлении Герцена истинность понимания: “Удивительно, как пишущий ясно понял, в чем дело, точно как будто он жил в то время и знал тех знаменитостей, которые уже давно предстали перед тем, который знает наши самые сокровенные, самые сердечные помыслы”¹⁴⁶.

Между тем в Лондоне шла напряженная работа. Выход книги предвлялся объявлениями в немецких газетах, оповещалось, что она будет издана в количестве 400 экземпляров в середине декабря 1857 г.¹⁴⁷ Герцен заблаговременно создавал вокруг книги Корфа общественное мнение.

Так, 12 ноября 1857 г. он писал французскому историку Ж. Мишле: «В России издано неким бароном Корфом сочинение о Николае. Против этого гнусного византийского раболепия и бюрократической подлости мы печатаем особый труд под заглавием “26 декабря 1825 и император Николай”. Издатель хочет одновременно выпустить и французский перевод. Один экземпляр позвольте вам предложить»¹⁴⁸. В 7-м номере от 1 января 1858 г. сообщалось о выходе книги в свет.

“14 декабря 1825 и император Николай” – сборник, в котором цельная историческая концепция опирается на документальные источники о движении декабристов. Предисловие к книге принадлежало перу Герцена. Обосновывая моральные и идейные побудительные причины создания сборника, Герцен пишет о духовном родстве издателей “Полярной звезды” со своими великими предшественниками и невозможности оставить без ответа “раболепную”, “тощую и неловкую книгу Корфа”. Вновь и вновь наставляя Александра на путь реформ, Герцен призывает его (и это новое в его аргументации) “понять наконец, как много общего (конечно, не в путях, а в цели) между стремлениями передовых людей России, составивших тайное общество при Александре I, и собственными стремлениями Александра II”.

Вслед за предисловием впервые были помещены публиковавшиеся после 30-летнего перерыва основные документы правительственной информации по делу декабристов: “Донесение Следственной комиссии” и Приговор Верховного уголовного суда. О “Донесении Следственной комиссии” было сказано выше. Что касается Приговора Верховного уголовного суда от 11 июля 1826 г., то он заключал в себе доклад императору от 8 июля 1826 г. и “Роспись государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям”, дополненные Указом Николая от 10 июля, определявшим “казни и наказания всем преступникам” (конфирмация). Проект Указа был подготовлен М.М. Сперанским и окончательно доработан им 10 июля после царской конфирмации. Указ завершало распоряжение Сенату издать “доклад Верховного уголовного суда и настоящее к нему постановление на всеобщее известие”.

Именно эти документы – “Донесение Следственной комиссии”, а также приложение к нему – “Список лиц, кои по делу о тайных злоумышленных обществах предаются по высочайшему повелению Верховному уголовному суду в силу Манифеста от 1-го числа июня сего 1826 года” и Приговор Верховного уголовного суда, состоявший из трех названных документов, – были воспроизведены в книге “14 декабря 1825 и император Николай”. Сверх того, были помещены еще три официальных документа: сенатское распоряжение об обнаружении Приговора Верховного уголовного суда с росписью осужденных и Указом Николая от 10 июля 1826 г., Выписка из протокола Верховного уголовного суда от 11 июля 1826 г., содержащая приговор о предании смертной казни через повешение пяти поставленных вне разряда и, наконец, Манифест от 13 июля 1826 г. (написанный М.М. Сперанским) о завершении суда над декабристами, которым Николай ставил точку в деле 14 декабря.

Общественно-политическую значимость лондонского сборника определяли помещенное далее “Письмо к императору Александру II” Герцена и завершавший его “Разбор книги Корфа”, включавший и разбор Донесения следственной комиссии. За стоявшей под ним подписью – “Р. Ч.”, т.е. “Русский человек”, скрывался Огарев; так он подписывал до 1858 г. свои статьи в “Полярной звезде” и “Колоколе”.

Как и подход Герцена, огаревский анализ движения декабристов был проникут принципом историзма. При этом он выдвигал на первый план социальный момент, рассматривая с этой точки зрения проблему “народ и декабристы”. Отсюда особое внимание к аграрной программе Пестеля, в котором Огарев видел деятеля, понявшего и выразившего своей программой потребности масс. Как и Герцен, переоценивая степень ее социального радикализма, в требовании “изменения экономического порядка в государстве, изменении земельной собственности так, чтобы все без исключения, участвовали в землевладении и на этом основании пролетариат в России был бы невозможен”, Огарев видел связь истории тайного общества декабристов “с общей историей государства, необходимость его основания и развития...”.

Именно политические мотивы восстания, считал Огарев, оставили народ равнодушным к нему. Лишь социальные требования – “освобождение народа от помещичьей и чиновничьей власти”, если бы они стали знаменем восстания, привлекли бы народ на его сторону. Вывод Огарева, что именно в изолированности от народа “внутренняя причина неудачи 14 декабря”, был перелит Герценом в чеканную форму в брошюре “Русский заговор 1825 года”: “В день восстания на Исааковской площади и внутри Второй армии заговорщикам не хватало именно народа”¹⁴⁹.

Как же смыкается постановка Огаревым вопроса о роли народа в революции с идеей “революции сверху”? Общая социологическая схема “самодержавной революции” в “Разборе” Огарева преломляется прежде всего через осмысление феномена Александра I. В своем толковании Огарев очень современен. Он высмеивает узкое, “пошлое” объяснение Корфом душевной драмы Александра, видевшего в ней выражение разочарования в человечестве и воспарение “от помыслов земных... к небесным”. Для Огарева Александр I – человек, сломленный в борьбе с враждебным ему общественным окружением, трагическая личность, в которой не состоялось осуществление намерений “человека с искренне-либеральным направлением, которое шло в одном русле со стремлением, жившем в обществе и готовившем 14 декабря”. Данный вывод Огарева глубоко историчен; он воссоздает общественную ауру начала века, когда тесно смыкались правительственный и общественный либерализм*. Ога-

* Широта подхода Огарева к оценке личности Александра I сглаживала несомненные противоречия, заложенные в его характере и выявившиеся в его действиях. Вместе с намерением отречения, заявленным в письмах 1796 г. к Кочубею и Лагарпу, он несколькими месяцами позже в письме к Екатерине II выразил желание царствовать. О том же говорит и его поведение в связи с заговором против Павла. Естественным продолжением неустойчивой позиции Александра в бытность наследником было все его царствование, крайними полюсами которого стали конституционные проекты, с одной стороны, и аракеевщина – с другой.

рев видит близость той ситуации переживаемому моменту и ставит перед Александром II альтернативу: стать выше своекорыстных интересов сил, заинтересованных в современном порядке вещей, и произвести социальные преобразования или же народ решит дело по-своему. Отдавая безусловное предпочтение разумной реформе перед “крутыми переворотами”, именно в воспитании общественного мнения усматривает Огарев значение тайных декабристских обществ. Следует сказать, что с обострением общественной ситуации на рубеже 50–60-х годов Огарев усиливает акцент на революционном смысле декабризма. В предисловии к “Думам” Рылеева он указал на генетическую связь движения декабристов с “революционной Европой”: он видит в нем заявление “общечеловеческого требования революции”. Определенность такой оценки отражала эволюцию в политических установках Огарева, вызванную неудовлетворенностью крестьянской реформой. Утопический смысл “русского социализма” смыкался в сознании Огарева с утопическим представлением о готовности русского крестьянства к революции. Значение тайных обществ декабристов он видел в том, что в них заключались “зачатки всех социальных и политических вопросов нашего времени”.

“Разбор” Огарева вместе с Письмом Герцена к Александру II был первым открытым свободным словом по поводу сочинения, закреплявшего правительственную версию декабризма. Только в августе 1858 г. издателям “Полярной звезды” стали известны два сочинения – “Разбор донесения Следственной комиссии 1826 г.” и “Взгляд на тайное общество в России (1816–1826)”, принадлежавшие перу М.С. Лунина, “одного из тончайших умов и деликатнейших”, – так отзывался о нем Герцен. Можно только удивляться, насколько разбор и оценка правительственной концепции, сделанные Огаревым и Луниным, оказались близки по своему духу, по своим принципиальным положениям и выводам. Огарев сумел увидеть суть фальсификации, очевидной для самого участника движения. Исходные позиции Лунина те же, что у Огарева: тезису о подражательности и случайности декабристских тайных обществ противопоставлялась мысль об их исторической обусловленности. Закljučая свой разбор, Лунин писал: “Донесение комиссии исполнено подробностей, которые не имеют прямого отношения к главному предмету... Мы не станем все опровергать: основания потрясены, здание должно рушиться. Заметим, однако ж, что комиссия умалчивает об освобождении крестьян, долженствовавшем возвратить гражданские права нескольким миллионам наших соотечественников”¹⁵⁰.

Соответствие идей декабристов насущным потребностям времени Лунин видел и в самой политике Николая I: “Ее общий ход не что иное, как постоянное отступление под защитой корпуса жандармов, перед духом тайного общества... который обхватывает ее со всех сторон...”¹⁵¹ “Разборы” Огарева и Лунина совпадают не только концепционно. Не менее удивительно, что Огарев, не имея никаких дополнительных источников, сумел в ряде случаев критически оценить “Донесение” с точки зрения сообщенных в нем фактических данных по истории движения и его участников.

Книга “14 декабря 1825 и император Николай I” обращена к русскому читателю. Но Герцен этим не ограничился. На ее основе возникла брошюра на французском языке “Русский заговор 1825 года”. Во вступлении Герцен писал: «Редакция “Полярной звезды” недавно издала у гг. Трюбнера и Ко сочинение на русском языке, озаглавленное “26 декабря 1825 года и император Николай”. Это довольно пространное опровержение официального рассказа об обстоятельствах, при которых совершилось восшествие на престол Николая, – рассказа, написанного неким статс-секретарем и *исправленного самим Николаем*: подлое сочинение евнуха, достойное византийского ритора или бонапартийского префекта.

Идя навстречу пожеланию *Международного комитета*, который так братски помянул наших мучеников в годовщину 26 декабря, мы написали это небольшое сочинение, сжатый пересказ основных фактов, приведенных в нашем труде»¹⁵².

В литературе справедливо отмечают фактологические изъяны брошюры “Русский заговор 1825 года”¹⁵³. Издатели “Полярной звезды” еще не располагали декабристскими материалами, которые станут позже к ним стекаться. Нельзя не отметить и с особой очевидностью сказавшуюся в ней идеализацию Герценом движения декабристов. Хотя и не может быть принята, как об этом справедливо писал И.В. Порох, точка зрения М.Н. Покровского, считавшего, что Герцен воспроизвел не историю, а создал легенду, написав революционный роман о декабристах¹⁵⁴. Момент идеализации создавала остро пропагандистская направленность брошюры, в которой недостаточность фактического материала восполнялась общими построениями, окрашенными утопическими идеями русского социализма. Ее значение, как и книги “14 декабря 1825 и император Николай”, – в освободительном пафосе, в трактовке движения декабристов как закономерного явления, уходящего своими корнями в русскую историю XVIII в. Подрывалась правительственная версия, внедрявшаяся в общественное сознание с первых официальных публикаций и окончательно закреплявшаяся книгой Корфа.

В настоящее издание включены два документа Корфа, запечатлевшие его реакцию на выступления Вольной русской печати. Первый из них – прямой ответ на публикацию в “Колоколе” “Письма к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)”. Письмо Герцена попало по назначению через шефа жандармов кн. В.А. Долгорукова царь передал “Колокол” Корфу. Его первым побуждением было оправдаться, произнести перед царем *plaidoyer**, как писал он Долгорукову 8 ноября 1857 г.

12 ноября Корф направил на имя Александра II докладную записку, к которой приложил обширное опровержение на Письмо Герцена. Движимый, по его словам, “священным для каждого русского желанием охранять свою честь перед лицом монарха”, Корф сводил свою роль в создании книги исключительно к роли исполнителя державной воли, ее

* Защитительная речь (англ.).

“органа”. При этом подчеркивал, что для него с самого начала было ясно, что он обречен стать объектом беспощадной критики. Корф стремился в своей “защитительной речи” перечеркнуть значимость доводов выступления Герцена, указывал на его “голословность”.

Действительно, Герцен, не занимаясь разбором фактов, отвергал книгу Корфа в целом, а также ее концепцию, этого Корф не хотел замечать. Правительственная позиция, на которой он стоял, исключала раскрытие смысла выступления декабристов с общеисторической точки зрения – это было лишь деяние “заговорщиков и мятежников”. Корф делает акцент на жертвах правительственного лагеря, игнорируя исходную идею выступления 14 декабря, которая определяла тактику восставших, – “убедить Сенат, а в случае необходимости принудить его не присягать новому царю, а подписать Манифест к русскому народу и опубликовать его во всенародное сведение. Все это и было бы началом революции”¹⁵⁵. В убийстве Милорадовича, смертельном ранении Стюрлера, ранении Шеншина, Фредерикса и Хвощинского, бывших по большей части спонтанными актами, вызванными конкретно сложившимися обстоятельствами, Корф видит всю суть, весь характер восстания.

“Защитительная речь” нашла полное понимание у Александра II. Он рекомендовал Корфу “плевать” “на бранные слова Герцена”, еще раз выражая автору благодарность “за сохранение для потомства одной из самых замечательных страниц нашей истории”¹⁵⁶, имея в виду обреченность поползновений ниспровергнуть освященный веками строй*. Когда в его руках оказалась книга “14 декабря 1825 и император Николай” (от знакомства с ней он упал в обморок), Корф решает публично ответить Герцену. Узнав об этом намерении, Герцен с издевкой запрашивал в № 14 “Колокола” от 1 мая 1858 г.: «Правда, ли что Модест Корф хочет ответить на нашу книгу “О 14 декабря 1825 года”? – Просим и желаем». Летними месяцами 1858 г. Корф берется за ответ. Написанные листки он озаглавил “Самовосхваление против Герцена”. Но рукопись осталась неоконченной, дополнив собой обширнейший архив Корфа. Характеризуя оба документа – оправдание перед Александром и “Самовосхваление”, – Б.Е. Сыроечковский справедливо писал, что они представляются “выразительными памятниками боренья двух душ, происходивших в груди николаевского сановника, раболепно служившего самодержавию и в то же время стремившегося уверить если не других, то хотя бы самого себя в том, что он не чужой и для либерального движения русской общественности...”¹⁵⁷.

* Выразительна карандашная запись под этим текстом, сделанная Корфом в день 50-летия своей службы – 9 июня 1867 г.: “После моей смерти и когда обстоятельства позволят прощу моего сына напечатать это оправдание его отца против человека, которому сам он с своей стороны давно в сердце простил, но которого нарекания должны быть опровергнуты во имя исторической истины”. Но когда до Корфа дошла весть о смерти Герцена, он здесь же написал: “Нет, смерть Герцена *прежде* меня слагает с моего сына исполнение этого завета. Теперь мой несчастный противник предстанет другому суду, нежели человеческий, и там определится, на чьей стороне была истина. 28 февраля 1870-го” (Там же. Л. 34–34 об.).

Несмотря на меры, заблаговременно принятые правительством, лондонское издание, преодолевая таможенные преграды, дошло до России, в том числе и до возвращенных из ссылки декабристов. Так, в Отделе редких книг Государственной публичной исторической библиотеки сохранился экземпляр книги “14 декабря 1825 и император Николай” (ОИК. № 48352) с владельческой пометой А.Ф. Бриггена: “фон дер Бриген”. Книгу прочитал даже в далеком Павловском заводе декабрист И.И. Горбачевский, сделал множество пометок на ее полях¹⁵⁸. В России она обрела вторую жизнь. Спустя год, в 1859 г., ее материалы – “Письмо к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)” и огаревский “Разбор” – были отлитографированы отдельным изданием московским студенческим революционным кружком “Библиотека казанских студентов”, а в феврале 1860 г. книга была отпечатана (без документальной части) Первой русской вольной типографией, основанной студентами Московского университета. Нелегальные издания имели большой успех¹⁵⁹.

Такова история этих двух книг-антагонистов, запечатлевших момент противостояния охранительной и оппозиционной мысли в истолковании события, во многом определившего историю русского освободительного движения.

Монархист Корф, при всей апологетике Николая I, окрашенной поддобострастием и сервиллизмом, впервые дал сводное, фактически насыщенное изложение событий междуцарствия и 14 декабря. Притом он немало способствовал мобилизации документальных материалов, будируя составление мемуарных записей их участников из правительственного лагеря, и, не будь этих ценнейших свидетельств, наши представления о династическом кризисе и восстании декабристов оказались бы существенно обедненными. Это был, так сказать, взгляд со стороны Зимнего дворца.

Книга Герцена–Огарева обозначила собой отношение к этим событиям противоположного лагеря. Ее значение далеко выходило за пределы задач обличительной критики сочинения придворного историографа. Заново открыв читателю основные официальные акты по истории следствия и суда над декабристами, Герцен и Огарев интерпретировали их в духе своих революционных историко-социологических воззрений. Не будем, однако, забывать, что книга “14 декабря 1825 и император Николай” зафиксировала тот рубеж, когда освободительная мысль в России не исчерпала еще надежд на государственное реформирование векового уклада жизни, на возможность глубоких социальных преобразований под эгидой верховной власти. Несмотря на публицистическую, а иногда и пропагандистскую заданность, “Разбор” Огарева и “Письмо” Герцена к Александру II отмечены пронизательностью суждений о деятельности тайных обществ, их программных целей и тактических средств, точностью понимания драматических событий, разыгравшихся на Сенатской площади, – и это при крайней ограниченности доступных им тогда источников. Герцен и Огарев впервые поставили декабризм в общие рамки российской истории XVIII – XIX вв., определили его место и исторический смысл.

Не будет поэтому большим преувеличением считать, что историко-публицистический узел, завязавшийся в связи с выходом книги Корфа, дал значительный импульс становлению в России научной историографии декабристского движения, которая в устоявшихся формах начинает складываться в 1860–1870-х годах благодаря публикации множества мемуарно-эпистолярных, литературных и документальных источников, первым попыткам их критического осмысления и появлению обобщающих исторических трудов (М.И. Богдановича, А.Н. Пыпина и др.). И если книга Корфа стимулировала оформление официально-монархической концепции¹⁶⁰, то сборник Герцена и Огарева положил идейное начало демократическому и либеральному (в широком значении данного понятия) направлению декабристской историографии. Вместе с тем, те моменты апологетики, которые имели место в трактовке декабризма Герценом и Огаревым, послужили вдохновляющим примером для складывавшегося с середины XIX в. левого политического радикализма.

Е. Рудницкая, А. Тартаковский

- ¹ Рус. старина. 1900. № 5. С. 274; 1901. № 7–9; 1903. № 2–10, 12; 1904. № 1, 2; Барону М.А. Корфу в день пятидесятилетия его службы. 9 июня 1867. СПб., 1867. С. 159; *Стасов В.В.* Граф М.А. Корф: Биогр. очерк // Рус. старина. 1876. № 2. С. 402–421; *Бычков А.Ф.* Граф М.А. Корф // Древняя и новая Россия. 1876. № 4. С. 325–339; Императорская Публичная библиотека за сто лет, 1814–1914. Спб., 1914. С. 184–334; *Каренин Вл. В.* Стасов. Очерк его жизни и деятельности. Л., 1927. Ч. I. С. 225–226; *Невелев Г.А.* А.И. Герцен и М.А. Корф // Проблемы общественной мысли и экономической политики России XIX–XX вв.: Сб. статей. Л., 1972. С. 119, 122.
- ² Рус. старина. 1870. Т. I. С. 410; 1901, № 7. С. 151; Сб. РИО. Спб., 1896. Т. 98. С. 1–100; Старина и новизна. Пг., 1917. Кн. 22. С. 148–203; *Корф М.А.* Брауншвейгское семейство. М., 1993. С. 16–19; Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. Спб., 1900. Т. 61. С. 446; *Каренин Вл.* Указ соч. Ч. I. С. 271, 272, 276–277, 279, 280; Неделя. 1966. № 10–12; Наука и жизнь. 1968. № 8. С. 100–106; *Эйдельман Н.* Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 156–161; *Мельников А.С.* Искушение чудом: “Русский принц”, его прототипы и двойники-самозванцы. Л., 1991. С. 206.
- ³ *Каренин Вл.* Указ. соч. Ч. I. С. 271–272, 274, 277–278, 284–289; В.В. Стасов: Материалы к библиографии. Описание рукописей. М., 1956. С. 124, 207–210, 214–215; Императорская публичная библиотека за сто лет. С. 330–332.
- ⁴ *Стасов В.В.* Граф М.А. Корф: Биогр. очерк. С. 402; *Стасов В.В.* Румянцевский музей. История его перевода из Петербурга в Москву в 1860–1861 гг. // Рус. старина. 1889. № 1. С. 114; *Каренин Вл.* Указ. соч. Ч. I. С. 258–259; *Стасов В.В.* Письма к родным. М., 1962. Т. III. Ч. I. С. 21.
- ⁵ *Салита Е.Г., Суворова Е.И.* Стасов в Петербурге. Л. 1971. С. 110–111; М.А. Балакирев и В.В. Стасов: Переписка. М., 1970. Т. I. С. 126, 395; *Стасов В.В.* Письма к родным. М., 1958. Т. II. С. 229; Т. III. Ч. I. С. 85; Летопись жизни и творчества Герцена, 1859 – июнь 1864. М., 1983. С. 48, 51, 55, 57, 335, 338, 348, 350, 354, 355, 366; и др.
- ⁶ Голос. 1876. № 3; *Авинов Н.Н.* Граф М.А. Корф и Земская реформа 1864 г. М., 1904. С. 13–18; *Гармиза В.В.* Подготовка Земской реформы 1864 года. М., 1957. С. 206–242; *Литвак Б.Г.* Переворот 1861 года в России: Почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. С. 228–243; *Эйдельман Н.* “Революция сверху” в России. М., 1989. С. 119, 137.
- ⁷ *Корф М.А.* А.С. Норов. Из дневника (1820) // Рус. арх. 1895. № 11. С. 346–353. Собственный дневник Корфа за 1838–1852 гг. с отдельными записями за 1864, 1867 и другие

- годы хранится в коллекции рукописного отделения Библиотеки Зимнего дворца. См.: Государственный архив Российской Федерации. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. I–XIV. (Далее: ГАРФ).
- 8 Рус. старина. 1899. № 7. С. 372; Там же. № 5–12; 1900. № 1–7; 1904. № 1, 2, 6. Писарская копия текста этой публикации была включена в состав многотомного собрания материалов по истории царствования Николая I. См.: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2271. Разр. XX.
- 9 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 380 (М.А. Корф). Д. 51. (Далее: ОР РНБ).
- 10 *Стасов В.В.* Граф М.А. Корф: Биогр. очерк. С. 418,419; *Бычков А.Ф.* Указ соч. С. 337; *Александренко В.* Переписка барона М.А. Корфа с князем М.А. Оболенским по поводу “Московских писем” // Журн. Мин=ва нар. просвещения. 1892. № 2. С. 428–438; Императорская Публичная библиотека за сто лет. С. 288–290; *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч: В 10 т. М.;Л., 1951. Т. X. С. 594, 595; *Невелев Г.А.* Указ. соч. С. 122.
- 11 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 1. Л. 22–23; ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2271. Разр. XX. Т. 1. Л. 7–7 об.
- 12 Рус. старина. 1899. № 7. С. 29; № 9. С. 498.
- 13 Там же. № 11. С. 273.
- 14 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2070. Л. 1–20.
- 15 Там же. Д. 1817. Т. X. Л. 158.
- 16 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 3–7; Рус. старина. 1900. № 3. С. 549.
- 17 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XI. Л. 111 об.
- 18 *Невелев Г.А.* А.И. Герцен и М.А. Корф. С. 120; *Эйдельман Н.Я.* Герцен против самодержавия. М., 1984. С. 25.
- 19 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 15 (курс. наш. – Авт.).
- 20 *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1966. М., 1958. Т. XIII. С. 503; *Порох И.В.* Герцен и революционные традиции декабристов // Из истории общественного движения и общественной мысли в России. Саратов, 1968. Вып. 2. С. 56; *Нечкина М.В.* Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 11.
- 21 *Нифонтов А.С.* Россия в 1848 году. М., 1949. С. 45.
- 22 *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. XIII. С. 503 (коммент. И.В. Пороха).
- 23 *Нечкина М.В.* Движение декабристов. Т. 1. С. 12.
- 24 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 8–8 об.
- 25 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XI. Л. 117–117 об.
- 26 Корф сообщает, что он получил от наследника восемь или десять листков описания этих событий Николаем I. Речь идет о четвертой тетради рукописи Записок Николая I (см. наст. изд., с. 334–341). Рукопись сочинения Корфа со вставками и пометками царя, которую Александр Николаевич вручил в дар Корфу, находится, как и его дневник, в коллекции рукописей Библиотеки Зимнего дворца (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1405. Ч. 1). Для себя наследник велел переписать другой экземпляр, сделал на нем “ все поправки и дополнения по отметкам батюшки” (все заметки Николая на текстах книги Корфа см. в наст. изд., с. 342–348).
- 20 февраля 1848 г. на балу у Клейнмихеля Николай в разговоре с Корфом сказал, что прочел его работу “с большим любопытством” и что “сделал еще некоторые заметки”. “К сожалению, – продолжал он, – я многого в свое время не записывал, а на память не всегда положиться можно. Но жена записывала и обещает показать мне свои записки, по которым, может статься, можно еще будет кой-что дополнить” (Там же. Д. 1817. Т. XI. Л. 117 и об.).
- 27 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XI. Л. 142.
- 28 В отношении свидетельств, представленных Орловым, Николай заметил в разговоре с Корфом: “Орлов столько раз уже рассказывал эту историю, что наконец и сам более не знает, что осталось в его рассказах правды и что он в разные времена приводил для прикрасы” (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XII. Л. 60).
- 29 Записка Корфа к наследнику, содержащая эту просьбу, вернулась с резолюцией: “Описание происшествий 25-го года представляю вашему строгому выбору для сообщения доверенным лицам. Я сам желал бы иметь копию” (Там же. Т. XI. Л. 216; Д. 2073. Л. 5).
- 30 Там же. Л. 219 об. Еще одна копия была сделана для вел. кн. Константина Николаевича. См.: Там же. Л. 279 об.

³¹ ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 8.

³² ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XII. Л. 30 об.

³³ Там же. Л. 52 об. Рукопись дополнений с замечаниями Николая I см.: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1405. Ч. II. См. наст. изд., с. 348–351. Что касается просьбы Корфа предоставить ему частную переписку членов императорского дома в период междуцарствия, а также рескрипт Константина председателю Государственного совета кн. П.В. Лопухину, отвергший принесенную ему присягу, то Николай написал по этому поводу: “Переписку нашу мудроно собрать, не знаю где, равно не знаю, где и рескрипт о том К.П-ча к князю Лопухину” (Там же. Д. 1817. Т. XII. Л. 53).

³⁴ Там же. Л. 52 об.–53.

³⁵ Там же. Л. 283 об., 321 об.

³⁶ ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 40–40 об. Корф поместил здесь начало записки Филарета по копии, снятой с оригинала, предоставлявшегося ему Александром Николаевичем.

³⁷ В журнале Государственного совета было сказано, что рескрипт по прочтении там был взят государем к себе обратно. Но найденный теперь экземпляр, как сообщает Корф, был “не подлинный, а копия, хотя в некотором отношении тоже подлинная: она написана рукою Адлерберга... и скреплена в верности самим Государем и в том виде доставлена была покойному вел. кн. с адресом, тоже собственной руки Государя” (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XII. Л. 284).

³⁸ ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 36 об. На записке Сухозанета вел. кн. Михаил Павлович, которому были показаны эти новые дополнительные материалы, сделал некоторые отметки, дополненные генерал-адъютантом А.И. Философовым, бывшим 14 декабря бригадным адъютантом гвардейской конной артиллерии.

³⁹ С этим, кстат, связано первое упоминание в дневнике Корфа имени А.И. Герцена. 1 ноября 1849 г. он записывает разговор с царем за обедом, на который был приглашен после назначения на новую должность. Развивая перед Николаем планы своей деятельности на новом поприще, Корф высказался о желательности книжного обмена Публичной библиотеки с Парижской национальной библиотекой. Ответ последовал замечательный: “Да кто же там станет читать?.. Разве что каналы, наши изменники и беглецы: благодаря за таких беглецов. А пробы де каналы, – продолжал Государь, обращая этим разговор, бывший за столом, в общий, – теперь в Лепциге завелось опять два мошенника, которые пишут и интригуют против нас: какой-то Сазонов и известный Герцен, последний был уже у нас в руках и сидел; но mercé а М-ге Жуковский, употребил тут в ходатайство Сашу (наследника) и вот благодарность этого подлеца за помилование!” (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XII. Л. 277 об.).

Как видим, Николай запомнил поддержку, оказанную Жуковским отцу Герцена для освобождения из ссылки его сына. И хотя сведения царя о местонахождении Герцена в этот момент были ошибочны, видимо, он что-то знал о действительно вынашивавшихся издательских замыслах двух русских эмигрантов. Многозначительна настороженность русского царя к возможной литературно-обличительной деятельности упущенного из рук пленника. Опасения оказались пророческими и по отношению к Николаю, и по отношению к Корфу.

⁴⁰ ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 53 об.–54.

⁴¹ ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Т. XIII. Л. 16 об.

⁴² ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 43 об.–44.

⁴³ ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1405. Ч. III. Пояснения и поправки Николая, приведенные Корфом в его “Исторической записке”, в ряде случаев раскрывают первоначальные источники сведений, вновь введенных в книгу о 14 декабря. Так, новое освещение эпизода, касающегося карточки, направленной против мятежников, Корф, как выясняется, почерпнул из записок К.Ф. Толя.

⁴⁴ Беспокойство Корфа по поводу того, что у Баллейде может оказаться текст его книги, было не столь уже беспочвенным. Несмотря на строжайший запрет, наложенный Николаем I на распространение ее первых изданий, они расходились в столичном обществе и вне придворного круга. Это обстоятельство отметил сам Корф в “Исторической записке”: “Многим мое сочинение уже было известно по двум первым его изданиям, щедро раздававшимся теми, которые их получили, направо и налево, или по рукописным копиям” (ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 79 об.). Это же он удостоверил и в письме к В.Ф. Ад-

- лербергу 12 августа 1857 г.: “Я могу Вам подтвердить, господин граф, что при первой публикации этого описания (декабрь 1848) оно циркулировало в сотнях и тысячах рукописных копий (я видел их сам не только в салонах, но и в книжных лавках)”. См.: Там же. Л. 74 об., подл. по фр. Рукописные экземпляры первого издания книги Корфа сохранились до настоящего времени в архивах. См.: *Невелев Г.А.* А.И. Герцен и М.А. Корф. С. 121–122.
- 45 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 49–51 об.
- 46 *Невелев Г.А.* А.И. Герцен и М.А. Корф. С. 122–123.
- 47 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 51 об.–53.
- 48 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2073. Л. 16.
- 49 В записи под 31 октября 1851 г., отмечая нарушения предписания Комитета по делам книгопечатания, требующего, чтобы экземпляры всех входящих из-за границы книг представлялись из таможни не прямо к книгопродавцам, а в Комитет цензуры иностранной, Корф пишет: «Теперь, например, скверная, и особенно скверная тем, что в ней много справедливого, книга Герцена “Du développement des idées revolutionnaires en Russie”, только что вышедшая в Париже, кажется, уже здесь в руках у всех. Не помню, говорил ли я когда-нибудь о Герцене, человеке с гораздо примечательным талантом, нежели другие наши эмигранты. Он – побочный сын бывшего некогда Московского сенатора Яковлева и давно уже писал в России. Все его статьи у нас, большую частью в “Отечественных записках” и “Современнике”, были наполнены пропагандой и самыми дерзкими идеями; но благодаря накинутому на них покрову, впрочем очень прозрачному, разных иносказаний и отвлеченностей, свободно пропускаемых цензурой, при слабом, до происшествий 1848-го года, ея действий»(ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XIV. Л. 89–89 об.).
- 50 *Эйдельман Н.Я.* Тайные корреспонденты “Полярной звезды”. М., 1966. С. 126; *Он же.* Герцен против самодержавия. М., 1984. С. 34; *Порох И.В.* А.И. Герцен о революционных традициях декабристов. С. 55.
- 51 Полярная звезда. Факс. изд. М., 1968. Кн. IX: Комментарии и указатели к I–VIII книгам. С. 15, 29, 54.
- 52 *Басаргин Н.В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 426.
- 53 *Сокольский Л.А.* Возвращение декабристов из сибирской ссылки // *Декабристы в Москве*: Сб. ст. М., 1963. С. 228–235.
- 54 Там же. С. 224–225.
- 55 *Сиверс А.А.* К истории декабристов после амнистии 1856 года // *Дела и дни.* 1920. Кн. 1. С. 410 (курс. наш. – *Авт.*).
- 56 Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. М., 1951. С. 449.
- 57 В бумагах Корфа имеются выписки под названием “Дополнения к истории 14 декабря из записок графа Бенкендорфа” (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2073. Л. 23 и об.). Эти записки были обнаружены после его смерти в 1844 г. и представлены Николаю I. Подлинник хранится в составе рукописных материалов библиотеки Зимнего дворца (Там же. Кн. 3. Д. 1353).
- 58 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 1. Л. 64. Вся работа по организации переводов была осуществлена Корфом. По мере набора, корректура, передавалась для перевода на французский язык Ф.М. Толстому, на немецкий – библиотекарю Публичной библиотеки В.Е. Гену, на английский – преподавателю наследника Шау. Французский и немецкий переводы были отредактированы Корфом. Право на издание польского перевода после выхода книги было приобретено издателем польской газеты в Петербурге “Гудовник” О.А. Пржецлавским. О печатании книги на французском языке в Париже было заключено соглашение с издателем Бенжаменом Дюпре, на немецком – во Франкфурте с книготорговцем Иосифом Бером на условиях половинных издержек и половинных прибылей. См.: Там же. Л. 64–65 об.
- 59 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2073. Л. 27; ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 66–67 об. Сверх этого общего тиража на простой бумаге было отпечатано также 1000 экземпляров – на веленовой.
- 60 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 67–68 об.
- 61 *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. XIII. С. 440.
- 62 *Порох И.В.* А.И. Герцен и революционные традиции декабристов. С. 58; *Герасимова Ю.И.* К истории издания произведений декабристов в годы первой революционной ситуации в России // *Федоровские чтения.* М., 1977. С. 44.

- 63 Помимо экземпляров, врученных Корфом всем членам императорской семьи, “наличным и отсутствовавшим”, он разослал безвозмездно экземпляры в Академию наук, в Эрмитаж, во все университеты. Продажа книг книготорговцам (за наличный расчет), непосредственно частным лицам и рассылка иногородним (без оплаты за пересылку) осуществлялись Публичной библиотекой под надзором Корфа. 200 экземпляров книги были взяты из библиотеки для ведомства военно-учебных заведений. Вопреки воле Корфа и материальным интересам библиотеки типография отпечатала еще 100 экземпляров для бесплатной раздачі чиновникам II Отделения императорской канцелярии.
- 64 Восшествие на престол императора Николая I-го / Составлено по высочайшему повелению статс-секретарем бароном Корфом. Четвертое изд. (второе для публики). СПб., 1857.
- 65 То же. Пятое изд. (третье для публики). СПб., 1857; ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 96–98, 101 и об.; 103 об. –105.
- 66 Там же. Л. 79, 82 и об., 85 об.
- 67 *Порох И.В. А.И. Герцен о революционных традициях декабристов.* С. 62.
- 68 Санкт-Петербургские ведомости. 1857. 6, 18 авг.; Северная пчела. 1857. 12 авг.; Рус. инва-лид. 1857. 28 авг.; Современник. 1857. № 9. Современное обозрение. С. 130–132; Библио-тека для чтения. 1857. Т. 146. Ноябрь. С. 29–31.
- 69 *Герасимова Ю.И.* К истории издания произведений декабристов в годы первой револю-ционной ситуации в России. С. 44.
- 70 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 70.
- 71 Там же. Л. 65 об., 85 и об., 87 об.–92; *Геннади Г.* Справочный словарь о русских писате-лях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях. Берлин, 1880. Т. II. С. 165; *Невелев Г.А.* А.И. Герцен и М.А. Корф. С. 127.
- 72 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2563. Л. 8 и об.
- 73 *Невелев Г.А.* Истина сельнее царя... М., 1985. С. 40.
- 74 А.Д. Боровков и его автобиографические записки // Рус. старина. 1898. № 11. С. 348.
- 75 *Розен А.Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 191.
- 76 *Карамзин Н.М.* Воспоминания К.С. Сербиновича // Рус. старина. 1874. № 10. С. 259; 1898. № 11. С. 348.
- 77 Рус. арх. 1905. № 3. С. 425; *Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1928. Т. II. С. 269–270.
- 78 *Невелев Г.А.* “Истина сильнее царя...” С. 22–24; Рус. старина. 1898. № 11. С. 349.
- 79 *Шебунин А.* Движение декабристов в освещении иностранной публицистики // Бунт дека-бристов. Л., 1926. С. 284–310.
- 80 Там же. С. 293.
- 81 *Модзалевский Б.Л.* Записка о “Донесении Следственной комиссии” // Декабристы. М., 1925. С. 50; *Порох И.В.* Еще раз по поводу записки о “Донесении Следственной комис-сии” // В сердцах отечества сынов. Иркутск, 1975. С. 226–230.
- 82 *Тургенев Н.И.* Ответы: 1. На IX главу книги “Граф Блудов и его время” Е.Ковалевско-го... Париж, 1867. С. 15.
- 83 *Гессен С.* Декабристы перед судом истории. Л.; М., 1926. С. 12, 15.
- 84 *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки: Памфлеты эмигранта, 1860–1867. М., 1934. С. 248.
- 85 ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д.471. (Черновой проект всеподданнейшего донесения следственной комиссии о злоумышленных обществах, составленного графом Дмитрием Николаевичем Блудовым). Ч. 1, 2, 3; Восстание декабристов. М., 1980. Т. XVII. С. 257.
- 86 Там же. С. 32, 35, 36, 41, 46, 47, 50 и др.
- 87 Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981. С. 131.
- 88 *Лунин М.С.* Письма из Сибири. М., 1987. С. 73, 322, 420.
- 89 Восстание декабристов. Т. XVII. С. 65–68, 257.
- 90 Рус. старина. 1898. № 11. С. 438.
- 91 *Эйдельман Н.Я.* М.С. Лунин и его сибирские сочинения // Лунин М.С. Письма из Сибири. М., 1987. С. 323.
- 92 См. об этом: *Парадизов П.* Очерки по историографии декабристов. М.;Л., 1928. С. 145–49.
- 93 Мемуары декабристов. Северное общество. С. 131.
- 94 *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С. Пушкина: Библиогр. описание. СПб., 1910. С. 36; *Гессен С.* Источники десятой главы “Евгения Онегина” // Декабристы и их время. М., 1932. Т. II. С. 130–160.

- ⁹⁵ Лунин М.С. Письма из Сибири. С. 67-72; Трубецкой С.П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. Т. 1. С. 354; Фонавизин М.А. Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С. 195-197.
- ⁹⁶ Добролюбов Н.А. Полн. собр. соч.: В 6 т. М., 1937. Т. IV. С. 443-444, 544.
- ⁹⁷ Крас. арх. 1925. № 6 (13). с. 315-319; Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь "умственные плотины". М., 1986. С. 295-297; Эйдельман Н. Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 114-115.
- ⁹⁸ А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 416.
- ⁹⁹ Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. М., 1985. С. 338-340; Невелев Г.А. "Истина сильнее царя...". С. 9-10.
- ¹⁰⁰ Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа: Полит. соч. Письма. М., 1963. С. 39-41, 318, 331.
- ¹⁰¹ Рус. обозрение. 1894. № 10. С. 234; Рус. старина. 1899. № 7. С. 8.
- ¹⁰² Отечественные записки. 1826. Т. 24. С. 414-434.
- ¹⁰³ Там же. 1830. Т. 117, 118, 121, 122.
- ¹⁰⁴ Памятная книжка Императорского Александровского лицея на 1855-1856 год. СПб., 1855. С. 78-79.
- ¹⁰⁵ Глинка В.М., Помарнацкий В.А. Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1981. С. 29.
- ¹⁰⁶ Левкович Я.Л. К цензурной истории сочинений А.А. Бестужева // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 294-301; Зильберштейн И.С. Художник-декабрист Николай Бестужев. М., 1988. С. 363-368.
- ¹⁰⁷ Рус. арх. 1910. № 2. С. 396.
- ¹⁰⁸ Рус. старина. 1899. № 7. С. 8.
- ¹⁰⁹ Летописи Государственного литературного музея. М., 1938. Кн. III. С. 24.
- ¹¹⁰ Зильберштейн И.С. Указ. соч. С. 522-531.
- ¹¹¹ Оксман Ю.Г. В.Г. Белинский и политические традиции декабристов // Декабристы в Москве. М., 1963. С. 185-186.
- ¹¹² Тридцатилетие Европы в царствование императора Николая I / Соч. Р. Зотова. СПб., 1857. Ч. 1-2.
- ¹¹³ Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. С. 102.
- ¹¹⁴ Невелев Г.А. А.И. Герцен и М.А. Корф. С. 117.
- ¹¹⁵ Нечкина М.В. Движение декабристов. Т. 1. С. 11, 12; Порох И.В. А.И. Герцен о революционных традициях декабристов. С. 32.
- ¹¹⁶ ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 69 об., 83 об., 85 об.
- ¹¹⁷ Санкт-Петербургские ведомости. 1857. 6, 18 авг.
- ¹¹⁸ Современник. 1857. № 9; Современное обозрение. С. 130, 132.
- ¹¹⁹ ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 71-77 об., 79-83 об., 86, 106-106 об.; Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. С. 35-39.
- ¹²⁰ Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. С. 35; Пуцин И.И. Записки о Пушкине: Письма. М., 1957. С. 322.
- ¹²¹ Пуцин И.И. Записки о Пушкине: Письма. С. 365.
- ¹²² Трубецкой С.П. Материалы о жизни и революционной деятельности. М., 1983. Т. 1. С. 293-310.
- ¹²³ Декабристы: Летописи Государственного литературного музея. Кн. III. С. 394.
- ¹²⁴ Там же. С. 257.
- ¹²⁵ Пуцин И.И. Записки о Пушкине: Письма. С. 327. По возвращении Пуцина из ссылки Корф при встречах с ним (декабрь 1856 - июль 1857 г.) ознакомил его, видимо, с рукописным экземпляром одного из "секретных" изданий своей книги. См.: Эйдельман Н. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 219.
- ¹²⁶ Декабристы: Летописи Государственного литературного музея. Кн. III. С. 217.
- ¹²⁷ Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. С. 504 (коммент. И.В. Пороха).
- ¹²⁸ Летопись жизни и творчества А.И. Герцена, 1851-1858. М., 1976. С. 49-50.
- ¹²⁹ Там же. С. 170.
- ¹³⁰ Грин Ц.Н. М.А. Корф - библиограф Вольной русской печати // Историко-библиографические исследования: Сб. науч. тр. СПб., 1993. С. 44-53; Летопись жизни и творчества Герцена... С. 197.
- ¹³¹ Грин Ц.Н. Указ. соч. С. 52.
- ¹³² Летопись жизни и творчества Герцена...С. 196, 262; Эйдельман Н.Я. Тайные корреспонденты "Полярной звезды". М., 1966. С. 44-45.

- 133 ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 94-94 об., 95.
- 134 Герцен А.И. Собр. соч. Т. VI. С. 215.
- 135 Там же. С. 216.
- 136 Там же. Т. VII. С. 174, 175.
- 137 Там же. С. 201.
- 138 Полярная звезда. Кн. 1. С. 13.
- 139 Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. С. 195.
- 140 Озарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения. М., 1952. Т. 1. С. 105.
- 141 Там же. М., 1956. Т. 2. С. 24-30.
- 142 Оксман Ю.Г. Белинский и политические традиции декабристов // Декабристы в Москве. М., 1963. С. 206-207, 210; Он же. Новое издание Герцена // Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка. 1956. Т. XV, вып. 2. С. 163-170; Андреева Т.В. Русское общество и 14 декабря 1825 г. // Отеч. история. 1993. № 2. С. 157-160; Ремезова Н.Г. Из истории осмысления опыта восстания декабристов: (К постановке проблемы революции и реформ в 1826-1830 гг.): Автореф. ... канд. ист. наук. Саратов, 1973. С. 13.
- 143 Герцен А.И. Собр. соч. Т. I. С. 320.
- 144 Там же. Т. XIII. С. 44.
- 145 Литературное наследство. Т. 62. С. 385.
- 146 Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. С. 505.
- 147 Там же. Т. XXVI. С. 124; ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 108.
- 148 Герцен А.И. Собр. соч. Т. XXVI. С. 135-136.
- 149 Там же. Собр. соч. Т. XIII. С. 144.
- 150 Полярная звезда. Лондон, 1859. Кн. V. С. 63.
- 151 Там же. С. 237.
- 152 Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. С. 128. Впервые "Русский заговор 1825 года" опубликован на французском языке в журнале "Bulletin de Association Internationale", перепечатан в виде брошюры под заглавием "Le conspiration russe de 1825, suivie d'une lettre sur l'emancipation des paysans en Russie par Iscander (A.Herzen)". Londres, 1858. Вслед за текстом "Русского заговора 1825 года" в брошюре была помещена заметка Герцена под названием "Первый шаг в освобождении крестьян в России", подчеркивавшая внутреннюю связь целей декабристов с современным моментом. Итальянский перевод брошюры был напечатан в газете "Italia del Popolo", № 51, 52 от 20 и 21 февраля 1858 г. Что же до книги "14 декабря 1825...", то на немецком языке она была издана в том же 1858 г. в Гамбурге под названием: «Die russische Verschwörung und der Aufstand vom 14. December 1825: Eine Entgegnung auf die Schrift des Baron Modeste Korff: "Die Thronbesteigung Kaiser Nikolaus I. von Russland im Jahre 1825" von Alexandre Herzen». Русское издание разошлось примерно в два месяца: последнее объявление в "Колоколе" о книге "14 декабря 1825 и император Николай" помещено в номере от 15 февраля 1858 г.
- 153 Перечень основных фактических ошибок и неточностей, допущенных Герценом, сожржится в книге П. Парадизова "Очерки по историографии декабристов" (М.; Л., 1928).
- 154 Порох И.В. Герцен и революционная традиция декабристов // Из истории общественно-го движения и общественной мысли в России. Саратов, 1968. Вып. 2. С. 30.
- 155 Нечкина М.В. День 14 декабря 1825 года. М., 1975. С. 59.
- 156 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2073. Л. 34.
- 157 Цит. по: Крас. арх. 1925. № 3 (10). С. 309-310.
- 158 Заметки Горбачевского касались главным образом характеристик отдельных декабристов и Общества соединенных славян, содержавшихся в "Донесении Следственной комиссии", а также описания в нем самого восстания и последовавших за ним арестов. В "Разборе" Огарева его привлекла характеристика Следственной комиссии и Верховного уголовного суда. Оценки Горбачевского, как отметил скопировавший их И.Г. Прыжов, были очень близки оценкам Герцена и Огарева. См.: Пушкарев Л.Н. Неизвестные заметки декабриста И.И. Горбачевского // Вопр. истории. 1952. № 12. С. 128; Декабристы в Сибири и на Петровском заводе. М., 1985. С. 202-209
- 159 20 мая 1859 г. жандармский полковник доносил в III Отделение из Москвы: "По слухам, издание это литографировано в значительном количестве и все уже разошлось; назна-

ченная ценность оному так незначительна, что доступна для каждого желающего приобрести оное. Издание это заключается из 48 страниц самого мелкого письма с портретом Огарева, стоящее 65 коп. серебром за экземпляр; но желающих приобрести его так много, что некоторые платили вдесятеро дороже стоимости” (*Козьмин Б.П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 148*). Студент Московского университета писал товарищам в Киев, что “Разбор книги Корфа” был отлитографирован в количестве 300 экземпляров и разошелся в течение одного дня. По другим свидетельствам, это произведение было литографировано в количестве 600 экземпляров. См.: *Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов. М.; Л., 1923. С. 29*. Типографское воспроизведение книги потребовало огромной самоотверженности издателей. Очевидец свидетельствовал: “Издатели были люди без всяких средств и по окончании своей операции очутились без хлеба, без сапогов, без одежды; все было заложено или продано. Компания голодала по целым дням, на троих была у них пара туфель и старое студенческое пальто. В жестокие морозы комната их не топилась по неделям...” (*Кушова Е. Еще о книге “14 декабря 1825 года” // Книжные новости. 1938. № 1. С. 48*).

¹⁶⁰ Влияние книги Корфа не ограничивалось, однако, рамками официальной историографии. Даже В.О. Ключевский, весьма далекий по своим воззрениям от ее позиций, в 5-й части “Курса русской истории” использовал эту книгу в освещении междоусобицы и восстания декабристов, рекомендуя корфовский труд своим слушателям и читателям: “Я изложил событие 14 декабря кратко, имея в виду книгу, к которой можно обратиться для более близкого знакомства с событием: это “Восшествие императора Николая на престол”, барона Корфа [...] книга очень верно воспроизводит события только не все; подробнее изложена заметка о престолонаследии; мимоходом описывается история тайного общества, как и условия его подготовившие” (*Ключевский В.О. Сочинения. М., 1958. Т. 5. С. 255, 403, 405*).

14 ДЕКАБРЯ 1825

и

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ

издано редакціей

ПОЛЯРНОЙ ЗВѢЗДЫ

По поводу книги Барона Корфа.

LONDON

TRÜBNER & Co., 60, PATERNOSTER ROW.

1858

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	68
Донесение следственной Комиссии 30 мая 1826	71
Верховный Уголовный Суд	123
Письмо к Императору Александру II	151
Разбор Книги Корфа	159

В Аугсбургской газете от 28 декабря мы прочли объявление о третьем официальном издании книги Корфа – и долгом считаем довести до сведения правительства, что оно жестоко ошибается, если думает, что расход книги Корфа основан на сочувствии публики. Книги, печатаемые по распоряжению правительства, обычно отправляются к лицам, начальствующим в присутственных местах, к губернаторам, вообще к лицам власти имеющим. Эти господа заставляют своих чиновников брать экземпляры оной книги, вычитая за нее деньги из их жалованья, или навязывают покупку оной книги и не служащим людям, имеющим с ними сношения, зная, что всякий возьмет экземпляр из опасения подпасть под надзор III отделения. Вот причина большого расхода подобных книг. Мы убеждены, что, узнав это, и сам государь не захочет пользоваться таким недостойным средством для продажи жалкой книги, – продажи, которая весьма угнетательна для бедных чиновников.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед книгой барона Корфа мы не могли, не должны были молчать. Кому же и поднять голос за великих предшественников наших, как не нам, русским, покинувшим наше отечество для того, чтоб раздавалось хоть где-нибудь свободное русское слово. Тем больше, что мы от *них* считаем наше духовное рождение, что *их* голос разбудил нас к жизни и *их* пример поддержал через все существование наше. Начиная первое русское *обозрение, печатаемое без цензуры*, мы самим названием поставили его под их сень, примкнули к их делу – для того, чтоб “показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннее и кровное родство”^{*}.

Как же нам молчать перед публикацией Корфа? Она нас оскорбила и требует ответа.

Нерусская мысль систематической оппозиции чужда нам. Мы с искренним упованием приветствовали новое царствование – из нашего удаления, мы с радостью следовали за всеми хорошими начинаниями. Но *платоническая* надежда стала утомляться, нам уже становилось мало его вечных попыток, его отрицательного добра – как вдруг обнаружение книги Корфа исполнило нас удивления.

Просто ли это ошибка, анахронизм или вновь брошенное оскорбление общественному доверию – надеявшемуся именно на то, что николаевский период окончен?

В то время, как вся Россия ждет с нетерпением отгадки, символа веры нового царствования, с биением сердца следя за его нерешительным, робким, колеблющимся шагом; в то время как вся Россия окружает его любовью, собственно из ненависти к прошлому царствованию – оно громко заявляет свою полную солидарность с ним.

Вот причина, почему мы придаем важность тощей и неловкой книге Корфа.

Тут нечего ссылаться на сентиментальные отношения сына к отцу. Александр II сделал в этом смысле все, чего требовало сердце и декорум, – даже больше, нежели было нужно. Нам всегда казалось странным, нап[риимер], название “благодетеля”, которое нынешний государь повторял, говоря о “незабвенном” отце своем... Когда же цесаревич и наследник русского престола мог быть в том положении, чтоб ему нужны были благодетеля? Это неприличная терминология, но бог с ней.

Обязанность государей не в служении панихиды по покойникам, а в служении своему народу; но служить ему можно розно – особенно держа в руках своих самодержавную власть. Или нынешний государь понимает

^{*} Программа “Полярной звезды” за 1855.

возраст, в который входит Россия, и хочет быть тем роковым кормчим, который поведет ее в ширь свободного, самобытного развития, оставляя истории лучезарное имя: Тогда надобно отказаться от своеволия власти, от казмерного деспотизма, от глухонемого канцелярского управления, не дичиться человеческой речи, ознакомиться с современной мыслью и понять, наконец, как много общего (конечно, не в путях, а в цели) между стремлениями передовых людей России, составивших тайное общество при Александре I, и собственными стремлениями Александра II.

Или, совсем обратно, все обещания улучшений были только *captatio benevolentiae*, и Александр II, как Николай, хочет продолжать роль отпора, помехи всякому движению, всякой идее, быть тормозом на всяком колесе России и Россией тормозить всю Европу, – тогда надобно ему идти гораздо дальше Николая. Крымская война и два года его царствования сильно двинули вперед общественное мнение! Тогда надобно не намекать на освобождение крестьян – а ободрить помещиков насчет рабства, не распускать резервы – а сделать штатских военными, уничтожить грамоту, закрыть университеты, посылать в Бобруйск и Чернигск за упование, за любовь к нему, основанную на вере в улучшения... но мы еще верим, что Александр II этого не хочет. Потому-то мы и не понимаем, что значит его идолопоклонство перед Николаем и обнародование книги Корфа.

Ясно, как эта раболепная брошюра возникла при Николае – хотя нельзя не удивляться, как и он мог читать такую тяжелую, подъяческую, вульгардную лесть. Она носит как-то грубо вырезанную печать его времени – бедность мыслей, условные формы, узкий горизонт, официальный холод, беспощадность посредственности, отталкивающая, парадная чувствительность; не тот воздух, которым человек может свободно дышать, а какая-то давящая атмосфера второго порядка, в которой двигаются и действуют, как рыба в воде, Клейнмихели, Чернышевы, Кокошкины, Бенкендорфы – получше, похуже, но все бездарнейшие из смертных.

Понятно, что Николай, окруженный такими людьми, читал с удовольствием, что “измена”, которую он едва покорил несколькими полками, картечью и кавалерийскими атаками, “была робка”. Конечно, ему не пришло в голову спросить: кому измена? чего? в чью пользу?

Но зачем же теперь, приподнимая правительственной рукой завесу, к которой полиция не позволяет касаться, повторять эту брань? Ведь Кромвель, раскрывая тело короля Англии, не обижал его памяти!

Правительство могло молчать, предоставляя усердию разных Устряловых продолжать клевету и лесть, но если уже оно решилось говорить всенародно – надобно было говорить иначе, гораздо серьезнее.

Как бы то ни было, сделана ли эта публикация очертя голову или с намерением, нам нет выбора, на нас тоже лежит долг благочестия к прошедшему – и мы решились приподнять ту же завесу с другой стороны, и для этого, за неимением иных источников, мы их взяли у самого правительства.

Не ограничиваясь одним разбором Корфовой брошюры – мы перепечатаваем весь текст донесения следственной комиссии, весь приговор верховного суда и разбираем их вместе с нею.

Донесение следственной комиссии приходит в забвение, его трудно достать в России, а протвердить его молодому поколению необходимо. Пусть оно посмотрит на эти сильные и могущественные личности, даже сквозь темное сердце их гонителей и судей, – и подумает, что же они были, когда и такие живописцы при всем желании не умели исказить их благородных черт?

Но мы далеки от того, чтоб считать наш труд полным или оконченным. Совершенный недостаток материалов чрезвычайно ограничил нашу работу. А потому мы обращаемся с просьбою ко всем русским, хранящим в сердце память мучеников и героев 14 декабря, – доставлять нам всякого рода сведения и подробности, могущие взойти в исторический сборник или в монографию об этом времени. Все частные события, анекдоты, письма, записки, относящиеся до них, драгоценны для нас, для потомства, для России, все это – достояние истории и не должно затеряться в рукописях. Дайте нам право нашим станком закрепить за историей и спасти от забвения или утраты – рассеянные документы!

И – р

ДОНЕСЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

30 мая 1826

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ ИЗЫСКАНИЙ О ЗЛОУМЫШЛЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ
ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ ДОКЛАД

Комиссия, учрежденная указом вашего императорского величества от 17 декабря минувшего года, привела к окончанию порученное ей исследование и представляет на высочайшее усмотрение ваше вместе с подробным отчетом в своих действиях все собранные ею сведения об открытых в России тайных обществах, уличенных в злоумышлении, о начале оных, ходе, изменениях, планах, мало-помалу распространявшихся, равно и о степени участия в сих планах и предприятиях и вообще о поступках и дознанных намерениях каждого из членов.

Вашему величеству при самом назначении Комиссии и почти в минуту усмирения бывшего мятежа угодно было напомнить, что, следуя побуждениям собственного сердца и примеру славных предков своих, вы лучше хотите простить десять виновных, нежели одного невинного подвергнуть наказанию. Сим правилом мудрого великодушия Комиссия постоянно руководствовалась в продолжение следствия, но, с другой стороны, не теряла из вида возложенной на нее обязанности стараться посредством точных изысканий очистить государство от зловредных начал, обеспечить тишину и порядок, успокоить совершенно граждан мирных, преданных престолу и закону. Устремляясь к сей цели, Комиссия вникала тщательно, но без предубеждений, во все обстоятельства, кои могли служить к обнаружению какой-либо отрасли кова мятежников; при рассмотрении оных, и во всяком случае по возможности отличала минутное ослепление и слабость от упорного зломыслия, и основанием своих заключений почти всегда полагала признание самих подозреваемых или бумаги, ими писанные, изветы же сообщников и показания других свидетелей были по большей части только пособиями для улики или для распространения следствия и соображений при допросах.

Как вашему величеству известно, одно из таковых показаний, должествовавшее возбудить особенное внимание правительства, получено в бозе почивающим императором Александром в июне минувшего года от Шервуда, унтер-офицера 3-го Бугского Уланского полка. Он доносил, что в некоторых полках 1-й и 2-й армии есть люди, замышляющие испровержение порядка в государстве и что они принадлежат к тайному обществу, которое постепенно умножает число своих членов, именуя одного из них (Вадковского Федора), Шервуд просил дозволения ехать в Курск, для свидания с ним и другими, коих он считал его сообщниками, надеясь иметь чрез то вернейшие и обстоятельнейшие сведения. Оные в самом деле доставлены им правительству в сентябре месяце, а вскоре за тем согласные и еще подробнейшие известия привезены в Таганрог генерал-лейтенантом графом Виттом, который знал о существовании и цели тайного злоумышленного общества чрез агента своего, притворно к оному

присоединившегося. Большая часть сих показаний подтверждена полученным 1 декабря на имя в бозе почивающего императора письмом Майбороды, капитана Вятского полка, который сам был членом тайного общества. Вследствие сего извета, начальством 2-й армии и присланным из Таганрога генерал-адъютантом вашего величества приняты меры осторожности; по указаниям Майбороды взяты под стражу многие из подозреваемых в злоумышлении, отысканы, захвачены некоторые их бумаги и сделаны предварительные допросы. Но между тем сообщники их в С.-Петербурге, зная ли, что правительству уже известны их намерения или только нетерпеливо желая приступить к исполнению оных, предприняли обмануть часть гвардейских полков насчет присяги нашему величеству, чтобы произвести движение, коего жители столицы были свидетелями 14 декабря. В тот же вечер они почти все были во власти правительства и показания их дополнили, объяснили прежние известия о существовании заговора.

С сего времени начались действия Комиссии. Получаемые с каждым днем новые сведения доказывали необходимость распространения следствия, но Комиссия, соображаясь в точности с правилами, вашим величеством предначертанными, не иначе употребляла данную ей власть и приступала к розысканиям, как в случаях явной надобности. По требованиям оной взяты под стражу или призваны к допросу лишь те, даже из членов тайных обществ, о коих по достоверным свидетельствам должно было заключить, что они или участвовали в самых преступных умыслах и могут еще быть опасны, или что показания их нужны для обличения главных мятежников и обнаружения всех планов их. О многих, коих имена означены в особом у сего подносимом списке, как не совершенно знавших цель тайного общества, к коему они принадлежали, или удалившихся от оногo по чувству вины своей, Комиссия положила только довести до высочайшего вашего сведения, предавая судьбу их правосудию и милосердию вашего императорского величества. Но все, по вышеизложенным причинам должествовавшие обратиться на себя внимание Комиссии, допрошены с надлежащим тщанием и точностью*; ответы их объяснены сличением, подтверждены очными ставками и почти во всех, по крайней мере во всех главных обстоятельствах, относящихся к цели заговора, составу тайного общества и действиям руководителей оногo, показания их совершенно согласны².*

Из оных открывается, что в 1816 году несколько молодых людей, возвратясь из-за границы после кампаний 1813, 1814 и 1815 годов и зная о бывших тогда в Германии тайных обществах с политической целью, вздумали завести в России нечто подобное. Первые, сообщившие друг другу мысль сию, были Александр Муравьев (ныне отставной полковник)³*, который сначала полагал сие тайное общество вместить в состав

* Не допрошен Николай Тургенев, который был требован, но не явился из-за границы для ответа.

²* Тем из допрошенных, кои оказались или непринадлежавшими к злоумышленным тайным обществам, или совершенно отставшими от оных, немедленно возвращена свобода.

³* С именами всех, в сем донесении упоминаемых, означаются их нынешние чины.

какой-нибудь масонской ложи, Никита Муравьев (капитан) и полковник князь Трубецкой. Побуждением их, как говорит Александр Муравьев в своем письменном ответе на допрос, *была ложно понимаемая любовь к Отечеству, служившая для них самих покровом беспокойного честолюбия*; они не чувствовали, как ныне признают единогласно во всех показаниях своих, что *через предполагаемые ими средства, никакая истинно полезная цель не могла быть достигнута**; что *существование такого сообщества было беззаконно и противно нравственности^{2*}*, что *следствием оного рано или поздно и может быть даже без участия многих членов долженствовали быть преступления, их собственная гибель и вред для государств^{3*}*.

На сих первых совещаниях о заведении общества были сверх именованных офицеры прежнего Семеновского полка: Якушкин, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы. Они тогда не приступили к исполнению планов своих, и только в феврале следующего (1817) года, когда капитан Никита Муравьев, познакомясь с полковником Пестелем, сблизил его, как он говорит, с Александром Муравьевым, уже имевшим тесную связь с князем Сергеем Трубецким, учредилось их первое тайное общество под названием *Союза спасения* или *истинных и верных сынов Отечества*. Устав оного был сочинен Пестелем. Общество разделялось на три степени: *Братий, Мужей и Бояр^{4*}*; из сей третьей, высшей степени избирались ежемесячно старейшины: председатель, блюститель, секретарь; для принятия назначались торжественные обряды; желающий вступить в общество давал клятву сохранять в тайне все, что ему откроют, если оно будет и не согласно с его мнением; по вступлении давал он другую; сверх того, каждая степень и даже старейшины имели свою особенную присягу. Обещались стремиться к цели общества и покоряться решению Верховного собора Бояр, хотя сие наименование боярина, как показывает один князь Трубецкой, должно было быть тайною для членов нижних степеней. Боярами называли членов коренных, то есть основателей общества, но возводили или принимали прямо в сие звание и некоторых новых. В то время составляли общество: вышеименованные Александр, Никита, Сергей и Матвей Муравьевы, Павел Пестель, князь Сергей Трубецкой, князь Федор Шаховской, Федор Глинка, Новиков (бывший правителем канцелярии малороссийского генерал-губернатора и потом умерший в отставке), Михайла Лунин и еще три члена, кои потом в разные времена удалились от общества, прекратили всякие сношения с упорнейшими из бывших товарищей своих и тем заслужили, при милостивом прощении вашего императорского величества, совершенное забвение кратковременного заблуждения, извиняемого и отменною их мо-

* Слова Александра Муравьева.

^{2*} Слова Никиты Муравьева.

^{3*} Слова князя Сергея Трубецкого.

^{4*} По некоторым показаниям был еще четвертый род членов в сем обществе, непринятых в оное, даже иногда и не знавших его существования, но считаемых по чему-либо в единомыслии с прочими; их называли *друзьями*.

лодостью. Целью составления их общества было с самого начала изменение государственных установлений в России; так показывают Александр, Сергей, Матвей, Никита Муравьевы и Пестель*; но по чувству слабости своей и дерзости предприятия они, как утверждает князь Трубецкой, больше говорили о обязанности *подвизаться для пользы Отечества*, способствовать всему полезному, если не содействием, то хотя изъяснением одобрения, стараться пресекать злоупотребления, оглашая предосудительные поступки недостойных общей доверенности чиновников, особенно же стараться *усиливать* общество приобретением новых надежных членов, разведая прежде о их способностях и нравственных свойствах или даже подвергнув их некоторому испытанию. Они тогда же предложили присоединиться к ним Якушкину, незадолго пред тем уехавшему из Петербурга и генерал-майору Михайле Орлову, который в сие время думал вместе с графом Мамоновым и действительным статским советником Николаем Тургеневым завести другое общество под названием *Русских рыцарей*. На совещаниях между им и Александром Муравьевым они взаимно приглашали друг друга в свое общество и не могли согласиться в правилах для соединения. Генерал-майор Орлов сначала, как он сам объявляет, хотел составить общество только для наблюдения за лихоимством и другими беспорядками внутреннего управления и полагал испросить на то высочайшего одобрения, потом, веря дошедшим до него слухам, будто покойный император намерен восстановить Польшу в прежнем виде, и приписывая сие влиянию польских тайных обществ, имел мысль посредством своего сообщества противодействовать оным; план его не исполнился и общество, им предполагаемое, не составилось. Но и то, которое уже было установлено, не могло хвалиться успехами. Некоторые члены (в том числе Пестель) уехали из Петербурга; иные находили неопределительность в цели, неудобства в исполнении предписаний устава; другие, особенно из тех, коим было только предложено вступить в союз, между прочими, Михаила Муравьев брат Александра, Бурцов, Петр Колошин, Якушкин, Фон Визин, не иначе соглашались, как с тем, чтобы общество *ограничилось медленным действием на мнения*, чтобы устав оною (по словам Никиты Муравьева), *основанный на клятвах, правил слепого повиновения и проповедовавший насилие, употребление страшных средств кинжала, яда*^{2*}, был отменен и вместо оною принять другой, коего главные положения заимствованы из напечатанного в журнале *Freywillige Blätter* Устава, коим будто бы управлялся *Tugend-Bünd*. Коренные члены *Союза*, бывшие тогда в Москве с отрядом гвардии, долго не уступали сему желанию, и замечательно, что во время сих прений на одном собрании, где находились Александр, Никита, Сергей, Матвей Муравьевы, Якушкин, Фон Визин, Лунин и князь Федор Шаховской, родилась или по крайней мере объявлена в пер-

* Александр Муравьев говорит, что к сведению о сей сокровенной цели общества приготовляли новоступающих понемногу: объявляли оную только членам последней, высшей степени.

^{2*} *Это было мною написано в подражание уставам некоторых масонских лож*, говорит Пестель.

вый раз ужасная мысль о цареубийстве*. Одного члена, Александра Муравьева, князь Трубецкой уведомлял из Петербурга, “что государь намерен возвратить Польше все завоеванные нами области и что будто предвидя неудовольствие, даже сопротивление русских, он думает удалиться в Варшаву со всем двором и предать отечество в жертву неустройств и смятений”. Сие известие, *столь нелепое*, как потом признали сами члены тогдашнего тайного общества, произвело на них действие едва вероятное. Они вскричали, что покушение на жизнь императора есть необходимость; один (князь Федор Шаховской), как показывает Матвей Муравьев, полагал только дожидаться дня, когда будет в карауле полк, в коем он служил^{2*}; хотели бросить жребий, и, наконец, Якушкин, который в мучениях несчастной любви давно ненавидел жизнь, распаленный в сию минуту волнением и словами товарищей, предложил себя в убийцы. Он и в исступлении страстей, как кажется, чувствовал, на что решался: “*Рок избрал меня в жертвы, – говорил он, – сделавшись злодеем, я не должен, не могу жить: совершу удар и застрелюсь*”. Все прочие, хотя и поздно, устрашились или образумились и остановили его; генерал-майор фон-Визин доказывал, что известие, их смутившее, есть без сомнения неосновательное; с чем после и сам князь Трубецкой, призванный ими в Москву для объяснений, принужден был согласиться; Сергей Муравьев – Апостол сверх того в письменном мнении, которое прислал обществу в следующий день, представлял, что предположенное злодейство будет бесплодно, ибо тайное общество их не имеет еще средств оным воспользоваться. Якушкин повиновался, но обвиняя сочленов своих в том, что они его побудили к преступному, ими самими осуждаемому намерению, он на время разорвал связь с ними и обществом, которое вскоре изменило свое образование, приняв новое имя *Союза благоденствия*, и предложенный новый устав, сочиненный Александром, Михайлом Муравьевыми, князем Сергеем Трубецким и Петром Колошиным^{3*}.

Первая часть сего Устава отыскана Комиссиею и при сем подносится на высочайшее усмотрение вашего императорского величества. Глав-

* Пестель утверждает, что еще прежде, в том же 1817 году, Лунин говорил, что если *при начале открытых действий общества* решатся убить императора, то можно будет для сего выслать на Царскосельскую дорогу несколько человек в масках. Лунин признается, что он между прочим говорил это. Пестель, как показывает Матвей Муравьев, хотел набрать из молодых отчаянных людей так называемую *cohorte perdue* (*обреченный на гибель отряд*) и поручить начальство одного Лунину, чтоб всех изгубить *pour faire main basse sur tous*. Пестель в этом не сознается.

^{2*} Князь Федор Шаховский, по словам того же Матвея Муравьева, изъявлял в сие время готовность на ужаснейшие преступления, и другой Муравьев, Сергей, не иначе называл его, как *le tigre*, впоследствии он отстал от общества и жил в отдаленной от столицы деревне. Пред Комиссиею князь Шаховский признался только в том, что был членом тайного общества.

^{3*} Незадолго пред тем составилось под председательством Александра Муравьева служившее для испытания Обществу военных людей; существование оно было весьма кратковременно. Александр Муравьев утверждает, что он совсем не помнит сего общества. В оное был принят полковник Артамон Муравьев; он около сего времени предлагал Александру и Никите Муравьевым убить покойного государя, сие предложение отвергнуто первым (Александром Муравьевым).

ные черты сего *законоположения Союза благоденствия*, разделение, замечательнейшие мысли и самый слог ясно показывают, что он есть подражание и даже большою частью перевод с немецкого. Сочинители именем основателей сообщества объявляют, что одно благо отечества есть цель их, что сия цель не может быть противна желаниям правительства, что правительство, несмотря на свое могущественное влияние, имеет нужду, в содействии частных людей, что учреждаемое ими общество хочет быть ревностным пособником в добре и, не скрывая своих намерений от граждан благомыслящих, *только для избежания нареканий злобы и ненависти будет трудиться в тайне*. Они делили членов на четыре разряда, или отрасли, каждый должен был приписаться к одной из них, не отказываясь совершенно и от занятий по другим. В *первой* предметом деятельности было *человеколюбие*, то есть успехи частной и общей благотворительности: она имела надзор над всеми благотворительными заведениями, уведомляя начальство оных и самое правительство о могущих вкрасться в оные злоупотреблениях и беспорядках, равно и о средствах исправления или усовершенствования. В *второй* – умственное и нравственное образование распространением познаний, заведением училищ, особенно ланкастерских, и вообще содействием в воспитании юношества, равно и чрез примеры доброй нравственности, разговоры и сочинения, с сим и *с целью общества сообразные*. Членам сей 2-й отрасли поручен был надзор за всеми школами; они должны были питать в юношестве любовь ко всему отечественному, препятствуя по возможности воспитанию за границей и всякому чужеземному влиянию. – В *третьей отрасли* внимание было обращено на действия судов; члены обязывались не уклоняться от должностей по выборам дворянства и других в порядке судебном, исправлять оные с усердием и точностью, сверх того наблюдать за течением дел сего рода, ободряя чиновников бескорыстных и прямодушных, даже помогая им деньгами, удерживая слабых, вразумляя незнающих, обличая бессовестных и доводя их поступки до сведения правительства. Наконец, члены *четвертой отрасли* должны были заниматься предметами, относящимися к политической экономии; стараться изыскивать, определять *непреложные правила общественного богатства*, способствовать распространению всякого рода промышленности; утверждать общий кредит и противиться монополиям.

Членам не воспрещалось самим обращать внимание местных начальств на замечаемые ими злоупотребления, хотя вообще до сведения правительства оные должны были доходить чрез *правление Союза*. Вероятно, что, для сего в особенности, некоторые (в том числе Михайло Муравьев) предлагали испросить согласия покойного императора на учреждение их общества; но сие предположение не принято прочими членами. Образование оно было следующее: старейшие члены, основатели общества или первоначально вступившие в оное, составляли так называемый *Коренной союз*; из него избирался *Совет коренного союза*, то есть: *блюститель* и пять *заседателей*, из коих один прочими под руководством блюстителя был назначаем в *председатели* и тогда именовался главою союза: каждые четыре месяца выходили из Совета два *заседате-*

ля и на места их поступали другие. Блюститель сменялся в конце года. Когда прочие члены Коренного союза присоединялись к Совету, то из сего образовалась *Коренная управа*. *Коренной совет* имел исполнительную власть в *Союзе*, *Коренная управа законодательную*, она же, как выше означено, избирала чиновников и была *верховным судилищем* в *Союзе*. *Совет* мог признать членами и сделать своими уполномоченными в их месте пребывания людей, пользовавшихся доверенностью *Коренного союза*; *управа* назначала еще *временную законодательную палату* для *рассмотрения, пояснения и дополнения законов Союза, но, не изменяя цели оного, сии, палатую* сочиненные законы должны были с одобрения *управы* иметь временную силу до окончательного утверждения оных *верховным Правлением Союза*, которое *тогда только могло быть установлено, когда бы Союз совершенно составился*.

Из всего означенного очевидно, что все распоряжения в сем тайном обществе, особенно же направление оного к какой-либо цели, оставались в руках основателей, или коренных членов. Они же были обязаны набирать новых, или заводить *управы*, каждый одну. *Управы* были *Деловые, Побочные и Главные*. *Управа* называлась *деловою* и получала список первой части *Устава*, когда в ней было не менее 10 членов; до тех пор она считалась недействительною; однако же *Коренной союз* имел право делать исключения из сего правила для скорейшего распространения общества; всякая могла завести другую, *побочную*, которая имела сношения только с нею; но если сею *побочную управою* была также заведена *Управа* и в ней находилось не менее 10 членов, то она становилась независимою от основавшей оную. В главные поступала та, которая завела три *побочные*, или три *вольные общества* (так назывались те, кои, не входя в состав *Союза благоденствия*, могли своею особенною деятельностью по литературе, художествам и так далее, способствовать достижению цели оного), такая *Управа* получала список *второй части Устава*. В каждой *Управе* для начальствования, надзора за порядком и разделения работ назначался посредством избрания *Совет* из *блюстителя* и одного или двух *старейшин*, смотря по тому, из 10 или 20 членов была составлена *Управа*. Все дела в *управах* и *Коренном союзе* были решимы большинством голосов: так же были произнесены и приговоры; имена членов, заслуживших одобрение *Союза*, вписывались в *почетную книгу*, а изгоняемых из общества – в *постыдную*. Члены имели право выходить из *Союза*, но обещая хранить в тайне все им известное. К сему же хранению тайны обязывались все те, коим делалось предложение вступить в *Союз* и повторяли свое обещание после прочтения первой части. Обрядов для принятия не было: вступающий давал расписку, которая потом без ведома его сжигалась. Всякий должен был вносить в кассу общества 25-ю долю своего годового дохода* и повиноваться *законным предписаниям Союза*.

* Сему правилу, как все согласно показывают, следовали немногие. В Петербурге до 1825 года собрано не более пяти тысяч рублей, которые отданы князю Трубецкому, а им издержаны не на дела тайного общества.

Таковы были объявленные в 1-й части Устава цель и правила *Союза благоденствия*. Вторая часть не была сочинена или по крайней мере не была одобрена *Коренным союзом*, ибо написанный князем Трубецким проект оставлен без внимания, и Александр Муравьев бросил его в огонь с другими бумагами в 1822 году. Но об оной упоминали, и быть может, сверх приманки для любопытства видели в ней средство когда-нибудь открыть новым членам настоящие намерения основателей общества*. Они нестрого и даже очень мало сообразовались и с правилами, в первой части означенными. При заведении управ редко был наблюдаем предположенный порядок; оных было две в Москве: 1-я под председательством Александра Муравьева, который после отставки своей жил там несколько времени; 2-я под председательством князя Федора Шаховского; обе существовали недолго^{2*}; в Петербурге также две: у лейб-гвардии егерского офицера Семенова и у полковника Бурцова^{3*}.

Члены оных^{4*} хотя делились на управы, но собирались, где хотели, не соблюдая никакого порядка. В Петербурге были заведены и вольные общества, почти независимые от *Союза благоденствия*. Два также в Измайловском полку: 1-е учреждено князем Евгением Оболенским и коллежским асессором Токаревым (впоследствии умершим), 2-е – егерским офицером Семеновым; то и другое существовали не долее трех месяцев. Третье отдельное общество основано полковником Глинкою, как показывает титулярный советник Семенов, бывший и в прежде означенных обществах и управах^{5*}. Новиков завел или по крайней мере заводил Малороссийское общество при масонской ложе, которую называл местом приготовления, но, как показывает бывший тогда в Полтаве Матвей Муравьев-Апостол, он только искал средств добывать деньги, и ни общество, ни ложа его не распространились^{6*}. О Пестеле Никита Муравьев говорит, что он не признавал нового союза и действовал отдельно по другим правилам, прежде в Митаве, потом в Тульчине, но он в ответах своих утверждает, что им, как и другими, был принят Устав *Союза благоденствия*, названный по цвету переплета “*Зеленою книгою*”. Впрочем, деятельность сего тайного общества, как по всему видно, была сосредоточена в так называемом Коренном союзе и сия деятельность всего более об-

* Сии намерения недолго хранились в тайне: “сначала”, говорит титулярный советник Семенов, бывший секретарем тайного общества, “знали только главные, а впоследствии проникнули и другие члены, что целию Союза было изменение государственных установлений, для оной и для той, которая была объявлена в Уставе, признавали равно нужным усиливать общество, распространять политические знания и стараться овладеть мнением публики”.

2* Показание Семенова.

3* Показание Семенова и Никиты Муравьева.

4* Означенные поименно в одном из прилагаемых у сего списков.

5* Полковник Глинка не подтвердил сего показания своим признанием.

6* Пред Комиссиею было показываемо, что впоследствии один из принятых им переяславский маршал Лукашевич завел новое общество Малороссийское и будто бы оно имело целью отделение сего края от России и присоединение оного к независимому Королевству Польскому. Но сии показания (Сергея и Матвея Муравьевых), основанные на догадках, найдены несправедливыми.

расталась на умножение членов, особенно в Петербурге, где была большая часть Коренной управы*. Однако же, если верить показаниям одного постороннего свидетеля, не подтвержденным извещениями допрошенных, составлявшие сию Управу располагались тогда действовать на общее мнение изданием особенного дешевого журнала, песен, каррикатур и хотели для того иметь литографию за границей и тайную типографию в отдаленной от столицы деревне^{2*}.

По крайней мере достоверно, что между ими были разговоры и прения, которые иным могли казаться правильными совещаниями о разных образах правления. По словам полковника Пестеля и других, как выше было означено, с самого учреждения первого общества (*Сынов отечества* или *Союза спасения*) обнаруживались в основателях мысли конституционные, но весьма неопределительные и более склонные к монархическим установлениям. Первую о правлении республиканском подал Новиков своим проектом Конституции, а в начале 1820 г., как показывает полковник Пестель, было в Санктпетербурге собрание Коренной думы (или Управы), которая по Уставу имела в Союзе власть законодательную. В сем собрании Пестель по вызову члена, исправлявшего должность блюстителя^{3*}, исчислял выгоды и невыгоды правлений монархического и республиканского и после многих рассуждений собирали голоса; все, утверждает Пестель, объявили, что предпочитают республиканское правление: (между прочими Николай Тургенев следующими словами: "un President sans phrase"^{4*}), кроме одного полковника Глинки, который говорил в пользу монархического и предлагал вручить скипетр императрице Елизавете Алексеевне. Сие заключение Коренной управы, по уверению Пестеля, определено было сообщить всем другим, и он сообщил его Тульчинской; с тех пор, прибавляет он, республиканские мысли стали брать верх над монархическими, хотя члены еще говорили, что если император Александр сам дарует России хорошие, по их мнению, законы, то они будут его верными приверженниками и оберегателями. Но сии показания полковника Пестеля не все подтверждены другими допрошенными; один (Глинка) говорит, что все рассказываемое происходило не на правильном совещании, а в обыкновенном разговоре о разных политических предметах. Фон-дер-Бриген утверждает, что большая часть присутствующих тут членов была неготова к рассуждени-

* Список членов оной также приложен к сему донесению. Генерал-майор Михайло Орлов и Николай Тургенев, не успев в намерении завести свое общество, вступили в Союз благоденствия, первый, как утверждает он в записке, поданной им в Комиссию, не прежде июля 1820 г., ибо ему тогда сказали другие члены, что противно великодушию знать их тайны, имена многих и не разделять с ними опасностей.

^{2*} Так говорит сочинитель записки, найденной в бумагах покойного императора, бывший, как видно, членом Союза благоденствия. Издание журнала предпринимал действительный статский советник Николай Тургенев: есть несколько возмутительных песен, которые тогда были сочинены и может быть распускаемы, то точно ли по предписаниям тайного общества, того нельзя сказать утвердительно.

^{3*} Одного из трех вышепоказанных, впоследствии раскаявшихся и оставивших общество.

^{4*} Объявляю без фраз, что хочу президента. Те, которые предпочитали монархический образ правления, должны были сказать, что хотят монарха.

ям сего рода и к объявлению какого-либо решительного мнения, что между прочими он и Глинка отреклись дать свое, что Тургенев вместо приписываемых ему слов сказал просто: “Республиканское правление с президентом очень хорошо, но главное всегда зависит от устройства в народном представлении”. Титулярный советник Семенов прибавляет, что не было сделано никакого определения, и совещание кончилось спором, в коем полковник Глинка доказывал, что в России не может существовать никакое правление, кроме монархического. Наконец, ни один не упоминает о предложении касательно императрицы Елисаветы.

Впрочем, все происходившее на сем совещании, как показывает Никита Муравьев, не имело никакого влияния на образ мыслей и действия членов вообще; не сделано вследствие того никаких предписаний подведомственным управам, кроме Тульчинской*, на многих, бывших после собраниях не говорено о республиканском правлении, а рассуждали о перемене образования и ходе Союза благоденствия, и сам Пестель свидетельствует, что от начала до разрушения сего союза ни одно правило не было постоянно признаваемо и часто все, единогласно решенное, чрез несколько часов также единогласно отменяли. Должно однако же заметить, что вскоре после вышеописанного совещания или разговора некоторые из участвовавших в оном членов опять собирались но случайно, как сказывает Пестель, и продолжая прежние рассуждения, один^{2*} подал мысль о покушении на жизнь императора Александра; Никита Муравьев утверждает, что, кроме его и Пестеля, все бывшие с ними члены отвергли сие предложение как преступное, доказывали, что неминуемым последствием такого злодейства были бы все бедствия, все ужасы безначалия; Пестель отвечал, что оные могут быть отвращены учреждением временного правления из принадлежащих к их тайному обществу, на него восставали единодушно, с жаром, но ужасное предложение, если верить показанию одного Сергея Муравьева-Апостола, было снова сделано на другом собрании и принято большинством голосов. Из бывших на сем последнем он помнит только себя, Никиту Муравьева и Пестеля.

Между тем присоединение новых членов к Союзу благоденствия продолжалось: многие могли быть прельщены рассеянными в Уставе, впрочем, весьма обыкновенными филантропическими и патриотическими мыслями; других завлекали побуждения дружбы, доверенность к некоторым людям или влияние моды, ибо есть мода и на мнения, а сим пользовались деятельнейшие в обществе, возбуждая в слабых боязнь сделаться смешными или суетное любопытство, а иных, буде верить некоторым показаниям, даже виды личной корысти. Но также многие начинали чувствовать свое заблуждение и один из первых – полковник Александр Муравьев. “Луч горней благодати, – говорит он, – коснулся моей души омраченной, я вдруг увидел бездну, над которою стоял с несчастными со-

* Он и некоторые другие (Фон-дер-Бриген, Колошин, Семенов) подтвердили сие на очных с Пестелем ставках.

^{2*} Пестель и Сергей Муравьев-Апостол говорят, что – Никита Муравьев, а Никита Муравьев, что – Пестель.

общниками, и долго, в слезах раскаяния молил небо простить мне их и мои преступления. Бог услышал грешника; он в течение шести лет испытывал меня тяжкими крестами, смертью детей, страданием жены, расстройством имущества, наконец, и праведным гневом государя и карою закона". Несколько времени он не мог победить ложного стыда и только уклонялся от прежних занятий и разговоров, но в 1819 году превозмог себя, письменно объявил Коренному союзу о своем мнении, прося, заклиная всех последовать его примеру, отказаться от всяких противозаконных предприятий и мыслей. Ему отвечали уверениями (ложными), что они с ним согласны и уничтожают общество*. Вскоре после того оно и в самом деле, по крайней мере в Петербурге, стало приходить в упадок: некоторые члены, не имея решительности явно отказаться, удалялись из оногo, в том числе и означенные выше три члена первого тайного общества, раскаянием своим заслужившие совершенное отеческое прощение вашего величества: двое около 1821 года один же, хотя позднее, но до того разорвал тяготившие совесть его связи, что, наконец, даже избегал встречи с прежними товарищами^{2*}.

Но на юге полковник Павел Пестель, будучи тогда адъютантом графа Витгенштейна и живучи в Тульчине, главной квартире 2-й армии, старался всеми средствами распространять свои мнения. Он внушал молодым сослуживцам своим, что воля самого монарха (в бозе почивающего императора Александра), до времени только сокрываемая, есть питать идеи сего рода в юношестве и войсках, что, стремясь к изменению настоящего порядка, они будут содействовать ему, что в Петербурге все умы в движении, что уже составилось многочисленное и почтенное по достоинствам своих членов сообщество, которое все готовит к великой перемене^{3*}. Он принял многих в Союз благоденствия, показывая нововступающим первую часть Устава, но сам часто уклонялся от определенных в оном правил. Влияние его, как видно по единогласным свидетельствам, бывало редко оспариваемо близкими к нему сообщниками, однако ж в исходе 1820 года и между бывшими в сем крае начали оказываться холодность, несогласия в мнениях и возникали жаркие споры на собраниях, кои бывали у Пестеля и Юшневского (генерал-интенданта 2-й армии), им принятого и до конца остававшегося в тесной с ним связи. Пестель предложил для прекращения разномыслия учредить временное диктаторство; сие предложение, равно и другое, чтобы заменить диктатора триумвератом, отвергнуты, а положено быть в Москве съезду депутатов Союза для точнейшего определения цели и действий оногo. Пестелю нельзя было ехать в Москву, полномочными от его Управы назначены полковник Бурцов и подполковник Комаров, который, заметив в обществе явную склонность к революционным правилам и даже к пред-

* Показание титулярного советника Семенова.

^{2*} Никита Муравьев говорит, что когда какой-либо член начинал оказывать холодность к обществу, то старались его уверить, что не он один, а все прочие переменили образ мыслей, что общество распадается на части и почти уже не существует.

^{3*} Показание [под]полковника Комарова.

приятиям противозаконным, думал уже тогда воспользоваться долженствовавшим быть на сем съезде разногласием, чтобы склонить членов к уничтожению Союза. Генерал-майор фон Визин приехал из Тульчина в Петербург* для приглашения депутатов, и в Москву отправились Николай Тургенев и Глинка. Кроме их и вышепоименованных, были на съезде: два брата фон Визины, генерал-майор Орлов, полковник Граббе, Якушкин (вступивший в Союз благоденствия в 1819 году), Михайло Муравьев, Охотников. Сим членам на многих предварительных собраниях генерал фон Визин предлагал разделить общество на три разряда: 1-й, высший, главноуправляющий и законодательствующий, неизвестных; 2-й исполнителей: из оного хотели отряжать членов для наблюдений, разъездов, словесных сообщений, прекратив все письменные; наконец, 3-й, нововводимых. Тут опять начались несогласия и споры; предложение фон Визина отвергали: Николай Тургенев (избранный председателем на время съезда и, по словам Комарова, показывавший себя умеренным), генерал-майор Орлов, Бурцов, Колошин и Комаров. Последнему Якушкин сказал однажды: “Я на лице твоём вижу, что ты изменяешь обществу”. – “Да!” – отвечал Комаров, – если оно не войдет опять в пределы известного мне устава”. – “Это не возможно”. Вскоре затем генерал Орлов письменно объявил, что он уже не хочет принадлежать к обществу, и остался тверд, несмотря на убеждения и просьбы товарищей, а в конце февраля (1821 года) на общем заседании положено уничтожить Союз. Тургенев как председатель от имени всех уполномоченных членов объявил прочим, что их сообщество разрушилось совершенно и навсегда как по возникшему в оном разномыслию, так и для того, чтобы не возбудить подозрений правительства. Устав Союза благоденствия и прочие бумаги сожжены; многие члены, в том числе Бурцов и Комаров, искренно верили и радовались уничтожению оного.

Но истинные причины, побудившие сделать сие объявление, как показывают Якушкин, фон Визин и Никита Муравьев, были чувство, что Устав не ясно определял цель общества, отчего деятельность оного уменьшалась и желание удалить членов, кои уже хладели в усердии к сей цели или не знали оной и по характеру своему и образу мыслей казались неспособными содействовать Коренной управе. Бывшие в Москве руководители оной тогда же решились (сие объявляют генерал фон Визин и Якушкин) со временем составить новое общество и разделить его на две степени, с тем чтобы только принадлежащим к первой была известна настоящая цель оного: готовить Россию к изменению государственных установлений. В сию первую степень принимать не иначе, как по согласию главного правления в Петербурге; для принятия во вторую нужно было бы единодушное утверждение членов двух отделений; оных полагалось четыре: в Петербурге, в Москве, в Смоленской губернии и Тульчине. Якушкин утверждает, что сие тайное общество, с названием, коего он не помнит, и новым Уставом, тогда же составилось; генерал-майор Фон Визин напротив, что все окончилось одними предположения-

* Показание подполковника Комарова.

ми и признанием, несколько раз повторенным, что никакая цель не оправдывает средств. Первый прибавляет, что назначенные в Москве и Смоленске отделения не были учреждены.

Полковник Бурцов вместе с подполковником Комаровым привез Тульчинской управе известие о разрушении Союза благоденствия и должен был представить ей письменное сообщение от председателя Московского съезда. Но уже зная все по слухам, Пестель и Юшневский на предварительном совещании условились: во-первых, не признавать общества разрушенным; во-вторых, воспользоваться сим случаем, чтобы удалить всех слабосердых, представляя им опасности и трудности предприятия.

Вследствие сего, когда по собрании Думы Тульчинской, Бурцов, исполнив данное ему в Москве поручение, вышел, а за ним и Комаров, то Юшневский говорил приготовленную им речь, но сим не удалил никого, напротив, подстрекнул самолюбие присутствовавших членов: полковник Аврамов (после, как он уверяет, раскаявшийся) объявил, что если и все оставят Союз, то он не перестанет полагать оный существующим в нем одном; другие также провозгласили, что депутаты их в Москве вышли из пределов данной им власти, что общество не разрушено и будет продолжать действовать, переменяя некоторые из прежних правил. Как бывшие на сем собрании, так и приставшие вскоре потом к их мнению, Пестель, Юшневский, Аврамов, Вольф, Ивашев, двое Крюковых, князь Барятинский, Басаргин, князь Сергей Волконский, Василий Давыдов (вероятно, соображаясь с положениями сочиненного Пестелем Устава первого тайного общества) приняли название Бояр Союза*. Они выбрали председателями, или директорами, Пестеля, Юшневского и сначала третьим Никиту Муравьева, ибо думали, что и он, не быв в Москве, также несогласен на уничтожение общества. Но в Петербурге, как утверждает последний (Никита Муравьев): “Оно было, по крайней мере, совершенно настроено: большая часть членов из него вышла; оставшиеся Управы, не имея между собою связи, не имея никакого Устава и общего управления, не знали, чего хотели или не могли дать себе отчета в своих желаниях”^{2*}. Только в исходе 1822 года, сие Петербургское, или Северное, общество снова образовалось. Его разделили на убежденных и соединенных, или согласных^{3*}. Союз убежденных, или Верхний круг, со-

* Пестель показывает, что с сего времени члены Южного общества, или, как он его называет, Округа, разделяли на Братий, Мужей и Бояр. Братья не имели права принимать других; Мужья, пользуясь сим правом, должны были от принятых ими скрывать имена прочих членов. Бояре присоединялись к Директории для решений в важных случаях. Принимая нового члена, довольствовались его честным словом.

^{2*} Титулярный советник Семенов показывает, что Николай Тургенев, возвратясь из Москвы в 1821 году начинал из некоторых членов уничтоженного Союза составлять новое тайное общество; в оное приглашал прежних, князя Оболенского, полковника Нарышкина и его Семенова, да принял полковника Митькова, Якова Толстого и Миклашевского. Вскоре потом гвардия выступила в поход и действия общества прекратились. Семенов не знает, имело ли оно Устав; он прибавляет, что ни Тургенев, ни другие члены сего общества не обнаруживали при нем (Семенове) злодейственных намерений против императорской фамилии.

^{3*} Показание князя Евгения Оболенского.

ставлялся из основателей*, принимали в оный и других из Союза соединенных, но не иначе как по согласию всех находящихся в Петербурге убежденных. Сие согласие было нужно и для принятия какой-либо решительной меры. Сверх того, верхний круг имел следующие права: он избирал членов Думы, или Совета, управлявшего обществом; дозволял принятие нововступающих, требовал отчетов от Думы. Ненаходящийся в оном член мог принять не более двух и согласия на то испрашивал через члена, коим был сам принят; сей последний также, если не был в числе убежденных. Сие согласие чрез такую же цепь доходило от Думы до принимающего новых членов. Сих сначала испытывали, готовили, потом открывали им мало-помалу цель тайного общества, но о средствах для достижения оной и о времени начатия действий должен был иметь сведение один Верхний круг. Многим, коих назначали слепыми орудиями, говорили только, что их дело рубиться; нововступившие и вообще все, не причисленные к убежденным, знали одного принявшего их члена. Но сие правило и все прочие весьма не строго наблюдались^{2*}.

Возобновив тайное общество, начальником оного несколько времени признавали одного Никиту Муравьева, потом в конце 1823 года, решась для лучшего успеха иметь трех председателей, присоединили к нему князя Сергея Трубецкого, лишь возвратившегося из-за границы, и князя Евгения Оболенского^{3*}. Чрез год после того первый отправился в Киев и с надеждою, что будучи в штабе 4-го корпуса он может иметь сообразное с планами злоумышленников влияние на войски оного, и для того, чтобы наблюдать за Пестелем, коему главные действователи Северного общества не доверяли, ибо, по словам Рылеева, видели в нем хитрого властолюбца, не Вашингтона, а Бонапарте. На место князя Трубецкого сделан членом Директории, или Думы, Рылеев, который настоял, чтобы впредь сии директоры, или правители, были не бессменными, а избирались только на один год.

Сношения нового Петербургского, или Северного, союза с Южным, как показывают многие допрошенные, были довольно редки и почти всегда на словах; Думы боялись верить письма даже сочленам своим, ибо оные могли по нечаянному случаю попасть в руки посторонних. Сии два общества не соглашались во многом, особенно же касательно своего внутреннего устройства; но имели одну цель – испровержение существующего порядка и в обоях уже занимались сочинением законов для преобразования России. Комиссия представляет на высочайшее усмотрение вашего величества отысканные ею списки сих проектов вместе с кратки-

* Главными из сих основателей, или возобновителей общества, по словам Никиты Муравьева, были: он сам, князь Оболенский и Николай Тургенев, который, однако же, не участвовал в принятии новых членов. В обоих отделениях Северного общества, соединенных и убежденных, равно как и в Южном, членов принимали без всяких обрядов.

^{2*} Показание Александра Бестужева.

^{3*} Место правителя предлагали Николаю Тургеневу, он отказался за нездоровьем, множественностью иных занятий и худым успехом его председательства в Москве.

ми из оных извлечениями*. Для достижения цели своей, также в обоих думали употребить одни средства: силу, действие войск, которые надеялись склонить к возмущению²*. Приготовлением сих средств особенно занимались на юге, в некоторых полках 1-й и 2-й армии. Так, как показывает капитан Майборода, полковник Пестель то ласкал рядовых, то вдруг, когда ожидали покойного императора в армию, подвергал их жестоким, и вероятно, незаслуженным наказаниям. “Пусть думают, говорил, – что не мы, а высшее начальство и сам государь причиной излишней строгости”. Подполковник Сергей Муравьев-Апостол также всячески и в Черниговском, и в других полках 9-й дивизии старался привязывать к себе солдат, в том числе выписанных из прежнего Семеновского полка, внушал им мысли о возможности и близости всеобщей перемены, требуя обещания за ним во всяком случае следовать.

Действия сего тайного общества (Южного) уже не ограничивались умножением членов, оные с каждым днем принимали характер решительного заговора против власти законной, и скоро на совещаниях стали обнаруживаться в часто повторяемых предложениях злодейские, страшные умыслы. В Тульчинской думе первенствовал, как и прежде, полков-

* Один проект Конституции написан Никитою Муравьевым. Он предполагал монархию, но оставляя императору власть весьма ограниченную, подобную той, которая дана президенту Североамериканских штатов, и делил Россию на независимые, соединенные общим союзом области. Сей проект, по уверению Пестеля, служил только для новопринимаемых членов, коих боялись устрашить предложением учредить республику; Никита Муравьев утверждает, что он говорил сие, обманывая Пестеля, чтоб не рассердить его и чтоб Южное общество не отделилось совершенно от Северного. Другая конституция, с именем “Русской Правды” и совершенно в духе республиканском, есть сочинение Пестеля. Обе имеют основанием безразсудное предположение, что всякое государство может принимать все виды по воле образователей. Обе, даже по мнению некоторых умнейших членов Союза, равно доказывают совершенное незнание отечественного края, свойств оного, выгод и потребностей, а в так называемой “Русской Правде” сверх того часто обнаруживается едва вероятное и смешное невежество. Редактор, разделяя империю на большие области и отторгая от оной почти все присоединенные от Польши, именует Лифляндию, Эстляндию, Курляндию и губернии Новгородскую и Тверскую Холмогорскою областю, а губернии Архангельскую, Ярославскую, Вологодскую, Костромскую и Пермскую областю Северскою, или Северяною. По его плану Временное правление должно было служить переходом от самодержавия к республике, и первою мерою сего правления было бы запрещение тайных обществ и заведение искусного, деятельного шпионства, с тем чтобы шпионами были люди умные и самой чистой нравственности. Временное правление должно было также основать новое Иудейское царство из находящихся в Польше и России жидов. “Их будет два миллиона, – говорит Пестель, – (в том числе женщины, старики, дети), они даже и без вспомогательного войска могут легко пройти сквозь всю Европейскую Турцию и, выбрав место на берегах Малой Азии, завести свое независимое государство”. Юшневский поправлял только слог сего Пестелева сочинения. Кроме сих, найдены еще два проекта конституций: один не полный в бумагах князя Трубецкого, он не что иное, как список Конституции Муравьева с весьма важными переменами: другой, Государственный завет, у Сергея Муравьева-Апостола, сей последний есть сокращение пестелева проекта.

² По всему видно, что сия мысль родилась в них не прежде 1821 года и, вероятно, вследствие бывших незадолго пред революцией в Испании, Неаполе и Пьемонте. Оные, говорит Пестель, полагали, что возмущению должно быть в Петербурге, другие, что надобно начать в армии, идти на Москву и там принудить Сенат провозгласить перемену, установить новый образ правления.

ник Пестель; его сочленом в оной и всегда согласным, хотя по наружности недействительным, был Юшневский; от них зависели все составлявшие Южное общество, одни непосредственно, другие чрез подведомственные Думе две Управы: Каменскую, или правую, где заседали Давыдов и князь Сергей Волконский, и Висильковскую, или левую, в коей начальствовали Сергей Муравьев-Апостол и подпоручик Бестужев-Рюмин (первый, Муравьев после сделан и третьим членом Думы*). В январе 1823 года были в Киеве собраны начальства всех управ, Пестель, Юшневский, Василий Давыдов, князь Сергей Волконский, Муравьев и Бестужев-Рюмин; они читали отрывки пестелевой “Русской Правды”, и сделан вопрос: при введении наших новых законов, как быть с императорскою фамилиею? “Истребить ее”, – сказал Пестель, с ним согласились Юшневский, Давыдов, Волконский, но Бестужев-Рюмин думал удовольствоваться смертью одного императора (прочих членов царственного дома предполагали, как показывает Пестель, вывезти за границу, употребив к тому кронштадтский флот); Сергей Муравьев на сей раз противился вообще их мнению, он не хотел цареубийства. Кончили тем, что хотя большинство голосов на стороне Пестеля, но нельзя дозволить, чтобы шесть человек решились вопрос столь важный. Бестужев-Рюмин после прислал к Юшневскому речъ, в коей осуждал намерение сообщников своих, доказывая, что члены императорской фамилии по совершении революции не будут опасны: “Чего, – говорил он, – могут еще пожелать русские, когда мы устроим для них хорошее правление, когда мы дадим им мудрые законы?2*”. Но несмотря на изъявленное в сем случае искреннее или притворное несогласие, Муравьев и Бестужев-Рюмин в том же 1823 году при свидании с начальниками других управ, Пестелем, князем Сергеем Волконским, Давыдовым, в деревне Каменке одобрили их предложение истребить весь императорский дом. Князь Сергей Волконский утверждает, что оно даже и возобновлено Муравьевым, а в 1824 Бестужев писал в Варшаву (сие письмо не доставлено князем Волконским), требуя смерти государя цесаревича Константина Павловича от членов тайного Польского общества, с коим он за несколько времени перед тем вступил в сношения и связи.

Открытие сего Польского тайного общества и переговоры с ним принадлежат к замечательнейшим действиям Южной директории. Бестужев-Рюмин известил ее о существовании оногo; ему же дано поручение сделать условия с поверенными сего общества, коего целью было отделение от России, независимость Польши в ее прежнем виде. Условия вскоре сделаны Бестужевым-Рюминым, с одной стороны, а с другой – Крыжановским. Южное общество обещало признать независимость

* Впоследствии они отделили Тульчинскую управу от Думы или Директории, сделав в оной начальником князя Барятинского. Сии управы иногда, по крайней мере на французском, назывались Вентами, или Вендитами, в подражание итальянским карбонарам. Управа Каменская, буде верить показанию Давыдова, основана лишь в 1824 году, но начальники оной, князь Волконский и Давыдов, были уже и прежде в числе главных членов Южного общества.

2* Сей отрывок речи Бестужева на французском в его ответах.

Польша, возвратить ей завоеванные области, еще не совсем слившиеся с Россией (*qui ne sont pas encore Russificies*) между прочими область Белостокскую, губернию Гродненскую, часть Виленской, Минской и Подольской с наблюдением, однако же, нужных для обороны выгод при постановлении новых границ, обещало покровительствовать в России полякам и стараться искоренять взаимную нелюбовь обеих наций, а общество Польское обязывалось употребить средства действительнейшие, *какого б ни были они рода*, чтобы препятствовать государю цесаревичу приехать в Россию, когда начнется революция, и с своей стороны, приступив в то же время к возмущению, идти на Литовский корпус, если он не пристанет к ним, обезоружить его и учредить в Польше республиканский образ правления. Сверх того хотели взаимно сообщать одно другому нужные и вообще важные сведения, но с тем, чтобы сношения происходили не между простыми членами, а чрез особых комиссаров; сими комиссарами назначены Муравьев и Бестужев-Рюмин, Гродецкий и Черкасский. Впоследствии Пестель сам и князь Сергей Волконский входили в новые переговоры с депутатами Польского общества Яблоновским и Гродецким*. Пестель признается, что обещал независимость Польше, но утверждает, что не сказал ничего положительного о возвращении завоеванных областей, хотя и видно по карте России, им сочиненной и приложенной к проекту конституции (“Русской Правде”), что он в своих планах от состава империи отделял все означенные Бестужевым части прежней Польши и хотя на совещаниях с некоторыми петербургскими членами (так показывает Никита Муравьев) на упрек за сие намерение, ему и Давыдову, они оба отвечали: “Как быть! Слово уже дано, и на то была воля Южного общества”. Сии сношения с обществом Польским кажется, не имели дальнейших последствий, поверенные оного требовали от Пестеля, чтобы он дал им узнать важных людей в государстве, участвующих в заговоре против настоящего порядка, обещая с своей стороны наименовать и сблизить с ними таких же. Пестель был принужден отвечать не ясно, ибо не мог назвать никого; поляки охолодели, но связи их с Южным обществом не совершенно прекратились, ибо определено было обоюдным уполномоченным съехаться опять в Киеве, в январе 1926 года. Впрочем, все сие долженствует быть точнее объяснено производящимся в Варшаве следствием.

Незадолго до сих странных сношений, в коих частные люди своевольно располагали достоянием Отечества и судьбою правительств и народов, Управа Васильковская, то есть Муравьев и Бестужев-Рюмин, замыслили начать мятежнические действия в 9-й дивизии, которая тогда была собрана в лагере при Бобруйске, ожидая прибытия покойного государя и вашего императорского величества. Они хотели (оба в том согласны признаются) в положенный день или ночь с помощью нескольких со-

* Гродецкий по желанию полномочных Южного общества взялся предложить Варшавской директории, чтобы с его высочеством цесаревичем было поступлено *точно так в Польше, как с прочими членами императорской фамилии поступят в России*, он надеялся, что Директория согласится. (Показание Бестужева-Рюмина).

общников, одетых в мундиры солдат полка, коим начальствовал единомышленник их полковник Швейковский, овладеть государем и вашим величеством, также взять под стражу генерал-адъютанта барона Дибича, произвести бунт в лагере и, оставя гарнизон в крепости (которая, говорят они, могла в неудаче служить для них убежищем), идти на Москву, возмущая на пути и присоединяя к себе другие войска. Но, как известно уже вашему величеству и Комиссии неоднократно было замечено, все покушения и планы злоумышленников равно очевидно ознаменованы и нетерпеливостью страстей и ничтожностью средств, обманывая на сей счет друга друга по всегдашнему обыкновению в заговорах, они часто были сами ослеплены своими вымыслами и лишь в минуты, назначенные для совершения предприятия, узнавали свою слабость. Так было и в сем случае: Муравьев и Бестужев-Рюмин, думав возмутить целый корпус войск, скоро уверились, что в оном могли иметь только двух пособников: полковника Швейковского и подполковника Норова. Вследствие того положили, 1-е, Бестужеву ехать в Москву, узнать, что там делают настоящие или бывшие члены тайного общества, пригласить их, именно Михаила Муравьева и Михаила Фон-Визина, к участию в новых планах, и для исполнения оных привезти несколько молодых людей в Бобруйск; 2-е, требовать мнения и помощи Пестеля чрез Василия Давыдова, которого затем звали к себе в лагерь. Давыдов не приехал и не отвечал; Бестужев нашел в Москве только Ивана Фон-Визина и Якушкина, которые отказались от всякого содействия и начальники Васильковской управы остались при одном злодейском умысле. Пестель утверждает, что он удержал их, но сему нельзя верить, ибо из показаний Бестужева-Рюмина видно, что в апреле следующего 1824 года составлен план другого и еще более преступного покушения, им Пестелем, Бестужевым-Рюминым, Сергеем Муравьевым, двумя Поджио, Давыдовым и Швейковским. Полагали ошибочно, что покойный государь император будет в сем году осматривать войска 3-го корпуса при местечке Белая Церковь, и заговорщики решили, что в первую ночь после приезда его величества в павильон парка Александрии при смене караула несколько одетых в солдатские мундиры офицеров (в том числе разжалованных), коих они считали готовыми на злодейство, ворвутся в комнаты государя и умертвят его^{2*}. Тогда же Сергей Муравьев-Апостол, Швейковский и Тизенгаузен должны были произвести возмущение в лагере, идти на Киев и на Москву. Муравьев думал из Киева отправиться в Петербург, действовать на Северное общество, и с ним Бестужев определял себя в начальники Черниговского полка. Но смотра не было; потому даже не сделано предложения назначаемым в убийцы^{3*} и может быть нерожденным для злодейства офицерам и рядовым; по крайней мере один из них, Жуков, выписанный из гвардии, говорил после (так свидетельствует Бестужев-Рюмин): “Знаю, что для успеха

* Также Поджио, В. Давыдова и Сергея Муравьева.

2* Швейковский утверждает, что, по его мнению, должно было только арестовать государя.

3* Сих только они между собою называли заговорщиками, других же соумышленников – революционерами.

нам нужна смерть государя, однако ж если жребий велит мне быть исполнителем ужасного приговора, то я сам себя лишу жизни”.

Но исполнение сих преступных намерений только что отлагалось; оно, как явствует из множества показаний, было постоянною мыслию руководителей Южного тайного общества. Уже и в 1821 году, по свидетельству ротмистра Ивашева, вскоре после возобновления Союза на юге, в одном собрании, где находились Пестель, Юшневский, Аврамов, Ивашев, князь Барятинский, Вольф, Крюковы 1-й и 2-й и Басаргин, члены провозгласили торжественно, что цель их есть изменение существующего в государстве порядка, во что бы то ни стало предполагая не только упразднение престола, но истребление всех лиц, кои могли бы тому препятствовать; средства к сему предоставляли избрать директорам: Пестелю и Юшневскому и для того вручали им власть неограниченную*. В другом заседании при Юшневском, Аврамове, Ивашеве, двух Крюковых, князе Барятинском и штаб-лекаре Вольфе (который показывает сие), Пестель требовал решительного утверждения плана его, ввести в России республиканский образ правления посредством вооруженной силы и *упразднить царствующий дом*; члены изъявили согласие. В 1822 году князь Барятинской, принимая в общество полковника Фалленберга, взял с него клятву *жертвовать всем и даже покуситься на жизнь императора*^{2*}. В 1823 году младший из братьев Поджио^{3*}, вступив в Союз, нашел, что всеми (Южными) управами положено было иметь целью установление республики, но из осторожности не вдруг открывать сие нововводимым. В сем же году Поджио видел в Петербурге князя Барятинского и письмо, которое он привозил от Пестеля к Никите Муравьеву: Пестель спрашивал о числе членов, успехах Северного общества: “Готовы ли в Петербурге к возмущению?” и прибавлял: *les demi-mesures ne valent rien, ici nous voulons avoir maison nette* (слабые меры ни к чему не годятся, мы, здешние, думаем все дочиста искоренить). “Как, – вскричал Никита Муравьев. – Они там бог весть что затеяли; хотят всех. Князь Барятинской требовал решительного ответа: Никита Муравьев объявлял, что их намерение начать с обращения умов (*commencer par la propagande*), но им (Никитою Муравьевым), как утверждает в своих показаниях Поджио, иные в Петербурге тогда были недовольны, хуля его за медлительность, бездействие, холодность. В числе тех, кои желали скорых мер, не ужасаясь злодейства, Поджио именуется: Митькова, который на свидании у Оболенского сказал ему: “Я с вашим мнением (о погублении всей императорской фамилии) согласен совершенно до корня^{4*}; князя Валерияна Голицына, повторившего слова Митькова^{5*}; Рылеева, исполненного отваги, как го-

* На очных ставках, подтвердив показания Ивашева, некоторые (Юшневский, Басаргин, князь Барятинский и Крюков 2-й) прибавили, что сие происходило в том самом заседании, в коем положено было не признавать общества разрушенным.

2* Показание самого Поджио.

3* Показание Фалленберга, и князь Барятинской сознался в этом на очной с ним ставке.

4* Митьков сознавался в том на очной ставке с Поджио: после он опять начал запыряться.

5* Он однако же в этом не признается.

ворит показатель, но хотевшего действовать и на умы сочинением возмутительных песен и Катехизиса *свободного человека**; наконец, и Матвея Муравьева-Апостола^{2*}. Поджио представляет его одним из жарких приверженников Пестеля и республиканского правления, готовым произнести смертный приговор всему царствующему дому, только с тем (сию мысль, по другим показаниям, имели и брат его, Сергей, и Бестужев-Рюмин, и Пестель), чтобы злодейство, ими внушенное, казалось делом других, последствием заговора, составленного вне их тайного общества, и чтобы они могли избежать от кары праведного всеобщего омерзения^{3*}. Но сии мнения Матвея Муравьева значительно изменились в течение следующего года; ибо в найденном между бумагами брата его Сергея письме (от 3 ноября 1824) он напротив изъявляет благоразумие, старается удержать брата от всяких покушений, доказывает ему если не беззаконность, то по крайней мере безрассудность предприятия и невозможность успеха: “Дух в гвардии, – пишет он, – и вообще в войсках и народе совсем не тот, какой мы предполагали. Государь и великие князья любимы; они с властью имеют и способы привязывать к себе милостями, а мы, что можем обещать вместо чинов, денег и спокойства? Метафизические рассуждения о политике и двадцатилетних прапорщиках в правители государства. Из петербургских умнейшие начинают видеть, что мы обманываемся и обманываем друг друга, твердя о наших силах, в Москве я нашел только двух членов, которые сказали мне: “Здесь ничего не делают, да и делать нечего”^{4*}.

* Рылеев только думал кончить сей Катехизис свободного человека, начатый Никитою Муравьевым, но не успел. В сочинении возмутительных стихов и песен он признался.

^{2*} Сам Матвей Муравьев в одном из последних ответов своих утверждает, что сверх названных подполковником Поджио, сие мнение (об истреблении императорской фамилии) разделяли в Петербурге еще многие из членов, и в том числе главных, Северного общества. Некоторые признавали справедливость сего показания, как сие подробно означено в особых о каждом записках, о других же он объявил после, что не говорил с ними о том: противились же сему мнению, как показывает он, князь Трубецкой и Никита Муравьев; он приводит слова последнего: “*Je vais dire à ces Messieurs que la famille Impériale est sacrée (я объявляю этим господам, что императорская фамилия должна быть священна)*”.

^{3*} Пестель, если верить словам Никиты Муравьева, думал даже сих заговорщиков-убийц, им возбужденных, немедленно казнить смертью, и таким образом будто бы отмщая за императорскую фамилию, отклонить от своего общества всякое подозрение в участии. На очной ставке с Никитою Муравьевым Пестель не признался в сем последнем намерении.

^{4*} Матвей Муравьев-Апостол показывает: в своих последних ответах, что он был в необыкновенном расположении души, когда виделся с Поджио в Петербурге, долго не получая известий о брате своем Сергее, он вообразил, что заговор открыт и брат его под стражею. “Терзаемый горестью, страхом, – говорит он, – я в безумии хотел мести, хотел сам покуситься на жизнь государя и объявлял о своем намерении кавалергардским офицерам Вадковскому, Свистунову, Артамону Муравьеву”. Первый думал для сего употребить бывшее у него духовое ружье, последний назначал день, когда его эскадрон будет в карауле. Но Матвей Муравьев, узнав, что брат его свободен, успокоился и оставил мысль о злодейственном покушении. Вскоре после того один из вышеупомянутых офицеров (Федор Вадковский) предполагал между прочими способами для исполнения повелений их общества убить покойного императора и всех членов его августейшей фамилии на каком-нибудь большом придворном бале и тут же провозгласить установление республики. Подпоручик Кривцов и корнет Александр Муравьев говорят, что находя сие предположение нелепым, сочли его за шутку.

По всему видно, что и деятельнейшие в тайном обществе, точно не стыдясь, обманывали друг друга. Так, генерал-майор князь Сергей Волконский сообщал Пестелю, что он подговорил многих офицеров из всех полков 19-й дивизии, за исключением лишь полка его личного неприятеля Бурцова, называл некоторых, будто бы принятых им или *приготовленных*, и после должен был признаться, что все было им вымышлено из тщеславия для доказательства его преступного усердия. Так, они говорили в Южном обществе, что их главные силы на Севере и там должно начаться действиям, а в Петербурге, что все готово на юге, утверждали иногда, что Москва решит дело, а в Москве не было уже и управы, и очень мало членов, большою частью отставших от *Союза*; говорили также и также ложно, что есть тайное общество на Кавказе и в Харькове, последнее будто бы под начальством графа Якова Булгари. Но то же самое чувство тщеславия не допускало их ни сердиться за обман, ни признаваться в перемене образа мыслей. Матвей Муравьев-Апостол после означенного выше письма к брату, в коем он сверх того изъявлял весьма невыгодное мнение о Пестеле, после разговора в том же духе с приезжавшим к нему в деревню майором Лорером вдруг снова начал уверять Пестеля в привязанности к нему, в рвении к успеху его планов*. Сей последний (Пестель), как свидетельствует Никита Муравьев, другие допрошенные и самый ход происшествий, был в Южном обществе не только директором, но полным властелином, большая часть членов слепо ему верили: иные, в том числе начальник одной из управ, князь Сергей Волконский, (не зная его проекта Конституции, хотели всем жертвовать для введения предположенного в ней образа правления)²*. Впрочем, по некоторым показаниям, он часто действовал так, чтобы его мысли и намерения были предложены не им и даже казались не его внушением. Подполковник Поджио встретился с ним в первый раз осенью 1824 года. Пестель знал, что он член их общества, знал, что он из таких, коих, по словам его, не было нужды *пришпоривать*, но сперва говорил очень осторожно, только искал пленить его умом, велеречием, лестью, много рассуждал о различных формах правления, *начав от Нимврода*, и особенно охуждал наследственный в монархиях порядок, но когда Поджио в восторге, который в другом случае можно бы назвать детским, вскричал: *“Должно признаться, что все жившие до нас ничего не разумели в государственной науке; они были ученики и наука в младенчестве”*. То он стал мало-помалу намекать о том, что для торжества их идей нужны усилия, жертвы, ответ уже воспламененного до бешенства и ныне горько раскаявшегося Поджио был готов: *“Принесем на жертву всех”*. Тогда Пестель, сжав руку, сказал: *“Давай считать их по пальцам, для удара я готовлю двенадцать удалцов: Бяратинской уже набрал некоторых”*. Дошедши до царственных особ женского пола, он на минуту остановил-

* Уступая просьбам брата, как он утверждает, даже письма его к Пестелю сочинены не им, а братом его Сергеем и Бестужевым-Рюминым.

²* Князь Сергей Волконский говорит сам, что он видел только небольшие отрывки пестелевой *“Русской Правды”* и что главнейшие основания оной были ему вовсе не известны.

ся: “Знаешь ли, Подджио, что это ужасно!” и однако ж заключил свой страшный счет числом 13, прибавя: “Если убивать и в чужих краях, то конца не будет, у всех великих княгинь есть дети: довольно объявить их лишенными прав на царство, и кто захочет престола, облитого кровью?” Но Пестель сам, как показывает его сообщник-обвинитель, хотел для себя, по крайней мере, власти царской. “Кто же, – спрашивал он у Подджио, – будет главою Временного правительства? Кому быть, кроме того, кто начинает и без сомнения совершит великое дело революции, кроме вас? – Неловко мне, нося имя не русское. – Что нужды! Вы уймете самое злоречие, удалясь как Вашингтон в среду простых граждан: ведь временное правительство недолго будет действовать, год, много два. – “О нет! – возразил Пестель, – не менее десяти лет, они необходимы для одних предварительных мер, между тем, чтобы не роптали, можно занять умы внешнею войною, восстановлением древних республик в Греции. А окончив великий подвиг, я заключусь в Киевской Лавре, буду схимником и тогда примусь за веру*.”

Ослепляя, таким образом, людей незрелого ума в своем непосредственном кругу, зараждая или по крайней мере укореняя в их сердцах беззаконные и бесчеловечные намерения, директор Южного тайного общества продолжал стараться и о том, чтобы распространить свое влияние на Северную Думу^{2*}. Князь Сергей Волконский, Давыдов, Швейковский приезжали в Петербург (первый два раза) с предложением соединить оба общества, действовать вместе, стремиться к одной, определенной южными членами, цели. В 1824 году был и сам Пестель. Он, возвратясь на юг, уверял, что привел все в желанный им порядок, что общества Южное и Северное соединились, что сначала ему противились во многом, и однажды он, в нетерпении ударив по столу, сказал: “Так будет же республика”, что наконец все согласилось с его мнением и видами. Но члены Петербургского общества показывают другое; Рылеев утвержда-

* Пестель, также по свидетельству Подджио, говорил и о людях, коих намерен был употребить, щедро обещая своим соумышленникам министерства и все важные места в государстве, о предателях сказал, что имена их записаны в черную книгу и обречены мщению кинжалам, aqua torhana [яд (лат.). – Сост.] и проч. и проч. После, когда Василий Давыдов спросил у него при Подджио: “Знаешь его и мое мнение? Всех!”, то он отвечал, усмехаясь: “Да! Подджио ужасный человек”. На очной ставке Пестель признался, что имел с ним означенный выше разговор, но прибавя: “Без театральных движений и мне ни какой нужды не было воспламенить Подджио, я нашел его готовым на все”.

^{2*} Теми же средствами: ласкательством, однажды, в разговоре с Рылеевым, как сей показывает, Пестель, чтобы привязать к себе сего тогда нового члена и узнать его образ мыслей, изъяснял попеременно разные политические мнения: он был, говорит Рылеев, и гражданином Североамериканским, и защитником то государственного устава Англии, то Конституции испанской, и террористом, и наполеонистом. Между прочим сказав, что и богатством, и силой, и славой Англия обязана своим законам, он чрез минуту согласился с Рылеевым, что сии законы устарели, не годятся для нашего века, наполнены недостатками и могут пленять только слепую чернь, купцов, лордов и близоруких англоманов. Хваля Бонапарте, на слова Рылеева, что теперь уже Наполеоном быть нельзя, что даже честолюбцу должно для собственной выгоды подражать скорее Вашингтону, Пестель отвечал: “Правда, но если бы и вышел Наполеон, то мы все будем не в проигрыше”.

ет, что они думали соединиться с Южным обществом для того единственно, чтобы надзирать за Пестелем и противодействовать ему, что сего, к сожалению, не могли сделать, а по словам Никиты Муравьева, Пестель после приезда в Петербург на собрании при князе Трубецком, Оболенском, Николае Тургеневе, Рылееве, Матвее Муравьеве-Апостоле жаловался на недейтельность Северного общества, на недостаток единства точных правил, на различие устройств на севере и юге. В Южном обществе были *Бояре*, в Северном их не было; он предлагал слить оба общества в одно, назвать *Боярами* главных петербургских членов, иметь одних начальников, все дела решить по большинству голосов *Бояр*, обязать их и прочих членов повиноваться слепо сим решениям; предложение было принято, как сказал князь Трубецкой Никите Муравьеву, который не был на сем собрании. “Мне это весьма не понравилось, – говорит Муравьев, – и когда вскоре затем Пестель пришел ко мне, то у нас началось прение; Пестель говорил, что надобно прежде всего истребить всех членов императорской фамилии, заставить Синод и Сенат объявить наше тайное общество *временным правительством с неограниченной властью*, что сие Временное правительство, приняв присягу всей России, раздав министерства, армии, корпуса и прочие места членам общества, мало-помалу, в продолжение нескольких лет будет вводить новый порядок. Я нашел сей план равно и варварским, и несбыточным*. Вследствие сего разговора Никита Муравьев на другом собрании общества доказывал, что совершенное соединение их с Южным обществом невозможно по дальности расстояния и по несходству во мнениях, что в Северном всякий следовал своему, а в Южном, как он слышал, никто не противоречил Пестелю; и так большинство голосов было бы выражением одной его воли; он же не сказывал, сколько у него бояр и предоставлял себе право вместе с своими боярами принимать новых. Муравьев прибавил, что никогда не будет слепым орудием решений большинства, которые могут быть противны его совести и хочет иметь свободу выйти из общества. Его слова действовали; Пестель должен был согласиться оставить все в прежнем виде до 1826 года, а тогда собрать уполномоченных для постановления правил и для избрания одних правителей в оба общества; с тех пор он^{2*}, видимо, охладел к главным членам петербургским, не показывал им доверенности и хотя обещал прислать свой проект Конституции, однако ж не прислал и не входил ни в какие объяснения об устройстве и состоянии Южного общества. О князе Сергее Волконском Никита Муравьев говорит, что он был в Петербурге после Пес-

* План самого Муравьева, как он показывает, был следующий: 1. Окончив свой проект Конституции, раздать множество экземпляров оного людям всех состояний; 2. Произвести возмущение в войске и тогда напечатать сей проект; 3. По мере успехов возмущения во всех занятых местах учреждать предположенные им новые начальства и другие присутственные места; и 4. Если бы императорская фамилия не согласилась принять его Конституцию, то изгнать ее и предложить установление республиканского правления, но только в сей крайности, ибо он в конце 1822 года как уверяет, отчасти переменял свой образ мыслей и признал превосходство монархических форм над республиканскими.

^{2*} Слова Никиты Муравьева.

теля (вероятно, во второй раз) и не имел никаких поручений, а только хвалил единодушие обществ Северного и Южного.

В сем последнем беспрестанно оказывалось нетерпение приступить к действию, мятежам и было останавливаемое только чувством бессилия. Сии порывы особенно волновали так называемую Васильковскую управу, которая часто, как уверяет Пестель, составляла планы, решалась на предприятия, даже и по его мнению не сбыточные, без согласия Тульчинской директории, но уведомляла ее обо всем. Сия Управа приняла много новых членов; она, как означено выше, вступила первая в сношения с Польским обществом и ею же в 1825 году открыто другое тайное общество, *Соединенных славян*, которое было и не весьма многочисленно, и не значительно ни по званию, ни по свойствам членов своих, и коего существование продолжалось не более двух лет. Основать оное вздумал 1823 года подпоручик артиллерии Борисов 2-й, пригласив к тому своего брата и одного волынского шляхтича Люблинского. Он сочинил, а Люблинский перевел на польский язык *формулу клятвенного обещания для вступающих и краткий Катехизис славянина*. В нем между многими ученическими апофегами о природе, о просвещении и предрассудках, о простоте выражений великодушия и надутом слоге рабства сказано: *не надейся ни на кого, кроме друзей и своего – (оружия). Друзья тебе помогут, а – тебя защитит, и ты еси славянин, и на земле твоей, при берегах морей, ее окружающих, построишь четыре порта: Черный, Белый, Далматский, Ледовитый, воздвигнешь город и в нем своим могуществом посадишь на трон богиню просвещения и проч[ее] и проч[ее]. Желает сего, жертвуй 10-ю часть своих доходов и будешь обитать в сердце друзей*. В клятве, обещаясь хранить тайну, действовать для блага славянских племен, они прибавляли: *“Если изменю, то да будет наказание и угрызением совести, и сим оружием, над коим произношу присягу, да увидит она острием в сердце мое, да истребит всех мне любезных и жизнь моя с сей минуты да будет сцеплением неслыханных бед”*. Целью общества они полагали соединить общим союзом и единообразным республиканским правлением, но без нарушения независимости каждого, восемь славянских колен, означенных на осмиугольной печати их: Россию, Польшу, Моравию, Далмацию, Кроацию, Венгрию с Трансильванией, Сербию с Молдавией и Валахией; средств для сего предприятия они, как говорят единогласно в показаниях, не имели никаких до самого конца. Заводя сие общество, Борисов старался только умножать число членов и, чтобы придать ему важности, уверял принимаемых, что оно сильно, что средоточие оно в Петербурге, отрасли во всех землях, населенных славянами, и что основатель общества есть известный молдавский князь, который теперь не в России. В лживости сего и в причинах, побудивших его вымыслить рассказываемую им басню, он впоследствии признавался Бестужеву-Рюмину и то же подтвердил на вопросах пред Комиссиею. Когда он и другие члены сего тайного общества познакомились с Сергеем Муравьевым и Бестужевым, их было 36 человек*, большою частью молодых офи-

* Кои означены в одном из приложенных списков.

церов артиллерии и некоторых пехотных полков 3-го корпуса. Сей корпус стоял тогда лагерем у местечка Лещина: многие из товарищей Муравьева и Бестужева-Рюмина по Южному обществу видались с ними ежедневно: полковники Швейковский, Тизенгаузен, Артамон Муравьев, Враницкий, майор Спиридов; положено, чтобы Бестужев обратил Соединенных славян к своей цели. Ему было нетрудно доказать невозможность когда-либо исполнить их собственный план; он прибавил к сему, что обязанность русского думать о преобразовании России, прежде иных соплеменных нам народов и потом, говоря именем своего *многочисленного могущественного общества, распространившего отрасли свои по всей империи, именем верховного правления, сокровенного даже и для большей части членов в непроницаемой тайне*, пригласил их содействовать и повиноваться ему беспрекословно. Все, тут бывшие, согласились*; *Общество славян* присоединилось к Южному, то есть к Васильковской управе; они обязались клятвою, целуя образ, который Бестужев снял с шеи, а он, объявив, что должно стремиться к испровержению настоящего порядка посредством военной силы, разделил их на округа; начальники сих округов (для артиллерийских – Горбачевский, для пехотных – Спиридов, назывались *посредниками*, ибо через них *Соединенные славяне* сносились с Бестужевым и Южным обществом. Потом он показывал им проект новых республиканских законов^{2*} и уверял, что князь Трубецкой возил его на рассмотрение лучших иностранных публицистов, кои все одобрили сие законоположение^{3*}. Наконец, требовал чтобы подговаривали солдат и готовились по его предписанию начать возмущение не позднее августа 1826 года при смотре войск у Белой Церкви, а может быть и прежде. Затем, на собраниях у него и Муравьева, где бывали и вышеименованные члены Южного общества и некоторые из *Соединенных славян*^{4*}, они оба твердили им беспрестанно о близости, о пользе революции, воспламеняли их воображение и страсти, намекали сначала, потом говорили ясно и решительно о необходимости посягнуть на жизнь императора Александра, истребить всю *династию*. Один из общества Соединенных славян (Горбачевский) сказал: “Но это противно богу и религии”. – Неправда, – возразил Сергей Муравьев и стал им читать свои выписки из Библии, коими, ложно толкуя их, хотел доказать, что монархическое правление не угодно небу. “*Надобно*, – повторял Бестужев, – *самый прах их* (членов императорской фамилии) *развеять по земле*”. Последствий таких, как во Франции, бояться не должно: там начал революцию народ, а не войско; у них не было хорошей конституции, од-

* Борисов 2-й, Горбачевский, Пестов. Тютчев, Бечаснов, Громницкий, Андреевич 2-й, Веденяпин 1-й, Мозгалевский, Щипилла, Шимков, Киреев и Мозган. Сверх того присоединились к Южному обществу, но не присягали Иванов и Лисовский.

2* “Государственный завет”, – сокращение “Русской Правды” Пестеля.

3* Они в самом деле думали послать свой проект Конституции для исправления некоторым французским и английским литераторам, коих образ мыслей считали близким к своему, сие объявляет Бестужев-Рюмин.

4* Тютчев, Борисов 2-й, Горбачевский, Пестов, Бечаснов, Громницкий, Андреевич 2-й, Берстель, Мозгалевский.

на сменяла другую, все были наполнены недостатками и между верховными правителями их, консулами был человек отважный с обширным гением; у нас против всего подобного взяты меры”*

Во время сих свиданий и переговоров члены Васильковского округа едва не решились немедленно поднять знамя бунта. Получено известие, что у одного из них (Швейковского) отнят полк; он был в отчаянии, сообщники его также и по участию в нем, и потому, что с ним лишились надежды привлечь к содействию полк, коим он начальствовал. В первые минуты раздражения они^{2*} определили возмутить 3-й корпус (дивизии 8-ю и 9-ю пехотные, 3-ю гусарскую и артиллерию сих дивизий) и идти на Киев, потребовав совета и помощи у Пестеля; хотели также послать убийц в Таганрог, и полковник Артамон Муравьев предложил себя. “Ты нам нужен здесь для своего полка”, – отвечали ему. Бестужев для совершения злодеяния взялся найти человек до 15^{3*} из Соединенных славян и других, не принадлежащих ни к какому тайному обществу, но известных ему и надежных по их образу мыслей и характеру: он составил им список, но все, коих имена были в оном, изъявляя согласие^{4*}, некоторым он и не открывал своих намерений, как видно полагаясь на общую данную им присягу в слепом повиновении. Но не долго они занимались своими преступными мечтами, опомнясь, сам Швейковский убедительно, *со слезами* просил товарищей не жертвовать собою за него, *отложить* всякое действие, чувствуя всю невероятность удачи, они согласились и однако же дали друг другу слово *начать непременно в 1826 году*. И тогда, они думали убиением императора Александра подать знак к повсеместным смятениям, принудить Сенат провозгласить избранную ими Конституцию и составить три лагеря: первый – у Киева под командою Пестеля, второй – у Москвы под командою Бестужева-Рюмина, третий – близ Петербурга, где Сергей Муравьев-Апостол должен был явиться, *что б принять начальство над гвардиєю*; так им все казалось легко. Но один (полковник Тизенгаузен) иногда казавшийся ревностным, даже предлагавший составить кассу для предприятия общества и продать для сего последнее платье жены своей, говорил: “*Начинать через год! разве через десять лет!*”^{5*} Артамон Муравьев еще несколько времени упорствовал в желаниии не откладывать и ехать для убийства в Таганрог; Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев утверждают, что ему худо верили, *считая его самохвалом, яростным более на словах, нежели в самом деле*, он сам признался пред Комиссиею в истине приписываемых ему слов и умысла.

* Показание Бечасного.

^{2*} То есть Сергей, Артамон Муравьевы и Бестужев-Рюмин. Враницкий не был на их первых совещаниях, Швейковский в горести тогда все молчал, Тизенгаузен также говорил очень мало.

^{3*} Так показывают штабс-капитан Корнилович и сам Бестужев.

^{4*} Признались или приличены в том: Спиридов, Горбачевский, Борисов 2-й, Бечаснов, Пестов: они в сем случае обязались новой клятвой, также целуя образ.

^{5*} Тизенгаузен утверждает, что он был только увлечен дружбой к Сергею Муравьеву, хотя ужасался его намерений, даже хотел донести обо всем начальству, но был удержан от того *болезнью*.

По снятии Лещинского лагеря они расстались, твердя о плане на 1826 год между собою и Соединенным славянам чрез Бестужева. Он им повторял, что при смотре войск у Белой Церкви будет удобный случай произвести мятеж и все замысленные ими перемены; уверял снова в силе своего тайного общества, уже не имеющего нужды в новых членах и, требуя от них крови священной, утверждал, что не будет кровопролития; наконец, советовал, предписывая приглашать к сообщничеству фейерверкеров, унтер-офицеров и рядовых. Сие поручение было исполняемо, хотя не всеми и не всегда с успехом, ибо некоторым солдаты на их лукавые обещания и слова, *что пора избавиться от несправедливости начальников, по большей части немцев*, отвечали: *“Не верим, это все пустое”* или *“Хорошо, мы с вами, если только в этом не будет бунта или какого иного худа”*. Иные даже спрашивали: *“Да полно, батюшка, не противно ли это присяге и знает ли про то государь?”* И, ругаясь над их простодушным легковерием, им говорили, *что все согласно с присягою и будет известно государю*.

Директоры Южного общества были, как сие означало выше, уведомляемы о делах и предположениях Васильковской управы; Сергей Муравьев тогда уже сам был одним из директоров. Пестель в ответах своих утверждает, что он не одобрял их планов, знал невозможность исполнения, предвидел, что и в 1826 году нельзя будет ни на что решиться; но, по другим показаниям*, он несколько раз говорил: *“Муравьев нетерпелив и скор, однако ж, если он начнет удачно, то я не отстану от него”*. Он повторял сии слова и после кончины государя императора Александра, ибо непритворная, всеобщая горесть Отечества не переменяла ни расположения заговорщиков, ни главных намерений их; один из членов и Бояр (Федор Вадковский) писал в то время из Курска к Пестелю (это письмо достойно замечания): *“Вот случай, коим общество могло бы воспользоваться, если бы оно было готово, но он пропущен, будем ждать, что сделает новое правительство; если оно будет действовать дурно, то сие, умножив число недовольных, увеличит наши силы; в противном же случае при общем благоденствии, имея и более свободы, удвоим старания, чтобы скорее испровергнуть его”*. Многие из допрошенных^{2*} свидетельствуют, что уже после сего Пестелем и его главными соумышленниками было положено 1 января нынешнего года по вступлении Вятского полка, коим Пестель командовал, в карауле в Тульчине арестовать главнокомандующего 2-й армии и начальника штаба и тем подать знак к возмущению, как донесение капитана Майбороды, удостоверив в существовании тайного общества, открыло все планы оною, и Пестель взят под стражу.

Между тем и в обществе Петербургском явилась большая против прежнего и беспокойная деятельность, особливо со времени вступления Рылеева в Думу на место князя Сергея Трубецкого. Он и принятый им и в апреле 1825 года причисленный в Верховному кругу Александр Бестужев, тесно с ним связанный приятнью, единомыслием, сходством вкусов и занятий, рев-

* Капитана Майбороды и Давыдова.

^{2*} Давыдов, князь Сергей Волконский, капитан Майборода.

ностнее всех старались распространять свои правила и умножать число со-общников, хотя Бестужев и утверждает, что с первого заседания его в кру-гу убежденных он уверился в ничтожности сил их общества, что с тех пор до 27 ноября он видел в нем одну игрушку, даже искал средств удалиться, только не нарушая данного обещания и не ссорясь с товарищами, что для сего думал нынешнюю зиму жениться в Москве и ехать на несколько лет за границу. Им и Рылеевым, прямо и чрез других, приняты многие но-вые члены*, в том числе вступили в общество в разные времена некоторые из преступных участников в беспорядках 14 минувшего декабря: Николай, Михайло, Петр Бестужевы, Сутгоф, Панов, Кожевников, князь Одоев-ский, князь Щепин-Ростовский, Вильгельм Кюхельбекер, Торсон и Арбу-зов, служивший в Гвардейском морском экипаже. Через него^{2*} Рылеев действовал на круг молодых офицеров сего экипажа, кои не были членами ни Северного, ни Южного тайного общества и не составляли особенного, а только любили собираться, чтобы в нескромных разговорах оуждать пра-вительство, хвалить конституцию Американских штатов, мечтать о введе-нии нового республиканского порядка в России. На сих, впрочем, весьма малочисленных собраниях вместе с Арбузовым первенствовал Завалишин, также молодой флотский офицер, недавно возвратившийся из отдаленного морского путешествия; он уверял товарищей, что принадлежит к таинст-венному *Вселенскому Ордену Восстановления*, который, будто бы имея членами важнейших людей в разных государствах, стремится к преобразо-ванию всех правительств в Европе и Америке, прибавлял, что статуты сего ордена (писанные, по словам читавшего их Рылеева, двусмысленно, в духе, который можно назвать и монархическим, и республиканским) он дово-дил до сведения покойного императора Александра, прося его согласия на подобное установление в России, несмотря на то, он находил (так показы-вает мичман Беляев 1-й), что государь и августейший дом его будет всегда препятствовать в успехе замышляемых им перемены и сначала полагал вы-везти их за границу, потом он и особливо Арбузов стали говорить, что лучше всех истребить. Слыша о сих предположениях, другие сперва ужаса-лись, но после, мало-помалу привыкая, становились равнодушнее, таким образом их готовили в орудия тайного общества, почти им неизвестного, ибо Арбузов по крайней мере не ясно об оном рассказывал^{3*}.

Около сего же времени, то есть в течение 1825 года, члены Северной думы познакомились с приехавшим из Грузии капитаном Якубовичем.

* Рылеев имел намерение, одобренное Северною думою, принимать и купцов, он о том со-ветовался с бароном Штейнгелем, который сказал, *что это невозможно, что наши купцы – невежды* (показания Рылеева и самого Штейнгеля).

^{2*} А на него самого прежде принятия в общество через Николая Бестужева.

^{3*} Один (Дивов) даже старался превзойти Арбузова и Завалишина в изъявлениях крово-жадности: он сам признается *в сем безумии*. Завалишин утверждает, что большая часть его поступков и слов были, по крайней мере вначале, не что иное как благонамеренная хитрость, что он еще в малолетстве, читая священное писание, имел таинственные от-кровения, назначавшие его для восстановления истины, и что он тогда же вздумал учре-дить Орден Восстановления. “Сперва, говорит он, и полагал целью одно торжество ист-тин веры; после, быв в Англии и Калифорнии, присоединил к сему и виды политические; хотел произвести в Испании контрреволюцию без войны, хотел также, будто бы для

Александр Бестужев открыл ему о существовании тайного общества и предложил вступить в оное, на что он не совсем согласился, говоря: “Не хочу принадлежать ни к какому обществу, чтобы не плясать по чужой дудке: *сделаю свое*; вы пользуйтесь этим, как хотите; я же или постараюсь увлечь за собой войска, или при неудаче застрелюсь: мне жизнь наскучила”. Под словами “*сделаю свое*” Якубович разумел намерение убить императора Александра, уверяя, что он на сие давно решился из личной, восемь лет питаемой им мести: причину столь неумеренной злобы было то, что Якубович в 1817 году за участие в одном несчастном поединке выпитан из гвардии в Кавказский корпус. В своих показаниях пред Комиссией он утверждает, что никогда не умышлял того в самом деле, а только желал удивлять сообщников необыкновенным ожесточением и отчаянной дерзостью, но они не сомневались и по остатку ли добрых чувств или по расчетам старались его удержать *от дела бесполезного, даже вредного**. Рылеев (который после говорил Трубецкому: “Якубовича можно бы спустить с цепи, да что будет проку?”) хотел просить его на коленях отложить хотя на месяц или на два, грозя, если он не согласится, убить его или донести правительству. Якубович сказал, что уступает просьбам, отлагает до маневров или Петергофского праздника, потом далее, наконец, до мая 1826 года или даже на неопределенное время. Один из допрошенных (барон Штейнгель) слышал от Рылеева, что когда Якубовичу объявили о кончине императора Александра, то он *скрежетал зубами*, досадуя, что лишился возможности совершить давно замышленное им злодейство*². Об его намерении знали и вне Петербурга. В исходе сентября Никита Муравьев сообщал об оном в Москве генерал-майорам Михаилу Фон Визину и Михаилу Орлову: они и сам Муравьев говорили, что должно препятствовать Якубовичу всеми возможными средствами, а в крайности и уведо-

основания республиканских правительств вне Европы, стараться вывезти из сей части света тех людей беспокойного ума, которые желают перемен и смятений. Написанные мною Статуты Ордена наподобие мальтийских я представлял императору Александру; он похвалил мое усердие, но не принял плана, что крайне меня огорчило. Вскоре затем, имев несчастье войти в связи с *сим коварным злодеем Рылеевым*, я узнал, что есть тайное общество враждебное правительству, и решился было донести о том, но государь был в Варшаве, и я, по глупой гордости, хотел все открыть ему без посредников. Между тем старался изведать более о тайном обществе чрез других и для сего дозволял себе несогласные с моими чувствами и видами слова, обратившие ныне к моей гибели. Я говорил, что Орден Восстановления существует, показывал Статуты, не те, которые представлял покойному государю, а другие и в другом духе, мною же нарочно для того сочиненные. Но обманывая других, сам сделался жертвою обмана; мой собственный образ мыслей начинал изменяться, сердце тускнело, а я не замечал в нем пятен, наконец, стал уверять себя и поверил, что намерения Рылеева могли быть чистые, что во всяком случае позорно быть доносителем”. На него, уже после сего объяснения, показали Арбузов, Беллев 1-й и Дивов, что он им читал с жаром и восторгом стихи, будто бы им писанные и наполненные гнуснейшими клеветами на покойного императора Александра. Завалишин признался, что читал им сии стихи, утверждая, однако же, что не он автор оных и не знает, кем они сочинены, он прибавляет, что в распалении страстей, коим ознаменовано время его преступного заблуждения, он был готов говорить все ужасное, чужое и свое.

* Показание Александра Бестужева.

² Рылеев на вопрос о том объявил Комиссии, что Якубович, вбежав к нему, закричал: “Царь умер, это вы его у меня вырвали”.

мить правительство: последний (Орлов) худо верил известию, видя в оном хитрость, чтобы завлечь его опять в тайное общество будто бы для отвращения злодейств и несчастий посредством его влияния. В Киеве князю Сергею Трубецкому доставил о том сведение полковник Фон Визин; оно дошло и до Васильковской управы, ибо Сергей Муравьев, распускающий о назначаемых в орудия царевбийства, упоминал об Якубовиче*.

Осенью в сем же 1825 году другой человек (подполковник Батенков) совсем иных свойств, но также как Якубович не бывший членом Северного общества, а знавший тайные намерения руководителей оного, вошел случайно в приятельские связи с Рылеевым и Александром Бестужевым. Рылеев решился сделать Батенкова одним из своих главных пособников: Бестужев утверждает, что он напротив долго подозревал его и слова, согласные с их словами и образом мыслей, почитал *способом изведывания*; однако же, говоря с ним однажды о том, что бы могло быть в России при ином образе правления, он прибавил: *“Есть 20 или 30 удалых голов, которые для такой перемены на все готовы”*. Батенков отвечал: *“Я почел бы себя недостойным имени русского, если бы отстал от них”*. Вскоре после того Рылеев, пришедши к Александру Бестужеву, вскричал: *“Как ты был несправедлив, сомневаясь в Батенкове! Он наш”*. С сих пор они обходились с ним как с ближайшим сообщником, не скрывая от него своих надежд и умыслов, по крайней мере главного – перемены правления, но на счет сил и средств тайного общества, кажется, умели обмануть его. Батенков, как сам показывает, сначала в разговорах с Рылеевым и Бестужевым искал одной забавы, хотел блистать остроумием и смелыми мечтами, но потом, лишась выгодного места (в совете военных поселений) по нечаянному стечению обстоятельств и неприятным образом, он в волнении оскорбленного самолюбия стал разделять с ними их преступные желания, а мало-помалу и планы, особливо познакомясь с приехавшим в октябре из Киева князем Сергеем Трубецким. Впрочем, как видно из собственных изветов Батенкова, его всегда влекли к таинственности и к замыслам дерзостного честолюбия и воображение более беспокойное, нежели живое, и высокая мысль о себе, и самые успехи по службе. Не зная еще Рылеева и Бестужева, он когда-то в дороге, думая о способах, коими правительство может оградить себя от покушений враждебных ему тайных обществ и находя, что к сему оно должно употреблять другие, им заводимые сообщества, сочинил план тайного общества *против правительства*. Вероятно, в том, к коему он несовершенно присоединился, Г. Батенков полагал силы, которые предназначал своему: он сам говорит, что в Рылееве видел не что иное как агента настоящих, сокровенных правителей общества и средоточием оного считал главную квартиру 2-й армии; хотел однако же посредством связей с здешними членами преобразовать по своему плану или, буде не успеет разрушить его, разгласив чрез своих знакомых о существовании заговора и наименовав князя Трубецкого в числе злоумышленников. *“Я не подозревал, – прибавляет он, – что уже стою между ими”*^{2*}.

* Так показывает полковник Тизенгаузен.

^{2*} Он для сего определял 1 января и поздравительные посещения.

Происшествия скоро доказали, что все его предположения были столь же неосновательны, сколь и противозаконны; он ежедневно более и более увлекался в сообщничество с мятежниками, сначала содействовал им только изъяснением сходного с их мнениями образа мыслей, а после советами, в коих иногда оказывал умеренность, даже некоторое благоразумие. Так, когда при нем стали говорить о грабеже, кровопролитии и кто-то (Александр Бестужев, как думает князь Трубецкой) сказал: *“Можно и во дворец забраться”*, то Батенков возразил с жаром: *“Сохрани боже! Дворец во всяком случае должен быть неприкосновенным священным залогом безопасности общей”*. Но часто другими словами, как будет означено ниже, он и ободрял их к действию, и они считали его важным для себя пособником, ибо, с своей стороны, обманываясь, полагали, что Г. Батенков имеет на значительных в государстве людей влияние, которого он не имел никогда. Потому льстили его чрезмерному самолюбию, и каждое слово его казалось им замечательным, ему, как он сам показывает, случилось сказать в шутку, что он желает быть купцом, сделаться градским главою и возвысить это звание в достоинство лорда Мейора; Якубович тотчас подхватил: *“Вы хотите быть головами, господа! Пусть так, но оставьте нам руки”*.

Приезд сего последнего (Якубовича) в Петербург, его разговоры, объявленный им умысел сильно действовали на тогдашнего начальника Северной думы Рылеева; им, как утверждает Александр Бестужев, *воспламенена тлевшаяся искра*; хотя и до того Рылеев полагал, что Общество приступит к началу при кончине императора Александра, или прежде, если будет в состоянии: но тогда уже, может быть по известиям с юга, стал намекать о возможности начать в мае 1826 года, даже и скорее: *“Вот увидишь, когда возвратится государь (из Таганрога), мы что-нибудь предпримем”*. Сии слова сказаны им в ответ на вопрос Пущина *“Что они делают?”*, привезенный из Москвы в сентябре новым членом бароном Штейнгелем, которого побудило к ним присоединиться (как он сам искренно объявляет) между прочим и страдание неудовлетворенного честолюбия, *досада видеть себя забытым, брошенным*. Ему, как одному из менее ослепленных, Рылеев говорил: *“Во 2-й армии хотят демократии, но это вздор, невозможное дело, мы желаем монархии ограниченной”*. Но он же и почти в то же время восклицал при Батенкове, что в монархиях не бывает великих характеров, что в Америке только знают хорошее правление, а Европа вся и самая Англия в рабстве, что Россия подаст пример освобождения, когда же (сие показывает Александр Бестужев) представился вопрос, как быть, *если император не согласится на условия и можно ли, помня пример Испании, полагаться на вынужденное согласие?* То он (Рылеев) сказал: *“Южные отвергают монархию, их мнение принято и здесь, они же берутся извести государя при случае”*. Александр Бестужев показывает также, что Рылеев и Оболенский, *вероятно, вследствие южных инстигаций* упоминали и о погублении всей императорской фамилии. Показатель пристал к сему мнению, но утверждает, что притворно, и настаивал вместе с Якубовичем, *что на это нужно не менее 10 убийц, в надежде, что нельзя будет найти такого числа отчаянных извергов и тем устранится удар от главы священной. Я был*

крикун, а не злодей, пишет он, хотя предлагал себя для совершения ненавистного дела, ибо знал, что меня Рылеев не употребит, ему было известно, что действовать на солдат должно людям чистым. Почти то же объявляет и Торсон, но Рылеев не во всем сознается, уверяет, что и не знал точно о намерении Южного общества погубить государя императора Александра и все августейшее семейство его, что хотя предпочитал всем другим образ правления Североамериканской республики, однако же желал в России и, разделив ее на области, подобные Американским штатам, оставить на время формы монархии, что, впрочем, считал свое общество вправе только разрушить существующий порядок, а не вводить новый без согласия депутатов (против сей мысли очень восставал Пестель), наконец, что когда спросили: “Что делать, если государь не согласится на их условия?”, – то он, Рылеев, сказал: “Не вывезти ли за границу?” Что к сему мнению пристали Трубецкой, Никита и Матвей Муравьевы, Оболенский и Николай Тургенев и что для сего ему от Думы велено готовить флот через надежных офицеров. Исполняя сие поручение, Рылеев говорил с Торсоном и на слова его, что это средство опасно, что лучше императорскую фамилию оставить даже во дворце, лишь под присмотром, отвечал: “Нет, в Петербурге нельзя, а разве в Шлиссельбурге и на случай возмущения мы имеем пример то, что сделано в бунте Мировича”^{*}.

Известие, поразившее скорбью сердца всех добрых россиян и всех благомыслящих людей в Европе, произвело на злоумышленников иное впечатление, но не радостное, ибо случай, коим они думали воспользоваться для начатия мятежей, лишь только снова доказал их бессилие. Они в одно время (27 ноября) узнали о кончине в бозе почившего императора, о Манифесте, коим его величество назначал преемника державы и о присяге, уже данной государю цесаревичу всеми жителями столицы^{2*}. В своих совещаниях они не скрывали терзавшей их досады. Батенков говорил двум Бестужевым (Александр и Николаю): “Потерян случай, которому подобного не будет в целом 50 лет: если б в Государственном совете были головы, то ныне Россия присягнула бы вместе и новому государю, и новым законам. Теперь все для нас пропало невозвратно”^{3*}. К досаде в них присоединялся и страх, что обществу нельзя уже будет существовать. Хотя Трубецкой утверждал, что это не беда, что надобно лишь приготовиться содействовать южным, если они подымутся; однако ж и он с другими членами положил прекратить общество, по крайней мере, до благоприятнейших обстоятельств. Но тут же рассуждая о присяге 27 ноября, Батенков промолвил: “Как легко в России произвесть перемену! Стоит разослать печатные указы из Сената. Только в ней не может быть иного правления, кроме монархического; одне церковные ектении не допустят нас до республики. Хоть для переходу нужна монархия ограниченная”. Когда же его сообщени-

^{*} Собственное признание Рылеева.

^{2*} Князь Оболенский посылал в сей самый день спрашивать у кавалергардского корнета Александра Муравьева, можно ли надеяться на их полк для произведения бунта, Муравьев отвечал, что это намерение безумное.

^{3*} Он почти то же сказал и Штейнгелю.

ки заметили, что монарху-завоевателю легко сделаться из ограниченного самовластным, он отвечал: “Этому пособить можно: зачем иметь мужчин на троне? У нас две императрицы, много великих княгинь и княжен”.

Директоры Северного тайного общества: Рылеев, князь Трубецкой, Оболенский и ближайшие их советники недолго останавливались на мысли разрушить оное навсегда или на время, до них дошел слух, что государь цесаревич тверд в намерении не принимать короны, и сия весть возбудила в заговорщиках новую надежду: обмануть часть войск и народ уверить, что великий князь Константин Павлович не отказался от престола и, возмутив их под сим предлогом, воспользоваться смятением для испровержения порядка и правительства. “Чтобы прекратить несогласия в мнениях, – говорит Рылеев, – положили мы (он, Оболенский, Александр Бестужев и Каховский, за себя и всех принадлежащих к их *отраслям*): назначить князя Трубецкого полновластным начальником или директором, хотя сие название иным (Александру Бестужеву) казалось смешною игрушкою. С тех пор он один делал распоряжения. Но князь Трубецкой утверждает, что истинным распорядителем всего был Рылеев, что он управлял всеми намерениями и действиями, только употребляя имя мнимого диктатора*. Трубецкой однако же действовал с своей стороны. 8 декабря он советовался с Батенковым о средствах для замышляемой революции и для будущего образования государства, они одобрили следующий, составленный Батенковым план, если можно так назвать предположения без связи, без основания, несогласные ни с состоянием России, ни с здравыми понятиями о составе политических обществ.

Воспользоваться случаем, чтобы:

1) *Приостановив* действие самодержавия, назначить *временное* правительство, которое учредило бы в губерниях камеры для избрания депутатов;

2) Стараться, чтоб были установлены две палаты, из коих в Верхней члены были бы определяемы на всю жизнь (хотя Батенков и желал, чтоб они были наследственные);

3) Употребить на сие войска, кои не согласятся присягать вашему величеству, не допуская их до беспорядков и стремясь только к умножению числа их.

Впоследствии же для утверждения конституционной монархии:

Учредить провинциальные палаты для местного законодательства;

Обратить военные поселения в народную стражу;

Отдать *городовому правлению* (муниципалитету) крепость Петропавловскую (об коей Батенков потому говорил: “*Вот палладиум русских вольностей*”), поместить в ней градскую стражу и городской совет;

* Рылеев в своих последних ответах на допросы показывает, что сие не совсем справедливо, что князь Трубецкой многое предлагал первый и, превосходя его (Рылеева) в осторожности, равнялся с ним в деятельности по делам заговора. “Впрочем, – прибавляет Рылеев, – я признаю себя главным виновником происшествий 14 декабря: я мог все остановить и напротив был для других пагубным примером преступной ревности. Если кто заслуживал казнь, вероятно нужную для блага России, то конечно я, несмотря на мое раскаяние и совершенную перемену образа мыслей”.

Провозгласить независимость университетов: Московского, Дерптского, Виленского.

При сем Батенков сказал Трубецкому, что если все войска откажутся присягать и его высочество цесаревич вследствие того приедет в Петербург, то перемена в образе правления будет невозможна, что лучше бы сообщникам их разделиться: одним объявлять императором государя цесаревича, а другим показывать себя преданными вашему величеству, в случае же перевеса первой стороны, полагал он, случится одно из двух: или 1) что ваше величество согласитесь на изменение государственных установлений в России и на учреждение временного правительства, или 2) что отложите принятие державы и тогда они (заговорщики), объявив, что чрез то вы отрекаетесь от престола, провозгласят императором наследника вашего императорского величества великого князя Александра Николаевича.

На это князь Трубецкой отвечал, что войск за них, вероятно, будет очень мало*, а из важных людей между военными никто не захочет участвовать в предприятии. “Так и думать не о чем”, – вскричал Батенков.

Но и сочиняя вместе сии планы для испровержения порядка, как видно, во многом или не понимали, или обманывали друг друга. Трубецкой и сообщники его назначили Батенкова только правителем дел временного правления, а он воображал, что будет членом оною и предавался мечтам неограниченного честолюбия в надежде быть *лицом историческим*, хотел членами сего правления сделать: одну духовную особу, себя и чрез несколько времени третьим князя Сергея Трубецкого. *Тогда, имея большинство голосов на своей стороне (ибо он надеялся владеть Трубецким), я, говорит он, управлял бы государством и обратил бы временное правление в регентство малолетнего Александра II*”. (Из слов Трубецкого он полагал, что присяга, данная вашим величеством цесаревичу, будет объявлена отречением от престола, а по слышанному от Рылеева, что, быть может, во время замышляемого мятежа покусятся на жизнь вашу.) *Затем, продолжает Батенков, мало-помалу утвердив себя, получив силу учреждением родовой аристократии и приобретенными чрез то связями, я действовал бы по обстоятельствам, но если бы государь император принял наши условия, то я перешел бы на его сторону, не взяв места во временном правительстве^{2*}. Впрочем я, все худо верил, чтоб было что-нибудь предпринято.*

Но другие уже готовили средства для предприятия. К Рылееву, как в определенное сборное место, являлись члены с предложениями, планами или за приказаниями Думы. Их совещания в сии последние дни представляли странную смесь зверства и легкомыслия, буйной непокорности к властям законным и слепого повиновения неизвестному начальству, будто бы ими избранному. 12 декабря, как свидетельствует очевидец, один из

* Он сначала, как говорит Рылеев, воображал, что довольно будет одного полка для совершенного успеха.

^{2*} Он (Батенков) думал также предложить корону и великому князю Михаилу Павловичу и императрице Елизавете Алексеевне. То же думал и говорил своим соумышленникам барон Штейнгель, надеясь, что императрица, не имея детей, согласится, даже и при жизни своей, установить правление республиканское.

членов (барон Штейнгель), собирались вечером у Рылеева князь Трубецкой, Николай, Александр и Михайло Бестужевы, князь Оболенский, Каховский, Арбузов, Репин, граф Коновницын, князь Одоевский, Сутгоф, Пущин, Батенков, Якубович, Щепин-Ростовский, но не все вместе: одни приходили, другие уходили. Николай Бестужев и Арбузов отвечали за Гвардейский экипаж; Бестужев 3-й Московского полка, но довольно слабо, – за свою роту; Репин – сначала за часть Финляндского полка, потом лишь за несколько офицеров, прибавляя, что сей полк увлеч за собой не может никто из согласившихся участвовать в бунте. Князь Одоевский только твердил в жалком восторге: *“Умрем! Ах, как славно мы умрем!”* Александр Бестужев и Каховский показывали себя пламенными террористами, готовыми на ужаснейшие злодеяния. Первый признается, что сказал, *“переступаю за рубикон”*, а *руби-кон значит руби все, что попало*, однако же клянется, что сие было лишь бравадою, пустою игрою слов. Каховский кричал: *“С этими филантропами не сделаешь ничего: тут просто надобно резать, да и только, а если не согласятся, я пойду и сам на себя все объявлю”*. Испуганному сим Штейнгелю Рылеев отвечал: *“Не бойся, он у меня в руках, я уйму его*. И однако же на другой день Рылеев при Оболенском, Пущине (старшем, приехавшем из Москвы) и Александре Бестужеве говорил Каховскому, обнимая его: *“Любезный друг! Ты сир на сей земле, должен жертвовать собою для общества. Убей императора”*. И с сими словами прочие бросились также обнимать его. Каховский согласился, хотел 14 число, надев лейб-гренадерский мундир, идти во дворец, или ждать ваше величество на крыльце, но потом отклонил предложение *за невозможность исполнить, которую признавали и все другие**.

Собрание их в сей вечер (13-го числа) было так же монотонно и беспорядочно, как предшедшее: все говорили, почти никто не слушал. Князь Щепин-Ростовский удивлял сообщников своим пустым многоречием; Корнилович, только что возвратившийся в Петербург, уверял, что во 2-й армии готово 100 тысяч человек; Александр Бестужев отвечал на замечания младшего Пущина (Конно-пионерного): *“По крайней мере об нас будет страничка в истории”*. *“Но эта страничка замазает ее, – возразил Пущин, – и нас покроет стыдом”*. Когда же барон Штейнгель, удостоверясь более прежнего в ничтожности сил их тайного общества и как отец семейства, заранее утраченный вероятными последствиями мятежа, спрашивал Рылеева: *“Неужели вы думаете действовать?”*

* Так показывают: князь Оболенский (прибавляя однако ж, что сие было в минуту испуга) и Рылеев: *“Прежде, – говорил он, – я несколько раз удерживал Каховского, который умышлял на жизнь императора Александра, даже ссорился с ним за то, хотя, успокаивая его, уверял, что в случае нужды общество никого не употребит для сего удара, кроме его, но в этот день, вдруг ужаснувшись возможности междоусобной войны, я вздумал, что для избежания оной надобно государя принести на жертву*. Каховский же утверждает, напротив, что он отказывался, а Рылеев сам назначал его в убийцы, что таких людей, кои согласились бы, жертвуя для тайного общества не только жизнью, а честью, истребить всю императорскую фамилию и потом даже пред казнь уверять, что не были их сочленами, – Рылеев и Александр Бестужев называли чистыми, самоотверженными. Однако ж на очной ставке Каховский признал, что Александр Бестужев наедине уговаривал его не исполнять поручения, данного ему Рылеевым 13 декабря.

То он сказал ему: *“Действовать, непременно действовать”*, а князю Трубецкому, который начинал изъяслять боязнь: *“Умирать все равно, мы обречены на гибель”*, и прибавил, показывая копию с письма подпоручика Ростовцова к вашему величеству: *“Видите ль? Нам изменили, двор у же многое знает, но не все, и мы еще довольно сильны”*. *“Ножны изломаны, – примолвил другой, – и саблей спрятать нельзя”*.

В шуме сих разговоров, прений, восклицаний слышны были слова и ужасные предложения, говорили, но, как утверждают, лишь мимоходом о погублении всей августейшей фамилии вашей, а покушения на священную вашу жизнь требовали как необходимости князь Оболенской, Александр Бестужев и, наконец, сам князь Трубецкой, их диктатор*, сей последний полагал, что надобно оставить великого князя Александра Николаевича и провозгласить его императором. Трубецкой не совершенно в том признается, но и не запирается, утверждая, что не может самому себе дать ясного отчета в тогдашних поступках своих и речах: *“Ибо он был как в беспмятстве, и потому не смеет извета соумышленников своих назвать клеветою. Якубович^{2*} вызывал бросить жребий, кому из пяти (их в сию минуту столько было в комнате) умертвить ваше величество: видя, что все молчат, он сказал: “Впрочем я за это не возьмусь, у меня доброе сердце, я хотел мстить, но хладнокровно убийцей быть не могу”^{3*}*. Некоторые члены советовали удовольствоваться арестованием вашего величества и всей августейшей фамилии вашей; Штейнгель ставил в пример Шведскую революцию 1809 года; Рылеев кончил спор словами: *“Обстоятельства покажут, что делать должно”*, но просил достать карту Петербурга и план Зимнего дворца, на что Александр Бестужев отвечал со смехом: *“Царская фамилия не иголка, не спрячется, когда дело дойдет до ареста”^{4*}*. Они уже знали наверное, что следующий день (14 декабря) назначен для обнародования Манифеста о восшествии вашего императорского величества на прародительский престол. О том, что Сенат собирается в 7 часов утра для присяги, известил их обер-прокурор Краснокутский, член Южного общества, который вечером 13-го числа приезжал к князю Трубецкому и оттуда, не застав его, к Рылееву. Показывают (Жорнилович и

* Показания Штейнгеля.

^{2*} Показание князя Трубецкого и Рылеева.

^{3*} Один Арбузов, буде верить Рылееву, к сему примолвил: *“Нет ничего легче, как убить государя, когда он будет выходить из дворца”*. Якубович предлагал также разбить кабаки, дозволить грабеж и, взяв хоругви из какой-либо церкви, идти с толпами неистовых ко дворцу. Такого предложения даже и на сем мятежном совещании никто не смел одобрить, оно единодушно отвергнуто, так показывает Рылеев. Якубович признается, что говорил это, но прибавляет, что в следующую ночь (в 3 часа) он раскаялся. Оболенский утверждает, что против мысли разбить даже и один кабак, чтоб напоить солдат, восставал Рылеев, первый и с жаром.

^{4*} Трубецкой, если верить показаниям Рылеева, также думал о занятии дворца, несмотря на слова Батенкова, и за сие брались Якубович и Арбузов (они не признаются в том), но, прибавляет Рылеев, *мы хотели только захватить императорскую фамилию и держать ее под стражею до великого собора (съезда депутатов), который решил бы судьбу всех членов оной, я должен однако ж признаться: мне приходило на мысль, что для безопасности нового правления лучше бы всех изубить, только сей мысли я не открывал никому, наконец, и вам отстранил ее, возвратясь к прежней.*

Рылеев), что объявив свою новость, он прибавил: *“Делайте, что хотите”*, но Краснокутский не сознается в этом, а говорит только, что слышал вокруг себя: *“Завтра присяга сигнал”*, он отгадал намерения тайного общества на 14 декабря, хотел было донести об оных правительству и раздумал единственно затем, что считал исполнение невозможным.

О сих намерениях было уже сообщено простым членам от главных действователей*, положено приготовлять солдат к возмущению изъявлением сомнений в истине отречения государя цесаревича и с первым полком, который откажется от присяги, идти к ближайшему, а там далее, увлекая один за другим. (Князь Трубецкой при сем напоминал слова Батенкова *“Надо бы в барабан приударить, чтоб собрать народ”*^{2*}, потом все войска, которые пристанут, собрать пред Сенатом и ждать, какие меры будут приняты правительством. Они думали, особливо их диктатор князь Трубецкой, как он утверждает, что ваше величество, не употребляя силы для усмирения мятежников, решитесь скорее отказаться от прав самодержавия и вступите с ними в переговоры. Тогда они объявили бы свои желания:

1. Чтоб были собраны депутаты из всех губерний;

2. Чтобы о том был издан манифест от Сената и в оном было сказано, что сии депутаты должны будут определить новое законоположение для управления государством на будущее время;

3. Чтобы дотоле учредить временное правление, пригласив в оное депутатов из Царства Польского для *постановления мер к сохранению единства державы*.

В случае, если бы ваше величество решились послать в Варшаву к государю цесаревичу, заговорщики хотели требовать мест для стояния лагерем вне города^{3*}, несмотря на зимнее время, в ожидании прибытия его императорского высочества, но не переставать требовать также и созвания депутатов под тем предлогом, что они все будут нужны или для упрощения цесаревича принять державу, или для торжественной присяги вашему величеству. Наконец, в том случае, когда бы великий князь Константин Павлович прибыл в Санкт-Петербург, они надеялись уверить его высочество, что все произведено одним усердием к нему^{4*}.

* Накануне (12 декабря) съезжались у князя Оболенского, где был и Рылеев, офицеры разных полков гвардии: Лейб-гренадерского – поручик Сутгоф, Измайловского – подпоручик Кожевников, Финляндского – поручик барон Розен, Конной гвардии – корнет князь Одоевский, Кавалергардского полка – корнет Арцыбашев и поручик Анненков, Гвардейского экипажа – лейтенант Арбузов. Князь Оболенский сообщил им приказания диктатора и Думы стараться в день, который назначится для присяги, возмутить и вести за собой на Сенатскую площадь сколько им будет возможно нижних чинов из полков своих, а если не удастся, то по крайней мере быть самим.

^{2*} Батенков показывает сам, что он говорил Якубовичу: *“Что думать о планах всего общества! Вам, молодцам, стоило бы только разгорячить солдат именем цесаревича и походить из полка в полк с барабанным боем, так можно наделать много великих дел”*.

^{3*} Именно на Пулковской горе, как полагал Батенков.

^{4*} Каховский утверждает, что Рылеев думал поручить одному члену общества умертвить государя цесаревича всенародно и тут же закричать, что он убил его по приказанию вашего величества, таким образом, говорил он, мы вдруг погубим обоих. Рылеев объявил, что это клевета, то же сказали Штейнгель, Александр и Николай Бестужевы, на коих ссылался Каховский.

Таков был, по словам князя Трубецкого, объявленный ими друг другу план. Рылеев говорил только, что должно было войскам, ими возмущенным прийти на Сенатскую площадь и начальнику их, Трубецкому, *действовать по обстоятельствам*, что они надеялись избежать кровопролития и посредством Сената, который думали принудить к тому, получить от вашего величества или от государя цесаревича согласие на созвание депутатов для назначения императора и установления *представительного образа правления*. Они хотели предложить депутатам проект Конституции, писанный Никитою Муравьевым. Князь Оболенский прибавляет к сему, что до съезда депутатов Сенат долженствовал бы учредить Временное правление двух или трех членов Государственного совета и одного члена их тайного общества, который был бы правитель дел ононого) назначить и корпусного, и дивизионных командиров гвардии *из людей, им известных*, и сдать им Петропавловскую крепость. При неудаче они полагали (так показывают согласно князь Трубецкой и Рылеев) выступить из города, чтобы стараться распространить возмущение*.

Но, по крайней мере сначала, они были так ослеплены, что совсем не ожидали неудачи. Батенков 13 декабря по утру говорил Александру Бестужеву: *“Кажется, что успех несомнителен”*^{2*}. Барон Штейнгель, менее других заблуждавшийся, начал однако же сочинять проект Манифеста^{3*}, в коем он объявлял, *что когда оба великие князья (ваше императорское величество и государь цесаревич) отрекаются от престола, не хотят быть отцами России, то осталось ей самой избрать себе правителя и потому Сенат назначает общее собрание депутатов, а доколе Временное правление*^{4*}. Князь Трубецкой с своей стороны означил в бумаге, найденной у него ввечеру 14 декабря и у сего прилагаемой, сущность Манифеста, в коем намеревался от имени Сената объявить об уничтожении прежнего правления и учреждении временного для созвания депутатов.

Некоторые вздумали дать сведение о предпринимаемом и в другие места. Пущин (Иван) отправил через Американскую компанию^{5*} письмо в Москву к титулярному советнику Семенову. “Нас, – писал он, – по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай. Когда ты получишь это, все уже будет кончено. Нас здесь 60 членов, мы можем надеяться на 1500 рядовых, которых уверят, что цесаревич не отказывается от престола. Прощай, вздохни от нас, если и прочее”. В заключении он поручал Семенову показать его письмо генерал-майорам Фон Визину и Михайлу Орлову, коих по старым связям и образу мыслей, вероятно, считал внутренне благоприятствующими видам тайного общества. Князь Трубецкой может быть думал

* Каховский прибавляет, что в сем случае Рылеев хотел зажечь город, но сей последний утверждает, что и это ложь.

2* Показание Александра Бестужева.

3* Желая, говорит он, доказать Рылееву, что и я мог бы на что-нибудь пригодиться.

4* Сей проект хотели вследствие показаний диктатора нести в Сенат Рылеев, коллежский асессор Иван Пущин и, как они показывают, Батенков, который не сознается в том.

5* Рылеев был правителем дел сей Комиссии.

также* и 13 число, отправя письмо к Сергею Муравьеву-Апостолу с братом его Ипполитом, он писал к генералу Орлову с кавалергардским офицером Свистуновым, сии письма не доставлены^{2*}. Трубецкой показывает, что он только и не упоминая о причинах, знал Орлова в Петербурге, но прибавлял: *"Если быть чему-нибудь, то будет и без вас, как при вас"*. Ежели верить дальнейшим показаниям князя Трубецкого, то он решился писать в надежде, что генерал Орлов, и не принадлежа к обществу, мог бы своим появлением и силою характера обуздать других членов, коих он, диктатор, был уже не в состоянии удерживать. Он утверждает, что по сей причине, по чувству своего бессилия однажды просил, чтоб его отпустили в 4-й корпус, там что-нибудь сделать, хотя знал, что в сем корпусе у него не было ни одного сообщника, хотя думал и ехать не прямо и прожить несколько времени в Москве.

Чем ближе подходило предназначенное самими мятежниками роковое для них мгновение, чем более воспламенялись некоторые, тем больше изъявлял нерешимости избранный им начальник, уже, видимо, волнуемый раскаянием или, по крайней мере, страхом. *"Чтож! – говорил он и повторял Рылееву, – если выйдет мало войска, рота или две? Зачем идти и нам и других вести на гибель?"* Рылеев иногда казался согласным, иногда, напротив, отвечал: *"Если придет хоть 50 человек, то я станюльсь в ряды с ними"* и однако же не сдержал слова.

Несмотря на сомнения и боязнь, князь Трубецкой не отказывался явно, и определено ему на другой день быть на Сенатской площади, чтобы принять главную команду над войсками, которые не согласятся присягать вашему величеству; под ним же начальствовать капитану Якубовичу и полковнику Булатову. Сей последний, как видно из дел и слов его, не злой, а слабоумный человек, за несколько дней до того не знал о существовании тайного общества, но его считали нужным, потому что он, служив прежде в Лейб-гренадерском полку, оставил хорошую о себе молву, и многие солдаты еще любили его. 6 декабря Панов, поручик того же Лейб-гренадерского полка, позвал его обедать с несколькими другими офицерами. Тут осыпавший ласкательствами, разгоряченный вином и спором, ибо при нем нарочно хвалили одного государственного сановника, которого он ненавидел, Булатов, произнес обет пожертвовать всем пользе Отечества: ему тотчас объявили, что есть общество, которое составилось для произведения благотворной перемены в оном, что он по любви к России должен принадлежать к сему обществу, и несчастный, сам не понимая каким образом, принял на себя обязанность быть пособником мятежников, с коими едва был знаком. Рылеев открыл ему намерения их; Булатов часто спрашивал: *"Но где же польза Отечества? Я вижу одну перемену в правителях; вместо государя вы хотите иметь диктатора князя Трубецкого"*; однако же обещал действовать с ними и, как бы предвидя погибель, прощался с своими детьми-младенцами и плакал, но отказался ехать в Лейб-

* Однажды, говоря о Пестеле, Трубецкой сказал: *"Должно будет послать Орлова во 2-ю армию и сила Пестеля исчезнет"*. "Да разве Орлов наш?" – спросил Рылеев. "Нет, – отвечал Трубецкой, – им владеют Раевские, но тогда поневоле будет наш".

^{2*} Муравьев и Свистунов сожгли их дорогою, узнав о происшествии 14 декабря.

гренадерский полк для возмущения рядовых. Вечеру 13 числа, заметив, что на слова Рылеева о князе Трубецком: “Не правда ль, что мы выбрали прекрасного начальника?” Якубович отвечал, усмехнувшись: “*Да! он довольно велик*”, Булатов вышел из комнаты вместе с Якубовичем и дорогой спрашивал: “Как вам кажется? Полезно ли, хорошо ли обдуманно предприятие наших товарищей и довольно ли они сильны?” “Не вижу пользы, — отвечал Якубович, — и для меня они почти все подозрительны”. “Дадим же друг другу слово, — продолжал Булатов, — что если, как завтра должно открыться, средства их не соразмерны замыслам и в их предположениях нет истинной пользы, то мы не пристанем к ним”. Якубович согласился. Так все те, коих заговорщики назначили своими начальниками, в решительный день заранее готовились их бросить.

В казармы Гвардейского морского экипажа послан был Рылеевым для начатия первых действий лейтенант Арбузов, который уже и 12 декабря старался в своей роте чрез фельдфебеля Боброва и унтер-офицера Аркадьева распуścić слухи, что будто скоро потребуются от войск незаконная присяга, что за четыре станции от Нарвы государь цесаревич стоит с 1-й армией и польским корпусом для истребления тех, которые присягнут вашему величеству, что прочие полки гвардии непременно откажутся, но Бобров и Аркадьев не исполняли его приказаний и говорили, что рядовые не верят. 13 декабря он прямо от Рылеева приехал к мичманам братьям Беляевым; тут, кроме их, нашел двух Бодиско, Дивова и подпоручика Измайловского полка Гудимова. “Господа, — говорил он, — зная ваш образ мыслей, кажется могу вам сказать все откровенно. Завтра будут нас звать к присяге; откажитесь и приготовьте к тому свои роты. Мы выведем их на Петровскую площадь, где собирются другие полки, и принудим Сенат утвердить давно уже сочиненный проект Конституции, чтобы ограничить власть императора”. Обратясь к лейтенанту Бодиске 1-му, он прибавил: “Надеюсь, что и вы будете”. “Нет, — отвечал Бодиско, — я с моею ротою не буду. Могу ли действовать, не зная вашего плана и сообщников? Вам другое дело: вы бываете с теми, которые составили заговор и может быть даже уверены в хорошем окончании”. Арбузов силился доказать, что нет сомнения в успехе, уверял, что и сам не знает всего, повторял: “Приходите” и однако же оставил их, не получив желанного ответа. Но тогда именно сии молодые офицеры, за исключением Гудимова, который уехал прежде, вдруг решили содействовать замышленной революции, идти утром в свои роты и возбудить в рядовых сомнение на счет истины отречения его императорского высочества цесаревича. Ночью, около 12 часов, приезжали к Арбузову Якубович и Александр Бестужев; Якубович, знакомясь с Беляевыми, говорил им: “Не сомневаюсь в вашей храбрости, но вы еще не бывали под пулями, берите пример с меня. Впрочем, нельзя бояться неудачи: вся гвардия за нас”. 14 декабря поутру сии офицеры и еще некоторые* явились перед матросами; Бодиско 1-й им сказал: “Присягайте или нет, я не могу ни приказывать, ни советовать, слушайте своей совести²”.

* Вишнеvский, Мусин-Пушкин, Шпейер, Окулов, Кюхельбекер.

²* Так же говорили Вишнеvский и Кюхельбекер.

К ним пришли Николай Бестужев и Каховский; первый предлагал, откинув самолюбие, взять в начальники Арбузова: *ему можно поверить, мы здесь все за общим делом*. Каховский восклицал: *“Лучше умереть, нежели не участвовать в этом”*, и спрашивал, не надобен ли кому-нибудь кинжал. Арбузов звал на Сенатскую площадь; Бодиско отвечал ему: *“Я пойду не иначе, как со всем экипажем”*. *“Вы либералы лишь на словах”*, – вскричал Арбузов. Когда приехал бригадный начальник генерал-майор Шипов, то матросы, уже вовлеченные в обман своими офицерами, не согласились присягать; но арестовал ротных командиров, но Николай Бестужев уговорил Беляевых, Бодиско, Дивова, Шпейера освободить их. В сию минуту раздался голос: *“Ребята, слышите ли стрельбу? Ваших бьют”*, и экипаж побежал со двора, несмотря на усилия капитана 1-го ранга Качалова, который хотел матросов удержать в воротах*. За всеми пошли и другие офицеры, дотолпе не участвовавшие в беспорядках^{2*}. На дороге у Конно-гвардейского манежа им встретился Финляндского полка поручик Цебриков, он кричал: *“В каре против кавалерии”*.

Возмущение в Московском полку началось прежде. Так, князь Щепин-Ростовский, штабс-капитан Михайло Бестужев, брат его Александр и еще два сего же полка офицера (Броке, Волков) ходили по ротам 6-й, 5-й, 3-й, 2-й, стараясь ослепить рядовых, уговаривая их не присягать вашему императорскому величеству, повторяя: *“Все обман, нас заставляют присягать, а Константин Павлович не отказывался, он в цепях, его высочество шеф полка также в цепях”*. Александр Бестужев прибавлял, что он прислан из Варшавы с повелением не допускать полки для присяги. Михайло Бестужев говорил: *“Царь Константин любит наш полк и прибавит вам жалованья, кто не останется верен ему, того колите”*^{3*}. Он и князь Щепин приказали солдатам взять боевые патроны и зарядить ружья. Я не хочу знать генерала, отвечал Щепин адъютанту Веригину, собиравшему офицеров к полковому командиру, велел возмущенной им толпе рядовых отнять знамя у гренадеров, бить их прикладами и бросился с обнаженною саблею на генерал-майора Фридрихса, которому уже грозил Александр Бестужев пистолетом. Князь Щепин ранил генерала Фридрихса в голову, и когда он без чувств упал, то бросясь так же на бригадного командира генерал-майора Шеншина, тяжело ранил и его и лежащего еще долго рубил, потом дал несколько ударов саблею полковнику Хвощинскому, гренадеру Красовскому, унтер-офицеру Мосееву и кричал солдатам: *“Зарублю!”* наконец, отняв знамя, повел бунтовщиков на Сенатскую площадь. Выходя на берег Фонтанки и видя возле себя Александра Бестужева, он сказал ему: *“Что? Ведь к черту Конституция”*, и Бестужев отвечал (от всего сердца, как уверяет): *“Разумеется к черту”*. Он (Александр Бестужев) уверяет также, что хотя действовал в казармах Московского полка как решительный возмутитель, но уже чувствовал в себе волнение совести, что даже вставая в сей день, со слезами

* Так показывает Дивов, прочие не помнят, что решило движение экипажа.

^{2*} Лейтенанты Цебриков и Лермантов.

^{3*} Показание нижних чинов Московского полка; Бестужев уверяет, что не говорил этого.

молился: *“Боже! Если дело наше правое, помоги! А ежели нет, буди воля твоя над нами”*.

В полку Лейб-гренадарском бунт проведен теми же средствами. Когда рядовых вывели для присяги, к ним подходил подпоручик Кожевников *нетрезвый*, как он сам признается, *ибо, узнав чрез Сутгофа, что наступил час, назначенный тайным обществом для мятежа, он хотел ободрился и довел себя до беспамяतства крепким напитком*; он спрашивал солдат: *“Зачем вы забываете клятву, данную Константину Павловичу?”* Потом кричал еще в галерее: *“Кому присягаете? Все обман!”* Но порядок в полку сим не был нарушен: все присягнули и рядовые сели обедать. Тогда поручик Сутгоф, бывший уже у присяги, вдруг пришел к своей роте с словами: *“Братцы! Напрасно мы послушались, другие полки не присягают и собрались на Петровской площади; оденьтесь, зарядите ружья, за мной и не выдавайте. Ваше жалованье у меня в кармане, я раздам его без приказа”*. Почти вся рота, несмотря на увещания полкового командира Стюрлера, последовала за Сутгофом, который беспрепятственно повторял: *“Вперед! Не выдавайте!”* Между тем другой поручик Панов, также присягнувший, бегал из роты в роту, возбуждая рядовых уверениями, что их обманули, что им будет худо от прочих полков и Константина Павловича; когда же командир полка вызвал батальоны и велел заряжать ружья, чтобы вести их против мятежников, то Панов уговаривал не повиноваться: *лучше сдадимся тем, которые стоят за Константина*, наконец, видя, что ему верят многие, бросился в середину колонны и, подав знак возмущения криком *“ура!”*, повел несколько рот в расстройстве на Сенатскую площадь. Идучи мимо Зимнего дворца вашего императорского величества, он вступил было с частью лейб-гренадеров на двор онтого, но увидев, что там стоят саперы и сказав: *“Это не наши”*, пошел далее. На площади, когда некоторые из рядовых приметили, что они обмануты, Панов ободрял их, уверяя, что скоро будет сам Константин Павлович и накажет гвардию за ее непостоянство, а их наградит. Он присоединил свои роты к тем, которые были приведены Щепиным, к ним же пристало несколько человек во фраках с кинжалами, пистолетами, саблями.

Комиссия почитает ненужным описывать все происшествия сего дня, ознаменованного буйством немногих и знаками общего усердия, нелицемерной преданности к престолу, и всего более новым примером царственных доблестей, наследственных в сем августейшем доме, который был предметом безумной злобы мятежников. Сии происшествия известны вашему величеству и России. Она с прискорбием и омерзением узнала о покушении людей, умышлявших обесславить имя русское, и видит с восторгом благодарности, что преступные ковы и надежды их разрушены в одно благословенное небом мгновение. Принятые меры осторожности вскоре оставили все действия бунтовавших; в их рядах уже господствовало безначалие, коего ужасами они угрожали отечеству; яростнейшие продолжали отличать убиствами. Каховский, как видно из многих показаний, наконец, подтвержденных и его собственным признанием, стрелял из пистолета и смертельно ранил графа Милорадовича, в ту самую минуту, когда он явился один перед рядами несчастных обманутых воинов, чтобы образумить

их и возвратить к долгу*. Князь Евгений Оболенский также ранил его штыком, хотел, как утверждает, только ударить лошадь, чтобы принудить его удалиться; Каховский же, по словам князя Одоевского^{2*}, убил и полковника Стюрлера и потом, бросая пистолет, сказал: *“Довольно! У меня сего дня двое на душе”*. Он же ранил свитского офицера (штабс-капитана Гастефера) кинжалом. Князь Щепин первый дал солдатам приказание стрелять, и в сем беспорядке ранено несколько рядовых и полковник Веллио. Наконец, Кюхельбекер (Вильгельм) дерзнул обратить оружие на великого князя Михаила Павловича; матросы Гвардейского экипажа, с коими он стоял^{3*}, и в волнении мятежа уstraшенные сим покушением злодейства, отвели пистолет его. Кюхельбекер однако же уверяет, что он не хотел совершить удара, а притворно согласился на сие по вызову Ив[ана] Пущина для того, чтобы не допустить к сему других, и зная, что пистолет его, измоченный снегом, не мог бы выстрелить, в доказательство прибавляет, что после он метил тем же пистолетом в генерала Воинова, и пистолет осекся^{4*}.

Но из людей, кои были душою заговора или обещали принять главное начальство над вовлеченными в обман войсками, явился на сборном месте один Якубович и ненадолго по условию ли с Булатовым или, как он показывает, по чувству вины своей и безрассудности он вскоре оставил мятежников. Булатов был на площади, но только зрителем, хотя, выходя из дома и заряжая пистолеты, говорил: *“Может быть увидят, что есть и в России Бруты и Рьеги, которых (в чем признается откровенно) знал только по именам”*. Князь Трубецкой скрывался от своих сообщников, он спешил в Главный штаб присягать вашему величеству, думая сею готовностью загладить часть своего преступления, и потому, что там соумышленники не могли найти его, ему несколько раз делалось дурно; он бродил весь день из дома в дом, удивляя всех встречавших его знакомых, наконец, пришел ночевать к свояку своему, посланнику двора австрийского, откуда по высочайшей воле вашей истребован графом Нессельродом. Рылеев, как он сам говорит, увидев, что нет князя Трубецкого на площади, поехал искать его и не возвращался. Поступки Батенкова в этот день были почти такие же: *он проснулся с мыслью о своем будущем величии как члена Верховного правления, конец мечтам положила повестка о присяге*. Еще несколько времени он старался узнать, что происходит, искал Александра Бестужева, Рылеева, который ему сказал, что офицеры одной батареи гвардейской артиллерии, возмущаясь, ездят с орудиями по городу, сия ложная весть его поразила, он также *спешил присягнуть, забыв о планах для перемен в государстве, о славе быть в числе правителей и желая только, чтобы скорее переловили бунтовщиков*. Однако ж вечером, когда уже тишина и порядок были повсюду восстановлены, он заехал к Рылееву и, не входя, а за-

* Лекарь, делавший операцию, представил Комиссии пулю, найденную в теле графа Милорадовича, она не ружейная, а пистолетная.

^{2*} И собственному признанию.

^{3*} Дорофеев, Федоров, Куроптев.

^{4*} Пущин на вопрос Комиссии отвечал, что это ложь. Бывшие тут нижние чины говорят, что Кюхельбекеру указывал на великого князя не Пущин, а поручик Цебриков, но и он не признается в том.

глядывая в комнату, спрашивал: “Ну! Что?” Иван Пущин, бывший тут с некоторыми другими из бежавших с Сенатской площади мятежников, обратился к нему до половины и сказал в ответ: “Да вы, подполковник, вы-то что?” Увидев его и барона Штейнгеля, Батенков скрылся* и в течение двух недель, полагаясь на краткость своих сношений с членами тайного общества, надеялся избежать подозрений правительства: даже при начале допросов он долго уверял, что намерения заговорщиков были ему весьма несовершенно известны, что он, считая их невозможными в исполнении, почти не обращал на них внимания, что чувствует себя виновным в одних нескромных словах и дерзких желаниях; но множество улик и может быть упреки совести, наконец, превозмогли притворство: он полным искренним признанием утвердил свидетельства других^{2*}. Все прочие, больше или меньше участвовавшие в мятеже и вообще в замыслах Северной думы, показывая друг на друга, сделались вскоре известны Комиссии, немедленно отысканы и представлены к допросу^{3*}; некоторые сами отдались под стражу. Между сими последними – полковник Булатов. Сей человек странный и несчастный, давно изнуряемый внутреннею неизлечимою болезнью, умев с самого начала почувствовать и беззаконность, и безрассудность предприятия своих сообщников, даже решительно отклонившись от содействия и *восхищавшись*, как он рассказывает, *распоряжениями* вашего величества 14 декабря, вдруг на следующий день, когда и яростнейшие начинали признавать вину свою, предался какому-то неизъяснимому бешенству. Мысль, что его именем завлечен в заблуждение и погублен любивший его полк (Лейб-гренадерский), нелепая сказка, распущенная легкомыслием или зложелательством, что все рядовые, бывшие на площади, обречены смертной казни, совершенно омрачили его умственные способности. “В сем состоянии, – говорит он в письме к его высочеству великому князю Михаилу Павловичу, – я пришел в Главный штаб к присяге: мое воображение смутилось, голова пылала, мне казалось, что отовсюду течет кровь моих любезных сослуживцев и когда вокруг меня клялись в верности государю, я поднял руку, поцеловал крест с ужасною клятвою в сердце: умертвить его. Всяк, увидев меня на присяжном листе, узнает в нем подпись злодея”. Он, однако же, не был злодеем, по крайней мере, закоренелым: волнение страстей скоро в нем затихло; он начал удостоверяться в лживости дошедших до него слухов, наконец, пришел во дворец, был допущен к вашему величеству и первый взгляд ваш обезоружил его. С сей минуты до того времени, когда новый припадок прежней болезни лишил его сил и жизни (19 января сего года), он беспрестанно терзался воспоминанием своего страшного, дотоле никому не известного умысла, воспоминанием самых знаков оказанного ему милосердия, но утолял муку совести признаниями, совершенно добро-

* Так рассказывает Штейнгель.

^{2*} Одно из своих письменных объявлений Комиссии он начинает сими словами: “*Дабы не умереть, нося в душе преступную тайну*”.

^{3*} Большая часть в Петербурге, Кюхельбекер, бежавший после первых пушечных выстрелов в Варшаву, немногие в Москве, в том числе барон Штейнгель, который выехал отсюда 22 декабря.

вольными, ибо он даже не был допрашиваем, и умирая, смело завещал участь детей монарху, на коего мыслил поднять руку.

Спокойство, твердостью вашего величества возвращенное столице, в прочих местах империи, за исключением Василькова и окрестностей, не было и нарушено. В Москве, где все жители с восторгом произносили клятву в верности вашему императорскому величеству и наследнику престола, некоторые из членов тайного общества, в том числе и оставшие от оногo, собирались рассуждать о происшествиях 14 декабря. Один Муханов*, известный другим невоздержанностью в речах, говорил в иступлении досады: “Наши товарищи гибнут, их может спасти только смерть государя, и я знаю человека, готового, по крайней мере, отмстить за них”^{2*}. Сами сообщники его слушали с пренебрежением. На юге, где вследствие предписаний, привезенных из Таганрога генерал-адъютантом Чернышевым, уже были забираемы под стражу важнейшие злоумышленники, по указаниям донесшего на них капитана Майбороды, бешенство других, смущенных открытием заговорщиков, также изливалось в словах^{3*}. Поджио говорил Василию Давыдову: “Должно для спасения наших ехать в Петербург, убить императора Константина” (им еще не известно было вступление вашего величества на престол). “Я предлагаю свои две руки”. “Надобно их шесть”, – отвечал Давыдов. Поджио думал найти пособников в Митькове, князе Валериане Голицыне, князе Оболенском и Матвее Муравьеве^{4*}. Генерал-майор князь Сергей Волконский, узнав, что полковник Пестель с некоторыми другими арестован, нашел средство увидеться с ним наедине; Пестель сказал ему: «Не бойтесь, спасайте только мою “Русскую Правду”^{5*}, а я не открою ничего» и однако ж во всем признался пред Комиссиею, наименовал всех своих соумышленников, и по требованию Комиссии все они отысканы и представлены сюда местными начальствами. Сергей и Матвей Муравьевы также были взяты (29 декабря) начальником первого, подполковником Гебелем, хотя он (Муравьев) находился не при полку и, узнав от Бестужева-Рюмина о приказании арестовать его, скрывался вместе с братом^{6*}. К сожалению Г. Гебель не имел осторожности приставить к ним достаточную стражу и в ту же ночь несколько офицеров, принадлежащих к обществу *Соединенных славян*, поручики Кузьмин, Сухинов, Щипилла и штабс-капитан барон Соловьев, ворвались в комнаты, где Муравьевы содержались, освободили их, схватили подполковника Гебеля и жандармского офицера, ранили первого. Сергей Муравьев тогда лишь, как утверждает он, решился возмутить Черниговский полк. Он был в местечке Трилесье, но немедленно отправился в Ковалев-

* Штабс-капитан Измайловского полка.

^{2*} Показание Якушкина, Муханов признался, что говорил это.

^{3*} Достоинo замечания, что главные в том числе полковник Пестель, арестованы именно 14 декабря.

^{4*} Показание Давыдова и Поджио.

^{5*} Список оной руки самого Пестеля был зарыт в земле близ деревни Кирнасовка, но найден штабс-ротмистром Слепцовым, адъютантом генерал-лейтенанта Чернышева.

^{6*} За несколько дней перед тем Сергей Муравьев-Апостол, узнав в Житомире о происшествиях 14 декабря, вздумал требовать смерти государя цесаревича от директоров Польского тайного общества.

ку, чтобы собрать там 2-ю гренадерскую роту, велел поручику Кузмину туда же привести 5-ю, а Соловьеву и Щипилле возмутить свои роты и с ними идти в Васильков. Из Ковалевки, где он ночевал, Сергей Муравьев-Апостол 30 декабря пошел с двумя ротами, 2-ю и 5-ю, на Васильков, дорожно приехал к нему Бестужев-Рюмин, которого он посылал в Брусилов за известиями. В 8 верстах от города, узнав, что там стоит рота с майором Трухиным, Муравьев приказал своим зарядить ружья; майор Трухин, с своей стороны, приказывал то же; ему не повиновались, и возмущившиеся роты вступили беспрепятственно в Васильков. Тут, отдав под стражу майора Трухина, выпустив арестованных подполковником Гебелем Соловьева, Щипиллу и нескольких преданных суду рядовых, взяв безденежно хлеба, других съестных припасов и напитков из городских лавок, Муравьев начал составлять планы для действия. К нему пристали еще некоторые офицеры и приезжал из Белой Церкви приглашенный им накануне подпоручик 17-го егерского полка Александр Вадковский, член не весьма деятельный Южного общества. Сергей Муравьев уговаривал его произвести бунт в сем полку. “Буду стараться, если соберут его, но, кажется, невозможно”, – отвечал Вадковский и расстался с Муравьевым, который в то же время посылал в Киев, надеясь там найти какого-нибудь единомышленника и требуя пособия. Он думал идти или на Киев, или на Белую Церковь, или к Житомиру, чтобы соединиться с офицерами Общества *славян*; наконец, решился двинуться к Брусилову, откуда мог, смотря по обстоятельствам, поспеть одним переходом и в Киев, и в Житомир. На другой день, 31 декабря в полдень, ибо он дождался 2-й мушкетерской роты, он велел собраться к походу тем, кои уже пристали к нему; перед выступлением полковый священник за 200 рублей согласился отпеть молебен и прочесть сочиненный Сергеем Муравьевым и Бестужевым-Рюминым *Катехизис*, в коем, как было означено выше, своевольно толкуя отдельные места из Ветхого Завета, они хотели доказать, что богу угоден один республиканский образ правления. Но сей лже-Катехизис, как сам Муравьев показывает, произвел на рядовых невыгодное для его намерений впечатление, и он увидел себя принужденным действовать снова именем государя цесаревича, уверяя солдат, что его высочество не отрекался от короны. На пути к Брусилову, в деревне Мотовиловке, нашел он 1-ю гренадерскую и 1-ю мушкетерскую роты без командиров*, он предлагал им, просил с ним соединиться: часть мушкетерской роты согласилась, гренадерская отказалась вся решительно и отступила к Белой Церкви. Мятежники провели весь следующий день (1 января) в Мотовиловке, ибо начальник их, Сергей Муравьев, боялся трудить солдат в праздник ногового года; 2 января, не получая известий из Киева, полагая, что и там, и в самом местечке Брусилове уже знают о бунте его, он пошел к Белой Церкви и ночевал в селе Пологи; тут, уведомясь от Щипиллы, что в Белой Церкви нет войска, которое он надеялся возмутить, Муравьев снова изменил свой план, обратился к Трилесью искать сближения с членами Общества *соединенных славян*, но между деревнями Устимовкой и Королевкой встретил высланный про-

* Командир 1-й гренадерской был с своею ротою, но рядовые, чтобы спасти начальника своего от мятежников, уговорили его одеться в солдатский мундир.

тив него гусарский отряд генерала Гейсмара. “Я привел свои роты в порядок, – говорит он, – велел солдатам, не стреляя, идти прямо на пушки с оставшимися офицерами (ибо многие из присоединившихся к нему в Василькове в то время уже оставили его); солдаты шли за мною*, когда я упал без чувств, раненный картечью; очнувшись, увидел своих в расстройстве, хотел собрать их, но они вместо повиновения схватили меня и Бестужева и отдали начальнику эскадрона Мариупольского полка”. Брат его Матвей и все прочие офицеры также взяты, кроме убитого в деле другого его брата, Ипполита, и поручика Сухинина, который успев бежать, отыскан уже местным начальством в Кишиневе; из взятых Кузмин застрелился в тот же день пред глазами обоих Муравьевых, с коими он содержался^{2*}.

Описав свойство, намерения и действия открытых в России злоумышленных тайных обществ, Комиссии остается обратить внимание вашего императорского величества на личное в сих замыслах и действиях участие всех допрошенных в продолжение следствия, как тех, коих имена упомянуты в сем донесении, так и других, менее значивших в кругу своих сообщников, хотя некоторые между ими участвовали и в самых преступных умыслах. Комиссия старалась представить сие наиточнейшим образом в особых о каждом записках, означая в оных и собственные их признания, и показания свидетелей, и новые по сим показаниям данные ими ответы и объяснения. Сии записки вместе с письменными извещениями допрошенных и другими следующими к делу более или менее важными бумагами Комиссия подносит на высочайшее усмотрение вашего величества.

30 мая 1826 года

Подписали:

Председатель, военный министр Татищев.

Генерал-фельдцейхмейстер Михаил.

Действительный тайный советник князь Голицын.

Санктпетербургский военный генерал-губернатор.

генерал-адъютант Голенищев-Кутузов.

Генерал-адъютант Чернышев.

Генерал-адъютант Бенкендорф.

Генерал-адъютант Левашов.

Генерал-адъютант Потапов.

Скрепил

Действительный статский советник Д. Блудов.

* Весьма неохотно, как показывает Матвей Муравьев, и бросили ружья как скоро гусары закричали им: “Сдавайтесь”.

^{2*} Из них Сухинов, Соловьев, Щипила и Мозалевский преданы военному суду в 1-й армии. Ипполит Муравьев приехал к братьям нечаянно в Васильков и остался с ними вопреки усиленным просьбам их, особливо Матвея, который предвидел окончание преступного их предприятия. Он говорил о том на походе Бестужеву-Рюмину: “Не надобно терять надежды, – отвечал Бестужев. – Если не удастся здесь, то не все еще пропало: мы скроемся в лесах, проберемся к Петербургу, и я убью государя”. Бестужев уверяет, что он это сказал единственно для того, чтобы ободрить Муравьева и удержать его от самоубийства.

СПИСОК ЛИЦ, КОИ ПО ДЕЛУ
О ТАЙНЫХ ЗЛОУМЫШЛЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ
ПРЕДАЮТСЯ ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ
ВЕРХОВНОМУ УГОЛОВНОМУ СУДУ В СИЛУ МАНИФЕСТА
ОТ 1-го ЧИСЛА ИЮНЯ СЕГО 1826-го ГОДА

Северного общества	Южного общества	Соединенных славян
1. Князь Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса.	1. Пестель, полковник Вятского пехотного полка.	1. Борисов 2-й, подпоручик 8-й артиллерийской бригады.
2. Рылеев, отставной подпоручик.	2. Сергей Муравьев-Апостол, Черниговского пехотного полка подполковник.	2. Борисов 1-й, отставной подпоручик.
3. Князь Евгений Оболенский поручик лейб-гв[ардии] Финляндского полка, старший адъют[ант] командующего всею пехотою гвардейского корпуса генерал-адъютанта Бистрома 1-го.	3. Бестужев-Рюмин, Полтавского пехотного полка подпоручик.	3. Спиридов, майор Пензенского пехотного полка.
4. Муравьев Никита, Гвардейского генерального штаба капитан.	4. Муравьев-Апостол Матвей, отставной подполковник.	4. Горбачевский, подпоручик 8-й артиллерийской бригады.
5. Каховский, отставной поручик.	5. Юшневский, 4-го класса, бывший генерал-интендант 2-й армии.	5. Бечаснов, прапорщик 8-й артиллерийской бригады.
6. Князь Щепин-Ростовский, лейб-гвардии Московского полка штабс-капитан.	6. Князь Волковский Сергей, генерал-майор.	6. Пестов, подпоручик 9-й артиллерийской бригады.
7. Бестужев Александр, лейб-гвардии Драгунского полка штабс-капит[ан], адъютант его королевского высочества герцога Александра Виртембергского.	7. Давыдов Василий Львов сын, отставной полковник.	7. Андреевич 2-й, подпоручик 8-й артиллерийской бригады.
8. Бестужев Михайло, лейб-гвардии Московского полка штабс-капитан.	8. Князь Бярятинский, лейб-гвардии Гусарского полка штабс-ротмистр, адъютант главнокомандующего 2-ю армиию.	8. Люблинский, дворянин Волынской губернии.
9. Арбузов, Гвардейского экипажа лейтенант.	9. Поджио, отставной подполковник.	9. Тютчев, капитан Пензенского пехотн[ого] полка.
10. Бестужев Николай, 8-го экипажа капитан-лейтенант.	10. Муравьев Артамон, Ахтырского гусарского полка полковник.	10. Громницкий, поручик Пензенского пехотного полка.
11. Панов, лейб-гвардии Гренадерского полка поручик.	11. Повало-Швейковский, Саратовского пехотного полка полковник.	11. Киреев, прапорщик 8-й артиллерийской бригады.
12. Сутгоф, лейб-гвардии Гренадерского полка поручик.	12. Вадковский, Нежинского конноегерского полка прапорщик.	12. Фурман, капитан Черниговского пехотного полка.
13. Кюхельбекер, коллежский ассessor.	13. Тизенгаузен, полковник Полтавского пехотного полка.	13. Вединапин 1-й, подпоручик 9-й артиллерийской бригады.

14. Пушин Иван, коллежский асессор.
14. Враницкий, полковник квартирмейстерской части.
14. Ведянин 2-й, прапорщик 9-й артиллерийской бригады.
15. Князь Одоевский, лейб-гвардии Конного полка корнет.
15. Крюков, квартирмейстерской части поручик.
15. Шимков, прапорщик Саратовского пехотного полка.
16. Якубович, Нижегородского драгунского полка капитан.
16. Фаленберг, подполковник квартирмейстерской части, старший адъютант Главного штаба 2-й армии по квартирмейстерской части.
16. Мозган, подпоручик Пензенского пехотного полка.
17. Цебриков, лейб-гвардии Финляндского полка поручик.
17. Лорер, Вятского пехотного полка майор.
17. Иванов, провиантский чиновник 10-го класса.
18. Репин, лейб-гвардии Финляндского полка штабс-капитан.
18. Краснокутский, обер-прокурор Сената, действительный статский советник.
18. Фролов 2-й, Пензенского пехотного полка подпоручик.
19. Муравьев Александр, отставной полковник.
19. Лихарев, подпоручик квартирмейстерской части.
19. Мозгалевский, подпоручик Саратовского пехотного полка.
20. Якушкин, отставной капитан.
20. Вольф, штаб-лекарь, состоявший при Главной квартире 2-й армии.
20. Лисовский, поручик Пензенского пехотного полка.
21. Фон Визин, отставной генерал-майор.
21. Крюков, Кавалергардского полка поручик, адъютант главнокомандующ[его] 2-ю армию.
21. Выгодский, канцелярист.
22. Князь Шаховской, Федор, отставной майор.
22. Поджио, отставн[ой] штабс-капитан.
22. Берстель, подполковник, бывший командир легкой роты № 2-го 9-й артиллерийской бригады.
23. Лунин Михаил, лейб-гвардии Гродненского гусарского полка подполковник.
23. Аврамов, полковник Казанского пехотного полка.
23. Шахирев, Черниговского пехотного полка поручик.
24. Муханов, лейб-гвардии Измайловского полка штабс-капитан.
24. Норов, отставной подполковник.
24. Янтальцов, подполковник, командир конно-артиллерийской роты № 27.
25. Митьков, лейб-гвардии Финляндского полка полковник.
25. Янтальцов, подполковник, командир конно-артиллерийской роты № 27.
26. Завалишин, 8-го Флотского экипажа лейтенант.
26. Ивашев, ротмистр Кавалергардского полка, адъютант главнокомандующего 2-ю армию.
27. Батенков, Корпуса инженерных путей сообщения подполковник.
27. Басаргин, лейб-гвардии Егерского полка поручик, старший адъютант Главного штаба 2-й армии.
28. Барон Штейнгель, отставной подполковник.
28. Корнилович, гвардейского Генерального штаба штабс-капитан.
29. Торсон, флота капитан-лейтенант, адъютант начальника Морского штаба.
29. Бобрицев-Пушкин 1-й, поручик квартирмейстерской части.
30. Князь Голицын Валериан, камер-юнкер.
30. Бобрицев-Пушкин 2-й, поручик квартирмейстерской части.

31. Беляев 1, Гвардейского экипажа
31. Заикин, подпоручик квартирмейстерской части.
32. Беляев 2, мичманы.
32. Аврамов, поручик квартирмейстерской части.
33. Дивов, Гвардейского экипажа мичман.
33. Загорецкий, поручик квартирмейстерской части.
34. Бестужев Петр, мичман 27-го Флотского экипажа.
34. Поливанов, отставной полковник.
35. Свистунов, Кавалергардского полка корнет.
35. Барон Черкасов, поручик квартирмейстерской части.
36. Анненков, Кавалергардского полка поручик.
36. Фохт, штабс-капитан Азовского пехотного полка.
37. Кривцов, лейб-гвардии Конной артиллерии подпоручик.
37. Граф Булгари Николай, поручик Кирасирского ее величества полка.
38. Муравьев Александр, корнет Кавалергардского полка.
39. Нарышкин, полковник Тарутинского пех[отного] полка.
40. Фон-дер-Бриген, отставной полковник.
41. Пущин, л[ейб]-гв[ардии] Коннопион[ерного] эскадр[она] капитан.
42. Бодиско 1-й гвард[ейского] экипажа лейтенант.
43. Кюхельбекер, того же экипажа лейтенант.
44. Мусин-Пушкин, того же экипажа лейтенант.
45. Акулов, того же экипажа лейтенант.
46. Вишневский, того же экипажа лейтенант.
47. Бодиско 2-й, того же экипажа мичман.
48. Горской, ст[атский] советник.
49. Граф Коновницын 1-й, гвар[дейского] Ген[ерального] шт[аба] подпор[учик].
50. Оржитский, от[ставной] шт[абс]-ротм[истр].
51. Кожевников, л[ейб]-гв[ардии] Изм[айловского] полка подпоручик.
52. Фок, того же полка подпоручик.
53. Лаппа, того же полка подпоручик.

54. Назимов, л[ейб]-гв[ардии]
Конно-пион[ерного]
эск[адрона] шт[абс]-капи-
тан.
55. Барон Розен, л[ейб]-
гв[ардии] Финляндск[ого]
полка поручик.
56. Глебов, кол[лежский] се-
кретарь.
57. Андреев, л[ейб]-гв[ардии]
Измайл[овского] полка
подпоручик.
58. Толстой, Московского
пех[отного] полка прапор-
щик.
59. Граф Чернышев, Кавал-
ерг[ардского] полка рот-
мистр.
60. Чижов, 2-го флотского
экипажа лейтенант.
61. Тургенев Николай, дейст-
вит[ельный] ст[атский] со-
ветник.

Подписал:
Начальник Главного штаба
барон Дибич.

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД НАД
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ,
УЧРЕЖДЕННЫЙ ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ МАНИФЕСТУ
1-го июня 1826 г.
С.-Петербург 1826.

УКАЗ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО
ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕНАРОДНОЕ ИЗВЕСТИЕ

Правительствующий Сенат в общем собрании санктпетербургских департаментов, выслушав переданный в оный из Верховного уголовного суда в списке протокол, состоявшийся в 11-й день сего июля, при коем приложены в копиях: во-первых, всеподданнейший его императорскому величеству доклад одного суда с росписью государственным преступникам, осужденным к разным казням и наказаниям; во-вторых, именной высочайший указ, данный Верховному уголовному суду в 10-й день сего же июля о пощадах, его императорским величеством даруемых осужденным преступникам, – приказали: о совершении казней и наказаний над государственными преступниками, высочайшим указом и приговором Верховного уголовного суда определенных, предписать г[осподину] санктпетербургскому военному генерал-губернатору. Доклад же Верховного уголовного суда с росписью осужденным преступникам и высочайший указ, равно выписку из упомянутого протокола Верховного уголовного суда с изъяснением учиненного в оном по высочайше предоставленной ему власти окончательного постановления о пяти преступниках, поставленных вне разрядов и вне сравнения с другими по тяжести их злодеяний, издать совокупно во всеобщее известие, каковых постановлений и прилагается у сего по одному экземпляру.

(М.П.)

Подлинный
за подписанием
правительствующего Сената

В Санктпетербурге,
июля 13 дня 1826 года.

ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕМУ, ДЕРЖАВНЕЙШЕМУ,
ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И
САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ
ВЕРХОВНОГО УГОЛОВНОГО СУДА
ВСЕПОДДАНЕЙШИЙ ДОКЛАД

Верховный уголовный суд, Манифестом 1 июня сего года для суждения государственных преступников составленный, всеподданейше представляет на усмотрение вашего императорского величества существо приговора, о них состоявшегося, изобразив предварительно тот порядок, коим дело сие в нем было производимо.

Обряд производства уголовных дел установлен общими законами; но в деле высших государственных преступлений общий уголовный обряд не мог быть достаточен. Посему ваше императорское величество при самом составлении сего суда соизволили преподать ему дополнительные правила, на общем порядке судопроизводства основанные и для успешного движения сего дела необходимые.

Верховный уголовный суд в 3-й день июня месяца открыл свои заседания чтением высочайшего Манифеста, потом донесения Следственной комиссии и подробных о каждом подсудимом сведений, составленных в той же Комиссии из подлинного о них производства. Все, что по прежним сведениям отдельно было известно о существовании сиих преступлений, при чтении актов представилось в ужасной всех обстоятельств совокупности. Чем более он входил в подробности, тем, казалось, расширялась пред ним бездна злобы и нравственного ожесточения. Все прежние чувства ужаса и омерзения возбудились здесь с новою силою.

Но суд не мог, не должен был колебаться сими чувствами; он измерял преступления, но видел пред собою еще токмо подсудимых. Сколько ни достоверны были акты Следственной комиссии, но общий порядок правосудия и правила, вашим императорским величеством предначертанные, требовали личного в допросах удостоверения. К сему два пути предлежали: призыв подсудимых пред суд или наряд к ним Комиссии, судом избранной и из среды его составленной. Ваше императорское величество тот и другой способ соизволили предоставить его усмотрению. Он избрал последний, как равно достоверный, но по числу подсудимых более удобный.

Ревизионная комиссия исполнила порученное ей дело с точностью. Все подсудимые без исключения подтвердили пред нею собственноручным подписанием прежние их показания. Им открыты были способы дополнять оные всеми обстоятельствами, кои могли они считать нужными к их оправданию; некоторые, и именно пять подсудимых, пользуясь сим дозволением, и действительно представили пояснения. И хотя Комиссия не нашла в них ничего важного и существенного, тем не менее представила оные Верховному суду на усмотрение. По заключению его они приобщены к делу и приняты к совокупному с оным соображению.

По окончании, таким образом, ревизии следствия, суд приступил к чтению законов, на преступления сего рода постановленных, и в выписке, при сем прилагаемой, во всей подробности их изложенных.

Из соображения сиих законов с делом сами собою проистекали два следующие вопроса:

1) К какому роду преступлений относятся преступления, в актах Следственной комиссии обнаруженные? Суд признал единогласно, что все они принадлежат к преступлениям государственным, под именем *двух первых пунктов* в законодательстве нашем известным.

2) Какое наказание по законам нашим положено за сии преступления? Суд признал и единогласно определил, *что преступления, в актах означенные и собственным признанием подсудимым двукратно удостоверенные, подлежат все без изъятия смертной казни.*

Сим одним общим приговором оканчивалось дело во всей законной его точности. Строгость наших законов не позволяет в сем роде преступлений различать никаких постепенностей. Все, и действовавшие, и соглашавшиеся, и участвовавшие, и даже токмо знавшие, но не донесшие об умысле посягательства на священную особу государя императора или кого-либо из императорской фамилии, также об умысле бунта и воинского мятежа, все без изъятия подлежат смертной казни и по точной силе законов все одним общим приговором считаются к сей казни присужденными.

Сия спасительная строгость наших законов единым монаршим милосердием может быть смягчаема, но смягчаема частно, в виде изъятий, в известном и определенном случае, а не в виде общего правила, которое всегда остается одно и то же во всей его силе и действии.

В сем самом уважении благоугодно было вашему императорскому величеству и в настоящем случае всемилостивейше повелеть, чтоб Верховный уголовный суд определил: “В какой постепенности увеличиваетя или уменьшается общая вина подсудимых частными и особенными каждого лица обстоятельствами, чтоб он установил разряды разных степеней виновности, чтоб каждому степени положил наказание и чтоб по сим разрядам и степеням распределил подсудимых”. (Дополнит[ельные] статьи, отделение II, статьи 3, 12, 13 и 14).

Во исполнение сего высочайшего повеления, для приуготовления начал, на коих должны быть основаны разряды, избрана была из среды суда особая Комиссия. Ясно, что оснований разрядов надлежало искать в обстоятельствах дела. К сему два средства представлялись: донесение Следственной комиссии и самые дела, в ней произведенные. В донесении излагаются обстоятельства в их совокупности; в делах содержатся они во всей подробности; в них находятся самые ответы подсудимых, самые показания, ими писанные или подписанные, и двукратно, сперва при следствии, а потом при ревизии, ими утвержденные, Комиссия признала справедливым соединить оба сии средства, то есть свести и поверить изложение следствия с самым его производством, и для сего прочесть и пересмотреть раздельно все дела от начала до конца их. Сколько труд сей был многосложен, столько он был необходим. Совершением его Комиссия, *во-первых*, приобрела возможность обозреть подробности дела во всем их пространстве и положить основания разрядов не на одном токмо донесении, но на самых подлинных актах; *во-вторых*, она удостоверилась не токмо в точности изложения и в сходстве его с делами, но и в точности самого их производства. Во всем составе 121-го дела открылось токмо шесть случаев и случаев не весьма существенных, кои могли требовать некоторого пояснения и кои по сему признано нужным чрез Следственную комиссию дополнить. Сим не изменилось существо дел, но приведены обстоятельства их в большую ясность.

В сем порядке обозрев все дело, Комиссия приступила к установлению разрядов. Для сего ей предлежало: определить главные роды преступлений, отличить в каждом роде все его виды и, поставив их в порядке постепенности, из сложения и сопряжения их произвесть начала разрядов.

Роды преступлений

Все разнообразные части сего обширного дела, в совокупном их обозрении представляют один главный умысел: *умысел на потрясение империи, на испровержение коренных отечественных законов, на превращение всего государственного порядка.*

Три средства, три главные рода злодеяний предполагаемы были к совершению сего умысла: 1) цареубийство, 2) бунт, 3) мятеж воинский.

Виды преступления

Каждый из сих главных родов влечет за собою свой длинный ряд преступлений. Все они принадлежат вообще к трем: 1) к знанию умысла, 2) к согласию в нем, 3) к вызову на совершение его, но каждый из сих видов заключает в себе еще разные постепенности, коих подробное изложение состоит в следующем.

По первому пункту

1) Умысел на цареубийство *собственным вызовом* или нарядом и назначением других к совершению одного; приятием таковых назначений, изысканием средств к совершению их. Сюда также принадлежит и действительное покушение на жизнь кого-либо из членов императорской фамилии.

2) Умысел на истребление императорской фамилии или кого-либо из членов ее, *возбуждением к тому других* или одобрением лица, к тому предназначенного.

3) Умысел на лишение свободы священной особы государя или кого-либо из членов императорской фамилии, умысел на удаление императорской фамилии *собственным вызовом* или нарядом и назначением других к совершению одного.

4) Участие в вышеозначенных умыслах *согласием*, хотя без собственного вызова и приглашения к тому других.

5) Участие в умысле *согласием* на последний его вид, т.е. на удаление императорской фамилии, или лишение свободы, хотя с противоречием на два первые.

6) Злодерзостные слова, относящиеся к цареубийству, произнесенные не на совещаниях тайных обществ, но в частном разговоре и означающие не умысел обдуманый, но мгновенную мысль и порыв.

7) Участие в умысле, в том или другом его виде, *согласием* или даже и вызовом, сперва изъявленным, но потом изменившимся, и с отступлением от одного.

8) Участие в умысле *согласием*, сперва изъявленным, но потом изменившимся с отступлением и с противоречием всем прежним жестоким мерам.

9) *Знание* умысла в том или другом его виде, достоверное, но равнодушное, то есть без согласия и без противоречия.

10) *Знание* умысла, в том или другом его виде, без согласия и даже с противоречием на первые его виды.

По второму пункту

1) Учреждение и управление тайных обществ, имевших целью бунт: приуготовлением способов к бунту или назначением к тому срочного времени, или составлением планов, уставов, конституций, прокламаций, форм присяги или возбуждением и подговором нижних воинских чинов.

2) Деятельное участие в сем умысле, когда уже он был основан другими, участие – или распространением возмутительных сочинений, или возбуждением и подговором нижних воинских чинов; сюда же принадлежат и личные внешние сношения с целью отторжения некоторых областей от империи.

3) Участие в сем умысле *распространением* обществ или посредством привлечения товарищей или принятием поручений. Сюда же принадлежит и употребление разных подлогов, как-то печати и бумаг.

4) Участие в умысле, но без согласия на меры жестокие или даже с противоречием оным.

5) Участие в учреждении тайных обществ, впоследствии не токмо изменившееся, но и сопровождаемое совершенным отступлением от оных.

6) *Полное знание* сего умысла, хотя без всякого действия.

7) *Неполное знание* сего умысла, особенно жестоких его мер, с принятием или без принятия членов.

По мятежу

1) Личное действие в мятеже *с пролитием крови и с полным знанием сокровенной его цели* так же согласие именоваться главою мятежа, хотя без пролития крови и без личного действия.

2) Личное действие в мятеже *с пролитием крови, хотя без полного знания сокровенной его цели.*

3) Личное действие *с возбуждением* нижних чинов, с полным знанием сокровенной его цели.

4) Личное действие *с возбуждением* нижних чинов, хотя без полного знания сокровенной цели, или же приуготовление товарищей *планами и советами* с полным знанием сокровенной цели.

5) Действие *без возбуждения* нижних чинов или возбуждение *без действия* с полным знанием сокровенной цели.

6) Личное действие без возбуждения нижних чинов или возбуждение без личного действия *без полного знания сокровенной цели.*

7) Знание о приуготовлениях к мятежу без личного действия, *но с сведением о сокровенной цели.*

8) Согласие к мятежу *без полного сведения сокровенной цели.*

9) Знание о предстоящем мятеже *без действия и без полного сведения о сокровенной его цели.*

10) Личное действие в мятеже с возбуждением нижних чинов или возбуждение без личного действия, хотя по увлечению и без знания сокровенной цели оного.

В сем состоят разные виды, кои Комиссия нашла и различила в преступлениях.

Основания разрядов. Ясно, что к основанию разрядов нет другого средства, как соединение сих видов в каждом роде преступлений соразмерно их тяжести. Тот, кто виновен во всех трех родах преступлений, соединяя в себе первые виды в каждом, без сомнения, должен занимать первое место. За ним следуют те, кои найдены виновными в двух токмо родах, соединяя в себе первые их виды, но кои вина в третьем роде или ниже первых, или совсем не существует.

На сем общем правиле Комиссия основала разряды, но в приложении одного к случаям, столь разнообразным, необходимо надлежало допустить некоторые ограничения. Вина, весьма тяжкая в одном роде преступления, часто сопрягается в одном лице с другими винами, менее тяжкими в других родах; а как закон в сопряжении вин определяет наказание по той из них, которая считается тягчайшею, то и надлежало сию тягчайшую вину поставить в свойственном ей разряде, хотя бы лицо, по другим его винам, принадлежало к разрядам нижним.

В разнообразии преступлений Комиссия искала более всего, чтоб не смешать одного вида с другим, чтоб не упустить без внимания никакой значительной разности, но каждому виду дать свое место и поставить его в соразмерности с другими. Таким образом произошли одиннадцать разрядов преступлений.

Дабы удостовериться в их точности, Комиссия признала нужным сделать примерный опыт самого распределения в них лиц – опыт, но не самое распределение, ибо сие последнее принадлежало Верховному суду и Комиссия не могла предварять его.

Для сего надлежало ей пройти снова всю, так сказать, историю каждого подсудимого, обозреть все обвинения, извлечь из оных вины, кои уликами и собственным признанием утверждены с очевидностию, и сии вины отметить против каждого. Сим образом составлен общий список подсудимых с кратким, но точным означением их преступлений. По сим преступлениям определялось место подсудимого и разряд, к коему он принадлежал. Сим многотрудным приложением Комиссия удостоверилась, что самое большое чисто подсудимых с точностию и сходством во всех существенных обстоятельствах может разместиться в разрядах, ею предположенных, с следующими токмо ограничениями:

1) При подробном рассмотрении дел найдено, что вины некоторых подсудимых усиливаются, а других – уменьшаются особенными их обстоятельствами.

Вины *усиливаются*: тяжкими последствиями зловредного примера, разрушением воинского порядка, кровавыми действиями некоего буйственного расщирепения.

Напротив, вины *ослабляются*: 1) признаками раскаяния, как-то: совершенным удалением от участия в тайном обществе, изменением его видов и отступлением от жестоких его предположений; 2) особыми поступками некоторых подсудимых, также к смягчению относящимися; 3) скорым и чистосердечным признанием при следствии; 4) наконец юностию лет при увлечении в злонамеренное сообщество. Комиссия не мог-

ла не принять в уважение сих особенных обстоятельств и потому, поставив как тех, так и других подсудимых, по мере их вины, в своих местах, признала однако же справедливым, составив им отдельный список, присовокупить обстоятельства сии к общему соображению Верховного уголовного суда.

2) Вины подсудимых утверждены собственным их признанием. Во всем обширном производстве сего дела найдены четыре токмо лица, кои вины утверждаются на обстоятельствах, а не на сознании. Составив о сих лицах особенное изложение, Комиссия представила оное на дальнейшее Верховного суда усмотрение.

3) Сколь ни тяжки вины, в первом разряде означенные, но есть в числе подсудимых лица, кои по особенному свойству их преступлений не могут идти в сравнение даже и с теми, кои принадлежат к сему разряду. Превосходя других во всех злых умыслах силою примера, неукротимости злобы, свирепым упорством, и, наконец, хладнокровною готовностью к кровопролитию, они стоят вне всякого сравнения. Комиссия признала справедливым, отделив их, составить им с изложением их злодеяний особенный список.

В сем заключались представления Комиссии.

Верховный уголовный суд, рассмотрев оные во всей подробности, большинством голосов признал, что число разрядов, Комиссию предположенных, за исключением тех злодеяний, кои по чрезмерной их тяжести поставлены вне оных, стоит в надлежащей соразмерности с разнообразием и многосложностью видов преступлений.

Засим суд в исполнение высочайше предначертанных ему правил приступил к определению каждому разряду наказаний. При сем определении Верховный уголовный суд не мог отступить от общего правила, в самом начале единогласно им поставленного, а именно, *что все подсудимые без изъятия, по точной силе наших законов, подлежат смертной казни*. И потому, если установлением разрядов в наказаниях благоугодно будет вашему императорскому величеству даровать некоторым из них жизнь, то сие будет не действие закона, а тем менее действием суда, но действием единого монаршего милосердия; будет особенным изъятием, на сей токмо случай, по высочайшему вашему предназначению допускаемым. И хотя милосердию, от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов, но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления столь высокие и с общою безопасностью государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны. По сим уважениям суд большинством голосов определил представить на усмотрение вашего императорского величества следующие положения о казнях и наказаниях:

Первое. Всем преступникам, кои по особому свойству и важности их злодеяний не могут войти в состав разрядов, положить *смертную казнь четвертованием*.

Второе. Всем преступникам, к первому разряду принадлежащим, положить *смертную казнь отсечением головы*.

Третье. Всем преступникам, ко второму разряду принадлежащим определить так называемую в законах наших политическую смерть, то есть *положить голову на плаху и потом сослать вечно в каторжную работу.*

Четвертое. Преступникам, к третьему разряду принадлежащим, – по лишении чинов и дворянства *ссылку в каторжную работу вечно.*

Пятое. Преступникам, к четвертому, пятому, шестому и седьмому разряду принадлежащим, – по лишении чинов и дворянства *ссылку в каторжную работу на определенное время и потом вечно на поселение.*

Шестое. Преступникам, к восьмому разряду принадлежащим, – по лишении чинов и дворянства *вечную ссылку на поселение.*

Седьмое. Преступникам, к девятому разряду принадлежащим, – по лишении чинов и дворянства *вечную ссылку в Сибирь.*

Осьмое. Преступников, к десятому разряду принадлежащих, – по лишении чинов и дворянства *написать в солдаты до выслуги.*

Девятое. Преступников, к одиннадцатому разряду принадлежащих, – *лишиа чинов, написать в солдаты с выслугою.*

Сделав сии положения о казнях и наказаниях, суд поступил к распределению самых преступников по разрядам и о каждом из них постановил приговор. Существо всех сил приговоров, то есть имена преступников, главные виды их преступлений и казни, им определенные, содержатся в особенной росписи, из общего протокола составленной и при сем на усмотрение вашего императорского величества подносимой.

Из сей росписи ваше императорское величество усмотреть изволите:

1) Что из 121 человека подсудимых приговором Верховного уголовного суда осуждаются: *пять человек*, вне разрядов состоящих, к смертной казни четвертованием, *тридцать один человек*, в первом разряде состоящих, к смертной казни отсечением головы, *семнадцать человек*, во втором разряде состоящих, к политической смерти с сылкою вечно в каторжную работу, *два человека*, в третьем разряде состоящие, ксылке в каторжную работу вечно, *тридцать восемь человек*, в четвертом, пятом, шестом и седьмом разряде состоящих, в каторжную работу на определенное время и потом на поселение, *пятнадцать человек*, в восьмом разряде состоящих, по лишении чинов и дворянства на поселение вечно, *три человека*, в девятом разряде состоящие, по лишении чинов и дворянства ксылке в Сибирь вечно, *один человек*, в десятом разряде состоящих, по лишении чинов и дворянства в солдаты до выслуги; *восемь человек*, в одиннадцатом разряде состоящих, по лишении чинов в солдаты с выслугою.

2) При сем распределении из тех четырех подсудимых, коих вины утверждаются обстоятельствами без собственного их сознания, трое и именно: *Тургенев*, князь *Шаховской* и *Цебриков*, по особому рассмотрению их преступлений отнесены Верховным уголовным судом к собственным им разрядам и вмещены: первый из них в первый разряд, второй – в осьмой, третий – в одиннадцатый: о *Горском* же, как не вошедшем ни в какой разряд, представляется при сем выписка из особого протокола, о нем состоявшегося.

В заключение Верховный уголовный суд вменяет себе долгом донести, что определения и приговоры его состоялись или по большинству голосов всего собрания, или же по большему числу голосов одинакого мнения.

Члены святейшего Синода, в Верховном суде присутствовавшие, при заключении общего протокола, сообразно правилам их и прежним примерам, изъявили мнения их следующими словами: “Слушав в Верховном уголовном суде следствие о государственных преступниках Пестеле, Рылеев и других их сообщниках, умышлявших на цареубийство и введение в России республиканского правления, и видя собственное их во всем признание и совершенное обличение, согласуемся, что сии государственные преступники достойны жесточайшей казни, а следовательно, какая будет сентенция, от оной не отрицаемся, но поелику мы духовного чина, то к подписанию сентенции приступить не можем”.

Всемиловитейший государь! С того самого дня, как горестные происшествия обнаружили сие дело, когда вспыхнувший мятеж укрощен был единым личным присутствием вашим, все верные подданные ваши в благоговейном чувстве признали единодушно, что судьба России, твердой вашей деснице провидением вверенная, пребудет непоколебима. Впоследствии, когда, признав дело сие делом всех верных сынов Отечества, делом всей России, ваше императорское величество соизволили по образу высоких ваших предков призвать к суждению оногo высшие государственные сословия с присоединением к ним военных и гражданских чиновников: сим самым снова утвердили ту истину, что если мрачный дух крамолы, внешними примерами подстрекаемый, может вторгнуться в Россию, то заключенный в тесных пределах отчаянного разврата или буйного своевольтва мыслей никогда не проникнет он в недра ее, для него неприступные, и что в Отечестве нашем любовь к государю и преданность к престолу опираются на коренных законах наших, на самых нравах и свойствах природных.

Верховный уголовный суд, чувствуя всю важность его призывания, желал в полной мере оправдать изъявленное ему вашим императорским величеством доверие и, проходя с неутомимым вниманием весь многосложный состав сего обширного дела, искал, по слову вашему, единого: “справедливости, справедливости нелицеприятной, ничем неколебимой, на законе и силе доказательств утвержденной”.

Подлинный
за подписанием председателя и
членов Верховного уголовного суда.

РОСПИСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКАМ, ПРИГОВОРОВ ВЕРХОВНОГО УГОЛОВНОГО СУДА ОСУЖДАЕМЫМ К РАЗНЫМ КАЗНЯМ И НАКАЗАНИЯМ

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ, ОСУЖДАЕМЫЕ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЧЕТВЕРТОВАНИЕМ

1. Полковник *Пестель*

Имел умысел на цареубийство; изыскивал к тому средства, избирал и назначал лица к совершению оногo, умышлял на истребление императорской фамилии и с хладнокровием истреблял всех ее членов, на жертву обреченных, и возбуждал к тому других, учреждал и с неограниченною властью управлял Южным тайным обществом, имевшим целию бунт и введение республиканского правления, составлял планы, уставы, Конституцию, возбуждал и приуговлял к бунту, участвовал в умысле отторжения областей от империи и принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других.

2. Подпоручик *Рылеев*

Умышлял на цареубийство, назначал к совершению оногo лица; умышлял на лишение свободы, на изгнание и на истребление императорской фамилии и приуговлял к тому средства, усилил деятельность Северного общества, управлял оным, приуговлял способы к бунту, составлял планы, заставлял сочинить Манифест о разрушении правительства, сам сочинял и распространял возмутительные песни и стихи и принимал членов, приуговлял главные средства к мятежу нижних чинов чрез их начальников посредством разных ободьщений и во время мятежа сам приходил на площадь.

3. Подполковник *Сергей Муравьев-Апостол*

Имел умысел на цареубийство, изыскивал средства, избирал и назначал к тому других, соглашаясь на изгнание императорской фамилии, требовал в особенности убийства цесаревича и возбуждал к тому других, имел умысел и на лишение свободы государя императора, участвовал в управлении Южным тайным обществом во всем пространстве возмутительных его замыслов, составлял прокламации и возбуждал других к достижению цели сего общества, к бунту, участвовал в умысле отторжения областей от империи, принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других, лично действовал в мятеже с готовностью пролития крови, возбуждал солдат, освобождал колодников, подкупил даже священника к чтению пред рядами бунтующих лже-Катехизиса, им составленного и взят с оружием в руках.

4. Подпоручик *Михайло Бестужев-Рюмин*

Имел умысел на цареубийство, изыскивал к тому средства, сам вызывался на убийство блаженные памяти государя императора и ныне царствующего государя императора, избирал и назначал лица к совершению оногo, имел умысел на истребление императорской фамилии,

изъявлял оный в самых жестоких выражениях *рассеяния праха*, имел умысел на изгнание императорской фамилии и лишение свободы блаженна памяти государя императора и сам вызывался на совершение сего последнего злодеяния, участвовал в управлении Южного общества, присоединил к оному Славянское, составлял прокламации и произносил возмутительные речи, участвовал в сочинении лже-Катехизиса, возбуждал и приуговлял к бунту, требуя даже клятвенных обещаний целованием образа, составлял умысел на отторжение областей от империи и действовал в исполнении оного, принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других, лично действовал в мятеже с готовностью пролития крови, возбуждал офицеров и солдат к бунту, и взят с оружием в руках.

5. Поручик *Каховский*

Умышлял на цареубийство и истребление всей императорской фамилии и, быв предназначен посягнуть на жизнь ныне царствующего государя императора, не отрекся от сего избрания и даже изъявил на то согласие, хотя уверяет, что впоследствии поколебался, участвовал в распространении бунта привлечением многих членов; лично действовал в мятеже, возбуждал нижних чинов и сам нанес смертельный удар графу Милорадовичу и полковнику Стюрлеру и ранил свитского офицера.

II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ОСУЖДАЕМЫЕ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ ОТСЕЧЕНИЕМ ГОЛОВЫ

1. Полковник *князь Трубецкой*

В 1826 году умышлял на цареубийство и соглашался с предложением других, предлагал лишение свободы императора и императорской фамилии при занятии дворца, управлял Северным тайным обществом, имевшим целью бунт, и согласился именоваться главою и предводителем воинского мятежа, хотя в нем лично и не действовал.

2. Поручик *князь Оболенский*

Участвовал в умысле на цареубийство одобрением выбора лица, к тому предназначенного, по разрушении *Союза благоденствия* установил вместе с другими тайное Северное общество, управлял оным и принял на себя приуговлять сочинения для содействия цели общества, приготавливал главные средства к мятежу, лично действовал в оных оружием с пролитием крови, ранив штыком графа Милорадовича, возбуждал других и принял на себя в мятеже начальство.

3. Подполковник *Матвей Муравьев-Апостол*

Имел умысел на цареубийство и готовился сам к совершению оного, участвовал в восстановлении деятельности Северного общества и знал умыслы Южного во всем их пространстве, действовал в мятеже и взят с оружием в руках.

4. Подпоручик *Борисов 2-й*

Умышлял на царевубийство, вызывался сам, дал клятву на совершение оного, умышлял на лишение свободы его высочества цесаревича, учредил и управлял тайным обществом, имевшим целию бунт, приготавливая способы к оному, составлял Катехизис и клятвенное обещание, действовал возбуждением нижних чинов к мятежу.

5. Подпоручик *Борисов 1-й*

Умышлял на царевубийство принятием назначения на совершение оного, учреждал и управлял тайным обществом вместе с братом своим и содействовал к составлению устава, действовал возбуждением нижних чинов к мятежу.

6. Подпоручик *Горбачевский*

Умышлял на царевубийство, обещался с клятвою произвести сие злодеяние и назначал других, участвовал в управлении тайным обществом, возбуждал и подговаривал к бунту нижних чинов, в произведении бунта дал клятву, старался распространить общество принятием членов и возбуждал нижних чинов к мятежу.

7. Майор *Спиридов*

Умышлял на царевубийство, вызывался сам, дав клятву на образе, совершить оное и назначал к тому других, участвовал в управлении Славянским обществом, старался о распространении его принятием членов и возбуждал нижних чинов.

8. Штабс-ротмистр князь *Барятинский*

Умышлял на царевубийство с назначением лица к совершению оного, участвовал в управлении тайного общества и старался распространять оное принятием членов и поручений и знал о приуготовлении к мятежу.

9. Коллежский ассессор *Кюхельбекер*

Покушался на жизнь его высочества великого князя Михаила Павловича во время мятежа на площади, принадлежал к тайному обществу с знанием цели, лично действовал в мятеже с пролитием крови, сам стрелял в генерала Воинова и рассеянных выстрелами мятежников старался поставить в строй.

10. Капитан *Якубович*

Умышлял на царевубийство с вызовом на лишение жизни покойного государя и, сверх того, предложил бросить жребий на убиение ныне царствующего императора, был на совещаниях общества и знал его тайны относительно бунта, хотя и не был принят в оное, лично действовал в мятеже, участвовал в приготовлении оного, помогал советами, предлагал разбить питейные дома, позволить грабеж и, взяв хоругви из церкви, идти ко дворцу, во время самого мятежа присоединясь к мятежникам одобрял и поощрял их и пришел с ними на площадь.

11. Подполковник *Поджио*

Умышлял на царевубийство собственным вызовом к совершению оно-го, также изысканием к тому средств, избиранием и назначением лиц, умышлял на истребление императорской фамилии, участвовал в восста-новлении деятельности Северного общества с предложением составлен-ных им правил, советовал и убеждал князя Волконского возмутить вве-ренное ему войско.

12. Полковник *Артамон Муравьев*

Умышлял на царевубийство с собственным троекратным вызовом на совершение оно-го, участвовал в умысле произвести бунт, привлекал в тайное общество других и приготавливал товарищей к мятежу.

13. Прапорщик *Вадковский*

Умышлял на царевубийство и истребление всей императорской фами-лии, возбуждал к оно-му и других, участвовал в умысле произвести бунт и в распространении тайного общества принятием в оно-е товарищей.

14. Прапорщик *Бечаснов*

Соглашался в умысле на царевубийство принятием с клятвою назначе-ния к совершению оно-го, участвовал в умысле бунта возбуждением и подговором нижних чинов и принял в общество одного товарища.

15. Полковник *Давыдов*

Имел умысел на царевубийство и истребление императорской фами-лии, о чем и совещания происходили в его доме, и участвовал в управле-нии тайного общества и старался распространять оно-е принятием членов и поручений, участвовал согласием в предположениях об отторжении областей от империи и приготавливал к мятежу предложением одной ар-тиллерийской роте быть готовою к действиям.

16. 4-го класса *Юшневский*

Участвовал в умысле на царевубийство и истребление императорской фамилии с согласием на все жестокие меры Южного общества, управлял тем обществом, вместе с Пестелем, с неограниченною властию участво-вал в сочинении Конституции и произнесении речей, участвовал также в умысле на отторжение областей от империи.

17. Штабс-капитан *Александр Бестужев*

Умышлял на царевубийство и истребление императорской фамилии, возбуждал к тому других, соглашался также и на лишение свободы импе-раторской фамилии, участвовал в умысле бунта привлечением товари-щей и сочинением возмутительных стихов и песен, лично действовал в мятеже и возбуждал к оно-му нижних чинов.

18. Подпоручик *Андреевич 2-й*

Участвовал в умысле на царевубийство согласием, первый умышлял на лишение свободы его императорского высочества цесаревича, участво-

вал в умысле бунта возбуждением и подговором нижних чинов и приуготовлял товарищей к воинскому мятежу.

19. Капитан *Никита Муравьев*

Участвовал в умысле на царевубийство изъявлением согласия в двух особенных случаях в 1817 и 1820 году, и хотя впоследствии и изменил в сем отношении свой образ мыслей, однако ж предполагал изгнание императорской фамилии, участвовал вместе с другими в учреждении и управлении тайного общества и в составлении планов и Конституции.

20. Коллежский асессор *Пуцин*

Участвовал в умысле на царевубийство одобрением выбора лица к тому предназначенного, участвовал в управлении общества, принимал членов и давал поручения, лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов.

21. Генерал-майор *князь Волконский*

Участвовал согласием в умысле на царевубийство и истребление всей императорской фамилии, имел умысел на заточение императорской фамилии участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении оного с Северным, действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял поддельную печать полевого аудиториата.

22. Капитан *Якушкин*

Умышлял на царевубийство собственным вызовом в 1817 году и участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество товарищей.

23. Подпоручик *Пестов*

Участвовал в умысле на царевубийство принятием с клятвою назначения к совершению оного и соглашался в умысле бунта.

24. Лейтенант *Арбузов*

Умышлял на царевубийство и истребление императорской фамилии, участвовал в умысле бунта с привлечением товарищей, лично действовал в мятеже, возбуждал нижних чинов и товарищей.

25. Лейтенант *Завалишин*

Умышляя на царевубийство и истребление императорской фамилии, возбуждая к тому словами и сочинениями, и принадлежал к тайному обществу с знанием сокровенной цели.

26. Полковник *Повало-Швейковский*

Участвовал в умысле на лишение свободы покойного государя императора в Бобруйске и при Белой Церкви, а ныне царствующего государя императора – в Бобруйске и знал об умысле на царевубийство, участвовал в умысле произвести бунт и в распространении тайного общества принятием от него поручений и привлечением одного товарища.

27. Поручик *Панов 2-й*

Принадлежал к тайному обществу и по учинении уже присяги лично действовал в мятеже, возмутил несколько рот, вступил с ними на двор

Зимнего Дворца и потом присоединился к другим мятежникам на площади, команда его производила стрельбу.

28. Поручик *Сутгоф*

Принадлежал к тайному обществу и по ичинении присяги лично действовал в мятеже, возмущил свою роту и присоединил ее на площади к мятежникам, команда его производила стрельбу.

29. Штабс-капитан *князь Щепин-Ростовский*

Лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов, коими предводительствовал на площади с пролитием крови и с нанесением тяжких ран, генералам Шеншину, Фридрихсу, полковнику Хвоцинскому, одному унтер-офицеру и гренадеру.

30. Мичман *Дивов*

Умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии с возбуждением других словами и лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

31. Действительный статский советник *Тургенев*

По показаниям 24 соучастников, он был деятельным членом тайного общества, участвовал в учреждении, восстановлении, совещаниях и распространении оного привлечением других, равно участвовал в умысле ввести республиканское правление, и удалясь за границу, он по призыву правительства к оправданию не явился, чем и подтвердил сделанные на него показания.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ *ВТОРОГО РАЗРЯДА*,
ОСУЖДАЕМЫЕ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
ПО СИЛЕ УКАЗА 1753-го года апреля 29-го числа,
т.е. ПОЛОЖИТЬ ГОЛОВУ НА ПЛАХУ,
А ПОТОМ СОСЛАТЬ ВЕЧНО В КАТОРЖНУЮ РАБОТУ

1. Капитан *Тютчев*

Участвовал в умысле на цареубийство согласием, участвовал в умысле бунта возбуждением и подговором нижних чинов и знал о приготвлении к мятежу.

2. Поручик *Громницкий*

Участвовал в умысле на цареубийство согласием, участвовал в умысле бунта распространением тайного общества, принятием его поручений и привлечением товарищей и знал о приготвлении к мятежу.

3. Прапорщик *Киреев*

Участвовал в умысле на цареубийство согласием, также соглашался в умысле бунта и приготвлял товарищей к военному мятежу.

4. Поручик *Крюков 2-й*

Участвовал в умысле на цареубийство и истребление императорской фамилии согласием, участвовал в умысле произвести бунт и в рас-

пространении тайного общества принятием поручений и привлечением товарищей.

5. Подполковник *Лунин*

Участвовал в умысле царевубийства согласиём, в умысле бунта, принятием в тайное общество членов и заведением литографии для издания сочинений общества.

6. Корнет *Свистунов*

Участвовал в умысле царевубийства и истреблении императорской фамилии согласиём, а в умысле бунта принятием в общество товарищей.

7. Поручик *Крюков 1-й*

Участвовал в умысле на царевубийство и истребление императорской фамилии согласиём, а в умысле бунта распространением тайного общества и привлечением товарищей.

8. Поручик *Басаргин*

Участвовал в умысле на царевубийство согласиём и в распространении тайного общества принятием одного члена.

9. Полковник *Митьков*

Участвовал в умысле царевубийства согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием сокровенной цели.

10. Поручик *Анненков*

Участвовал в умысле на царевубийство согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

11. Штаб-лекарь *Вольф*

Участвовал в умысле на царевубийство и истребление императорской фамилии согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

12. Ротмистр *Ивашев*

Участвовал в умысле на царевубийство согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

13. Подпоручик *Фролов 2-й*

Участвовал в умысле на царевубийство согласиём и принадлежал к тайному обществу с знанием цели бунта.

14. Подполковник *Норов*

Участвовал согласиём в умысле на лишение в Бобруйске свободы блаженной памяти императора и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

15. Капитан-лейтенант *Торсон*

Знал умысл на царевубийство и участвовал в умысле бунта принятием одного члена.

16. Капитан-лейтенант *Николай Бестужев 1-й*

Участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество членов, лично действовал в мятеже, возбуждал нижних чинов и сам был на площади.

17. Штабс-капитан *Михайло Бестужев*

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оноого, лично действовал в мятеже, возбуждал нижних чинов и привел на площадь роту.

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА, ОСУЖДАЕМЫЕ К ССЫЛКЕ ВЕЧНО В КАТОРЖНУЮ РАБОТУ

1. Подполковник *барон Штейнгель*

Знал об умысле на цареубийство и лишение свободы с согласиём на последнее, принадлежал к тайному обществу с знанием цели и участвовал в приготовлении к мятежу планами, советами, сочинением Манифеста и приказа войскам.

2. Подполковник *Батенков*

Знал об умысле на цареубийство, соглашался на умысел бунта и приготавливал товарищам к мятежу планами и советами.

V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ ЧЕТВЕРТОГО РАЗРЯДА, ОСУЖДАЕМЫЕ К ВРЕМЕННОЙ ССЫЛКЕ В КАТОРЖНУЮ РАБОТУ НА 15 ЛЕТ, А ПОТОМ НА ПОСЕЛЕНИЕ

1. Штабс-капитан *Муханов*

Произносил дерзостные слова в частном разговоре, означающие мгновенный порыв на цареубийство, и принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной цели относительно бунта.

2. Генерал-майор *Фон-Визин*

Умышлял на цареубийство согласиём, в 1817 году изъявленным, хотя впоследствии времени изменившимся с отступлением от оноого, участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество членов.

3. Штабс-капитан *Поджио*

Участвовал в умысле на цареубийство согласиём и даже вызовом, сперва изъявленным, но потом изменившимся и с отступлением от оноого, принадлежал к тайному обществу с знанием цели и знал о приготовлении к мятежу.

4. Подполковник *Фаленберг*

По принятии в 1822 или 1823 году князем Барятинским в тайное общество соглашался произвести цареубийство и хотя впоследствии и начал от общества уклоняться, но сокровенную цель его знал.

5. 10-го класса *Иванов*

Участвовал в умысле бунта принятием членов и приуготовлял товарищей к мятежу.

6. Подпоручик *Мозган*

Знал об умысле царевубийства, участвовал в умысле бунта принятием одного члена и возбуждал нижних чинов не противиться мятежу, когда он откроется.

7. Штабс-капитан *Корнилович*

Знал об умысле на царевубийство, участвовал в умысле бунта принятием поручения с известиями от Южного общества к Северному и в приуготовлении к мятежу.

8. Майор *Лорер*

Знал об умысле на царевубийство, участвовал в умысле тайного общества принятием от него поручений и привлечением товарища.

9. Полковник *Аврамов*

Знал об умысле на царевубийство и участвовал в умысле бунта распространением общества и принятием одного члена.

10. Поручик *Бобрещев-Пушкин 2-й*

Знал об умысле на царевубийство и участвовал в умысле бунта принятием на сохранение бумаг Пестеля и привлечением в тайное общество одного члена.

11. Прапорщик *Шимков*

Знал об умысле царевубийства и участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество одного члена.

12. Корнет *Александр Муравьев*

Знал об умысле на царевубийство и участвовал в умысле бунта принятием поручений и привлечением товарищей.

13. Мичман *Беляев 1-й*

Знал об умысле на царевубийство и лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

14. Мичман *Беляев 2-й*

Знал об умысле на царевубийство и лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

15. Полковник *Нарышкин 2-й*

Знал об умысле на царевубийство и участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество членов.

16. Корнет князь *Одоевский*

Участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество одного члена, и лично действовал в мятеже с пистолетом в руках.

VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ ПЯТОГО РАЗРЯДА,
ОСУЖДАЕМЫЕ К ВРЕМЕННОЙ ССЫЛКЕ В КАТОРЖНУЮ РАБОТУ
НА 10 ЛЕТ, А ПОТОМ НА ПОСЕЛЕНИЕ

1. Штабс-капитан *Репин*

Принадлежал к тайному обществу с знанием сокровенной цели и приготавливал товарищей к мятежу.

2. Коллежский секретарь *Глебов*

Знал о цели тайного общества, хотя не вполне и лично действовал в мятеже, дававши деньги солдатам для покупки вина.

3. Поручик *барон Розен*

Лично действовал в мятеже остановив свой взвод, посланный для усмирения мятежников.

4. Лейтенант *Кюхельбекер*

Лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

5. Мичман *Бодиско 2-й*

Лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ ШЕСТОГО РАЗРЯДА,
ОСУЖДАЕМЫЕ К ВРЕМЕННОЙ ССЫЛКЕ В КАТОРЖНУЮ РАБОТУ
НА 6-ть ЛЕТ, А ПОТОМ НА ПОСЕЛЕНИЕ

1. Полковник *Александр Муравьев*

Участвовал в умысле царевубийства согласием, в 1817 году изъявленным, равно как участвовал и учреждении тайного общества, хотя потом от одного совершенно удалился, но о цели его правительству не донес.

2. Дворянин *Люблинский*

Знал об умысле на царевубийство и участвовал в учреждении с Борисовым Славянского тайного общества с составлением и переводом планов, хотя после из одного и выбыл.

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ СЕДЬМОГО РАЗРЯДА,
ОСУЖДАЕМЫЕ К ВРЕМЕННОЙ ССЫЛКЕ В КАТОРЖНУЮ РАБОТУ
НА 4 ГОДА, А ПОТОМ НА ПОСЕЛЕНИЕ

1. Подпоручик *Лихарев*

Знал об умысле на царевубийство, принадлежал к тайному обществу с знанием цели и знал о приуготовлении к мятежу.

2. Подполковник *Ентальцов*

Знал об умысле на царевубийство, принадлежал к тайному обществу с знанием цели и знал о приуготовлениях к мятежу.

3. Поручик *Лисовский*

Знал об умысле на цареубийство, принадлежал к тайному обществу с знанием цели и знал о приуготовлении к мятежу.

4. Полковник *Тизенгаузен*

Знал об умысле на цареубийство и лишение свободы всей императорской фамилии и участвовал в умысле бунта.

5. Подпоручик *Кривцов*

Знал об умысле на цареубийство, принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

6. Прапорщик *Толстой*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

7. Ротмистр *граф Чернышев*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

8. Поручик *Аврамов*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

9. Поручик *Загорецкий*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

10. Полковник *Поливанов*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

11. Поручик *барон Черкасов*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

12. Поручик *граф Булгари*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

13. Канцелярист *Выгодковский*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

14. Подполковник *Берстель*

Знал об умысле на лишение свободы императорской фамилии и принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

15. Полковник *фон-дер Бригген*

Знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с знанием цели оною.

IX. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ *ОСЬМОГО РАЗРЯДА*,
ОСУЖДАЕМЫЕ К ЛИШЕНИЮ ЧИНОВ, ДВОРЯНСТВА
И К ССЫЛКЕ НА ПОСЕЛЕНИЕ

1. Подпоручик *Андреев 2-й*

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оною и возбуждал к мятежу.

2. Подпоручик *Веденяпин 1-й*

Соглашался на умысел бунта и знал о приуготовлении к военному мятежу.

3. Действительный статский советник *Краснокутский*

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели в ограничении самодержавной власти посредством Сената и знал о приуготовлении к мятежу 14 декабря 1825 года.

4. Лейтенант *Чижов*

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оною и соглашался на мятеж.

5. Камер-юнкер *князь Голицын*

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оною.

6. Штабс-капитан *Назимов*

Участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество одного товарища.

7. Поручик *Бобрищев-Пушкин 1-й*

Участвовал в умысле бунта принятием на сохранение бумаг Пестеля.

8. Подпоручик *Заикин*

Участвовал в умысле с принятием поручений от общества и привлечением одного товарища.

9. Капитан *Фурман*

Соглашался в умысле бунта.

10. Майор *князь Шаховской*

По улике 4 сообщников, участвовал в умысле на цареубийство и по собственному признанию принадлежал к тайному обществу.

11. Штабс-капитан *Фохт*

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

12. Подпоручик *Мозгалевский*

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

13. Поручик *Шахирев*

Принадлежал к тайному обществу с знанием цели.

14. Полковник *Враницкий*

Принадлежал к тайному обществу и знал цель его, т.е. изменение государственного порядка.

15. Лейтенант *Бодиско 1-й*

Лично действовал в мятеже бытною на площади.

X. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ *ДЕВЯТОГО РАЗРЯДА*,
ОСУЖДАЕМЫЕ К ЛИШЕНИЮ ЧИНОВ, ДВОРЯНСТВА
И К ССЫЛКЕ В СИБИРЬ

1. Подпоручик граф *Коновницын*

Принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной оною цели относительно бунта и соглашался на мятеж.

2. Штабс-ротмистр *Оржицкий*

Хотя не вполне, но знал сокровенную цель тайного общества относительно бунта, равно как знал и о предстоящем мятеже.

3. Подпоручик *Кожевников*

Принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной цели и возбуждал нижних чинов к мятежу.

XI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК *ДЕСЯТОГО РАЗРЯДА*,
ОСУЖДАЕМЫЙ К ЛИШЕНИЮ ЧИНОВ И ДВОРЯНСТВА
И НАПИСАНИЮ В СОЛДАТЫ ДО ВЫСЛУГИ

1. Капитан *Пуцин*

Знал о приготовлении к мятежу, но не донес.

XII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ *ОДИННАДЦАТИГО РАЗРЯДА*,
ОСУЖДАЕМЫЕ К ЛИШЕНИЮ ТОКМО ЧИНОВ
С НАПИСАНИЕМ В СОЛДАТЫ С ВЫСОЛУГОЮ

1. Мичман *Петр Бестужев*

Принадлежал к тайному обществу и лично действовал в мятеже.

2. Прапорщик *Веденяпин 2-й*

Соглашался на умысел бунта.

3. Лейтенант *Вишневский*

Быв увлечен обманом, лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов.

4. Лейтенант *Мусин-Пушкин*

Быв увлечен обманом, лично действовал в мятеже.

5. Лейтенант *Акулов*

Быв увлечен обманом, лично действовал в мятеже.

6. Подпоручик *Фок*

Быв увлечен обманом, возбуждал нижних чинов в мятеже.

7. Поручик *Цебриков*

По показанию свидетелей, в день мятежа 14 декабря произносил возмутительные слова морскому экипажу, когда он шел на Петровскую площадь; сам подходил к толпе мятежников и ввечеру дал пристанище одному из первейших бунтовщиков – князю Оболенскому.

8. Подпоручик *Ланна*

Принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной цели оногo относительно бунта.

Подлинная роспись
за подписанием председателя и членов
Верховного уголовного суда.

УКАЗ ВЕРХОВНОМУ УГОЛОВНОМУ СУДУ

Рассмотрев доклад о государственных преступниках, от Верховного уголовного суда нам поднесенный, мы находим приговор, оным постановленный, существу дела и силе законов сообразным.

Но силу законов и долг правосудия желая по возможности согласить с чувствами милосердия, признали мы за благо определенные сим преступникам казни и наказания смягчить нижеследующими в них ограничениями:

I. Преступников первого разряда, Верховным уголовным судом к смертной казни осужденных, а именно: полковника князя Трубецкого, поручика князя Оболенского, подпоручика Борисова 2-го, отставного подпоручика Борисова 1-го, подпоручика Горбачевского, майора Спиридова, штабс-ротмистра князя Борятинского, капитана Якубовича, отставного подполковника Поджио, полковника Артамона Муравьева, прапорщика Вадковского, прапорщика Бечаснова, отставного полковника Давыдова, 4-го класса Юшневского, подпоручика Андреевича 2-го, коллежского ассесора Пущина, подпоручика Пестова, лейтенанта Арбузова, лейтенанта Завалишина, полковника Повало-Швейковского, поручика Панова 2-го, поручика Сутгофа, штабс-капитана князя Щепина-Ростовского, мичмана Дивова и действительного статского советника Тургенева, даровав им жизнь, по лишении чинов и дворянства сослать вечно в каторжную работу.

II. Нижеследующих преступников того же первого разряда и к той же смертной казни Верховным уголовным судом осужденных, по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на двадцать лет и потом на поселение, а именно: 1) отставного подполковника Матвея

Муравьева-Апостола по уважению совершенного и чистосердечного его раскаяния; 2) коллежского асессора Кюхельбекера по уважению ходатайства его императорского высочества великого князя Михаила Павловича; 3) штабс-капитана Александра Бестужева по уважению того, что лично явился ко мне с повинною головою; 4) капитана Никиту Муравьева по уважению совершенной откровенности и чистосердечного признания; 5) генерал-майора князя Волконского по уважению совершенного раскаяния; 6) отставного капитана Якушкина также по уважению совершенного раскаяния.

III. Преступников второго разряда, Верховным уголовным судом осужденных, – к политической смерти с положением головы на плаху и к ссылке вечно в каторжную работу, а именно: капитан-лейтенанта Николая Бестужева 1-го и штабс-капитана Михаила Бестужева по лишении чинов и дворянства сослать вечно в каторжную работу. Капитана Тютчева, поручика Громницкого, прапорщика Киреева, поручика Крюкова 2-го, подполковника Лунина, корнета Свистунова, поручика Крюкова 1-го, поручика Басаргина, полковника Митькова, поручика Анненкова, штаб-лекаря Вольфа, ротмистра Ивашева, подпоручика Фролова 2-го и капитан-лейтенанта Торсона по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на двадцать лет, а потом на поселение; отставного подполковника Норова по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на пятнадцать лет, а потом на поселение.

IV. Преступников третьего разряда, Верховным уголовным судом осужденных, – в каторжную работу вечно, а именно: отставного подполковника барона Штейнгеля и подполковника Батенкова по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на двадцать лет и потом на поселение.

V. Преступников четвертого разряда, Верховным уголовным судом осужденных, – к ссылке в каторжную работу на пятнадцать лет и потом на поселение, а именно: штабс-капитана Муханова, отставных генерал-майора фон Визина и штабс-капитана Поджио, подполковника Фаленберга, 10-го класса Иванова, подпоручика Мозгана, штабс-капитана Корниловича, майора Лорера, полковника Аврамова, поручика Бобрищева-Пушкина 2-го, прапорщика Шимкова, корнета Александра Муравьева, мичмана Беляева 1-го, мичмана Беляева 2-го, полковника Нарышкина 2-го и корнета князя Одоевского по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на двенадцать лет и потом на поселение.

VI. Преступников пятого разряда, Верховным уголовным судом осужденных, – к ссылке в каторжную работу на десять лет и потом на поселение, а именно: штабс-капитана Репина и лейтенанта Кюхельбекера по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на восемь лет и потом на поселение; мичмана Бодиско 2-го сослать в крепостную работу, а коллежского секретаря Глебова и поручика барона Розена сослать в каторжную работу по приговору на десять лет и потом на поселение.

VII. Преступников шестого разряда, Верховным уголовным судом осужденных, – к ссылке в каторжную работу на шесть лет и потом на посе-

ление, а именно: отставного полковника Александра Муравьева по уважению совершенного и искреннего раскаяния сослать на житье в Сибирь, не лишая чинов и дворянства, дворянина Люблинского по лишении дворянства сослать в каторжную работу на пять лет и потом на поселение.

VIII. Преступников седьмого разряда, Верховным уголовным судом осужденных, – к ссылке в каторжную работу на четыре года и потом на поселение, а именно: подпоручика Лихарева, подполковника Ентальцова, поручика Лисовского, полковника Тизенгаузена, подпоручика Кривцова, прапорщика Толстого, ротмистра графа Чернышева, поручика Ивана Аврамова, поручика Загорецкого, полковника Поливанова, поручика барона Черкасова, канцеляриста Выгодковского и отставного полковника фон-дер-Бригена по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на два года и потом на поселение, а подполковника Берстеля и поручика графа Булгари по уважению молодости его лет – в крепостную работу на два года.

IX. С преступниками восьмого разряда, Верховным уголовным судом осужденными, – к лишению чинов и дворянства и к ссылке на поселение, а именно: с подпоручиком Андреевым 2-м, подпоручиком Веденяпиным 1-м, действительным статским советником Краснокутским, лейтенантом Чижовым, камер-юнкером князем Голицыным, штабс-капитаном Назимовым, поручиком Бобрищевым-Пушкиным 1-м, подпоручиком Заикиным, капитаном Фурманом, майором князем Шаховским, штабс-капитаном Фохтом, подпоручиком Мозгалевским, поручиком Шахиревым и с полковником Враницким поступить по приговору Верховного уголовного суда, а лейтенанта Бодиско 1-го написать в матросы.

X. Преступников девятого разряда, Верховным уголовным судом осужденных, – к лишению чинов и дворянства и к ссылке в Сибирь, а именно: подпоручика графа Коновницына, отставного штабс-ротмистра Оржичского и подпоручика Кожевникова по лишении чинов и дворянства написать в солдаты в дальние гарнизоны.

XI. С преступником десятого разряда капитаном Пуциным 1-м, осужденным к лишению чинов и дворянства и к написанию в солдаты до выслуги, поступить по приговору суда.

XII. С преступниками одиннадцатого разряда, осужденными Верховным уголовным судом, – к лишению чинов с написанием в солдаты с выслугою, а именно: с мичманом Петром Бестужевым, прапорщиком Веденяпиным 2-м, лейтенантом Вишневым, лейтенантом Мусиным-Пушкиным, лейтенантом Акуловым, подпоручиком Фоком и с подпоручиком Лаппою, поступить по приговору суда, распределив их в дальнейшие гарнизоны, но поручика Цебрикова по важности вредного примера, поданного им присутствием его в толпе бунтовщиков в виду его полка, как недостойного благородного имени, разжаловать в солдаты без выслуги и с лишением дворянства.

XIII. Наконец, участь преступников, здесь не поименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательно постановлению, какое о них в сем суде состоится.

Верховный уголовный суд в полном его присутствии имеет объявить осужденным им преступникам как приговор, в нем состоявшийся, так и пощады, от нас им даруемые, и потом обратиться все к надлежащему, куда следует, исполнению. Правительствующий Сенат, с своей стороны, не оставит доклад Верховного суда и настоящие по оному постановления издавать совокупно во всеобщее известие.

На подлинном
собственною его императорского
величества рукою
подписано тако:
Николай.

Царское Село
10 июля 1826.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРХОВНОГО УГОЛОВНОГО СУДА ОТ 11-го ИЮЛЯ 1826 ГОДА

Верховный уголовный суд, по выслушании высочайшего именного указа, в 10-й день июля сему суду данного положил: поелику XIII-ю статьею сего высочайшего указа его императорское величество всемилоостивейше соизволил участь преступников, в оном непоименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предать решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится, то, сообразуясь с высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленным смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определенных, Верховный уголовный суд по высочайше предоставленной ему власти приговорил вместо мучительной смертной казни четвертованием, Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной, сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить.

Подлинный протокол
за подписанием председателя и членов
Верховного уголовного суда.

**БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ,
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
И ПРОЧΙΑ, И ПРОЧΙΑ, И ПРОЧΙΑ**

Верховный уголовный суд, Манифестом 1 июня сего года составленный для суждения государственных преступников, совершил вверенное ему дело. Приговоры его, на силе законов основанные, смягчив, сколько долг правосудия и государственная безопасность дозволили, обращены нами к надлежащему исполнению и изданы во всеобщее известие.

Таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено; преступники воспрियाли достойную их казнь; Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся.

Обращая последний взор на сии горестные происшествия, обязанностью себе вменяем: на том самом месте, где в первый раз тому ровно семь месяцев среди мгновенного мятежа явилась пред нами тайна зла долготелного, совершить последний долг воспоминания, как жертву очистительную за кровь русскую, за веру, царя и Отечество, на сем самом месте пролиянную, и вместе с тем принести всевышнему торжественную мольбу благодарения. Мы зрели благотворную его десницу, как она расторгла завесу, указала зло, помогла нам истребить его собственным его оружием — туча мятежа взошла как бы для того, чтобы потушить умысел бунта.

Не в свойствах, не в нравах российских был сей умысел. Составленный горстию извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную; но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и будет неприступно. Не посрамится имя русское изменою престола и Отечеству. Напротив, мы видели при сем самом случае новые опыты приверженности, видели как отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили к суду подозреваемых, видели все состояния соединившимися в одной мысли, в одном желании: суда и казни преступникам.

Но усилия злонамеренных, хотя и в тесных пределах заключенные, тем не менее были деятельны. Язва была глубока и по самой сокровенности ее опасна. Мысль, что главным ее предметом, первую целию умыслов была жизнь Александра благословенного, поражала вместе ужасом, омерзением и прискорбием. Другие соображения тревожили и утомляли внимание: надлежало в самых необходимых изысканиях, по крайней возможности щадить, не коснуться, не оскорбить напрасным подозрением невинность. Тот же промысл, коему благоугодно было при самом начале царствования нашего, среди бесчисленных забот и попечений поставить нас на сем пути скорбном и многотрудном, дал нам крепость и силу совершить его. Следственная комиссия в течение пяти месяцев неуспящих трудов деятельностью, разборчивостью, беспристрастием, мерами кроткого убеждения привела самых ожесточенных к смягчению, возбудила их совесть, обратила их к добровольному и чистосердечному признанию. Верховный уголовный суд, объяв дело во всем пространстве государственной его важности, отличив со тщанием все его виды и постепенности, положил оному конец законный.

Так единодушным соединением всех верных сынов Отечества в течение краткого времени укрощено зло, в других нравах неукротимое. Горестные происшествия, смутившие покой России, миновали и, как мы при помощи божией уповаем, миновались навсегда и невозвратно. В сокровенных путях проведения, из среды зла изводящего добро, самые сии происшествия смогут споспешествовать во благое.

Да обратят родители все их внимание на нравственное воспитание детей. Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели

праздность телесных сил, – недостатку твердых познаний должно приписать сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель. Тщетны будут все усилия, все жертвования правительства, если домашнее воспитание не будет приуговлять нравы и содействовать его видам.

Дворянство, ограда престола и чести народной, да станет и на сем поприще, как на всех других, примером всем другим состояниям. Всякий его подвиг к усовершению отечественного, не чужеземного воспитания мы примем с признательностию и удовольствием. Для него отверсты в Отечестве нашем все пути чести и заслуг. Правый суд, воинские силы, разные части внутреннего управления, все требует, все зависит от ревностных и знающих исполнителей.

Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа, где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных: они могут таиться во мраке, но при первом появлении отверженные общим негодованием они сокрушатся силою закона. В сем положении государственного состава каждый может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его хранящего, и спокойный в настоящем может прозирать с надеждою в будущее. Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления. В сем порядке постепенного усовершенствования всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к нам путем законным, для всех отверзтым, всегда будут приняты нами с благоволением: ибо мы не имеем, не можем иметь других желаний, как видеть Отечество наше на самой высшей степени счастья и славы, провидением ему предопределенной.

Наконец, среди сих общих надежд и желаний склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные их члены. Во все продолжение сего дела, сострадая искренно прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом удостоверить их, что в глазах наших союз родства предает потомству славу деяний, предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну: сие запрещает закон гражданский и более еще претит закон христианский.

В Царском Селе, 13 июля 1826

На подлинном подписано
(М.П.) собственною его императорского
величества рукою тако:

Николай

Печатан в Санкт-Петербурге
при Сенате июля 13 дня 1826 года

ПИСЬМО К ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II (из Колокола)

Государь,

Вы приказали напечатать и издать записку, составленную г. Корфом, о восшествии на престол императора Николая. Мы уверены, что и в этом случае ваше намерение было хорошо, но и в этом случае оно вам не удалось.

Прежде чем мы займемся безграмотным текстом, отталкивающим по своему тяжелому, татарскому раболепию, по своему канцелярскому подобию, по своей уничиженной лести, не достойной ни нашего времени, ни вашего царствования, мы решаемся обратиться к вам лично, для того чтоб сказать несколько слов о заговоре, который окончился 14 декабря 1825 года.

Ведь и для него настала история! Неужели с лишком через тридцать лет – об этом событии, о людях, участвовавших в нем, можно еще отзываться с теми же пошлыми ругательствами, с которыми выражались жалкие старики, поседелые в низкопоклонстве и интригах, созданные в какой-то импровизированный суд для осуждения их?

Вместо брани не лучше ли обратиться к тогдашним событиям с серьезной и покойной мыслию и постараться понять их смысл? Не благороднее ли, не великодушнее ли отдать справедливость несчастным противникам, которые вынесли свое поражение и все мрачные его последствия с таким величавым самоотвержением? Месть была страшна, она продолжалась тридцать лет – начав пятью виселицами. Что же теперь вашим стас-секретарям идти за тогдашними палачами и сквернить гробы людей, если и заблуждавшихся, то чистых и пламенно любивших Россию?

Деликатно ли это относительно тех пяти-шести старцев, которых ваша рука возвратила из Сибири? Или вы, может, им предоставили право отвечать? Мы не слыхали этого.

Свобода мысли и гласность еще не много выиграют, если вы одни будете печатать без цензуры. Пора приучаться и вам и России к совершеннейшей, мужественной речи свободных людей.

Вам, государь, известны, больше нас, все подробности заговора 14 декабря, следствия, казни и ссылки. Где же, при каком обстоятельстве показали себя эти люди, как их представляют официальные органы, “гнусными развратниками, буйными безумцами, негодаями, в числе которых одни напились пьяными, для того чтобы идти на площадь, другие имели замечательно отвратительные лица” (и это говорят о раненном на Кавказе Якубовиче!). Неужели вы верите, что эти люди взялись за оружие из буйства, из желанья грабежа, богатства, знатности? Последнее им было не нужно, вы знаете, кто они. Для чего же все эти ругательства и клеветы? Не вы их сделали – зачем же вы их распространяете?

Неужели вы думаете, что история поверит какому-нибудь Корфу – со всеми поправками ваших дядюшек, виртембергского герцога, который во все время опасности сам забился “в голубую гостиную Зимнего дворца” и чадолюбиво взял с собой двух сыновей своих, “хотя в то время взрослых и офицеров”*, Бенкендорфа, присутствовавшего утром при одевании Николая Павловича, а вечером при поимке спасавшихся^{2*}, Орлова, несколько раз отступавшего от геройского каре?^{3*} Нет! И еще больше, наше скептическое время не только им не поверит, но даже и гофшурьерскому журналу, на который ссылается ученый статс-секретарь и который непременно надо запретить, потому что неприлично вести журнал о том, кто как ел и в котором часу.

Потомство не будет смотреть на людей 14 декабря ни глазами гоф- и камершурьеров, ни глазами того – вероятно, портного, который только заметил костюм инсургентов и назвал эту кучку людей, стоявших под пулями и картечью, как настоящий сапожник, – “маскарадом распутства, замысляющим преступление”^{4*}. Придворные риторы не подумали об одном: если это была толпа развратных и буйных шалунов, воспользовавшихся нелепостью импровизированного междуцарствования для того, чтобы пошуметь на площади и через несколько часов рассеяться, – то как же объяснить страх Николая перед 14 декабря, эту *idée fixe* его царствования, которую он не забыл на смертном одре?

Он понимал смысл этого события лучше Корфа. Я удивляюсь, как он мог читать да еще делать поправки в этой брошюре. Ошибки ее не в каком-нибудь выражении, не в какой-нибудь подробности, – ошибка в жалком, ложном, рабском воззрении на события. Мы постараемся в нескольких словах восстановить их смысл.

Царствование Александра I и 14 декабря 1825 г. заключают Петровский период русской истории. Это его крайние последствия со стороны образованной России. Распущенную, рыхлую Русь Петр I суровой рукой стянул в сильное европейское государство; косневшему в своем отчуждении народу он привил брожение западной гражданственности. Непочатые, дремавшие силы народа, возбужденные им, перешли, так сказать, его мечту; государство сложилось мощное и, встретившись в борьбе с целой Европой, вышло из нее победоносно.

Императорская власть сделала свое! “Свершилось”, – говорит поэт-отрок, лицейский ученик, в 1815 году, возвратившемуся из Парижа Александру I:

Русский царь, достиг ты славы цели!

Общество, развившееся на европейских основаниях, должно было сделать свое, иначе дело Петра I было бы вполнину успешно и привело бы к страшной нелепости.

Каждая степень образования, развития, даже силы государственной, требует соответственный себе цикл государственных учреждений. С ка-

* Корф. С. 293.

^{2*} Там же. С. 292.

^{3*} Там же. С. 278–279.

^{4*} Корф. С. 275.

ждым шагом вперед ему нужно больше простора, больше воли, больше определенности в своих отношениях к власти; словом, больше независимой, самобытной и разумной жизни. Или государство ее достигает (с боя ли, по полюбовному ли согласию – все равно), и тогда оно идет далее в истории; или – нет, и тогда оно останавливается, разлагается, распадается и обмирает таким образом до какого-нибудь решительного события (например, Крымской войны), которое снова раскрывает ему путь развития или окончательно убивает его как деятельное, развивающееся государство. Вступив в западное образование, Россия должна была идти тем же путем. Если б у нас весь прогресс совершался *только* в правительстве, мы дали бы миру еще небывалый пример самовластья, вооруженного всем, что выработала свобода; рабства и насилия, поддерживаемого всем, что нашла наука. Это было бы нечто вроде Чингисхана с телеграфами, пароходами, железными дорогами, с Карно и Монжем в штабе, с ружьями Минье и с Конгревовыми ракетами под начальством Батыя.

Каждый, кто сколько-нибудь следил за историей русского развития с начала XVIII столетия, видит даже в самые уродливые эпохи ее, что в обществе поднимаются, бродят живые силы требующие больше чем одного повиновения. Всеобщее отвращение, всеобщее негодование против наглого самовластья Павла, окончившееся таким энергическим протестом, не довольно оценено.

Но где же у нас та среда, которая, стучаясь постоянно в царскую власть, оскорбленная ее неуважением к достоинству лиц, ее всегдашними притязаниями считать Россию за свое поместье и нас за крепостных людей, – могла бы дать действительность оппозиционной мысли? Без сомнения, та среда, которая была всего последовательнее перевороту Петра I, которая одна и приняла западное образование, – дворянство. Оно представляет у нас то меньшинство, которое делает заодно с императорской властью русскую историю, увлекая за собою в продолжение полутора столетий немой и страдательный народ, которого час еще не настал. В нем-то и созрела революционная мысль, вышедшая 14 декабря на площадь.

Когда наши войска возвратились из чужих краев после всех торжеств и упоений, молодым офицерам и вообще образованной молодежи было что-то не по себе. Они переросли колодки плохих государственных учреждений наших. В жизни чувствовалась пустота, тяжесть, чего-то необходимого не доставало. Сам император Александр I чувствовал это больше других; с 1815 года он носил печаль победы на лице, а не ликование ее. Он понял зло и недаром толковал с Карамзиным и Сперанским об уложении, дал Польше конституцию и всенародно говорил, что “желал бы распространить свободные учреждения и на другие народы, вверенные ему богом”. Мысль освобождения крестьян бродила в его голове; он сделал опыт в остзейских провинциях, но, окруженный людьми невежественными, закоснелыми в грубых предрассудках, нисколько не лучше тех, о которых он так резко писал в 1796 году к Кочубею* – без твердой воли, сла-

* См. приложение к брошюре Корфа.

бый, усталый, он, как бы сознавая свое бессилие, впал в мистицизм и оставил все свои земные проекты.

Но оттого, что император Александр I, понимая многое, ничего не умел сделать, неужели можно называть преступлением, что другие понимали то же, но, совсем наоборот ему, считали себя способными сделать многое. Люди эти были прямым ответом на тоску, мучившую новое поколение. “Ну вот мы сильные, победили Европу, сажаем царей, чертим границы, – что же от этого лучше? Узкие рамы жизни, вымеренные по военному артикулу, теснят... Мы освободили мир, а сами остались рабами, управляемыми какой-то кордегардией в Грановитой палате, какой-то немецкой канцелярией с татарским кнутом в руках! Внизу, вверху – все неволя, рабство, грубая, дерзкая сила, бесправие, ни суда, ни голоса, – одна надежда и была – на милость царскую”.

Но чтоб кто-нибудь не слишком увлекся мягкими формами и добротой императора, с каждым годом после войны растет черное *memento servitudinem** – Аракчеев, гадкий, желтый, оскорбительный, на ворохе розог, окруженный трупами засеченных поселенцев. Глядя на него, вспоминался весь ужас положения – подобострастие, военный деспотизм, безмолвие вверху, розги везде... дворовых секут дома, секут в полиции, крестьян сечет барин, сечет управляющий, сечет староста, – люди-вещи, люди-заклады, крепостные серали, продажные семьи, изнасилованные женщины, палками забитые солдаты!..

Государь, у вас человеческое сердце, скажите, положивши руку на грудь, – можно ли это вынести на той степени образования, на которой стояли Пестели, Бесгужевы, Муравьевы? Ну как же их осуждать за то, что они хотели лучше погибнуть, нежели быть страдательными свидетелями этого повсюдного, ежечасного злодейства? Ведь это святейшее чувство любви, круговой поруки с слабыми, заставляет человека предпочесть виселицу – отрицательному сообщничеству – молчанием!

“Но зачем же передельывать насилем, делать заговоры, тайные общества, бунтовать на площади?” Лучше собираться явно и действовать убеждением; об этом и сомнения быть не может. Но беда в том, что в нашем отеческом управлении человек не имеет ни права созвать без карт и вина других людей, ни права вольной речи, цензура убивает слово перед его рождением, а если оно иной раз прорвется, – секретное предписание, жандарм, курьерская тройка и поминай как звали.

Представьте себе самого Иисуса Христа, который бы стал проповедовать где-нибудь на Адмиралтейской площади или в Летнем саду, – тут и до Иуды не дошло бы дело, первый квартальный свел бы его в III отделение, а оттуда отдали бы его в солдаты или еще хуже – послали бы его в Соловецкий монастырь.

Стало быть, о слове, о явном совещании и толковать нечего.

Остается гражданская деятельность. В самодержавном государстве она очень важна, но, благодаря чинам, она также невозможна. Табель о рангах положила такие бревны под ноги, что ни один журавль не пере-

* Помни о рабстве (лат.). – Ред.

шагнет их. Свежего, живого ничего никогда не может взойти в правительство. Сенат, совет, министерства у нас похожи на богадельни для стариков, лет пятьдесят терших ляжку или сидевших в канцелярии, – стариков пустых, легкомысленных, баснословного невежества, без малейшего понятия о государственном деле – вроде тех, которые вам достались от покойного родителя...

Есть страны, например Англия, где старики не так глупы, где они представляют преемственную и вековую мудрость государственную, это маститые защитники прав; народ и правительство привыкли слышать их голос при каждом возможном вопросе, при каждой общественной невзгоде. Таков, например, лорд Линдгорст из живых; это великие легисты, ораторы... а у нас они не умеют двух слов связать, не умеют написать собственного мнения. Книга Корфа, этого юнейшего из старцев, доказывает это очень хорошо. Корфа, вероятно, избрали для составления записки, как бойкое перо... несколько горячее... но бойкое! Неумение выражаться – дело очень важное, оно свидетельствует о неясном понимании, о непривычке к мысли, о том низшем состоянии умственного развития, в котором бывает человек, вышедший из естественной непосредственности и не дошедший до образования.

Мы до того привыкли видеть судьбы России в руках неспособных стариков, получивших места вроде премии от общества застрахования жизни, за продолжительную крепость пищеварения, что нам кажется каким-нибудь чудачком, иностранцем, “чужим между своими” – лицо вроде Мордвинова; да разве он и, еще больше, Сперанский не затерялись бесполезно между седыми детьми, игравшими в звезды и в ленты?

Оставалось одно – в тиши соединить рассеянные силы, дать им организацию, единство с определенной целью обскуживания средств, чем помочь страшному злу, губящему Россию, которое, повторяем с намерением, император Александр I так же понимал, как Бестужевы и Муравьевы.

Общество это, сказано в самом донесении Следственной комиссии и потом повторено в книге Н. Тургенева, сначала имело целью раскрывать злоупотребления, противодействовать им, преследовать кражу и лихоимство, защищать слабых от чиновников, крепостных от помещичьего варварства, солдат от варварства их начальников. Словом, эти страшные люди хотели все то, чего вы желаете теперь и чего вы, государь, точно так же не достигнете при всем вашем самодержавии, как они не достигли при их горячей воле, потому что этого рода зло уступает только звону и свету гласности, только ряду гражданских учреждений, несовместных ни с военным деспотизмом, ни с помещичьим управлением государства.

Побившись бесполезно с юношеской идеей облагородить наши суды, основанные на взятках, нашу полицию, основанную на кулаке, при удушливой ценсуре, при невежестве первых трех классов, при безответственности власти, этим людям приходилось сложить руки с отчаянием или, благословясь, начать самим красть и сечь? Но как ни утаивали от нас, мы знаем сильный и энергический характер этих людей, он просвечивает даже в донесении Следственной комиссии, сквозь всю злонамеренность и подобострастие языка. Такие люди не складывают рук, не

крадут народ; такие люди делают заговоры и идут прямо или на вершину человеческого величия, или в каторжную работу, в обоих случаях резко отмечая свое имя на листах истории.

Тут нет ничего особенного – это судьба воплощения всех практически-социальных идей, принадлежавших сперва развитому меньшинству и переходящих потом в общее сознание народа.

Был ли этот заговор своевременен – доказывает не только единство мнений Александра I, ваше и их о невыносимо дурном управлении нашем, но и невероятное распространение заговора по всему государству – в какие-нибудь семь лет. В нем участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России. После ссылки этих людей температура образования видимо у нас понизилась, меньше ума сделалось в обороте, общество стало пошлее, потеряло возникающее чувство достоинства; с тех пор язык подьячих и манеры кантонистов получили право гражданства в гостиных, в литературе; с тех пор беспорядок и разврат управления дошли до крымского комиссариата, до наглого воровства под глазами двух полиций, в пяти шагах от Зимнего дворца.

День возмущения, 14 декабря, не входил в план петербургского союза, но он был необходим. Преданные каким-то мерзавцам во второй армии, преданные “двадцатилетним юношей, горевшим любовью к отечеству” – Иаковом Ростовцевым, заговорщикам оставалось ждать у себя в комнате “юношу” Иакова, который “в порыве молодого и неопытного энтузиазма” сделал донос, или Бенкендорфа, – и быть ими задушенными, или сделать отчаянный опыт и воспользоваться анархией, царившей тогда во всей правительственной России.

Это было время белой горячки, правительственного бреда; оно подробно описано Корфом и чрезвычайно характеристично. Обыкновенным не верноподданническим, а человеческим умом ничего понять нельзя... Зачем Александр I, сделав акт такой важности, как замена меньшим братом старшего в престолонаследии, держал это под спудом? зачем скрыл от совета, от министров, от людей, окружавших его смертный одр в Таганроге? Зачем потом эта длинная история семейных учтивостей: “Сделайте одолжение, вы вперед!” – “Нет-с, помилуйте, за вами!” Марья Федоровна в отчаянии проливает слезы, Михаил Павлович скачет на курьерских в Варшаву, скачет на курьерских из Варшавы; Николай Павлович присягает Константину Павловичу, Константин Павлович присягает Николаю Павловичу. Все зовут цесаревича в Петербург, а тот руками и ногами уперся в Лазенках и ни с места. Первый пришедший в себя был Михаил Павлович, тот сел себе на станции между Петербургом и Варшавой и пробыл, пока старшие доиграли свою игру.

В этом капризном, сделанном втихомолку распоряжении короной так ясно и видно полнейшее презрение к народу; судьба его считается домашним делом одной семьи, и привычка не ставить *подданных* ни в грош так велика, что сам либеральный Александр I наивно воображал, что Россия его собственность: после смерти раскроют завещание и узнают, *чья* Россия.

Как же было заговорщикам, уже преданным на Юге и в Петербурге, не воспользоваться этой сумятицей отречений, этой тревогой, брошенной в совесть каждого присягающего и не присягающего, этим междоусобицей с двумя императорами? Не одни бедные солдаты потеряли голову, московский генерал-губернатор ведет сенаторов присягать Константину Павловичу по записке Милорадовича, а московский митрополит не хочет принимать присяги, говорит, что все вздор, что у него есть в Успенском соборе свой секрет.

К тому же попытка 14 декабря вовсе не была так безумна, как ее представляют; книга Корфа это доказывает, она не удалась, вот все, что можно сказать, но успех не был безусловно невозможен. Что было бы, если б заговорщики вывели солдат не утром 14, а в полночь, и обложили бы Зимний дворец, где ничего не было готового? Что было бы, если б, не строясь в каре, они утром всеми силами напали бы на дворцовый караул, еще шаткий и неуверенный тогда?

Много ли сил надо было иметь Елизавете I при воцарении, Екатерине II для того, чтоб свергнуть Петра III?

Нет правительства, в котором бы легче сменялось лицо главы, как в военном деспотизме, запрещающем народу мешаться в общественные дела, запрещающем всякую гласность. Кто *первый* овладеет местом, тому и повинуются безмолвная машина с тою же силой и с тем же верно-подданническим усердием.

Но заговорщикам 14 декабря хотелось больше нежели замены одного лица другим, серальный переворот был для них противен, весьма может быть, что они потому-то и не бросились в дворец, а открыто построились на площади, как бы испытывая, с ними ли общественное мнение, с ними ли массы. Они не были с ними, и судьба их была решена!

Верные мысли, которую они представляли, они хотели ограничения самодержавия писанным уложением, хранимым выборными людьми, они хотели разделения властей, признание личных прав; словом, представительное правительство в западном смысле. И вот почему мы считаем царствование Александра I и 14 декабря строгими, прямыми последствиями, крайними звеньями петровского периода, того периода, в котором Россия развивалась под влиянием западной государственной идеи.

С того часа, когда император Николай вечером 14 декабря взшел на лестницу Зимнего дворца и Александра Федоровна, не знаю почему, “приняла его за нового человека”, как говорит Корф, – Россия попятилась и взшла в холодный, неприветный коридор, в длинный, мрачный туннель, в котором едва начинает мерещиться свет, – с дня вашего воцарения, государь!

Император Николай увидел, что с образованием больше идти нельзя, не утратив долю деспотического произвола, и отрекся от него, т.е. не от деспотизма, а от образования.

Общество увидело, что конституционными бечевками не свяжет царскую власть, пока огромное множество народа, безгласно раздавленное, не принимает никакого участия в общественном деле.

Настала пауза – долгая, мучительная, потратившая все наше поколение и еще одно. Эта задержка, это остановленное дыхание, нравственное недоумение мало-помалу стало разрешаться в мысль: *что стихии развития надобно искать в самом народе, а не в перенесении чужих форм.*

Пока мы достигали до этого понимания, в Европе произошли две революции, одна в 1830, другая в 1848 г., все общественные вопросы, все решения еще раз изменились, и нам еще раз достаются даром истины и результаты, до которых западные народы доработались, снова тяжелым путем крови, длинной борьбой и утратой почти приобретенного трудами веков...

На своей больничной койке Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает как единый путь спасения именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат в народном характере, и притом не одной петровской России, а всей русской России.

Поэтому мы думаем, что у нас развитие пойдет иным путем.

...Но неужели оттого, что мы иначе понимаем задачу общественного развития и долею видим причину, почему 14 декабря трудно было утаться, – мы не можем (с какой бы стороны мы ни были) спокойно и с уважением говорить об этих людях, сильных и самоотверженных, вышедших на неровный бой, чтоб заявить начало совершеннолетия России?

Амнистии вашей мало, она пришла слишком поздно, не прощение нужно теперь их памяти, *а примирение и понимание!*

Два года с половиной тому назад, когда вы сели на престол, мы говорили вам: “От вас ждут человеческого сердца... Вы необыкновенно счастливы!”*

И до сих пор еще ждут, вера в вас сохранилась.

Зачем же, опираясь на вас, бездушные льстецы, вроде византийских риториков-отпущенников, льстивших по должности, воспевают напыщенным гоффурьерским языком, неприличным в наше время, царствование, которого вы не продолжаете, бросая оскорбление людям, так беспощадно побитым грозой за то, что слишком верили в Россию, за то, что слишком рано вышли на поле... и запечатлели мученичеством свой подвиг?

Говорят, будто граф Панин ударил в порыве верноподданнического усердия Пугачева, приведенного к нему в цепях. Говорят, что в 1826 году в Следственной комиссии и в *государевом кабинете* подсудимые заговорщики были оскорблены ругательными словами, которых позор долго не сотрется... Неужели тридцать лет спустя в ваше царствование еще раз потревожатся зауценной клеветой великие тени... уже восставшие в памяти рода человеческого отрешенными и от тупой клеветы преследователей, и от собственных ошибок... печальными, но сильными и чистыми прорицателями великих судеб России?..

Мир им, государь, и почтительное благочестие перед былым!

Искандер.

Лондон,
20 сентября 1857.

* “Полярная звезда” за 1855 год.

РАЗБОР КНИГИ КОРФА

Давно ни одна книга не производила на нас такого скорбного впечатления, как книга статс-секретаря барона Корфа*, тем более, что она напечатана по высочайшему повелению. Смех, с которым бы мы встретили подобное сочинение, если б какой-нибудь автор напечатал его самодуrom, смолкает перед этими словами “по высочайшему повелению” и уступает место чувству искренней и тяжелой горести. Как? Правительство, от которого мы ждади улучшений, новых узаконений, понимания России и ее требований, – это правительство разрешает, приказывает печатание книги, которая есть выражение изумительной бездарности и отвратительного раболепия. Для этого приговора нам не приходится придумывать доказательств; мы проследим шаг за шагом сочинение барона Корфа; оно само о себе невольно выскажет те горькие истины, которые мы могли бы сказать о нем. Император Николай знал, что делает, когда “отклонил мысль огласить это описание во всеобщее сведение” не потому, что “истинному величию сопутствует скромность”, а потому, что в наше время уже нельзя печатать подобных книг; в наше время, во-первых, придворная манера выражаться смешна, а, во-вторых, от книги требуется, чтоб она была написана с знанием языка и с смыслом человеческим. Сочинение барона Корфа содержит именно все те условия, по которым нельзя было его напечатать. Автор полагает побудительной причиной для его издания следующее: “Император Николай не нуждается в хвалебных возгласах; но для истории нужны истина и доблестные примеры. Эта цель примирит великую тень с нарушением тайны ее скромности!” Сказано витиевато и даже с знаком восклицания на конце, а цель далеко не достигнута, хотя настоящее издание и дополнено “*двумя или тремя чертами* из записок покойного генерал-адъютанта А.Х. Бенкендорфа и еще некоторыми другими подробностями”.

В предисловии к первому изданию (которое не есть издание, а семейная тайна) автор находит еще побудительною причиною для напечатания своего сочинения то, что “достопамятные события, которыми ознаменовался *период времени* от получения известия о кончине *блаженныя памяти* императора Александра I до истечения дня 14 декабря 1825 года, не имеют до сих пор полного и удовлетворительного описания”. Такие выражения, как “*блаженныя памяти*”, не употребляются между порядоч-

* “Третье издание (*первое для публики*)”. Как будто можно назвать изданием то, что не издано для публики! Что держится в секрете – не есть издание. К чему же эта неуместная выходка поставить на заглавном листе: третье издание? Что это – неуважение к публике, или непонимание слов?

ными людьми; они водятся только у приживалок, у старых дворецких, у недоучившихся Демосфенов-семинаристов*; а в исторической книге подобные выражения смешны. Тон исторической книги несовместен с тоном бурсы и затхлых передних.

Далее автор замечает, что “русские писатели ограничены условиями, сколько необходимой, столько же и благодетельной в общественном нашем устройстве, цензуры”. В этом случае мы не можем согласиться с мнением достопочтенного статс-секретаря; мы полагаем, что цензура в нашем общественном устройстве считается необходимою только теми, которым не хочется, чтобы голос правды доходил до государя, и благодетельна только для сочинителей книг, не выдерживающих критики.

Автор продолжает: “...притом в событиях политических, частные лица знают, *большую частью*, только внешнюю сторону – одни признаки, или видимое проявление предметов, так сказать, только *свое*, тогда как в делах сего рода главный интерес сосредоточивается *часто* на тайных их причинах и на совокупности всех сведений в общей связи”. Что это за бессмыслица! Частные лица *большую частью* знают только *видимое проявление предметов*, так сказать, *свое*. Что такое *проявление предметов*? Да еще не простое, а *видимое*, как будто есть невидимое проявление чего-нибудь? Можно сказать: проявление чего-нибудь невидимого – пожалуй! если это доставляет кому-нибудь удовольствие; а *видимое проявление предметов* – да тут нет смысла человеческого! И это *видимое проявление предметов* для частных лиц – *свое*!

Желали бы мы знать, что автор думал при этом, каким ненормальным путем действует его мозг... В жалкие руки попала история Николая!

Неужели автор думает, что выражения вроде следующих: “воспоминания государя великого князя Михаила Павловича, *положенные* на бумагу”, или: “великая княгиня *изъяснилась*”, или: “государь *благоизволил позвать перед Себя*” – придадут возвышенность слогу? Или он думает такими средствами прибавить что-нибудь к важности царского сана? Напрасно! Это только выражения, напоминающие, как лакеи говорят про барина или барыню *они* вместо *он* или *она*. Это выражения пошлые. Мы никогда не поверим, чтоб император Александр II желал, чтобы с ним – и про него или про августейшее семейство – говорили языком, лишенным простоты, здравого смысла и чувства человеческого достоинства; поэтому-то нас так горестно удивляет высочайшее одобрение книге, от которой веет запахом прихожей.

Но на первый раз довольно о слоге; приступим к делу.

Нельзя было пошлее выставить лицо императора Александра I, лицо без сомнения поэтическое, как то сделал барон Корф. – “*Умиритель* (!)

* Император Николай, осматривая какой-то полк, подошел к фланговому и спросил его, за какое дело он получил крест. Фланговый был из семинаристов, попавших в солдаты за пьянство, и красноречиво отвечал: “Под победоносными орлами вашего императорского величества”. – Николай отвернулся с негодованием и пошел далее недовольный. Генерал, шедший за Николаем, подошел к красноречивому фланговому и, поднося ему кулак под нос, вполголоса, задыхаясь от бешенства, сказал: “В гррррр заколочу Демосфена”.

Европы, утомленный славою величия, разочарованный в мечтах о благодарности и привязанности человеческой, сосредоточился более в самом себе и от помыслов земных воспарил к небесным”. Что за пошло-напыщенная фраза для того, чтоб изобразить мучительный переход к мистицизму человека с искренне-либеральным направлением, который, несмотря на всю самодержавную власть, не может осуществить своих намерений, встречает препятствия, которые ломают его силу, наводят уныние; он страдает, ему надобен исход, и он впадает в мистицизм со всеми его несчастными последствиями бездействия и неприлагаемости к практической жизни. В этом образе человека, изнывающего от внутренних вопросов и внутреннего страдания, в борьбе с обществом, враждебным его идеалам гражданственности, есть поэтический колорит, поэтическое величие. И это высокотрагическое положение барон Корф умел свести на избитую, риторическую фразу о *разочаровании* в благодарности человеческой, *воспарении* к небесным помыслам – фразу, которая годится только для героя дюжинного романа. Жизнь Александра I, несмотря на всю славу двенадцатого года, прошла скорбно. Еще юношей он желал бы отречься от престолонаследия. “Это намерение, – говорит барон Корф, – было ли тогда следствием *минутного раздражения* или плодом романической настроенности, свойственной молодым летам...” Счастливо для памяти Александра I, что его письмо к Кочубею помещено целиком в книге Корфа. Как же господин штатс-секретарь не понял из этого письма, что желание отречься от престола не было у Александра ни минутным раздражением, ни глупой романической настроенностью? Перед ним стояла фаланга екатерининских временщиков, развратных грабителей; вслед за ними шли любимцы Павла I, те же типы, но уже утратившие даже внешний лоск образованности. Наследуя престол, Александр должен был наследовать и этих людей; иерархия чина навязывала их ему в советники, в исполнители его намерений. Не минутное раздражение, не романическая настроенность влекли его удалиться, а живое отвращение благородного человека от среды грубой и бесчестной, в которую он, вступая на престол, должен был войти роковым образом. “Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя лакеями, – пишет Александр, – в наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно...” А барон Корф видит в намерении Александра минутное раздражение или романическую настроенность! Но, впрочем, не мудро, что барону и те люди и тот порядок вещей не кажутся так отвратительными, как они казались Александру I. Такой же порядок вещей прошлое царствование оставило на долю Александра II. Барон Корф вырос, сделался штатс-секретарем в этом порядке вещей и привык к нему.

Александр I сломился в этом порядке вещей и, ударившись, с одной стороны, в мистицизм, с другой стороны, подпал под влияние тех же людей, и во главе управления явился Аракчеев. Но стремление к лучшему порядку, к действительному гражданскому устройству жило не в одной трагической личности Александра I; оно жило и в обществе. В то самое время, когда Аракчеевы тянули государя назад по ложному пути реакции

и ввергали, более и более, государство в тот порядок вещей, который был ненавистен государю, – в то самое время потребности лучшего гражданского устройства росли в обществе и готовилось 14-е Декабря. С глубоким прискорбием, со страхом и трепетом смотрим мы теперь на императора Александра II. Опять личность, исполненная благородства и гуманности, и опять окруженная *оними* людьми и *оним* порядком вещей. Если и его втянуть в ложный путь обратного шествия и вражды с образованностью, если и он подпадет под влияние людей, даровитостью и искренностью подобных автору разбираемой нами книги, – что же будет с Россией? Теперь не времена 14 Декабря, где потребность лучшего гражданского устройства чувствовалась только в высших слоях общества; теперь масса народная жаждет освобождения от помещичьей власти и власти казенных грабителей. Если правительство станет во главе народных потребностей, развитие России совершится спокойно и стройно; если правительство пойдет по пути обратного шествия, или внесет в жгучие вопросы медленность и нерешительность – реки крови польются. Положим, Россия слишком живуча и не погибнет, а добьется своего, но кто же будет виноват в ненужно пролитой крови и в судорожных страданиях России? Конечно, все тот же порядок вещей, все те же люди, которых Александр I не хотел иметь лакеями. Мы смело указываем на них как на врагов отечества.

“Было лето 1819 года”. Наконец, начинается рассказ о престолонаследии. Замечательно, что во всем повествовании барона Корфа господствует пристрастие к подробностям, совершенно неинтересным и равнодушным для истории. Если великий князь командует бригадою, барон не забудет сказать, что она состояла из егерского и Измайловского полка, не забудет сказать, каким плечом вперед шел батальон – левым или правым и т.п. Все эти подробности могут быть интересны для фельдфебелей того времени, а для публики они не только равнодушны, но смешны.

Итак, летом 1819 года император Александр объявил великому князю Николаю Павловичу, что цесаревич Константин отказывается от престола и что наследником престола суждено быть ему – Николаю. Мы охотно верим, что Николай сначала испугался этой мысли. Задача нелегкая. У нас же все члены царской фамилии обычно готовятся не в государственные люди, а в генералы. Военная специальность поглощает их воспитание, несмотря на то, что здравый смысл подсказывает, что война бывает редко, как явление исключительное, а мирное время – обычное состояние народа; что военное ремесло проще гражданского устройства; что генералы всегда найдутся, лишь бы военные школы были хороши, а что цари должны готовиться не для специальности командования бригадой, а для ясного понимания государственных вопросов, вопросов гражданских, вопросов внутренней жизни народа и ее развития. Да! Мы охотно верим, что великий князь Николай Павлович со страхом смотрел на свою трудную будущность; мы в этом не видим ничего особенно хорошего и ничего дурного; этот страх был просто естествен. Но барон Корф, все желая возвысить личность Николая, пускается в объяснения, откуда могла произойти робость перед царской должностью. “До 1818 года, – говорит Корф, – Он (Николай) не имел даже никаких служебных заня-

тий, и все его знакомство со светом ограничивалось впечатлениями, которые уносил он в душе, проводя каждое утро, по часу и более, в *дворцовых передних* или в секретарской комнате, посреди шумного собрания военных и других лиц, которые имели доступ к государю и, до приема, развлекали себя большею частью шутками и насмешками, иногда и интригами". Зачем же ездил Николай на такие нечестивые сборища в дворцовые передни? Обращаемся к беспристрастному суду читателей: мог ли злейший враг сказать что-нибудь хуже об императоре Николае? Вот куда раболепие заводит автора! "Разговор кончился. Государь уехал. Но молодая чета чувствовала то же самое, что мог бы ощущать человек, который идет спокойно по ровной дороге, в прекрасной местности, между цветов, если бы вдруг у него под ногами открылась страшная пропасть и его увлекло бы туда неодолимою силою, так что он не мог бы ни отступить, ни воротиться". За сим подстрочное примечание: "Сравнение это заимствовано в точности из собственноручной записки в *бозе почившего* (!) императора Николая I. То же самое было наблюдаемо везде, где изображаются личные чувства и впечатления Его Величества". Положим, что сравнение императора Николая пропитано высокопоэтическим достоинством; но что такое "то же было наблюдаемо везде, где изображаются личные чувства и впечатления его величества"? Что то же? Сравнение, или ровная дорога, или прекрасная местность, или цветы, или неодолимая сила, или все эти вещи вместе? Что, наконец, то же? К чему оно относится? Хоть бы кто-нибудь сказал барону Корфу, что нельзя начинать писать, не имея понятия о грамматикальном смысле.

Цесаревич уже видел в великом князе Николае Павловиче будущего императора и принимал его в Варшаве с почестями, приводившими его в замешательство. «Великий князь всеми мерами старался от них уклониться и просил освободить его от такого почета, который принимал иногда даже вид насмешливости; старший брат отговаривался шуткою: "Это все оттого, что ты царь Мирликийский!" Прозвище это он с тех пор стал обыкновенно употреблять при именовании Николая Павловича»*. Ну как же барону Корфу было не скрыть этого обстоятельства? Ведь это дает повод к неистощимому смеху; теперь это прозвище в потомстве останется за императором Николаем. Вот результаты книг, писанных бездарными льстецами.

Чтоб положить *официальную* основу делу, цесаревич пишет к Александру письмо (14 января 1822 г.), в котором просим избавить его от престолонаследства. Проект этого письма собственноручно поправлен Александром; но как ни старался умный государь поправить письмо, оно все же осталось документом неимоверного неумения писать. Барон Корф поместил все поправки Александра как будто нарочно, чтобы показать, что без поправки письмо уже из рук вон как плохо. Хотел ли барон выказать этим свое беспристрастие историка или унижить цесаревича в глазах потомства, чтобы легче можно было возвысить Николая, — мы не

* С. 219. В подстрочном примечании объяснено, что это прозвище происходит от святого угодника Николая, чудотворца Мирликийского (от города Мир в Ликии).

знаем... Барон не один раз употребляет этот способ унижения одной личности из членов царского дома в пользу другой, и всегда унижение мертвых в пользу живых.

Зачем отречение Константина оставалось тайною, зачем акт о престолонаследии не был обнародован, – этого барон Корф не может понять; оно и не легко понять. Действительно, мистицизм приводит к бездействию; упование на силы небесные мешаает приводить в порядок дела земные. Жаль, что барон Корф ничего не разведал о разговоре Александра с схимником Алексием. Такой разговор в то время, когда усталъ и мистицизм приводили самого Александра к прежней мысли отречься от престола, – такой разговор мог бы ярко выставить характер Александра и объяснить его действия. Но положимте, что Александр, вследствие мистического настроения, хотел, пока жив, облечь тайной престолонаследие; положимте, что тайна нравилась его фантазии или что он сам внутренне не мог решиться, кому лучше оставить престол; но как объяснить междуцарствие, в котором Константин и Николай присягают друг другу и играют в Россию, как в мячик? Для цесаревича еще было естественно присягать Николаю: он давно свыкся с мыслию, что не он будет царствовать. Но как мог Николай, знавший акт престолонаследия и отращение старшего брата от царского сана, – как мог Николай две недели разыгрывать комедию, которая должна была повергнуть в смуты все государство? Барон, как следует царедворцу, видит в этом великодушие Николая и даже его нежелание наследовать престола; но это великодушие и бескорыстие было бы весьма похвально в деле частной собственности, но в отношении к России – это было преступление, потому что вызывало толки и междоусобие, потому что Россия не удельная отчина. Из самой книги барона Корфа в присяге Николая Константину легко усмотреть, сквозь желание сохранить приличие, – тайную радость обладания престолом. Если б Николай думал, что он идет служить России, а не просто вводится во владение поместьем, если б он не имел в виду скрыть тайную радость обладания престолом, – конечно, он не стал бы заботиться о приличиях и не пожертвовал бы спокойствием государства желанию казаться бескорыстным.

Мудрено предположить, чтобы Николай ничего не знал о существовании манифеста, возводящего его на престол. Из слов Александра он знал, что он наследник; императрица Мария Федоровна, как бы *вскользь* ни говорила ему об акте отречения цесаревича в его пользу, – но все же говорила. О манифесте знали Филарет, Аракчеев, Голицын и еще одно лицо. Филарет, как умный человек, противясь хранению всего дела в тайне, настоял на том, чтобы, кроме собора, манифест был еще храним в совете, синоде и сенате. В публике говорили о присланном акте в эти три присутственные места, хотя и плохо знали его содержание и терялись в соображениях. Неужели только один Николай не знал о присылке акта и не догадывался о его содержании, между тем как ему очень легко было догадаться? Конечно, Николай не мог думать, как барон Корф, что Александр потому медлил составлением манифеста и хотел держать его в тайне, что боялся, чтоб и Николай, подобно Константину, не отказался

от престола; такое предположение должно было бы побудить Александра поспешить составлением манифеста, обязать актом Николая принять престолонаследие, чтобы престол не оставался праздным. Но ни Александр не думал, что Николай откажется, ни Николай не думал отказываться от престола. Если б Николай хотел отказаться, он имел время отказаться и после разговора с Александром, и после приема, сделанного ему цесаревичем в Варшаве, и после разговоров с матерью. Он знал, что Константин отрекся, он знал, что он наследник престола; как же ему было не догадываться, что за акт хранится в соборе, совете, синоде и сенате, акт, на пакете которого написано Александром: распечатать в случае моей смерти?

Мы нисколько не сомневаемся, что скорбь Николая об утрате старшего и любимого им брата была глубока и истинна, что его “оставили последние силы, когда Милорадович объявил ему о кончине Александра, что он упал на стул и в ризнице безмолвно простерся на землю”; но при этой душевной тревоге зачем же была такая поспешность присягать Константину, если не было желания отклонить всякое подозрение в публике о том, что сделаться царем России приятно для сердца? Ложная мысль повлекла за собою все бедственные последствия. Если бы Николай подумал, что публика нисколько не обвинит его за желание царствовать, что она даже сочтет это желание благородным, если он имел в виду благо России, то он никогда бы не решился присягать Константину, зная, что Константин отрекся. Он сам говорит Голицыну, что присягой хотел “уничтожить самую тень сомнения в чистоте своих намерений”. Ради этой ложной мысли, ради этого наружного рыцарства Николай забыл, что дело шло не о чистоте чьих бы то ни было намерений, а о спокойствии государства. Голицын был совершенно прав, укоряя Николая в принесении присяги и расставаясь с ним холодно. Голицын был совершенно прав, не видя, подобно барону Корфу, в этих присяганиях “величественного эпизода, пример борьбы неслыханной” из-за того, кому не царствовать. Если бы можно было предположить, что Николай вовсе не знал отречения Константина, его присяга была бы естественна; но этого предположить нельзя. Сам барон Корф мешает не только этому предположению, но даже и тому предположению, что Николай не знал о существовании манифеста; барону, не знаю ради чего, хочется доказать последнее, а между тем сам же он на 237-й странице своей книги выписывает из журнала Государственного совета следующее: “Его высочество (т.е. великий князь Николай) изволил всему Государственному совету сам изустно подтвердить... что бумаги, ныне читанные в Государственном совете (т.е. манифест о престолонаследии), его высочеству давно известны...” После этого какое же может оставаться сомнение в том, что Николай не только мог догадываться, но совершенно знал, в чем дело? Зная, в чем дело, зачем он присягал Константину? Конечно, все из той же ложной мысли наружного рыцарства. Ему хочется показать, что несмотря ни на какой манифест, если цесаревичу угодно, то он не мешает и становится в ряды верноподданных. Но ведь из всего предыдущего он на-

верно знает, что цесаревичу не угодно царствовать и что все же он, Николай, взойдет на престол. К чему же вся эта комедия, трубящая тревогу по всему государству? Наконец, если уж так важно было придать своему поступку лоск рыцарства, Николай мог прежде всякой присяги отправить к цесаревичу курьера, спросить, угодно или не угодно ему царствовать, и поступить сообразно с его ответом. Тут всего прошло бы шесть-семь дней. Никто бы даже не заметил замедления в присяге, между тем как публичный акт присяги необходимо должен был взволновать умы. Как ни трудится барон представить все эти действия в виде “величественного эпизода”, потомство и история не могут в них найти ничего, кроме неблагоразумия и неискренности. Барон Корф старается бросить подозрение на точность журнала Государственного совета и говорит, что если бы Николай знал манифест, то члены совета не стали *усильной просьбой* просить его прочесть бумаги. Но он мог не знать [текста] манифеста, а знать о его существовании и содержании. Иначе, с чего бы Милорадович сказал в совете, прежде оной *усильной просьбы* его членов, что “великий князь Николай Павлович торжественно отрекся от права, *предоставленного ему упомянутым манифестом*, и первый уже присягнул на подданство его величеству государю императору Константину”? Не может же в журнале совета все быть записано не точно. Барон думает, что журнал совета ошибочен, потому что не был представлен на просмотрение великому князю; а мы так думаем, что он именно потому и верен, что его никто не поправлял. Как ни рассматривай, а все результат один: Николаю хотелось дать огласку рыцарского поступка, который уже поэтому и не рыцарский, что из-за него видна задняя мысль, бесполезность самого поступка и оскорбительное невнимание к судьбам России.

В совете противились чтению манифеста Лобанов-Ростовский и адмирал А.С. Шишков, “с отличавшим его *искусственным жаром*”, — говорит Корф. Нам нет дела до того, что говорил Лобанов-Ростовский; но Шишков был слишком благородное лицо, чтобы мы не сочли долгом заметить, что в такого человека, как Шишков, бросать грязью какому-нибудь Корфу неприлично, и то, что позволили ему это сделать, оскорбительно для всякого честного человека, уважающего людей, искренне служивших отечеству. Мы убеждены, что эту презрительную выходку против заслуженного адмирала позволил не Александр II; эта выходка как-нибудь прокралась из двух прежних изданий книги Корфа, составлявших семейную тайну, и государь ее не заметил.

Мы ничего не скажем о письмах цесаревича, помещенных на страницах 229–231 книги Корфа. Их форма так же плоха, как и в письме к Александру I, их содержание то же: отречение от престола. Мы так уверены в действительности и даже искренности отречения Константина, что понять не можем, из чего Корф выбивается из сил, доказывая то, в чем никто не сомневается. Эта манера чрезмерных доказательств может навести сомнение на неопытного читателя, но мы в ней видим только неумение барона владеть пером и мыслью.

Мнимое рыцарство Николая, как и следовало ожидать, пошло производить всеобщую суматоху. В Москве не знали, кому присягать, и, наконец, несмотря на то, что Филарет был “хранителем светильника под спудом”, присягнули Константину. Великий князь Михаил Павлович приехал в Петербург из Варшавы, привез письма цесаревича, но эти письма оказались недостаточными для воцарения Николая, а кажется, с манифестом, хранившимся в соборе, синоде и сенате, были бы совершенно достаточны. Михаил Павлович скачет опять в Варшаву и остается ждать на дороге; Константин Павлович упирается и не едет в Петербург*; Николай Павлович вступает в управление, пишет князю Волконскому: “...все сношения, нужные с местами, здесь находящимися, прошу делать непосредственно чрез меня”, и не хочет объявить то, что неминуемо придется объявить; он почти не выходит из Зимнего дворца, говорит императрице Марии Федоровне: “Маменька, это еще вопрос, которую из двух жертв должно считать выше: со стороны ли отказывающегося, или со стороны принимающего”; видится с Толем, отправляет его в Варшаву и в тот же день вслед за ним посылает курьера сказать ему, что цесаревич отрекся, как будто не гораздо проще было сказать это при свидании. Все суетится, все скачет, никто не знает, что делать... Какой тут “величественный эпизод”, – это просто ума помрачение. – Наконец, приехал и курьер Белоусов от цесаревича с известием, в котором очевидно, что все замедления объявить манифест покойного государя были лишены всякого смысла. Наконец, Николай стал рассуждать о новом манифесте с Карамзиным, которого достаивал “отлично милостивого внимания”, и поручил написать манифест Сперанскому, наконец, послали и за Михаилом Павловичем, который имел несчастье не встречаться ни с одним курьером и все сидел в Неннале на станции. Таким образом, мы доходим до 14 Декабря.

О тайном обществе, окончившемся этим днем, барон Корф согласно с донесением следственной комиссии говорит: “...еще с 1816 года, по возвращении наших войск из заграничного похода, несколько молодых людей замыслили учредить у нас нечто подобное тем тайным полити-

* Вот что писал по этому поводу сам вел. кн. Константин Павлович императрице Марии Федоровне 8 декабря 1825 г.: “Что касается моего приезда в Петербург, дорогая и добрая Матушка, куда Вы меня приглашаете, я позволю себе очень почтительно обратиться Ваше внимание, дорогая и добрая Матушка, на то, что я нахожусь в жесткой необходимости отложить мой приезд до тех пор, пока все не войдет в должный порядок, так как если бы я приехал теперь же, то это имело бы такой вид, будто бы я водворяю на трон моего брата; он же должен сделать это сам, основываясь в этом на завещательной воле покойного Государя. Я смогу выполнить свой долг и приехать к Вам, дорогая и добрая Матушка, лишь после того как Государь манифестом известит нас о своем восшествии на престол и назначит своего наследника, а также после получения здесь всех законных распоряжений, согласно коих все те, кто доверием покойного Государя вверен здесь моему попечению, могли бы быть приведены к присяге. Благоволите, дорогая и добрая Матушка, побудить Государя отдать необходимые распоряжения, чтобы государственный секретарь по делам Царства Польского сообщил нам так же, как это будет сделано и в отношении русских войск, кому должна быть принесена присяга” (Международствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.: Л., 1926. С 156).

ческим обществам, которые существовали тогда в Германии”. Пора бы изменить эту пошлую точку зрения на исторические происшествия. Таким образом, можно сказать, что и Петр Великий только из подражания вводил в Россию европейскую индустрию; но дело в том, что в России была потребность новой промышленной деятельности. Тайное общество составилось не из одного подражания западным тайным обществам, а потому, что русский ум искал исхода из невыносимого общественного положения. Если бы была гласность, не было бы тайного общества и не было бы заговора. В Англии, например, тайное общество невозможно. Но в государстве, где дела идут скверно, где грабительство и притеснения властей невыносимы и где об общественных нуждах нельзя говорить вслух, всегда явится необходимость говорить о них втайне, а это и ведет к тайным обществам. Заговор возможен только там, где правительство действует заодно с теми людьми, которых Александр I не хотел иметь лакеями и под влияние которых все же подпал. Потому, что он подпал под это влияние, поэтому и был возможен заговор. Александр был усталый мученик между аракчеевским влиянием и собственными убеждениями. Сам барон Корф говорит про него: “Государь смотрел на это гибельное начало (т.е. тайное общество) глазами великодушия, в надежде, вероятно, что самое время исцелит заблуждающихся (т.е. заговорщиков), из числа которых не от одного, по способностям ума и образованию, можно было, при другом направлении, ожидать истинной для государства пользы”. – Иными словами, Александр уважал в людях тайного общества умных, образованных и благородных людей. Но вместо того, чтоб ближе узнать их, он огорчился мыслью, что есть какой-то заговор, впал в мрачность и, наконец, перед смертью испугался и велел арестовать Пестеля. А заговор вырос потому, что государь не выходил из-под аракчеевского влияния. Рассматривая беспристрастно историю России с петровского переворота, можно ясно проследить движение двух элементов: общечеловеческого элемента образования и гражданственности, который составляет основную мысль Петра Великого, который чувствуется в уничтожении смертной казни Елизаветой, более цельно выражается в наказе Екатерины II, по наследству переходит в образ мыслей Александра и людей 14 Декабря; и элемент исключительно немецко-татарский, который роковым образом навязывается Петру Великому в устройстве чиновничества, порождает Бирона, с Петром III переходит в капральство, безумно пыхтит в Павле I, навязывает Александру Аракчеева и с людьми аракчеевской школы, с клейн-михелями достигает высшего выражения в тяжеловесном и удушливом царствовании Николая. Борьба этих двух элементов естественна тем более, что русская народность легко привыкает к общечеловеческому началу, но к немецко-татарскому – никогда. Итак, тайное общество в 1816 году имело корень не в пустом подражании, а в стремлении к развитию в России общечеловеческого элемента, которому мешало пребывание правительства в немецко-татарском направлении. Одна сторона хотела поставить Россию на степень образованного государства; другая хотела низвести ее на степень орды с немецкой бюрократией. Столкновение было неизбежно.

Немецко-татарское начало на этот раз победило; оно в продолжение тридцати лет довело Россию до того беспорядка в делах, что уже далее в этом направлении никакое правительство не может идти, не обанкротившись. Поэтому мы сильно надеемся, что нынешнее правительство, наконец, откажется от немецко-татарского начала и примкнет к общечеловеческому элементу, что государь, наконец, отделается от людей, которых его одноименный предшественник не хотел иметь лакеями; мы также глубоко уверены, что все благородные и образованные люди русские посвятят себя на служение отечеству с тою же искренностью, с тою же горячностью, как и люди 14 Декабря, – может быть, с большей опытностью, с большим знанием положения и потребностей России и с более размеренной силой.

Чтобы лучше объяснить значение тайного общества 14 Декабря, мы покамест оставим в покое книгу барона Корфа и обратимся к разбору донесения следственной комиссии 1826 года этому драгоценному, до сих пор единственному документу того времени. Как ни старалась комиссия исказить дело, все же ее донесение служит великой защитой, великим оправданием, похвальным словом для людей 14 Декабря. Писанное не так, как книга Корфа, т.е. далеко не безграмотно, донесение следственной комиссии есть идеал инквизиторального процесса, где клевета высказана с простотою правды и подобострастие, как всегда отвратительное, не имеет того характера холопского тупоумия, как в книге Корфа. Еще видно, что донесение писано людьми александровской эпохи, т.е. людьми по крайней мере не без внешнего образования*. Конечно, от этого оно становится явлением не менее безотрадным для благородного читателя. Чем хитрее инквизиционный язык, тем он прискорбнее. Видно, как человек, может быть весьма не чуждый тайному обществу, старается смыть с себя перед правительством пятно гражданских помыслов и тем ревностнее становится великим инквизитором; тут уже предчувствуется, до чего николаевское царствование доведет людей русских, то нравственное и умственное падение, которое так резко и наивно выразилось в книге Корфа.

Трудно воссоздать людей 14 Декабря и их действия по донесению комиссии. Во-первых, перед таким следствием и такими следователями, каких назначил император Николай, никто из подсудимых не обязан был говорить правду; нравственная обязанность подсудимых скорее заключалась в том, чтобы не говорить правды, чтобы как-нибудь не вовлечь товарищей в беду. Во-вторых, следователи употребляли пытку, что не редко заставляло подсудимых говорить что ни попало''2*. В-третьих,

* Блудов, впоследствии министр внутренних дел, автор донесения следственной комиссии, говоря в нем, что тайное общество намерено было издавать журнал, которого редактором хотел быть Тургенев, – сам во время оно обещал статьи для этого журнала (*N. Tourguéneff. Mémoires d'un Proscrit. T. 1. С. 166.*) [*Н.Тургенев. Записки изгнанника (фр.). – Ред.*].

2* "...Что положительно известно, – это то, что некоторым подсудимым надевали цепи страшной тяжести, других томили голодом; к иным посылали попов уговаривать их обвинять друг друга; многим сулили прощение, если они сделают признания или показания". "...Заставляли подписывать показания, которых они никогда не делали..." (*N. Tourguéneff. Mémoires d'un Proscrit. T. 1. С. 171.*) [*Н.Тургенев. Записки изгнанника (фр.) – Ред.*].

комиссия просто выдумывала на подсудимых: донесение приводит слова, будто бы ими сказанные, которых они никогда не говорили, или искажает то, что они говорили*.

Хотел ли автор донесения этим только выслужиться или, сверх того, набросить тень вероломства на благородные личности, — это его тайна; в первом он успел, — он выслужился, во втором он не успел, потому что его лжи никто не поверил, и вероломство пало на его голову, возбудив к нему омерзение у всех порядочных людей русских, омерзение, которое навсегда будет вписано в русской истории. Но как бы трудна ни была наша задача, — одно остается очевидно, что, несмотря на все старания следователей и автора донесения, они не могли скрыть ни ума, ни благородства подсудимых.

Мы не можем разделять точку зрения книги Н.И. Тургенева насчет тайных обществ с 1817 по 1825 год и полагать их вовсе не существовавшими; если бы они не существовали, конечно, возмущение 14 Декабря не пришло бы в голову никаким отдельным лицам. Мы не спорим с Тургеневым в том, что тайные общества никогда не достигали никакой положительной цели; не в крутом перевороте и заключается их значение; их значение в том, что они воспитывают общее мнение, и в этом — влияние тайных обществ несомненно, и, конечно, Россия должна считать эру своего гражданского развития с людей 14 Декабря; их влияние не прекращалось, так что, несмотря на всю тяжесть николаевского царствования, не только русское общество сознательно усвоило себе здравые понятия гражданского устройства, но и самое правительство нечувствительно принуждено сближаться с этими понятиями. В истории, как и в целом мире, известные данные необходимо влекут за собой известные результаты; отрицать нравственное влияние тайных обществ значит отрицать очевидность. Мы не друзья крутых переворотов; Западная Европа нам достаточно показала, что они остаются без результата, пока народ не довоспитался до нового гражданского устройства, что народное воспитание совершается только путем реформы, что только то изменение существенно, которое составляет сознательную потребность народную. Но как бы далеки мы ни были от жажды крутых переворотов и преданы идее разумной реформы, все же мы не можем рассматривать мысль цареубийства, вкрадуюся в тайное общество 14 Декабря, как любовь к злодейству его членов. Мы ненавидим и цареубийство, и войну, и казни, и всякое убийство; но мы ищем в истории объяснения ее явлений, необходимую связь происшествий, и не можем взвешивать их ни на вес нашего уважения к жизни человеческой, ни на вес династического интереса донесения комиссии. Мы только можем указать на то, что образование тайного общества и стремление его к изменению государственного устройства, тяготевшего над страной, вытека-

* Таким образом, донесение клевет на одного из благороднейших людей — Никиту Муравьева, будто он говорил против Тургенева то, что он никогда не говорил (*Tourguéneff. La Russie et les Russes. T. 1. С. 205.*) [*Тургенев. Россия и русские (фр.). — Ред.*]. Мы указываем на этот факт, потому что берем его из печатной книги.

ло из самого положения вещей; что при этом мысль царубийства легко могла возникнуть; за этой мыслью не нужно даже было ходить в Европу и искать ее во французской революции и немецких тайных обществах: само правительство приучило Россию хладнокровно смотреть на нее. Тогда еще живо было в памяти не только безнаказанное, но награжденное убийство Петра III и вероломное убийство Иоанна Антоновича; а убийство императора Павла совершилось почти что на глазах людей, участвовавших в заговоре 14 Декабря. Что мудреного, что мысль о царубийстве из дворцовой семейной хроники перешла в тайное общество?

Председателем комиссии был назначен военный министр Татищев. Мы сомневаемся, чтобы этот человек, известный в России за честного и благонамеренного человека, принимал деятельное участие в инквизиционных трудах комиссии; он был назначен, как один из старших генералов, потом удален от министерства, сделан графом и заброшен в Государственный совет. Но все же он был назначен. Крузенштолпе (*Der russische Hof von Peter I bis auf Nicolaus I. T. III. S. 349*)* упоминает о полковнике Татищеве, участвовавшем в заговоре против императора Павла; по списку генералов 1821, по списку 1829 года, изданным правительством, должно заключить, что этот полковник Татищев именно тот, который впоследствии сделался генералом от инфантерии, военным министром и графом. Очевидно, что самого Николая, а следовательно, и выслуживавшегося автора донесения бесила не мысль о царубийстве, но то, что эта мысль явилась не в династическом, дворцовом интересе, а в интересе гражданского развития народа. Вот отчего все следствие и направлено против этой мысли, несмотря на то, что у членов тайного общества, как явствует из самого донесения, не было сделано ни малейшей попытки к ее осуществлению и что на совещаниях общества вопрос решался скорее против, чем за нее. Мы не должны забывать, что поколение людей 14 Декабря не могло не верить в крутые перевороты; они еще не знали 1848 года. Мы не можем ценить их действий с точки зрения нам современного опыта; нравственная оценка людей того времени, как и вообще исторических людей, не может быть основана на истинности современных им понятий, а только на чистоте их побуждений; действовали ли люди из широкого чувства блага общего или из узкого домашнего интереса, – вот различие, на котором зиждется в истории причисление к лику святых или кара вечного позора. Этот позор в деле 14 Декабря ляжет не на казненных, сосланных и измученных, а на казнивших, сославших и мучивших, – начиная от испуганного императора Николая до маленького клеветника Блудова. Он ляжет на тех из деятелей тайного общества, которые, передавшись в противоположное направление, сделали *plus royalistes que le roi* и во главе которых мы поставим Михайлу Муравьева (ныне министр государственных имуществ), о котором Польша до сих пор вспоминает как об изверге и который в России известен изречением: “Я не из тех Муравьевых, которых вешают, но из тех, которые ве-

* “Русский двор от Петра I до Николая I” (нем.). – Ред.

шают". Имена же казненных и замученных остаются в русской памяти светлы незагрязняемы никакими следственными комиссиями и штатс-секретарями.

Из донесения комиссии видно, что первая мысль о тайном обществе принадлежала Александру Муравьеву – брату вышеупомянутого министра государственных имуществ. Положимте, что комиссия не лжет, что Александр Муравьев, как слабый человек, впоследствии отрекся от общества и изъявил при допросах раскаяние в самых униженных, противных выражениях; положимте, что еще позже он сделался губернатором, да и теперь еще, кажется, губернатором в какой-то губернии; но остановимся на вопросе: почему первая мысль о тайном обществе принадлежит Александру Муравьеву? Ответ на этот вопрос покажет, что мысль о тайном обществе не была пустым, случайным подражанием немецким тайным обществам или пустою модою, как то силится доказать донесение комиссии.

Отец Александра Муравьева – Николай Николаевич Муравьев был основателем школы колонновожатых, с ним и окончившейся.

Агроном и математик, человек положительной науки и самого благородного направления, Н.Н. Муравьев образовал в своей школе не только хороших математиков и офицеров, но он образовал благородных людей, живо сочувствовавших европейским идеям гражданской свободы, преданных идее русского развития, людей, которым современное положение России, задавленной крепостным правом, чиновничьим грабительством и аракчеевским направлением правительства, было невыносимо. Память старого Муравьева, этого неутомимого деятеля на поприще русского образования, должна остаться для нас священной. Из его школы вышли лучшие люди того времени и деятельные члены тайного общества. Естественно, что честь основания этого общества принадлежит его сыну, и счастливо, что старый генерал умер, не видав нравственного падения своих сыновей.

К тайному обществу примкнули люди, воспитанные и не в школе Муравьева, – не из моды и подражания, а потому, что круг идей, господствовавших в этой школе, уже распространялся всюду. Не немецкие тайные общества имели влияние на тогдашнее юношество, из них оно могло почерпнуть не более, как внешнюю форму. Главное влияние на умы имела революция 1789 года. Французский язык был более в ходу, чем немецкий; французская история тогдашнего времени носила в себе более живых, общечеловеческих данных, чем немецкая. Идеи революции 1789 года не могли проскользнуть мимо, не оставив глубокого следа. Они принимались не из моды и подражания, а потому, что в них было много горячо понятых истин, которые равно истины и для русского, и для французского, и для всякого человеческого ума. Никто еще – потому, что математика развилась не в России, а в Европе, – не обвинял русских тогдашнего или какого бы времени ни было, что они из моды думают, что прямая линия кратчайший путь между двух точек; точно так же нельзя назвать пустой модой и усвоение нравственных и гражданских идей. Они перенимаются, потому что они общечеловеческие и не могут пройти ми-

мо ума здорового и способного принять истину с горячей преданностью, мимо людей, готовых поставить ее выше всякой личной выгоды.

Кроме муравьевской школы царскосельский лицей был одним из великих рассадников людей, сочувствовавших развитию гражданственности. Самые офицеры во время похода 1814 и 1816 годов не могли не видеть, из-за минутного величия Наполеона, ряд иных государственных понятий и более достойных стремлений к гражданскому развитию, чем то, что они встречали дома. Наконец, и сам император Александр находился в либеральном направлении и способствовал его развитию. Весьма ошибочно было бы думать, что идеи лучшего гражданского устройства были чужды для России; ничто общечеловеческое не может быть чуждым на русской почве; откуда бы оно ни было пересажено, оно найдет элементы для своего развития и выработается, может, в иных формах, чем в Западной Европе, но в формах, конечно, не менее прочных. Да потом, европейские идеи свободы в то время уже вовсе не были так чужды для России, как оно может казаться при поверхностном взгляде. Екатерининское время воспитало в высшем слое русского общества не одни привычки барства; оно внесло понятия философии XVIII столетия, которая нашла сочувствие в нашем образованном меньшинстве; даже мистические общества и мнения, бывшие у нас в ходу в конце прошлого и начале нынешнего столетия, были в либеральном направлении, не говоря уже о том, что французская революция имела сильный отголосок. Можно сказать, что в 1816 году наше образованное меньшинство состояло из людей, внутренне переживших все европейские события и готовых проповедывать понятия нового государственного устройства именно потому, что их ум, усвоив теорию, вышел чист из европейских событий, не подавленный и не искаженный ни бонапартизмом, ни буржуазным началом. Война 1812 года заставила их почувствовать свои силы; они были исполнены одушевления. В таком настроении, наткнувшись в России на старый порядок вещей – рабство, бессудие, грабительство, видя, наконец, шаткость и усталость самого государя, наше образованное меньшинство не могло сидеть сложа руки. Потребность изменений была слишком сильна. Надо было работать для освобождения крепостных, надо было достигать влияния, надо было заместить служебные места порядочными людьми, надо было распространять здоровые понятия изустно и печатно. С этой целью и составилось первое общество. Тут еще не было в виду перемены правительства, но только изменение внутренних государственных учреждений, в надежде даже, что само правительство оценит благонамеренность цели и поможет действиям общества. Самое название *Союза спасения* доказывает, как тогда было тягостно внутреннее положение России. Но общество не могло остановиться при мысли только пропаганды: правительство, не делая никаких изменений к лучшему, все более и более ударялось в реакцию. Александр I, все более и более мучимый мыслью об убийстве отца, в котором был невинным участником, и мистицизмом, и недоверием к людям, решительно подпал под влияние двух лиц, всего менее заслуживавших его благородного доверия, – Аракчеева и Метерниха. Аракчеев мешал ему делать что-ни-

будь для освобождения России; Метерних мешал ему делать что-нибудь для польской свободы, несмотря на то, что из разговоров государя видно было, что его желания либеральны. Александр жил и умер в совершенном противуречии с самим собой; его жизнь еще не раз станет предметом изучения для патолога и психиатра. Но как ни трагична была личность императора, России от этого было не легче, и юное общество не могло не притти к мысли о перемене правительства, потому что с этим правительством уже нельзя было итти вперед. Что в начале составления общества не было мысли о перемене правительства, это очевидно из самого донесения следственной комиссии. “Подвизаться для пользы отечества, способствовать всему полезному, пресекать злоупотребления и стараться усиливать общество” – вот что было его целью вначале, по показанию Сергея Трубецкого. Но потребности развивались тем сильнее, чем неподвижнее стояло государство под влиянием реакции. Через год в обществе высказалась мысль о перемене правительства; этого требовала часть членов общества, другие противуречили. Общество разделилось на две партии: на желавших только *пропаганды* и на желавших перемены правительства. Впоследствии, чем более потребности растут и чем более правительство является реакционным, и это разногласие исчезает, все общество стремится к перемене правительств. Цель одна; разногласие остается только насчет средств. Одни хотят заставить правительство дать конституцию; другие, которые не верят, чтобы можно было понудить к этому правительство, предлагают цареубийство. У всех одно чувство, что России нельзя оставаться в том положении, в котором они ее видят; одна мысль: осуществление в России понятий гражданского благоустройства. Для иных эти понятия сводятся на конституцию и учреждение правильного судопроизводства вместо господствующей анархии власти и неправосудия; Пестель шел далее; его задушевной мыслью было изменение экономического порядка в государстве, изменение земельной собственности так, чтобы все русские были земельными собственниками, чтобы все без исключения участвовали в землевлении и на этом основании пролетариат в России был бы невозможен*.

Вот нить истории общества, как ее можно провести, основываясь на донесении комиссии. Его связь с общей историей государства, необходимость его основания и развития – очевидны. Общество не успело в достижении своей цели; члены его или погибли на виселице, или состарились в ссылке. Но кроме того, что общество не успело в достижении своей цели, из донесения видно, что оно мало или вовсе не верило в успех. Люди, составлявшие его, работали, несмотря на то, что предугадывали свою гибель. “Честь этого дня принадлежит мне”, – говорил при допросе Рылеев о 14 Декабре. “Мы славно умрем”, – говорил 18-летний Александр Одоевский накануне этого дня. Эти люди хотели всенародно заявить мысль русской свободы, зная, что они погибнут, но что, раз всенародно заявленная, эта мысль уже никогда не погибнет.

* *Tourguéneff. Mémoires d'un Proscrit. T. 1. С. 129 и 130. (Тургенев. Записки изгнанника (фр.). – Ред.).*

Теперь рассмотрим отношение следственной комиссии к отдельным лицам. Автор донесения комиссии употребляет клевету, маленькие насмешки, нравственные сентенции, выдумывает или искажает факты, как скоро это ему удобно, так что очень мудрено достоверно сказать, что было и чего не было. Например, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы* настолько известны твердостью характера, что никто не заподозрит их в пустых и лживых показаниях; при допросе о том собрании общества, где была подана мысль о покушении на жизнь императора, Сергей показал, что он помнит на этом собрании только себя. Никиту Муравьева и Пестеля, т.е., очевидно, он назвал только лица, которые уже несомненно были обречены на гибель, и кроме них никого не назвал. Стало, от этого человека мудрено было выпытать какое-нибудь показание ко вреду товарищей. Каким же образом поверить, чтобы подобные люди показывали на Новикова, что он заводил Малороссийское общество, да еще из *видов добывания денег*, и что принятый Новиковым в члены переяславский маршал Лукашевич завел еще новое Малороссийское общество с целью отделить Малороссию от России и присоединить к Польше, и что эти показания основанные на догадках, найдены несправедливыми? Что заключить, встречая в донесении подобное противуречие в поступках такого человека, как Сергей Муравьев-Апостол? Или что следователи его мучили настолько, что заставили говорить вздор, или что он никогда не говорил этого и что это просто ложь, изобретенная автором донесения, чтобы унижить сильные личности Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов и мимоходом очернить Новикова да намекнуть о том, что в планы общества входило распадение государства (что также клевета, потому что конфедерация не есть распадение, а союз). Автор донесения никогда не упускает случая прибегать к подобным средствам для унижения личностей в глазах публики, как бы нелепа ни была выдумка. Такой клевете подвергся в особенности князь Трубецкой. С ним комиссия поступает без всякой церемонии; она не довольствуется тем, что, где только может, высказывает его человеком неспособным; она идет далее, она хочет выказать его вором. “Всякий член общества, – говорит донесение, – должен был вносить в кассу общества 25-ю долю своего годового дохода. Сему правилу, как все согласно показывают, следовали не многие. В Петербурге до 1825 года собрано не более пяти тысяч рублей, которые отданы князю Трубецкому, а им издержаны не на дела тайного общества”. – Какая низкая клевета! Положимте, что Сергей Трубецкой, назначенный диктатором в день 14 Декабря, не умел сладить с обстоятельствами; но если человек не имел способности начальствовать восстанием, из этого еще не следует, чтоб он был способен воровски пользоваться деньгами своих товарищей. Трубецкой был честный человек. Обвинение

* При допросе императором Николаем Сергей Муравьев так резко высказал тягостное положение России, что Николай протянул ему руку и предложил ему помилование, если он впредь ничего против него не предпримет. Сергей Муравьев отказался от всякого помилования, говоря, что он именно и восставал против произвола и потому никакой произвольной пощады не примет.

в растрате пяти тысяч рублей – низкая ложь; я ссылаюсь на всех сверстников и друзей Трубецкого, оставшихся в живых. Но, скажут мне, какое фактическое доказательство я приведу в опровержение этой растраты пяти тысяч рублей? Кроме нравственного убеждения – никакого. Но я спрошу, какое доказательство комиссия приведет в подтверждение этой растраты? Сказать можно безнаказанно всякую клевету, будучи автором донесения следственной комиссии под особым покровительством государя; только стыдно прибегать к таким черненьким средствам, чтобы попасть в приказчики к своему барину.

Сколько должно было быть употреблено ухищрений, выдумок, сбииваний с толку и разных инквизиционных мер при допросах, чтоб заставить говорить Пестеля! Как различить, что в донесении выдуманно на Пестеля, что не выдуманно? Пестель не мог напрашиваться на лишнюю откровенность перед следователями, когда дело шло о товарищах; Пестель ничего не скрывал, когда дело шло о нем самом, он не скрывал своих мнений и при допросах, деланных лично Николаем, и, несмотря ни на выдумки, ни на тщедушную иронию, которыми его награждает донесение, сквозь весь этот туман клеветы он является чистым и сильным человеком. Его спрашивают о его разговоре с Поджио – он не сознается до очной ставки с Поджио, очевидно для того, чтобы не повредить Поджио; если б он думал спасти себя, он отрекся бы и на очной ставке; но тут, видя, что уже нельзя больше повредить Поджио, он подтверждает все, что он говорил с Поджио, но прибавляет, что говорил *“без театральных движений”*. В этом ответе виден весь характер человека – прямой и сильный. Комиссия не поместила бы этого ответа в донесение, если б поняла, насколько он выказывает широкую и благородную натуру.

Не одному Пестелю комиссия навязывает театральные движения, а при каждом удобном и неудобном случае, желая всему делу придать вид нелепости и не замечая, что чем более дело имеет вид нелепости, тем менее правительство имеет причин к казням. Комиссия по доносу Майбороды обвиняет Пестеля, что он, бывши полковником, то ласкал солдат, то вдруг их жестоко и незаслуженно наказывал так, чтобы они думали, что высшее начальство и государь являются причиной излишней строгости. – А отчего же *следственная комиссия*, прежде чем печатать такую гнусную клевету, не спросила солдат пестелева полка – правда ли это? Как же она решилась сказать вслух нелепицу, основываясь только на доносе шпиона? Что в революциях, как на войне, сражающиеся не рассчитывают, сколько крови польется и чья именно, – это еще понятно; но против врагов скованных, подсудимых, находящихся безответно во власти своих судей, употреблять ложь, клевету, шпионские показания – это мелко и отвратительно. И кто же обвиняет Пестеля в преднамеренной жестокости обращения с солдатами? Та комиссия, где заседает генерал Левашов*, который, по свидетельству офицеров того времени, наказывал солдат во вре-

* Впоследствии граф и киевский генерал-губернатор, известный жестокостью и грабительством; он даже, ездив ревизовать губернию, никогда не платил прогонов ни за себя, ни за свиту.

мя своего обеда, т.е. генерал спокойно обедал, а в той же комнате, перед его глазами, по его приказанию поролли несчастного солдата. Конечно, ни один из участвовавших в тайном обществе не употреблял таких средств для возбуждения аппетита; как же комиссия не догадалась, что одним из главных действий тогдашних порядочных офицеров, т.е. более или менее принадлежавших к тайному обществу, было обращение с солдатами противоположное обращению Аракчеевых, Шварцов, Левашовых и тому подобных и что, следственно, никто не поверит ее обвинению в преднамеренной жестокости кого бы то ни было из членов тайного общества. Именно жестокость, начинавшая в то время страшно развиваться в полковых начальствах, и вызвала то противудействие, вследствие которого столько военных участвовало в тайном обществе*. Комиссия везде старается выставить Пестеля хитрым честолюбцем, метящим в Наполеоны. Это она заключает из показаний Поджио (не знаем, насколько они точно переданы комиссией), из того, что Пестель говорил, что временное правительство должно действовать “не менее десяти лет, необходимых для одних предварительных мер”, между тем как в этих словах видно только сознание положения вещей, дальновидности практического человека. Честолюбие выводит комиссия и из ответа Пестеля Рылееву, когда Рылеев говорил, что теперь уже Наполеоном быть нельзя и что даже честолюбцу, для собственной выгоды, должно подражать скорее Вашингтону, а Пестель отвечал: “правда, но если бы и вышел Наполеон, то мы все не будем в проигрыше”. Но эти слова, естественно, объясняются не честолюбием, а следующей мыслью: “Пожалуй, давайте и Наполеона, – хуже того, что теперь, ничего быть не может”. Как комиссия примирит противуречие обвинения в честолюбии и желании овладеть царской властью с крайне республиканским направлением Пестеля, с словами, сказанными Пестелем, когда он уже был арестован, Волконскому: «Не бойтесь, спасайте только мою “Русскую правду”, а я не открою ничего». – Стало, Пестелю дело было не в личном честолюбии, а в осуществлении тех узаконений, того устройства, которые он предполагал учредить в России. Ошибочна ли и неприлагаема была его “Русская правда” или истинна и прилагаема, этого мы не знаем, этот документ в руках правительства и хранится под спудом^{2*}; но и не в том

* В числе осужденных находились 3 генерала, 25 полковых или батальонных командиров и 78 офицеров.

^{2*} Из всей “Русской правды” автор донесения счел за нужное выписать только (чтоб укорить Пестеля в незнании России, в невероятном и смешном невежестве) предполагаемое разделение России на области, в которой Пестель соединяет Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Новгородскую и Тверскую губернии в одну область – *Холмогорскую*; а Архангельскую, Ярославскую, Вологодскую, Костромскую и Пермскую губернии в другую область *Северскую*, или *Северянскую*. – Автора донесения поразило название: Холмогорская область; но если бы он сам знал Россию, то он, вероятно, знал бы, что на этой полосе простираются невысокие холмоподобные хребты (мы советуем г-ну Блудову взглянуть на рельефную карту России, изданную в Петербурге по желанию императора Николая); а зная это, автор донесения понял бы название: Холмогорская область, и понял бы, что географические понятия Пестеля шли далее, чем хозяйственная наслышка о холмогорских коровах в Архангельской губернии.

дело; дело в том, что Пестель считал свою “Русскую правду” полезною для России, отсюда его главная забота – спасти ее, а там, что бы с ним лично ни случилось, – все равно. Кажется, что эта забота обличает не честолюбца и не злодея, как хочет представить комиссия, а героя-гражданина, чего комиссия ужасно боится, что кто-нибудь не угадал.

Хотя бы комиссия ради собственной выгоды разочла, что человек с таким положительным умом, как Пестель, не мог выставлять себя перед товарищами Наполеоном в деле восстания, которое еще не началось и которого начало было сомнительно для самого Пестеля. В 1823 или 1824 году Пестель удержал Муравьева и Бестужева-Рюмина от исполнения возмутить 9 дивизию; это Пестель показывает сам; комиссия спешит сказать, что она этому показанию не верит. Тут комиссия становится совершенно близорука; она хочет смотреть на Пестеля как на злодея, который никак не в состоянии отказаться от мятежа и говорит только так, чтобы оправдаться; но если б она, помимо канцелярской точки зрения, подумала, что Пестель удержал Муравьева и Рюмина, предвидя решительную неудачу предприятия, она увидела бы, что Пестель говорил правду, тем более что из всего следствия не видать, чтобы Пестель когда-нибудь в чем-нибудь считал нужным оправдываться, будучи убежден, что он прав. Это-то убеждение в страшном положении России, в необходимости переворота и, следственно, в правоте заговора, с хладнокровием перед следователями-обвинителями и перед самим допрашивающим императором, и, наконец, геройски-хладнокровное шествие на казнь и составляют величие Пестеля, которого у него отнять комиссии не по силам.

Донесение уверяет, что и Рылеев смотрел на Пестеля как на честолюбца и боялся, чтобы он не сделался Наполеоном. Может быть, что Рылееву когда-нибудь оно и показалось; это было возможно. Пестель и Сергей Муравьев-Апостол были реалисты; как ни мало было надежды на успех восстания, но все же, если уже восстание было решено обществом, то им хотелось, чтобы были приняты действительные меры и чтобы общество, раз приняв их, ни перед чем не останавливалось. Если заговор мог иметь какой-нибудь успех, то только при этом практическом взгляде на вещи. Пестель рассчитывал возможность успеха и неуспеха, средства и ход действий, видел, что без единства действия всего менее возможен успех, и искал диктатуры; Рылеев, может быть, в этом и подозревал честолюбивые замыслы; его вела к этому чистота его республиканизма, боязнь малейшей тени опасности для возникающей русской свободы. Комиссия, конечно, не имела поэтически-гражданского настроения Рылеева и воспользовалась недоразумениями между Северным и Южным обществом только для обвинения Пестеля в честолюбии, а общество – в том, что оно само не знало, чего хотело. О последнем обвинении мы сейчас поговорим, но прежде несколько слов о Рылееве.

Поэт с замечательным талантом, которого развитие прекратила казнь, но которого имя всегда останется в русской литературе, Рылеев был один из самых искренних и деятельных членов тайного общества. Ответ его о 14 Декабре: “Честь этого дня принадлежит мне”, комиссия

передала так: “Я признаю себя главным виновником происшествий 14 Декабря”. Раскаяние, будто бы им обнаруженное, комиссия на него всклепала, как и на многих других, чтобы не показать публике, что эти люди не имели никакого повода к раскаянию*, потому что были убеждены, что цель их – благо отечества, и не разубедились в этом ни перед следственной комиссией ни перед самим допрашивающим императором, ни в рудниках Сибири, ни с петлей на шее. Рылеев, как и все его товарищи, мало надеялся на успех восстания; его “*Войнаровский*” свидетельствует о том, что он ожидал кончить жизнь в ссылке, не предвидя, что император Николай снова введет в русское законодательство смертную казнь, уничтоженную предшествующими законами. Рылеев, как и Пестель, при допросах никого не выдал и не скрывал своих убеждений.

Донесение комиссии много говорит о показаниях Никиты Муравьева; но если оно уже раз оклеветало его в показаниях против Тургенева, как же верить остальному?

Уже одно то, что Юшневский, друг Пестеля, вместе с ним стоявший во главе Южного общества, был также другом Никиты Муравьева, доказывает, что донесение клеветает на Никиту Муравьева. Он и Юшневский в Сибири, после каторжной работы, сами построили избу, в которой жили; к ним приезжали туда высшие сановники Сибири советоваться о делах административных, – так велико было уважение, которым они пользовались; их мнение имело вес и силу. Никита Муравьев умер прежде; Юшневский, который все переносил спокойно, “как должно мужу”, и часто говаривал среди самых трудных обстоятельств: “не знаю, как кому, а мне хорошо”, – Юшневский был глубоко поражен потерей друга. Тело покойника ссыльные товарищи сами снесли хоронить на кладбище, довольно отдаленное от их избы; Юшневский провожал мертвого товарища. Гроб поставили в церкви для отпевания; Юшневский стоял задумчиво возле гроба и сказал, что хорошо бы и ему умереть за другом, наклонился к покойнику и умер.

Нет! Память наших мучеников останется чистою в русской летописи, какие бы клеветы ни взводили на них преследователи. Теперь настает время, когда иные искренние свидетельства обнародуют дела и людей того времени в их настоящем свете. Мы убеждены, что эти искренние свидетельства где-нибудь да хранятся и, наконец, найдут путь ко всеуслышанию. Еще никогда, нигде, никакие тайные полиции не препятствовали истории обнаружиться. Ход общественной жизни всегда возьмет свое.

Комиссии везде хочется показать, что заговорщики сами не знали, чего хотели, что ум их был помрачен или что умысел их был – властолюбие, которое не останавливалось ни пред каким злодейством. Мы не

* Правительство не удовлетворилось этой клеветой в донесении; было пущено в публику рукописное письмо Рылеева к жене, в котором будто бы он изъявляет несноснейшим слогом чувство раскаяния; жена Рылеева *сама говорила*, что она никогда такого письма не получала, что Рылеев никогда не писал его, что, следственно, оно подложное. Напрасно сравнивают царствование Николая с Римским императорством; в Римском императорстве бывали величавые злодейства – в прошлое же царствование злодейство было мелкое и грязное.

станем здесь повторять всей истории заговора. Нить его достаточно ясно выведена комиссией, чтобы каждый легко мог проследить ее в донесении и усмотреть, что – взят ли устав общества из Тугендбунда или придуман самими основателями и членами, – все же этот устав обдуман умно и энергически. Нам только остается отвечать на обвинения следственной комиссии. Донесение говорит, что общество хотело перемены государственных установлений, и эту цель именно донесение и старается выставить с той точки зрения, что люди сами не знают, чего хотят; отсюда и выходит, что иные хотят монархической конституционной формы правления, другие – республиканской. Сверх того, комиссии кажется, что это желание перемены государственных установлений уже само по себе злодейство. Вот смысл, теория всего донесения. Но если мы вспомним, что в то время в России народ, еще недавно так геройски жертвовавший собою в 1812 году, был предан на угнетение помещичьей власти и на разграбление чиновникам; что войско, недавно возвратившееся с кровавой войны, было разграблено и засечено своими начальниками; что суда негде было искать правому человеку; что гласности никакой не было и потому никому полезному мнению не было хода; всякое привилегированное воровство и злодейство оставалось шито и крыто и что сам либеральный государь роковым образом был окружен теми людьми, которых когда-то не хотел бы взять к себе в лакеи, – если мы вспомним все это, то едва ли желание перемены государственных установлений кому-нибудь покажется злодейством. Всякому человеку, который не имеет потребности лгать, оно покажется добродетелью. Очевидно, что тут дело не в властолюбии, а в спасении отечества; не в ниспровержении порядка ради личных выгод, а в водворении гражданского устройства на место немецко-татарского беспорядка – ради блага общего. Если общество 14 Декабря представляет “частных людей (по выражению донесения), своевольно располагающих судьбою правительств и народов”, то не надо забывать, что целью этих своенравных намерений было благо народа и что они возникли потому, что правительство с своею администрациею, также составленное из частных людей (по крайней мере, до сих пор была возможна только общая мысль, а общего человека никто не встречал с сотворения мира), своевольно располагало судьбою народа, заставляя его невыносимо страдать от немецко-татарского беспорядка.

Что общество желало то конституции, то республики – это не доказывает, чтобы оно не знало, чего хотело. Донесение старается перепутать разговоры между отдельными членами, беседы на каких-нибудь вечеринках, рассуждения о разных формах правления с действительными, определенными на нарочно собранных совещаниях, положениями общества о его целях, предприятиях и способах действия. Отбросив эту путаницу, цель и действия общества определяются весьма ясно. Общество хотело перемены государственных постановлений и прежде всего положило, чтобы члены распространяли его мнения, т.е. образовало пропаганду. Рядом с этим, так как большая часть образованных людей того времени вступала в военную службу, общество положило, если нельзя иначе, то силою войска понудить правительство принять конституцию и

дать возможность устроить иные административные и судебные учреждения в государстве. Если же правительство не согласится, то свергнуть его во что бы ни стало и водворить новый порядок – но тогда уже республиканский. Какой из этих двух результатов будет достигнут – обществу было неизвестно, как вообще неизвестна будущность. Общество разделилось на верящих, что правительство примет конституцию, и на неверящих, т.е. на северный отдел общества и на южный; но их размолвка была мнимая, цель оставалась одна; от этого, как скоро на севере убедились, что правительство никак не примет конституции, то общество воспользовалось первым предлогом к восстанию. Это еще не значит, чтоб люди не знали, чего хотят.

Ясно, что общество хотело перемены государственных учреждений, потому что положение государства было невыносимо. Ясно, что общество хотело достичь цели, следственно, хотело, чтобы его предприятия имели успех. Но общество очень хорошо знало, что оно составляет весьма небольшое меньшинство, и потому могло рассчитывать только на вероятный, но не на верный успех. Поэтому общество решалось действовать, каков бы результат ни вышел, будучи убеждено, что если оно и погибнет, то все же потребность России освободиться от немецко-татарских учреждений будет всенародно заявлена. Это чувство, эту мысль можно вывести из помещенных в донесении разговоров и писем; эта мысль везде встречается в литературе того времени; она дышит в каждой строке стихотворений Рылеева.

Самое возмущение 14 Декабря доказывает справедливость нашего взгляда. Все соединилось, чтобы заставить общество действовать: его собственное развитие, усиливающийся произвол внутреннего и военного управления в государстве, смерть Александра, междуцарствие и даже доносы на общество. Оно чувствовало, что с Александром вконец исчезнут все, уже и так угасавшие искры либеральных побуждений в правительстве, следственно, надо было что-нибудь предпринять. Николай был слишком известен в войске грубостью обращения с офицерами, манией разводов и учений, не уступавшей той же мании императора Павла; ждать от него какого-нибудь человеческого направления было нельзя, – надо было что-нибудь предпринять. Чего лучше, как противопоставить Николаю Константина, принудить того или другого дать конституцию или отстранить обоих и учредить республиканское ли, или ограниченное монархическое правление – все равно, лишь бы *иное*, потому что хуже того, которое было, быть не могло. А если возмущение не удастся, по крайней мере мысль освобождения от правительственного произвола, потребность гражданского порядка будет заявлена. На этих основаниях 14-е Декабря было решено.

Донысы хотя частью и подстрекнули общество к действию, но они не могли быть главной побудительной причиной поспешить восстанием. Доносы произвели бы частные аресты, пострадали бы отдельные лица, но общество осталось бы. Из арестованных в Тульчине, никто бы не сообщил правительству столько сведений, чтобы оно могло уничтожить общество. К тому же в Северном обществе еще не знали об аресте

Пестеля, а о доносе Ростовцева, как видно из донесения комиссии, на совещаниях общества упоминается в первый раз только вечером 13 декабря, между тем как восстание было решено уже за *несколько* дней до 14 Декабря, иначе комиссия не сказала бы: “...их совещания в *сии последние* дни представляли странную смесь зверства и легкомысленной буйной непокорности к властям законным и слепого повиновения неизвестному начальству, будто бы ими избранному”.

Не говоря о том, что эта фраза донесения, в переводе на человеческий язык, значит, что люди были исполнены одушевления и преданности делу, в пользу которого не сомневались, – мы укажем на то, что отсюда очевидно, что восстание было решено не вследствие доносов на общество, как то намекает донесение и повторяют многие, а вследствие междуцарствия, изобретенного Николаем, чтобы доказать свое сомнительное бескорыстие и несомненное непонимание в государственном деле.

Доносчиков на тайное общество было четверо: Шервуд, Майборода, Комаров и Ростовцев. Мы говорим четверо, а не пятеро, потому что генерал-лейтенант Витт не заслуживает этого названия; он не был товарищем участников тайного общества, он никому не изменял, он был просто русский генерал из немцев, да и безымянный агент, которому он поручил подсматривать за обществом, кажется, ничего не подсмотрел и ничего не донес. Но те четверо вполне заслуживают имени доносчиков, и нам бы очень хотелось сказать о них что-нибудь подробное, но, к сожалению, источников у нас мало. Шервуд и Майборода, как видно из донесения, изменив обществу, предложили правительству остаться при обществе шпионами. Что после вышло из Майбороды – нам вовсе не известно. Шервуд, которого император Николай произвел в дворяне и назвал “*верным*”, был после на службе экзекутором в Государственном совете и там, за *деньги*, украл какой-то документ, в чем был уличен по суду и сослан. Комаров (на лице которого Якушкин видел, что он изменяет) впоследствии был губернатором в Симбирске, где о нем еще и теперь иногда вспоминают как об одном из самых скверных губернаторов; выбыл оттуда вследствие грязной ссоры с жандармским полковником: шпионством погрешивший, шпионом и наказан. Но с Ростовцевым вышло еще хуже: он попал в книгу Корфа, где так велеречиво расписан, что от такого позора ему уже никогда не оправиться. “Благородный двадцатилетний юноша, горевший любовью к отечеству и преданный великому князю (по словам Корфа), в *порыве молодого неопытного энтузиазма* предложил для себя трудную задачу: спасти вместе – хотя бы ценою собственной жизни – и отечество, и монарха”, т.е. это на простом языке значит: не подвергая жизнь свою ни малейшей опасности, сделать донос. За сим следует письмо Ростовцева к Николаю: “...думая, что люди, вас окружающие, не имеют довольно смелости, чтобы быть откровенными с вами...” Откуда же такая мысль г-на Иакова Ростовцева? Разве нужна какая-нибудь смелость для того, чтоб сказать великому князю: берегитесь, есть заговор? На такую смелость всякий трус способен. “Не почитайте меня коварным доносчиком, не думайте, чтоб я был чьим-либо орудием или действовал из подлых видов моей личности, – нет. С чистою сове-

стью я пришел говорить вам правду”. – Какую же это правду? Подумаешь, что Ростовцев станет говорить о бедственном положении России, о необходимости лучших учреждений; совсем нет. Ростовцев говорит только, во-первых, что Николай Павлович великий человек*, потому что отказывается от престола; во-вторых, что готовится бунт, вследствие которого Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша и Литва отпадут от России; в-третьих, что надо, чтобы Константин Павлович сам приехал провозгласить Николая императором; в-четвертых, доносчик просит казнить его, если его поступок дерзок; в-пятых, просит: “... не награждайте меня ничем; пусть останусь я бескорыстен и благороден в глазах ваших и моих собственных!”; шестое: “Об одном только дерзаю просить вас – прикажите меня арестовать”. – Ловко! Тут все есть – и лесть и бескорыстие. Странно немного, что человек, который думает, что в его поступке может быть что-нибудь достойное казни, через две строки просит, чтоб его ничем не награждали, и вслед за этим просит ареста. Очевидно, что арестовать было не за что; но в арестантской комнате бывает так тихо, что лучше и желать нечего. Разумеется, прочитав письмо, Николай Павлович позвал Ростовцева, обнял его и сказал ему: “такой правды я не слыхивал никогда”. Что при этом Николай Павлович и Ростовцев понимали под словом *правда*, – этого решительно не поймет никто из обыкновенных смертных. Далее Николай Павлович сказал Ростовцеву: “Может быть ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благородству, – и не называй!” Мы бы искренно хотели видеть в этом благородную черту Николая, но нам мешает то, что в тот же день, 12 декабря, в 6 часов утра, он уже получил от Дибича донесение о заговоре и в присутствии Милорадовича и Голицына решился арестовать поименованных в донесении заговорщиков (см. книгу Корфа, с. 251). Стало, что же сказать об этой выходке?.. «Далее Николай Павлович сказал Ростовцеву: “Но если разум человеческий слаб, если воля всевышнего назначит иначе и мне нужно погибнуть, то у меня *шпага с темляком: это вывеска благородного человека*”(!!)». За сим Ростовцев сказал ему: “Ваше высочество – это личность. Вы думаете о собственной славе и забываете Россию...” В этом случае Ростовцев сказал, конечно, что-то похожее на правду. Потом Николай Павлович сказал: “ежели нужно умереть, то мы умрем вместе”. За сим Николай Павлович и Ростовцев обнялись и прослезились. 13 декабря не уединенный под арест Ростовцев после обеда дал копию своего письма и записку о разговоре с государем своему товарищу, при Рылееве, т.е. дал копию с доноса заговорщикам, на которых доносил, чтобы таким образом совершенно разыграть роль благородного человека. Здесь мы должны заметить историческую разницу: незабвенный Иуда Искариотский предал Христа после трапезы, а Ростовцев прежде донес на товарища, а потом с ним

* Это нам напоминает Ш. Дюпена, который говорил Луи-Филиппу: “Я мужик, я вам не стану льстить, как другие; я вам просто скажу, что вы величайший человек нашей эпохи”. Теперь этот откровенный человек, душеприказчик и друг Луи-Филиппа, принялся так же откровенно служить Наполеону III. Для этих людей что ни монарх – то и великий человек, что ни поп – то батька.

пообедал. Далее... далее – просто Яков Ростовцев сделался генерал-адъютантом (что надо было ожидать) и Иаковом (чего уже никто не ожидал).

Каким образом Корф помирит то, что на 251-й странице он говорит, что Николай решил арестовать *поименованных* в донесении Дибича заговорщиков, а на 256-й странице: “Ростовцев никого, однакоже, не указал; никого не назвал по имени, а *розыскания* графа Милорадовича *остались совершенно бесплодными*”? Тут есть что-то непонятное, по крайней мере, столько же противного здравому смыслу, как и само междуцарствие, как и то, что Николай в своем манифесте говорит, что он присягал Константину, “дабы отклонить любезное отечество от малейшей, даже и мгновенной неизвестности о законном его государе”, между тем как именно это присягание и повергло отечество в неизвестность о законном его государе. Далее в манифесте, упомянув об актах, присланных Константином, Николай говорит: “*Сколь ни положительны сии акты... мы признали однакоже... положению дела сходственным, приостановиться возвещением оных...*” Почему же это? Где тут здравый смысл?.. Удивительно! Не менее удивительно вечернее заседание Государственного совета с 13 на 14 декабря. Почему Николай хочет явиться в совет непременно с Михаилом Павловичем, которого нет в Петербурге, теряет время и заставляет старческое собрание ждать до позднего часа? Все дело так ясно, что без всякого Михаила Павловича могло быть покончено в полчаса; а Николай ждет и насилу решается идти в совет, обняв прежде обеих императриц. Досуг тут было государственному человеку разыгрывать чувствительные сцены, которые больше смешны, чем чувствительны. И чего же Николай боялся идти один в совет? Ждал ли какого сопротивления от членов совета? Он без сомнения знал, что и все это заседание только государственный формализм, к которому присутствие Михаила Павловича ничего бы не прибавило. В совете Николай опять разыгрывает ту же таинственность, велит читать вслух объявление Константина и потом прячет его к себе в карман, “не велев давать ему гласности, собственно по причине особенно сильных и даже резких его выражений”. Если Корф счел нужным сказать это (с. 260), по крайней мере он бы не должен был печатать в своей книге объявления Константина, прочитав которое каждый увидит, что в нем никаких сильных и резких выражений нет, а что, напротив того, это объявление Константина написано так, что из уважения к памяти цесаревича не худо было его истребить или хотя назвать Демосфена-семинариста, сочинявшего объявление, чтобы никто не подумал, что оно сочинено самим цесаревичем. – Как мог Николай, имея в руках все нужные акты, получив в 6 часов утра донесение о заговоре, ждать целый день Михаила Павловича и сидеть с императрицами, вместо того чтоб тотчас же собрать совет и тотчас же привести гвардию к присяге? Для публики это останется совершенно непонятным, и напрасно мы стали бы отыскивать во всем этом какого-нибудь сокровенного смысла; тут просто отсутствие всякого смысла – и только. Тут столько же смысла, как и в том, что в письме к Волконскому, от того же 12 декабря, император Николай говорит: “я начинаю делаться *прозрачным*”. Что такое значит? Что разумеется под

этим словом Николай? То ли, что он похудел? То ли, что дела пришли в такое положение, что всякому становилось насквозь видно все нелепое комедианство нежелания вступить на престол? Или что другое?.. Этого никто не решит. Барон Модест Корф, конечно, понимает смысл этого слова, иначе он бы его не выписал с таким многоуважением; но, к сожалению, барон всякий раз забывает объяснять поэтические выражения забывенного; таким образом, *прозрачность* Николая и *гранитное чувство долга* Преображенского полка навсегда останутся непонятными для публики.

В ночном заседании совета Николай занимал председательское место; Корф называет эту ночь “началом новой эры в нашем бытописании”, потому что Николай после уже никогда не садился на председательском месте, а всегда напротив председательского места по левую сторону возле докладчика. Странная причина новой эры для России!

“Из совета государь возвратился в свои комнаты; там его ожидали, в молитве, родительница и супруга. Был час ночи, следственно, уже начало понедельника, что многие сочли дурным предзнаменованием для первого дня царствования”. – Какие интересные подробности! К сожалению, биограф в этих подробностях, не развив ни одного характера, развил только картину какой-то странной жизни, где нет ни силы, ни мысли. А кто эти многие, веровавшие в дурное влияние понедельника? Штатс-секретари или камердинеры? Жаль, что Корф никого не назвал; по крайней мере мы бы увидели степень образованности тогдашнего придворного штата.

За сим следует письмо Николая к Константину; Николай просит брата быть ему наставником на пути многотрудном. Признаемся, что хотя письмо сочинял Сперанский, но эта фраза поражает неискренностью, и после объявления с сильными и резкими выражениями трудно было просить Константина быть наставником на пути многотрудном. Вдобавок Николай – и помимо знаменитого объявления – очень хорошо знал, что такое старший брат; знал, что во время молодости цесаревича Екатерина писала про него Павлу, что если он не уйдет сына, то она вынуждена будет исключить его из августейшего семейства, как позорящего своим поведением дом Романовых; знал Николай и то, что Александр устранял Константина от престолонаследия по его неспособности к государственным делам. К чему же в письме к Константину это ненужное лицемерие, доходящее до смешного? Чувствительное послание к великой княгине Марье Павловне еще страннее; никто не поверит, чтобы Николай считал для себя таким огромным несчастьем восшествие на престол. Все его царствование, занятое исключительно династическим интересом и боязнью какого-нибудь развития гражданственности, противуречит этому чтению себя “жертвой воли божьей и двух братьев”. Такая ненужная неискренность ужасно противна.

“Державная чета отошла к покою, и – сон ее был безмятежен: с чистотою перед богом совестью (точно кто-нибудь обвиняет державную чету в преступлении!) она предала себя, от глубины души, его неисповедимо-му промыслу.

Наступило 14 Декабря”.

Очень красноречиво! Но теперь и мы приступим к 14 Декабря, то есть рассмотрим, как оно рассказано в донесении следственной комиссии и в книге Корфа.

Из рассказа Корфа можно почти заподозрить Милорадовича в принадлежности к тайному обществу. По крайней мере он старается опрокинуть на него вину, что никто из заговорщиков не был схвачен, ни даже замечен. Но ведь были заговорщики поименованы и в донесении Дибича; кто же мешал Николаю велеть их арестовать? Кто мешал Николаю велеть читать манифест перед обедней 14 Декабря, а не после обедни (в чем Милорадович уже, конечно, не виноват, да и едва ли это имело такую важность, как полагает Корф)? Кто мешал ему поручить наблюдение за печатанием, раздачею и продажею манифеста умному человеку? Кто, наконец, мешал ему сделать что-нибудь энергичное и благоразумное с 6-ти часов утра 12 декабря, вместо того чтоб проводить время в ожидании Михаила Павловича? С шести часов утра 12 декабря и до того времени, когда генерал Нейдгардт посоветовал Николаю послать Преображенский полк против взбунтовавшихся, прошло более двух суток.

Но, наконец, приехал и Михаил Павлович, наконец, и сам государь, “в мундире Измайловского полка, с лентою через плечо, спустился к главной дворцовой гауптвахте” и приказал Апраксину привести кавалергардский полк, а Войнову итти к войскам. Зачем тут Корф мимоходом называет Войнова дураком – это непостижимо*, в его книге подобная выходка так неприлична, что мы удивляемся, как ему позволили печатно оскорбить старого генерала без всякой нужды. Потом Николай сам повел дивизион к главным воротам дворца “левым плечом вперед”, читал народу манифест и целовался с ближайшими из окружающих, “так сказать лежавшими у него на груди”, из которых один был Лука Чесноков. Народ принимал его с криками “ура”. Мы нисколько не сомневаемся, что народ на дворцовой площади принимал Николая с теми же криками “ура”, как на Сенатской площади кричал “ура” Константину. Народ в этом случае не имел никакого мнения; законность присяги интересовала только войско, для которого идея присяги и знамени имеет значение. Народу было совершенно все равно, кто будет царем; он согласовался с тем, что было у него перед глазами: на Сенатской площади с заговорщиками, на дворцовой площади с Николаем. Мы еще будем иметь случай объяснить это явление. Теперь укажем только на разницу, которую полагает Корф между народом на дворцовой и народом на Сенатской площади, между солдатами бунтующего Московского полка и солдатами, например, Преображенского батальона, составлявшего “семью” императора Николая. Народ на дворцовой площади – это *любопытствующий* народ, который хватает государя за фалды мундира и целует ему ноги, выказывая *врожденную русскому народу царелюбовость*; солдаты Прео-

* “...второму (т.е. Войнову) – человеку почтенному по храбрости, но ограниченному и не успевшему приобрести никакого веса в гвардейском корпусе – строго припомнил (т.е. Николай), что место его среди вышедших из повиновения войск...” (книга Корфа, с. 267).

браженского полка представляют *гранитное выражение глубокого чувства долга**. Совсем другое бунтовавшая толпа. “Тут были лица, каких никогда не видать в Петербурге, по крайней мере массаи; старинные, фризковые шинели с множеством откидных воротников; шинели гражданские, порядочные, и при них на головах мужицкие шапки; полушубки при круглых шляпах; белые полотенца вместо кушаков и тому подобное – целый маскарад распутства, замышляющего преступление”... и “стоявшая вокруг *чернь*”. – “Солдаты, расстегнутые, с заваленными на затылок киверами, в амуниции беспорядочно накинута, были большею частью пьяны. – Все это оглашало воздух дикими воплями, бессмысленным говором, посреди которого слышался иногда явственный крик: “ура Константин!” – “Два или три унтер-офицера беспрестанно отгоняли народ от колонны и говорили, что если уже пришлось умирать, так пусть умрут одни они, москвцы, а народу не к чему лезть на смерть”. – Итак, тот же русский народ на дворцовой площади – любопытствующий народ, а на Сенатской площади – чернь и лица, каких не видать в Петербурге, и фризковые шинели (без сомнения, принадлежавшие народу), и маскарад распутства, замышляющего преступление!.. Кто бы мог подумать, что люди, массою идущие на смерть, составляют маскарад распутства? Как г-н штатс-секретарь ни старается, но эта масса не будет гадка ни в чьих глазах; гадок только его рассказ о ней, тем более что уже прошло тридцать лет, как эта масса была на площади, пора бы утихнуть тупоумной ненависти и у тех людей, у которых она могла быть сгоряча; а у господина Корфа этой ненависти и не бывало; его слова – не выражение действительной раздраженности, это язык подслуживанья, которого цель – орденская лента или место по службе и которому средства для достижения этой почтенной цели все равны, как бы жалки ни были; это язык лести и раболепия, это язык клеветника и холопа, это язык позорный.

Солдаты, по рассказу Корфа, были пьяны!.. Однако время было утреннее, кабаки были закрыты и не были разбиты, несмотря на предложение Якубовича, откуда же солдаты могли взять вина? Если Кожевников показал на себя – ради облегчительного обстоятельства, – что он был пьян (да еще, полно, показал ли он это?), из этого не следует, чтобы все остальные были пьяны. Пора отбросить эту гнусную клевету. Не при таких переворотах напиваются люди, когда выходят на площадь из-за убеждения; это привычка переворотов домашних. Так, Петр III был убит людьми пьяными^{2*}; так, Пален напоил у себя целую ватагу, отправляющуюся задушить Павла I^{3*}; а кто выходит с оружием на площадь, у того

* “Моя семья” и “гранитное выражение” – слова самого императора Николая о Преображенском полку.

^{2*} Это доказывают записки Е.Р. Дашковой, где она, между прочим, говорит и о письме Орлова, извещающем Екатерину о смерти Петра III, написанном в нетрезвом состоянии. (Смотри книжку 3-ю “Полярной звезды”, с. 241).

^{3*} Пален объявил заговорщикам, что и великий князь Александр Павлович одобряет их намерение. Этого было достаточно, чтобы рассеять сомнения большею частью пьяных и разгоряченных людей и вызвать их бурное согласие... (*Crusenstolpe. Der russische Hof.* Т. III. С. 356). [*Крузенитольпе. Русский двор (нем.). – Ред.*].

бывает иное одушевление, для которого вина не нужно. Даже и то обстоятельство, что солдаты отстраняли народ, говоря, что они одни умрут за него и что ему не надо лезть на смерть, – даже и это Корф хочет представить в смешном или унижительном виде. А эта черта едва ли покажется смешной кому-нибудь из обыкновенных людей, которые еще не сделали штатс-секретарями и не писали подобострастных книг, а просто остались способными уважать всякое благородно-человеческое чувство, хотя бы и у бунтующего солдата.

Донесение следственной комиссии нигде не говорит, чтобы бунтовавшие солдаты или их начальники были пьяны; оно еще не достигло высоты слога барона Корфа и, не упоминая о *маскараде распутства*, говорит просто, что к мяжетникам “пристало несколько человек во фраках, с кинжалами, пистолетами, саблями”, хотя и эти фраки, судя по времени года, очень сомнительны; вероятно, это просто значит – не в военных мундирах, а в обыкновенном одеянии. Газеты того времени употребили выражение: “к ним (т.е. к бунтовавшим солдатам) пристало несколько человек *гнусного вида*, во фраках”. Из этого видно, что правительство не жалело грязной краски, чтоб запачкать восстание; тогда правительство и его агенты и журналисты были раздражены; Корф, как мы уже заметили, имеет над ними то преимущество, что через тридцать лет хладнокровно подлаживается под тот же грязный колорит.

“В рядах мелькали, – говорит Корф со слов очевидца, – по временам Александр Бестужев, Рылеев и несколько других лиц в упомянутых фантастических нарядах”. Верховный уголовный суд прямо указывает на Рылеева как на участвовавшего в мятеже на площади. Отчего же в донесении следственной комиссии мы находим следующее: «Рылеев... отвечал: “если придет хоть пятьдесят человек, то я становлюсь в ряды с ними”, – и *однакож не сдержал слова*»? Из этого следовало бы, что Рылеев не был на площади. Странно, что Корф забыл повторить эту клевету донесения и, напротив того, опровергает ее свидетельством очевидца.

Рассказ донесения и рассказ Корфа сходны, кроме этих двух пунктов, т.е. пьяного состояния мятежников, где клеветает Корф, а не донесение, и отсутствия Рылеева на площади, где клеветает донесение, а не Корф. Главная разница между ними заключается в подробностях и происходит от различия их целей. Цель донесения – показать, что делали возмутившиеся; оно и старается подробно рассказать их действия и назвать каждого из деятелей по имени; цель Корфа – показать действия императора Николая и его генералов и что происходило в августейшем семействе; отсюда у Корфа более подробностей стратегических и домашних, дворцовых. Корф, когда ему случается назвать кого из заговорщиков, делает это как бы нехотя и, большей частью, старается умолчать имена под общими названиями – офицера или гражданского чиновника. Ему неприятно напомнить публике эти имена. Донесение умолчало только имена трех членов тайного общества, прежде отставших от него и сделавших на него показания; эти три члена имели достаточно влияния, чтобы выпросить хранения их имен

в тайне; вероятно, Николай и согласился на их просьбу, видя в ней страх, чтобы их имена не были запятнаты участием в тайном обществе; а они просто боялись общественного мнения, которое, как робко ни было, а все же не могло видеть в них ничто иное, как предателей. Тут мы не можем не отдать справедливости Корфу; он поступил с тактом; несмотря на всю противоположность его методы с методом донесения, он не решился назвать трех предателей, не названных донесением, остерегая и своих не выдал. Но история еще до них доберется.

Донесение говорит, и Корф повторяет, что Александр Бестужев выдал себя солдатам за присланного из Варшавы с повелением не допускать до присяги. Тут же мы видим, что Александр Бестужев был адъютантом герцога Виртембергского. Каким образом мог Бестужев говорить ложь, которая должна была броситься в глаза солдатам, встречавшим его безвыездно в Петербурге? Тут очевидна метода донесения и Корфа обвинять заговорщиков во лжи, и, к счастью, оба – и донесение и Корф взводят свои обвинения так глупо, что их ложь становится очевидной с первого взгляда.

Донесение говорит прямо, что Московский полк бунтовали князь Щепин-Ростовский и Михайло Бестужев. Корф, по обычаю, говорит только: двое офицеров. Впрочем, читатели могут – по донесению – восстановить все имена, умолченные Корфом.

Правда ли, что “государь, перекрестясь и предав себя воле божьей, решился предстать лично на место опасности”; правда ли, что императрица “Мария Федоровна вошла к императрице Александре Федоровне в крайнем волнении и с словами: “Pas de toilette, mon enfant, il y a désordre révolte”^{*} – об этом мы не можем судить, да и едва ли это важно для истории. Правда ли, что государь сам читал народу манифест “*протяжно и с расстановкой толкуя каждое слово*”^{2*} (как будто не надеялся на ясность самого манифеста), и правда ли, что слушатели при этом бросали вверх шапки, – это тоже мы совершенно предоставляем добросовестности автора, равно как и то, что фельдфебель Дмитрий Косяков, бывший после полицмейстером в Павловске, был человек умный. Может быть, Корф выставляет ум фельдфебеля Косякова в противоположность глупости генерала Войнова, чтобы картина была рельефнее; но тут замечательно то, что Корф везде старается унижить лица, с которыми император Николай обошелся грубо. Таким образом, он о Милорадовиче говорит с каким-то сдержанным гневом; то кольнет его тем, что он хорошо отзывался о Якубовиче, забывая, что Милорадович был благородный человек и не мог дурно отзываться об одном из лучших кавказских офицеров; то почтительно подивится тому, что император Николай, в два дня ничем не распорядившийся, ни слова не сказал в укор Милорадовичу; то для рельефности выставит героем Орлова, которого сенатский чиновник ухватил за ногу, и, при встрече Милорадовича с Орловым, на за-

* Книга Корфа. С. 266–267. [Не до нарядов, дитя мое: начались беспорядки, бунт (фр.). – Ред.]

^{2*} Книга Корфа. С. 268.

прос первого: “Allons ensemble parler aux mutins”, заставляет Орлова отвечать: “J’en viens”, между тем как из всего рассказа очевидно, что тогда Орлов не успел еще быть на площади. Смерть же Милорадовича описана у барона с ужасной поспешностью. Хотя Милорадович, по мнениям, и не мог принадлежать к тайному обществу, но эта храбрая, благородная и милая личность, конечно, заслуживала побольше внимания со стороны историографа русского императора; и если Корф так нехотя и неблагосклонно говорит о нем, это конечно только потому, что книга писана хотя и в 1848 году, но для императора Николая, а Николай был сердит на Милорадовича с самого 14 Декабря 1825 года, с того дня, когда Милорадович был убит, спасая его, и Корф очень хорошо понял, что не надо быть благосклонным к Милорадовичу. Мы к истории Милорадовича прибавим только три вещи: когда его несли раненного, он спросил – куда его несут; ему отвечали: в квартиру Орлова; он закричал: “Нет, нет! несите в казармы!” Должно быть, он не очень любил Орлова. Когда надо было вынимать пулю, он потребовал, чтобы операция была сделана его старым доктором, не желая перед смертью его обидеть, давши сделать операцию кому-нибудь другому. Принявшись диктовать завещание, он ничего не нашел сказать, кроме просьбы к императору Николаю – помиловать сына его друга Коновницына, вероятно принадлежавшего к заговору. Мы увидим, как Николай исполнил это завещание.

Если Корф ограничивался неблагосклонностью к людям, на которых император Николай изволил только гневаться, то само собою разумеется, что он не щадит заговорщиков, на которых Николай не только гневался, но о которых постоянно носил в душе воспоминание, сделавшее из всего его царствования развитие одной темы: боязни либерализма. Мы уже упоминали, что Корф о величавой, воинственной фигуре Якубовича, которого мы сами очень хорошо помним, говорит, что черная повязка, огромные черные глаза и усы придавали его наружности что-то *замечательно отвлеченное*; но мы не можем не заметить еще разговор Якубовича с Николаем, помещенный вслед за описанием наружности Якубовича в книге Корфа. Якубович приходил высмотреть распоряжения врагов и встретился с Николаем, которого обманул так, что Николай опять послал его к мятежникам. Следственно, Николай не знал, что он один из предводителей мятежа. Почему же, когда Якубович, указав на свою повязку, сказал: “вот доказательство, что я не из трусливых”, а флигель-адъютант Дурново воскликнул при этом “браво” – почему Николай “остановил эту *неуместную выходку* Дурново *строгим замечанием*”? Что ж тут было такого неуместного? Или уже и тогда Николай Павлович не умел позволить при себе кому-нибудь высказать какое бы то ни было чувство? Что в этой выходке заслуживало строгого замечания, – это может быть понятно только императору Николаю и барону Модесту Корфу. Впрочем, может быть, и Корф не понимает смысла строгого замечания, но рассудив, что так как государь сам побранил Дурново, то и ему следует назвать выходку Дурново неуместною.

Что император Николай просил народ разойтись, – “по мне стрелять будут и могут в вас попасть; не хочу, чтоб кто-нибудь пострадал за меня; ступайте по домам: завтра узнаете, чем кончилось”, – это похвально и, должно быть, правда, потому что об этом свидетельствует Шницлер, как очевидец; только Шницлер иначе приводит слова императора: “Faites-moi la grâce de rentrer chez vous, vous n’avez rien à faire ici” – вот слова, приводимые Шницлером, из которых следует, что Николай не столько боялся, чтобы кто-нибудь пострадал, сколько боялся, чтоб толпа не умножилась. Как бы то ни было – Николай был учтив на этот раз, как никогда не бывал впоследствии. Даже, рассказывает Шницлер, старухи говорили: “Сам нас просил уйти, да еще с какой вежливостью”.

Приветствие Николая конногвардейскому полку было более чем учтиво; в нем было что-то патетическое: “первый мундир, который я носил, – говорил он, – был ваш, и хотя я был тогда еще ребенок, но с сожалением поменялся им с братом Константином”. Это приводит нас к любопытному вопросу: на каком основании члены императорской фамилии носят такой или другой мундир? Кто решает эту важную, государственную задачу? И зачем они скидают какой-нибудь мундир, если им его жаль? Мы очень желали бы узнать разумную причину всех этих костюмирований, которые отдаляют членов царской фамилии от гражданских вопросов и приводят их к интересам фельдфебельским. И как человечески объяснить явление, где эти фельдфебельские интересы возводятся до какого-то пафоса, до какой-то страстности? – Но при всей этой страстности, из книги Корфа видно, что Николаю не хотелось настоящего боя, несмотря на то, что принц Евгений Виртембергский с истинно немецким усердием “поднял свою лошадь на дыбы и, повернув ее, сказал с досадой: “Cela ne servira à rien!”. В самом ли деле принц Евгений поднял свою лошадь на дыбы, или Корф говорит это только ради красноречия, – это тоже важный исторический факт, которого действительность определит разве позднее потомство.

Развив всю важность случая, что Михаил Павлович присягал в *первый раз* отроду, Корф рассказывает, что офицеры не бунтовавшего отряда Московского полка бросились целовать руки и ноги государя. О таких руконожных поцелуях Корф упоминает раза три; это намеренное повторение заставляет сомневаться в истине самого происшествия, хотя мы и не имеем положительных доказательств против него, разве только то, что Шницлер ничего подобного не рассказывает. К чести наших офицеров и народа мы желали бы усомниться в действительности этих холопских изъятий усердия, которым так радуется сердце барона Модеста Корфа.

Странным образом объясняет Корф замедление Измайловского полка выступить против мятежников. По его словам, замедление произошло оттого, что Кавелин, посланный привести его, услышав, что в полку были возгласы в пользу Константина, спросил ротного командира Богдановича – ручается ли он за людей, а Богданович отвечал, что

ручается. Тогда Кавелин сказал несколько слов солдатам, и полк двинулся. Где же тут объяснение *замедления*? На все то, что делал Кавелин, пяти минут было бы много. Откуда же замедление? Барон, защитник исторической истины, имеет о ней какие-то странные понятия. Не менее странные понятия имеет он о замечательных людях. Рассказав, как Орлов скомандовал: “*равняйся*”, он далее повествует, как у коннопионеров был убит только один унтер-офицер, замечательный тем, что “при формировании коннопионерного эскадрона он первый, в образчик обмундирования, был представлен покойному государю”. Что ж тут замечательного?

С прискорбием встречаем мы у Корфа смешную фигуру Карамзина с *chapeau claqué* подмышкой, в пудре, мундире и шелковых чулках, пробирающегося поклониться государю. Бедный историограф! К чему послужило все его либеральное ратоборствование против Иоанна Грозного? Корф его окончательно свел с ученого пьедестала в придворную грязь.

Вслед за описанием историографа России Корф рассказывает ответ императора Николая дипломатическому корпусу. Николай смотрел на восстание как на семейное дело – “*c’est une affaire de famille à laquelle l’Europe n’a rien à démêler*”.

Корф в этом ответе видит что-то великое, но, беспристрастно говоря, он выражает совершенное непонимание того, что происходило, смешанное с аутократической наглостью. Насчет *состава* (!) лейб-гвардии гренадерского полка, Корф, рассказывая происшествие согласно с донесением, избегает назвать Сутгофа, увлекшего роту к мятежу; но в донесении нет того тонкого анализа всех человеческих побуждений, который мы встречаем у Корфа. Например, почему рота, почти в полном *составе*, пошла за *Сутгофом*? Корф это тотчас объясняет: “по привычке слепо повиноваться начальнику”. Привычка повиноваться начальнику привела к возмущению!.. очень тонко. Но, несмотря на эту дисциплину, рота, по словам Корфа, шла в большом беспорядке. Этого в донесении нет, да и нужды не было идти в беспорядке. Далее про те роты того же полка, которые пошли за Пановым, Корф рассказывает (по донесению), что Панов бегал из роты в роту, уговаривая солдат к восстанию; но от себя Корф прибавляет, что солдаты не слушали его внушений; а через несколько строк мы уже видим, что солдаты отправились за Пановым с возмутительным криком “ура” (и почему в этом случае *ура* возмутительнее, чем в другом?), так что читатель и не ожидал такой выходки со стороны людей, на которых слова Панова не производили впечатления. И рассказывая вещи подобным образом, Корф думает, что удовлетворяет “любопытству, заслуживающему право на благородное имя – исторической любознательности!”*

Император Николай сам пропустил Панова с гренадерами на Сенатскую площадь. “Само, конечно, провидение внушило государю эту

* 2-е предисловие к книге Корфа. С. 210.

мысль, – говорит Корф, – отстранив раздельное, вдруг на нескольких точках, действие мятежников и кровопролития почти под окнами дворца, совокупив весь их *состав* в одно место и облегчив тем последующее их поражение, она, можно сказать, решила участь дня. Этою благодатною мыслию и чудесным за минуту до того спасением императорского дома явно ознаменовалось покровительство промысла божия наступившему царствованию”. – Следственно, в этом пропуске возмущившихся гренадер на Сенатскую площадь сам барон видит только чудесное влияние промысла божия, а не стратегическую мысль императора Николая. Николай, пересматривавший книгу Корфа, вероятно, не забыл бы показать, что пропуск был его стратегической мыслью, если бы сознавал это. Великодушию также нельзя приписать этого пропуска; такое великодушие было бы просто глупо. Чему же приписать поступок Николая, не вмешивая в него сверхъестественные силы? Да просто тому, что если бы он не пропустил возмущенных гренадер, то ему самому пришлось бы плохо, потому что он был бы должен участвовать в рукопашной.

Вмешательство *маститого иерарха (преставившегося в 1843 году)*, т.е. митрополита Серафима, не описано в донесении, но описано у Корфа со всеми подробностями; даже не забыто и то, что архидиакон Прохор Иванов, “первый из диаконов православной церкви”, – какое торжество для православной церкви! – “удостоился в *двадцатипятилетие 14 декабря* (в 1850 году), в память события этого дня, соприсчислением ордену св. Анны 3-й степени”. Не забыто и то, что митрополит со свитою должен был ускакать с площади в простых извозчичьих санях. Комиссия об этом не упоминает, потому что она скупа на рассказы; она “почитает ненужным описывать все происшествия сего дня, ознаменованного буйством немногих и знаками общего усердия, нелицемерной преданности к престолу и всего более новым примером царственных доблестей, наследственных в сем августейшем доме, который был предметом безумной злобы мятежников”. Фразеология, достойная хотя бы книги Корфа! И неужели автор донесения комиссии не понимал, что безумной злобы против августейшего дома у мятежников не было: солдаты стояли за Константина, принадлежавшего к тому же дому, а члены тайного общества имели в виду спасение России; августейший дом для их цели было дело второстепенное; им надо было его устранить, потому что он мешал русскому развитию; их заставляла действовать любовь к России, а к августейшему дому тут не могло быть ни злобы, ни любви.

Наконец, генерал Толь (из немцев) закричал сзади государя: “картечи бы им надо”, – и государю, как ни (не) хотелось проливать кровь, но он позволил себя уговорить и приказал стрелять. Артиллерист-солдат не хотел стрелять и отвечал офицеру Бакунину на вопрос, зачем он не стреляет: “свои, ваше благородие!” Но, наконец, и этот единственный человек, у которого еще было живо чувство связи народной, повинился – и, конечно, каре не мог устоять.

“Измена всегда робка”, – говорит Корф. Измена чья и чему? Солдаты не изменяли Константину, а офицеры остались верны своим убеж-

дениям. Где же измена? И где же робость? Разве оттого, что каре из немногих баталионов не мог устоять против артиллерии, можно назвать его трусом? Сам же Корф говорит (с. 292–293), что мятежники вновь выстроились на льду Невы; стало, не вдруг уступили бой. Но на сентенцию мы можем отвечать сентенцией: недобросовестность раба всегда гнусна, и мы надеемся, что барон Модест Корф этой сентенции не оспорит.

Таким образом кончилось восстание 14 Декабря. Далее в рассказе Корфа идут почти исключительно дворцовые обстоятельства. Из недворцовых замечательно только, что преследование и захватывание разбежавшихся было возложено на генерал-адъютанта Бенкендорфа и Орлова; оба впоследствии были шефами корпуса жандармов и тайной полиции: вот что значит быть верным своему призванию.

Из дворцовых обстоятельств самое замечательное – это возвращение императора Николая во дворец. «Встреча его с царствовенной семьей была на деревянной лестнице, которая прежде пожара Зимнего дворца (1837 года) вела, из-под главных ворот, в переднюю дежурную комнату возле почивальни императрицы Марии Феодоровны. Эта встреча, это свидание еще менее доступны нашему уху. Императрице-супруге казалось, что она видит перед собою и обнимает совсем “нового человека”...» (книга Корфа. С. 293). Неужели Корф не чувствует, что это смешно? Что такое – нового человека? Зачем же обнимать нового человека? До каких нелепостей не доводит страсть к высокому слогу! Мы не можем не заметить при этом, что страсть к высокому слогу всегда показывает отсутствие внутреннего убеждения и присутствие внутренней пустоты.

Также мы не можем пропустить без внимания и следующий образчик высокого слога: “Во время молебствия возгласа к коленопреклонению не было; все стояли; только царственная чета, от первого слова Божественной службы до последнего, *лежала распростертой на коленях*. Всевышний принимал *сердце царево в свою руку!*” (С. 294).

Вот был бы отличный сюжет для барельефа. Особенно рука всевышнего, принимающая сердце царево, была бы превосходна в скульптуре. Далее на той же странице мы видим, что Николай из рук всевышнего принял свою корону. Сколько, подумаешь, – по Корфу – рука всевышнего наделала зла для России: вынула у Николая сердце и дала ему корону!

Из книги Корфа видно еще, что государь, “чуждый утомления, *тут же*, в глубокую ночь, *в шарфе и ленте*, как был целый день, *делал первые допросы заговорщикам*”. Как это обрисовывает характер Николая: военный формалист и шеф тайной полиции разом, именно те два назначения, которые он так неумоимо выполнял во все свое царствование.

О возмущении Сергея Муравьева-Апостола на Юге, этой последней пробе, последнем отчаянном усилии тайного общества расшевелить Россию, Корф ничего не упоминает и от дворцовых обстоятельств переходит к тому, что

“Прошли еще годы.

Император Николай опочил от трудов своих смертью праведника, которая неземным ее величием, удивила современников и осталась назиданием для потомства”.

В чем заключается праведность смерти Николая, в чем неземное величие, что удивило современников, что в ней было назидательного – это очень мудро понять. Разве то, что человек, умирая, не хотел причаститься не побрившись, с ненавистью и боязнью вспомнил 14 Декабря и наперекор вопиющей действительности желал, чтобы Россия шла в том же духе, как при нем, т.е. разграбленная и задавленная чиновниками-администраторами, не смеющая высказать ни одной светлой мысли, ни одного полезного, справедливого, человеческого требования и проигрывающая кровавую войну, затеянную безумным самолюбием императора.

Теперь мы опять оставим в стороне книгу Корфа и займемся существенным вопросом: почему 14 Декабря не удалось.

Было бы слишком поверхностно свести решение этого вопроса на стратегическую ошибку. Конечно, дела приняли бы другой оборот, если бы, например, на место нерешительного Трубецкого диктатором был назначен такой человек, как Якубович, и восставший отряд вместо того, чтобы ждать на Сенатской площади, пока сберутся императорские войска и уничтожат его, пошел бы прямо во дворец, тогда еще никем не защищаемый. Народ пристал бы к восстанию при первом успехе, тем более, что восстание обещало бы ему волю! Напрасно Корф предполагает в народе пристрастие к законности престолонаследия. Вся история русского народа противуречит этому. Не говоря о равнодушии народа к междоусобиям удельных князей, не говоря о том, что восстание против Лже-Димитрия было вопросом не престолонаследия, а освобождения от польского нашествия, – что было законного в восшествии на престол императрицы Анны, Петра III или Екатерины II? Ровно ничего. Народ оставался равнодушен. Но отчего он пошел за Пугачевым? Разве народ верил, что он в самом деле Петр III? Нисколько! Пугачев ему обещал свободу – и народ шел за ним, способствуя обману законности, изобретенной Пугачевым для облегчения своих действий; Пугачеву нужен был призрак законности не для народа, а чтобы стать на какую-нибудь почву против существующей власти. Но кроме своего темного чувства освобождения от насилия масса всегда стоит за успех; от этого народ сочувствовал мятежу на Сенатской площади и императору Николаю – на дворцовой. В сущности же масса была равнодушна к тому, кто будет царствовать – Николай или Константин. Темное предчувствие, что кто бы ни царствовал, до царя далеко, а народу все также будет плохо, – заставляет его быть равнодушным к престолонаследию и к какой бы правительственной форме ни было, если она не касается до освобождения народа от помещичьей и чиновничьей власти. А поставьте это освобождение на вашем знамени – и, будьте вы Пугачев или законный государь, народ пойдет за вами и причислит вас к лику святых. (Заметим мимоходом: от этого-то и надо русскому царю спешить освобождением масс от помещичьей и чиновничьей власти, правильным, ясным и полным освобождением

нием, а не дразнить народ полумерами, которые могут привести только к пугачевщине; оставить же этот вопрос и воротиться к поддержанию помещичьей и чиновничьей власти теперь уже невозможно: отношения слишком натянуты). Восстание 14 Декабря, сделанное под вывескою законности Константина, а не Николая, по самой этой вывеске не могло сильно увлечь массу, равнодушную к этому вопросу. Поэтому восстание должно было основаться исключительно на войске, а не на народе; а войско в этом вопросе не могло все притти к одному мнению. Большая часть солдат должна была думать, что, вероятно, Николай Павлович прав, да вдобавок он был налицо, и как бы за послушание не пришлось худо. Следственно, восстание даже и войско не могло увлечь законностью престолонаследия. Задней же мысли тайного общества, т.е. конституционной или республиканской, войско не могло ни угадать, ни понять; и не только масса, которой до царя далеко и которая жаждет освободиться только от ближайшего насилия, т.е. от помещика и чиновника, – не только масса не знала и не понимала конституционного или республиканского вопроса, но и в образованном и полуобразованном дворянстве это был вопрос, доступный только чрезвычайно малому меньшинству. Следственно, тайное общество основывалось только на этом малом меньшинстве и на некоторой части войска, где солдаты были преданы офицерам – членам тайного общества, потому что эти офицеры их не мучили подобно Аракчеевым, Левашовым, Шварцам et cetera. С этими средствами нельзя было выиграть дело, и вот внутренняя причина неудачи 14 Декабря.

Но, с другой стороны, темное чувство масс и мнение развитого меньшинства всегда сходны, и только недомолвка разъединяет их. Мнение меньшинства, заявленное всенародно, совершает свое, то есть заставляет темное чувство масс искать себе ясного определения. И в этом случае 14 Декабря имело успех, потому что, несмотря на весь тридцатилетний гнет николаевского царствования, мысль развития русской гражданственности росла и, может быть, возмужала до той степени, что спокойно выскажет и выполнит свои требования.

В истории императора Николая и тайного общества 14 Декабря нельзя миновать Верховного уголовного суда над членами общества. Корф ни слова не упомянул о нем, да ему и неловко было о нем говорить, потому что тут именно резче всего выражается и характер Николая и его сановников, и тут уже никакой Корф, хотя бы с удесятеренным раболепием, не может оправдать Николая. Но мы, перепечатывая в этом издании документы Верховного уголовного суда, обязаны сказать о нем свое мнение.

К сожалению, манифест 1 июня 1826 года о назначении Верховного уголовного суда не был напечатан в числе документов, и мы не имеем его перед глазами; но о нем упоминает доклад суда императору Николаю. Из этого доклада видно, что “обряд производства уголовных дел установлен общими законами; но в деле высших государственных преступлений общий уголовный суд не мог быть достаточен”. Почему же это? Почему общий уголовный суд для высших государственных преступлений недос-

таточен? Ответ на этот вопрос очень ясен: потому, что на основаниях общего уголовного суда никого нельзя было осудить на казнь, а так [как] императору хотелось казней, то и надо для этого было изменить общие государственные постановления, а членам особо, вне закона назначенного Верховного уголовного суда оставалось только подладиться под желание императора и придать своему решению солганный вид законности.

Вот что говорит Верховный суд:

“Из соображения законов с делом, сами собою проистекали два следующие вопроса:

1) К какому роду преступлений относятся преступления, в актах следственной комиссии обнаруженные? Суд признал единогласно, что все они принадлежат к преступлениям государственным, под именем двух первых пунктов в нашем законодательстве известным.

2) Какое наказание по законам нашим положено за сии преступления? Суд признал и единогласно определил, что преступления, в актах означенные и собственным признанием подсудимых двукратно удостоверенные, подлежат все без изъятия смертной казни”.

Мы очень бы желали, чтобы русские юристы уяснили эту путаницу. Смертная казнь за преступления против царственных особ вошла *как первые два пункта* уголовного законодательства только в XV том свода законов, изданного в первый раз лет десять после 14 Декабря. Где же прежде николаевского свода преступления против царственных особ известны были у нас под именем первых двух пунктов нашего законодательства? – В судебнике Иоанна IV эти преступления относятся к статье 61-й. В уложении царя Алексея Михайловича они составляют два первые пункта – но не уложения, а второй главы уложения (о государственной чести и как его государственное здоровье оберегать), и не только два первые пункта этой главы, а еще и 11-й и 21 пункты. В воинском артикуле эти преступления относятся к главе 3-й артикулу 19-му. Где же эти два первые пункта законодательства? Очевидно, Верховный уголовный суд ссылается на уложение, которое будет издано после него. Если б Верховный суд ограничился ссылкой на исторические примеры, как казнь Мировича* и

* Суд над Мировичем – одно из замечательнейших дел Екатерины II по наглости лицемерия. Никто не сомневается, что подпоручик Мирович был подкуплен взбунтоваться, чтоб дать повод к убийству *принца* Иоанна, за что Екатерина обещала Мировичу не казнь, а награждение; Мирович польстился на награждение, а императрица велела его казнить. Манифестом 17 августа 1764 года она учредила над ним Верховный уголовный суд из сената, синода и первых трех классов персон с президентами всех коллегий (Собрание законов. Т. XVI. № 12.228). В этом манифесте Екатерина объясняет нить престолонаследия: “Когда всего нашего верноподданного народа единодушным желанием (когда же это народ изъявлял его?) бог благоволил вступить нам на престол всероссийский и мы, ведая в живых еще находящегося тогда принца Иоанна, рожденного от принца Антона Брауншвейг-Вольфенбительского и от принцессы Анны Мекленбургской, который был на некоторое время (как всему свету известно) незаконно в младенчестве *определен* к всероссийскому престолу императором и в том же еще сущем младенчестве советом божиим низложен навеки, а скипетр законнаследный получила Петра Великого дочь, наша вселюбезнейшая тетка, в бозе почивающая императрица Елисавета Петровна; то первое нам было, по принесении хвалы богу всемогущему, желание и мысль по

Пугачева, он имел бы хотя незаконное, но все же какое-нибудь основание. Замечательно, что XV том николаевского свода законов вводит смертную казнь за преступления против царственных особ и именно против первых двух пунктов, которые в первый раз как таковые являются только в этом XV томе свода, на основании исторических примеров, т.е. казни Мировича, Пугачева и двух повешенных во время чумы в Москве, прямо говоря, что “казнь смертная, по указам 1753 и 1754 годов другими наказаниями замененная... определяется действующими ныне законами – за следующие токмо преступления”. Из этого ясно, что и XV том свода, напечатанный в первый раз в тридцатых годах (?), не говорит, чтобы первые два пункта существовали в нашем законодательстве до него, а утверждает их на исторических примерах, помещенных им в примечаниях. Как же Верховный суд мог сослаться на последующее законодательство? Ему, или, лучше, императору Николаю, было тогда неловко основаться только на незаконном примере Екатерины II, стыдно перед публикой. Нельзя было тут же изменить закон Елизаветы, которая говорит, что по ее указу 2 августа 1743 года генерал-фельдмаршалу Лессию видно, что она установила *всякие смертные преступления* не натуральной, но политической смертью наказывать, т.е. ввести на виселицу или положить голову на плаху и потом сослать на каторгу (высочайшая резолюция на докладе сената 1753 года марта 29-го; см. собрание законов, том XV). Николаю хотелось сохранить вид законности, и он велел Верховному суду сослаться на уложение, которое он, Николай, еще издаст впоследствии. Так вот по какой причине им был задуман свод законов! Тут все есть: и боязнь общественного мнения, проистекающая не из чувства нравственности, а из чувства формального приличия, и вместе с тем презрение к законам своего государства, византийское лицемерие и жажда достичь своей цели, т.е. казни подсудимых, не решительностью, не

природному нашему человеколюбию, чтоб сему, судьбою божию низложенному человеку сделать жребий облегченный в стесненной его от младенчества жизни. Мы тогда же положили сего принца сами видеть, дабы, узнав его душевные свойства, и жизнь ему, по природным его качествам и по воспитанию, которое он до того времени имел, определить спокойную”. (Эта спокойная жизнь – была заключение в Шлиссельбургской крепости!) “Но с чувствительностью нашу увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычия, лишение разума и смысла человеческого. Все бывшие тогда с нами видели, сколько наше сердце сострадало жалостью человечеству” – Екатерина определила к несчастью принцу капитана Власьева и поручика Чекина – “Сим двум офицерам мы повелели его также призирать и соблюдать. Но не могли однакож избежать зла и коварства, такого в роде человеческого чудовища, каковый ныне в Шлиссельбурге с отчаянием живота своего в ужасном своем действии явился. Некто подпоручик Смоленского пехотного полка малороссиянец Василий Мирович *первого изменника с Мазепой Мировича ввук*, по крови своей, как видно, отечеству вероломный, проводя свою жизнь в мотовстве и распутстве и тем лишаась всех способов к законному достижению чести и счастья, наконец отступил от закона божия и присяги своей, нам učinенной, и не зная, как только по единому слуху, о имени принца Иоанна, а тем меньше о душевных его качествах и телесном сложении, сделал себе предмет, через какое бы то ни было в народе кровопролитное смятение, счастье для себя возвысить”. – И будто кто-нибудь мог поверить, что Мирович, какой бы он мот ни был, взбунтуется на таком странном основании! Благонадежные офицеры Власьев и Чекин”, *увидя перед собою силу непреодолимую*”, т.е. один взвод, стоявший в карауле, решились убить принца Иоанна,

силой воли, которую ему напрасно приписывают, а адвокатской уловкой, судебным крючком, или попросту – гаденькой ложью, которая вдобавок была глупа, потому что уже гораздо умнее было бы сослаться на пример Екатерины, чем на еще не изданное законодательство, тем более, что кому же и было, как не внуку, подражать достойному примеру бабушки?

Своему Верховному уголовному суду, составленному из совета, сената, синода и пятнадцати генералов (всего около 80 членов) под председательством Лопухина и с прокурором князем Лобановым-Ростовским, предписал установить разряды степеней виновности подсудимых и степеней наказаний, а этот Верховный уголовный суд начинает с того, что судит следующим образом: "...общий порядок правосудия, – сказано в докладе, – и правила вашим императорским величеством предначертанные, требовали личного в допросах удостоверения. К сему два пути предлежали: призыв подсудимых пред суд или наряд к ним комиссии, судом избранной и из среды его составленной; ваше императорское величество и тот и другой способ соизволили предоставить его усмотрению. Он избрал последний, как равно достоверный, но по числу подсудимых более удобный”.

Что за бездна лицемерия и коварства! Николай разыгрывает роль, будто он в это дело и не вмешивается, а все предоставляет суду; суд находит более удобным, чтобы особая комиссия ходила к подсудимым, чем позвать подсудимых в суд. Во-первых, это вовсе не удобнее, а гораздо затруднительнее; даже и в частной жизни легче созвать в одно место своих знакомых, чем ездить к каждому порознь. Во-вторых, тут уже дело решает не суд, состоящий из 80 членов и выслушивающий подсудимых, а комиссия из немногих *отборных* членов, которые остальным членам представляют дело в том виде, в каком им – немногим членам – заблагорассудится. К чему вся эта игра в подтасованные карты?

за что их, конечно, похвалили, а Мировича отдали под суд. – 10 сентября 1764 года Екатерина издала манифест о том, чтоб пехотному Смоленскому полку бунт Мировича в укор не ставить (Собр. законов. Т. XVI. № 12.237). Вероятно, в подражание этому указу император Николай повторил его смысл в отношении родственников заговорщиков 14 Декабря. – 15 сентября состоялась сентенция о Мировиче. Сентенция приводит конфирмацию императрицы на доклад собрания (т.е. Верховного суда), доклад, “которым собрание, приняв в рассуждение важность Мировичева злодейства и чтоб частыми по сему делу могущими представлениями не нанести нежному, человеколюбивому и милосердному ее императорского величества сердцу прискорбие и беспокойства, всеподданнейше просило ее императорское величество, чтоб только на сей случай соизволила уполномочить собрание в решении дела, и в надлежащем по тому исполнении для будущего потомков спокойствия и безопасности государства поступить по законам и чтоб притом же всемилостивейше дозволено было собранию поступить по сему делу во всем по большинству голосов”. В конфирмации Екатерина отвечает: “...что принадлежит до ее императорского величества *собственного оскорбления*, в том сего судимого всемилостивейше прощает; в касающихся же делах *до целостности государственной*, общего благополучия и тишины, в силу поднесенного доклада на сего дела случай отдаёт в полную власть сему верноподданному собранию”. Таким образом, собрание и приговорило “отсечь Мировичу голову и, оставя тело его народу на позорище до вечера, сжечь оное потом купно с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет”. Во время допросов Мировичу собранием были “примечены с удивлением и прискорбием отважное в злодействе его *незаворство* и некоторая человечество превосходящая и паче зверская окаменелость”; по

“Ревизионная комиссия, – продолжает доклад, – исполнила порученное ей дело с точностью. Все подсудимые подтвердили пред нею собственноручным подписанием прежние их показания”. – Мы уже из записок Н.И. Тургенева видели, как были отбираемы эти собственноручные показания; вдобавок эти показания и подписи никогда не были обнародованы и составляли государственную тайну.

Итак, дело Верховного уголовного суда состояло в том, чтобы решить степень виновности на показаниях, отобранных втайне, и положить наказания на основании законов, после наказаний изданных.

После этого как императору Николаю было не умереть “*смертию праведника*”!

Для приготовления начал, на коих должны быть основаны разряды виновности, из среды суда была избрана особая комиссия, которая, обозрев все дело, приступила к установлению разрядов. “Для сего ей предлагало: определить главные *роды* преступлений, *отличить в каждом роде все его виды и, поставив их в порядке постепенности из сложения и сопряжения их*, произвести начала разрядов”.

Что за бессмыслица! Кто сочинял этот доклад – мы не знаем. Вероятно, не Блудов, потому что в донесении следственной комиссии все же больше смысла человеческого.

“Все разнообразные части обширного дела *в совокупном их обозрении*, представляют один главный умысел: умысел на *потрясение империи*, на ниспровержение коренных отечественных законов, на *превращение* всего государственного порядка”.

Что такое значит *превращение*?

“Три средства, три главные рода злодеяний предполагаемы были к совершению сего умысла: 1) цареубийство, 2) бунт, 3) мятеж воинский”.

Это роды преступлений. Но что же тут именно относится к роду преступлений: умысел или средства привести его в исполнение? и какое различие между бунтом и мятежом воинским? Кажется из доклада, что

этому собранию отправило к Мировичу увещевать его Афанасия епископа Ростовского, гетмана Малороссии графа Разумовского, генерала, аншефа князя Голицына и Медицинской коллегии президента барона Черкасова, которым Мирович сказал, что “кроме того, что его рукой подписано, более ничего объявить не имеет и что все будущие муки понести желает и никогда царства небесного наследовать не хочет, ежели как прежде, так и теперь что ни есть или кого-нибудь утаивает”. – Мы печатаем эти выписки из дела Мировича, потому что оно в публике не так известно, как дело Пугачева, о котором сен-тенция напечатана в приложениях к Истории Пугачева Пушкина. Собрание Верховного суда над Мировичем ссылается на 1-ю и 2-ю *статьи главы III* Уложения и на военные артикулы, – как и в деле Пугачева, нисколько не говоря о *известных двух пунктах* нашего законодательства, как выражается Верховный суд 1826 года пунктах, которые стали известны только с изданием николаевского свода. Вот эти два пункта: 1. Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам бог повелевает. 2. Та же власть верховная и самодержавная принадлежит и императрице, когда наследство престола, в порядке для сего установленном, дойдет до лица женского; но супруг ее не почитается государем; он пользуется почестями и преимуществом *наравне с супругами государей* (!), кроме титула (свод законов, пол. изд. 1842 года). Эти два пункта составлены из указов 1716, 1720 и 1797 годов, в которых они не именуются первыми двумя пунктами.

умысел есть нечто целое, самобытное, а средства составляют роды злодеяний, да еще злодеяний *предполагаемых*, а не совершенных. В каком законодательстве подлежат суду злодеяния предполагаемые?

Потом идут виды преступлений:

“Каждый из сих главных родов влечет за собою свой длинный ряд преступлений”. И этот *длинный ряд* состоит из *трех видов*: 1) знание умысла, 2) согласие в нем, 3) вызов на совершение его. Каждый вид в свою очередь состоит из *разных* постепенностей.

Первый вид есть род, т.е. в нем дело идет о цареубийстве. Это смешение видов и родов названо пунктами. Итак, первый пункт состоит из 10 постепенностей, которые читатели уже видели в докладе Верховного суда, перепечатанном в этом издании. Есть замечательные постепенности, например шестая постепенность: “*Злодержостные дела* (совершенно язык просьбы Ивана Никифоровича на Ивана Ивановича), относящиеся к цареубийству, *произнесенные* не на совещаниях тайных обществ, но в частном разговоре, и означающие не умысел обдуманый, но мгновенную мысль и порыв” (Дела произнесенные и означающие порыв – что за путаница!). Десятая постепенность состоит в “знании умысла с *противу-речием* против него”. (И это преступление!)

Второй пункт, или вид, или род, включает семь постепенностей участия в бунте; третий пункт – десять постепенностей участия в мятеже, из которых пятая постепенность: “*действие без возбуждения* нижних чинов и *возбуждение без действия* с полным знанием сокровенной цели”; девятая постепенность: “знание о предстоящем мятеже *без действия и без полного знания цели*”; а десятая постепенность: “*личное действие с возбуждением* или *возбуждение без личного действия*”.

Из всего этого разрядо-распределительной комиссии сделалось “ясно, что к основанию разрядов нет другого средства, как соединение сих видов в каждом роде преступлений соразмерно их тяжести”. Отсюда она также заключила следующее: “Вина весьма тяжкая в одном роде преступления часто сопрягается в одном лице с другими винами, менее тяжкими в других родах; а как закон (какой закон?) в сопряжении вин определяет наказание по той из них, которая считается тяжчайшею: то и надлежало сию тяжчайшую вину поставить в свойственном ей разряде, хотя бы лицо, по другим его винам, принадлежало к разрядам низшим”.

То есть, просто говоря, это значит, что всегда надо стараться присудить наказание тяжчайшее. Таким образом произошло одиннадцать разрядов преступлений, которым комиссия сделала “*примерный опыт*”.

“При подробном рассмотрении дела найдено”, что “*вины усиливаются: тяжкими последствиями зловерного примера, разрушением воинского порядка, кровавыми действиями некоего буйственного рассвирепения*”.

Что это такое?.. совершеннейшая дичь, и на этой дичи Верховный суд основывает свои решения.

Верховный суд, конечно, утвердил “*примерный опыт*” комиссии, “за исключением тех злодеяний, кои по чрезмерной их тяжести поставлены вне всякого разряда”. Об этом внеградном разряде доклад суда говорит императору, что *люди, к нему принадлежащие, не должны быть до-*

ступны самому милосердию, т.е. просит императора Николая утвердить казнь. Уже тут тотчас становится видно, что государь благосклонно согласится на такое представление и с горестью, но со свойственным ему великодушием подавит в себе чувство милосердия, сколько бы это ни стоило его чувствительному сердцу.

Таким образом, Верховный суд определил десять разрядов наказаний: 1) четвертование (для внеарядных пяти человек), 2) отсечение головы (тридцати одному человеку), 3) политическую смерть (семнадцати человекам), 4) в каторжную работу вечно (двух человек), 5) в каторжную работу на время и потом на поселение (тридцать восемь человек), 6) вечно на поселение (пятнадцать человек), 7) вечно в Сибирь (три человека), 8) в солдаты до выслуги (один человек), 9) в солдаты с выслугою (восемь человек). Какая разница между ссылкой вечно на поселение и ссылкой вечно в Сибирь – это очень темно; отчего в солдаты *до* выслуги – значит в солдаты *без* выслуги – это также непонятно. Этот безграмотный Верховный суд вменяет себе долгом донести, что “определения и приговоры его состоялись или *по большинству голосов всего собрания*, или же *по большему числу голосов одинакого мнения*”; но ведь *большее число голосов одинакого мнения* и составляет *большинство* голосов; разве доклад хочет сказать в первом случае по *единогласному* решению всего собрания, ну тогда так и надо говорить. Как же братья за решение уголовного дела, когда не умеешь грамотно связать двух мыслей?

Члены *святейшего* синода объявили (как и в деле Пугачева), что “они наперед согласны со всякой сентенцией, но поелику они духовного чина, то к подписанию сентенции приступить не могут”. Это нехитрое лицемерие, делающее различие между подписью под согласием на сентенцию и подписью под самою сентенциею, смешно и отвратительно и кладет действительное пятно на русское духовенство, пятно бессилия, лжи и раболепия.

Из всех своих многосложных трудов Верховный суд заключил, что “*дух крамолы может вторгнуться в Россию только заключенный в пределах отчаянного разврата*” и что он, Верховный суд, искал по слову государеву “*единого: справедливости, справедливости нелицеприятной, ничем не колеблемой, на законе и силе доказательств утвержденной...*”.

И все это совершенно зная, что она ни на каком законе не основывается!

За сим следует роспись преступникам. Не говоря вообще о бездоказательности большей части взводимых на них вин, мы сделаем несколько отдельных замечаний.

Сергей Муравьев-Апостол обвиняется в требовании убийства *в особенностях* цесаревича. Такой нелепости не мог иметь в виду Сергей Муравьев; у него не было никакой личной вражды против цесаревича, а сам цесаревич совсем не был таким сильным человеком, чтобы его жизнь или смерть были чем-то особенно важным для заговорщиков.

О многих сказано: “*возбуждал нижних чинов к мятежу*”. И сентенции-то не умели написать грамотно!

Никита Муравьев участвовал в умысле на цареубийство, а потом изменил в сем отношении свой образ мыслей, – как же его приговорить к наказанию по разряду за умысел на цареубийство? .

Какая разница между виною осуждаемых на отсечение головы и виною присужденных к политической смерти? Первый, присужденный к политической смерти, “капитан Тютчев, участвовал в умысле на царевубийство согласием, участвовал в умысле бунта возбуждением и подготовлением нижних чинов и знал о приготовлении к мятежу”, – словом, виноват во всем том, за что другие осуждены на казнь. Очевидно, что суд руководствовался в присуждении наказаний своей фантазией или тайными приказааниями.

Штабс-капитан Муравьев осужден на 15 лет каторжной работы за то, что “произносил дерзостные слова в *частном разговоре*, означающие *мгновенный порыв на царевубийство*”. Что это такое!

Почему Александр Муравьев, участвовавший в умысле на царевубийство и первый основатель тайного общества, менее виноват, чем другие? Потому ли, что отстал от общества? Но которые отстали от умысла царевубийства, тем не менее осуждены за этот умысел; чем же тут руководствуется Верховный суд? Очевидно, тайными предписаниями.

Присуждение одного и того же мы находим за следующие вины:

Поручик Андреев 2-й. Принадлежал к тайному обществу с знанием цели оно и *возбуждал к мятежу*.

Штабс-капитан Назимов. Участвовал в умысле бунта *принятием одного товарища*.

Да где же тут есть равная степень виновности? Из всей сентенции очевидно, что и с своей точки зрения, т.е. признания заговорщиков за злодеев, Верховный суд присуждал наказания совершенно произвольно, как ни попало или по тайным предписаниям.

Указ Николая Верховному суду, по рассмотрении доклада, находит, что приговор силе *законов сообразен*. Николаю, конечно, легче было найти это, чем самому Верховному суду, потому что Николай находил приговор сообразным с теми законами, которые он со временем издаст.

За сим следуют смягчения наказаний. Тут замечательно то, что большая часть раскаяний, изъявленных подсудимыми, на них выдуманы. Скажем первый пример, приходящий на память: Якушкину смертная казнь сведена на двадцать лет каторжной работы, по уважению совершенного раскаяния. Между тем раскаяние Якушкина состояло только в следующем: он сказал суду, что соглашался на царевубийство и сам решался на него, что, следственно, он должен быть осужден на казнь, и пусть его казнят, но что он более говорить ничего не будет. Император Николай сам его позвал и велел признаваться. Якушкин и ему сказал то же, что перед судом. “Да знаешь ли, перед кем ты стоишь? – закричал государь. – За то, что ты государю не говоришь правды, если бы и я тебя помиловал, то на том свете бог тебя не простит”. – “Да ведь я в будущую жизнь не верю”, – отвечал спокойно Якушкин. – “Вон отсюда этого мерзавца”, – закричал Николай и велел опять отвести Якушкина в тюрьму, дать ему катехизис, кормить его постным и ежедневно посылать к нему попа для назидания. Вот и все раскаяние Якушкина.

Донесение следственной комиссии, Верховный суд и сам император выдумывали на подсудимых раскаяние по двум причинам: раз – чтобы уни-

зять тайное общество, а потом – чтобы иметь случай придраться к раскаянию для смягчения наказаний; нельзя же было все казнить да казнить.

Между преступниками, по решению суда присужденными к отсечению головы, только подполковник Норов получил наибольшее смягчение наказания – только пятнадцатилетнюю каторжную работу. Тут Николай оказал великодушие, потому что все знали, что он с Норовым имел личную вражду. На каком-то учении Николай (разумеется, бывши еще великим князем) рассердился, подбежал к Норову с ругательствами и ногою брызнул в него грязью из бывшей тут лужи. Норов, положив шпагу в ножны, ушел и подал в отставку. Император Александр страшно рассердился на этот случай и велел Николаю просить извинения у Норова. Николай исполнил приказание императора, говоря Норову, что и Наполеон иногда ругал своих маршалов. “Мне так же далеко до маршала Франции, как вам до Наполеона”, – отвечал Норов.

В своих решениях Николай не всегда согласуется с соображениями Верховного суда. Так, преступникам, приговоренным судом к отсечению головы, он определяет двадцать лет каторги; а из приговоренных только к политической смерти – двух Бестужевых оставляет на каторге вечно; а Лунина* и остальных этой категории осуждает на двадцать лет, наравне с преступниками высшего разряда.

Коновницына Николай помиловал, вероятно по завещанию Милорадовича, и, вместо присужденной ссылки в Сибирь просто на житье, велел написать его в солдаты без выслуги в дальние гарнизоны!

Цебрикова, приговоренного судом в солдаты с выслугою без лишения дворянства, Николай – за участие в мятеже – осудил как недостойного благородного имени разжаловать в солдаты без выслуги, с лишением дворянства.

“Наконец, – говорит Николай в указе Верховному суду, – участь преступников, здесь непоименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое об них в сем суде состоится”.

Он даже назвать их не хочет в указе и отстраняет от себя решение. Суд, “сообразуясь с высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленном, смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определенных”, присуждает “вместо мучительной смертной казни четвертованием Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому, приговором суда определенной, сих преступников за их тяжкие преступления повесить”.

* Судьба Лунина замечательна. По окончании каторги он жил на поселении в Сибири и писал в Россию своей сестре письмо, из которого было видно, что он не изменил своим убеждениям, не упал духом, и сохранил веру в русское развитие. Это письмо как-то дошло до Николая. Николай велел отправить Лунина опять в дальние рудники, где его не заставляли работать, но держали в сыром и скверном каземате, не позволяя иметь ни книг, ни пера, ни бумаги. Лунин, изнывая от праздности и скуки, просил, чтобы ему позволили шить платье для солдат. Один из главных докторов, проезжая в том месте и находя положение Лунина невыносимым, уговаривал его написать просьбу к государю об облегчении своей участи. Лунин не согласился и вскоре умер. Лунин был один из замечательных партизанов 1812 года.

Таким образом окончилась эта игра, недостойная и ненужная, потому что все же было бы откровеннее и, следовательно, благороднее, без всякого суда, по царской воле, как оно в действительности и было, определить те же наказания. Всем этим внешним лаком формализма лицемерие нисколько не замазало истины и только выставилось во всем своем отвратительном виде перед общественным мнением.

10 июля 26 года Николай дал указ Верховному суду; 11 июля суд отослал свой протокол в сенат. 13 июля сенат предписал исполнение приговоров.

За сим следовал манифест 13-го же июля, удивительный манифест по бессмыслице слога.

“Мы зрели благотворную его (всевышнего) десницу, как она растворила завесу, указывала зло, помогла нам истребить его собственным его оружием – *туча мятежа взошла как бы для того, чтобы потушить умысл бунта*”.

“Составленный горстью извергов, он (умысл) *заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную*”.

“Мы видели при сем самом случае новые *опыты приверженности*; видели, как отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили к суду подозреваемых; видели все состояния соединившимися в одной мысли, в одном желании: суда и казни преступникам”.

Если и были такие позорные примеры, что отцы выдавали детей, – неужели это могло тешить Николая? Как он решился вслух объявить себя покровителем подлецов – это неимоверно! Впрочем, он и впоследствии положил награду отцам, доносящим на своих сыновей по политическим делам в Польше.

“Следственная комиссия в течение пяти месяцев неусыпных трудов, *деятельностью, разборчивостью, беспристрастием, мерами кроткого убеждения (!)* привела самых ожесточенных к смячению, возбудила их совесть, обратила к *добровольному и чистосердечному признанию*. Верховный уголовный суд, *объявив дело во всем пространстве его государственной важности*, отличив со тщанием все его виды и постепенности, положил оному *конец законный*”.

И все это клевета и ложь!

“Да обратят родители все их внимание на нравственное воспитание детей. *Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец погибель*”.

Подписав эту бессмыслицу, император Николай стал царствовать, не изменяя своему принципу страха перед всякой человеческой мыслью, перед малейшим развитием образования; на том основании он учреждал следственные комиссии одна за другой над каждым юношей, сказавшим неосторожное слово на каком-нибудь празднике или заявившим какую-нибудь здравую мысль; на этом основании он бросился в объятия вечно враждебной Австрии и вмешался в венгерскую войну; на этом основании он удалил от себя всех порядочных людей и бессознательно явился гла-

вою грабящей администрации, другом грабящих и бездарных генералов и проиграл Севастополь, и “умер смертью праведника”, оставив Россию истощенную, задавленную, с расстроеными финансами, с некормленным и дурно вооруженным войском...

И несмотря на все это, против его воли, мысль развития русской гражданской ответственности росла в людях русских!..

Возобновив в памяти наших соотечественников факты и людей тайного общества 14 Декабря, мы исполнили священную обязанность: стыдно было бы, если б по появлении книги Корфа ни один русский голос не восстал в защиту русских мучеников. Но мы еще раз повторяем: мы не друзья крутых, кровавых переворотов; они не достигают цели, если смысл их не ясен в сознании народном; а если смысл переворота ясен в сознании народном, то и самый переворот может осуществиться без потрясений и кровопролитий. Царствование Николая было для России каким-то тупым, тяжелым болезненным состоянием; после смерти его Россия вздохнула свободно. Цепь снята, толчок дан; теперь надо идти вперед и трудиться. Мы полагаем, что Александр II имеет расположение к добру, и верим в неодолимую силу обстоятельств, которая выведет Россию из-под немецко-татарского давления, из узкой, немецко-татарской колеи – на широкий путь человеческого развития.

Александр II сказал Корфу о 14 Декабря: “Дай бог, чтобы впредь никогда не приходилось русскому государю ни наказывать, ни прощать за подобные преступления!” Мы искренне желаем, чтобы Александр II, при всех своих добрых намерениях, изменил, наконец, и эту нереальную точку зрения и увидел бы, что исторические события вызываются общественною потребностью и нуждою и не составляют преступления, что, следственно, прощать историческому явлению не в его власти. Мы искренне желаем, чтобы он увидел, что для устранения потрясений в России надо, чтобы он шел вперед с общественным развитием, чтобы он стал во главе общественного развития, а не тянул бы русскую гражданственность обратно в грязную немецко-татарскую колею, из которой тогда Россия вынуждена будет вырваться страшным потрясением, а он вместо светлой страницы заслужит печальную страницу в истории. Мы искренно желаем, чтобы он понял, что его призвание – освобождение крепостного состояния, преобразование чиновничества и водворение открытого суда и гласности. Мы искренно желаем, чтобы выполнением этого призвания он заслужил блестящую страницу в истории. Пусть он забудет страшную ошибку издания книги Корфа, пусть прогонит от себя этих людей, которых Александр I не хотел бы иметь лакеями, пусть откровенно и смело идет к своему предназначению, и да не изгладятся из его памяти стихи, ему – когда он был семилетним ребенком – посвященные тем же Рылевым:

Люби глас истины свободной,
Для пользы собственной любви,
И рабства дух неблагоприятный,
Неправосудье истреби.

Р. Ч.

ВОСШЕСТВІЕ НА ПРЕСТОЛЪ
ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ I^{-го}.

=

Составлено,
по Высочайшему повелѣнію,
Статсъ-Секретаремъ Барономъ Корфомъ.

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ.

(первое для публики).

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

—
1857.

Напечатано по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению

В Типографии II-го Отделения Собственной Его Имп.
Вел. Канцелярии.

ПРЕДИСЛОВИЕ

“Если буду **императором** хоть на один час, то покажу что был того достоин”.

Так говорил (см. ниже, с. 263) незабвенный **император Николай I**, утром 14-го декабря 1825 года собранным перед ним начальникам гвардейских полков.

И торжественно оправдалось это первое державное его слово! Тридцать лет, среди благословений мира и громов войны, в законодательстве и суде, в деле внутреннего образования и внешнего возвеличения его России, везде и всегда, **император Николай I** был на страже ее чести и славы, ее отцом и, вместе, первым и преданнейшим из ее сынов.

“Я умираю, – писал он в умиленном своем завещании, – с пламенною любовью к нашей славной России, которой служил, по крайнему моему разумению, верой и правдой; жалею что не мог произвести того добра, которого столь искренно желал”. Человек не может всего; **Николай** исполнил все что возможно одному человеку.

Но никогда, может быть, двум из числа высоких качеств усопшего: бесстрашию и присутствию духа, не суждено было ознаменоваться явственнее и сильнее, как в первые минуты его воцарения. По сыновней мысли **августейшего его наследника**, подробное описание для 14-го декабря и предшедших ему событий составлено было еще в 1848 году. Просмотрев его и, по собственноручному, неоднократному исправлению, удостоив наконец своего одобрения, в Бозе почивший **император** решительно, однакож, отклонил мысль огласить это описание в общее сведение. От хода и связи событий и личных действий юного **монарха**, одна правда, строгая и нагая, принимала здесь как бы личину лести, а истинному величию всегда сопутствует скромность.

Упомянутое описание было дважды напечатано, но оба раза лишь в 25 экземплярах, единственно для членов **императорского дома** и немногих приближенных, как семейная тайна.

Ныне, когда России и Европе уже переданы все подробности *последнего* дня этой великой жизни, благополучно царствующий **государь император** признать изволил за благо, в вечную память незабвенного родителя, сделать общеизвестным и повествование о *первом* дне царственного его пути. **Император Николай** не нуждается в хвалебных возгласах; но для истории нужны истина и доблестные примеры. Эта цель примирить великую тень с нарушением тайны ее скромности!

К настоящему изданию, доступному всей публике, присоединены и предисловия обоих первых, для указания источников нашего рассказа и истории его составления. Сверх того оно дополнено несколькими частными письмами августейших членов **императорского дома**, не бывшими в виду при двух первых изданиях, двумя или тремя чертами из записок покойного генерал-адъютанта графа А.Х. Бенкендорфа и еще некоторыми другими подробностями.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИЗДАНИЕМ (1848 года)

Достопамятные события, которыми ознаменовался период времени от получения известия о кончине блаженной памяти **императора Александра I** до истечения дня 14 декабря 1825 года, не имеют до сих пор полного и удовлетворительного описания. Иностранцы, говоря о России, часто ошибаются даже и тогда, когда *хотят* быть правдивыми, а русские писатели ограничены условиями, сколько необходимой, столько же и благодетельной в общественном нашем устройстве, цензуры. Притом, в событиях политических, частные лица знают, большей частью, только внешнюю сторону, одни признаки или видимое проявление предметов, так сказать только *свое*, тогда как в делах сего рода главный интерес сосредоточивается, часто, на тайных их причинах и на совокупности *всех* сведений в общей связи. Наконец есть подробности, которые, таясь в неоглашенных государственных актах, или сохраняясь в личных воспоминаниях самих деятелей, недоступны для массы. От того все изданные до ныне описания упомянутого периода времени или наполнены ошибками, пропусками, не редко и преднамеренными умолчаниями, или же повторяют вещи всем известные, с большими только или меньшими украшениями слога и фантазии. Так, например, лучшее из повествований иностранных то, которое поместил известный Шницлер в книге своей: “*Histoire intime de la Russie sous les Empereurs Alexandre et Nicolas, Paris. 1847*”, содержит в себе, рядом с некоторыми истинами, немало погрешностей и в сущности есть пространная, не совсем притом точная, выписка из напечатанного в 1826 году, на всех языках, “Донесения Следственной комиссии”, которое автор облек в форму собственного рассказа и дополнил несколькими анекдотами. С другой стороны, в лучшем, или почти единственном, сочинении русском, где об этом предмете говорится не в одних только общих чертах*, посвященные ему десять страничек, соответствуя, может быть, общему размеру всей книги, слишком мало удовлетворяют любопытству, заслуживающему здесь право на более благородное имя — *исторической любознательности*.

Между тем современники стареют и умирают, предания исчезают, в самих свидетелях и очевидцах память былого тускнеет и к истине, искажаемой изустными рассказами, примешиваются, постепенно, вымыслы и прикрасы, которые так легко прививаются ко всякому великому происшествию, много занимавшему собою умы.

Чтобы восстановить факты в их чистоте и вместе восполнить, для будущего историка России, такой пробел, которого не простило бы нам

* Историческое обозрение царствования государя императора Николая Павловича. Н. Устрялова. С.-Петербург, 1847.

потомство, его императорское высочество государь наследник цесаревич и великий князь Александр Николаевич благоизволил, с высочайшего разрешения, возложить на статс-секретаря барона Корфа составление, по самым достоверным данным, подробного и возможно полного описания упомянутых событий. Труд сей ныне окончен. Это еще не история, возможная только в потомстве, но верная летопись, которую вести лежит на обязанности современников. Летопись должна рассказать что и как было; история оценит бывшее и произнесет над ним свой приговор.

Материалами в настоящем труде служили:

I. Собственноручная подробная записка, написанная государем императором Николаем Павловичем для царственного его семейства.

II. Воспоминания государя великого князя Михаила Павловича, положенные на бумагу под непосредственным его руководством.

III. Рассказы покойных князя А.Н. Голицына и графа М.М. Сперанского, записанные с их слов еще при их жизни.

IV. Рассказы и, частью, письменные заметки живых свидетелей и деятелей 14 декабря: генерал-адъютантов: графа Орлова, графа Левашова, графа Адлерберга, Перовского, Кавелина и Философова, и генерала Ростовцова.

V. Рассказы некоторых других достоверных очевидцев и собственные воспоминания редактора.

VI. Бумаги, оставшиеся после покойного князя В.П. Кочубея.

VII. Подлинные акты Государственного совета.

VIII. Акты Следственной комиссии и Верховного уголовного суда.

X. Полное Собрание законов.

Описание, составленное по сим данным, было во всей подробности поверено государем великим князем Михаилом Павловичем и большей частью тех лиц, которых рассказы в нем помещены, и исправлено окончательно по собственным указаниям государя императора Николая Павловича.

ПЕРЕД ВТОРЫМ ИЗДАНИЕМ (1854 года)

Осенью 1848 года приехала в Россию **государыня великая княгиня Ольга Николаевна**. Незадолго перед тем было окончено составление настоящего рассказа. **Великая княгиня**, услышав о нем в царственной семье, изъявила редактору желание иметь для себя список. Он отвечал, что единственный экземпляр находится у **государя наследника цесаревича**, а черновые тетради истреблены. Тогда **великая княгиня** изъяснилась, что как рукописные копии легко уничтожаются и еще легче, при переписке, наполняются ошибками, иногда искажающими истинный смысл, то лучше бы это описание напечатать, по крайней мере для членов **императорского дома** и для некоторых доверенных особ. Мысль **великой княгини** была передана **его императорскому высочеству государю наследнику** и, по докладу **его, государь император Николай Павлович** высочайше повелеть изволил напечатать 25 экземпляров, что и было исполнено к 14 декабря 1848 года.

Впоследствии, частью от лиц, удостоившихся получить эту книжку, частью через частные распросы и поиски, редактор успел собрать еще разные новые сведения и данные о происшествиях, им описанных. Многие из сих дополнений оказалось немаловажным, могущим еще более способствовать достижению цели: оставить для потомства *возможно полное и точное* изображение событий, столь важных в летописях отечественных. Из числа таких новых материалов, собранные при жизни блаженной памяти **государя великого князя Михаила Павловича**, были подносимы **его высочеству**, для проверки с личными его воспоминаниями; потом все они представлялись **государю наследнику цесаревичу**, по мысли которого возникла настоящая работа, и наконец **государю императору**. На каждом **его величество** изволил полагать собственноручные отметки и таким образом они получали окончательную достоверность. Сверх сего, по кончине в 1852 году генерал-фельдмаршал князя Волконского, в его бумагах найдено много примечательного о сей эпохе и, между прочим, разные письма блаженной памяти **цесаревича Константина Павловича** и самого князя. Тогда решено было приступить к новому изданию. С сею целью, вновь собранные сведения были размещены по принадлежности и, в соответствии тому, вся работа исправлена, во многом даже совсем переделана. **Государь император Николай Павлович** удостоил снова пересмотреть эту окончательную редакцию в целом ее составе и опять в разных местах ее исправил.

Главнейшие новые материалы, по которым теперь дополнено и усовершенено прежнее издание, извлечены:

1) Из собственноручной современной памятной записки **государыни императрицы Александры Феодоровны**.

2) Из бумаг государя цесаревича Константина Павловича и генерал-фельдмаршала князя Волконского.

3) Из словесных и, частью, письменных сообщений: московского митрополита Филарета, председателя Государственного совета князя Чернышева, генерал-адъютантов: Сухозанета, Исленьева, Геруа и Игнатьева, генерал-лейтенанта Засса, генерала от инфантерии Головина, с.-петербургского коменданта барона Зальца, 2-го с.-петербургского коменданта Греча, иподьякона Прохора Иванова и некоторых других лиц.

4) Из записок, оставшихся после покойных генерал-адъютантов графа Толя и графа Комаровского.

5) Из дел Государственного архива.

6) Из дел Штаба Гвардейского корпуса.

7) Из современного камер-фурьерского журнала.

Доставлены еще некоторые дополнения к прежде сообщенным воспоминаниям от генерал-адъютантов: графа Орлова, графа Адлерберга, Философова и Ростовцова.

Это второе издание напечатано также в 25 экземплярах.

В России и в остальной Европе давно утвердилась мысль, что **император Александр**, до последних дней своих, имел тайное намерение отречься от престола и перейти к жизни частной. Обыкновенно думали, что это намерение родилось в нем после низложения Наполеона, когда восстановитель законных царств и умиритель Европы, утомленный славой величия, разочарованный в мечтах о благодарности и привязанности человеческой, сосредоточился более в самом себе и от помыслов земных воспарил к небесным. “Пожар Москвы, – говорил он, в 1818 году, прусскому епископу Эйлерту, – просветил мою душу, а суд Божий на обледенелых полях битв наполнил мое сердце такою теплотою веры, какой я до тех пор не ощущал. Тогда я познал Бога, как открывает его Св. писание; с тех пор только я понял и понимаю волю и закон его, и во мне созрела твердая решимость посвятить себя и свое царствование его имени и славе”. Но желание оставить престол жило в нем, даже поверялось от него лицам близким, еще гораздо ранее этого апогея его величия. У Лагарпа видели письма, относящиеся к самым первым годам царственного пути бывшего его питомца. “Когда Проведение, – писал он своему воспитателю, – благословит меня возвести Россию на степень желаемого мною благоденствия, первым моим делом будет сложить с себя бремя правления и удалиться в какой-нибудь уголок Европы, где я стану безмятежно наслаждаться добром, утвержденным в отечестве”. Мысль об отречении проявлялась даже у юноши, почти у ребенка, при жизни **императрицы Екатерины**, когда между ним и престолом стоял еще его родитель. У нас в руках документ, которого содержание в высшей степени любопытно, как первый, по всей вероятности, *гласный* проблеск этого намерения, было ли оно тогда следствием минутного раздражения, или плодом романтической настроенности, свойственной иногда молодым летам. Документ этот не менее любопытен и как свидетельство того возвышенного образа мыслей, той нежности чувств, которые представляют **Александра** явлением таким поэтическим в нашей истории. Это – письма 18-летнего **великого князя**, от 10 мая 1796 года, к Виктору Павловичу Кочубею, тогдашнему посланнику нашему в Константинополе и одному из любимейших друзей его. Вот оно, от слова до слова:

“Cette lettre, mon cher ami, vous sera remise par M. Garrick, duquel je vous ai parlé dans une de mes lettres précédentes; ainsi je peux vous parler librement sur quantité de choses.

Savez-vous, mon cher ami, que réellement cela n'est pas bien que vous ne m'instruisez sur rien de ce qui vous regarde, car je viens d'apprendre que vous avez demandé votre congé pour aller faire une cure en Italie et que delà vous irez en Angleterre pour quelque temps. D'où vient que vous ne m'en dites rien? Je

commence à croire que vous doutez de mon amitié pour vous, ou que vous n'avez pas assez de confiance en moi; car, j'ose le dire, je la mérite réellement par l'amitié sans bornes que je vous porte. Ainsi, je vous en conjure, instruisez-moi de tout ce qui vous regarde et croyez que vous ne pourrez me faire un plus grand plaisir. Au reste je vous avoue, que je suis bien charmé de vous savoir quitte de cette place, qui ne pouvait que vous procurer des désagrémens sans être compensée par aucune jouissance quelconque.

Ce M. Garrick est un très joli garçon; il a passé quelque temps ici et dans ce moment il va en Crimée, d'où il s'embarquera pour Constantinople. Je le trouve bien heureux, parcequ'il aura l'occasion de vous voir et je lui envie en quelque façon son sort, d'autant plus que je ne suis nullement content du mien. Je suis enchanté que la matière se soit engagée d'elle-même, car j'aurais été embarrassé de commencer ce sujet. Oui, mon cher ami, je le répète, je ne suis nullement satisfait de ma position: elle est beaucoup trop brillante pour mon caractère qui n'aime que la tranquillité et la paix. La cour n'est pas une habitation faite pour moi; je souffre chaque fois que je dois être en représentation et je me fais du mauvais sang en voyant ces bassesses qu'on fait à chaque instant pour acquérir une distinction pour laquelle je n'aurais pas donné trois sols. Je me sens malheureux d'être obligé d'être en société avec des gens que je ne voudrais pas avoir pour domestiques et qui jouissent ici des premières places, tels que le P. S..., M. P..., le P. B..., les deux C. S..., M... et un tas d'autres, qui ne méritent pas même d'être nommés, qui, hautains avec leurs inférieurs, rampent devant celui qu'ils craignent. Enfin, mon cher ami, je ne me sens pas du tout fait pour la place que j'occupe dans ce moment et encore moins pour celle qui m'est destinée un jour et à laquelle je me suis juré de renoncer, soit d'une manière, soit de l'autre.

Voilà mon cher ami, le grand secret qu'il me tardait depuis si longtemps de vous communiquer et dont je n'ai pas besoin de vous recommander le silence, car vous sentez que c'est une chose qui peut me casser la tête. J'ai prié M. Garrick, qu'en cas qu'il ne puisse vous remettre cette lettre, qu'il la brûle et qu'il n'en charge personne pour vous.

J'ai beaucoup pesé et combattu cette matière, car il faut que je vous dise que ce projet m'est entré en idée avant même que je vous aye connu, et je n'ai pas tardé à me décider au parti que j'ai pris.

Nos affaires sont dans un désordre incroyable; on pille de tous cotés; tous les départemens sont mal administrés; l'ordre semble être banni de partout, et l'Empire ne fait qu'accroître ses domaines; ainsi comment se peut-il qu'un seul homme puisse suffire à le gouverner et, encore plus, à y corriger les abus; c'est absolument impossible non seulement à un homme de capacités ordinaires comme moi, mais même à un génie, et j'ai eu toujours pour principe qu'il valait mieux ne pas se charger d'une besogne, que de la remplir mal; c'est d'après ce principe que j'ai pris la résolution dont je vous ai parlé ci-dessus. Mon plan est, qu'ayant une fois renoncé à cette place si scabreuse (je ne peux pas fixer l'époque d'une telle renonciation), j'irai m'établir avec ma femme aux bords du Rhin, où je vivrai tranquille en simple particulier, faisant consister mon bonheur dans la société de mes amis et l'étude de la nature.

Vous vous moquerez de moi; vous direz que c'est un projet chimérique: vous en êtes le maître; mais attendez l'événement et après cela je vous permets de juger. Je sais que vous me blâmerez; mais je ne peux pas faire autrement, car le

repos de ma conscience est ma première règle, et elle ne pourrait jamais rester en repos, si j'entrepris une chose au-dessus de mes forces. Voilà, mon cher ami, ce qu'il me tardait tant de vous dire; à présent que cela est fait, il ne me reste qu'à vous assurer, qu'où que je serai, heureux ou malheureux, dans le faste ou dans la misère, une de mes plus grandes consolations sera votre amitié pour moi, et croyez que la mienne ne finira qu'avec ma vie.

Adieu, mon cher et vrai ami; ce qui pourrait m'arriver en attendant de plus heureux, cela serait de vous revoir.

Ma femme vous dit mille choses; elle a des idées toutes conformes aux miennes**.

Миновали многие годы. Тот, кто в первой юности мечтал о частной жизни на берегах Рейна, перешагнув его дважды с лаврами победы и с ветвью мира, отомстив за истребление Москвы сохранением Парижа. Россия сияла славою своего монарха; коленопреклоненная Европа звала его своим избавителем, своим земным провидением. Но среди блеска всего величия, какое только доступно человеку, **Александр** – как бы исполнилось уже его призвание – не чувствовал себя счастливым на престоле. В нем таилась прежняя мысль и вскоре она выразилась еще положительнее.

Было лето 1819 года. В то время гвардейские полки стояли лагерем, под Красным Селом, не в составе целого корпуса, как ныне, а побригадно. Кончалась очередь той бригады 1-й пехотной дивизии, которой командовал **великий князь Николай Павлович**^{2*}. **Государь** лично присутствовал при сделанном ей, перед выступлением из лагеря, линейном учении, остался доволен и был чрезвычайно милостив к своему брату.

После ученья они обедали у **великой княгини Александры Феодоровны**, втроем. Беседа, самая дружественная, переходила сперва от одного обыкновенного предмета к другому; но вдруг **государь** дал ей совершенно неожиданный оборот. Он стал говорить, что с радостью видит семейное и родительское счастье молодой четы^{3*}; что сам никогда его не испытывал, вина в этом связь, которую имел с молодости; что, впрочем, и воспитание, данное ему и брату его **Константину**, не было направлено к тому, чтобы научить ценить подобное счастье, и что у обоих нет даже детей, которых можно бы им признать. Монархам – продолжал он далее – для тяжелых и постоянных трудов, сопряженных с исполнением лежащих на них обязанностей, необходимы, сверх других качеств – в нашем веке еще более чем когда либо – здоровье и физическая крепость, а он чувствует постепенное их ослабление и предвидит что вскоре не будет более в состоянии исполнять эти обязанности так, как он всегда их понимал; почему считает за долг и непреложно решился отказаться от пре-

* Переводы на русский язык как сего письма, так и других, находящихся в тексте рассказа, помещены после всех приложений.

2* Эту бригаду (2-ю) составляли полки лейб-гвардии Измайловский и Егерский и лейб-гвардии Саперный батальон.

3* У нее был уже тогда сын **Александр** и **великая княгиня** была беременна дочерью **Марию**.

стола лишь только заметит, по упадку своих сил, что настало к тому время. “Я не раз говорил об этом с братом **Константином**, – заключил **государь**, – но он, будучи одних со мною лет, в тех же семейных обстоятельствах и с врожденным, сверх того, отвращением от престола, решительно не хочет мне наследовать, тем более что мы оба видим на вас явный знак благодати Божьей, даровавшей вам сына. И так вы должны наперед знать, что призываетесь, в будущем, к **императорскому** сану”.

Как громом были поражены молодые супруги этой внезапной и грозной для них вестью. В слезах, они не находили слов для ответа.

Видя сильное волнение **великого князя** и его супруги, **Александр**, с отличавшею его ангельской лаской, старался их ободрить и успокоить. “Минута переворота так вас утрашившего, – сказал он, – еще не наступила; до нее, быть может, пройдет еще лет десять, а моя цель теперь была только та, чтобы вы заблаговременно приучили себя к мысли о непреложно и неизбежно ожидающей вас будущности”. Напрасно **великий князь** представлял, что никогда не готовился к высокому сану **императора**; что не чувствует в себе, для такого великого дела, ни достаточных сил, ни достаточной крепости духа; что у него одно желание – служить всегда **государю**, от всей души и всего разума, в назначенном ему кругу обязанностей, далее чего и не простираются его помыслы. **Государь** дружески отвечал, что он сам, при вступлении на престол, находился в подобном же положении; что, сверх того, дела были тогда крайне запущены, по отсутствию всяких основных начал в управлении: ибо хотя в последние годы жизни **императрицы Екатерины** порядку было и мало, но все несколько держалось еще прежним; со вступления же на престол их родителя, вследствие принятого правила совершенно уничтожать все, дотоле существовавшее, и остальной порядок был разрушен, без замена другим; что, следовательно, положение его было еще труднее, тогда как теперь, после преобразований, совершенных в его царствование, **великий князь** найдет все в законном течении и устройстве, и ему придется только их поддерживать.

Разговор кончился. **Государь** уехал. Но молодая чета чувствовала то же самое, что мог бы ощущать человек, который идет спокойно по ровной дороге, в прекрасной местности, между цветов, если бы вдруг у него под ногами открылась страшная пропасть и его увлекло бы туда неодолимою силою, так что он не мог бы ни отступить, ни воротиться*. Никогда до тех пор **великий князь** не был ни приобщаем к участию в государственных соображениях, ни вводим в дела высшего управления. До 1818 года он не имел даже никаких служебных занятий, и все его знакомство со светом ограничивалось впечатлениями, которые уносил он в душе, проводя каждое утро, по часу и более, в дворцовых передних, или в секретарской комнате, посреди шумного собрания военных и других лиц, которые имели доступ к **государю** и, до приема, развлекали себя большей частью шутками и насмешками, иногда и интригами. Часы эти, ко-

* Сравнение это заимствовано в точности из собственноручной записки в Бозе почившего **императора Николая I**. То же самое было наблюдаемо везде, где изображаются личные чувства и впечатления его **величества**.

нечно, не были для молодого человека совершенно потеряны, представляя ему случай к изучению людей: он постоянно наблюдал, многое видел, многое понял, многих узнал и – в редком обманулся. Но все это служило более уроком для частной жизни, нежели приготовлением к престолу. Только осенью 1818 года **великий князь** был назначен командиром гвардейской бригады, а за несколько времени перед тем вступил в управление Инженерным корпусом, по возложенному на него, в июле 1817 года, в один день с назначением шефом лейб-гвардии Саперного батальона, званию генерал-инспектора. На сан **императорский** он смотрел не иначе, как с благоговейным страхом, особенно при живом примере брата, который отдавал всего себя в жертву своему долгу и, между тем, так мало успел стяжать благодарности – по крайней мере от современников. И вдруг, вместо призвания, предопределенного **великому князю** порядком рождения, исполнять ревностно одни скромные обязанности подданного, вместо тихих радостей едва начавшегося семейного счастья, перед ним открывалась столь неожиданная будущность – нести тяжкое; грозно-ответственное перед совестью и Богом, бремя владычества над огромнейшею державою в мире!..

После описанного разговора, **государь**, при беседах с **великим князем** и его супругою, нередко опять намекал на тот же предмет, но никогда не входил в подробности, а они сами всячески старались от сего уклоняться. Между тем время текло без видимых действий к осуществлению выказанного **Александром** намерения.

20 марта 1820 года, как известно, был расторгнут брак **цесаревича Константина Павловича с великою княгиней Анной Феодоровной**. В тот же день последовал манифест, которым узаконялось, что лицо **императорской** фамилии, вступившее в брачный союз с лицом, не имеющим соответственного достоинства, т.е. не принадлежащим ни к какому царственному или владетельному дому, не может сообщать ему прав, принадлежащих членам **императорской** фамилии, и что дети, от такого союза происшедшие, не имеют права на наследование престола. Как бы раскрывая перед народом тайную цель, в видах которой издан был манифест, **цесаревич** 12 мая того же года сочетался с графиней Иоанною Грудзинскою, княгиней Ловицкою. И прежде уже – мы видели это из слов **императора Александра – цесаревич** уклонялся от восприятия царского венца; но если бы и было еще с его стороны колебание, то всенародный закон, которым его супруга и будущее их потомство вперед устранились от состава и прав **императорской** фамилии, конечно мог и должен был утвердить его решимость: по крайней мере он скоро открылся в ней тому из младших своих братьев, к которому питал особенно теплую дружбу.

После тяжелой болезни **великий князь Михаил Павлович** пользовался, в летние месяцы 1821 года, водами в Карлсбаде и Мариенбаде, и на возвратном пути заехал в Варшаву – постоянное местопребывание **цесаревича**. Туда, к тому же времени, ожидали с Эмских вод и **великого князя Николая Павловича** с супругою. В приготовлениях к их приему, **цесаревич** сказал однажды своему брату: “видишь ли, Michel, – так обыкновенно он его звал, – с тобою мы по домашнему, а когда жду брата **Николая**, мне все кажется будто готовлюсь встречать самого **государя!**” Эти слова,

брошенные мимоходом, были только введением к открытию важнейшему. Однажды оба брата прогулировались вместе в коляске. “Ты знаешь мою доверенность к тебе, – сказал вдруг **цесаревич**, – теперь хочу еще более доказать ее, вверив тебе великую тайну, которая лежит у меня на душе. Не дай Бог нам дожить до величайшего несчастья, какое только может постигнуть Россию: потери **государя**; но знай, что если этому удару суждено совершиться еще при моей жизни, то я дал себе святое обещание отказаться, навсегда и невозвратно, от престола. У меня два главные к тому побуждения. Я, во-первых, так люблю, уважаю и чту брата **Александра**, что не могу без горести, даже без ужаса, вообразить себе возможность занять его место; во-вторых, жена моя не принадлежит ни к какому владетельному дому и, что еще более, она – полька: следственно нация не может иметь ко мне нужной доверенности и отношения наши будут всегда двусмысленны. Итак, я твердо решил уступить мое право брату **Николаю** и ничто, никогда, не поколеблет этой, здраво обдуманной, решимости. Покамест, она должна оставаться между нами; но если бы когда-нибудь брат **Николай** сам заговорил с тобою об этом, заверь его моим словом, что я буду ему верный и ревностный слуга до гроба, везде где он захочет меня употребить, а когда б и его при мне не стало, то с таким же усердием буду служить его сыну, может быть еще и с большим, потому что он носит имя моего благодетеля”.

Через несколько дней после этого разговора приехал в Варшаву **Николай Павлович**. **Цесаревич** принял нового гостя со всегдашнею приветливостью, но приводил его часто в замешательство почестями, не соответствовавшими его сану. **Великий князь** всеми мерами старался от них уклониться и просил освободить его от такого почета, который принимал иногда даже вид насмешливости; старший брат отговаривался шуткою: “Это все от того, что ты царь Мирликийский!”

Прозвище это он с тех пор стал обыкновенно употреблять при именовании **Николая Павловича**.*

В следующую зиму, с 1821 на 1822 год, после маневров при местечке Бешенковичах, на которые собран был весь Гвардейский корпус, особенные государственные и политические соображения побудили удержать этот корпус в западных губерниях. С ним, при своих бригадах, остались и оба младшие **великие князья**. Но к новому году они приехали временно в Петербург, куда прибыли также **цесаревич** из Варшавы и **великая княгиня Мария Павловна** из Веймара, так что в столице соединилось почти все царственное семейство.

В это время должно было совершиться, или по крайней мере окончательно предуготовиться, то великое историческое событие, которое направило дальнейшие судьбы России.

Цесаревич, в приезде свои в Петербург, всегда останавливался в принадлежавшем ему Мраморном – ныне Константиновском – дворце, и после се-

* Известно, что угодник, во имя которого, при св. крещении, был наречен **великий князь Николай Павлович**, имеет наименование чудотворца Мирликийского, от города, в котором был святителем, и области, где находился этот город (*Мир в Ликии*).

мейного ужина у императрицы-матери, часов около десяти, увозил младшего брата к себе, проводя часть ночи в беседе с ним. Однажды вечером, в январе 1822 года, Михаил Павлович ожидал в своих комнатах* выхода императрицы к столу; но пробило десять часов, потом и одиннадцать, а за ним все еще не приходили; наконец позвали его уже в двенадцатом. У императрицы он нашел только цесаревича и великую княгиню Марию Павловну и, входя, увидел как великая княгиня обнимала брата, с словами: “vous êtes un honnête homme, mon frère!” Более при великом князе ничего не было сказано и ужин прошел в разговоре о предметах обыкновенных. После стола цесаревич, как всегда, повез Михаила Павловича в Мраморный дворец.

“Помнишь ли слова мои в Варшаве?” – был первый его вопрос, лишь только они сели в сани. “Сегодня вечером все устроилось. Я окончательно подтвердил государю и матушке мои намерения и неизменную решимость. Они поняли и оценили мой образ мыслей. Государь обещал составить обо всем особый акт и положить его к прочим, хранящимся на престоле в Московском Успенском соборе; но акт этот будет содержим в глубокой тайне и огласится только тогда, когда настанет для того нужная пора”.

Вследствие этого решительного объяснения, цесаревич немедленно положил официальную основу делу, письмом к императору Александру от 14 января 1822 года. Проект письма был сперва рассмотрен самим императором и даже собственноручно им исправлен. Вот это письмо, с назначением в нем и поправок Александра^{2*}:

“Всемиловейший Государь! Обнадежен опытами неограниченного благосклонного расположения Вашего Императорского Величества ко мне, осмеливаюсь еще раз прибегнуть к *оному*^{3*} и изложить у ног Ваших, Всемиловейший Государь! всенижайшую просьбу мою.

Не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть, когда бы то ни было, возведена на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь^{4*} просить Вашего Императорского Величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего государства. Сим *могу я прибавить*^{5*} еще новый залог и новую силу тому обязательству, которое^{6*} дал я *непринужденно и торжественно*, при случае развода моего с первой моей женой. Все обстоятельства нынешнего моего положения меня наиболее к *сему*^{7*} убеждают и будут пред государством нашим и светом новым *доказательством моих искренних чувств*^{8*}.

* В Зимнем дворце. Великий князь Николай Павлович жил тогда уже отдельно, в Аничкином своем доме, и потому на ужинах у императрицы бывал только по особенным случаям.

^{2*} Все поправки, сделанные императором Александром в письме, означены курсивом.

^{3*} В проекте письма было написано: “к оным”.

^{4*} В проекте было здесь еще слово “верноподданнейше”.

^{5*} Вместо сих слов, в проекте было написано: “самым я могу дать”.

^{6*} Стоявшее здесь в проекте местоимение “я” зачеркнуто.

^{7*} В проекте было написано: “в сем”.

^{8*} Сими словами заменены следующие, находившиеся в проекте: “опытом и новым залогом в непринужденном моем на то согласи, будучи торжественно сделано”.

Всемиловейший Государь! Примите просьбу мою благосклонно; испросите на оную согласие всеавгустейшей родительницы *нашей*¹ и утвердите оную Вашим **Императорским** словом. Я же потщусь всегда, поступая в партикулярную жизнь, быть примером Ваших верноподданных и верных сынов любезнейшего государства нашего”.

Но, несмотря на все предшествовавшее, **Александр** колебался еще в окончательном решении дела. Ответ его последовал спустя более двух недель, именно 2 февраля. В письме к **цесаревичу**, написанном собственной его рукой, было изображено:

“Любезнейший брат! С должным вниманием читал я письмо ваше. Умею всегда ценить возвышенные чувства вашей доброй души, сие письмо меня не удивило. Оно дало мне новое доказательство искренней любви вашей к государству и попечения о непоколебимом спокойствии оною.

По вашему желанию предъявил я письмо сие любезнейшей родительнице нашей. Она его читала с тем же, как и я, чувством приназательности к почтенным побуждениям, вас руководствовавшим.

Нам обоим остается, уважив причины, вами изъясненные, дать полную свободу вам следовать непоколебимому решению вашему, прося всемогущего Бога, дабы он благословил последствия столь чистейших намерений”.

Этим тогда все и ограничилось. **Николай Павлович** и супруга его *ничего не знали* о происшедшем. Только с тех пор императрица **Мария Федоровна**, в разговорах с ними, делала иногда намеки, в смысле сказанного прежде **государем**, и упоминала вскользь о каком-то акте отречения, составленном в их пользу, спрашивая: не показывал ли им чего **государь**? Все прочие члены царственной семьи хранили глубокое молчание и, кроме **великой княгини Марии Павловны**, из них, по-видимому, никто также не знал ничего положительного.

Но одними письмами семейными не мог быть изменен основной закон империи. Чтобы облечь содержание их в полную и обязательную силу такого же закона, необходим был еще акт государственный – тот акт, которого составление **Александр** и обещал **цесаревичу** на словах, но о котором не упомянул в своем письме. **Император** опять не спешил этим делом. Акт был составлен уже гораздо позже, в непроницаемой тайне. Единственными хранителями ее **Александр** избрал графа Аракчеева^{2*}, князя Голицына^{3*} и еще то лицо, которому признал за благо поручить самое начертание акта.

Летом 1823 года, московский архиепископ (ныне митрополит) Филарет, находясь в Петербурге для присутствования в Синоде, просил вре-

¹ В проекте было написано “моей”.

^{2*} Граф Алексей Андреевич. *Официально* он был в то время председателем Военного департамента Государственного совета и главным начальником военных поселений, в *существе* доверенным докладчиком и наперсником по всем делам государственным. Умер в 1834 году, не неся никаких служебных обязанностей в звании члена Совета и шефа Гренадерского своего имени полка.

^{3*} Князь Александр Николаевич, тогда министр духовных дел, а в последствии главноначальствующий над Почтовым департаментом. Позже, лишись зрения, он оставил служебную деятельность, сохранил только звание члена Государственного совета и умер, в 1844 году, в имении своем, на южном берегу Крыма.

менного увольнения в свою епархию. Князь Голицын, в звании министра духовных дел, объявил ему на сие, *открыто*, **высочайшее** соизволение, и в то же время, *секретно*, **высочайшую** волю исполнить, прежде отъезда, особое поручение **государя**. Вслед за тем ему было передано подлинное письмо **цесаревича** 1822 года и повелено написать проект манифеста* о назначении наследником престола **великого князя Николая Павловича** с тем, чтобы акт сей, оставаясь в тайне пока не настанет время привести его в исполнение, хранился в Московском Успенском соборе, с прочими царственными актами. Мысль о тайне тотчас родила в уме Филарета вопрос: каким же образом, при наступлении эпохи восшествия на престол, естественно имеющего быть в Петербурге, сообразить это действие с манифестом, втайне хранящимся в Москве? Он не скрыл своего недоумения и **государь**, вследствие того, соизволил, чтобы списки с составляемого акта хранились также в Петербурге: в Государственном совете, в Синоде и в Сенате, что было включено и в самый проект. Вручив последний князю Голицыну, Филарет, как уже уволенный в Москву, просил позволения откланяться и был допущен перед **государя** на Каменном Острове; но вместе получил повеление дожидаться возвращения проекта, для некоторых в нем поправок. **Государь** уехал в Царское Село. Прошло несколько дней. Филарет, заботясь о вверенной ему тайне и слыша что продолжение пребывания его в Петербурге, после того как всем уже было известно что он уволен, возбуждает вопросы любопытства, просил позволения исполнить **высочайшую** волю при проезде через Царское Село, где мог остановиться под видом посещения князя Голицына. Так и сделалось. Филарет нашел у князя возвращенный проект; некоторые слова и выражения были в нем подчеркнуты; стараясь угадывать, почему они не соответствовали мыслям **государя**, он заменил их другими.

Манифест, вышедший таким образом из-под пера архиепископа Филарета, был следующего содержания:

“Божьей милостью мы, Александр Первый, Император и Самодержец Всероссийский и проч. и проч. и проч. Объявляем всем **нашим** верным подданным. С самого вступления **нашего** на всероссийский престол, непрестанно мы чувствуем себя обязанными пред Вседержителем Богом, чтобы не только во дни наши охранять и возвышать благодетельное возлюбленного нам отечества и народа, но также предуготовить и обеспечить их спокойствие и благосостояние после нас, чрез ясное и точное указание преемника **нашего** сообразно с правами **нашего императорского дома** и с пользами империи. Мы не могли, подобно предшественникам **нашим**, рано провозгласить его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли благоугодно неведомым судьбам Божиим даровать **нам** наследника

* Дотоле составление важных государственных актов возлагалось всегда на Михаила Михайловича Сперанского, который, в эту эпоху, снова (с 1821 года) был приближен к лицу и доверию **императора Александра**. От чего же сочинение именно *этого* манифеста доверено было архиепископу Филарету, не имевшему прежде никогда подобных поручений? Не для отвращения ли всяких подозрений в государственной важности дела, если бы и узнали в публике, что велено написать что-то секретное лицу новому и притом духовному?

престола в прямой линии. Но чем далее протекают дни **наши**, тем более спешаем **мы** поставить престол **наш** в такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остаться праздным.

Между тем как **мы** носили в сердце **нашем** сию священную заботу, возлюбленный брат **наш**, **цесаревич и великий князь Константин Павлович**, по собственному внутреннему побуждению, принес нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое он мог бы некогда быть возведен по рождению своему, передано было тому, кому оно принадлежит после него. Он изъявил при сем намерение, чтобы таким образом дать новую силу дополнительному акту о наследовании престола, постановленному **нами** в 1820 году, и им, поколику то до него касается, непринужденно и торжественно признанному.

Глубоко тронуты **мы** сею жертвою, которую **наш** возлюбленный брат, с таким забвением своей личности, решился принести для утверждения родовых постановлений **нашего императорского** дома и для непоколебимого спокойствия **всероссийской империи**.

Призвав Бога в помощь, размыслив зрело о предмете, столь близком к **нашему** сердцу и столь важном для государства, и находя, что существующие постановления о порядке наследования **престола**, у имеющих на него право не отъемлют свободы отречись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола, – с согласия августейшей родительницы **нашей**, по дошедшему до **нас** наследственно верховному праву главы **императорской** фамилии, и по врученной **нам** от Бога самодержавной власти, **мы** определили: *во-первых*: свободному отречению первого брата **нашего**, **цесаревича и великого князя Константина Павловича** от права на **всероссийский престол** быть твердым и неизменным; акт же сего отречения, ради достоверной известности, хранить в Московском Большом Успенском соборе и в трех высших правительственных местах империи **нашей**: в Святейшем Синоде, Государственном совете и Правительствующем Сенате; *во-вторых*, вследствие того, на точном основании акта о наследовании престола, наследником **нашим** быть второму брату **нашему**, **великому князю Николаю Павловичу**.

После сего **мы** остаемся в спокойном уповании, что в день, когда Царь Царствующих, по общему для земнородных закону, воззовет **нас** от сего временного царствия в вечность, государственные сословия, которым настоящая непреложная воля **наша** и сие законное постановление **наше**, в надлежащее время, по распоряжению **нашему**, должно быть известно, немедленно принесут верноподданническую преданность свою назначенному **нами** наследственному **императору** единого нераздельного престола **всероссийской империи**, Царства Польского и Княжества Финляндского. О **нас** же просим всех верноподданных **наших**, да они с тою любовью, по которой **мы** в попечении о их непоколебимом благосостоянии полагали высочайшее на земли благо, принесли сердечные мольбы к Господу и Спасителю Нашему Иисусу Христу о принятии души **нашей**, по неизреченному его милосердию, в царствие его вечно”.

В том же году, 25 августа, император Александр прибыл в Москву и 27-го прислал архиепископу упомянутый манифест, подписанный в Царском Селе, 16-м числом того же месяца. Он был в запечатанном конверте, с собственноручной надписью **государя**: “Хранить в Успенском соборе, с государственными актами, до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе, прежде всякого другого действия”. На следующий день посетил архиепископа граф Аракчеев и осведомясь, получены ли им известные бумаги, спросил далее: как внесутся они в собор? Филарет отвечал, что 29-го числа, в навечерие дня тезоименитства **государя**, он будет лично совершать всенощное бдение в Успенском соборе и при вступлении в алтарь, по чину службы, прежде ее начатия, воспользуется этим временем, чтобы положить запечатанный конверт в ковчег к прочим актам, не открывая впрочем никому что это значит. Мысль его была, чтобы по крайней мере те немногие, которые будут в алтаре, заметили как к государственным актам приобщено что-то неизвестное и чтобы от этого остались, в случае кончины **государя**, некоторая догадка и побуждение вспомнить о ковчеге и обратиться к вопросу: нет ли в нем чего на этот случай? Аракчеев ничего не ответил и вышел; но скоро опять возвратился с отзывом, что **государю** не угодна ни малейшая огласка. И так 29 августа, когда в соборе были только протопресвитер, сакелларий и прокурор синодальной конторы с печатью, архиепископ вошел в алтарь, показал им печать, но не надпись принесенного конверта, положил его в ковчег, запер, запечатал и объявил всем трем свидетелям, к строгому исполнению, **высочайшую** волю, чтобы о совершившемся никому не было открываемо. Он не сомневался, что существование манифеста известно, по крайней мере, князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, которому, в качестве московского военного генерал-губернатора, надписью на конверте поручалось вскрыть его в свое время, но не решился объясниться с князем по этому предмету, не имея на то уполномочия. Позже оказалось, что генерал-губернатору ничего не было сообщено и что о новом акте, положенном к прочим в Успенском соборе, он узнал только уже после кончины **императора Александра**, от самого Филарета.

По подписании манифеста и положении подлинника в Успенском соборе, списки с него были посланы в Государственный совет, Синод и Сенат, но не тотчас, а спустя довольно продолжительное время. Так, например, в Государственный совет копия с манифеста, подписанного 16 августа, достигла не ранее 15 октября. Все эти списки, как и самый подлинник, были переписаны рукою князя А.Н. Голицына и разосланы, по принадлежности, в конвертах за **императорской** печатью. На доставленном в Совет **государь** написал собственноручно: “Хранить в Государственном совете до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть, прежде всякого другого действия, в чрезвычайном собрании”. Подобные же и также собственноручные надписи были и на двух других конвертах. Рассылка копий с манифеста в Петербурге, при переходах по канцеляриям, не могла остаться столько же безгласной, как в Москве; но самое содержание конвертов, где, по красноречивому выражению архиепископа Филарета “как бы во гробе хранилась погребенной царская тайна, со-

крывавшая государственную жизнь*, было известно только трем избранникам. Публика, даже высшие сановники, ничего не знали: терялись в соображениях, догадках, но не могли остановиться ни на чем верном. Долго думали и говорили о загадочных конвертах; наконец весть о них, покружась в городе, была постигнута общей участью: ею перестали заниматься. Не знал ничего о манифесте и тот, чья судьба им решалась. Тайна была сохранена во всей целостности.

При внимательном сообщении изложенных событий, сам собою возникает ряд вопросов, которых разрешение можно теперь основать только на одних умозаключениях, более или менее вероятных; ибо истинный к ним ключ исчез вместе с деятелями. Письмо **цесаревича** об отречении и ответ **государя** последовали в самом начале 1822 года, а манифест, облекший эту домашнюю переписку в силу закона, состоялся только во второй половине 1823 года. Какая была причина сего умедления? По чувствам приязни, которые питал **Александр** ко второй супруге своего брата, можно подумать, что он хотел сперва лично удостовериться и в ее согласии на действие **цесаревича**; но он свиделся с нею, в Варшаве, осенью того же 1822 года, а манифест подписан только год спустя. Следовательно разрешение этого *первого* вопроса, как и причины медленности в рассылке списков с манифеста, едва ли не должно искать в одних личных свойствах **Александра** и в особенностях его характера. Мы знаем, что одна из часто употреблявшихся им поговорок, которой он любил держаться и на самом деле, была: десять раз примерь, а один отрежь!^{2*} Другой вопрос: от чего, когда при перемене в порядке наследия ничто не противостояло немедленному провозглашению акта самодержавной власти, а отсрочка обнародования его до эпохи упразднения престола могла, напротив, грозить важными замешательствами, предпочтено было облечь все дело тайной? Прежнее намерение **императора** – сойти с престола еще при жизни – не могло иметь здесь влияния, как потому, что исполнение его всегда оставалось во власти самодержца, так и потому, что сокрытый тайне манифест отлагал вступление **Николая Павловича** в права наследственные не до отречения, а именно *до дня* “когда Царь Царствующих воззовет **императора Александра** от временного житья в вечность”. Следовательно и на *второй* вопрос должно искать ответ в тогдашнем расположении духа и направлении мыслей **государя**, отчасти же, может быть, в опасении – плоде предшедших разговоров – чтобы и второй брат не отказался, по примеру старшего, принять бремя правле-

* Слово, произнесенное в Московском Успенском соборе, 18 декабря 1825 года.

^{2*} Так, кажется, понимал причину этого умедления и сам **цесаревич**. В “Торжественном объявлении любезнейшим соотчичам”, о котором будет сказано в своем месте. Он писал: “По возвышенности чувств души своей и по неуслыпным попечениям о благе России, **государь император** хотя удостоил меня собственноручным высочайшим **императорским** рескриптом от 2 февраля 1822 года, изъявляющим одобрение и принятие моего намерения и решения, но еще долго оставлял важность сего предмета без окончательного совершения оного государственными актами, спустя уже 18 месяцев и 12 дней присланными в Государственный совет и в Правительствующий Сенат от 16 августа 1823 г.”

ния. Так или иначе, но убеждение в необходимости тайны не оставляло **Александра** до его кончины. Незадолго перед назначенной, в осень 1825 года, поездкою в Таганрог, он признал нужным разобрать свои бумаги. Разбор их производился князем А.Н. Голицыным, в кабинете **государя** и всегда в личном его присутствии. Однажды, при откровенных беседах во время этой работы, Голицын, изъявляя несомненную надежду что **государь** возвратится в столицу в полном здравье, позволил себе, однако, заметить, как неудобно акты, изменяющие порядок престолонаследия, оставлять, при продолжительном отсутствии, необнародованными и какая может родиться от того опасность в случае внезапного несчастья. **Александр** сперва, казалось, был поражен справедливостью замечаний Голицына; но, после минутного молчания, указав рукою на небо, тихо сказал: “remettons-nous en à Dieu: Il saura mieux ordonner les choses que nous autres faibles mortels!” Наконец *третий* вопрос: слова в надписи на конвертах: “Хранить до моего востребования” имели ли в виду одну, возможную в будущем, перемену лица наследника, или входили в круг прежней мысли отречения при жизни? Могло быть и последнее: по крайней мере достоверно известно, что **Александр** постоянно возвращался к изъявлению этой мысли. Почти через два года после подписания манифеста, весной 1825 года, приехал в Петербург принц Оранский,* связанный особенной дружбой с великим князем Николаем Павловичем. **Государь** поверил и ему свое желание сойти с престола. Принц ужаснулся. В порыве пламенного сердца, он старался доказать, сперва на словах, потом даже письменно, как пагубно было бы для России осуществление такого намерения и какие, при обыкновенном стремлении изъяснять всякий поступок преимущественно в дурную сторону, могли бы возникнуть от того превратные толки. **Александр** выслушал милостиво все возражения и – остался непреклонен... Вскоре судьба должна была все иначе решить!

30-го августа 1825 года, в день своего тезоименитства, **Александр** посетил, по обыкновению, Невскую Лавру. Его сопровождал, и туда и назад, великий князь Николай Павлович. **Государь** был пасмурен, но между тем особенно благосклонен к своему брату и сказал ему, что думал купить для него дачу Мятлевой^{2*}, однако остановился за невероятно высокой ценой и жалуется ему, по его желанию, другое место, также близ Петергофа^{3*}. Ни одно слово в этой беседе не коснулось разговора 1819 года. В тот же день освящали отстроенный дворец великого князя Михаила Павловича, где был потом обед. Здесь Николай Павлович, отправлявшийся вечером на инспекцию в Бобруйск, впоследствии простился с тем, к которому всегда питал чувства благодетельствованного, и с императрицей Елисаветой Алексеевной. Михаил Павлович с своей стороны отправился в Варшаву, куда часто ездил навещать **цесаревича**.

* Впоследствии король нидерландский Вильгельм II, скончавшийся в 1849 году.

2* Знаменское близ Петергофа.

3* Теперешняя дача вдовствующей государыни императрицы – Александрия.

1 сентября, в начале 5-го часа утра, **государь** опять приехал в Невскую Лавру; но на этот раз совершенно один. Он отслушал напутственное молебствие у раки святого угодника, посетил митрополита Серафима и потом, уединясь в келье схимника Алексия, стяжавшего себе известность подвижнической жизнью, долго с ним беседовал. В половине 6-го, прямо из Лавры, он предпринял путешествие в Таганрог...

В Варшаве, со второй половины ноября, приближенные начали замечать, что **цесаревич Константин** не в обыкновенном расположении духа и чрезвычайно мрачен. Он даже часто не выходил к столу, а на распросы брата отвечал отрывисто, что ему не совсем здоровится. Прошло еще несколько дней и Михаил Павлович заметил, по дневным рапортам коменданта, что приехало два или три фельдъегеря из Таганрога, почти в след один за другим. “Что это значит?” – спросил он. – “Ничего важного, – отвечал **цесаревич**, с видом равнодушия, – **государь** утвердил награды, которые я испрашивал разным дворцовым чиновникам за последнее его здесь пребывание”. В самом деле, на другой день, награжденные явились благодарить; но **цесаревич** казался еще грустнее, еще расстроеннее. 25-го числа он опять не вышел к столу, и **великий князь**, отобедав с княгиней Ловицкою, прилег отдохнуть. Вдруг его будит **цесаревич**. “Приготовься, – сказал он, – услышать о страшном несчастье!” – “Что такое? Не случилось ли чего-нибудь с матушкой?” – “Нет, благодаря Бога; но нас, целую Россию, посетило то ужасное несчастье, которого я всегда и более всего боялся. Мы потеряли нашего благодетеля – не стало **государя!**”... Тогда только открылась причина загадочной грусти **цесаревича**. С первых дней болезни **государя**, которая, по вестям последних фельдъегерей, приняла вид самый опасный, он знал уже о ней и один носил в своем сердце терзавшие его предчувствия и беспокойство. Когда пришло известие, что великая душа **Александра** витает уже в пределах другого мира, ни княгиня Ловицкая, ни **великий князь Михаил Павлович** не подозревали даже его недуга.

Опочивший **император** не открыл своего царственного завета и на смертном одре. В минуту его кончины, из трех, находившихся при нем в Таганроге доверенных сановник – генерал-адъютанты князь Волконский, барон Дибич (начальник Главного штаба) и Чернышев – *ни один* не знал, что права старшего брата в наследовании престола перенесены на второго. В таком же неведении находилась и **императрица Елисавета Алексеевна**. На вопрос Волконского, не осталось ли после **государя** какого-либо изъявления последней его воли, она отвечала, что *ничего не знает положительного*, и советовала обратиться в Варшаву. Родилась мысль: не найдется ли чего-нибудь в пакетике, который – как известно было всем близким – покойный носил всегда при себе. По просьбе Волконского пакетик был вскрыт **императрицею**, в его присутствии; но тут отказались только две молитвы и заметки нескольких глав Священного писания*. То-

* **Императрица Елисавета Алексеевна** сперва хотела сохранить эту бумажку у себя; но потом велела Волконскому вложить ее в мундир, который надели на тело почившего **императора**, в тот самый карман, где он всегда ее носил.

гда Волконский и Дибич признали долгом донесения свои о кончине **Александра** послать – в тот же день, 19 ноября – в Варшаву, к **Константину Павловичу**, как тому лицу, которое было теперь, по закону о престолонаследии 1797 года, **императором** всероссийским. Тогда же Дибич написал о сем и в Петербург, к **императрице Марии Феодоровне**, прибавя что “с покорностью ожидает повелений от нового законного **государя**, **императора Константина Павловича**”.

Роквое послание достигло Варшавы в семь часов вечера. **Цесаревич** излил первую тяжесть скорби в объятиях брата и супруги, и потом послал за приближенными своими чиновниками. “Теперь, – сказал он **Михаилу Павловичу**, – настала торжественная минута доказать, что весь прежний мой образ действия не был личиною, кончить дело с тою же твердостью, с которой оно было начато. В намерениях моих, в моей решимости, ничего не переменялось и моя воля отказаться от престола более чем когда-нибудь непреложна!”

Из приглашенных лиц первым явился состоявший при **цесаревиче** **Николай Николаевич Новосильцов**, прежде очень близкий к **императору Александру**. **Константин Павлович** объявил ему об утрате, постигшей Россию. “Какие же теперь приказания **вашего величества**?” – спросил Новосильцов после первых восклицаний ужаса и печали. “Прошу не давать мне этого не принадлежащего титула”, – возразил **цесаревич** и рассказал как, несколько лет тому назад, он отрекся от наследия престола в пользу своего брата. В продолжение разговора Новосильцов вторично употребил **императорский** титул. “В последний раз, – закричал **цесаревич**, с некоторым уже гневом, – в последний раз прошу вас перестать и помнить, что теперь законный наш **государь** и **император** – **Николай Павлович!**” – Постепенно собрались и остальные чиновники. Тогда **цесаревич** прочел приведенную выше переписку его с **Александром** в 1822 году, и велел заняться тотчас приготовлением, в соответствии ей, писем к **императорице-матери**, к тому, которому он, в силу рескрипта **императора Александра** от 2 февраля 1822 года, уступал право свое на престол*, и наконец к князю Волконскому и барону Дибичу. Работа эта длилась всю ночь и только с 5 часов следующего утра **цесаревич** мог дать себе несколько отдыха. “Я исполнил данный обет и мой долг, – сказал он тогда **Михаилу Павловичу**, – печаль о потере нашего благодетеля останется во мне вечною; но по крайней мере я чист перед священной его памятью и перед собственной совестью. Ты понимаешь что никакая сила уже не может поколебать моей решимости, а чтоб еще более удостоверить в том матушку и брата и отнять у них последнее сомнение, ты сам отвезешь к ним мои письма. Готовься сегодня же ехать в Петербург”. – Так и сделалось: 26 числа, после обеда, **великий**

* Именно только в силу *этого* рескрипта; ибо весьма замечательно что и **цесаревич** также ничего не знал о существовании манифеста 1823 года. Сверх всех обстоятельств и документов нижеизлагаемых, это доказывается и выражением в письме 1825 года, что он “уступает право свое на наследие престола **Николаю Павловичу**”, чего, конечно, не было бы сказано, если б он знал что есть государственный акт, *прежде уже* облекший эту уступку в силу закона.

князь отправился с врученными ему письмами. Они были следующего содержания* :

“Всемиловитейшая Государыня,
Вслюбезнейшая Родительница!

С сокрушенным сердцем получив вчерашнего числа, в 7 часов вечера, поразившее меня глубочайшею горестью, от начальника Главного штаба **его императорского величества**, генерал-адъютанта барона Дибича, и генерал-адъютанта князя Волконского уведомление и акт, при сем в оригиналах прилагаемые, о кончине обожаемого нами **государя императора Александра Павловича**, моего благодетеля, спешу разделить с **Вашим императорским величеством** постигшую нас скорбь, прося Всевышнего, дабы Он всемогущею благодатию своею подкрепил силы наши к перенесению столь жестоко постигшего нас рока.

Степень, на которую меня возводит сие поразившее нас несчастье, поставляет меня в обязанность излить пред **Вашим императорским величеством**, со всею откровенностью, истинные чувствования мои по сему важному предмету.

Не безызвестно **Вашему императорскому величеству**, что, по собственному моему побуждению, просил я, блаженной памяти **государя императора Александра Павловича**, об устранении меня от права наследия **императорского престола**, на что и удостоился получить от 2 февраля 1822 года собственноручный **высочайший** рескрипт, у сего в засвидетельствованной копии прилагаемый, в коем **его императорское величество** изъявил на то **высочайшее** свое соизволение, объявля, что и Ваше **императорское величество** на то согласны, что самое и лично изволили мне подтвердить. Притом воля покойного **государя императора** была, дабы помянутый **высочайший** рескрипт хранился у меня в тайне до кончины **его величества**.

Обычки с младенчества исполнять свято волю как покойного родителя моего, так и скончавшегося **государя императора**, а равно Вашего **императорского величества**, я, не выходя и ныне из пределов оной, почтаю обязанностью моей, право мое на наследие, согласно установленному государственному акту о наследии **императорской фамилии**, уступить **его императорскому высочеству** великому князю **Николая Павловичу** и наследникам его.

С теми же чувствами откровенности вменяю в долг изъявить: что я, не простирая ни до чего более моих желаний, единственно сочту себя счастливейшим, если удостоюсь продолжать выше тридцатилетнее мое служение, блаженной памяти **государям императорам**, родителю и брату, ныне же **его императорскому величеству Николаю Павловичу**, с таким же глубочайшим благоговением, живейшим усердием и беспредельной преданностью, которые во всех случаях меня одушевляли и одушевлять будут до конца дней моих.

Изъяснив таким образом истинные и непоколебимые чувствования мои и повергая себя к стопам **Вашего императорского величества**, все-

* Оба эти письма были впоследствии обнародованы при манифесте **государя императора Николая Павловича** от 12 декабря 1825 года.

нижайше прошу, удостоив благосклонным **Вашим** принятием сие письмо, оказать мне милость, объявлением оногo где следует, для приведения в надлежащее исполнение; чем совершится в полной мере и силе соизволение **его императорского величества**, покойного **государя** и благодетеля моего и вместе согласие на оноe **Вашего императорского величества**.

При сем осмеливаюсь также всенижайше представить **вашему императорскому величеству** копию с письма моего **его императорскому величеству государю императору Николаю Павловичу**, вместе с сим посланного.

Есмь с глубочайшим благоговением,
Всемиловитейшая государыня!
Вашего императорского величества,
всенижайший и всепокорнейший сын
Константин цесаревич”.

“Любезнейший брат!

С неизъяснимым сокрушением сердца получил я, вчерашнего числа вечером в 7 часов, горесное уведомление о последовавшей кончине обожаемого **государя императора Александра Павловича**, моего благодетеля.

Спеша разделить с **Вами** таковую, постигшую нас тягчайшую скорбь, я поставляю долгом **Вас** уведомить, что вместе с сим отправил я письмо к **ее императорскому величеству**, вселюбезнейшей родительнице нашей, с изъявлением непоколебимой моей воли в том, что по силе **высочайшего** собственноручного рескрипта покойного **государя императора**, от 2 февраля 1822 года ко мне последовавшего, на письмо мое к **его императорскому величеству**, об устраниении меня от наследия **императорского** престола, которое было предъявлено родительнице нашей, удостоилось как согласия, так и личного **ее величества** мне о том подтверждения, уступаю вам право мое на наследие **императорского все-российского престола** и прошу любезнейшую родительницу нашу о всем том объявить где следует, для приведения сей непоколебимой моей воли в надлежащее исполнение.

Изложив сие, непременно за тем обязанностию поставляю всеподданнейше просить **Вашего императорского величества** удостоить принять от меня первого верноподданническую мою присягу, и дозволить мне изъяснить, что, не простирая никакого желанья к новым званиям и титулам, ограничиться тем титулом **цесаревича**, коим удостоен я за службу покойным нашим родителем.

Единственным себе счастьем навсегда поставляю, ежели **Ваше императорское величество** удостоите принять чувства глубочайшего моего благоговения и беспредельной преданности, в удостоверение коих представляю залогом свыше 30-летнюю мою верную службу и живейшее усердие, блаженной памяти **государям императорам** родителю и брату

оказанные, с коими до последних дней моих не престану продолжать **Вашему императорскому величеству** и потомству **Вашему** мое служение при настоящей моей обязанности и месте.

Есмь с глубочайшим благоговением,
всемиловитейший государь!
Вашего императорского величества,
вернейший подданный
Константин цесаревич”.

Сверх этих официальных писем **цесаревич** написал еще к **Николаю Павловичу** следующее частное:

“По собственным твоим чувствам, любезный **Николай**, ты легко оценишь сколько потеря благодетеля, обожаемого **Государя** и возлюбленного брата жестока в особенности для меня, связанного с ним от первых дней детства. Тебе довольно известно за какое счастье я почитал служить ему и исполнять его волю во всем важном и неважном. Его намерения и повеления всегда были и, хотя его уже не стало, всегда будут мне священны и я не престану им повиноваться до конца жизни. Перехожу к делу и извещаю тебя что, в исполнение воли покойного нашего **Государя**, я послал к матушке письмо, содержащее в себе выражение непреложной моей решимости, заранее освященной как покойным моим повелителем, так и нашей родительницей. Не сомневаясь что ты, любезный брат, привязанный к покойному душою и сердцем, в точности исполнишь его волю и то, что было сделано с его соизволения, приглашаю тебя распорядиться соответственно тому и почтить тем память брата, который тебя любил и которому наше государство обязано своей славой и настоящим величием. Сохрани мне дружбу свою и доверенность, любезный друг, и будь навсегда уверен в моей верности и преданности. Официальное мое письмо передаст тебе все остальное. Брат **Михаил** везет его к тебе и сообщит все подробности, каких ты пожелаешь. Не забывай меня, любезный друг, и верь ревности и усердию вернейшего из братьев и друзей”.

Посланные **цесаревичем**, в то же самое время, ответы Волконскому и Дибичу были совершенно одинакового между собой содержания; но сверх того к Волконскому было еще особое письмо, с надписью: “*Секретно*”. В первых, после изъяснения чувств своей горести, **цесаревич** прибавлял: “спешу вас уведомить, что я остаюсь при теперешнем моем месте, товарищем вашим (т.е. в звании генерал-адъютанта), и потому ни в какие распоряжения войти не могу, а получите вы оные из С.-Петербурга, от кого следует... Впрочем, ежели угодно будет при сем случае принять мой дружеский совет, я полагаю, что о всяких делах, разрешения от **высочайшей** власти требующих, должно вам относиться в С.-Петербург, а ко мне подобных представлений не присылать”. *Секретное* письмо к князю Волконскому было следующее: “Для собственного вашего и барона Ивана Ивановича (Дибича) сведения посылаю при сем, в заведительствованной копии, собственноручный покойного **государя им-**

ператора Александра Павловича ко мне рескрипт от 2 февраля 1822 года, с присовокуплением, что по воле его же, покойного **государя**, хранился онный у меня в тайне до кончины его **императорского величества**, и что, в следствие таковой же **высочайшей** воли, утвержденное в нем непоколебимое решение мое просил я вселюбезнейшую родительницу мою **государыню императрицу Марию Феодоровну** привести ныне в надлежащее исполнение, с каковым распоряжением брат мой, **великий князь Михаил Павлович**, здесь находившийся, изволил сего числа отправиться с С.-Петербург. Полагаясь совершенно на дружеское ко мне ваше и барона Ивана Ивановича расположение, я остаюсь в полной мере удостоверенным, что сей рескрипт останется между вами в глубокой тайне, до надлежащего в свое время по оному действия”.

Но что происходило там, откуда **цесаревич** приказывал ждать и испрашивать повелений?

25 ноября, вечером, великий князь Николай Павлович играл в Аничкином доме с своими детьми, у которых были гости. Вдруг, часов в 6, докладывают что приехал с.-петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович. **Великий князь** вышел в приемную. Милорадович ходил по ней скорыми шагами, весь в слезах и с платком в руке. “Что это, Михайло Андреевич? Что случилось?” – “Il y a une horrible nouvelle, Monseigneur!” – **Великий князь** поспешно ввел его в кабинет и старый воин, взрыдав, подал письма от князя Волконского и барона Дибича: “L’Empereur se meurt, – прибавил он, – il n’y a plus qu’un faible espoir!” – У **Николая Павловича** подкосились ноги. Чтобы прочесть письма, он принужден был сесть. В них извещали, что хотя не вся еще надежда потеряна, но положение **государя** очень опасно. Первая мысль сына обратилась к матери; но пока он обдумывал как бы с возможной осторожностью передать ей ужасную весть, все было уже объявлено **императрице** приближенным ее секретарем Вилламовым, к которому также были письма из Таганрога. В ту минуту как **великий князь**, рассказав о полученном известии своей супруге, готовился ехать к родительнице, она сама прислала за ним из Зимнего дворца. **Великий князь** нашел ее в том смертельном встревожении, которого боялся. Состояние **императрицы** было до того ужасно, что нежный сын не решился ее покинуть и остался на всю ночь близ ее почивальни, в камердинерской комнате, с адъютантом своим и сотоварищем молодости, Владимиром Федоровичем Адлербергом*. Разговор их сосредоточился естественно на полученной из Таганрога вести и **великий князь**, между прочим, сказал: “Если Бог определит испытать нас величайшим из несчастий, кончиной **государя**, то, по первому известию, надобно будет тотчас, не теряя ни минуты, присягнуть брату **Константину**”. Ночью **императрица** часто призывала к себе сына, ища утешений, которых он не в силах был ей подать. Под утро, часов в 7, приехал фельдъегерь с известием о перемене к лучшему и с письмом от импе-

* Ныне граф, генерал-адъютант, министр императорского двора и уделов, канцлер Российских орденов и командующий Главной императорской квартирой.

ратрицы Елисаветы Алексеевны. “Il y a un mieux sensible, – писала она – mais il est très faible”. После обедни и молебствия о здравии, день 26-го прошел в борьбе между страхом и надеждой. Утром 27-го также назначены были обедня и молебствие. **Императорская** фамилия, с несколькими приближенными, слушала божественную службу в большой дворцовой церкви; прочие знатнейшие сановники были собраны в Александровской Лавре. Во дворце, **императрица** стояла возле алтаря, в ризнице, откуда вела стеклянная дверь в переднюю. **Великий князь** стал там же и приказал старому камердинеру **императрицы**, Гриму, в случае если бы приехал новый фельдъегерь из Таганрога, подать ему знак в эту дверь. Едва кончилась обедня и начался молебен, знак был подан. **Великий князь** тихо вышел из ризницы и, в библиотеке бывшей половины короля прусского, увидел графа Милорадовича, по лицу которого тотчас угадал ужасную истину* “C’est fini, Monseigneur, – сказал граф, – courage maintenant, donnez l’exemple”, и повел его под руку; у перехода бывшего за прежней Кавалергардской залой^{2*}, **великого князя** оставили последние силы; он упал на стул и послал за лейб-медиком **императрицы** Рюлем, без которого опасался нанести ей удар. Рюль скоро явился и тогда они пошли втроем. Молебен еще продолжался; но от **императрицы** не укрылось продолжительное отсутствие ее сына: она стояла, на коленях, в томительной тревоге ожидания. Войдя в ризницу, **великий князь** безмолвно простерся на землю. По этому движению, сердце матери все поняло и страшное оцепенение сковало ее чувства; у нее не было ни слов, ни слез. **Великий князь** прошел, через алтарь, остановить службу и привел к своей родительнице совершавшего молебен духовника ее, Криницкого, с крестом. Тогда только, приникнув к распятию, она могла пролить первые слезы. “Вдруг, – пишет один из свидетелей этого события^{3*}, – когда, после громкого пения певчих, в церкви сделалось тихо и слышалась только молитва, в полголоса произносимая священником, раздался какой-то легкий стук за дверями – от чего он произошел, не знаю: помню только то, что я вздрогнул и что все, находившиеся в церкви, с беспокойством оборотили глаза на двери; никто не вошел в них; это не нарушило моления, но оно продолжалось недолго – отворяются северные двери: из алтаря выходит **великий князь Николай Павлович**, бледный; он подает знак рукой к молчанию: не умолкло, оцепенев от недоумения; но вдруг все разом поняли, что **императора** не стало; церковь глубоко охнула. И через минуту все пришло в волнение; все слилось в один говор криков, рыдания и плача. Мало по малу молившиеся разошлись, я остался один; в смятении мыслей, я не знал куда идти, и наконец, машинально, вместо того, чтобы выдти общими дверями из церкви, вошел северными дверями в алтарь. Что же я увидел? Дверь в боковую горницу отворена; там

* Известие в Петербург пришло, следовательно, почти двумя сутками позже нежели в Варшаву. Письмо к **императрице** барон Дибич прислал дежурному генералу Потапову, который вручил его Милорадовичу.

^{2*} Теперь Александровская зала; перехода более не существует.

^{3*} Славный наш Жуковский, в то время наставник **великого князя Александра Николаевича**, ныне благополучно **царствующего государя императора**.

императрица Мария Феодоровна, почти бесчувственная, лежит на руках **великого князя**; перед нею, на коленях, **великая княгиня Александра Феодоровна**, умоляющая ее успокоиться: “Maman, chère maman, au nom de Dieu, calmez-vous!” – В эту минуту священник берет с престола крест и, возвысив его, приближается к дверям; увидя крест, **императрица** падает пред ним на землю, притиснув голову к полу почти у самых ног священника. Несказанное величие этого зрелища меня сразило; увлеченный им, я стал на колена перед святыней материнской скорби, перед головою **царицы**, лежащей в прахе под крестом испытующего спасителя. **Императрицу**, почти лишенную памяти, подняли, посадили в кресла, понесли во внутренние покои; двери за нею затворились...”

Долг сыновний был исполнен. Предстоял еще другой священный долг – старшего сына русской земли. Оставив **императрицу** в объятиях своей супруги, **великий князь** вышел к внутреннему дворцовому караулу – в тот день от роты **его величества** лейб-гвардии Преображенского полка, под командой поручика Граве* и объявил людям, что Россия лишилась отца; что теперь на всех лежит обязанность присягнуть законному **государю Константину Павловичу** и что он, **великий князь**, сам идет принести ему присягу. Повторив точно то же двум другим внутренним караулам: кавалергардскому и конногвардейскому, он велел дежурному генералу Потапову^{2*} принять присягу от главного дворцового караула, а адъютанту своему Адлербергу – от Инженерного ведомства, которого, как мы уже сказали, был главным начальником. Потом **великий князь**, с графом Милорадовичем и генерал-адъютантами князем Трубецким, графом Голенищевым-Кутузовым и другими, тут находившимися, пошел в малую дворцовую церковь; но узнав, что она, после разных в ней переделок, еще не освящена, возвратился в большую, где еще оставалось духовенство после молебствия, и здесь присягнул **императору Константину** и подписал присяжный лист. Примеру его последовали все бывшие с ним и еще разные другие, случившиеся тогда во дворце, военные и гражданские чины.

Из церкви **великий князь** поспешил опять к **императрице**. Она была в своих покоях, сраженная печалью, но исполненная христианской покорности к Промыслу Всевышнего. **Николай Павлович** сообщил ей, что уже выполнил первый долг свой к новому **государю** и что все караулы, а также Милорадович и многие другие, вместе с ним присягнули. “Nicolas, qu’avez-vous fait! – воскликнула **императрица** с ужасом, – ne savez-vous donc pas qu’il y a un acte qui vous nomme héritier présomptif? – **Великий князь** впервые положительно о том слышал. “S’il y en a un, – отвечал он, – il ne m’est pas connu et personne ne le sait; mais nous savons tous que notre maître, notre Souverain légitime après l’Empereur Alexandre, est mon frère Constantin; nous avons donc rempli notre devoir: advienne ce qui pourra!”

* После адъютант **государя наследника цесаревича Александра Николаевича**, а ныне уволенный от службы генерал-майор.

^{2*} Потом корпусной командир и наконец член Государственного и Военного советов и шеф Рижского драгунского полка. Умер в 1817 году.

Пока все описанное нами происходило во дворце, в церковь Александрувской Лавры, во время причастия, вошел начальник Штаба гвардейского корпуса, Нейдгардт*, и передал горестную весть командовавшему корпусом генералу Войнову. В одну минуту она разнеслась по всей церкви и обнаружилась общим рыданием. Из числа находившихся в монастыре близкие ко двору, между ними князь А.Н. Голицын, поспешили в Зимний дворец. Поднимаясь еще на лестницу, Голицын узнал, что здесь все уже кончено. Он тотчас велел доложить о себе великому князю, и, вне себя от потери обожаемого монарха, не скрыл своего отчаяния и о совершившемся во дворце. Подтверждая сказанное императрицею, он стал укорять Николая Павловича за принесенную им присягу и требовал повиновения воле покойного государя. Великий князь, с своей стороны, изъяснял, что эта воля никогда не была оглашена и даже для него оставалась тайной; говорил, что присягой хотел утвердить уважение свое к первому и коренному закону о непоколебимости в порядке престолонаследия, уничтожить самую тень сомнения в чистоте своих намерений и охранить Россию даже от мгновенной неизвестности о законном ее государе; прибавил, что сделанное – уже невозвратно, но если бы и могло быть возвращено, то он поступил бы опять точно так же; наконец решительно отверг требование Голицына, как казавшееся ему совершенно неуместным, тем более что старший брат, которому принадлежит престол по закону, находится в отсутствии. Обе стороны были в неудовольствии: одна – за настойчивое вмешательство, другая – за упорную неуступчивость. Расстались довольно холодно.

Отсюда начался тот величественный эпизод в нашей истории, которому подобного не представляют летописи ни одного народа. История – повторим за одним великим писателем – есть не иное что, как летопись человеческого властолюбия. Приобретение власти, праведное или неправедное, сохранение или распространение приобретенной власти, возвращение власти утраченной – вот главная ее содержание, около которого сосредоточиваются все другие исторические события. У нас – она отступила от вечных своих законов и представила пример борьбы неслышанной, борьбы не о возобладании властью, а об отречении от нее!

Того же 27 числа, к двум часам пополудни, возведено было чрезвычайное собрание Государственного совета^{2*}. Известие о совершившейся присяге первый принес туда рыдающий князь Голицын. Пока собирались члены, он передавал приезжавшим разговор свой с великим князем и порицал напрасную поспешность его присягнуть, потому что в Совете есть особая бумага о порядке наследия. К этому Голицын присоединил еще другие, приведенные выше подробности: что вся бумага переписана его рукою; что экземпляры ее находятся также в Синоде и в Сенате; наконец что подлинный акт положен на престоле Московского Успенского

* Потом генерал-адъютант, командир отдельного Кавказского корпуса и сенатор; умер в 1845 году, в звании члена Военного совета.

^{2*} Совет имел тогда свои заседания, как и ныне, в Зимнем дворце, но в главном его корпусе, близ темного коридора, в теперешней зале великого князя Михаила Николаевича, где стоит большая модель корабля.

собора, с приказанием, по кончине **государя**, конверт, в котором лежит акт, вскрыть военному генерал-губернатору и епархиальному архиерею. Несмотря на то, министр юстиции, князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, один из присягнувших уже новому императору, изъявил мысль, что бумаги вскрывать не нужно и говорил далее, что не сделает этого в Сенате, что Совет есть только *государева канцелярия* и что “*les morts n'ont point de volonté*”. В таком же смысле и адмирал Александр Семенович Шишков, с отличавшим его искусственным жаром, утверждал, что империя ни на одно мгновение не может остаться без монарха и что от воли **Константина Павловича** будет зависеть принять престол или нет; но что по порядку присягнуть ему должно. Все прочие члены, однакож, были противного мнения и полагали что необходимо сперва распечатать конверт и прочесть хранящийся в нем акт. Тогда председатель Совета князь Лопухин послал правившего должность Государственного секретаря Оленина в архив за конвертом, который, по освидетельствовании целости печати, был вскрыт и находившиеся в нем бумаги, известные уже нам по их содержанию, прочитаны перед Советом во всеуслышание.

Но едва только – сказано в журнале Совета – “выслушана была с надлежащим благоговением, с горестными и умиленными сердцами, последняя воля блаженной и вечнодостойной памяти **государя императора Александра Павловича**, ознаменованная в копии с высочайшего манифеста, скрепленной собственноручно покойным **государем императором**”, как граф Милорадович, который с должностью с.-петербургского военного генерал-губернатора соединял и звание члена Совета, объявил собранию, “что его императорское высочество великий князь **Николай Павлович** торжественно отрекся от права, предоставленного ему упомянутым манифестом и первый уже присягнул на подданство его величеству **государю императору Константину Павловичу**”.

Все члены были в величайшем смущении. Совет, который всегда, и до того и после, составлял – по справедливому замечанию князя Лобанова – более лишь *канцелярию государеву*, вдруг, в минуту самую торжественную и многозначительную для империи, в минуту решения вопроса о престолонаследии, поставлен был силой обстоятельств, на степень *государственной власти**. Возвещение что назначенный манифестом наследник отрекся от престола, сделанное Совету на словах и через третье лицо, не могло, конечно, уничтожить общего колебания.

“Члены Государственного совета” – сказано далее в его журнале – по кратком совещании, обратились с просьбой к графу Милорадовичу о исходатайствовании у его императорского высочества дозволения Государственному совету явиться пред лицо его высочества дабы удостоиться из собственных его уст услышать непреложную его по сему пред-

* Из донесения Следственной комиссии известно, как один из заговорщиков, говоря после об этом событии, выразил, дерзким словом, свою преступную досаду: “Потерян случай, которому подобного не будет в целые пятьдесят лет; – сказал он, – если б в Государственном совете были головы, то ныне Россия присягнула бы и новому государю, и новым законам!” – По милости Всевышнего, в Совете были умы государственные, которые превосходно понимали и свой долг и благо России!

мету волю”. Просьба их была принята, и Совет ввели в бывшие комнаты **Михаила Павловича***, где ожидал **Николай Павлович**. “Тут, – продолжает журнал, – его **высочество** изволил всему Государственному совету сам изустно подтвердить, что ни о каком другом предложении слышать не хочет, как о том только, чтоб учинить верноподданническую присягу **его императорскому величеству государю императору Константину Павловичу**, как то он сам уже учинил; что бумаги, ныне читанные в Государственном совете, **его высочество** давно известны и никогда не колебали его решимости; а потому, кто истинный сын отечества, тот немедленно последует его примеру. После сего, по усильной просьбе членов Совета, **его императорское высочество**, прочитав поднесенные правящим должность Государственного секретаря раскрытые в собрании Совета бумаги, поспешил предложить членам идти в придворную церковь, для учинения надлежащей присяги на верное подданство **государю императору Константину Павловичу**. Вследствие сего, министр юстиции донес **его высочеству**, что как он имеет в Правительствующем Сенате бумаги, подобные тем, которые хранились в Государственном совете, то уже не будет раскрывать оных в Правительствующем Сенате”.

В образе изложения этого журнала очевидно отразились два обстоятельства: с одной стороны – крайняя поспешность его изготовления: после заседания, начавшегося в 2 часа, он был составлен, переписан, подписан всеми членами и отправлен, в копии, в Варшаву, *в тот же самый день*; с другой стороны – неподнесение его сперва к просмотру **великого князя**, который, хотя слова его составляли главную основу всего журнала, не участвовал в подписании, потому что не был членом Совета. Этим двум обстоятельствам должно приписать неточность и даже некоторое противоречие в выражениях журнала. Слышав от **императрицы-матери**, еще при жизни **императора Александра**, что есть какой-то акт отречения **цесаревича Константина**, **великий князь** свои изъяснения перед Советом относил, как нельзя сомневаться, к одному *этому* акту, а не к другим, о содержании и самом даже существовании которых он впервые услышал только после своей присяги, сначала от **императрицы-матери**, потом от князя Голицына. Иначе, если бы он объявил, как сказано в журнале, что читанные в Совете “бумаги *ему* давно известны”, то не было бы и никакого побуждения к упомянутой тут же “усильной просьбе” членов, чтобы он *прочитал эти бумаги*. Но, в поспешности, одно было смешано с другим, и в образе изложения журнала пострадала истина событий. Сверх того, в нем нет одной подробности, которая, по обыкновенным формам, может быть, и не подлежала внесению в официальный акт сего рода, но тем не менее весьма любопытна, дополняя собою общую картину. Когда, по прочтении всех бумаг, **великий князь** повторил перед членами отказ от престола и снова потребовал присяги своему брату, тогда председатель Департамента экономии, граф Литта, сказал ему: “Следуя воле покойного **императора**, мы, не присягнувшие еще **Константину Павловичу**, признаем нашим **государем Вас**; по этому вы одни можете нами

* Где ныне собственные покои **государя императора Александра Николаевича**, через коридор от тогдашней залы Совета.

повелевать, и если решимость Ваша непреложна, мы должны ей повиноваться: ведите же нас сами к присяге”. **Великий князь** охотно согласился на это, и все члены пошли за ним в большую дворцовую церковь, присягнули там в личном его присутствии, и потом введены были им в собственные комнаты **императрицы-матери**, где находились и остальные члены **императорского** дома из бывших тогда в Петербурге.

“**Государыня императрица**, – продолжает журнал, – несмотря на жестокую свою печаль, почла нужным объявить членам Государственного совета, что бумаги, ныне в Совете читанные, **ее величеству** известны; что все сие было учинено по добровольному желанию самого **цесаревича**; но что она должна, по всей справедливости, согласиться на подвиг **его императорского высочества великого князя Николая Павловича**. В заключение **ее величество** подтвердила членам Совета служить новому **государю** верой и правдой.

Так происходило это достопамятное заседание, начавшееся в комнатах Совета, продолжавшееся перед **великим князем**, перенесенное оттуда в храм Божий и наконец окончившееся в покоях **императрицы Марии Феодоровны** перед ее лицом. “Возвратясь в комнаты Совета, – заключает журнал, – члены имели рассуждение о всех бывших сего числа происшествиях, и *положили*: об оных записать в журнал, как выше сего изложено, поручив правящему должность Государственного секретаря, по установленному порядку, представить с сего журнала список, при всеподданнейшей записке от имени председателя Государственного совета, на **высочайшее** воззрение “**его императорского величества государя императора Константина Павловича**. Бумаги же, ныне в Государственном совете читанные, хранить, по-прежнему, за замком и печатью председателя, в архиве Государственной канцелярии, впредь до **высочайшего повеления**”*.

От **императрицы великий князь** снова пошел в Дворцовую церковь и, рассказав приехавшему туда митрополиту с.-петербургскому Серафиму о всем происшедшем в Совете, согласил его оставить хранившийся в Синоде пакет, впредь до повеления, не распечатанным. Потом он выслушал краткое молебствие, с провозглашением многолетия **императору Константину**, и панихиду по **усопшем императоре Александре**.

Вследствие принятых мер, в тот же самый день, как войско, так и гражданские чины были приведены к присяге новому **императору**, и нарочный фельдъегерь повез в Варшаву список с журнала Государственного совета, при докладных записках Оленина и князя Лопухина. Сверх того отправлены были туда, с донесениями о присяге, еще другие нарочные: от **великого князя** адъютант его, Лазарев, от военного министра (Татищева) адъютант Сабуров, который повез также рапорт министра финансов, от министра юстиции состоявший за обер-прокурорским столом в Сенате чиновник Никитин, и пр. Наконец **великий князь**, в нежной предупредительности к брату, велел еще ехать тотчас в Варшаву пользовавшемуся особенным расположением **цесаревича**, некогда

* Журнал был подписан двадцатью двумя членами.

его адъютанту, а в это время жившему в Петербурге в отставке, Федору Петровичу Опочинину. Лазарев повез следующее собственноручное письмо **Николая Павловича**:

“Любезный Константин!

Предстаю перед моим государем с присягой, которой ему обязан, которую уже и принес ему, со всеми меня окружавшими, в церкви, в ту самую минуту, когда разразилась над нами весть о жесточайшем из всех несчастий. Как сострадаю я тебе и как все мы несчастливы! Бога ради, не покидай нас и не оставляй одних.

Твой брат, твой верный подданный на жизнь и на смерть.
Николай”.

Оставалось, чтобы присяга, совершенная в Петербурге, была принята и всей империей. Это, по обыкновенным формам, принадлежало распоряжению Сената, который и предписал о том указами, повсеместно разосланными, того же 27 ноября, через нарочных курьеров. Введение к указам было следующее: “В Общем собрании Правительствующего Сената С.-Петербургских департаментов г.министр юстиции объявил горесное известие, что **его императорское величество, государь император Александр Павлович**, по власти Всевышнего, после тяжкой болезни, в Таганроге 19 сего ноября скончался. Правительствующий Сенат, в Общем собрании, учинив присягу на верность подданства законному наследнику, **его императорскому величеству, государю императору Константину Павловичу, приказали**: о сем повсеместно обнародовать печатными указами”. Далее следовали обыкновенные при каждой присяге распорядительные статьи. В приложенной к указам форме клятвенного обещания, не смотря на коренной закон 1797 года, определявший в точности порядок престолонаследия, сохранили выражение, которое включено было в форму присяги при **императоре Александре**: “И наследнику престола, *который назначен будет*”.

Представив ход событий в Варшаве и в Петербурге, мы перенесемся теперь в Москву, где хранился подлинный акт 1823 года и где в это время не было ни одного из членов **императорского** дома.

Опасность болезни **императора Александра** скоро огласилась и в древней нашей столице. 27 ноября – в тот день, когда Петербург уже присягал новому **государю** – в Москву прибыло известие несколько утешительное; но то был последний луч угасающей надежды. 28-го вечером к архиепископу Филарету пришел, ко всеобщей, один из его знакомых, и на вопрос: от чего он печален, отвечал: разве вы не знаете, уже с утра говорят, что мы лишились **государя**. Когда Филарет опомнился от первого испуга, ему показалось странным, что его так долго оставляет в неведении московский военный генерал-губернатор, долженствовавший, по его мнению, знать всю важность открывающихся обстоятельств. Утром 29-го он пригласил к себе одного из первых московских сановников, князя Сергея Михайловича Голицына, и отправился с ним к князю Дмитрию

Владимировичу Голицыну. Последний еще не имел никакого официального известия о кончине **государя** и архиепископ изъяснил ему свои мысли о затруднительности настоящего положения дел. **Цесаревич Константин** – говорил он – в начале 1822-го года написал к **государю** письмо о своем отречении от наследия престола; до половины 1823-го года не было составлено о том государственного акта и последовавший наконец манифест о назначении на престол второго брата остался в глубокой тайне, которая была распространена и на самое хранение манифеста. Случиться, следственно, может, что **цесаревич**, не зная о нем и считая намерение свое не получившим окончательного утверждения, убедится к принятию престола: тогда Москва может получить из Варшавы манифест о воцарении **Константина Павловича** прежде манифеста из Петербурга о вступлении на престол **Николая Павловича**. При сем разговоре обнаружилось, что генерал-губернатор – как мы уже упомянули – не знал до той минуты о существовании акта в Успенском соборе. Он изъявил было желание идти в собор, чтобы удостовериться в том; но архиепископ не согласился, представляя что из сего может возникнуть молва, какой нельзя предвидеть, и даже клевета, будто *теперь* что-то подложено к государственным актам, или что положенное подменено. Окончательно решили, в случае получения манифеста из Варшавы, не объявлять о нем и не приступать ни к какому действию в ожидании того манифеста из Петербурга, который укажет истинного монарха.

Но едва, таким образом, взята была предосторожность против возможных затруднений, как открылись еще большие с другой стороны.

Вечером того же 29-го числа приехал в Москву Мантейфель, адъютант графа Милорадовича, отправленный из Петербурга с частным от графа письмом к московскому военному генерал-губернатору, до рассылки еще сенатского указа. Милорадович уведомлял князя Голицына, что в Петербурге совершена присяга **императору Константину**, что первый приступил к ней **Николай Павлович** и что неперменная воля **великого князя** есть, чтобы она была принесена и в Москве, без вскрытия пакета, положенного в 1823 году для хранения в Успенском соборе. При таком неожиданном известии, генерал-губернатор счел необходимым узнать сперва мнение обер-прокурора Общего собрания Московских департаментов Сената, князя Павла Павловича Гагарина*, которого должность была тогда облечена особыми уполномочиями. “Присягая покойному **государю**, – отвечал Гагарин, – мы присягали вместе и тому наследнику, *который назначен будет*. Теперь мы не имеем в виду никакого акта, которым он назначил бы себе наследника: следственно долг наш – обратиться к коренному закону 1797 года; а по этому закону, при безпотомной кончине **императора**, престол переходит к старшему после него брату”. Засим Гагарин предложил собрать утром следующего дня Сенат, постановить в нем, в силу помянутого закона, определение о присяге **Константину Павловичу** и тотчас потом принести ее в Успенском соборе. Архиепископ Филарет, к которому генерал-губернатор привез письмо

* Ныне член Государственного совета.

Милорадовича, с своей стороны представлял, что это частное извещение не может, в деле такой государственной важности, быть принято за официальное. Но генерал-губернатор находил, что когда присяга принесена уже в Петербурге, то отлагать ее в Москве было бы неблагоприятно и, может быть, даже небезопасно для общественного спокойствия. Филарет продолжал представлять, что для государственной присяги в церкви необходим и акт государственный, без которого и без указа из Синода духовному начальству неудобно на это решиться. Тогда генерал-губернатор рассказал о своем свидании с Гагариным и о предположении созвать сенаторов в чрезвычайное собрание, прибавя что если Сенат не решится ни на какое действие, то он, генерал-губернатор, думает привести к присяге, по крайней мере, губернских чиновников. Архиепископ возразил, что такая мера будет не только далека от точности официальной, но неприлична, и даже может возбудить сомнение в народе, особенно если не присягнет вместе и Сенат. Наконец, когда генерал-губернатор потребовал, чтобы присяга была совершена хотя в том случае, если Сенат постановит о ней определение и оно будет прочитано в Успенском соборе, архиепископ не нашел возможным отказать в этом и принять на свою ответственность последствия такого отказа: ибо нельзя, думал он, быть в Петербурге одному, а в Москве другому **императору**, ни предположить, чтобы акт, введенный Государственному совету, Синоду и Сенату, был оставлен бездейственным иначе как по крайне важным причинам, или чтобы содержание этого акта, при надписях на конвертах и при бытности тут же верного всегда исполнителя воли почившего **императора**, князя А.Н. Голицына, осталось неизвестным. Вследствие того Филарет перестал уклоняться далее от совершения в Москве присяги, принесенной уже в Петербурге. Но как нельзя было знать, решится ли Сенат постановить определение о сей присяге, то, в избежание преждевременной гласности, старшему духовенству было только подтверждено собраться в Успенский собор на молебен, обыкновенно совершаемый 30 ноября, в честь святого Андрея Первозванного, а генерал-губернатор обещал о решении Сената дать знать архиепископу, в 11 часов утра, в Чудов монастырь.

Утром 30 числа, в 10 часов, сенаторы съехались по особым повесткам. Курьера из Петербурга с официальным известием все еще не было. Генерал-губернатор лично объявил собранию о содержании письма графа Милорадовича, а обер-прокурор предложил заготовленное заранее определение о принесении присяги **императору Константину**. Один из сенаторов, Ртищев, начал было изъяснять некоторые сомнения; Гагарин остановил его замечанием, что дело это не такого рода, по которому могло бы произойти разногласие. Другой, князь Долгорукий, требовал предъявления подлинного письма Милорадовича, чему препятствовали, однакож, разные конфиденциальные его подробности. “Разве, – спросил Гагарин, – слово московского военного генерал-губернатора для вас менее сильно, нежели письмо с.-петербургского?” Сенаторы подписали определение и все вместе пошли в собор, а генерал-губернатор послал сказать о том в Чудов монастырь. Тогда печальным благовестом в Успенский колокол дано было столице церковное извещение о преставлении **императора**. Кремль кипел народом, между которым

еще прежде разнеслась молва, что произошло нечто важное и что для этого созвано чрезвычайное собрание Сената. В соборе князь Гагарин прочел, во всеуслышание, при открытых царских дверях, определение Сената, и архиепископ Филарет, которому выпал странный жребий быть хранителем светильника под спудом, привел всех к присяге*. Вслед за тем пришел наконец из Петербурга и указ Сената от 27 ноября. Этот указ, свидетельствуя что распоряжения в одной столице согласовались с сделанными в другой, окончательно рассеял все сомнения, какие могли еще оставаться.

В Петербурге, между тем, положение дел представляло затруднения своего рода. Из Варшавы не было еще никаких известий, а после всего предшедшего и тотчас, разумеется, сделавшегося гласным, публика, даже высшие государственные сановники, не могли не находиться в некотором недоумении. Новый император отсутствовал, уполномочий от него не было, воля его и дальнейшие преднамерения оставались неизвестными, никто не знал даже его местопребывания: в Варшаве ли он еще, или уехал в Таганрог^{2*}, или едет в Петербург – все это, по необходимости, представляло нечто междуцарственное. Из членов императорского дома, мужеского пола, в Петербурге находился только Николай Павлович и ему предстояло или оставаться в совершенном бездействии, отстранив себя от всякого вмешательства в дела управления, которые, в строгом смысле службы, он мог считать себе чуждыми, или же принять в них участие и хотя до некоторой степени направлять действия тех лиц, в руках которых власть сосредоточивалась. В первом случае безукоризненно была бы охранена форма; но великому князю казалось, что, ограждая себя таким образом от внешней ответственности и попуская, между тем, делам принимать неуместное направление, он поступит слишком себялюбиво и примет на душу тяжкий грех. Во втором случае он, как не призванный волей монаршей к вмешательству в дела управления, обрекал себя на жертву, но по крайней мере с уверенностью быть небезполезным отечеству и тому, которому принес клятвенный обет верности и усердия. В таких соображениях, великий князь не мог не решиться на последний путь, который указывали ему и влечение чести и сердце. “Ожидаем нетерпеливо известий от государя Константина Павловича и его повелений, – писал он князю Волконскому, – до его приезда с помощью Божией надеемся удержать все в порядке”. – В другом письме (от 3 декабря), го-

* Подлинный манифест 1823 года, с приложениями к нему, был вынут из ковчега, распечатан и всенародно прочитан в Успенском соборе только уже 18 декабря, перед присягой государю императору Николаю Павловичу.

^{2*} “Ежели государь при вас, – писал Николай Павлович, от 2 декабря, князю Волконскому, остававшемуся в Таганроге при императрице Елисавете Алексеевне, – ради Бога скажите ему, что он не должен нас покидать; что мы его подданные; что с нетерпением его ожидаем”. Самому цесаревичу Николай Павлович, еще прежде того, писал: “Мы ждем тебя с крайним нетерпением. Незнание о том, что ты делаешь и где находишься, непомерно тяготит нас. Твое присутствие здесь, хотя бы для матушки, совершенно необходимо”.

воря о распоряжениях для перевозки тела почившего **императора**, он прибавлял: “все сношения нужные с местами, здесь находящимися, прошу делать непосредственно чрез меня”. И тут было, однако, не без трудности. Здоровье **императрицы**-матери счастливо перенесло тяжкий удар; подавая всем пример твердости, она нашла даже довольно силы в теле и духе, чтобы, непосредственно после получения рокового известия, приступить к говению и приобщиться Св. Таин, вместе с **великим князем** и его супругой*. При всем том осторожность требовала скрывать настоящий ход дел от ее мнительности и от зоркого любопытства окружающих. Но **великий князь**, возложив твердое упование на всевышний Промысл, решил действовать по его внушениям. Все бумаги, приходившие на **высочайшее** имя, приносились к нему, им вскрывались и потом, с его приказаниями, были распределяемы по принадлежности. В городе, впрочем, все было тихо и спокойно. Так, по крайней мере, уверяли граф Милорадович и те немногие лица, которых **великий князь** допускал перед собой: ибо, в этом переходном положении, он не считал приличным показываться в публице и почти не выходил из Зимнего дворца, куда переехал тотчас после печального известия, чтоб быть ближе к своей родительнице. Но, под завесой наружного спокойствия, именно в это самое время между злоумышленниками в Петербурге господствовало сильное движение, и если местное начальство нисколько еще не подозревало существования какого-либо заговора, то трудно понять как не навели его на открытие, или по крайней мере на подозрение, частые и многочисленные сходбища заговорщиков. Иностранные писатели утверждают, будто бы полиция благовременно доносила Милорадовичу о подозрительных сборищах молодых людей; но он, смеясь над ее опасениями, отвечал: “Все вздор; оставьте этих мальчишек в покое читать друг другу свои дрянные стишонки”. На самом деле было, однако, иное, и речь шла о самой горькой действительности. В то время военные имели обыкновение сходиться, после развода, в так называвшейся Конногвардейской комнате Зимнего дворца. Сюда ежедневно являлся, по служебному своему званию, один из самых деятельных заговорщиков и здесь, в шумном стечении офицеров разных чинов и других лиц, приходивших осведомляться о здоровье **императрицы**, а еще более за новостями, он с жадностью ловил и потом сообщал своим единомышленникам все что, по его мнению, могло способствовать успеху преступных их намерений. Другой заговорщик Нижегородского драгунского полка капитан Якубович, умел, хитростью и приемами бесстрашного смельчака, приобрести расположение доброго и доверчивого графа Милорадовича и, вкравшись в его дом, снискал даже некоторую к себе доверенность. Чего одному не удавалось узнать во дворце, то выведывал другой от военного генерал-губернатора, легко сдававшегося хитрости и не всегда осторожного в своей откровенности. Но собственные замыслы заговорщиков продолжали еще таиться в глубоком, для всех непосвященных, мраке.

* Исполнение этого христианского долга начато было ими 28 ноября, а приобщались они 30 числа, в день праздника св. Андрея Первозванного.

Мы оставили **великого князя Михаила Павловича** на выезде его из Варшавы, назначенном после обеда 26 ноября. Динабургского шоссе тогда еще не было: оно обязано своим существованием, почти со всеми другими в России, **царствованию императора Николая**. Дорога от Ковно в Петербург пролегла через Шавли, Митаву и Ригу. На всем протяжении до Митавы, никто еще не знал о понесенной Россией утрате; в самой Митаве **великий князь** был первым ее вестником для командира 1-го пехотного корпуса Паскевича, потом знаменитого князя Варшавского. Но тут же **Михаил Павлович**, в свою очередь, был поражен совершенно неожиданной новостью: один проезжий рассказал его свите, что в Петербурге кончина **императора Александра** уже известна и – принесена присяга **императору Константину**. “Что же будет при второй присяге другому?” – невольно вскричал он, зная ее неизбежность. В Петербург **великий князь** прибыл рано утром 3 декабря и, после краткого свидения с своей супругой, поспешил в Зимний дворец. Слух о его приезде тотчас разнесся, и у всех, кто только мог, первое движение, возбужденное общим любопытством, было устремиться также во дворец. “Присягнул ли уже **Михаил Павлович**?” – спрашивал каждый. “Нет”, – отвечали прибывшие с ним. **Императрица**-мать заперлась с новоприезжим. Брат его, в другой комнате, с трепетом ожидал решения своей участи. Наконец дверь отворилась. “Eh bien, Nicolas, – сказала **императрица**, – prosternez-vous devant votre frère Constantin, car il est respectable et sublime dans son inaltérable détermination de vous abandonner le trône”. Эти слова тяжело пали на сердце **Николая Павловича**. Кто же из нас двоих – внутренне спрашивал он себя – приносит здесь большую жертву? Тот ли, который, решась единожды отвергнуть, под видом своей неспособности, наследие отцовское, остается, верный своему слову, в том положении, какое сам себе предъизбрал, соответственно своему вкусу и желанию; или тот, который, никогда не готовившись к сану, чуждому для него по закону рождения, никогда не зная положительного решения, постановленного о его судьбе, теперь вдруг, в эпоху самую трудную, когда будущее нисколько не улыбается, должен жертвовать собой и всем для него драгоценным – семейным счастьем и покоем – чтоб покориться воле другого? “Avant que je me prosterne comme vous le dites, maman, – отвечал он, – veuillez-me permettre d’en apprendre la raison, car j’ignore lequel des deux sacrifices, dans une pareille circonstance, est le plus grand: de la part de celui qui refuse, ou bien de celui qui accepte!”

Дело, впрочем, еще отнюдь нельзя было считать окончательно решенным. Письма из Варшавы были отправлены с **Михаилом Павловичем** до получения там известия о совершившейся в Петербурге присяге, а это известие могло опять все изменить. Кроме того, одним писем **цесаревича**, несмотря на официальный их характер, недостаточно было для удостоверения народа в том, что отречение, остававшееся при жизни **императора Александра** для всех тайной, составляет и теперь, особенно же после принесенной присяги, непрременную волю законного наследника престола. Вообще, от этих писем затруднительность положения скорее возросла, нежели уменьшилась. **Михаил Павлович**, изъявляя сожаление о всем, совершившем в Петербурге, не скрывал предвидений своих на-

счет опасности новой присяги и говорил о трудности объяснить публике, почему место старшего брата, которому уже присягнули, займет вдруг второй, и растолковать каждому в народе и в войске основания и правоту этих, как он их называл, домашних сделок. **Николай Павлович**, в ответ брату, повторил говоренное им прежде другим: что не мог действовать иначе в том положении, в которое был поставлен тайной актов покойного **государя** и своим о них неведением, и что ни совесть, ни рассудок ни в чем его не упрекают. “Все, впрочем, – прибавил он, – могло бы еще поправиться и получить оборот более благоприятный если бы **цесаревич** сам приехал в Петербург, и только упорство его оставаться в Варшаве будет причиной несчастий, которых возможности я не отвергаю, но в которых, по всей вероятности, сам первый и паду жертвой”.

После долгих рассуждений, положено было написать **цесаревичу**, что **Николай Павлович** по необходимости покоряется его воле, если она будет снова и положительно изъявлена. Вследствие того в длинном письме, испрашивая окончательного решения своей участи и благословения старшего брата; обещая ему, в силу принесенной присяги, беспредельную покорность и преданность во всем что он ни повелит, наконец представляя источник и побуждения своих действий в истинном их виде и *раскрывая всю свою душу как бы в исповеди перед самим Всевышним* (подлинные слова), – **великий князь** снова просил **цесаревича** о прибытии в Петербург. Эту просьбу убедительно повторяла и **императрица-мать**. Оба письма, тут же собственноручно написанные, были отправлены в Варшаву, с фельдъегерским офицером Белоусовым, того же 3 декабря.

Тайная беседа царственной семьи, на которой все это было решено, длилась очень долго, а соразмерно тому возрастало и нетерпение находившихся во дворце узнать чем она кончится. Все бросились навстречу выходявшему от **императрицы Михаилу Павловичу**. Знали что он пользовался особенной любовью и доверенностью **государя**, которому присягнула Россия; знали также что он приехал прямо из Варшавы: следовательно должен был иметь первые и положительнейшие обо всем сведения. Но отчего же он продолжает сохранять такое неприступное молчание? Каждый искал прочесть будущность свою и России по крайней мере в его чертах, в выражении его лица; отгадать по ним развядку той задачи, которой решение, как все были уверены, он с собой привез. Пытка жгучего любопытства была тем тягостнее, что никто не отваживался выразить его прямым вопросом. Здоров ли **государь император**? Скоро ли можно ожидать сюда его **величество**? Где теперь его **величество**? Вот вопросы, которыми был осыпан со всех сторон **Михаил Павлович** при его выходе от **императрицы**, но далее которых никто не смел идти. **Великий князь**, который, точно, *один* знал – но знал без возможности объяснить – что истинный Монарх России уже *посреди их*, косвенно и уклончиво отвечал: “что **Константин Павлович** здоров; что он остался в Варшаве; что о поездке его сюда ничего не слышно и т.п.” – Освободясь от распросов, он поехал в свой дворец и там, прежде всего, отслушал панихиду по усопшем. Разумеется, и об этом также скоро узнали. Что ж все это значит? спрашивали при дворе и в городе: **великий князь** выехал из Варшавы после уже известия о кончине **Александра Павловича**, виделся

здесь и с братом, и с матерью, отслужил панихиду по покойном **государе**, а все еще не присягает новому. Отчего только он один и приехавшие с ним остаются изъятыми от долга, который велено исполнить целой России? В самом деле, все обстоятельства этого события были таковы, что ими невольно возбуждались сомнения и странные толки. Письма **цесаревича** прочла и знала одна царственная семья, и без них, без этого нового звена в сложной цепи происшествий, как и чем можно было истолковать уклонение **Михаила Павловича** от присяги и продолжительное молчание, даже бездейственность, правительства? Публика недоумевала; но догадки о таинственных причинах, препятствовавших управлению принять снова обыкновенный свой ход, вероятно и чья-нибудь нескромность, навели ее, наконец, на истинну. Разнесся слух, сперва темный и противоречивый, потом постепенно восходивший на степень достоверности, что **Константин Павлович** отказывается от престола. Общее мнение стало предусматривать, что **императором** останется не то лицо, которому принесена присяга, и заговорщики – мы скоро скажем о них подробнее – тогда же разочли, что день второй присяги, которой отменится прежняя, будет самым удобным и самым благоприятным случаем для приведения в действие их замыслов. Таким образом все, казалось, способствовало и влекло к той грозе, которая должна была разразиться над Россией, но разразиться не на ее гибель, а для обнаружения вдруг всех злоумышлений и их участников, и для указания нити и средств к истреблению зла. Над Россией бодрствовал тот же Бог, который некогда, идней другого междоцарствия, возвел на престол дом Романовых, мятежи стрелецкие окончил славным вседержавием Петра и пламень Москвы погасил в стенах Парижа!

Прошло два дня. Государев брат и спутники его все еще не присягали. Городской говор усиливался и неприятная двусмысленность положения **Михаила Павловича** становилась все тягостнее. Вследствие собственной просьбы решено было отправиться ему опять в Варшаву: по виду – для личного успокоения **Константина Павловича** касательно здоровья их родительницы, в сущности – для убеждения его прибыть в Петербург. Но чтобы не разъехаться с ответом на присягу и вообще не пропустить в пути каких-нибудь важных сообщений из Варшавы, великому князю вручена была бумага, за подписанием **императрицы-матери**, следующего содержания: “Предъявитель сего открытого предписания, его **императорское высочество государь великий князь Михаил Павлович**, любезнейший мой сын, уполномочен мною принимать моим именем и распечатывать все письма, пакеты и пр., от **государя императора Константина Павловича** ко мне адресованные”. – Он уехал после обеда 5 декабря. Прощаясь, **императрица** сказала ему: “Quand vous verrez Constantin, dites et répétez lui bien, que si l’on en a agi ainsi, c’est parceque autrement le sang aurait coulé”. – “Il n’a pas encore coulé, mais il coulera!” – отвечал он в печальном предчувствии.

В тот же день, 5 декабря, **Николай Павлович** собственноручно писал, в Таганрог, князю Волконскому: “Известия от его величества нами ожидаются с большим нетерпением, ибо все зависит от него одного. Ежели мы здесь долго останемся без его повелений, или в неизвестности его ре-

шения, *будет ли* или *не будет ли* сюда, мы не будем в состоянии отвечать здесь за поддержание нынешнего порядка и устройства и тишины, которые, благодаря Бога, *совершенны* и поразительны не только для чужестранных, но, признаюсь, и для нас самих. **Михаил Павлович**, приехавший третьего дня с известием из Варшавы, что **государь** изволит уже быть известен о несчастном вашем донесении, ничего нам не привез решительного и потому от матушки возвращен в Варшаву сего же дня, с неотступной ее просьбой пожаловать сюда, где его присутствие необходимо. Здоровье матушки хорошо; важность обстоятельств развлекает полезным образом ее мысли и не дает предаваться совершенно одному горю. Бог милостив!”

Великий князь Михаил Павлович направился в Варшаву по тому же тракту, по которому оттуда прибыл; но вскоре признал нужным остановиться. “Приехав на станцию Ранна-Пунгерн, – написал он из Ненналя, 8 декабря, брату своему в Петербург, – встретил я фельдъегеря из Варшавы с письмом к князю Лопухину* и увидев на конверте: от **его императорского высочества цесаревича**, сейчас догадался в чем дело; между тем узнал от него что Лазарев едет в след за ним, и потому я взял сего фельдъегеря с собой покуда не встречу Лазарева. Что написано князю Лопухину, того не знаю, ибо не имею права отворять. В Неннале нашел я Лазарева, который подал мне письмо, бывшее у него на имя матушки; ты из письма **Константина Павловича** увидишь все его мнение, которое согласно с тем что я тебе говорил. Теперь, не зная какие меры будут приняты в Петербурге, я думаю что хорошо мне будет здесь оставаться и ждать твоих повелений, ибо быв только в 260 верстах, если я нужен в Петербурге, сейчас могу вернуться, если нет, то могу продолжать дорогу в Варшаву, как ни в чем не бывало; может быть угодно будет матушке и тебе еще новое что-нибудь отправить к брату. Уверьте себя что я всюду готов, куда матушке и тебе угодно. Два или три дня разницы приезда моего в Варшаву ничего не сделают, ибо Опочинин уже конечно все сказал. Сделай милость чтобы приказания ко мне дошли как можно скорее”.

Письмо **цесаревича** (от 2 декабря), на которое ссылался **Михаил Павлович**, было следующее:

“Твой адъютант, любезный **Николай**, по прибытии сюда, вручил мне твое письмо. Я прочел его с живейшей горестью и печалью. Мое намерение неподвижно и освящено покойным моим благодетелем и **государем**. Твоего предложения прибыть скорее в Петербург я не могу принять и предворяю тебя что удалюсь еще дальше, если все не устроится в согласность воле покойного нашего **государя**.”

Твой по жизнь верный и искренний друг и брат
Константин”.

Вручая это письмо по приезде своем, 6 декабря, в Петербург, Лазарев рассказал, что когда он 2 числа в 9 часу вечера явился в Варшаве перед **Константином Павловичем**, с словами: “Имею счастье явиться, **Ваше им-**

* О сем письме скажется ниже.

ператорское величество”, то был отпущен с видимой переменой **цесаревича** в лице, после чего генерал Курута расспрашивал его, Лазарева, как все происходило в Петербурге и хотел отправить его обратно в тот же вечер; но, за нездоровьем, дал отдохнуть до утра, поместив его между тем в самом дворце, с строгим подтверждением никуда не отлучаться и ни с кем не говорить; по утру же в 10 часу, быв позван к **Константину Павловичу**, Лазарев получил от него помянутое письмо, с приказанием сейчас пуститься в путь, ехать как можно скорее, стараясь догнать передового фельдъегеря (везшего письмо к князю Лопухину), и никуда не заезжая и не говоря никому о письме, явиться с ним прямо в Зимний дворец.

Михаил Павлович с своей стороны, как писал о том брату, остался на станции Ненналь, в ожидании дальнейших приказаний. Но из Варшавы в Петербург вел тогда еще и другой тракт, через Брест-Литовский, и мы увидим ниже, что это обстоятельство замедлило возвращение **великого князя** в минуту самую необходимую, как будто бы все в этом деле должно было совершаться, наперекор человеческих усмотрений, особыми путями Промысла!

Почти вслед за Лазаревым, и именно 8 декабря, приехал в Петербург генерал-адъютант Толь, начальник штаба 1-й армии*, которой главная квартира была в Могилеве на Днепре. Главнокомандовавший граф Сакен отправил его к новому **императору**, с рапортом о принесенной 1-й армией присяге^{2*}, и велел ему распорядиться так, чтобы прибыть в Петербург двумя днями позже **государя**, которого предполагал уже выехавшим туда из Варшавы. Но 7 числа, на станции Боровичах, Толя достигло новое приказание графа Сакена: спешить как можно в столицу и, если не найдет там **государя**, следовать в Варшаву. Узнав в Петербурге что **государя** здесь еще нет, Толь счел долгом прежде выезда в Варшаву, явиться за повелениями к **императрице Марии Феодоровне**. Он нашел ее, как и ожидал, в глубокой скорби; но донесение о данном ему поручении ехать к **императору Константину**, **государыня** выслушала очень равнодушно и предложила ему зайти сперва к **Николаю Павловичу**. **Великий князь** принял Толя с тем же выражением сердечной горести, долго беседовал с ним о случившемся, и, казалось, желал сообщить ему нечто важное, однако от того удерживался. “Всякий из нас сделал свой долг, как честь и присяга велят”, – сказал он при прощании, но ничем не пояснил этих слов, и с столь же малым вниманием, как и **императрица**, выслушал донесение о приказании Сакена; из речей его, впрочем, можно было заключить, что **государь** не в дороге, а еще в Варшаве. Толь выехал из Петербурга, 8 декабря вечером, по Рижскому тракту. В Неннале он нашел

* Впоследствии граф и главноуправлявший путями сообщения и публичными зданиями. Умер в 1842 году.

^{2*} Известие о кончине **императора Александра** и о присяге, принесенной **Константину Павловичу**, пришло в Могилев, в сообщении военного министра Сакену, в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Вследствие сего и там немедленно совершена была присяга чинами главной квартиры и Могилевского гарнизона и, на тот же конец, разосланы курьеры к корпусным командирам.

Михаила Павловича и тут все ему объяснилось. Тотчас при встрече **великий князь** вручил Толю пакет на его имя, посланный из Петербурга в след за ним, в 9 часов вечера того же 8 числа, с нарочным фельдъегерем, который обогнал его в пути и имел приказание дожидаться в Неннале. В конверте было собственноручное письмо **Николая Павловича**: “Обстоятельства, в коих я нахожусь, – писал он, – не допустили меня лично объяснить вам, что поездка ваша и предмет оной в Варшаве – *бесплезны*. Брат мой Михаил Павлович вам лично все объяснит, а я прибавляю желание, чтобы вы *при нем оставались до возвращения его*, под предлогом ожидания **е.в. государя императора**”.

Медленно текли дни до ожидаемого возвращения из Варшавы Белосова, как вдруг 12 декабря, в субботу, часов в 6 утра, **великого князя Николая Павловича** разбудили известием, что приехал и желает его видеть полковник лейб-гвардии Измайловского полка барон Фредерикс, исправлявший в Таганроге, при императоре **Александре**, должность коменданта*. Он привез пакет от барона Дибича, “о самонужнейшем”, адресованный “**его императорскому величеству**, в собственные руки”. На вопрос, знает ли он о содержании пакета, Фредерикс отвечал отрицательно, но прибавил, что, по неизвестности в Таганроге местопребывания **государя императора**, такие же точно бумаги посланы и в Варшаву, а ему приказано только, на случай если бы **его величества** не было еще в Петербурге, вручить пакет, по чрезвычайной важности дела, **его высочеству**.

Великий князь был в тяжелой нерешимости. Проникать в тайну, предназначавшуюся единственно для **императора** – а таким еще был **Константин Павлович** – казалось ему поступком столь отважным, что одна лишь крайность могла к тому принудить; но, с другой стороны, эта крайность не истекала ли уже именно из того, что привезенные бумаги велено было, в небытность **государя**, отдать ему? Долг подданного, думал он, есть жертвовать собой, когда это необходимо для пользы службы, и – решился вскрыть таинственный пакет, с готовностью принять на себя последствия, если бы такое действие не было одобрено его братом.

При первом беглом просмотре вскрытых бумаг, его объял несказанный ужас!..

Последнее время жизни **императора Александра** было омрачено горестными для его сердца открытиями. Еще с 1816 года, по возвращении наших войск из заграничного похода, несколько молодых людей замышляли учредить у нас нечто подобное тем тайным политическим обществам, которые существовали тогда в Германии. Первое общество сего рода, основанное сперва по мысли трех лиц, постепенно увеличиваясь, в феврале 1817 года приняло уже некоторый правильный состав, под названием *союза спасения*. Горсть молодых безумцев, незнакомых ни с потребностями империи, ни с духом и истинными нуждами народа, дерзостно мечтала о преобразовании государственного устройства; вскоре, к мысли преобразований, присоединилась и святотатственная мысль царе-

* Умер в 1849 году, в чине генерал-лейтенанта и в должности начальника 2-й гренадерской дивизии.

убийства. Есть повод думать, что часть этих намерений сделалась известной **Александр**у еще в 1818 году, в бытность его в Москве, когда приближенные заметили в нем внезапное изменение расположения духа и особенную мрачность, какой прежде никогда не видели. Впоследствии внешнее проявление тяготившей его скорби более или менее изгладилось; но побуждения к ней не переставали сокровенно существовать. По влечению своего сердца всегда более склонный к милосердию, нежели к строгости, **государь** смотрел на это гибельное начало глазами великодушия, в надежде, вероятно, что само время исцелит заблуждавшихся, из числа которых не от одного, по способностям ума и образованию, можно было, при другом направлении, ожидать истинной для государства пользы. Известное ему и весьма немногим доверенным он хранил в глубочайшей тайне, ограничиваясь бдительным наблюдением. Но показание одного чиновника, добровольно сделанное пред командиром Гвардейского корпуса, генерал-адъютантом Васильчиковым, пролило на то, что прежде казалось мало важным, более ясный и, вместе, более устрашавший свет, а потом, вдруг двумя разными путями: через юнкера 3-го Бугскаго уланского полка украинского военного поселения Шервуда и через капитана Вятскаго пехотного полка Майбороду, обнаружено было существование заговора, покрывавшего, как сетью, почти целую империю. Мера долготерпеливости **Александра** истощилась. Он, уже во время своего пребывания в Таганроге, велел захватить тех из главных злоумышленников, о которых тогда имели сведения. Этому повелению – последнему его царственному акту – Россия обязана была предупреждением замыслов гораздо обширнейших, которых лишь одни частные и разрозненные попытки бедственно ознаменовали собой исход 1825 года. По кончине **Александра**, находившиеся при нем и посвященные в эту важную тайну лица сочли долгом довести о ней до сведения нового **государя** и, в неизвестности где он находится, барон Дибич послал те два пакета, из которых один был привезен в Петербург Фредериксом.

Вскрытое **великим князем** донесение, описывая предшедший ход событий, изображало и современное положение дела*. Дибич писал, что в заговоре принимают участие многие сообщники; что самое большее число злоумышленников в главной квартире 2-й армии и в части войск входящих в ее состав, но что есть некоторые и в Петербурге, между офицерами Кавалергардского полка, а также в Москве и в 3-м Пехотном корпусе; наконец, что за несколько дней до кончины **императора Александра**, по воле его, был отправлен лейб-гвардии Казачьего полка полковник Николаев для задержания отставного кавалергардского офицера Вадковского, а теперь сам он, Дибич, по важности подозрений, падающих на главную квартиру 2-й армии, решил послать в Тульчин генерал-адъютанта Чернышева, для предупреждения на всякий случай главнокомандующего Витгенштейна и для арестования одного из Бригадных командиров и командира Вятского пехотного полка, полковника Пестеля. Вообще, не смотря на неточность и неопределительность полученных извест-

* Для избежания всякой нескромности вся бумага была переписана рукой генерал-адъютанта Чернышева.

тий, дело, по первым даже его чертам, представлялось в самых мрачных красках и требовало не только всего внимания, но и распоряжений самых настоятельных.

По прочтении бумаг, **великий князь** еще более почувствовал тягость настоящего своего положения. Чтобы спасти империю от угрожающего ей волнения, даже, может быть, междоусобия, надлежало действовать непосредственно, не медля ни минуты, с решимостью, с полной силой, а он, без власти, без права что-либо непосредственно предпринять, мог распоряжаться только через других, и не как начальник, а единственно по степени личной их к нему доверенности. Сверх того должно было скрывать это дело в возможной тайне, с одной стороны от **императрицы-матери**, чтобы не усугубить тревоги ее сердца, с другой от всех посторонних, чтобы лица, принадлежащие к заговору, не узнали обнаружения их замыслов. Один, совершенно один, к кому **великий князь** должен был обратиться за советом, кому мог поверить ужасное открытие? После долгого размышления, выбор его остановился, наконец, на двух лицах: графе Милорадовиче, как главном начальнике столицы, и князе А.Н. Голицыне, как пользовавшемся полным доверием покойного **государя** и притом начальнике почтовой части. Оба были тотчас призваны; **великий князь** прочел им донесение Дибича и взаимным соглашением положили арестовать тех из поименованных в бумаге заговорщиков, которые, по месту их службы, должны были находиться в Петербурге. Но произведенная тотчас справка обнаружила, что никого из них здесь нет и что все они находятся в отпуску. Это обстоятельство еще более подтверждало основательность известий, доставленных из Таганрога, в которых упомянутые лица значились отправившимися из Петербурга, для съезда с своими единомышленниками. Такие доказательства в действительном существовании тайного сообщества поколебали даже спокойную самоуверенность графа Милорадовича и возбудили, вместе, всю вероятность, что есть в Петербурге еще и другие участники, в донесении неназванные. Военный генерал-губернатор обещал употребить самые деятельные полицейские меры к их обнаружению и, сверх того, согласился послать к корпусному командиру Роту возвратившегося из Москвы адъютанта своего Мантейфеля за капитаном Майбородой, от которого, как он особенно часто упоминался в бумаге Дибича, надеялись получить еще важнейшие сведения. После сих, так сказать, предварительных распоряжений, оставалось только выжидать дальнейшего хода событий. Но этому дню – субботе 12 декабря – начавшемуся открытием столь важным для судеб России, суждено было ознаменоваться еще и развязкой ее будущности.

Великий князь обедал вдвоем с своей супругой. Вдруг приезжает Белоусов. Вскрыв привезенный им конверт, **великий князь** с первых строк увидел что судьба его решена. Цесаревич, в частном к нему письме, от 8 декабря, писал: “Вчера вечером в 9 часов получил я письмо твое от 3/15, любезный друг **Николай**, и спешу принести тебе за него живейшую мою благодарность, как и за изъявляемые тобой чувства доверия и дружбы ко мне. Уверься, друг мой, что я умею их понимать и ценить и докажу тебе всю жизнь что их не недостойн. Доверенность, могу сказать, неограниченная, которую удостоивал меня наш покойный благодетель, слу-

жит тебе порукой в искренности и чистоте моих правил. (За сим следовали советы и наставления как начать новое царствование и чем в нем руководиться.) Посылаю тебе благословение старшего брата, от глубины сердца, всеми ощущениями тебе принадлежащего, и удостоверяю тебя, как подданный, в преданности и безпредельной привязанности, с которыми не перестану быть твоим преданнейшим братом и другом”.

В другом письме, к **императрице-матери**, **цесаревич** вновь отклонял все убеждения ее и брата о личном приезде в Петербург, присовокупляя что как он не **император** и не принял неправильно принесенной ему присяги, то непреложное и ни в чем неизменившееся отречение его не может и не должно быть возведено ни в какой иной форме, как только через обнародование завещания покойного **государя** и приложенных к нему актов.

Этими письмами пресекалась всякая нерешимость. С сей минуты, в особенности после вестей того утра, на **Николае Павловиче** лежала, для блага и спокойствия России, священная и уже неотразимая обязанность воскресить жизненную силу престола. Он не скрывал от себя, теперь еще менее чем прежде, что повиновение воле брата может вести его к гибели; но сознание долга превозмогло все другие чувства. Внеся на страницы нашей истории одно из благороднейших и величественнейших ее событий, **Николай Павлович** заставил умолкнуть в своем сердце, пред святым долгом к отечеству, голос самосбережения и себялюбия: с душою, исполненной благоговейного доверия к Промыслу, он покорился его предначертаниям.

Николай Павлович был императором...

Но приступая к перемене, созданной неодолимой силой обстоятельств, надлежало привести ее в действие так, чтобы дать наименее поводов к недоразумениям и к злостным толкам и избежать также, по возможности, потрясения общественного спокойствия. Запутанность всего предшедшего делала это очень трудным. Во всяком случае нужны были сперва разные приговорительные меры.

Прежде всего новый **император** увиделся с своей родительницей. Обрадованная окончанием нерешимости, **императрица** благословила его на великое дело. Потом он продиктовал адъютанту своему Адлербергу главные статьи для манифеста и историческую его часть, описав в ней подробно ход происшествий и указав на относившиеся к ним подлинные акты. Оставалось дать всему окончательную форму и составить введение и заключение манифеста. О содержании последнего и особливо о внешних его выражениях, **государь** много рассуждал, в очень живом разговоре, с славным нашим историографом Карамзиным, которого, быв еще **великим князем**, удостоивал отлично милостивого внимания и с которыми часто виделся в первые дни после известия о кончине **императора Александра**. Возвратясь к себе, Карамзин набросал на бумагу мысли, которые, по его мнению, могли войти в начало и в конец манифеста. Но когда он снова явился во дворец, то застал у **государя** князя А.Н. Голицына и графа Милорадовича, предлагавших поручить составление проекта члену Государственного совета Сперанскому. **Государь** спросил Карамзина: напишет ли и он свой проект? Карамзин отклонил это соперни-

чество, находя что такое дело должно быть предоставлено одному. Вследствие того для редакции манифеста был призван Сперанский. Этим актом **Николай Павлович** предполагал возвестить свое воцарение в торжественном заседании Государственного совета, при **великом князе Михаиле Павловиче**, как личном свидетеле и вестнике воли **цесаревича**. Но ответ из Варшавы был привезен Белоусовым не через Ригу, а по Брест-Литовскому тракту, и от того **Михаил Павлович**, в прежней неизвестности, все еще находился в Неннале. За ним немедленно послали нарочного. “Наконец все решено, – писал ему брат, – и я должен принять бремя **государя**. Брат наш **Константин Павлович** пишет ко мне письмо самое дружеское. Поспеш с генералом Толем прибыть сюда. Все смиренно и спокойно”. Призваны были еще и поставлены в известность о предстоявшей перемене митрополит с.-петербургский Серафим, председатель Государственного совета князь Лопухин и генерал Войнов, командовавший в то время, как мы уже сказали, Гвардейским корпусом. На первого были возложены нужные распоряжения по духовному ведомству; Лопухину поручено созвать Совет на следующий день (13 числа) к 8 часам вечера, около которого времени можно было рассчитывать на прибытие **Михаила Павловича**; наконец Войнову велено собраться в Зимний дворец, утром 14 декабря, всех начальников гвардейских войск*. **Николай Павлович** хотел лично объявить и изъяснить им весь ход дела, чтобы и они могли потом, для отвращения всякого повода к беспорядкам, рассказать и объяснить его своим подчиненным. Самое обнародование манифеста и принятие новой присяги были назначены также на 14 декабря. Все это делалось втайне. Происшедшая перемена и день, определенный для присяги, не остались сокрытыми только от заговорщиков. Никто их не знал, но сами они все знали.

Благословение на предстоявшее было испрошено и из другого мира. После обеда, новая **императорская** чета нашла несколько минут, чтобы съездить в Аничкин дом и там, в маленьком кабинете *бывшей великой княгини Александры Феодоровны*, припала, в теплой молитве, перед бюстом почившей ее родительницы...

Но достопамятный день 12 декабря еще не кончился. Среди упомянутых нами выше распоряжений, часов около 9 вечера, докладывают **Николаю Павловичу**, что в передней ждет адъютант командующего Гвардейской пехотой, генерала Бистрома, с пакетом в собственные руки. **Государь** – тогда для всех, кроме названных выше лиц, еще **великий князь** – тотчас вышел, принял пакет и, велев адъютанту обождать, возвратился в свой кабинет^{2*}. Пакет этот был от благородного двадцатилетнего юноши, горевшего любовью к Отечеству и преданного **великому князю**, младшего товарища по штабной службе одного из заговорщиков, которого он любил, и за ум и за нравственные качества, со всем увлечением молодости. Вскоре после присяги **Константину Павловичу** старший това-

* В циркулярной повестке, разосланной по этому случаю начальником Штаба Гвардейского корпуса, **Николай Павлович** еще наименован был: “Его императорским высочеством государем великим князем”.

^{2*} Нынешний кабинет **государя императора Александра Николаевича**.

риц начал очень часто говорить младшему, иногда наедине, иногда и при других, что следует принять все меры, чтобы воспрепятствовать **Николаю Павловичу** царствовать и не допустить присяги ему. Наш молодой человек, привыкший, в продолжение осьми месяцев службы своей в штабе, к резким нападкам этого офицера на сильно нелюбимого им **Николая Павловича**, считал все это обычным его раздражением и не придавал его словам никакого важного значения. Но 12 декабря, придя к своему сослуживцу в обеденную пору, он застал у него человек двадцать офицеров разных полков. Все говорили шопотом, и, при входе постороннего, замолчали. Молодой человек тотчас удалился, но в положении ужасном; тут только он понял что слова любимого им товарища могут обратиться в действия. Не имея никаких точных доказательств существования заговора; не зная распространяется ли он по всей империи, или ограничивается только виденной им молодежью, но постигая опасность его для общего блага даже и в последнем случае; видя, наконец, общее волнение умов в городе вследствие продолжающейся неизвестности – он представил себе бедствия, грозящие, может быть, России, и, в порыве молодого, неопытного энтузиазма, предположил для себя трудную задачу: спасти вместе – хотя бы ценой собственной жизни – и Отечество, и **Монарха**, и тех самых, на которых падало бездоказательное его сомнение. Этот адъютант Штаба Гвардейской пехоты был подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Яков Ростовцов*. Во врученном им пакете было письмо от него самого к **Николаю Павловичу**.

“В продолжение четырех лет, – писал он, – с сердечным удовольствием замечав, иногда, **Ваше** доброе ко мне расположение; думая, что люди, **Вас** окружающие, в минуту решительную, не имеют довольно смелости быть откровенными с **Вами**; горя желанием быть, по мере сил моих, полезным спокойствию и славе России; наконец, в уверенности, что к человеку, отвергшему корону, как к человеку истинно благородному, можно иметь полную уверенность, я решился на сей отважный поступок. Не почитайте меня коварным донощиком, не думайте, чтоб я был чьим-либо орудием, или действовал из подлых видов моей личности; – нет. С чистою совестью я пришел говорить **Вам** правду.

Бескорыстным поступком своим, беспримерным в летописях, **Вы** сделались предметом благоговения, и история, хотя бы **Вы** никогда и не царствовали, поставит **Вас** выше многих знаменитых честолюбцев; но **Вы** только зачали славное дело; чтоб быть истинно великим, **Вам** нужно доверить оное.

В народе и войске распространился уже слух, что **Константин Павлович** отказывается от престола. Следуя редко доброму влечению **Вашего** сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам **Вашим**, **Вы** весьма многих противу себя раздражили. Для **Вашей** собственной славы погодите царствовать.

Противу **Вас** должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России.

* Ныне генерал-адъютант и начальник Главного Штаба военно-учебных заведений.

Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть и Литва, от нас отделяться; Европа вычеркнет раздраемую Россию из списка держав своих и сделает ее державой азиатской и незаслуженные проклятия, вместо должных благословений, будут **Вашим** уделом.

Ваше высочество! может быть предположения мои ошибочны; может быть я увлекся и личной привязанностью к **Вам** и любовью к спокойствию России; но дерзаю умолять **Вас** именем славы Отечества, именем **Вашей** собственной славы – преклоните **Константина Павловича** принять корону! Не пересылайтесь с ним курьерами; это длит пагубное для **Вас** междоусобие и может выискаться дерзкий мятежник, который воспользуется брожением умов и общим недоумением. Нет, поезжайте **сами** в Варшаву, или пусть **он** придет в Петербург; излейте ему, как брату, мысли и чувства **свои**; ежели **он** согласится быть **императором** – слава Богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади, провозгласит **Вас** своим **государем**.

Всемилолюбивейший государь! Ежели **Вы** находите поступок мой дерзким – казните меня. Я буду счастлив погибая за Россию, и умру благословляя Всевышнего. Ежели же **Вы** находите поступок мой похвальным, молю **Вас** не награждайте меня ничем; пусть останусь я бескорыстен и благороден в глазах **Ваших** и моих собственных! Об одном только дерзаю просить **Вас** – прикажите арестовать меня.

Ежели Ваше воцарение, что да даст Всемогущий будет мирно и благополучно, то казните меня, как человека недостойного, желавшего, из личных видов, нарушить **Ваше** спокойствие; ежели же, к несчастью России, ужасные предположения мои сбудутся, то наградите меня **Вашей** доверенностью, позволив мне умереть защищая **Вас**".

Минут через десять **Николай Павлович** позвал Ростовцова в кабинет, запер тщательно за собой обе двери и, взяв его за руку, обнял и несколько раз поцеловал, с словами: "Вот чего ты достоин, такой правды я не слыхивал никогда!" **Ваше высочество** – сказал Ростовцов – не почитайте меня донощиком и не думайте, чтобы я пришел с желанием выслужиться! "Подобная мысль, – отвечал **государь**, – недостойна ни меня, ни тебя. Я умею понимать тебя". Потом он спросил нет ли против него заговора? Ростовцов отвечал что никого не может назвать; что многие питают против него неудовольствие, но люди благоразумные в мирном воцарении его видят спокойствие России; наконец, что хотя в те пятнадцать дней, когда на троне лежит у нас гроб, обыкновенная тишина не прерывалась, но в самой этой тишине может крыться возмущение. Несколько помолчав, **государь** продолжал: "Может быть ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благодетству – *и не называй!* Мой друг, я плачу тебе доверенностью за доверенность! Ни убеждения матушки, ни мольбы мои, не могли преклонить брата принять корону; он решительно отрекается, в приватном письме укоряет меня, что я провозгласил его **императором** и прислал мне, с **Михаилом Павловичем**, акт отречения. Я думаю что этого будет довольно". – Ростовцов настаивал на необходимости чтобы **цесаревич** сам прибыл в Петербург и всенародно, на площади, провозгласил своего

брата своим **государем**. “Что делать, – возразил **государь**, – он решительно от этого отказывается, а он – мой старший брат! Впрочем будь покоен. Нами все меры будут приняты. Но если разум человеческий слаб, если воля Всевышнего назначит иначе и мне нужно погибнуть, то у меня – шпага с темляком: это вывеска благородного человека. Я умру с ней в руках, уверенный в правости и святости своего дела и предстану на суд Божий с чистой совестью”. – “**Ваше высочество**, – сказал Ростовцов, – это личность. Вы думаете о собственной славе и забываете Россию: что будет с нею?” – “Можешь ли ты сомневаться, чтобы я любил Россию менее себя; но престол пуст; брат мой отрекается; я единственный законный наследник. Россия без **царя** быть не может. Что же велит мне делать Россия? Нет, мой друг, ежели нужно умереть, то умрем вместе!” – Тут он обнял Ростовцова и оба прослезились. “Этой минуты, – продолжал он, – я никогда не забуду. Знает ли Карл Иванович (Бистром) что ты поехал ко мне?” – “Он слишком к вам привязан; я не хотел огорчить его этим; а главное я полагал, что только лично с вами могу быть откровенен насчет Ваш”. – “И не говори ему ничего до времени; я сам благодарю его, что он, как человек благородный, умел найти в тебе благородного человека”. – “**Ваше высочество**, всякая награда оскорбит мой поступок в собственных глазах моих”. – “Наградой тебе – моя дружба. Прощай!” – Он обнял Ростовцова и удалился. Следующий день, 13 декабря, последний, все утро провел на службе; потом списал письмо свое и разговор с государем и, после обеда, отдал их в присутствии Рылеева, своему товарищу, на котором сосредоточивались все его опасения*.

Показание Ростовцова было немаловажно. Подтверждая возникшую уже прежде мысль, что в столице, кроме злоумышленников, указанных в сведениях барона Дибича и находившихся тогда в отпуску, есть еще и другие, оно свидетельствовало также, что к исполнению их намерений послужит предлогом – перемена присяги. Будущее все более и более представлялось безотрадным! Того же 12-го декабря, быть может после этого нового открытия, **государь** написал князю Волконскому: “Воля Божия и приговор братний надо мной свершаются. 14 числа я буду или **государь** – или *мертв*! Что во мне происходит, описать нельзя; вы верно надо мной сжалитесь: да, мы все несчастливы, но нет никого несчастливее меня. Да будет воля Божия!” Потом, уведомляя о здоровье **императрицы**-матери, он прибавил: “Я, слава Богу, покуда еще на ногах, но, судя по первым дням, не знаю что будет, ибо уже теперь я начинаю быть *прозрачным*. Да не оставит меня Бог, и душевно и телесно!”

Ростовцов никого, однакоже, не указал, никого не назвал по имени, а розыскания графа Милорадовича остались совершенно бесплодными. Не было открыто ни одного лица, на которое могло бы падать подозре-

* Оба эти документа найдены были после в числе их бумаг. 18 декабря 1825 года **государь** объявлял Ростовцову несколько раз свою волю, чтобы он переехал жить во дворец; он осмелился отказаться в присутствии многих, пожелав остаться в том же положении, в котором дотоле находился, и в исполнении этого желания ему помог флигель – адъютант В.А. Перовский. В 1828 г. он был назначен адъютантом к великому князю Михаилу Павловичу.

ние. Только самый день преступления должен был обнаружить его деятелей и соучастников.

Проект манифеста был изготовлен Сперанским к вечеру 12 декабря. **Государь**, одобрив его с некоторыми исправлениями, продолжал сохранять дело втайне до ожидаемого приезда **великого князя Михаила Павловича** и потому переписку манифеста поручил личному надзору князя А.Н. Голицына. Проект был переписан, в ночь с 12 на 13 число, в трех экземплярах*, Гавриилом Поповым^{2*}, доверенным чиновником князя, в его кабинете, с строгим запрещением всякой огласки. **Государь**, подписав манифест утром 13 декабря, пометил его, однакоже, 12, как тем днем, в который все решилось окончательным отзывом **цесаревича**. В то же утро 13 декабря объявили воцарение нового **императора**, под запрещением, впрочем, кому-нибудь рассказывать, его наследнику, **великому князю Александру Николаевичу**, тогда семилетнему отроку. Дитя^{3*} много плакало. Потом **Николай Павлович** с супругой обедали еще раз в Аничкином своем доме, как бы на вечное прощание со всем минувшим...

Манифест был следующего содержания:

“Объявляем всем верным нашим подданным. В сокрушении сердца, смирясь пред неисповедимыми судьбами Всевышнего, среди всеобщей горести, нас, императорский наш дом и любезное Отечество наше объяввшей, в едином Боге мы ищем твердости и утешения. Кончиной в Бозе почившего **государя императора Александра Павловича**, любезнейшего брата нашего, мы лишились отца и **государя**, двадцать пять лет России и нам благотворившего.

Когда известие о сем плачевном событии, в 27 день ноября месяца, до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий, мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности старейшему брату нашему, **государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу**, яко законному, по праву первородства, наследнику престола всероссийского.

По совершении сего священного долга, известились мы от Государственного совета, что в 15 день октября 1823 г. предъявлен оному, за печатью покойного **государя императора**, конверт с таковой на оном собственноручной **его величества** надписью: “Хранить в Государственном совете до моего востребования, а в случае моей кончины, раскрыть прежде всякого другого действия в чрезвычайном собрании; что сие **высочайшее** повеление Государственным советом исполнено и в оном конверте найдено: 1) Письмо **цесаревича и великого князя Константина Павловича** к покойному **государю императору** от 14 января 1822 года, в коем **его высочество** отрекается от наследия престола, по праву первородства ему принадлежавшего; 2) Манифест, в 16 день августа 1823 года собственноручным **его императорского величества** подписанием утвержденный, в коем **государь император**, изъявляя свое согласие на отречение

* Один экземпляр для империи, другой для Царства Польского, третий для Великого Княжества Финляндского.

^{2*} Ныне исправляющий должность статс-секретаря в Государственном совете.

^{3*} “Le petit Sacha”, как называли его тогда в **августейшей** фамилии.

цесаревича и великого князя Константина Павловича, признает наследником нас, яко по нем старейшего и по коренному закону к наследию ближайшего. Вместе с сим донесено нам было, что таковые же акты с тою же надписью хранятся в Правительствующем Сенате, Святейшем Синоде и в Московском Успенском соборе.

Сведения сии не могли переменить принятой нами меры. Мы в актах сих видели отречение **его высочества**, при жизни **государя императора** учиненное и согласием **его величества** утвержденное; но не желали и не имели права сие отречение, в свое время всенародно необъявленное и в закон необращенное, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону, о непоколебимости в порядке наследия престола. И в следствие того, пребывая верными присяге, нами данной, мы настояли, чтоб и все государство последовало нашему примеру; и сие учинили мы не в пререкание действительности воли, изъявленной **его высочеством**, и еще менее в преслушание воли покойного **государя императора**, общего нашего отца и благодетеля, воли, для нас всегда священной, но дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших, и дабы предохранить любезное Отечество наше от малейшей, даже и мгновенной неизвестности о законном **его государе**. Сие решение, в чистой совести пред Богом сердцеведцем нами принятое, удостоено и личного **государыни императрицы Марии Феодоровны**, любезнейшей родительницы нашей, благословения.

Между тем горестное известие о кончине **государя императора** достигло в Варшаву, прямо из Таганрога, 25 ноября, двумя днями прежде нежели сюда. Пребывая непоколебимо в намерении своем, **государь цесаревич и великий князь Константин Павлович**, на другой же день, от 26 ноября, признал за благо снова утвердить оное двумя актами, любезнейшему брату нашему, **великому князю Михаилу Павловичу**, для доставления сюда, врученными. Акты сии суть следующее: 1) Письмо к **государыне императрице**, любезнейшей родительнице нашей, в коем **его высочество**, возобновляя прежнее его решение и укрепляя силу одного грамотою покойного **государя императора**, в ответ на письмо **его высочества**, во 2 день февраля 1822 года состоявшеюся и в списке при том приложенной, снова и торжественно отрекается от наследия престола, присвоая оное в порядке, коренным законом установленном, уже нам и потомству нашему; 2) Грамота **его высочества** к нам; в оной, повторяя те же самые изъявления воли, **его высочество** дает нам титул **императорского величества**; себе же предоставляет прежний титул **цесаревича**, и именует себя вернейшим нашим подданным.

Сколь ни положительны сии акты, сколь ни ясно в них представляет отречение **его высочества** непоколебимым и невозвратным; мы признали однако же чувствам нашим и самому положению дела сходственным, приостановиться возвещением оных, доколе не будет получено окончательное изъявление воли **его высочества** на присягу, нами и всем государством принесенную.

Ныне, получив и сие окончательное изъявление непоколебимой и невозвратной **его высочества** воли, возвещаем о том всенародно, прилагая

при сем: 1) Грамоту его императорского высочества цесаревича и великого князя **Константина Павловича к покойному государю императору Александру Первому**; 2) Ответную грамоту его императорского величества; 3) Манифест покойного государя императора, отречение его высочества утверждающий и нас наследником признавающий; 4) Письмо его высочества к государыне императрице, любезнейшей родительнице нашей; 5) Грамоту его высочества к нам.

Впоследствии всех сих актов и по коренному закону империи о порядке наследия, с сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам Промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол всероссийской империи и на нераздельные с ним престолы Царства Польского и Великого княжества Финляндского, повелеваем: 1) присягу в верности подданства учинить нам и наследнику нашему, его императорскому высочеству великому князю **Александру Николаевичу**, любезнейшему сыну нашему; 2) время вступления нашего на престол считать с 19 ноября 1825 года.

Наконец мы призываем всех наших верных подданных, соединить с нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлет нам силы к понесению бремени, святым Промыслом его на нас возложенного, да укрепит благие намерения наши: жить единственно для любезного Отечества, следовать примеру оплакиваемого нами **государя**; да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится все, чего для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших”.

13 декабря падало на воскресенье. По вышеупомянутому нами приказанию, отданному князю Лопухину, члены Государственного совета явились, к 8 часам вечера, в чрезвычайное собрание. Многие из них или ничего еще не знали, или только угадывали предстоявшее по городской молве; знавшие же более других считали преждевременным оглашать то, что не было еще возведено державной волей. Когда все собрались, Лопухин объявил, что в это заседание имеют прибыть “**великие князья**” **Николай и Михаил Павловичи**. Но прошло несколько часов в бездейственном ожидании, которым все только более усиливалось и напрягалось тревожное любопытство, а **великих князей** еще не было. **Государь** продолжал ждать **Михаила Павловича**, а его приезд, как оказалось после, замедлился, несмотря на поспешность отправления и быстроту переезда, от того, что посланный за ним поспел в Ненналь только в два часа пополудни того же 13 числа. Между тем наступила полночь. В городе давно разнеслось, что Совет созван в чрезвычайное заседание и, по необычайности дня собрания (в воскресенье), по поздней даже поре его, все догадывались что должно, наконец, последовать что-нибудь решительное и с нетерпением ждали конца томительной неизвестности. Нельзя было ни отложить дела, ни медлить еще долее. **Государь**, с сердечным сокрушением, покорился необходимости предстать Совету без своего брата. Прислано было сказать, что как **Михаил Павлович** не скоро еще, может быть, приедет, а дело, которое должно предложить Совету, не терпит отлагательства, то “**великий князь**” **Николай Павлович** решается прибыть

в собрание один. Остававшись все это время с обеими императрицами, он обнял их и пошел в Совет.

Отсюда будем продолжать подлинными словами Советского журнала. Он любопытен не только в отношении историческом, но и по самому даже образу изложения, так как в одном и том же акте одно и то же лицо называется сперва *великим князем и высочеством*, потом *императором и величеством*.

“Его высочество, по прибытии в Совет, заняв место председателя и призвав благословение Божье, начал сам читать манифест о принятии им **императорского** сана, вследствие настоятельных отречений от сего высокого титула **великого князя Константина Павловича**. Совет, по выслушании сего манифеста в глубоком благоговении и по изъяснении, в молчании, нелицемерной верноподданнической преданности новому своему **государю императору***, обратил опять свое внимание на чтение всех подлинных приложений, объясняющих действия их **императорских высочеств**. После сего **государь император** повелел правящему должности Государственного секретаря прочесть вслух отзыв **великого князя Константина Павловича** на имя председателя Совета князя Лопухина. По прочтении сего отзыва, **его величество** изволил взять оный к себе обратно^{2*} и, вручив министру юстиции читанные **его величеством** манифест и все к нему приложения, повелеть соизволил немедленно приступить к исполнению и напечатанию оных во всенародное известие. После чего **его величество**, всемилостивейше приветствовав членов, изволил заседание Совета оставить в исходе 1 часа ночи. *Положено*: о сем знаменитом событии записать в журнал, для надлежащего сведения и хранения в актах Государственнаго совета; причем положено также, сегодня, т.е. 14 декабря, исполнить верноподданнический обряд, произнесением присяги пред лицом Божиим в верной и непоколебимой преданности **государю императору Николаю Павловичу**; что и было членами Совета и правящим должностю Государственного секретаря исполнено в большом дворцовом собрании”.

* Когда все члены, при начале чтения **государем** манифеста, по невольному движению, встали, тогда и он сам встал с места и продолжал чтение стоя. По окончании весь Совет благоговейно ему поклонился.

^{2*} Этот отзыв (от 3 декабря) и есть именно тот самый, о котором мы выше говорили. Он был вручен, привезшим его фельдъегерем, не Лопухину, а **государю**, который, по прочтении сего отзыва в Совете, взял его опять к себе, не велел давать ему гласности, собственно по причине особенно сильных и даже резких его выражений. Впоследствии, при первом составлении настоящего рассказа, не отыскалось нигде ни подлинника, ни копии, и только уже в 1849 году, по кончине блаженной памяти **государя великого князя Михаила Павловича**, найден в бумагах **его высочества** список, собственноручно засвидетельствованный в верности **государем императором Николаем Павловичем**. Мы прилагаем с него копию (Приложение № 1). Рапорт о присяге Сената возвращен был **цесаревичем** министру юстиции при рескрипте от 8 декабря, и сей последний обнародован Сенатом 18 того же декабря (Приложение № 2). Замечательно, что **цесаревич** положил разность не только в содержании сих бумаг, но и в самом образе их доставления: рескрипт князю Лопухину был вложен в конверт к **государю**, а рескрипт князю Лобанову прислан ему самою непосредственно.

Журналы Совета всегда представляются на монаршее усмотрение в так называемых *мемориях*, или извлечениях; но этот был представлен в подлиннике, и на нем написано: “Утверждаю. **Николай**”.

Так совершилось и *второе* историческое заседание Государственного совета – первое державное слово нового **императора**. Никогда, ни прежде, ни после, Совет не имел *ночных* заседаний; никогда также **император Николай** не восседал уже в нем более на председательском месте*. Ночь эта – начало новой эры в нашем бытописании – во всем, казалось, должна была отличаться от предшедшего и последующего!^{2*} Из Совета **государь** возвратился в свои комнаты: там его ожидали, в молитве, родительница и супруга. Был час ночи, следственно уже начало понедельника, что многие сочли дурным предзнаменованием для первого дня царствования. Супруги проводили **императрицу**-матерь на ее половину, где комнатная прислуга, с ее разрешения, первая поздравила новую **императорскую** чету. Бывшая **великая княгиня** отметила в своем дневнике, что их должно было бы не поздравлять, а скорее утешать и сожалеть о них. Те же чувства разделял и ее супруг. Во внутреннем карауле от Конной Гвардии, перед половиной **императрицы**, стоял тогда, случайно, один из заговорщиков, князь Одоевский. Уже после когда открылось его участие, вспомнили, что он беспрестанно обращался к придворным служителям с распросами о всем происходившем – обстоятельство, которое в то время приписывали одному любопытству.

Того же 13 числа **государь** подписал приготовленное Сперанским, по его приказанию и мыслям, письмо к **цесаревичу**, следующего содержания^{3*}:

“Любезнейший брат!

С сердечным сокрушением в полной мере разделяя с **Вашим высочеством** тяжкую скорбь, совокупно нас постигшую, я искал утешения в той мысли, что в вас, как старшем брате, коего от юности моей привык я чтить и любить душевно, найду отца и **государя**.

Ваше Высочество письмом вашим от 26 ноября лишили меня сего утешения. Вы запретили мне следовать движениям моего сердца, и присягу, не по долгу только, но и по внутреннему чувству мною вам принесенную, принять не благоволили.

* Впоследствии, когда в Бозе почивший **император** изволил удостоивать своего присутствия заседания Государственного совета, **его величество** занимал всегда стул против председателя Совета, по левую сторону возле докладчика, на месте, назначенном, по положению, для председателя Департамента законов, который отодвигался тогда несколько левее.

^{2*} Участниками сего заседания Совета, в том порядке, как ими подписан журнал, были: князь Лопухин, князь Алексей Куракин, фон-Дезин, Мордвинов, граф Морков, граф Аракчеев, князя Дмитрий и Яков Лобановы-Ростовские, граф Милорадович, Василий Ланской, Пашков, Тутольмин, Карцов, Сукин, Татищев, Иларион Васильчиков, князь Александр Голицын, граф Нессельрод, Шишков, Канкрин, князь Сергей Салтыков, Болотников, Сперанский – всего 23 члена.

^{3*} Письму этому, как более родственному и, так сказать, домашнему, не было дано гласности. Точно так же не был обнародован и ответ на него **цесаревича**, находящийся здесь в приложениях под № 3.

Но **Ваше высочество** не воспретите, ничем не остановите чувства преданности и той внутренней, душевной присяги, которую, вам дав, возвратить я не могу и которой отвергнуть, по любви вашей ко мне вы не будете в силах.

Желания **Вашего высочества** исполнены. Я вступил на ту степень, которую вы мне указали и коей, быв законом к тому предназначены, вы занять не восхотели. Воля ваша совершилась!

Но позвольте мне быть уверенным, что тот, кто, против чаяния и желания моего, поставил меня на сем пути многотрудном, будет на нем вождем моим и наставником. От сей обязанности вы, пред Богом, не можете отказаться; не можете отречься от той власти, которая вам, как старшему брату, вверена самим Провидением и коей повиноваться, в сердечном моем подданстве, всегда будет для меня величайшим в жизни счастьем.

Сими чувствами заключая письмо мое, молю Всевышнего, да в благости своей хранить дни ваши, для меня драгоценные.

Вашего императорского высочества

душевно верноподданный

Николай”

Державная чета отошла к покою и – сон ее был безмятежен: с чисто перед Богом совестью, она предала себя, от глубины души, его неисповедимому промыслу.

Наступило 14 декабря.

Государь встал рано. Он предчувствовал приближавшуюся опасность; но ожидал ее с спокойствием невинности и бесстрашия. Одним из доказательств сему служит следующее письмо к **великой княгине Марии Павловне**, написанное им, наскоро, в это утро, до начала волнения в полках*:

“St.-Pétersbourg, 14 Décembre 1825.

Priez Dieu pour moi, chère et bonne Marie. Prenez pitié d’un malheureux frère, victime de la volonté de Dieu et de ses deux frères.

Tant que j’ai pu éloigner de moi ce calice, j’en ai prié la Providence et j’ai fait ce que mon coeur et mon devoir me dictaient.

Constantin, mon Empereur, a repoussé le serment que moi et toute la Russie lui devaient; j’étais son sujet: j’ai dû lui obéir.

Notre ange doit être content, sa volonté est faite, toute amère, toute affreuse qu’elle est pour moi.

Priez Dieu, je le répète, pour votre malheureux frère: il a besoin de cette consolation et plaignez-le!

Nicolas”.

* Это письмо заимствовано из разрешенного **государем императором Александром Николаевичем** к изданию сочинения М.С. Волкова, в которое оно включено с соизволения **государыни великой княгини Марии Павловны**.

Присутствовавшему при утреннем его одевании генерал-адъютанту Бенкендорфу* **государь** сказал: “Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете; но по крайней мере мы умрем исполнив наш долг”. Приняв потом генерала Войнова, **государь** в 7 часов вышел в залу тогдашних своих покоев, где были собраны начальники дивизий и командирские бригады, полков и отдельных батальонов Гвардейского корпуса. Сперва он объяснил им, что, покоряясь непререкаемой воле старшего брата, которому недавно вместе со всеми присягал, принужден теперь принять престол, как ближайший в роде по отречшемся; потом, прочтя им сам манифест и приложенные к нему акты, спросил: не имеет ли кто каких сомнений? Все единогласно отвечали, что не имеют никаких и признают его законным своим монархом. Тогда, несколько отступя, **государь** – с осанкой и величием, которые еще живы в памяти у свидетелей сей незабвенной минуты – сказал: “После этого вы отвечаете мне головой за спокойствие столицы; а что до меня, если буду **императором** хоть на один час, то покажу что был того достоин”. В заключение он приказал всем находившимся тут начальникам ехать в Главный штаб присягать^{2*}, а оттуда немедленно отправиться по своим командам, привести их к присяге и донести об исполнении. В то же самое время собрались, в своих местах, для выслушания манифеста и принесения присяги, Синод и Сенат и разосланы были повестки, чтобы все, имеющие приезд ко двору, собирались в Зимний дворец к 11 часам, для торжественного молебствия^{3*}.

Вскоре за гвардейскими начальниками прибыл во дворец и граф Милорадович. Сведения из Таганрога, показание Ростовцова и даже городские слухи не могли не возбуждать самых естественных опасений; но военный генерал-губернатор настойчиво продолжал уверять в противном. Город, говорил он, совершенно спокоен и, подтверждая это самое в присутствии **императрицы Марии Феодоровны**, прибавил, что, впрочем, на всякий случай приняты все нужные меры предосторожности. Последствия обнаружили, как мало эти уверения имели основания и как слабо распорядилось местное начальство. Город кипел заговорщиками, и ни один из них не был схвачен, ни даже замечен; они имели свои сходбища, а полиция утверждала что все спокойно. Стеклись и другие странные оплошности, которые трудно теперь объяснить и которых, между тем, достаточно было бы для взволнования умов и при обстоятельствах обыкновенных. Так, за обедней 14 декабря, на эктениях во всех церквях столицы уже возглашали имя нового **императора**, а самый манифест, которым возвещалась эта перемена и объяснялись ее причины, был прочитан *после обедни*, перед молебствием. С другой стороны не озаботились выпустить и рассыпать в народе достаточное

* Умер, в 1844 году, графом, членом Государственного совета, шефом жандармов и командующим императорской Главной квартирой.

2* Присяга эта была совершена в круглой зале библиотеки.

3* Несколько позже последовала перемена и, чтобы дать окончить сперва присягу в войсках, велено было съезжаться во 2 часу. Но новая повестка многих уже не застала и от того залы Зимнего дворца начали наполняться еще с 11-го часа.

число печатных экземпляров этого акта, тогда как частные разнощипки на улицах продавали экземпляры новой присяги, но *без манифеста*, то есть без ключа к ней. Манифеста в это утро почти нельзя было и купить, особенно позже, когда бунтовщики – как покажет наш рассказ – загродили собой здание Сената, а с ним его типографию и книжную лавку. Повторим и здесь: все видимо способствовало и влекло к той вспышке, которая необходима была, по неисповедимым и благим предначертаниям Промысла, чтобы, вместе с нею, погасить и навсегда истребить самое горнило, давшее ей пищу!

Первым из полковых начальников с донесением об оконченной присяге явился командовавший лейб-гвардии Конным полком, генерал-адъютант Орлов*. “Они оба молодцы!” – закричали солдаты, когда полковой командир объяснил им, перед присягой, образ действия и поступки царственных братьев. Пример полка, известного особенной привязанностью к своему шефу – **цесаревичу Константину** – подтверждал, казалось, уверения главного начальника столицы и служил как бы некоторым ручательством, что присяга и в остальных полках совершится также благополучно^{2*}. Но в то время, когда большая часть войск присягала в совершенном порядке и огромное большинство народонаселения столицы с умилением произносило или готовилось произнести обет вечной верности **монарху**, с таким самоотвержением и с такими чистыми помыслами решившемуся возложить на себя венец предков, скопище людей злонамеренных или обольщенных, обманывавших или обманутых, стремилось осквернить эти священные минуты пролитием родной крови и дерзким, чуждым нашей святой Руси преступлением...

Постепенно приходили донесения, что присяга окончена в полках: Кавалергардском, Преображенском, Семеновском, Павловском, Егерском и Финляндском, и в Гвардейском Саперном батальоне. От прочих известий еще не было, но причиной тому полагали отдаленность их казарм. Вдруг является во дворец командовавший гвардейской артиллерией генерал Сухозанет^{3*} и передает, что когда он приводил к присяге 1-ю Бригаду, в Конной Артиллерии некоторые офицеры потребовали, прежде чем идти на присягу, личного удостоверения **великого князя Михаила Павловича**, которого считали или выдавали нарочно удаленным из Петербурга, будто бы по несогласию его на воцарение **Николая Павловича**. От этого и нижние чины остановились присягать; но порядок – как доносил Сухозанет – был восстановлен, еще до его прибытия туда полковником Гербелем, капитаном Пистолькорсом и штабс-капитаном графом Кушелевым; офицеров же, разъехавшихся, при смятии, неизвестно куда, он приказал по мере их возвращения, сажать под

* Ныне князь и председатель Государственного совета и Комитета министров.

^{2*} В Конногвардейском полку произошло, однако же, некоторое замедление от священника Полякова (давно умершего). Когда Орлов велел ему читать перед солдатами присягу, он удерживаемый недоумением о всем происшедшем, остановился и не решался. Тогда Орлов вырвал у него из рук присяжный лист и сам громогласно прочел форму клятвенного обещания.

^{3*} Ныне генерал от артиллерии, генерал-адъютант и член Военного совета.

арест. “Возвратить арестованным сабли – сказал **государь** – не хочу знать их имен; но ты мне за все отвечаешь”. К счастью, в это самое время приехал, наконец, давно ожидаемый **великий князь Михаил Павлович***; **государь** немедленно послал его в Конноартиллерийские казармы. Появление **великого князя** видимо всех там обрадовало: солдаты еще более убедились, что их хотели только поколебать в долге законного повиновения, и присяга была совершена всеми чинами в надлежащем порядке. Через несколько минут после Сухозанета вбежал к **государю**, в крайнем смущении, начальник Штаба Гвардейского корпуса Нейдгардт. “Sire! – кричал он запыхавшись, – le régiment de Moscou est en pleine insurrection. Chenchine et Frédérick^{2*} sont grièvement blessés et les mutins marchent vers le Sénat. J’ai à peine pu les devancer pour venir Vous le dire. De grâce, ordonnez au premier bataillon Préobrajensky et à la Garde à cheval^{3*} de marcher contre”.

Действительно, лейб-гвардии Московский полк был в полном волнении. Двое из офицеров сего полка, с другими их единомышленниками, успели убедить солдат не присягать. “Все обман, – говорили они, – нас заставляют присягать, а **Константин Павлович** не отказывался: он в цепях; **Михаил Павлович**, шеф полка, также^{4**}”. Находившийся тут же Александр Бестужев, адъютант герцога Александра Виртембергского, выдавал себя за присланного из Варшавы с повелением не допускать до присяги. “Царь **Константин**, – кричали заговорщики, – любит наш полк и прибавит вам жалованья: кто не останется ему верен, того колите”. Велели солдатам взять боевые патроны и зарядить ружья, отняли у гренадеров принесенные для присяги знамена, и один из упомянутых двух офицеров ранил саблей сперва генерала Фредерикса, потом генерала Шеншина, которые оба упали без чувств; нанес несколько ударов пол-

* В исходе 11 часа – сказано в камер-фурьерском журнале, замечательно, что лишь ограниченному числу самых приближенных лиц известно было об остановке **великого князя** в Неннале, а все прочие, т.е. весь город, уверены были, что он – у **Константина Павловича**. Так думала даже и комнатная придворная прислуга; ибо в камер-фурьерском журнале записано: “В исходе 11 часа изволили прибыть из *Варшавы* его императорское высочество **великий князь Михаил Павлович**”.

^{2*} Шеншин, командовавший в то время бригадой, впоследствии генерал-адъютант и начальник 1-й Гвардейской пехотной дивизии; умер в 1831 г. Барон Фредерикс – брат упомянутого выше – тогда командир лейб-гвардии Московского полка, потом обер-штальмейстер **высочайшего** двора; умер в 1855 г.

^{3*} Эти полки, по местности их казарм, были всего менее отдалены от Зимнего дворца и, следовательно, ближе всех под рукой.

^{4**} Злые умыслы этих двух офицеров проявились еще в ночь с 13 на 14 декабря. Часть Московского полка занимала городские караулы и у Нарвской заставы стоял подпоручик Кушелев (ныне генерал-лейтенант и начальник 1-й пехотной дивизии). Здесь всю ночь ждал приезда **великого князя Михаила Павловича** один из адъютантов нового императора, Василий Алексеевич Перовский (теперь граф, генерал-адъютант и член Государственного совета). Разговорясь с Кушелевым о предмете, всех тогда занимавшем, он счел нужным рассказать ему подробно все, что знал о манифесте, о предназначенной новой присяге и пр. Вдруг Кушелева вызывают из караульни на улицу эти два офицера, которые приехали уговаривать его не присягать **Николаю Павловичу**. Но Кушелев, уже знав, из рассказов Перовского, истину, не поддался их внушениям и удержал от беспорядков и свою команду.

ковнику Хвощинскому* и также ранил сопротивлявшихся ему гренадера и унтер-офицера. Наконец часть полка, под его предводительством, убежала из казарм и, с распущенными знаменами и криками: ура! насильно увлекая с собой встречавшихся военных, устремилась, в совершенном неистовстве, к Сенатской площади. Вслед и вокруг нее бежала толпа народа, также с криками: “Ура **Константин!**” которые для этой толпы, не читавшей манифеста, имели еще полное значение законности. Другая часть полка, удержанная своими офицерами, хотя и осталась в казармах, но упорно продолжала уклоняться от присяги.

Государь был глубоко поражен известиями Нейдгардта. С первого взгляда ясно открывалось, что это уже не простое недоразумение касательно новой присяги, а плод того, еще неразгаданного правительством заговора, о котором первые сведения были доставлены в Таганрог; что мнимое опасение новой присяги, будто бы клятвопреступной, только предлог, которым заговорщики умели искусно воспользоваться для обольщения русского солдата, всегда добросовестно верного своим обязанностям; наконец, что нижние чины, обманутые представленным им чувством призраком законности, думая исполнять и охранять единственно прямой долг службы, действуют, в руках зачинщиков, только как орудия совсем других замыслов. Очевидно было и то, что одно мгновение колебания или слабости может превратить небольшую еще, покамест, искру в опасный пожар. **Государь** не замедлил сделать соответственные распоряжения. Он велел Нейдгардту, для водворения порядка в части Московского полка, оставшейся в казармах, обратиться ближайший к ним Семеновский полк и приказать Конной Гвардии изготовиться, но еще не выступать; а состоявшему при своей особе генерал-майору Стрекалову^{2*} привести к Зимнему дворцу 1-й батальон Преображенского полка, стоявший, как и теперь, в казармах на Миллионной; наконец адъютанта своего, Александра Александровича Кавелина^{3*}, послал в Аничкин дом, чтобы находившихся еще там своих детей сейчас перевезти в Зимний дворец, а бывшему в Секретарской комнате флигель-адъютанту Бибикову^{4*} приказал распорядиться приготовлением верховой лошади. Затем, перекрестясь и предав себя воле Божией, **государь** решился предстать лично на место опасности.” Il у а hésitation à l’artillerie,— сказал он, проходя через комнату своей супруги, и не прибавил более ничего, хотя внутренно сомневался увидится ли еще с ней в этой жизни. Она начала одеваться к молебствию, как вдруг вошла императрица **Мария Феодоровна**, в крайнем волнении и с словами: “Pas de toilette, mon enfant, il у а désordre, révolte...”

* Потом генерал-лейтенант, состоявший по военно-учебным заведениям. Умер в 1852 г.

^{2*} Умерший, в 1856 г., действительным тайным советником и сенатором в Москве.

^{3*} Позже генерал-адъютант, некоторое время с.-петербургский военный генерал-губернатор и наконец член Государственного совета, Комитета 18 августа 1814-го года и Совета о военно-учебных заведениях. Умер в 1850 г.

^{4*} В то время директор канцелярии начальника Главного Штаба, а теперь генерал-лейтенант и председатель Комиссии военного суда при московском Ордонансгаузе.

Между тем **государь**, в мундире Измайловского полка, с лентой через плечо, как был одет к молебствию, даже не накинув шинели, спустился к главной дворцовой гауптвахте. Перед так называемой Салтыковской лестницей ему встретился командир Кавалергардского полка, флигель-адъютант граф Апраксин, а на самой лестнице генерал Войнов, совершенно растерявшийся. Первому он приказал привести полк; второму – почтенному по храбрости, но ограниченному и не успевшему приобрести никакого веса в Гвардейском корпусе – строго припомнил, что место его среди вышедших из повиновения войск, вверенных его начальству. В караул на главную дворцовую гауптвахту только что вступила в то время 6-я Егерская рота лейб-гвардии Финляндского полка, с штабс-капитаном Прибытковым, командовавшим ею поручиком Гречем и прапорщиком Боасселем*. Разводили еще часовых и потому налицо была только часть караула. Когда она выстроилась, **государь** велел, при отдании чести, салютовать знамени и бить поход. Таким образом это было *первое войско* приветствовавшее **Николая Павловича императором**, и *первое знамя*, которое преклонилось перед ним в новом сане. **Государь** поздоровался с людьми и спросил: присягнули ли они ему и знают ли что эта присяга была по точной воле его брата **Константина Павловича**? “Присягали и знаем”, – был ответ^{2*}. “Ребята, – продолжал он, – теперь надо показать верность на самом деле; Московские шалят, не перенимать у них и делать свое дело молодцами. Готовы ли вы умереть за меня?” По утвердительному отклику, **государь** велел зарядить ружья и, обратясь к офицерам, сказал, “Вас, господа, я знаю, и потому ничего вам не говорю”. Затем, командовав сам: “Дивизион вперед, скорым шагом марш, марш”, – он повел караул, левым плечем вперед, к главным воротам дворца. Площадь перед дворцом была усеяна съезжавшимися к выходу экипажами и любопытствовавшим народом. Многие заглядывали на двор, а некоторые, при виде **государя**, входили и кланялись ему в ноги. Вывода караул за дворцовые ворота, **государь** заметил под ними прошедшего туда полковника Хвоцинского, раненого и обогрессенного кровью, и велел ему куда-нибудь укрыться, чтобы видом его не распалить еще более страстей. Потом, поставя караул поперек ворот, с внешней их стороны, он вышел на площадь совершенно один, потому что оставав-

* В камер-фурьерском журнале, вообще довольно неточном в описании этого дня, что легко объясняется общим смущением, сказано что караул был от лейб-гвардии *Егерского* полка.

^{2*} Присяга была принесена Финляндским полком еще до его вступления в караул, в присутствии бригадного командира Головина (ныне член Государственного совета), кроме Карабинерной роты его *высочества*, не возвратившейся еще из караула, в котором она была 13 числа. Отправляясь, для такого же принятия присяги, в другой полк своей бригады, лейб-гвардии Егерский, Головин велел командиру Финляндского, Воропанову, когда кончится крестное целование, отрядить новый городской караул и полк распустить, а потом дожидаться роты его *высочества* и, как только она воротится в казармы, самому привести ее к присяге. Но Воропанов исполнил только первое, а роты не дождался, спеша к назначенному во дворце выходу. Мы увидим, в своем месте, какие были от того последствия.

шегося при нем адъютанта Адлерберга послал ускорить приход 1-го батальона Преображенского полка. Завидя **государя**, народ стал отовсюду к нему стекаться, с криками: ура! Чтобы дать время войскам собраться, надобно было отвлечь внимание чем-нибудь необыкновенным. “Читали ли вы мой манифест?” – начал спрашивать **государь** у окружавших. Большая часть отвечала отрицательно. Тогда он взял печатный экземпляр у кого-то в толпе и сам стал его читать, протяжно и с расстановкой, толкуя каждое слово. Слушатели с радостными криками бросали вверх шапки. Для многих из них дело представлялось совсем новым. До тех пор, вследствие разнесшегося слуха о бунте в Московском полку, были толки лишь о том, что часть войск остается верной **Константину Павловичу** и не хочет присягать никому другому; но почему же *надобно* и *должно* присягнуть другому, этого никто не объяснил народу, ни изустными вразумлениями, ни прочтением хотя бы манифеста: ибо в церквах, по случаю буднего дня, число слышавших его было весьма не велико и самая обедня в этот день, за происшедшей с утра в присутственных местах присягой, совершалась, большей частью, очень поздно. Едва **государь** окончил чтение, как прискакал опять Нейдгардт с донесением, что возмущившиеся роты Московского полка уже заняли Сенатскую площадь. Спокойно выслушал его **государь** и тут же передал эту весть народу сжато, кратко... Тысячная масса, после объясненного ей самим **государем**, мгновенно все поняла и оценила. Она сдвинулась, сплотилась вокруг **царя** и множество голосов закричало, что не допустят никого до него, разорвут всех на клочки, не выдадут его. В эту минуту подошли к **государю** два человека, в партикулярной одежде, с Георгиевскими крестами в петлицах. “Мы знаем, **государь**, – сказал один из них, – что делается в городе, но мы старые, раненые воины и покуда живы, Вас не коснется рука изменников!” То были отставные офицеры Веригин и Бедряга. Другие хватали его руки, фалды мундира, падали на землю, целовали ему ноги. Русский народ вполне выказал тут врожденную ему царелюбовь, то святое, патриархальное чувство, которым искони сильна наша Русь. Но при первом слове **царя**: “Ребята!” – это всколебавшееся море опять успокоилось и сделалось тихо и неподвижно. “Ребята, – сказал **государь**, – не могу поцеловать вас всех, но – вот за всех”. Он обнял и поцеловал ближайших, так сказать лежавших у него на груди*, и несколько секунд, в тишине смолкших тысяч, слышались только поцелуи. Народ свято делил между собой поцелуй **царя**! Возвысив

* В делах императорской Публичной библиотеки есть любопытный документ об этом моменте, именно восподданнейшее письмо к **императору Николаю I**, от 13 августа 1850 г., Черниговской губернии, Суражского уезда, Клинцовского мещанина Луки Чеснокова. Поднося **его величеству** одну старинную рукопись, он писал: “В 1825 г., декабря 14 дня, при восшествии **Вашего величества** на прародительский наследственный престол и при первом воззрении на своих верноподданных в Зимнем дворце, при главной гауптвахте, я, с горящей и нелицемерной любовью к своему венченному владыке, удостоился всемиловитвейшего **Вашего** отеческого объятия и снисходительного разговора, и *первого* меня удостоили **Вашим монаршим** целованием и обещанием **Вашей монаршей** великой милости”.

опять голос, **государь** стал говорить, что унять буйство принадлежит властям; что никто посторонний не должен сметь вступаться, ни словом, ни делом, во что бы то ни было; что любовь и преданность оценятся по спокойствию и строгой покорности приказаниям тех, которые одни знают что и как делать. Наконец, заключив советом идти по домам, **государь** сказал: “Дайте теперь место”. И тихо отодвинулась толпа к краям площади, очистив то пространство перед дворцом, которое должен был занять приближавшийся батальон лейб-гвардии Преображенского полка.

Удостоенный особенным вниманием усопшего **императора** и благодетеля своего, Преображенский полк искренно и глубоко скорбел об его утрате. Но злоумышленники покусились было действовать и на этот, всегда образцовый, полк. 13 декабря, вечером, во 2 роту 1 батальона, состоявшую из молодых солдат, вошел внезапно незнакомый офицер, в адъютантском мундире. Польстив сначала нижним чинам уверением, что вся гвардия ждет от них примера и указания, он объявил потом в превратном виде о назначаемой на следующее утро присяге и прибавил что жертвует собой для спасения первого русского полка от присяги клятвопреступной. Фельдфебель*, человек умный и надежный, послав тотчас предупредить об этом начальство, убеждал офицера прекратить свои рассказы, а солдаты, выведенные наконец из терпения его дерзостью, объявили что не выпустят его. Как нарочно, в казармах не случилось в ту пору никого из командиров, а на зов фельдфебеля пришел дежурный по батальону, прикомандированный незадолго перед тем к полку из армии, совоспитанник упомянутого офицера по Пажескому корпусу. Возмутитель встретил его жалобами на мнимые грубости нижних чинов и угрозами, что начальники будут извещены о неисправности его, дежурного, который испугался этого, велел выпустить бывшего своего товарища и проводил его с извинениями. Но, вслед за тем, фельдфебель доложил о случившемся своему капитану, жившему против казарм; виновного отыскали и арестовали в ту же самую ночь и его покушение осталось без всякого влияния на умы солдат. Утром 14 декабря, батальоны присягнули: 1-й, по прочтении перед ним манифеста бригадным командиром Шеншиным, в дворцовом экзерциргаузе, а 2-й на батальонном дворе, близ Таврического сада^{2*}. Стрелков, посланный за 1-м батальоном, застал людей совершенно спокойными и уже раздевшимися, почему велел им одеваться в полную форму; но явившийся после него Адлерберг взял на себя выводить их, для выиграния времени, не в мундирах, а в шинелях, и поспешил донести о том **государю**, которого нашел на дворцовой площади, по-прежнему одного, в ту минуту, как от него расходился народ. За Адлербергом пришли еще генерал-адъютант Голенищев-Кутузов

* Дмитрий Косяков, бывший после полицмейстером в Павловске и умерший, в отставке, полковником.

^{2*} 3-й батальон, расположенный в окрестностях Царского Села, присягал позже, пототно.

и адъютант принца Евгения Виртембергского, полковник Молоствов. **Государь** приказал с-петербургскому коменданту, генерал-лейтенанту Башуцкому*, остаться при поставленном перед дворцовыми воротами главном карауле и не трогаться с места без особого повеления, а сам пошел к Преображенскому батальону, который, изготовясь и прибыв с быстрой неимоверной, стал спиной к Комендантскому подъезду, левым флангом к экзерциргаузу, правым же почти примкнул к главным дворцовым воротам. Им начальствовал полковник Микулин^{2*} и тут же находился полковой командир, генерал-майор Исленьев^{3*}.

В эту минуту, к другой стороне Зимнего дворца, подъезжала, почти тайно, простая извожичья карета. Она везла того, который, через воцарение его родителя, призван был к сану наследника русского престола – великого князя **Александра Николаевича**. Кавелин нашел его в Аничкином доме – молодые великие княжны уже прежде отвезены были в Зимний дворец – занятого раскрашиванием литографированной картинки, которая изображала переход Александра Македонского через Граник^{4*}... Для большей осторожности, его привезли, вместе с находившимся при его воспитании флигель-адъютантом Мердером, в наемной карете. По исполнении сего, Кавелину тотчас дано было от **государя** новое поручение: привести те роты лейб-гвардии Павловского полка, которые были не в карауле. Таких оказалось всего три и Кавелин, для прикрытия дворца, две из них поставил в Миллионной, у моста через Зимнюю канавку, а третью – у другого моста на Дворцовой набережной.

Когда **государь** приблизился к Преображенскому батальону, люди отдали честь. Он быстро прошел по фронту и потом звонким, далеко разносившимся, голосом сказал: “После отречения брата **Константина Павловича** вы присягнули мне, как законному своему **государю**, и поклялись стоять за меня и мой дом до последней капли крови. Помните, присяга – дело великое. Я требую теперь исполнения. Знаю, что у меня есть враги, но Бог поможет с ними управиться”... На вопрос: готовы ли они идти за ним куда велит, громко загремело молодецкое: “Рады стараться!” Взгляд и вся наружность солдат представляли спокойное, *гранитное*, как говорил после **государь**, выражение глубокого чувства долга. **Государь** обнял Исленьева и Микулина. Он был в восхищении от этого, по истине *первого* батальона в свете, который, в минуту столь примечательную, вполне обнаружил истинную свою преданность. Тут подошел граф Милорадович, которого не было видно с утра. “Cela va mal, Sire, – сказал он, – ils entourent le monument^{5*}; mais je m’en vais leur parler”. У **государя** не вырва-

* Занимая комендантскую должность тридцать лет, он испросил себе от нее увольнение в 1833 г. и умер в 1836-м, в звании генерал-адъютанта и сенатора.

^{2*} Умер, в 1841 г., генерал-адъютантом, состоя при Гвардейском корпусе.

^{3*} Умер, в 1851 г., генерал-адъютантом, инспектором Гвардейских запасных и Гренадерских резервных батальонов и членом Комитета 18 августа 1814 г.

^{4*} Картинка эта и теперь хранится у **государя императора**, в том самом виде, как она тогда осталась.

^{5*} Памятник Петра Великого, на Сенатской площади. Слова Милорадовича относились к взбунтовавшейся части Московского полка.

лось ни одного слова в укор ему за все предшедшие уверения в мнимом спокойствии столицы. “Вы, граф, долго командовали Гвардией, – отвечал он, – солдаты вас знают, любят и уважают: уговорите же их, вразумите что их нарочно вводят в обман; вам они скорее поверят, чем другим”. Милорадович пошел. Провидение уже решило его судьбу и новому императору предопределено было снова его увидеть только – при отдавании ему последнего долга. Продолжая, между тем, оставаться пешком и все в одном мундире, **государь** скомандовал Преображенскому полку, словами устава того времени: “К атаке в колонну стройся, 4-й и 5-й взводы прямо, скорым шагом марш, марш”, – и повернул колонну, почти с места, левым плечом вперед, в направлении к Адмиралтейской площади, остановил ее против угла строившегося тогда и обнесенного временным деревянным забором дома Главного штаба. Тут привели ему верховую лошадь и, садясь на нее, он случайно заметил вышедшего из-за ворот забора одного штаб-офицера, которого печальная, известная по истории заговора роль скоро должна была открыться. В эту минуту послышались со стороны Сенатской площади ружейные выстрелы, которых причину мы объясним ниже. **Государь** спросил полковника Микулина заряжены ли у людей ружья и, по отрицательному ответу, велел зарядить боевыми патронами, вызвать на фланги стрелков и полковому командиру Исленьеву, с тремя фузелерными ротами, идти к Сенатской площади, где стать правым флангом к Адмиралтейскому бульвару, против дома князя Лобанова, что ныне Военное Министерство. Потом, обратясь к оставшейся еще на месте своей роте, и как бы запямятовав на ту минуту новый свой сан, он сказал: “Рота его величества остается при мне”. Таким образом этой роте, под командой капитана Игнатьева*, выпал счастливый жребий следовать за всеми первыми движениями **государя** и предание о том свято живет в ней доныне, хотя в рядах ее уже не осталось никого из тогдашнего состава². С одной этой ротой, сопровождаемый, сверх Кутузова и Адлерберга, Стрекаловым, Перовским и флигель-адъютантом Дурново, к которым вскоре присоединились генерал-адъютанты князь Трубецкой и граф Комаровский, **государь** двинулся за фузелерными ротами, по направлению к Сенатской площади, останавливаясь, впрочем, несколько раз на пути для отдания приказаний и выслушания донесений; причем свободно допускаемы были к нему многие, как должностные, так и частные лица. На углу Невского проспекта подошел, таким образом, офицер Нижегородского драгунского полка, с черной повязкой вокруг головы и с огромными черными глазами и усами, придававшими его наружности что-то замечательно отвратительное. На вопрос: как его зовут, услышав, удержанную в памяти из похвальных отзывов графа Милорадовича, фамилию Якубович, **государь** спросил: чего он желает? “Я был с ними, –

* Впоследствии дежурный генерал Главного штаба: ныне генерал-адъютант, член Государственного совета и с.-петербургский военный генерал-губернатор.

² **Император Николай** и с своей стороны сохранял до конца своих дней особенное благорасположение к 1-му батальону и вообще ко всему Преображенскому полку, милостиво называя его, при всех случаях: “Моя семья”.

дерзко отвечал заговорщик, – но, услышав что они за **Константина**, бросил их и явился к вам”. – “Спасибо, – сказал **государь**, – вы поняли ваш долг и я теперь же дам вам возможность загладить прошедшее. Ступайте к своим и постарайтесь их вразумить и воротить к порядку, если, впрочем, не боитесь опасности”. – “Вот доказательство что я не из трусливых”, – отвечал Якубович, указывая на свою обязанную голову. “Браво, браво!” – раздался сзади голос флигель-адъютанта Дурново. **Государь** остановил эту неуместную выходку строгим замечанием. Уже позже обнаружилось что Якубович, под личиною возвращения к законному долгу, старался только разведать происходившее в противных злоумышленникам рядах, чтобы действовать по обстоятельствам.

Продолжая медленно ехать вперед **государь** послал, сперва, бывшего при нем верхом старого рейткнехта Лондырева, а потом Перовского, за Конной Гвардией. Из числа возмутившихся войск, Сенатскую площадь тогда занимала только еще упомянутая выше часть Московского полка, которая, при криках: Ура Константин! – выкинула стрелковую цепь, никого не пропускавшую. Перовскому, который ехал в санях, солдаты дали, однако же, дорогу и хотя чернь, из-за заборов вокруг Исакиевского собора, бросала в него, сама не зная что делает, камнями, но он успел выполнить данное ему поручение. Орлов поспешил в казармы. Пока было отдаваемо приказание скорее одеваться и седлать лошадей, далеко впереди шел только что сменившийся с внутреннего дворцового караула князь Одоевский, который – как рассказывали после – говорил людям: “Успеете, нечего торопиться”. При личной бытности Орлова, это не произвело, впрочем, никакого замедления и когда оканчивали седлать, сам он поехал, верхом, на Сенатский мост, чтобы осмотреть расположение мятежников. Его там узнали и из рядов их послышались крики: “Вот Орлов выезжает с медными лбами”, – а один сенатский чиновник, находившийся в толпе, ухватился за его ногу и умолял не ехать далее, чтоб не быть убиту. По возвращении в казармы, Орлов велел трубить тревогу. В эту минуту приехал Милорадович. После рассказанного нами свидания с **государем** на Дворцовой площади, он спешил, пешком, к месту собрания мятежников. На дороге ему встретился обер-полицеймейстер Шульгин. Милорадович, высадив его из саней, помчался в них с адъютантом своим, Башуцким (сыном коменданта), к Сенатской площади; но ему не было такой удачи как Перовскому. От угла булеваря невозможно было пробраться далее, за сплошной массой народа, занявшего собой все пространство до памятника **Петра Великого**, которого подножье предводители бунта избрали как бы местом опоры для совершения своей измены. Милорадович принужден был объехать кругом, через Синий мост, по Мойке, на Поцелуев мост, и оттуда в Конную Гвардию, где встретился с Орловым. “Allons ensemble parler aux mutins”, – сказал он последнему с довольно встревоженным видом. “J’en viens, – отвечал Орлов, – et croyez-moi, Monsieur le Comte, n’y allez pas. Ces gens ont besoin de commettre un crime; ne leur en donnez pas l’occasion. Quant à moi, je ne peux, ni ne dois vous suivre; ma place est avec la troupe que je commande et que je dois conduire auprès de l’Empereur, comme j’en ai l’ordre”. – “Que serait-ce donc qu’un Gouverneur-Général qui ne saurait répandre son sang quand le sang doit couler!” – вскричал

Милорадович, сел на лошадь, взятую им у адъютанта Орлова, Бахметева, и поехал на площадь. За ним следовал, пешком, один Башуцкий. Они врезались в толпу и остановились шагах в десяти от бунтующих солдат. Народ отступил за площадь, очистив таким образом место впереди, и стеснился с остальных трех сторон. Здесь старый воин, герой Лекко, Амштетена, Бородина, Красного, Кульма, Бриенна, Фер-Шампенуаза, был уже на настоящем своем поприще. Бесстрашный, привыкший говорить с русским солдатом, чтимый им, он разразился могучей речью и наконец, в доказательство что не мог бы изменить **цесаревичу Константину**, выдернул из ножен полученную в дар от него шпагу, обернул ее эфесом к мятежникам и стал указывать и громко читать надпись: “Другу моему Милорадовичу”. Все это, вместе с славным его именем, с отважным видом, с покрытой звездами грудью, оставшейся девственной от ран после пятидесяти сражений, сильно подействовало на солдат: они стояли вытянувшись, держа ружья под приклад, и робко глядели ему в глаза. Но вдруг – поднятые кверху руки Милорадовича опустились, будто свинцовые, туловище перегнулось, лошадь рванулась вперед и он упал на грудь Башуцкого. Переодетый отставной поручик Каховский, стоявший в толпе народа за лошадью графа, подкрался к нему и выстрелил почти в упор, из пистолета, в бок, под самый крест надетой на нем Андреевской ленты*. Лишь только Милорадович упал, как раздались выстрелы и несколько пуль полетело из рядов мятежников в стоявшую за ним толпу. Это обстоятельство осталось неразъясненным и быть может что бунтовщики, на минуту образумленные словами Милорадовича, под влиянием свежего еще от них впечатления послали эти выстрелы – его убийцам. Башуцкий, с помощью двух, вызванных тут же из толпы простолюдинов, понес умиравшего в Конногвардейские казармы, как ближайшее безопасное место. Все это произошло так быстро, что Орлов только еще выстраивал там выезжавших людей. “Напрасно не послушался тебя”, – прошептал Милорадович, когда его несли мимо.

Полк тронулся к месту назначения^{2*}.

Мы уже говорили о выстрелах, слышанных **государем** когда он остановился у дома Главного штаба. Это были те, которые раздались после падения Милорадовича. В след за ними принес **государю** известие о ране графа прибежавший с Сенатской площади флигель-адъютант князь Андрей Голицын. **Государь**, в видимом сокрушении, рассуждал перед окружающими лицами своей свиты о мрачных происшествиях дня и, обращаясь к толпившемуся вокруг народу, убеждал его разойтись. “По мне стре-

* Кроме этой, безусловно смертельной раны, Милорадович получил еще другую, довольно глубокую, штыком в спину. По следствию и суду открыто, что сию последнюю нанес, одновременно с выстрелом Каховского, другой офицер, утверждавший, впрочем, что хотел только ранить лошадь, чтобы принудить графа удалиться.

^{2*} Тут было только четыре эскадрона. Остальные два, по тесноте помещения, стояли в Семеновских казармах, где находился фуражный двор, и пришли позже, о чем мы скажем в своем месте.

лять будут, – говорил он, – и могут в вас попасть. Не хочу, чтоб кто-нибудь пострадал за меня. Ступайте по домам: завтра узнаете чем кончилось”. – “Наденьте шапки, – прибавил он, обратясь к стоявшим с обнаженными головами, – простудитесь!” И когда многие повернулись и, идя, начали креститься, он сказал: “Вот так, хорошо: молитесь Богу, а завтра мы здесь увидимся”. Тут же **государь** подозвал капитана Игнатьева и сказал ему: “Я знаю привязанность твоей роты к покойному моему брату и не могу придумать чем лучше наградить эту роту, как дав ей последний его Преображенский мундир и его вензель на эполеты”. Эта милость была тотчас объявлена людям и привела их в иступленный восторг. Все, в один голос, откликнулись: “Рады умереть за **ваше величество!**”*

Постепенно подвигаясь, **государь** достиг уже конца Адмиралтейской площади и находился у угла, образуемого продолжением Вознесенской улицы и домом Лобанова, что ныне здание Военного Министерства. В это время пришла Конная гвардия. Обогнув Исакиевский собор от стороны Синего моста и выехав в бывшую между ним и сказанным домом улицу, полк построился спиной к последнему, в эскадронной колонне. **Государь** приблизился к рядам и поздоровался с солдатами, которые громко ответили на его приветствие: “Здравия желаем, **ваше императорское величество!**” После сего он спросил их: признают ли они его своим государем? и когда, на этот вопрос, от всех чинов, стоявших во фронте, раздалось душевное и долго не умолкавшее: “Ура! Да здравствует **ваше императорское величество!**” – то он сказал: “Мне не нужно новых уверений в вашей преданности, вы всегда служили верно всем законным царям. Первый мундир, который я носил, был ваш, и хотя я был тогда еще ребенок, но с сожалением поменялся им с братом **Константином**”. За тем он велел полку идти на Сенатскую площадь. По одной ее стороне тянулись тогда заборы, окружавшие строение Исакиевской церкви и доходившие почти до тех частных домов, которые стояли на месте нынешнего здания св. Синода; другая же, противоположная сторона была загромождена выгруженными для строения каменьями, так что до памятника **Петра Великого** от места, где остановилась Конная Гвардия, было только шагов пятьдесят. Идя на этом пространстве по шести человек в ряд, полк выстроился в две линии, правым флангом в направлении к памятнику, а левым почти примыкая к заборам. Мятежные роты Московского полка стояли, с своей стороны, в густой, неправильной колонне, тылом к зданию Сената. Общая физиономия площади и бунтовавшей толпы –

* Здесь должно заметить случай, которым подтверждается, что не все, принадлежавшие к заговору, имели сведения о готовившемся на 14 декабря возмущении, или хотели в нем участвовать. При сказанной роте находился временно прикомандированный прапорщик, также из числа заговорщиков. Услышав о царской милости, он подошел к капитану и убеждал исходатайствовать тут же у **его величества**, чтобы и на него распространено было право носить вензель покойного **императора**. Игнатьев, приказав ему возвратиться к своему месту, обещал доложить о его желании своевременно по началству. Проведя, при роте, ночь на биваках, этот офицер до возвращения в казармы, усердно исполнял свою обязанность, едва ли предугадывая, что скоро потом будет арестован, как участник в заговоре.

рассказывает один очевидец, случайно зашедший туда во время утренней своей прогулки – представляла зрелище совершенно своеобразное. Тут были лица, каких никогда не видать в Петербурге, по крайней мере массами: старинные фризовые шинели с множеством откидных воротников; шинели гражданские, порядочные, и при них на головах мужицкие шапки; полушубки при круглых шляпах; белые полотенцы вместо кушаков, и тому подобное – целый маскарад распутства, замышляющего преступление. Солдаты, растегнутые, с заваленными на затылок киверами, в амуниции беспорядочно накинутой, были большей частью пьяны. В середине развевалось одно из знамен Московского полка, а возле него сидел верхом, видимо по неволе, полицейский жандарм – *взятый в плен*, как говорила, смеясь, стоявшая вокруг чернь. Все это оглашало воздух дикими воплями, бессмысленным говором, посреди которого слышался иногда явственный крик: ура **Константину Павловичу!** Солдаты грелись переминаясь; некоторым хотелось есть и они посылали на Сенатскую гауптвахту просить хлеба. Из страха ли быть затесненными, или заранее предчувствуя свою участь и жалея других, два или три унтер-офицера беспрестанно отгоняли народ от колонны и говорили, что если уже пришлось умирать, так пусть умрут одни они, москвичи, а народу не к чему лезть на смерть. В рядах мелькали, по временам, Александр Бестужев, Рылеев и несколько других, неизвестных нашему зрителю лиц, в упомянутых фантастических нарядах. Один Бестужев ходил в мундире; более никого не было видно в этом месте похожего, по одежде, на офицера или на начальника. Вдруг раздались несколько выстрелов, которые отняли у нашего повествователя охоту продолжать далее свои наблюдения.

Выстрелы были по генерале Войнове, покусившемся было также уговаривать бунтовщиков. Они ему не нанесли вреда; но флигель-адъютант Бибиков, посланный **государем** узнать, от чего медлит приходом вытребованный на площадь Гвардейский морской экипаж, был схвачен и жестоко избит в то время как пробивался через выставленную мятежниками цепь. Опомнившись от ударов и едва успев освободиться от напавших на него, он объехал, на извозчике, уже вокруг Исакиевского собора, чтобы донести **государю**, что Гвардейский морской экипаж, о котором дотеле не было известно ничего положительного, присоединился к мятежной толпе Московского полка. Позже открылось, что матросы, вовлеченные в обман, подобно солдатам этого полка, некоторыми из своих офицеров, с самого начала отказались присягать, и хотя бригадный командир Шипов* арестовал ротных командиров, но матросы их освободили. Когда же на Сенатской площади стали стрелять после нанесения раны Милорадовичу, то большая часть экипажа, по крику: “Ребята, слышите ли стрельбу!” – бросились из казарм, несмотря на усилия командира его, капитана 1-го ранга Качалова^{2*}, который еще в воротах старался удержать безжавших. Эта новая толпа, примкнув к ротам Московского полка, расположи-

* Теперь генерал-адъютант и сенатор, уволенный в бессрочный отпуск.

2* Умер, в 1855 году, адмиралом и членом Адмиралтейств-совета.

лась впереди их, поперек правого их фланга. При таком подкреплении, полученном бунтовщиками, **государь** нашел необходимым отрезать им сообщение с Васильевским островом и прикрыть правый фланг Конной Гвардии, для чего отделил оставшуюся при нем Преображенскую роту и велел принцу Евгению Виртембергскому поставить ее у Исакиевского моста, но с тем чтобы Игнатъев, в случае выстрелов по роте, не отвечал на них до особого о том повеления. Принц Евгений поднял свою лошадь на дыбы и, повернув ее, сказал с досадой: “Cela ne servira á rien”. В то же время было послано еще за другими войсками, а сам **государь**, с генерал-адъютантом Бенкендорфом, выехал на Сенатскую площадь, чтобы ближе осмотреть расположение скопища. И его встретили выстрелами...

Теперь, для ясности и полноты рассказа, нам должно возвратиться несколько назад.

Великий князь Михаил Павлович, устранив возникшее утром замешательство в Конной артиллерии, возвращался в Зимний дворец, но на Преображенском плаце его настиг нарочный, с донесением о случившемся в Московском полку. **Великий князь** был и шефом этого полка, и начальником той дивизии, к которой он принадлежал, и потому немедленно поспешил в казармы. Когда он прискакал туда, часть одного батальона была уже увлечена злоумышленниками на Сенатскую площадь, а часть другого еще не возвращалась из караулов, которые занимала накануне, так что на месте оставалось, от обоих батальонов, не более четырех рот. Они были собраны на полковом дворе, а перед ними стоял священник, в облачении, за аналоем, и ходили, в недоумении, генералы Войнов и Бистром, истощившие уже все средства убеждения. При виде **великого князя**, солдаты стали кричать ура и спрашивать: каким же образом их уверяли, что **его высочество** в оковах? “Вы видите, следовательно, что вас гнусно обманули”, – отвечал он и, объяснив им все обстоятельства в истинном виде, спросил, готовы ли они теперь, по долгу своему, присягнуть законному **государю**, **императору Николаю Павловичу**? “Рады стараться!” – откликнулись выведенные из заблуждения солдаты. “Если так, – продолжал **великий князь**, – то, в большее еще доказательство, что вас обманывали и что от меня вы слышали одну сущую правду, я сам вместе с вами присягну”. И точно, велел офицерам повторять за священником слова присяги и следовать по рядам как будут произносить ее нижние чины, **Михаил Павлович** стал возле аналоя и тут же, на полковом дворе, под открытым небом, посреди солдат, принес верноподданнический обет своему брату – первый еще акт сего рода во всю его жизнь*.

* Закон 1797 года постановляет, чтобы при торжественном объявлении совершеннолетия лиц, по крови к **императорскому** дому принадлежащих, они присягали, в присутствии монарха, в верности ему и Отечеству и в соблюдении права наследства и установленного фамильного распорядка. Но при достижении совершеннолетия **великими князьями Николаем и Михаилом Павловичами**, торжественного объявления не было, а потому и присяги они не приносили. **Николай Павлович** присягнул, впервые, брату своему **Константину**, а **Михаил Павлович** – в упомянутом теперь случае.

“Теперь, ребята, – сказал он, – если нашлись мерзавцы, которые осрамили ваш мундир, то докажите что есть между вами и честные люди, которые присягали не понапрасну и готовы омыть этот стыд своей кровью”. “Рады стараться”, – раздалось снова со всех сторон и все четыре роты, с своими офицерами, повинувшись беспрекословно командному слову, выступили, в совершенном порядке, из казарменных ворот, откуда **великий князь** лично повел их, по Гороховой, к Сенатской площади – *повел*, в полном смысле слова, потому что, с его прибытия в Петербург, ему не успели еще и даже не знали куда привести верховую лошадь. Вразумленная словами великого князя часть Московского полка пришла к Адмиралтейской площади в ту именно минуту, когда **государь** возвращался от скопища мятежников, встретивших его выстрелами. Офицеры бросились целовать ему руки и ноги и усердно просили позволения немедленно искупить своей кровью нанесенное полку бесчестие. **Государь** отворачивался еще от мысли кровопролития; но, в свидетельство доверенности своей к раскаянию пришедшего отряда, поставил его на углу забора перед Исакиевской церковью, против самых бунтовщиков. **Михаил Павлович**, которому **государь** дал тут свою лошадь, изъявлял желание идти в ряды возмущившихся, с несколькими старыми и особенно уважаемыми солдатами из верной части полка, чтобы подействовать на первых личным своим появлением и примером товарищей, но **государь**, при виде явной опасности, не допустил этого великодушного порыва. Напрасно **великий князь** несколько раз повторял с жаром: “**Ваше величество** позвольте идти сейчас, позвольте отнять знамена”. – **Государь** отвечал и на это: “Нет, останься здесь”. Между тем к нему прибыл генерал-адъютант Васильчиков и пришли Кавалергардский полк и 2-й батальон Преображенского. Оставя кавалергардов в резерве на Адмиралтейской площади, **государь** велел 2-му Преображенскому батальону, вместе с тремя ротами 1-го примкнуть, рядами направо, к Конной Гвардии и послал генерал-адъютанта графа Комаровского, на Васильевский остров, за 1-м батальоном лейб-гвардии Финляндского полка, который должен был занять Исакиевский мост, а для пресечения разлива мятежников и во все другие стороны, предназначил привести на Галерную улицу – в обход по Почтамтской и через Крюков канал – те роты Павловского полка, которые, при первых вестях о возмущении, были поставлены Кавелиным у Зимнего дворца; оставшуюся же свободной между Исакиевским собором и Конногвардейским манежем позицию, в правом фланге мятежников, занять Семеновским полком. Но как этот полк еще не приходил, то **государь** поручил своему брату ускорить его прибытие и принять потом в свое начальство отряд, долженствовавший составиться таким образом по ту сторону Исакиевского собора. **Великий князь** встретил Семеновский полк уже на Красном мосту и привел его по назначению, но, по тесноте места, должен был поставить батальон за батальоном, прямо против стоявшей тут мятежной части Гвардейского морского экипажа.

Не являлся на место действия еще и другой полк, по всем отношениям близкий сердцу **государя**, который, в сане **великого князя**, был его шефом и сперва бригадным, а потом дивизионным командиром – полк Измайловский. Кавелин уже давно, – тотчас по расстановке Павловских

рот у Зимнего дворца, – был послан его привести, в таком, разумеется, случае, если в нем спокойно. Но ни посланного, ни полка все еще не было. Позже, это замедление объяснилось следующим образом. Приехав в казармы, Кавелин услышал от бригадного командира Мартынова*, что у присяги во 2-й Гренадерской роте несколько голосов произнесло имя **Константина**. Кавелин – прежде поступления в адъютанты к **Николаю Павловичу** сам измайловский офицер – хотел удостовериться в расположении умов личными распросами в роте; но как, после присяги, один ее взвод пошел относить знамена во дворец, то он обратился к ротному командиру Богдановичу с вопросом: отвечает ли тот жизнью, что люди исполнят свою обязанность? Богданович, не колеблясь, поручился в этом и прибавил что крики у присяги: “**Константину**”, были произнесены только несколькими молодыми офицерами, позади фронта. Кавелин, однако же, дождался возвращения взвода и, вместе с полковым командиром Симанским, пошел в роту, на половину состоявшую из гренадер 3-й роты, которой он прежде был командиром. Обратясь тут к людям, он сказал что про них идет дурная молва, но что он не хочет ей верить, зная прежнюю их отличную службу и доверенность к старшим начальникам, которые никогда их не обманывали. Все солдаты, также подтвердив что крики: “**Константину**”, были не от них, а от молодых офицеров, с восторгом и в один голос отвечали просьбой – вести их куда угодно начальству. Вследствие того полк был выведен и генерал-адъютант Левашов, присланный от **государя** узнать о причине замедления, уже нашел все в совершенном порядке. Кавелин и Мартынов сами пошли с людьми. Для большей осторожности, последний приказал двум надежным унтер-офицерам втайне наблюдать за навлекшими на себя подозрение офицерами, которые, впрочем, шли также во фронте.

Но прежде еще, чем Измайловский полк успел дойти до места действия, там многое приняло другой вид.

Упорство мятежников, которые, несмотря на усиливавшуюся вокруг массу войск, продолжали стоять неподвижно на занятых местах; покушение на жизнь графа Милорадовича; насильственные их поступки против разных, попадавших им в руки лиц; выстрелы по генерале Войнове и другим, наконец и по самому **государю** – все это, к сожалению, указывало на необходимость обратиться к мерам более энергичским и решительным. Принц Евгений Виртембергский советовал испытать конную атаку, как средство подавить и рассеять упорное скопище. **Государь** сам скомандовал Конной Гвардии: “За Бога и царя, марш, марш”, – и Орлов повел ее, подивизионно, против мятежной колонны. Но на площади было очень мало снега, неподкованные на шипы лошади скользили по оледенелым камням, у людей не были отпущены палаши и, сверх того, при тесноте места, бунтовщики, в сомкнутой массе, имели всю выгоду на своей стороне. Первая атака и повторенные за ней несколько других остались безуспешными. Напротив, от батально-

* Умер в 1838 году, генерал-адъютантом и с.-петербургским комендантом.

го огня, которым встречали мятежники каждый натиск Конной Гвардии, в ней многие были ранены, в том числе полковник Вельо*, лишившийся руки. Орлов, видя невозможность врубиться, скомандовал: “Назад равняйся”, – и отвел свои дивизионы на прежнее место, оставаясь, при отступлении, лицом к мятежникам, чтобы наблюдать за их действиями. Движение сие было, однако, не совсем без последствий. Прискакавший в это время из своих казарм дивизион лейб-гвардии Коннопионерного и 1-го Коннопионерного эскадронов, под командой полковника Засса^{2*}, одновременно с помянутыми атаками бросился от угла Конногвардейского манежа во фланг мятежников и успел, вдоль Сената, пробиться, через их толпу, до Исакиевского моста, где пристроился к правому флангу **государевой** Преображенской роты, а вслед за ним пронеслись и два остальные эскадрона лейб-гвардии Конного полка, стоявшие, как говорено выше, в Семеновских казармах и от того прибывшие позже других. Этот напор Засса был до того быстр и отважен, что в Преображенской роте отряд его приняли даже сперва за врага^{3*}.

Безуспешность кавалерийских атак заставила думать обе артиллерии, по крайней мере для устрашения бунтовщиков ее появлением. Чтоб выиграть время, некоторые предлагали послать за конной; но, после бывшего там утром колебания, **государь** предпочел ей пешую. Увидя между зрителями одного из ее офицеров, поручика Булыгина, он приказал ему ехать в казармы за орудиями и в лабораторию за зарядами, а вслед за ним послал, с тем же приказанием, к генералу Сухозанету, дежурного генерала Потапова; сам же направился назад на дворцовую площадь, чтобы принять меры к обеспечению Зимнего дворца, где еще прежде того, велено было усилить караул обоими саперными батальонами: гвардейским и учебным^{4*}. В этот переезд **государя** опять окружала толпа и опять приближались к нему разные лица,

* Теперь генерал-лейтенант и комендант города Царского Села.

^{2*} Умер в 1857 году, в звании генерал-адъютанта.

^{3*} Хотя во все время этой атаки вокруг коннопионеров свистали пули, но убиты были только один унтер-офицер, замечательный тем, что, при формировании Коннопионерного эскадрона, он первый, в образчик обмундирования, был представлен на смотр покойному **государю**, и один рядовой. Под Зассом пьяный мужик ушиб в лобную кость отличную лошадь, подаренную ему, за несколько времени до сего, **великим князем Николаем Павловичем**, и в то же время унтер-офицер Московского полка, также пьяный, хотел проколоть его штыком в правый бок; но Засс удачно отбил штык и выколол тому унтер-офицеру саблей глаз. В толпе бунтовщиков слышны были голоса: “Убейте Засса, стащите его с лошади: он первый фаворит **Николая Павловича!**” В **государевой** Преображенской роте, через которую, при отражении бунтовщиками кавалерийских атак, пули летели роem, не было ни убитых, ни раненых.

^{4*} Приказание Гвардейскому Саперному батальону идти к Зимнему дворцу получено было с двух сторон. Еще перед совершением присяги, когда один взвод, под командой капитана Квашнина-Самарина, отправленный за знаменем в Аничкин дом, возвращался в казармы, два конно-артиллерийские офицера, скакавшие в санях, перерезали ему дорогу и с словами: “Не присягайте, братцы, вас обманывают”, – помчались далее. Но Квашнин-Самарин напомнил людям о их долге безусловного повиновения начальникам и привел взвод, в совершенном порядке, на батальонный двор, где тотчас и началась присяга. В назначенное для молебствия время все офицеры, кроме ротных командиров, оста-

с изъяснением своей преданности. Между ними был и Карамзин. Он приехал к назначенному во дворце молебствию и обе императрицы, жаждавшие всякую минуту известий с места действия, просили его сходить на площадь и узнать ближе, что там происходит. Выйдя вследствие того, как явился во дворец, в пудре, в мундире и шелковых чулках, Карамзин, надев шубу и теплые сапоги, но без шляпы*, пробрался на булевар и оттуда, сквозь толпу любопытных, сошел поклониться **государю**. Сверх того подошел к нему тогдашний ганноверский посланник при нашем дворе, престарелый граф Дёрнберг. Собравшиеся на булеваре, сначала из одного любопытства, иностранные министры, поручили почтенному старцу испросить им позволение стать в свиту **государя**, как бы в сильнейшее еще подтверждение перед народом законности его прав. Приняв милостиво привет Дёрнберга, **Николай Павлович** поручил ему, поблагодарив своих товарищей, сказать им: “que cette scène était une affaire de famille, à la quelle l'Europe n'avait rien à démêler”. Этот ответ очень полюбился стоявшим вокруг русским, а иностранным дипломатам дал первое понятие о характере нового **монарха**.

Но среди таких изъяснений приязни, сердцу молодого **царя** предстояло новое огорчение, столь же малопредвиденное, как и все другие происшествия этого дня.

Из состава лейб-гвардии Гренадерского полка, две роты 1-го батальона занимали 14 декабря караулы в Петропавловской крепости, а две другие и весь 2-й батальон находились в полковых казармах, на Петербургской стороне^{2*}. Когда бывшая налицо часть полка, в присутствии полкового командира Стюрлера, начала присягать, подпоручик Кожевников, пьяный, выбежав на обращенную во двор галлерею офицерского флигеля и перевесясь через решетку, закричал солдатам: “Зачем вы забываете клятву, данную **Константину Павловичу**? Кому присягаете? Все обман!” Его тотчас схватили и арестовали; после чего присяга кончилась в порядке. Но когда люди сели обедать, а офицеры стали уезжать к молебствию

вавшихся, по особому распоряжению, в казармах, съехались в Зимний дворец. Здесь командир батальона, полковник Геруа, услышал, что **государь**, по поводу каких-то беспорядков, находится на площади, но, не зная еще в чем дело, отправился за приказаниями к начальнику Гвардейского штаба. (Геруа был последний, по назначению, флигель-адъютант императора Александра и, получив это звание перед самым выездом **государя** в Таганрог, не успел даже принести ему своей благодарности. Он умер, в 1852 году, генерал-адъютантом и членом Военного совета и Комитета 18 августа 1814 года.) Нейдгардт спросил его, отвечает ли он за свой батальон и, по отзыву “отвечаю, как за самого себя”, приказал вести батальон к Зимнему дворцу и поставить там на большом дворе. Пока это происходило во дворце, флигель-адъютант князь Голицын привез от **государя** то же самое повеление прямо в казармы. За отсутствием Геруа, его принял старший из ротных командиров, капитан Витовтов (ныне генерал-адъютант и командир 4-го армейского корпуса). Он велел раздать людям боевые патроны и тотчас повел батальон беглым шагом, так что встретил Геруа уже у эзерциргауза Зимнего дворца, откуда все вместе и прибыли на указанное место большого двора.

* Тогда, при мундирах, носили под мышкой мягкие шляпы, так называемые *сараеах claque*s, которых нельзя было надеть на голову.

^{2*} 3-й батальон, как во всех полках, находился в загородном расположении.

во дворец, то командовавший 1-й фузелерной ротой офицер, уже присягнувший вместе с прочими, подошел к ней с словами: “Братцы, напрасно мы послушались; другие полки не присягнули и собрались на Сенатской площади. Оденьтесь, зарядите ружья, за мной, и не выдавать. Ваше жалованье у меня в кармане: я раздам его без приказа”. Рота, по привычке слепо повиноваться начальнику, пошла за ним почти в полном составе, хотя в большом беспорядке, через полковой плац и ворота, на улицу. Полковник Стюрлер, еще не успевший уехать во дворец, узнав о случившемся, схватил первого извозчика и бросился в погоню за беглецами. Он настиг их в Дворянской улице и стал уговаривать вернуться; но слова и крик ротного командира взяли верх над убеждениями полкового. Рота побежала на Васильевский остров и оттуда, через Исакиевский мост, к Сенатской площади, а Стюрлеру осталось только возвратиться в казармы, где, в исполнение присланного между тем от **государя** приказа чтобы полк, по требованию, был немедленно готов, он велел остальной его части скорее одеваться и выходить перед казармы. Тогда батальонный адъютант 2-го батальона, поручик Панов, также присягнувший, зная, что прочие офицеры уже уехали, начал бегать из роты в роту и уверять людей, что им будет худо от других полков и от **Константина Павловича**; но солдаты не слушали его внушений. К несчастью, пока они, исполняя приказание полкового командира, строились перед казармами, с Сенатской площади донесся гул от выстрелов. Панов воспользовался этим для новых убеждений перейти на сторону **императора Константина** и его слова стали производить некоторое колебание в рядах. Заметив это, он бросился в середину колонны и с возмутительным криком ура! увлек несколько рот, вслед за 1-ю фузелерной, по другой, однако же, дороге, именно через Большую Миллионную и Дворцовую площадь. На пути ему вдруг пришла ужасная мысль – овладеть Зимним дворцом и, в случае сопротивления, истребить всю находившуюся в нем царственную семью. С этим намерением он подступил к главным дворцовым воротам. Здесь комендант Башуцкий, приняв предводимую Пановым и шедшую еще в некотором порядке толпу, за новый отряд, присланный **государем** для охранения дворца, сам велел караулу от лейб-гвардии Финляндского полка расступиться и пропустить пришедших. Одно милосердие Божие не позволило совершиться злодейскому замыслу. Мятежники, с Пановым в голове, начали смело входить на двор, но там уже стоял, только что пришедший и оканчивавший строиться в колонну, Гвардейский Саперный батальон. Один из приехавших во дворец к молебствию лейб-гвардии гренадерских офицеров, поручик барон Зальца*, увидев из окна что нижние чины его полка вошли на двор, сбегал вниз и стал распраскивать людей: зачем они тут? “Мы ничего не знаем, – отвечали они, – нас привел поручик Панов”. Тогда Зальца обратился к Панову, который, приложив руку к голове, казался погруженным в размышление о чем-то важ-

* Теперь генерал-лейтенант и 1-й ревельский комендант.

ном. На вопрос что все это значит, он поднял обнаженную шпагу и закричал: “Оставь меня”, – а потом, когда Зальца продолжал спрашивать объяснения, он сказал: “Если ты от меня не отстанешь, я велю прикладами тебя убить”. Раздумье Панова происходило от неожиданного препятствия, которое он встретил на дворцовом дворе. Приход Саперного батальона, предваривший Панова, разрушил его замысел. Подняв шпагу и закричав: “Да это не наши, ребята за мною!” – поворотил свою толпу назад и устремился с ней, через главные ворота, направо. Зальца пошел вслед за ними. В стороне, на площади, стоял, в саях, полковой командир Стюрлер, который подзвал его к себе, сказал: “Старайтесь спасти знамя; Панов взбунтовал полк”. По удалении лейб-гренадер, все наружные выходы дворца тотчас были заняты усиленными постами от лейб-гвардии Саперного батальона и, сверх того, 1-я Минерная рота стала у главных ворот, 1-й взвод 1-й Саперной роты – на собственном **государевом** подъезде, а 2-й взвод 2-й Саперной роты – на Посольском (Иорданском) подъезде. Если бы только *несколькими минутами* замедлилось прибытие и вступление на двор Зимнего дворца этого батальона, то нет сомнения, что Панов, имея против себя лишь один слабый караул от Финляндского полка мог бы исполнить свое зверское намерение, со всеми его неисчислимыми последствиями, почти беспрепятственно!..

Государь, ничего не зная о происшедшем, ехал, как мы уже сказали, назад к Зимнему дворцу. Перед зданием Главного штаба ему встретилась упомянутая толпа, со знаменами, но без офицеров и в совершенном беспорядке. В недоумении, хотя и не подозревая еще истины, он хотел остановиться и выстроить людей. На его “стой”, они закричали: “Мы за Константина!” – “Когда так, то вот ваша дорога”, – хладнокровно отвечал **государь** и, указав им на Сенатскую площадь, скомандовал войскам раздаться и пропустить лейб-гренадер, которые, хлынув мимо него, по обеим сторонам его лошади, скоро примкнули к прочим бунтовщикам. Само, конечно, Провидение внушило **государю** эту мысль. Отстранив раздельное, вдруг на нескольких точках, действие мятежников и кровопролитие почти под окнами дворца, совокупив весь их состав в одно место и облегчив тем последующее их поражение, она одна, может сказать, решила участь дня. Этой благодатной мыслью и чудесным, за минуту до того, спасением **императорского** дома, явно ознаменовалось покровительство Промысла Божия наступившему царствованию. Здесь мы не можем не остановиться также с умилением еще и перед другими знаменами Провидения, проявившимися в этот день, среди измены и клятвопреступления, в тех подвигах истинной доблести, которые оно внушало защитникам правого дела. Так, в том же лейб-гвардии Гренадерском полку, командир роты **его величества**, бежавшей с прочими, капитан князь Мещерский настиг солдат на дороге, убедил, при доверии их к нему, почти всех возвратиться к долгу и, вместе со стрелковым взводом той же роты, еще прежде образумленным твердостью подпоручика Тутолмина, привел к **государю***. Так

* В награду **государь** предоставил Мещерскому с этой ротой почетное место – присоединиться к саперам для защиты Зимнего дворца.

караул от лейб-гвардии Финляндского полка, под командою подпоручика Насакина 1-го, стоявший на Сенатской гауптвахте – следственно окруженный мятежниками, которых тыл примыкал к караульной платформе – все время бесстрашно выстоял под ружьем. Не слушая ни убеждений, ни угроз бунтовщиков, караул до конца остался непоколебим в исполнении своих обязанностей, даже отдавал честь всякий раз, когда в виду его показывался **государь**, и каждые два часа разводил обыкновенную смену, которая проникала через мятежное каре к посту у дома Лобанова и возвращалась тем же путем к гауптвахте, сохраняя должный порядок*. Так другой караул от того же полка, под командой поручика Зейфорта, назначенный к Главному Адмиралтейству, был задержан на пути возмущившимися ротами Московского полка, стремившимися на Сенатскую площадь, отбил от них силой и пришел к своему месту^{2*}. Кроме оставшихся в скромной безвестности, много, в этот день, было и других подвигов, которые должны были пролить отраду в сокрушенное сердце **государя**. Упомянем, между ними, еще о следующих. Полковник Стюрлер, когда часть его полка была увлечена к мятежу обольщениями Панова и его товарища, презрел, для исполнения обязанности, видимую опасность и, усиливаясь вразумить отложившихся от покорности, пошел в их ряды на Сенатскую площадь; только смертельная рана, нанесенная пулей того же убийцы, от руки которого пал и Милорадович, могла остановить его порыв^{3*}. Поручик барон Зальца, исполняя упомянутое выше приказание своего полкового командира, еще на Дворцовой площади остановил знаменщика, унтер-офицера Пивоварова; который беспрекословно отдал ему знамя и вместе с ним, пробиваясь через толпу, побежал к Невскому проспекту. Но настигнувшие их, по приказанию Панова, гренадеры, нанеся Зальцу несколько ударов ружейными прикладами, вырвали у него знамя и передали опять Пивоварову. Далее, однако, близ Адмиралтейства, Зальцу с Пивоваровым, продолжавшим нести знамя, удалось отделиться от толпы, но не надолго, потому что солдаты, как и в первый раз, снова втолкали знаменщика к себе в середину и уже не выпускали его. Капитан лейб-гвардии Саперного батальона Витовтов, принявший, как мы говорили, в отсутствие Геруа, повеление вести батальон к Зимнему дворцу, только накануне лишился жены, которой тело даже еще не было

* **Государь**, в тот же еще вечер, призвал Насакина перед себя и поздравил его поручиком и кавалером ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом. За старшего в этом карауле был унтер-офицер Федор Волков. Замечательно, что и содержащиеся на Сенатской гауптвахте арестанты, по увещанию одного из них, не сделали ни малейшей попытки освободиться.

^{2*} Зейфорт – в последствии генерал-майор и начальник штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи – был награжден орденом Св. Анны 4-й степени.

^{3*} Встретив Стюрлера посреди самого скопища мятежников, у памятника **Петра Великого**, Каховский спросил его по-французски: “А вы, полковник, на чьей стороне?” – “Я присягал **императору Николаю** и остаюсь ему верен”, – отвечал Стюрлер. Тогда Каховский выстрелил в него из пистолета, а другой офицер закричал: “Ребята! рубите, колите его”, – и нанес ему сам два удара саблей по голове. Стюрлер, смертельно раненый, сделал с усилием несколько шагов, зашатался и упал. Он был отнесен в дом Лобанова, где умер на другой день.

положено в гроб, и между тем, забывая душевную скорбь и обратясь весь к призыву долга, немедленно исполнил полученное приказание. Нижние чины, с своей стороны, также показали много примеров верности и военной дисциплины. Мы рассказали уже о приеме, сделанном ими в Преображенском полку, 13 декабря, офицеру, который покушался обольстить их ложными уверениями. В тот же день и в Измайловском полку тайно ходил по ротам другой молодой офицер, уговаривая солдат не присягать **Николаю Павловичу**; но унтер-офицеры удаляли его от них, говоря что больше верят старшим начальникам и что если он не уйдет, то отведут его к командирам. 14 числа, при смене утром и выходе из Зимнего дворца Конногвардейского караула, командовавший им заговорщик князь Одоевский сказал людям, чтобы они шли домой одни, а ему не время их вести. “Нет, ваше сиятельство, – отвечал старший унтер-офицер и с ним, в один голос, весь караул, – вы слышали, что генерал велел идти к присяге; ведите нас куда приказано, мы вас не отпустим”. И действительно, Одоевский принужден был идти с караулом и вместе с ним присягнуть. Караул от лейб-гвардии Павловского полка, под командой унтер-офицера Ивана Тюрикова, выстоял в Московских казармах все время мятежа, с непоколебимой отважностью и верностью своим обязанностям. К поставленной у Исакиевского моста **государевой** роте Преображенского полка несколько раз высылали из мятежнической толпы нижних чинов для переговоров. При запрещении стрелять, которое было строго соблюдено, фельдфебель Андреянов и некоторые из унтер-офицеров отгоняли этих людей, или удаляли посредством убеждений. Наконец, когда ротные командиры лейб-гвардии Гренадерского полка Пущин и Штакельберг, стараясь вразумить увлеченные в мятеж свои роты, продолжали уговаривать людей уже внутри самого караула бунтовщиков, и два другие офицера, бросаясь на них, закричали солдатам: “Ребята! вот изменники, колите”, – то солдаты – сами участники бунта – стали, напротив, защищать их, говоря: “Не за что их колоть: они пришли с своими ротами”.

Но и независимо от этих частных подвигов доблести, утешительна была еще та уверенность, тотчас возникшая из свойства восстания и позже вполне подтвердившаяся по следствию и суду, что даже в рядах самих бунтовщиков помыслы горсти злоумышленников совсем не были помыслами массы и что преступные цели первых не находили никакого сочувствия в увлеченных ими солдатах. Не мечтами о каком-нибудь новом, для них совершенно непонятном порядке вещей; не желанием чуждых им преобразований; не словом: *конституция*, которому возмущители, чтобы осмыслить его для простодушного солдата, даже придавали нелепое значение “супруги **императора Константина**”; не всем этим были обольщены нижние чины; их увлек – повторим здесь опять – выставляемый им призрак законности, почерпавший главную свою силу в уверениях, отчасти ближайших начальников, что требуемая новая присяга есть обман. Солдаты были, следственно, только жертвами коварного подлога, и с этой точки зрения смотрело на них потом и правительство, даровав нижним чинам, при искреннем их раскаянии, общее помилование.

Возвратимся к ходу событий.

Грозившая царственной семье опасность и нечаянное столкновение **государя** с возмущившейся частью лейб-гвардии Гренадерского полка еще настоятельнее требовали усиления мер предосторожности. **Государь** послал Адлерберга к шталмейстеру Долгорукому с приказанием пригласить, без огласки, загородные экипажи, чтобы, в крайнем случае, обеих **императриц** и августейших детей перевезти, под прикрытием кавалергардов, в Царское Село. Долгорукой был во дворце, и **императрицы**, узнав что Адлерберг приехал с площади, потребовали его перед собой. **Марию Феодоровну** он нашел в слезах, вне себя от отчаяния и не таившего самых печальных опасений. **Александра Феодоровна** сохраняла более спокойствия и твердости духа. Скрыв от обеих цель, для которой он прислан, Адлерберг старался им передать личную его, основанную на внутреннем предчувствии, уверенность, что все кончится благополучно.

Мы уже упомянули, что артиллерии, сперва через Булыгина, а потом через Потапова, послано было приказание явиться на площадь; оно дошло до генерала Сухозанета на возвратном его пути из Конноартиллерийских казарм. Поскакав в 1-ю Артиллерийскую бригаду, он тотчас сам повел оттуда четыре орудия 1-й легкой роты, под командой поручика Бакунина*, и вместе с тем велел: бригадному командиру, полковнику Нестеровскому, отправить вслед за ним прочие орудия, как только будут запряжены; бригадному адъютанту Философому^{2*} – ехать, с передками, за зарядами в лабораторию, а поручику Булыгину – отправиться туда же, с нумерами зарядных сум, чтобы принятые заряды привезти прямо ко дворцу. Но в лаборатории едва не встретилось затруднение. Командир ее, полковник Челяев, слышавший о происшедшем бунте, недоумевал к которой стороне принадлежит присланная команда и потому никак не хотел выдавать ключей от сараев, так что Философов собирался уже вырубить двери, как вдруг, на счастье, пришел состоявший при лаборатории прапорщик Гольянов, который видел утром присягу артиллерии и потому мог разрешить сомнение Челяева. Вслед за тем явился и Булыгин, который, снабдив зарядами привезенных с собой из казарм людей и рассадив их на извозчиков, поехал вместе с передками на площадь. Еще до прибытия их Сухозанет, близ продолжения Вознесенской улицы, настигнул **государя**, возвращавшегося опять от дворца к войскам. По его приказанию, он поставил приведенные четыре орудия поперек Адмиралтейской площади и, сняв их с передков, скомандовал, для острастки бунтовавших, сколько мог громче, чтобы заряжали пушки *боевыми зарядами*. **Государь** подъехал к фронту и поздоровался с людьми. “Орудия заряжены, – донес ему Сухозанет так тихо, чтобы никто другой не мог слышать, – но без *боевых зарядов*; они скоро будут”...

Между тем дерзость бунтовщиков, подкрепленных лейб-гренадерами еще более возросла. Они участвовали свою нестройную стрельбу и вокруг **государя** засвистали пули. Он пристально посмотрел на стоявшего непо

* Потом адъютант великого князя Михаила Павловича и, наконец, генерал-майор. Умер 1841 году, на Кавказе, от ран, полученных в деле против горцев.

^{2*} Теперь генерал-адъютант и член Комитета 18 августа 1814 года.

далеку Бенкендорфа. Заметив, что последний выговаривает некоторым солдатам, наклонявшим головы от выстрелов, он спросил о чем речь, и, выслушав ответ, дал шпоры своей лошади, которая вынесла его вперед под самые пули. Уже и прежде чернь, легко наклонная к буйству и увлекаемая примером безнаказанности, из-за заборов и углов кидала в войска поленьями и камнями; теперь некоторые из простонародья, подкупаемые деньгами и вином, стали явно перебегать к бунтовщикам. При одном из залпов со стороны последних, лошадь под **государем** испугалась и отскочила в сторону: тогда ему кинулось в глаза, что толпа вокруг него, которую он сперва не мог уговорить накрыться, стала надевать шапки и смотреть с какой-то наглостью. “Шапки долой”, – кричал он с невольной строгостью. В одно мгновение все головы обнажились и толпа хлынула от него прочь. Место было немедленно очищено и у выходов из улиц расставили кавалерийские пикеты, чтобы никого не пропускать на площадь.

Наконец пришел и Измайловский полк. Доложили что он прибыл в порядке и ждет у Синего моста. Когда **государь** подъехал, люди отдали честь с радостными лицами. “Мне хотели вас очернить, – сказал он, – но я не поверил; впрочем, если бы нашлись между вами такие, которые хотят идти против меня, я не мешаю и позволяю сейчас пристать к мятежникам”. Раздалось единодушное, испуганное ура! “Если так, то заряжать ружья”. **Государь** сам повел полк прямо по продолжению Вознесенской улицы и, оставя его в резерве у переднего угла дома Лобанова, направился, вокруг Исакиевского собора, к отряду своего брата, между собором и Конногвардейским манежем, против рядов мятежного Морского экипажа. Здесь **великий князь Михаил Павлович** снова стал предлагать себя в посредники для убеждения бунтовщиков. **Государь**, все еще надеясь отворотить кровопролитие, которое, иначе, казалось неизбежным, не противился более великодушному порыву своего брата и только приказал сопровождать его генерал-адъютанту Левашову. **Великий князь** подъехал вплоть к Экипажу и обратился к людям с обыкновенным приветствием. Из мятежной толпы раздалось дружное: “Здравия желаем, **ваше высочество!**” – “Что с вами делается и что вы это задумали?” – продолжал он. И матросы начали объяснять, как, две недели тому назад, когда никто еще не слыхал и про болезнь **государя императора Александра Павловича**, им вдруг объявили, что его не стало; как потом приказано было присягнуть **государю Константину Павловичу** и они это беспрекословно исполнили, и как наконец, теперь, заставляют их снова присягать **другому государю**, уверяя что прежний не захотел их присяги и отказался царствовать. “Можем ли мы, **ваше высочество**, – говорили они, – взять это на душу, когда тот, кому мы присягали, еще жив, а мы его не видим? Если уже присягому шутить, так что же останется святого!” Тщетно **великий князь** старался заверить их, что **Константин Павлович** точно по доброй своей воле отрекся от престола; что он, **великий князь**, был личным тому свидетелем и что именно на этом основании сам принес присягу новому **государю**. “Мы всегда готовы верить **вашему высочеству**, – отвечали ослепленные лживыми внушениями своих непосредственных начальников, – да

пусть **Константин Павлович** сам придет подтвердить свое отречение, а то мы не знаем даже где он”. – Все дальнейшие увещания остались бесполезными. **Великий князь** принужден был возвратиться без успеха, едва еще не запечатлев свой мужественный подвиг потерей жизни. В то время как он увещевал матросов Морского экипажа возвратиться к порядку, между ними бродил, возбуждая их, молодой человек, отставной гражданский чиновник, один из недавних, но самых уже фанатических участников заговора. Он вздумал воспользоваться благоприятным, в его смысле, случаем и, в нескольких шагах расстояния, навел пистолет на брата своего царя... **Великий князь** был спасен только мгновенным движением трех матросов, стоявших также в рядах бунтовщиков. Заметь злодейское покушение, они все трое бросились на преступника, с криками: “Что он тебе сделал!” – вышибли у него из рук пистолет и стали бить его ружейными прикладами. Трогательное свидетельство, что, даже посреди всех увлечений и разгара страстей, народ наш гнушается всяким преступным замыслом против царственной семьи, искони являющийся предметом его любви и благоговения!*

Описав фазы мятежа и различные изменения, которые он принимал по ходу обстоятельств, мы должны еще упомянуть, хотя несколько позже самого события, о 1-м батальоне лейб-гвардии Финляндского полка, который должен был привести генерал-адъютант граф Комаровский. В казармах, за отъездом полкового командира Воропанова во дворец, он застал одного бригадного, генерала Головина, только что возвратившегося с присяги лейб-гвардии Егерского полка. Выведя батальон, в полной походной амуниции и с боевыми патронами, они оба вместе с ним направились, согласно приказанию, к Исакиевскому мосту. На пути Головин узнал, хотя к сожалению уже слишком поздно, что пришедшая из караула Карабинерная рота **его высочества** не была, вопреки его приказанию, приведена к присяге. Проходя мимо положенных через Неву по льду мостков, он счел нужным, для охранения взохода оттуда на набережную, оставить 3-ю Егерскую роту, а остальные три повел вперед в густой взводной колонне, с заряженными ружьями. Далее встретил их принц Евгений Виртембергский, с повелением от **государя** спешить на указанное место. Люди почти бегом достигли Исакиевского моста и Головин с Комаровским, в голове их, были уже за половину его, как вдруг на Сенатской площади открылся сильный ружейный огонь и в то же время, в середине колонны на мосту, несколько голосов закричало: “Стой!” По этому слову вся колонна остановилась и пришла в некоторое замешательство. Впереди всех была неprisягнувшая рота. Карабинерный ее взвод колебался, однако же, недолго и, под командой капитана Вяткина^{2*}, перейдя остальную часть моста, стал лицом к памятнику и тылом к реке. Но стрелковый взвод, который стоял не по ба-

* Три матроса, спасшие **великого князя** и потом щедро им награжденные и навсегда обещанные, были: Дорофеев, Федоров и Куроптев. Из обнародованного в общее сведение приговора Верховного Уголовного суда известно, что мера наказания злоумышленника, схваченного потом уже в Варшаве, была смягчена, против определенной строгостью закона, собственно по ходатайству **великого князя**.

^{2*} Теперь генерал-лейтенант и виленский комендант.

тальонному расчету, а за карабинерным, не пошел далее. На все убеждения и угрозы бригадного и батальонного командиров, равно и графа Комаровского, люди отвечали одним: что они не присягали **Николаю Павловичу** и ничего дурного не сделают, но по своим стрелять не станут. Причиной всего этого, как после обнаружилось, был один из тайных заговорщиков, молодой поручик, который, не оглашая ничем своего участия в мятеже, успел скрытными наговорами смутить взвод, весь почти составленный из молодых солдат, вновь поступивших из Учебного Карабинерного полка. Следовавшие за стрелковым взводом и остановленные им 1-я и 2-я Егерские роты также упорствовали идти с места; но 3-я, оставленная Головиным на набережной Васильевского острова, по его приказанию перешла, в полном составе, через реку по льду и присоединилась к карабинерному взводу. Вообще это замешательство не имело дальнейших последствий и даже воля **государя** была в точности исполнена: ибо пока место перед Исакиевским мостом охранялось коннопионерами, ротой лейб-гвардии Преображенского полка и частью 1-го Финляндского батальона, другая часть сего последнего, в совершенном спокойствии и порядке, оставалась на середине моста, как бы в резерве.

Государь, до сведения которого все рассказанное нами теперь дошло уже впоследствии, поставя, покамест, пришедший лейб-гвардии Егерский полк в резерве, на Адмиралтейской площади, против Гороховой, за линией артиллерии, стал сам опять на прежнем месте, по сю сторону Исакиевского собора. Таким образом все наличные силы столицы постепенно были стянуты к одному месту; но прежде чем употребить их в действие, сердце молодого **монарха** все еще желало новыми мерами кротости и увещания образумить заблуждающихся. Решено было испытать над ними убеждения религии.

В Зимнем дворце, для предназначавшегося торжественного молебствия, с утра ожидали два митрополита: с.-петербургский Серафим и киевский Евгений. **Государь** послал генерала Стрекалова за первым, но ему добровольно сопутствовал и второй. Оба, в том облачении, в каком они были для молебствия, с двумя своими иподиаконами*, поехали на площадь в извожичей карете, на запятки которой стал Стрекалов, в мундире и ленте. Серафим и его иподиакон вышли у ближайшего к площади угла Адмиралтейского бульвара: их обступил народ и, припадая к земле, умолял не идти на явную смерть, уже постигшую графа Милорадовича. Но подъехавший генерал-адъютант Васильчиков повторил, объявленное уже прежде через Стрекалова, желание **государя**, чтобы митрополит испытал подействовать на умы заблужденных силой веры. В это время пал, в глазах его, от руки Каховского, полковник Стюрлер. Несмотря на то, ревностный к своему долгу пастырь, приложась к кресту и возложив это знамение мира на голову, пошел к бунтующей толпе; за ним следовали митрополит Евгений с иподиаконами. При виде святителя, идущего под

* При Серафиме находился иподиакон Прохор Иванов, при Евгении – Павел Иванов. Прохор Иванов, умерший в 1853 году, первый из диаконов православной церкви удостоился, в двадцатипятилетие 14 декабря (в 1850 г.), в память событий этого дня, сопричисления к ордену Св. Анны 3-й степени.

защитой только своего сана и седин, солдаты взяли с плеча и стали креститься, а некоторые и прикладываться к простертому им кресту. Но пока митрополит старался, призывая Бога в свидетели истины своих слов, вразумить их изъяснением событий в настоящем виде и изобразить преступность измены законному **царю** и ожидающую виновных кару небесную, предводители возмущения, издаваясь над священным его саном, кричали, что законный их царь – **Константин**; что он в оковах близ столиц; что это дело не духовное и если архиерей может присягать по два раза на неделе, то такое клятвopеступление им не пример; что им надо не попа, а **Михаила Павловича**; наконец велели бить в барабаны, чтобы заглушить его речь, и грозились по нем стрелять: над головой митрополита уже скрестились шпаги и штыки. Мужественная его готовность осталась бесплодной и он, с сподвижниками своими, был принужден поспешно удалиться к забору Исакиевской церкви, откуда все они возвратились во дворец в простых извозчичьих санях*.

Наступило уже три часа и сильно смеркалось; погода, из довольно сырой, начала переходить в холодную. Мятежники на Сенатской площади были в видимой нерешимости – что предпринять, но упорно стояли на занятом ими месте, шума и крича еще более прежнего, и хотя большая часть солдат в их рядах стреляла вверх, однако пули ранили многих в Конной гвардии, находившейся ближе прочих войск к их огню. Надежда подействовать увещаниями и снисхождением исчезла и нельзя было не опасаться, что с наступлением ночи, участие черни в бунте будет еще деятельнее, а это могло чрезвычайно затруднить положение войск, со всех сторон ею обступленных. Сами войска горели нетерпением положить конец дерзкому восстанию и начинали роптать на свое бездействие. Но **государю**, по естественному чувству пощады, все еще казалось возможным окружить и стеснить бунтующую толпу до такой степени, чтобы принудить ее сдаться без кровопролития. Желая убедиться в том новым осмотром ее расположения, он опять выехал на Сенатскую площадь; но по нем снова сделали залп. “Картечи бы им надо!” – закричал вдруг кто-то сзади. Государь обернулся. За ним был генерал-адъютант Толь.

При отъезде **великого князя Михаила Павловича** из Ненналя, под свиту его потребовались все почтовые лошади, и потому Толь, на подставных, отстал и приехал в Петербург только в два часа пополудни. Он явился прямо во дворец; но услышав там о случившемся, сел в скорости на генерал-адъютантскую лошадь и прискакал на место действия. “*Voyez ce qui se passe ici, – сказал государь, увидев его, – voilà un joli commencement de règne: un trône teint de sang!*” – “*Sire, – отвечал Толь, – le seul moyen d’y mettre fin, c’est de faire mitrailler cette canaille*”.

Не один Толь был такого мнения. Его разделял и другой человек – прежний начальник **государя** по Гвардейскому Корпусу, глубоко им уважаемый за высокие чувства и образ мыслей – генерал-адъютант Василь-

* Этот маститый и заслуженный иерарх преставился в 1843 году, на 80-м году от рождения, на 44-м архиерейства и на 22-м управления здешней епархией. Митрополит Евгений умер еще в 1837 году.

чиков*. “Sire, – сказал и он, – il n’y a plus un moment à perdre; l’on n’y peut rien maintenant: il faut de la mitraille!”

Сам **государь**, по убеждениям холодного рассудка, не мог не разделять того же взгляда; но сердце его противилось сознанию горькой необходимости, “Vous voulez donc que le premier jour de mon règne je verse le sang de mes sujets?” – отвечал он. “Pour sauver votre Empire!” – возразил Васильчиков. Действительно, было только два выбора: или пролить кровь лишь нескольких и через то, почти несомненно, спасти всех остальных и самое государство; или, подчинясь влиянию личного чувства, пожертвовать для него благом общим.

Слова Васильчикова заставили **государя** подавить в себе личное чувство...

Конная гвардия была отодвинута вправо и стала тылом к Неве, а коннопионеров отвели на Английскую набережную. За тем, из четырех орудий, которые первые явились на площадь, три, под командой поручика Бакунина, зайдя, у самого угла булеvara, левым плечом вперед, снялись с перекладов и выстроились перед фронтом лейб-гвардии Преображенского полка, лицом к лицу с мятежнической колонной, а четвертое, с фейерверкером, было отделено к отряду великого князя Михаила Павловича, расположенному по ту сторону Исакиевского собора. **Государь** велел зарядить картечью. Еще оставался луч надежды, что мятежники, уstraшенные такими приготовлениями и не видя себе спасения, сдадутся добровольно.

Но они продолжали упорно держаться, с прежними криками. **Государь**, находясь верхом у левого фланга батареи, послал генерала Сухозанета сказать бунтовщикам последнее слово помилования. Сухозанет поднял лошадь в галоп и въехал в толпу, которая, держа ружья у ноги, наступилась перед ним. “Ребята, – закричал он, – пушки перед вами, но **государь** милостив, жалеет вас и надеется, что вы образумитесь. Если вы сейчас положите оружие и сдадитесь, то, кроме главных зачинщиков, все будете помилованы”. Солдаты, под видимым впечатлением этих слов, потупили глаза; но несколько офицеров и посторонних людей распутного вида окружили посланного, с ругательством спрашивали, привез ли он им конституцию и грозились на него. “Я прислан с пощадой, а не для переговоров”, – отвечал он, порывисто обернул лошадь и выскочил из среды отшатнувшихся заговорщиков. Вслед ему раздался залп. От выстрелов посыпались перья с его султана и были раненые за батареей и на булеваре.

“Ваше величество, – донес Сухозанет возвратясь, – сумасбродные кричат: Конституция!..”

Государь пожал плечами и поднял глаза к небу. Все способы были испытаны и истощены. Настала решительная минута. Он скомандовал: “Пальба орудиями по порядку, правый фланг начинай, первая”.

Команда, повторенная всеми начальниками по старшинству, была уже выговорена и последним – Бакуниным. Но сердце **государя** болезненно жалось. Слово “отставь” остановило выстрел. То же самое повторилось опять через несколько секунд. Наконец **государь** скомандовал в третий

* Впоследствии граф, князь и председатель Государственного совета. Увенчанный лаврами воинских и гражданских доблестей и оплаканный монархом и целой Россией, он скончался в 1847 году.

раз. Но произнесенное Бакуниным роковое слово – оставалось без исполнения. Пальник, уже два раза слышавший отказ, не спешил выполнением команды. Бакунин заметил или ожидал это: он мгновенно соскочил с лошади, бросился к пушке и спросил у пальника, зачем он не стреляет? “Свои, ваше благородие!” – отвечал тот, робко, в полголоса. “Если бы даже я сам стоял перед дулом, – закричал Бакунин, – и скомандовали пали, тебе и тогда не следовало бы останавливаться”. Пальник повиновался...

Первый выстрел ударил высоко в здание Сената. На него отвечали неистовыми воплями и беглым огнем.

Но за первым выстрелом последовали второй и третий, которые разделились в самой середине толпы и тотчас ее смешали. Часть ее бросилась к той стороне площади, которая была занята Семеновским полком, и наперла на него всей силой. **Великий князь**, подобно **государю**, колебался. “Прикажите палить, **ваше высочество**, – сказал фейерверкер, – не то они самих нас сомнут”. Командное слово раздалось и здесь.

Измена всегда робка. Заговорщики, забыв все тщеславные замыслы и думая единственно о спасении жизни, обратились в бегство; нижние чины, отовсюду стесненные, покинутые возбуждавшими их зачинщиками, может быть и внезапно образумленные побегом последних, не могли держаться одни; они также быстро рассыпались по разным направлениям: по Галерной, где стояли роты Павловского полка*; по Английской набережной; они кидались через загородки на Неву, где падали в глубокий снег; другие старались достигнуть берега Крюкова канала, или укрывались на дворах, в погребах, в подвалах... На Сенатской площади, за миг перед тем кипевшей буйной толпой, не осталось никого – кроме тех, которые не могли уже более встать; но их было мало: картечь, на таком близком расстоянии, или рассыпалась вверх, или, отразившись от земли также вверх, не была смертоносна; она оставила только много пятен на стенах здания Сената и ближайших к нему домов.

После трех выстрелов, артиллерия, по приказанию **государя**, взялась на передки и двинулась к памятнику **Петра Великого**, где, снявшись, сделала еще два выстрела по скопищу, начинавшему было снова выстраиваться, в некотором порядке, на льду Невы. Сверх того был сделан второй выстрел с позиции **великого князя Михаила Павловича** по толпе, бегавшей вдоль Крюкова канала.

Все было кончено...

Те места, на которых стояли бунтовщики, тотчас были заняты полками Преображенским и Измайловским, с отделением нескольких взводов из последнего и из Семеновского для поимки и задержания укрывшихся по домам в Галерной. В числе схваченных почти в самую первую минуту находился один из офицеров лейб-гвардии Московского полка, и Толь поскакал во дворец донести о том **государю**, предполагая, что он уже ту-

* Эти роты, стоя почти против направленных в мятежников пушечных выстрелов, от которых несколько гренадер даже было ранено, нисколько через то не поколебались и еще открыли по бунтовщикам, когда последние были сбиты, батальный огонь.

да возвратился. Здесь, в парадной зале **императрицы Марии Феодоровны**, с утра находились целый двор и съехавшиеся к молебствию лица; все ждали развязки, в смертельной тревоге, которую еще более усиливали приносимые с площади отрывочные и разноречивые рассказы, внезапное перед тем вторжение на дворцовый двор толпы лейб-гренадер, что ясно было видно из этой залы, обращенной туда окнами*, и наконец пушечная пальба, которой ни причины, ни последствий никто наверное не знал. Взгляды всех обратились, с заботливым любопытством, к вошедшему Толю, который спешил во внутренние комнаты, отыскивая **государя**. Его, однако, не было еще во дворце и Толь нашел только **императриц**, которые также целое утро *ожидали*, в чувствах, недоступных описанию... Все время бунта они провели в угловом, на Адмиралтейскую площадь, маленьком кабинете **императрицы-матери**^{2*}; супруга нового **императора** сидела на окне, откуда, пока еще было светло, видна была, в отдалении, часть места действия. Перед их глазами пробежали по площади, в величайшем расстройстве, возмутившиеся лейб-гренадеры и пронесся на всех рысях, для присоединения к прочим войскам, Кавалергардский полк. **Государь** неоднократно присылал к ним, с известиями о ходе дел, принца Евгения Виртембергского, генерал-адъютанта князя Трубецкого и генерал-лейтенанта Демидова. Когда приехал Демидов, **императрица Мария Феодоровна**, при возраставшем в ней все более и более волнении, возымела трогательную мысль, внушенную высоко-поэтической ее душой. Она схватила со стола маленький портрет покойного **императора**, работы славного Изабе, и, вручая его Демидову, сказала: “Prenez ce portrait et allez le montrer aux insurgés: peut-être que son aspect les fera revenir à eux et rentrer dans l’ordre!..” Когда загремел первый пушечный выстрел, **императрица Александра Феодоровна** была в кабинете одна, с возвратившимся с площади Карамзиным. Она пала на колени и в этом положении, в горячей молитве, оставалась до приезда Адлерберга с известием от **государя**, что все кончено. Но самого **государя** еще не было и потому беспокойство родительницы и супруги его не миновалось. “Ah, voilà notre cher Toll, – вскричала **императрица Мария Феодоровна**, когда он вошел, – que nous apportez-vous encore de nouveau? Mon Dieu, il y a donc eu du sang versé!!..” – “Calmez-Vous, Madame, – отвечал Толь, – la mesure était indispensable et elle a été décisive. Les rebelles s’enfuient de toutes parts et on les saisit. Tout est fini. Votre Majeste peut être complètement tranquille sur le compte de l’Empereur et Il doit revenir incessamment”. – “Ah, allez, Général, allez le rejoindre”. При выходе Толя из дворца, **государь**, в сопровождении нескольких генералов и адъютантов, сходил с лошади у подъезда, что под аркой главных ворот. Все время до сей минуты он провел еще на площади, лично отдавая нужные, по обстоятельствам, приказания. Преследовать и захватывать разбежавшихся было возложено на генерал-адъютанта Бенкендорфа, с четырьмя эскадронами Конной гвардии и Коннопионерным эскадроном, под командой генерал-адъютанта Орлова, на

* Эта зала отдельно теперь уже не существует и вошла в состав покоев 2-й запасной половины.

^{2*} И этот кабинет теперь более не существует; он вошел в состав угловой комнаты подле внутреннего караула легкой кавалерии.

Васильевском острове, и с двумя эскадронами Конной Гвардии по сю сторону Невы*. Между тем совершенно уже стемнело. Чтобы лишить злонамеренных возможности возобновить свои покушения в ночное время, признано было за нужное оставить войска под ружьем на целую ночь. **Государь** сам их расставил^{2*} и только после этих распоряжений возвратился во дворец. Встреча его с царственной семьей была на деревянной лестнице, которая, прежде пожара Зимнего дворца (в 1837 г.), вела, из-под главных ворот, в переднюю дежурную комнату возле почивальни **императрицы Марии Феодоровны**. Эта встреча, это свидание, еще менее доступны нашему перу. **Императрице-супруге** казалось, что она видит перед собой и обнимает совсем нового человека...

Вместе с **императрицами** находился и **государь наследник**^{3*}, которому в этот день, еще с утра, в первый раз в жизни, велено было надеть Андреевскую ленту. **Государь** пожелал вывести его к выстроенному на дворе Саперному батальону. **Императрица Мария Феодоровна** сначала опасалась подвергнуть ребенка простуде, но после уступила, и камердинер ее Гримм бережно снес его по внутренней лестнице. На дворе, **государь** показал своего первенца саперам, прося полюбить его сына также, как он, **государь**, любит их; потом передал **великого князя** на руки находившимся в строю георгиевским кавалерам и велел первому человеку от каждой роты подойти его поцеловать. Заслуженные воины с восторгом и радостными кликами прильнули к рукам и ногам царственного отрока.

* Всего было тогда забрано до 500 человек. Большая часть нижних чинов Морского экипажа и лейб-гвардии Гренадерского полка сама собой воротилась в казармы, где, с истинным раскаянием и в страхе от пагубного своего иступления, просила пощады и помилования. Они, как уже упомянуто, были прощены и той же милости удостоились и бунтовщики лейб-гвардии Московского полка, во внимании к ревности и усердию остальной, большей его части.

2* Расположение войск было следующее: на Дворцовой площади Преображенский полк и две роты 1-го батальона лейб-гвардии Егерского, при 10-ти орудиях 1-й и 2-й Батарейных рот, и три эскадрона Кавалергардского полка; в Большой Миллионной, у моста на Зимней канавке, рота лейб-гвардии Егерского полка, при двух орудиях; у моста Эрмитажного театра, другая рота того же полка, при четырех орудиях; на углу Зимнего дворца к Адмиралтейству, против сего последнего и на Дворцовой набережной: 1-й батальон Измайловского полка и эскадрон кавалергардов, с четырьмя орудиями; на Адмиралтейской площади 2-й батальон лейб-гвардии Егерского полка; на Сенатской, под командой генерал-адъютанта Васильчикова: батальоны Семеновский и Московский 2-й батальон Измайловский, при четырех орудиях, и четыре эскадрона Конной Гвардии; на Васильевском острове, под командой генерал-адъютанта Бенкендорфа: батальон лейб-гвардии Финляндского полка, при четырех конных орудиях, два эскадрона Конной Гвардии и Коннопионерный эскадрон. За тем, на дворцовом дворе оставлены были Гвардейский Саперный батальон, к которому примкнул и Учебный, и рота лейб-гвардии Гренадерского полка, а по прочим частям города был наряжен в разъезды лейб-гвардии Казачий полк.

3* Брат **императрицы Марии Феодоровны**, герцог Александр Виртембергский, также все утро оставался на ее половине, в бывшей голубой гостиной, удерживая при себе и обоих своих сыновей, принцев Александра и Евгения, хотя в то время уже взрослых и офицеров.

Настала, наконец, минута того молебствия, которое предназначалось сперва в 11-м часу, потом во 2-м, и теперь должно было действительно начаться уже почти в половине 7-го, при совершенно других чувствах, чем думали утром. **Государь, с императрицей-супругой** своей и всеми членами **императорского** дома*, вышел, в предшествии двора и с обыкновенной торжественностью таких выходов, в большую дворцовую церковь. Словами: “Благославлен грядый во имя Господне!” – встретил нового **императора**, при вступлении его в храм, тот самый иерарх, который еще недавно нес свою жизнь в жертву священному долгу. Во время молебствия, возгласа к коленопреклонению не было; все стояли; только царственная чета, от первого слова Божественной службы до последнего, лежала распростертой на коленях. Всевышний принимал сердце царево в свою руку!

Никто, конечно, из присутствовавших при этом священном обряде никогда не забудет умилительной его торжественности. Все были потрясены; у всех были слезы и в сердце и на глазах, и когда, в этот заветный для России час, впервые возгласилось многолетие: “Благочестивейшему **императору** всероссийскому **Николаю Павловичу**”, то единодушно и прямо от сердца вознеслась к небу общая и теплая молитва всех стоявших в церкви: “Да подаст ему Господь благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и на враги победу и одоление!..”

По истине, скажем, еще с тем писателем, на которого мы уже ссылались, история признает, что слова: *Божьей милостью*, имели свой полный смысл в **императорском** титуле **Николая I-го**. Он прямо из руки Всевышнего принял свою корону и, раз приняв ее, мужественно отстоял дар Божий в ту роковую минуту, когда враждебная сила покушалась на ее похищение. Данное Богом, Богом и сохранилось!

“Любезный, милый Константин! – написал **государь цесаревичу** в первом волнении своих чувств, – твоя воля исполнена: **я император**; но какой ценой, Боже мой! ценой крови моих подданных...”

Еще прежде молебствия, среди всех тяжких забот этого дня, **государь** неоднократно обращался мыслью к доблестному воину, положившему за него живот свой. Для изъявления участия в положении графа Милорадовича и, вместе, для получения точнейших о нем известий, были посланы сперва генерал-адъютант князь Трубецкой, потом генерал Толь. Выйдя из церкви, **государь**, не принимавший с самого утра никакой пищи^{2*}, тотчас собственноручно написал графу письмо, исполненное чувств признательности, сожаления и – надежды. Милорадович все еще лежал в Конногвардейских казармах; пулю вынули, но с тем вместе врачи произнесли и смертный приговор. Посланный с письмом Кавелин имел приказание сказать, чтобы граф принял эти собственноручные строки в виде личного посещения **государя**, которого удерживает приехать лишь чрезвычайная важность обстоятельств. С глубоким чувством и даже усилива-

* Кроме **императрицы-матери**, которая, в крайнем изнурении после такого дня, в выходе не участвовала и слушала молебен из ризницы.

^{2*} Из камер-фурьерского журнала видно, что **их величества** обедали в этот день в 8-мь часов.

ясь приподняться, умиравший отвечал **государеву** адъютанту: “Доложите **его величеству**, что я умираю; и счастлив, что умираю за него!” – Когда ему прочли самое письмо, он поторопился взять его из рук читавшего, прижал к сердцу и не выпускал до минуты своей смерти*. Пулю, которой была нанесена рана Милорадовичу, Кавелин принес **государю**.

При наступлении ночи, когда все было уже приведено в некоторый порядок, **государь** поручил своему брату съездить еще к арсеналу, чтобы лично удостовериться все ли там тихо. **Великий князь** поехал, в санях, через Миллионную и Царицын луг. Вначале, до моста через Зимнюю канавку, все имело вид только что завоеванного города: вокруг разложенных огней стояли, биваками, многочисленные войска, на самом мосту – пушки; но миновав его, сцена тотчас переменялась: улицы были также безлюдны и тихи, как обыкновенно в ночную пору; изредка только мелькал запоздалый извозчик, или одинокий пешеход, и ничто, по внешности, не напоминало и не носило на себе признаков пронесшейся над Россией грозы. Около арсенала, где занимала караулы Учебная Артиллерийская бригада, и на возвратном пути через Дворцовую набережную, все было точно также тихо и спокойно; только от моста у Эрмитажного театра, к стороне дворца, город принимал опять оживленный вид военного стан^{2*}. Когда **великий князь** вошел в кабинет **государев**, ему представилось совершенно неожиданное явление. Перед новым **императором** лежал на коленях, умоляя о жизни, один из заговорщиков, стяжавших вдруг самую несчастную известность... Он и многие другие из его соумышленников были уже схвачены, или сами явились с повинной, и **государь**, чуждый утомления, тут же, в глубокую ночь, в шарфе и ленте, как был целый день, делал им первые допросы, принимал стекавшиеся со всех сторон донесения и отдавал нужные приказания^{3*}. **Великий князь** с своей стороны, не зная ничего о заговоре, до тех пор относил все случившееся единственно к недоразумениям по случаю новой присяги и только при виде этой сцены понял истину.

На другое утро появилось в петербургских газетах краткое известие о событиях рокового дня. Вот его заключение: “Происшествия вчерашнего дня, без сомнения, горестны для всех русских и должны были оставить

* Он испустил дух ночью около трех часов.

^{2*} Все это продолжалось только до утра 15 декабря. По совершенном восстановлении тогда порядка, **государь**, объехав все войска и отблагодарив за усердие, верность и отличный порядок, велел их распустить. С тем вместе войска, находившиеся в загородном расположении, которым накануне отдан был приказ подойти к столице, были возвращены в свои квартиры, кроме лейб-гвардии Драгунского (ныне Конногренадерского) полка, приведенного для разъездов, и двух эскадронов полков лейб-гвардии Гусарского и Уланского, оставленных близ города для поимки разбежавшихся заговорщиков.

^{3*} **Государь** и позже не ложился ни на минуту в эту ночь, проведя ее всю в тех же занятиях. **Императрица Александра Феодоровна** возвратилась от молебствия в свои покои без голоса и без сил. Все царственные дети провели ночь в двух комнатах, как бы на биваках.

скорбное чувство в душе **государя императора**. Но всяк, кто был свидетелем поступков нашего **монарха** в сей памятный день, его великодушного мужества, разительного, ничем неизменяемого хладнокровия, коему с восторгом дивятся все войска и опытейшие вожди их; всяк, кто видел с какой блистательной отважностью и успехом действовал августейший брат его, **великий князь Михаил Павлович**; наконец всяк, кто размышлит, что мятежники, пробыв четыре часа на площади, в большую часть сего времени со всех сторон открытой, а нешли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных, и что из всех гвардейских полков ни один в целом составе, а лишь несколько рот двух полков и Морского экипажа могли быть обольщены или увлечены пагубным примером буйства: тот, конечно, с благодарностью к Промыслу, признает, что в сем случае много и утешительного; что оный есть не иное что, как минутное испытание, которое будет служить лишь к ознаменованию истинного характера нации, непоколебимой верности величайшей без всякого сравнения части войск и общей преданности русских к **августейшему их законному монарху**”.

Прибавим с нашей стороны, что опасность была очевидна. Гвардия дралась против гвардии; **государь**, единственная опора империи, несколько часов сряду отваживал свою жизнь; народ находился в волнении и трудно еще было распознать истинное настроение умов; был известен заговор, но оставались еще сокрытыми во мраке глава его и его объем; все было еще окружено непроникнутой тайной и все могло сызнова начаться. Эти размышления представляли мало отрадного; но мы видели твердость, присутствие духа юного **монарха**; офицеров они удивили, а солдат привели в восторг. Победа осталась на стороне престола и верности, и этого было довольно, чтобы войска душой привязались к своему новому **царю**. Все, и в их рядах, и в народе, поняли, что если бы опасность возобновилась, то новый вождь, новый монарх – достоин и способен всем руководствовать и все отразить.

Вскоре, действительно, вся сеть заговора была открыта, все участники его захвачены и преданы смягченной монаршим милосердием каре, и семья зла истреблено. Тогда, при торжественном молебствии и поминовении на Сенатской площади, **император Николай**, в манифесте 13 июля 1826 г., представившем вместе и величественную программу его царствования, сказал своей России:

“Обращая последний взор на сии горестные происшествия, обязанностью себе вменяем: на том самом месте, где в первый раз, тому ровно семь месяцев, среди мгновенного мятежа, явилась пред нами тайна зла долготелного, совершить последний долг воспоминания, как жертву очистительную за кровь русскую, за веру, царя и Отечество на сем самом месте пролиянную, и вместе с тем принести Всевышнему торжественную мольбу благодарения. Мы зрели благотворную его десницу, как она расторгла за весу, указала зло, помогла нам истребить его собственным его оружием – туча мятежа взошла как бы для того, чтоб потушить умысел бунта.

Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел. Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца разврат-

ные и мечтательность дерзновенную; но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и всегда будет неприступно...

Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа; где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных: они могут таиться во мраке, но при первом появлении, отверженные общим негодованием, они сокрушатся силой закона. В сем положении государственного состава, каждый может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его хранящего, и, спокойный в настоящем, может прозирать с надеждой в будущее. Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления. В сем порядке постепенного усовершения, всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к нам путем законным, для всех отверстым, всегда будут приняты нами с благоволением: ибо мы не имеем, не можем иметь другого желанья, как видеть Отечество наше на самой высшей степени счастья и славы, Провидением ему предопределенной.

Наконец, среди сих общих надежд и желаний, склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные их члены. Во все продолжение сего дела, сострадая искренно прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом удостоверить их, что, в глазах наших, союз родства передает потомству славу деяний, предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну: сие запрещает закон гражданский и более еще прегит закон христианский”.

Мы начали рассказ наш письмом юного **великого князя Александра Павловича** к графу Кочубею. Приведем здесь еще другое, трогательное письмо, которое, вскоре после происшествий 14 декабря, было написано престарелой родительницей уже опочившего **императора Александра I** го к тому же самому лицу. Кочубей находился тогда за границей* и вот что писала ему, 16 февраля 1826 г., **императрица Мария Феодоровна**:

“J’ai tardé, Monsieur le Comte, à vous répondre à deux lettres du 11 Decembre et du 3 Janvier, parceque j’ai voulu vous écrire de ma main et que j’étais si accablée qu’à peine j’ai suffi aux correspondances de ma famille. Je me sens bien, bien malheureuse, et les trois mois de tems de passés après la date de notre affreuse perte en font trois de tourments et d’angoisse. La mort de mon fils, de cet ange, est venue nous surprendre, nous frapper comme un coup de foudre; nous nous livrions à l’espoir, quoique, j’avoue, mon coeur maternel éprouvait des angoisses mortelles

* Взысканный милостью **государя императора Николая Павловича**, также как и его предшественника, Кочубей был потом князем, председателем Государственного совета и Государственным канцлером по внутреннему управлению. Умер в 1834 г.

lorsque même on nous en donnait; et malheureusement le 19 Novembre les a légitimés; c'est le 27 que j'ai appris la perte du fils chéri, qui faisait le bonheur, la gloire de ma vie, tout le charme et la douceur de mon existence. La plume ne rend pas ce que j'ai souffert; j'ai cru ne pouvoir pas être plus malheureuse, lorsque la journée du 14 Décembre m'a fait connaître un nouveau genre de souffrance affreuse, voyant mes deux fils en danger de vie et la tranquillité de l'état exposée à des chances bien funestes. La miséricorde divine a détourné ce malheur, et la conduite noble de mon fils Nikolas, sa magnanimité, sa fermeté et son admirable abnégation, ainsi que le beau courage de Michel, ont sauvé l'état et la famille. Cette journée a été si cruelle, que lorsque tout fût apaisé le soir et que je me retrouvais seule chez moi, le bénissais Dieu de me retrouver avec ma douleur constante! Mais quelle horrible histoire; je remercie le ciel de ce que notre cher Empereur Alexandre l'a ignorée dans ses détails, quoiqu'il fut informé de la trame. Bénissons encore le ciel, de ce que les auteurs ne sont pour la plupart que des jeunes gens très peu marquants et qui, à l'exception des chefs, se sont laissé entraîner par l'orgueil et l'amour propre, sans prévoir peut-être l'abîme qu'ils creusaient sous leurs pas; les chefs eux-mêmes n'ont pas eu de titre par leurs services passés à une réputation très distinguée; il y en a qui ont bien servi, mais, grâce à Dieu, chez nous en Russie la bravoure est une vertu héréditaire dans notre militaire; toutefois il est malheureux qu'ils ont flétri par leur crime leur réputation d'officiers, et que leur inconduite fait la désolation de leurs parents, de leurs épouses... Le convoi de notre ange arrive le 20 à Tsarsko-Sélo: jugez quel jour de douleur et d'angoisse ce sera pour moi, comme toute cette quinzaine qui suivra; l'enterrement est fixé au 13 Mars: alors il n'y aura plus que le souvenir seul de cet ange se bonté qui nous restera”.

Прошли годы. При свиданиях **государя императора Николая Павловича с цесаревичем Константином**, когда речь касалась описанных нами событий, **цесаревич** всегда неохотно вступал о них в разговор. В 1829 г. они ехали вместе из Замосца в Луцк. “Надеюсь, – сказал **государь** в минуту откровенной беседы, – что теперь по крайней мере ты отдашь справедливость моим тогдашним поступкам и их побуждению и сознаешься, что в тех обстоятельствах, в которых я был поставлен, мне невозможно было поступить иначе”. **Цесаревич** опять старался прервать разговор и наконец сказал, что может быть оставит после себя акт, в котором раскроются и его взгляд на это дело и причины его действий. После его кончины, в 1831 г., **государь**, увидясь в Гатчине с княгиней Ловицкой, сопровождавшей туда тело почившего, сообщил ей об этом разговоре. Княгиня отвечала, что если **цесаревич** исполнил свое намерение, то вероятно найдется что-нибудь в его письменном столе, спасенном в Варшавскую революцию 1830 г., с отломленными ножками, и остававшемся с того времени запечатанным. Стол был принесен и отперт; но в нем оказалось одно только старинное духовное завещание, 1808 или 1809 г., в виде краткой записки, уничтожившееся уже смертью того лица, в пользу которого оно было сделано. С тех пор миновало опять более двадцати лет и дело само собой впадо в забвение. Вдруг, после смерти, в августе 1852 г., **министра императорского двора, генерал-фельдмаршала князя Волконского**, при разборе его бумаг неожиданно нашлись четыре тетради одинакового содержания и с одинаковым заглавием: “Любезнейшим своим соотчичам, от **его импера-**

торского высочества **цесаревича, великого князя Константина Павловича**, торжественное объявление”. Все четыре экземпляра были скреплены по листам собственной рукой **цесаревича** и два из них вложены в незапечатанные пакеты, адресованные на имя: один – **государя императора Николая Павловича**, другой – **государыни императрицы Марии Феодоровны**. При каждом из последних двух экземпляров были и письма, подписанные **цесаревичем**, с пометою “Варшава”, но без года и числа. Нет сомнения, что это объявление и составляло тот акт, о котором говорил **цесаревич** в 1829 г. и который не был обращен по назначению, вероятно вследствие изменившихся обстоятельств, ни при его жизни, ни после кончины. Но каким образом сии бумаги перешли к князю Волконскому и хранились, до его смерти, в совершенной для всех, не исключая самого **государя**, неизвестности? Ответ на это может быть только один. Вскоре по кончине **цесаревича** умер приближенный к нему, пользовавшийся полною его доверенностью генерал Курута и все оставшиеся после него бумаги **государь император**, не рассматривая их, повелел передать князю Волконскому. Думать должно, что в том числе был и помянутый акт и что Волконский, ограничась хранением врученных ему бумаг, их не вскрывал или по крайней мере не сообщал никому другому; пережившие же Куруту из приближенных к **цесаревичу** лиц, может быть также знавшие о существовании и содержании сего акта, никому о том не заявляли, не имея в виду положительно выраженной на сие воли почившего.

Как бы то ни было, но это “Торжественное объявление” существенно дополняют описанные нами события, и потому мы помещаем его в приложениях к нашему рассказу, вслед за обоими письмами **цесаревича**, при которых оно найдено в пакетах*.

Прошли еще годы.

Император Николай опочил от трудов своих смертью праведника, смертью, которая, неземным ее величием, удивила современников и осталась назиданием для потомства.

26 августа 1856 г. преемник его престола и доблестей, испросив благословение всевышнего, возлагал на себя, в первопрестольной столице, колыбели своего рождения, венец предков. Среди выражений и знаков благоволения к каждому из сословий в государстве, благодушная мысль **монарха** склонилась и к тем несчастным, которые, быв увлечены, одни обольщениями самонадеянности, другие неопытностью молодости, тридцатилетним заточением и раскаянием искупали свою вину.

В самый день священного своего коронования **император Александр II** помиловал всех причастных к печальным событиям 14 декабря; милосердие его распространилось и на все потомство осужденных – и живых и умерших.

“Дай Бог, – сказал нововенчанный **император**, повеливая редактору настоящего описания перепечатать его книгу для общего сведения, – дай Бог, чтобы впредь никогда не приходилось русскому **государю** ни наказывать, ни даже и прощать за подобные преступления!”

* См. № 4 Приложений.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 1

Список с рескрипта государя цесаревича и великого князя Константина Павловича председателю Государственного совета князю Лопухину, от 3 декабря 1825 г.

С душевным и горестным прискорбием получил я, при записке Вашей светлости от 27 минувшего ноября, копию с журнала Государственного совета, того ж числа состоявшегося, с изображением всех обстоятельств, которые были следствием печального известия о кончине блаженной и вечнодостоинной памяти **государя императора**, моего благодетеля, и непоколебимой воли **его императорского величества Николая Павловича**, во исполнение коей все члены Государственного совета в придворной церкви учинили мне присягу на подданство и верность.

Поставляя всегда священнейшей обязанностью исполнять с глубочайшим благоговением волю покойного **государя императора**, я вмещаю себе непрременным долгом изъявить при сем случае: что сделанную мне членами Государственного совета и прочими лицами присягу почитаю вовсе противной воле покойного **государя императора**, а потому самому, как совершенно ничтожную, я не принимаю и не должен принять.

Вашей светлости и Государственному совету не безызвестно было из хранящегося в архиве Государственной канцелярии, за замком и за печатью председателя, пакета, присланного от покойного **государя императора** 16 августа 1823 г.*, с изображением последней его высочайшей воли, ознаменованной в копии с высочайшего манифеста, в коем **его величество** определяет быть наследником престола **великому князю Николаю Павловичу**, по свободному моему от онаго отречению, как то изъяснено в копии с письма моего на имя покойного **государя императора**.

Равным образом и не менее того была в виду Государственного совета учиненная всеми подданными при восшествии на престол покойного **государя императора** присяга, в коей, между прочим, именно упомянуто, что каждый верно и нелицемерно служит и во всем повиноваться должен, как **его императорскому величеству Александру Павловичу**, так и **его императорского величества** всероссийского престола наследнику, *который назначен будет*. Каковая присяга, будучи повторяема при производстве в чины и других случаях, тем вящше должна быть сохраняема в памяти каждого верноподданного.

* Мы уже сказали, в тексте нашего описания, что манифест хотя и был подписан 16 августа, но в Совет, как видно из его актов, прислан только 15 октября.

А как, из раскрытых бумаг в Государственном совете, явно обнаружена высочайшая воля покойного **государя императора**, дабы наследником всероссийского престола быть **великому князю Николаю Павловичу**: то, без нарушения сделанной присяги, никто не мог учинить иной, как только подлежащей **великому князю Николаю Павловичу**, и следовательно присягу ныне принесенную, ни признать законной, ни принять оную не могу; но внимая священной долгу и глубочайшему благоговению моему к высочайшей воле блаженной памяти **государя императора**, пребываю непоколебимым в моей присяге и той неперменной решимости, которую изъявил в письмах моих к ее **императорскому величеству государыне императрице Марии Феодоровне** и к его **императорскому величеству Николаю Павловичу** от 26 минувшего ноября, отправленных с его **императорским высочеством великим князем Михаилом Павловичем**. При чем вашей светлости и то сказать должен, что присяга не может быть сделана иначе, как по манифесту за **императорским** подписанием.

Изложив таким образом священную для меня покойного **государя императора**, долгом поставляю изъявить с крайним прискорбием Государственному совету, что в сем случае отступлено им от законной обязанности, принесением мне неследуемой присяги, тем более что сие учинено без моего ведома и согласия; а сделанная ныне присяга, завлекшая и других, подав пример к неисполнению верноподданнического долга, есть неправильна и незаконна, и для того должна быть уничтожена и, вместо оной, принесена **его императорскому величеству Николаю Павловичу**. Какую присягу на верность и подданство, зная на то волю покойного **государя императора**, самым изустно мне объявленную, учинил я первый, прежде издания высочайшего манифеста, в письме моем **его императорскому величеству Николаю Павловичу**.

Давая знать о сем Вашей светлости, я прошу Вас поставить себе в обязанность предъявить, где следует, все здесь изложенное и привести оное в должное исполнение.

Все оное пишу Вашей светлости единственно в ответ на Ваше ко мне по сему предмету извещение, и прошу Вас о получении оного почтить меня Вашим уведомлением.

При сем имею честь препроводить к Вашей светлости в копиях: письмо мое к ее **императорскому величеству государыне императрице Марии Феодоровне** и притом письмо покойного **государя императора** ко мне, которым благоугодно было **его императорскому величеству** собственноручно меня удостоить, а равно письмо мое к **его императорскому величеству Николаю Павловичу**.

На подлинном
собственной его императорского высочества
рукой подписано:
Константин цесаревич.

Варшава.
3 декабря 1825 г.

Список с рескрипта государя цесаревича и великого князя Константина Павловича министру юстиции князю Лобанову-Ростовскому, от 8 декабря 1825 г.

Служащий в Правительствующем Сенате за обер-прокурорским столом, коллежский советник Никитин, доставил ко мне от вашего сиятельства пакет с надписью: **его императорскому величеству Константину Павловичу** всеподданнейший рапорт от министра юстиции.

Не почитая себя в праве принять оный, я обращаю его к Вашему сиятельству с тем же самым чиновником, как мне по означенному титулу не следующий. Из отношения моего к его светлости председательствующему в Государственном совете, г. действительному тайному советнику 1-го класса князю Лопухину, от 3 сего декабря, должны быть уже известны вашему сиятельству в подробности причины, воспреещающие мне принять **императорское** достоинство. За сим остается мне токмо вкратце повторить здесь Вам, что за учиненной всеми подданными при восшествии на престол, блаженные и вечнодостоянные памяти, **государя императора Александра Павловича**, присягаю, в коей, между прочим, именно упомянуто, что каждый верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться должен как **его императорскому величеству императору Александру Павловичу**, так и его императорского величества всероссийского престола наследнику, *который назначен будет*; а таковым по высочайшей воле покойного **государя императора**, явственно обнаруженной из бумаг, раскрытых в Государственном совете и подобных им, как Ваше сиятельство объявили, хранящихся в Правительствующему Сенате, назначено быть наследником всероссийского престола **великому князю Николаю Павловичу**; то вследствие сего Правительствующему Сенату, яко блюстителю закона, следовало и следует в точности исполнить высочайшую волю блаженные и вечнодостоянные памяти **государя императора Александра Павловича**.

Впрочем, чувствуя в полной мере оказанное Правительствующим Сенатом и к лицу моему относящееся усердное расположение, я прошу Ваше сиятельство изъявить сему высокопочтенному сословию истинную мою признательность, присовокупя к тому, что чем больше чувствую цену таковой приверженности, тем вящше поставляю себе долгом пребыть непоколебимым исполнителем священного закона, установленного в Бозе почивающим **государем императором**.

На подлинном
собственной его императорского высочества
рукой подписано:
Константин цесаревич.

Варшава.
8 декабря 1825 г.

Ответ государя цесаревича и великого князя Константина Павловича на извещение государя императора Николая Павловича о вступлении его величества на престол, от 20 декабря 1825 г.

Всемиловитейший государь!

С сердечным умилением имел я счастье получить всемиловитейший рескрипт **вашего императорского величества**, возвещающий радостное вступление ваше на прародительский престол любезнейшей России.

Ее верховным законом – законом священным для всех земель, где твердость бытия уважается благим даром небес – есть воля милостью Божьей царствующего **государя**. **Ваше императорское величество**, последовав сей воле, исполнили волю Царя Царей, коего направлением и вдохновением действуют по столь важным предметам цари земные.

Совершилась воля священная. Поспешествуя в том, я исполнил только долг мой – долг вернейшего подданного, преданнейшего брата, долг россиянина, гордящегося счастьем повиноваться Богу и **государю**.

Милосердие всемогущего Творца, столь обильно излившееся все благодти на народ, сохранивший закон его, будет вождем, будет наставником Вашим, **всемиловитейший государь!**

Ежели мои посильные труды, положенные у подножия престола, возмогут облегчить бремя, Богом на Вас возложенное, оные явятся в моей беспредельной преданности, в моей верности, в моем повиновении и рвении в исполнении высочайшей воли Вашего императорского величества.

Молю Всевышнего, да святой и невидимый Промысл его сохранит драгоценное здоровье Ваше, усугубит долгоденствие, и слава Ваша, **всемиловитейший государь**, слава царства да не престанет преходить в роды родов.

На подлинном
собственной его императорского высочества
рукой подписано:

Всемиловитейший государь!
Вашего императорского величества,
вернейший подданный
Константин.

Варшава.
20 декабря 1825 г.

Письмо государя цесаревича и великого князя Константина Павловича к государю императору Николаю Павловичу.

Кончина блаженной и вечнодостоянной памяти обожаемого **государя императора Александра Павловича** была сопровождается такими важными для российского государства обстоятельствами, которые, не будучи

выставлены в настоящем их виде, без сомнения произведут повсюду различные слухи и несвойственные толки.

Желая (сколько то с моей стороны позволяет возможность) содействовать к отклонению оных и к убеждению всех и каждого в той чистой истине, какой в особенности требует важность предмета в сем случае, я счел священным долгом изложить все сии обстоятельства в том настоящем виде, к которому обязывает чистая совесть всякого человека, приносящего отчет в действиях всевидящему Богу.

Сделанное мной на сей конец любезнейшим соотчичам моим торжественное объявление всеподданнейше представляю на высочайшее **вашего императорского величества** благоусмотрение.

Ежели оное удостоено будет одобрения **Вашего, всемилостивейший государь**, в таком случае осмеливаюсь просить о высочайшем повелении издать оное во всенародное известие; ежели, напротив того, прозорливость **Вашего императорского величества** усмотрит непредвидимые мной к тому преграды, удостойте **Ваше императорское величество** принять сие объявление собственно для себя, яко жертву, приносимую от истинных душевных чувств вернейшего подданного своему **государю** и долга соотчичам своим.

Причем долгом поставляю донести **Вашему императорскому величеству**, что копию с оного объявления представил я вместе с сим **ее императорскому величеству государыне императрице Марии Феодоровне**.

2

Письмо государя цесаревича и великого князя Константина Павловича к государыне императрице Марии Феодоровне.

Обстоятельства, происшедшие по кончине обожаемого **государя императора Александра Павловича**, лично ко мне относящиеся, не всем известны в настоящем виде, важности дела соответствующем, без которого, конечно, возродятся ложные слухи, а может быть и неприличные толки. Желая предупредить оные (поколику то от меня зависеть может), я счел священным долгом, в прилагаемом у сего, в копии, торжественном объявлении моем к любезным соотчичам моим, изложить, во всей подробности и во всей сущей справедливости, все то, в чем по чистой совести и всемогущему Богу отчет принести я готов. Сие объявление всеподданнейше представил **его императорскому величеству, государю императору Николаю Павловичу**, испрашивая высочайшего соизволения на обнаружение оного.

Всенижайше испрашиваю всемилостивейшего **Вашего императорского величества** соизволения на принятие от меня в копии сего объявления, яко жертвы, от истинных сердечных чувств благодарнейшего и признательнейшего сына наинежнейшей и наимилостивейшей родительнице приносимой.

Любезнейшим своим соотчичам, от его императорского высочества, цесаревича, великого князя Константина Павловича, торжественное объявление.

По прошествии двадцати лет блаженного царствования вечнодостоинной памяти обожаемого **государя императора Александра Павловича**, когда мало уже было надежды, чтобы после кончины **его величества** осталось прямое его поколение для наследования престола, я, соревнуя о благоденствии и спокойствии России, счел долгом моим обратить высочайшее внимание **государя императора** на драгоценнейший предмет для государства, на прочное определение и установление наследства **императорского престола**.

В несчастном случае кончины **его величества** при моей жизни, наследство престола, по естественному праву первородства и по закону о российской **императорской** фамилии, переходило бы на мое лицо, если б наследник назначен не был. Для того я счел необходимым обратить высочайшее внимание на предмет толико важный для государства, что в присяге, при манифесте о восшествии на престол **государя императора Александра Павловича** изданной, именно выражено было: “*И наследнику, который назначен будет*”, – и дабы таковым заблаговременным назначением наследника престола отвратить и самонаималейшее сомнение, могущее подать заключение насчет какой-либо со стороны моей личности.

Соображая могущее быть такое неожиданное и нежелаемое (волей Всевышнего теперь сбывшееся) происшествие, я, по соприкосновенности прав моих на наследование, предупреждая и сберегая всему свету известную благость сердца обожаемого **государя императора**, равную величию его души и превыспренность священной правоты его, соразмеряемой чувствами сердечной привязанности к благу России, я сам, положив у себя твердое решение, предпринял предложить в Бозе почивающему **государю императору Александру Павловичу** мысли мои о столь важном предмете и, по неоцененной для меня доверенности **его императорского величества**, осмелясь в 1822 г. всеподданнейше испросить высочайшее соизволение на изложение сих мыслей, предложил и собственное мое свободное намерение, чтобы, на случай беспотомственной кончины **его величества**, так как, по манифесту 20 марта 1820 г., объемлющему дополнительное к прежним постановлениям об **императорской** фамилии правило, должно и меня считать беспотомственным для престола, обратиться заблаговременно право наследования в род **великого князя Николая Павловича**, которому, после обоих нас, предлежит сохранить, потомством своим, прародительскую непрерывную цепь царствования. Постановляя в душе моей учинить сии предложения, я не упустил из виду, что в первородстве моем заключаются не только права мои, но и естественные обязанности не уклоняться от бремени, назначенного волей Божьей роду, определенному управлять великим народом российским. Я рассуждал в совести моей, что, отказавшись от прав моих, исполню обязанность россиянина, споспешествуя, для спокойствия России, упрочить твердый переход наследования престола, переводя оное заблаговременно на

младшего брата моего, коего потомство зрит уже Россия и коего первородный сын, родившийся в первопрестольном граде Москве в Кремле, есть уже залогом будущего ее спокойствия. Я рассуждал также, что если бы у меня были дети, которые, по коренному закону России, изданному в царствование покойного **государя императора** родителя моего, имели бы право наследования престола, то может быть соотчичи мои имели бы право жаловаться на меня в том, что я отказался от права, служащего не мне одному лично, но и поколению моему, самой природой для царствования назначенному. Но находясь в совершенно противном тому положении, мое отречение от права наследования престола было отступлением от прав, лично только мне принадлежавших, — было собственным пожертвованием и долгом моим для блага и спокойствия России, по тому уважению, что главным основанием монархических держав есть постоянный, продолжительный и обеспеченный переход престола, по прямому, естественному, самой природой приуроченному наследству.

Сими-то чувствами движимый, испросив предварительно высочайшее соизволение, учинил я оное предложение **его императорскому величеству** об отречении моем от права наследования престола, и о заблаговременном переводе оного на лицо любезнейшего младшего брата моего.

Государь император, с умилением выслушав предложения мои, в борьбе возвышеннейших чувств своих, по известной его любви к России и по уважению одних лет века нашего, из чего предполагалось, что кончина обоих нас может быть почти одновременная, удостоил благосклонным одобрением таковое мое желание и намерение, и, по просьбе моей, соизволив на представление оного предложения письменно, благоволил прежде повелеть представить приуроченное о сем письмо и оное собственноручно исправил.

За сим я исполнил твердое мое постановление и подал **его императорскому величеству** оное письмо об отречении моем от права наследования престола.

Обожаемый **государь император** благоволил довести письмо сие и все решение мое до сведения вселюбезнейшей родительницы нашей, **государыни императрицы Марии Феодоровны**, и потом изволил объявить мне, что ее императорское величество, также как и **государь император**, с милостивейшим благоволением приняла сие искреннейшее и сильное для блага величественной России предложение; о чем имел я счастье удостоиться и личного вселюбезнейшей родительницы **государыни императрицы** мне подтверждения, в присутствии ее императорского высочества **великой княгини Марии Павловны**. Но, по возвышенности чувств души своей и по неусыпным попечениям о благе России, **государь император** хотя удостоил меня собственноручным высочайшим императорским рескриптом от 2 февраля 1822 г., изъявляющим одобрение и принятие моего намерения и решения, но еще долго оставлял важность сего предмета без окончательного совершения оного государственными актами, спустя уже 18 месяцев и 12 дней присланными в Государственный совет и в Правительствующий Сенат от 16 августа 1823 г.

Сим совершилось неизъяснимое счастье мое в принесении на престол Богом осеняемой России сильного пожертвования моего.

Государь император, в личных потом изъяснениях, благоволив подтвердить неоднократно признательность свою за решение мое, изъявлял мне, (как бы предусматривая волю Всевышнего), в сем одном только случае и однажды в жизни моей с печалью и горестью мной выслушиваемые распоряжения свои на случай кончины **его величества**, чтобы я в таком происшествии исполнил тот же час присягу назначенному наследником престола любезнейшему брату **Николаю Павловичу**, и чтобы с тем вместе представил вселюбезнейшей родительнице, **государыне императрице Марии Феодоровне**, вышеупомянутый высочайший рескрипт, утверждающий отречение мое и долженствуемый быть хранимым у меня в тайне до кончины **государя императора**.

Такова была высочайшая воля обожаемого всеми **государя императора**, о назначении, по добровольному отречению моему, наследником младшего брата **великого князя Николая Павловича**. Она есть священным законом, долженствующим остаться неприкосновенным и по кончине **его императорского величества** не могущим уже, яко по предмету назначения наследником **императорского престола**, подвергаться никакой перемене.

Вся Россия, исполняя присягу в верности подданства *его императорскому величеству, истинному и природному всемогуществейшему великому государю императору Александру Павловичу, самодержцу всероссийскому*, клялась, с тем вместе, в одной же присяге, и *его императорского величества всероссийского престола наследнику, который назначен будет*. Вся Россия должна остаться в непреложном сохранении той клятвы и повторить ее **государю императору Николаю Павловичу**, который *истинным и природным великим государем России, давно уже назначен наследником престола*.

Я присягал по сей форме также как и все россияне, и, как первый сын России, первый должен был сохранить сию присягу в пример моим соотчичам; – исполнил я сим волю блаженной и вечнодостоинной памяти **государя императора**, исполнил священной долг преданнейшего брата, вернейшего подданного и усерднейшего россиянина. Всемогущий Бог свидетелем непорочности моей совести и действия ее предаю на суд его и на суд вселенной.

Получив 25-го минувшего ноября, в 7 часов вечера, о кончине обожаемого **государя**, последовавшей в Таганроге 19-го того же ноября, горестное и печальнейшее отношение от начальника Главного штаба **его императорского величества** генерал-адъютанта барона Дибича и от генерал-адъютанта генерала от инфантерии князя Волконскаго, я, не зная ни о каких дальнейших покойного **государя императора** распоряжениях, кроме того, что мне было повелено хранить в тайне, без малейшего замедления, сколько превозмогли силы, ударом сим пораженные, и сколько естественная возможность дозволила изготовить надлежащие бумаги, и именно 26 ноября, изъявил, в отправленных с **его императорским высочеством великим князем Михаилом Павловичем** письмах моих к **ее императорскому величеству государыне императрице Марии Феодоровне** и к **его императорскому величеству Николаю Павловичу**, подтверждение прежней решимости моей и твердого пребывания в свободном и непреложном отречении от наследования престола; и вследствие сего, внемля священному

долгу и глубочайшему благоговению моему к высочайшей воле блаженной и вечнодостойной памяти **государя императора**, самым изустно мне объявленной, учинил я первый присягу на верность и подданство в письме моем к **его императорскому величеству Николаю Павловичу**.

За сим я ожидал дальнейших повелений от вступившего на престол государя императора, на том же месте, где волей покойного **государя императора**, по долгу звания моего, находился, и по сей же самой причине неперемнной поставляю обязанностью исполнить то, что на случай кончины **его императорского величества** учинить мне повелено, дабы еще тем самым продлить, в важнейшие минуты, действия окончившегося царствования, сколько было для меня возможно по пораженным печалью чувствам моим, которые все прочие, высочайше вверенные подчиненности моей, при сем горестном случае разделяя со мной, оставались спокойными во ожидании о восшествии на престол манифеста о учинении надлежащей присяги новому законному **императору** России. Но с каким же изумлением получил я, вместо того, извещение от председательствующего в Государственном совете, действительного тайного советника 1-го класса князя Лопухина, что Государственный совет исполнил присягу для моего лица, и сколь изумление сие было для меня разительно, печально, когда я усмотрел из присланной мне, при вышеупомянутом извещении светлейшего князя Лопухина, копии с журнала Государственного совета: что высочайшая воля блаженной и вечнодостойной памяти обожаемого всеми **государя императора** была Государственному совету, в минуту получения печального сведения о кончине **его величества**, уже известна; – что в архиве Государственной канцелярии (о чем мне самому, как то я выше упомянул, вовсе не было известно) хранился, за замком и за печатью председателя, пакет, присланный от покойного **государя императора** 16 августа 1823 г., собственноручно **его величеством** подписанный, на имя статс-секретаря Оленина; – что в сем пакете был пакет на имя председателя Государственного совета князя Лопухина, а в сем последнем запечатанный пакет с следующей собственноручной **его величества** надписью: “Хранить в Государственном совете, до востребования моего, а в случае моей кончины, прежде всякого другого действия, раскрыть в чрезвычайном собрании Совета;” – что бумаги, подобные тем, которые хранились в Государственном совете, имеются также и в Правительствующем Сенате; и что наконец Государственный совет, раскрыв оный пакет, выслушал только с умиленными сердцами последнюю волю блаженной и вечнодостойной памяти **государя императора** Александра Павловича, ознаменованную в копии с высочайшего манифеста, скрепленной собственноручно покойным **государем императором**, в коем **его величество** определяет быть *наследником престола великому князю Николаю Павловичу*, по свободному моему отречению от онаго, как то ознаменовано в копии с письма моего на имя покойного **государя императора**, которая также скреплена рукой **его величества** и приложена в копии с высочайшего манифеста, – Государственный совет, говорю, выслушал только сию священнейшую и торжественнейшую волю **государя императора**, но не последовал ей и, увлеченный изъявлениями для меня чувств братней нежности **его императорского величества** **Николая Пав-**

ловича, приступил тотчас к исполнению для меня на верность и подданство той присяги, которая принадлежит токмо *наследнику императорского престола, установленному столь явной и торжественной волей истинного и природного государя императора.*

Достопочтенны, по истине, изъявленные законным наследником престола, **его императорским величеством Николаем Павловичем**, возвышенные чувства уважительности для старшего брата. Правильное к сим чувствам всякий подданный должен иметь уважение; но превыше всего суть права и обязанности законной властью постановленного наследия престола. Сам Бог назначает одни роды, долженствующие начальствовать над прочими родами человеческими. Он, в естественном порядке, или в верховной воле венценосцев, являет свою святую волю, которой человек смертный да не преступит безгрешно, и моя душевная горесть тем обильнее преисполняет меня неизъяснимой печалью, что в сем действии Государственного совета усматриваю предполагаемую во мне готовность не только принять, но еще, может быть, и потребовать обратно право наследования престола, от которого отказался я свободно, добровольно, из одной любви к России, для ее блага и спокойствия, которое принято верховной законной властью и которое наконец передано, по законному порядку, достойному брату, который одарен, по милости Всевышнего, не токмо всеми изящными качествами души, утверждающими залог благоденствия России, но и благословен драгоценным для России потомством.

Сказав сие для облегчения сокрушенного сердца, для облегчения опечаленной души, я, в совести только моей спокойный, уповаю пользоваться всегда доверием августейшего брата, **государя императора Николая Павловича**, надеюсь от соотчичей моих сохранения для меня признательной любви, так как вся, более тридцатилетняя служба **государям императорам**: родителю и брату, ознаменованная неограниченной **их императорским величеством** доверенностью, словом, все усилия и вся жизнь моя были чисты и непорочны. Я отказался от прав моих, не нарушив своих обязанностей. Величие российского престола, основанное на благодетельности государства, будет, по гроб мой, единственной целью сил души и тела моего.

Приложенные у сего копии: а) с письма моего **ее императорскому величеству государыне императрице Марии Феодоровне** от 26 ноября 1825 г., при котором приложен, в копии же, высочайший **его императорского величества** покойного **государя императора** рескрипт на мое имя от 2 февраля 1822 г.; б) с письма моего **его императорскому величеству государю императору Николаю Павловичу** от 26 ноября 1825 г.; в) с копии журнала Государственного совета 27 ноября 1825 г., представленного при записке председателя Совета, действительного тайного советника 1-го класса князя Лопухина; г) с ответа моего на сей журнал от 3 декабря 1825 г., посланного на имя его же, князя Лопухина, будут свидетельством того, что мной здесь изложено*.

* Все сии бумаги помещены выше, или в самом тексте нашего рассказа, или в приложениях к нему.

ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕННЫХ В ТЕКСТЕ РАССКАЗА ПИСЕМ И РАЗГОВОРОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

С. 214–216. Письмо великого князя Александра Павловича, от 10-го мая 1796 г., к Виктору Павловичу Кочубею:

“Настоящее письмо, мой любезный друг, вручит вам г. Гаррик, о котором я уже писал вам прежде. Это дает мне случай поговорить с вами откровенно о многом.

Сознайтесь, дорогой друг, что вы действительно дурно поступаете, не извещая меня ни о чем лично вас касающемся; только теперь я узнал что вы взяли отпуск и едете лечиться в Италию, а оттуда на некоторое время в Англию. Отчего вы мне об этом не написали ни слова? Я начинаю думать, что вы или сомневаетесь в моей дружбе к вам, или не имеете достаточного ко мне доверия, которое, смело могу сказать, вполне заслуживаю моею беспредельною к вам дружбою. Во имя ее умоляю вас, передавайте мне все что до вас относится, чем, верьте, доставите мне самое большое удовольствие. Впрочем, признаюсь, я восхищен что вы расстались с местом, которое приносило вам только одни неприятности, не вознаграждая за них никакими наслаждениями.

Г. Гаррик очень милый малой. Он провел здесь несколько времени и едет теперь в Крым, откуда отправится в Константинополь. Считаю его очень счастливым, потому что он будет иметь случай видеть вас, и даже в некотором отношении завидую его положению, тем более что отнюдь недоволен своим. Я чрезвычайно рад, что речь об этом зашла сама собою, без чего очень затруднился бы завести ее. Да, милый друг, повторю снова: мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих, в моих глазах, медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями; а, между тем, они занимают здесь высшие места, как напр. З., П., Б., оба С., М... и множество других, которых не стоит даже называть и которые, будучи надменны с низшими, пресмыкаются перед тем, кого боятся. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом.

Вот, любезный друг, важная тайна, которую я уже давно хотел передать вам; считаю излишним просить вас не сообщать о ней никому, потому что вы сами поймете как дорого я мог бы за нее поплатиться. Я просил г. Гаррика сжечь это письмо, если бы ему не удалось лично вам его вручить, и никому не передавать для доставления его к вам.

Я обсудил этот предмет со всех сторон. Надобно вам сказать, что первая мысль о нем родилась у меня еще прежде чем я с вами познакомился и что я не замедлил прийти к настоящему моему решению.

В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Следуя этому правилу, я и принял то решение, о котором сказал вам выше. Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы.

Бы вольны смеяться надо мною и говорить что это намерение несбыточное; но подождите исполнения и уже тогда произнесите приговор. Знаю, что вы осудите меня, но не могу поступить иначе, потому что покой совести ставлю первым для себя законом, а могла ли бы она оставаться спокойною, если бы я взялся за дело не по моим силам. Вот, мой милый друг, что я так давно желал сообщить вам. Теперь, когда все высказано, мне только остается уверить вас, что где бы я ни был, счастливым или несчастным, богатым или бедным, ваша дружба ко мне будет всегда одним из величайших для меня утешений; моя же к вам, верьте, кончится только с жизнью.

Прощайте, мой дорогой и истинный друг; увидеть вас было бы для меня, пока, самым счастливым событием.

Жена моя вам кланяется; ее мысли совершенно согласны с моими”.

С. 226. Слова, сказанные императором Александром I князю А.Н. Голицыну:

“Положимся в этом на Бога: он устроит все лучше нас, слабых смертных”.

С. 232. Слова графа Милорадовича великому князю Николаю Павловичу:

“Получена ужасная новость, ваше высочество”.

“Император умирает; остается только слабая надежда”.

С. 232–233. Фраза из письма императрицы Елисаветы Алексеевны:

“Ему заметно лучше, но он очень слаб”.

С. 233. Слова графа Милорадовича, обращенные к великому князю Николаю Павловичу, по получении известия о кончине императора Александра:

“Все кончено, ваше высочество; покажите теперь пример мужества”.

С. 234. Слова великой княгини Александры Феодоровны, которыми она умоляла императрицу Марию Феодоровну успокоиться:

“Маменька, дорогая маменька, ради Бога успокойтесь”.

С. 234. Разговор императрицы-матери с великим князем Николаем Павловичем, по принесении последним присяги:

“Николай, что ты сделал! – воскликнула императрица с ужасом, – разве ты не знаешь что существует акт, по которому ты назначен наследником престола?”

“Если такой акт существует, – отвечал он, – то он мне неизвестен и никто о нем не знает; но мы все знаем, что наш **монарх**, наш законный **государь**, после **императора Александра**, есть мой брат **Константин**; мы исполнили следственно только нашу обязанность: пусть будет что будет!”

С. 236. Слова, произнесенные в Государственном совете министром юстиции князем Д.И. Лобановым-Ростовским:

“Мертвые не имеют воли”.

С. 244. Разговор **императрицы Марии Феодоровны** с великим князем **Николаем Павловичем**, по приезде из Варшавы **Михаила Павловича**:

“Итак, **Николай**, – сказала **императрица**, – преклонись перед твоим братом **Константином**: он вполне достоин почтения и высок в неизменяемом решении передать тебе престол”.

“Прежде чем я преклонюсь, как вы говорите, маменька, – отвечал он, – позвольте мне узнать побудительную к тому причину; ибо это еще вопрос, которую из двух жертв в этом случае должно считать выше: со стороны ли отказывающегося, или же со стороны принимающего!”

С. 246. **Императрица Мария Феодоровна** при прощании с великим князем **Михаилом Павловичем** сказала ему:

“Когда увидишь **Константина**, скажи и растолкуй ему хорошенько, что здесь действовали так потому, что иначе произошло бы кровопролитие”.

“Его еще не было, но оно будет”, – отвечал он в печальном предчувствии.

С. 262. Письмо **императора Николая Павловича** к великой княгине **Марии Павловне**:

“С.-Петербург, 14 декабря 1825.

Молись Богу за меня, дорогая и добрая **Мария**; пожалей о несчастном брате, жертве Промысла Божия и воли двух своих братьев. Я удалял от себя эту горькую чашу пока мог и молил о том Провидение. Я сделал то, что сердце и долг мне повелевали.

Константин, мой **император**, отринул присягу, мною и всею Россиею ему принесенную; я был его подданным: мне оставалось ему повиноваться.

Наш Ангел должен быть доволен; его воля исполнена, как ни тяжела, как ни ужасна она для меня.

Повторяю, молись Богу за твоего несчастного брата; он нуждается в этом утешении; пожалей о нем.

Николай”.

С. 265. Нейдгардт, прибежав к **государю**, сказал:

“**Ваше величество!** Московский полк в полном восстании. Шеншин и Фредерикс тяжело ранены и мятежники пошли к Сенату. Я едва их обогнал, чтобы донести о том **вашему величеству**. Ради Бога, прикажите двинуть против них 1-й батальон Преображенского полка и Конную Гвардию”.

С. 266. **Государь**, перед выходом на площадь, проходя через комнату своей супруги, сказал ей:

“Артиллерия колеблется”.

С. 267. **Императрица Мария Феодоровна** вошла в комнату **императрицы Александры Феодоровны** с словами:

“Не рядись, мое дитя; в городе беспорядок, бунт...”

С. 270. Граф Милорадович подошел к **государю** и сказал ему:

“Дело идет дурно, **ваше величество**; они (т.е. мятежники) окружают памятник **Петра Великого**; но я пойду туда уговаривать их”.

С. 272. Разговор графа Милорадовича с Орловым:

“Пойдемте вместе убеждать мятежников”, – сказал граф Милорадович Орлову.

“Я только что оттуда, – отвечал Орлов, – и советую вам, граф, туда не ходить. Этим людям необходимо совершить преступление; не доставляйте им к тому случая. Что же касается меня, то я не могу и не должен за вами следовать: мое место при полку, которым командую и который я должен привести, по приказанию, к **императору**”.

“Что это за генерал-губернатор, который не сумеет пролить свою кровь, когда кровь должна быть пролита”, – вскричал Милорадович.

С. 280. **Император Николай Павлович** поручил графу Дёрнбергу сказать его товарищам:

“Что это происшествие – дело домашнее, совсем не касающееся Европы”.

С. 289. Разговор **государя** с генерал-адъютантом Толем:

“Взгляните, что здесь происходит, – сказал **государь**, – прекрасное начало царствования: престол обгаренный кровью!”

“**Ваше величество!** – отвечал Толь, – одно средство окончить все дело – пустить картечью в эту сволочь”.

С. 290. Разговор **государя** с генерал-адъютантом Васильчиковым:

“**Ваше величество**, – сказал Васильчиков, – теперь не должно терять ни одной минуты; добром нечего здесь взять; необходима картечь”.

“Итак вы хотите, – отвечал **государь**, – чтобы я в первый день царствования пролил кровь моих подданных?”

“Чтобы спасти ваше царство!” – возразил Васильчиков.

С. 292. Слова, сказанные **императрицею Мариною Феодоровною** генерал-лейтенанту Демидову, при вручении ему портрета **императора Александра**, работы Изабе:

“Возьмите этот портрет и покажите его бунтовщикам; быть может, вид его образумит их и возвратит к порядку”.

С. 292. Разговор **императрицы Марии Феодоровны** с генерал-адъютантом Толем, пришедшим во дворец:

“Ах, вот наш любезный Толь, – вскричала **императрица Мария Феодоровна**, – что принесли вы нам нового? Боже мой, стало быть уже пролита кровь!..”

“Успокойтесь, **государыня**, – отвечал Толь, – мера была необходима и она произвела решительное действие. Мятежники разбежались во все стороны и их ловят; все кончено. Относительно **государя**, **ваше величество** можете быть совершенно спокойны; он должен сейчас сюда прибыть”.

“Идите генерал, идите к нему”, – сказала **императрица**.

С. 297–298. Письмо **императрицы Марии Феодоровны** к графу Кочубею:

“Я долго не отвечала, граф, на ваши два письма, 11 декабря и 3 января, от того что желала собственноручно писать к вам, я так была подавлена горестью, что едва могла вести переписку с моим семейством. Я чувствую себя очень, очень несчастною, и три месяца, прошедшие со дня

нашей ужасной потери, были для меня тремя месяцами мучений и тоски. Смерть моего сына, этого ангела, застигла нас врасплох, поразила, как громовым ударом; мы продолжали еще утешать себя надеждою, хотя, признаюсь, мое материнское сердце даже в то время, когда она улыбалась нам, испытывало смертельную тоску, и это тоскливое предчувствие, к несчастью, оправдалось 19 ноября. 27-го я узнала о потере возлюбленного сына, который составлял счастье и славу моей жизни, всю прелесть и сладость моего существования. Перо не в состоянии передать того, сколько я выстрадала. Я думала, что потеря сына – верх несчастья; но 14 декабря ознакомило меня с новым родом ужасных мучений: в этот день два мои сына подвергали свою жизнь опасности и спокойствие государства зависело от гибельной случайности. Милосердие Божие отвратило это бедствие, и благородное поведение моего сына **Николая**, величие его души, твердость и удивительное самоотвержение, равно как похвальная храбрость **Михаила**, спасли государство и семейство. Этот день был до того ужасен, что когда к вечеру все было усмирено и я осталась одна в моей комнате, то возблагодарила Бога, что сердце мое занято опять только постоянною моею скорбью. Но что за ужасное событие! Благодарю небо, что наш возлюбленный **император Александр** не знал его во всех подробностях, хотя и имел сведение о существовании заговора. Вознесем моления к Всевышнему и за то, что участники в бунте, большею частью, люди молодые, мало значущие, которые, за исключением предводителей, были увлечены гордостью и самолюбием, не замечая, быть может, пропасти, в которую они стремились. Сами начальники бунта не имеют, по своим прежним заслугам, особенного значения. Есть между ними люди храбрые, но, благодаря Бога, храбрость у нас в России – наследственная доблесть военных. Во всяком случае горько, что они своим преступлением запятнали честь и звание офицера и повергли в отчаяние своих родителей и жен...

20-го числа прибудет в Царское Село печальный кортеж с телом нашего Ангела. Вы можете представить себе, как для меня будут тяжелы и этот, исполненный скорби и печали, день и последующие за ним две недели. Погребение назначено 13 марта; по совершении его, нам останется только одно воспоминание об этом ангеле благодати”.

ДОПОЛНЕНИЯ

ЗАПИСКИ НИКОЛАЯ I

ТЕТРАДЬ 2-я

Л. 4—9

О наследии после императора Александра I

В лето 1819 г. находился я в свою очередь с командуемою мной тогда 2-й гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Пред выступлением из одного было моей бригаде линейное ученье, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности. После ученья пожаловал он к жене моей обедать; за столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора.

Государь начал говорить, что он с радостию видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Мариною); что он счастья сего никогда не знал, вина себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтоб уметь ценить с молодости сие щастие; что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке Государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно об том говорил брату Константину Павловичу, который, быв один с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более, что они оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство!

Мы были поражены как громом. В слезах, в рыдании от сей ужасной неожиданной вести мы молчали! Наконец государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственною ласкою начал нас успокаивать и утешать, начав с того, что минута сему ужасному для нас перевероту еще не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять еще до оной, но что мы должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной.

Тут я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе сил, ни духу на столь великое дело; что одна мысль, одно желание было – служить ему изо всей души, и сил, и разума моего в кругу поручаемых мне должностей; что мысли мои даже дальше не достигают.

Дружески отвечал мне он, что когда вступил на престол, он в том же был положении; что ему было тем еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка в ходе правительственных дел; ибо хотя при императрице Екатерине в последние годы порядку было мало, но все держалось еще привычками; но при восшествии на престол родителя нашего совершенное изменение прежнего вошло в правило: весь прежний порядок нарушился, не заменяясь ничем. Что с восшествия на престол Государя по сей час много сделано к улучшению, и всему дано законное течение; и что потому я найду все в порядке, который мне останется только удерживать.

Кончился сей разговор; государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагая, паразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот совершенное изображение нашего ужасного положения.

С тех пор часто Государь в разговорах намекал нам про сей предмет, но не распространяясь более об оном; а мы всячески старались избегать оного. Матушка с 1822 г. начала нам про то же говорить, упоминая об каком-то акте, который будто бы братом Константином Павловичем был учинен для отречения в нашу пользу, и спрашивала, не показывал ли нам оный Государь.

Весной 1825-го был здесь Принц Оранский; ему государь открыл свои намерения, и на друга моего сделали они то же ужасное впечатление. С пламенным сердцем старался он сперва на словах, потом письменно доказывать, сколько мысль отречения от правления могла быть пагубна для Империи; какой опасный пример подавала в наш железный век, где каждый шаг принимают предпочтительно с дурной стороны. Все было напрасно; милостиво, но твердо отверг государь все моления благороднейшей души!

Наконец настала осень 1825 г., с нею – и отъезд Государя в Таганрог. 30 августа был я столь счастлив, что государь взял меня с собой в коляску, ехав и возвращаясь из Невского монастыря. Государь был пасмурен, но снисходителен до крайности. В тот же день я должен был ехать в Бобруйск на инспекцию; Государь меня предварил, что хотел нам приобрести и подарить Мятлеву дачу, но что просили цену несбыточную, и что он, по желанию нашему, жалует нам место близ Петергофа, где ныне дача жены моей Александрия.

Обед был в новом дворце брата Михаила Павловича, который в тот же день был освящен. Здесь я простился навсегда с Государем, моим благодетелем, и с Императрицею Елисаветой Алексеевной.

Дабы сделать яснее то, что мне описать остается, нужно мне сперва обратиться к другому предмету.

До 1818 г. не был я занят ничем; все мое знакомство с светом ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к Государю. В сем шумном собрании проходили* мы час, иногда и более, доколь не призывался к Государю военный генерал-губернатор с комендантом и вслед за сим все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые. От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большею частию время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего; бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя начальников, ни правительство.

Долго я видел и не понимал; сперва родилось удивление, наконец, и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял; многих узнал – и в редком обманулся. Время сие было **потерей временно**^{2*}, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался.

Осенью 1818 г. Государю угодно было сделать мне милость, назначив командиром 2 бригады 1 гвардейской дивизии, т.е. Измайловским и Егерским полками. За несколько пред тем месяцев вступил я в управление Инженерною частию.

Только что вступил я в командование бригады, Государь, Императрица и Матушка уехали в чужие края; тогда был конгресс в Ахене. Я остался с женой и сыном одни в России из всей семьи. Итак, при самом моем вступлении в службу, где мне наинужнее было иметь наставника, брата Благодетеля, оставлен был я один с пламенным усердием, но с совершенною неопытностью.

Я начал знакомиться с своей командой и не замедлил убедиться, что служба шла везде совершенно иначе, чем слышал волю моего Государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила оной были в нас твердо влиты. Я начал взыскивать, но взыскивал один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде даже моими начальниками. Положение было самое трудное; действовать иначе было противно моей совести и долгу; но сим я явно ставил и начальников и подчиненных против себя, тем более, что меня не знали, и многие или не понимали или не хотели понимать.

Корпусом начальствовал тогда генерал-адъютант Васильчиков; к нему я прибег, ибо ему поручен был как начальнику покойной матушкой. Часто изъяснял ему свое затруднение, он входил в мое положение, во многом соглашался и советами исправлял мои понятия. Но сего не доставало, чтоб поправить дело; даже решительно сказать можно – не зависело более от генерал-адъютанта Васильчикова исправить порядок службы, распущенный, испорченный до невероятности с самого 1814 г., когда,

* Так в оригинале. (Ред.)

2* Так в оригинале. (Ред.)

по возвращении из Франции, Гвардия осталась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. В сие-то время и без того уже расстроенный 3-годовалым походом порядок совершенно разрушился; и к довершению всего дозволена была офицерам носка фраков. – Было время (поверит ли кто сему), что офицеры езжали на ученье во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу! Подчиненность исчезла и сохранялась едва только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день.

В сем-то положении застал я и свою бригаду, хотя с малыми оттенками, ибо сие зависело и от большей или меньшей строгости начальников. По мере того как начинал я знакомиться со своими подчиненными и видеть происходившее в прочих полках, я возымел мысль, что под сим, т.е. военным распутством, крылось что-то важнее; и мысль сия постоянно у меня оставалась источником строгих наблюдений. Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора: на искренно усердных и знающих; на добрых малых, но запущенных и оттого не знающих, и на решительно дурных, т.е. говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных; на сих-то последних налег я без милосердия и всячески старался оных избавиться, что мне и удавалось. Но дело сие было нелегкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь чрез все полки и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние оказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось.

Государь возвратился из Ахена в конце года, и тогда в первый раз удостоился я доброго отзыва моего начальства и милостивого слова моего благодетеля, которого один благосклонный взгляд вселял бодрость и счастье. С новым усердием я принялся за дело, но продолжал видеть то же округ себя, что меня изумляло и чему я тщетно искал причину.

ТЕТРАДЬ 3-я. Л. 10–23 об.

Надо было решиться – или оставаться мне в совершенном бездействии, отстраняясь от всякого участия в делах, до коих, в строгом смысле службы, как говорится, мне дела не было, или участвовать в них и почти направлять тех людей, в руках коих, по званию их, власть находилась. В первом случае, соблюдая форму, по совести я бы грешил, попуская делам искажаться может быть безвозвратно, и тогда бы я заслужил в полной мере название эгоиста. Во втором случае – я жертвовал собою с убеждением быть полезным отечеству и тому, которому я присягнул. Я не усомнился, и влечение внутреннее решило мое поведение. Одно было трудно; я должен был скрывать настоящее положение дел от мнительности Матушки, от глаз окружающих, которых любопытство предъугадывало истину. Но с твердым упованием на милость Божию я решился действовать, как сумею.

Город казался тих; так, по крайней мере, уверял граф Милорадович, уверяли и те немногие, которые ко мне хаживали, ибо я не считал приличным показываться и почти не выходил из комнат. Но в то же время бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел. Оболенский, бывший тогда адъютантом у генерала Бистрома, командовавшего всею пехотой Гвардии, один из злейших заговорщиков, ежедневно бывал во дворце, где тогда обычай был собираться после развода в так называемой Конно-Гвардейской комнате. Там, в шуме сборища разных чинов офицеров и других, ежедневно приезжавших во дворец узнавать о здоровье Матушки, но еще более приезжавших за новостями, с жадностью Оболенский подхватывал все, что могло быть полезным к успеху заговора, и сообщал соумышленникам узнанное. Сборища их бывали у Рыльева. Другое лицо, изверг во всем смысле слова, Якубовский*, в то же время умел хитростию своею и некоторою наружностью смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его к себе доверенность. Чего Оболенский не успевал узнать во дворце, то Якубовский извещивал от графа, у которого, как говорится, часто **сердце было на языке**.

Мы были в ожидании ответа Константина Павловича на присягу, и иные ожидали со страхом, другие – и я смело себя ставлю в число последних – со спокойным духом, что он велит. В сие время прибыл Михаил Павлович. Ему вручил Константин Павлович свой ответ в письме к Матушке и несколько слов ко мне. Первое движение всех – а справедливое нетерпение сие извиняло – было броситься во дворец; всякий спрашивал, присягнул ли Михаил Павлович.

– Нет, – отвечали приехавшие с ним.

Матушка заперлась с Михаилом Павловичем; я ожидал в другом покое – и точно ожидал решения своей участи. Минута неизъяснимая! Наконец дверь открылась, и матушка мне сказала:

– Eh bien, Nikolass, prosternez vous devant votre frère, car il est respectable et sublime dans son inaltérable détermination de vous abandonner le trône^{2*}.

Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву? тот ли, который отвергает Наследство Отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторяет только свою неизменную волю и остается в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желанием, – или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной, и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого! Удача страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тяжче.

* Так в оригинале. (Ред.)

² Ну, Николай, преклонитесь перед вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон.

Я отвечал Матушке:

– Avant que me prosterner, Maman, veuillez me permettre de savoir pourquoi je devrais le faire, car je ne sais lequel des sacrifices est le plus grand: de celui qui refuse ou de celui qui accepte en pareilles circonstances!*

Нетерпение всех возрастало и дошло до крайности, когда догадывались по продолжительности нашего присутствия у Матушки, что дело еще не решилось. Действительно, брат Константин Павлович прислал ответ на письмо Матушки хотя и официально, но на присягу, ему данную, не было ответа, ни Манифеста, словом ничего, что бы в лице народа могло служить актом удостоверения, что воля его непременна, и отречение, оставшееся при жизни Императора Александра тайною для всех, есть и ныне непременной его волей. Надо было решить, что делать, как вытти из затруднения, опаснейшего в своих последствиях, и которым, как увидим ниже, заговорщики весьма хитро воспользовались.

После долгих прений я остался при том мнении, что брату должно было объявить Манифестом, что, оставаясь непреклонным в решимости, им уже освященной отречением, утвержденным духовной Императора Александра, он повторяет оное и ныне, не принимая данной ему присяги. Сим, казалось мне, торжественно утверждалась воля его и отымался^{2*} всякая возможность к усумлению.

Но брат избрал иной способ; он прислал письмо официальное к Матушке, другое – ко мне, и, наконец, род выговора князю Лопухину как председателю Государственного совета. Содержание двух первых актов известно; вкратце содержали они удостоверение в неизменной его решимости, и в письме к Матушке упоминалось, что решение сие в свое время получило ее согласие. В письме, ко мне писанном как к императору, упоминалось только в особенности о том, что Его Высочество просил оставить **его при прежде занимаемом им месте и звании.**

Однако удалось мне убедить Матушку, что одних сих актов без явной опасности публиковать нельзя, и что должно непременно стараться убедить брата прибавить к тому другой в виде Манифеста, с изъяснением таким, которое было^{3*} развязывало от присяги, ему данной. Матушка и я, мы убедительно о том писали к брату; и фельдъегерский офицер Белоусов отправлен с сим. Между тем решено было нами акты сии хранить у нас в тайне.

Но как было изъяснить наше молчание пред публикой? Нетерпение и неудовольствие были велики и весьма извинительны. Пошли догадки, и в особенности обстоятельство **неприсяги** Михаила Павловича навело на всех сомнение, что скрывают отречение Константина Павловича. Заговорщики решили сие же самое употребить орудием для своих замыслов. Время сего ожидания можно считать настоящим междуцарствием, ибо

* Прежде чем преклоняться, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо я не знаю, чья из двух жертв больше: того ли, кто отказывается (от трона), или того, кто принимает (его) при подобных обстоятельствах.

^{2*} Так в оригинале; первоначально было “отымались”. (Ред.)

^{3*} Так в оригинале (Ред.)

повелений от Императора, которому присяга принесена была, по расчёту времени должно было получать, – но их не приходило; дела останавливались совершенно; все было в недоумении, и к довершению всего известно было, что Михаил Павлович отъехал уже тогда из Варшавы, когда и кончина Императора Александра и присяга Константину Павловичу там уже известны были. Каждой извлекал из сего, что какое-то особенно важное обстоятельство препятствовало к восприятию законного течения дел, но никто не догадывался настоящей причины.

Однако дальнейшее присутствие Михаила Павловича становилось тягостным и для него, и для нас всех, и потому решено было ему выехать будто в Варшаву, под предлогом успокоения брата Константина Павловича на счёт здоровья Матушки, и остановиться на станции Ненале, дабы удалиться от беспрестанного принуждения, и вместе с тем для остановления по дороге всех тех, кои, возвращались из Варшавы, могли повестить в Петербурге настоящее положение дел. Сия же предосторожность принудила останвливать все письма, приходившие из Варшавы; и эстафет, еженедельно приходивший с бумагами, из канцелярии Константина Павловича приносим был ко мне. Бумаги, не терпящие отлагательства, должен был я лично вручать у себя тем, к коим адресовались, и просить их вскрывать в моем присутствии, – положение самое несносное.

Так прошло 8 или 9 дней. В одно утро, часов в 6 был я разбужен внезапным приездом из Таганрога лейб-гвардии Измайловского полку полковника барона Фредерикса, с пакетом о самонужнейшем от генерала Дибича, начальника Главного Штаба, и адресованным в собственные руки Императору!

Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получил в ответ, что ничего ему неизвестно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находился Государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться? Вскрыть пакет на имя Императора – был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последнею крайностию, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и – пакет вскрыт!

Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю Империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии.

Тогда только почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностию, с решимостию – я не имел ни власти, ни права на онаю; мог только действовать чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют; и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех, даже от Матушки, дабы ее не испугать, или преждевременно заговорщикам не от-

крыть, что замыслы их уже не скрыты от правительства. К кому мне было обратиться – одному, совершенно одному без совета!

Граф Милорадович казался мне, по долгу его звания, первым, до сведения которого содержание сих известий довести должно было; князь Голицын, как начальник почтовой части и доверенное лицо Императора Александра, казался мне вторым. Я их обоих пригласил к себе, и втроем принялись мы за чтение приложений к письму. Писанные рукою генерал-адъютанта графа Чернышева для большей тайны, в них заключалось изложение открытого обширного заговора, чрез два разных источника, показаниями юнкера Шервуда, служившего в Чугуевском военном поселении, и открытием капитана Майбороды, служившего в тогдашнем 3 пехотном корпусе. Известно было, что заговор касается многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку, но в особенности в Москве, в главной квартире 2 армии и в части войск, ей принадлежащих, а также в войсках 3 корпуса. Показания были весьма неясны, неопределительны; но однако еще за несколько дней до кончины своей покойный Император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Измайловского полка Николаева взять известного Вадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны были подозрения на главную квартиру 2 армии, и генерал Дибич уведомлял, что вслед за сим решился послать графа Чернышева в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейна о происходящем и арестовать князя С. Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в оной бригаде командовавшего Вятским полком.

Подобное извещение, в столь затруднительное и важное время требовало величайшего внимания, и решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать; а как о капитане Майбороде ничего не упоминалось, а должно было полагать, что чрез него получатся еще важнейшие сведения, то решился граф Милорадович послать адъютанта своего генерала Мантейфеля к генералу Роту, дабы, приняв Майбороду, доставить в Петербург. Из петербургских заговорщиков по справке никого не оказалось налицо; все были в отпуску, а именно – Свистунов, Захар Чернышев и Никита Муравьев, что более еще утверждало справедливость подозрений, что они были в отсутствии для съезда, как в показаниях упоминалось. Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии и других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратиться все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности.

Наконец наступил роковой для меня день. По обыкновению обедали мы вдвоем с женой, как приехал Белоусов. Вскрыв письмо брата, удостоверился я с первых строк, что участь моя решена, но что единому Богу известно, как воля Константина Павловича исполнится, ибо вопреки всем нашим убеждениям решительно отказывал в новом акте, упираясь на то, что не признавая себя Императором, отвергая присягу, ему данную, как такую, которая неправильно ему принесена была, не считает себя в праве и не хочет другого изречения непреклонной своей

воли, как обнарудование духовной императора Александра и приложенного к оному акта отречения своего от Престола. Я предчувствовал, что, повинаясь воле братней, иду на гибель, но нельзя было иначе, и долг повелевал сообразить единственно, как исполнить сие с меньшею опасностью недоразумений и ложных наветов. Я пошел к матушке и нашел ее в том же убеждении, но довольною, что наступил конец нерешимости.

Изготовив в скорости проект Манифеста, призвал я к себе М.М. Сперанского и ему поручил написать таковой, придерживаясь моих мыслей; положено было притом публиковать духовную Императора Александра, письмо к нему Константина Павловича с отречением и два его же письма – к Матушке и ко мне как к Императору.

*(Прибавить о Ростовцеве)NB**

В сих занятиях прошел вечер 12 декабря. Послано было к Михаилу Павловичу, дабы его воротить, и надежда оставалась, что он успеет воротиться на другой день, т.е. в воскресенье 13 числа. Между тем весть о приехавшем фельдъегере распространилась по городу, и всякий убедился в том, что подозрения обратились в истину.

Гвардией командовал генерал Воинов, человек почтенный и храбрый, но ограниченных способностей и не успевший приобрести никакого весу в своем корпусе. Призвав его к себе, поставил его в известность воли Константина Павловича и условился, что на другой же день, т.е. в понедельник, соберет ко мне всех генералов и полковых командиров гвардии, дабы лично мне им объяснить весь ход происходившего в нашей семье и поручить им растолковать сие ясным образом своим подчиненным, дабы не было предлога к беспорядку. Требован был также ко мне митрополит Серафим для нужного предварения и, наконец, князь Лопухин, с которым условлено было собрать Совет к 8 часам вечера, куда я намерен был явиться вместе с братом Михаилом Павловичем как личным свидетелем и вестником братней воли.

Но Богу угодно было повелеть иначе. Мы ждали Михаила Павловича до половины одиннадцатого ночи, и его не было. Между тем весь город знал, что Государственный Совет собран, и всякий подозревал, что настала решительная минута, где томительная неизвестность должна кончиться. Нечего было делать, и я должен был следовать один.

Тогда Государственный Совет собирался в большом покое, который ныне служит гостиною младшим моим дочерям. Подойдя к столу, я сел на первое место, сказав:

– Я выполняю волю брата Константина Павловича.

И вслед за тем начал Манифест о моем восшествии на престол. Все стали, и я также. Все слушали в глубоком молчании и по окончании чтения глубоко мне поклонились, при чем отличился Н.С. Мордвинов, против меня бывший, всех перьвый вскочивший и ниже прочих отвесивший поклон, так что оно мне странным показалось.

Засим должен был я прочесть отношение Константина Павловича к князю Лопухину, в котором он самым сильным образом выговаривал

* Вписано между строк. (Ред.)

ему, что послушался будто воли покойного Императора Александра, ото-слав к нему духовную и акт отречения и принеся ему присягу, тогда как на сие права никто не имел.

Кончив чтение, возвратился я в занимаемые мною комнаты, где ожидали меня Матушка и жена. Был 1-й час и понедельник, что многие считали дурным началом. Мы проводили Матушку на ее половину, и хотя не было еще объявлено о моем вступлении, комнатные люди Матушки, с ее разрешения, нас поздравляли.

Во внутреннем конно-гвардейском карауле стоял в то время князь Одоевский, самый бешеный заговорщик, но никто сего не знал; после только вспомнили, что он беспрестанно расспрашивал придворных служителей о происходящем. Мы легли спать и спали спокойно, ибо у каждого совесть была чиста, и мы от глубины души предались Богу.

Наконец наступило 14 декабря, роковой день! Я встал рано и, одевшись, принял генерала Воинова; потом вышел в залу нынешних покоев Александра Николаевича, где собраны были все генералы и полковые командиры гвардии. Объяснив им словесно, каким образом, по непремной воле Константина Павловича, которому незадолго вместе с ними я присягал, нахожусь ныне вынужденным покориться его воле и принять престол, к которому, за его отречением, нахожусь ближайшим в роде; засим прочитал им духовную покойного Императора Александра и акт отречения Константина Павловича. Засим, получив от каждого уверение в преданности и готовности жертвовать собой, приказал ехать по своим командам и привести к присяге.

От двора повелено было всем, имеющим право на приезд, собраться во дворец к 11 часам. В то же время Синод и Сенат собирались в своем месте для присяги.

Вскоре засим прибыл ко мне граф Милорадович с новыми уверениями совершенного спокойствия. Засим был я у Матушки, где его снова видал, и воротился к себе. Приехал генерал Орлов, командовавший конной гвардией, с известием, что полк принял присягу; поговорив с ним довольно долго, я его отпустил. Вскоре за ним явился ко мне командовавший гвардейской артиллерией генерал-майор Сухозанет, с известием, что артиллерия присягнула, но что в гвардейской конной артиллерии офицеры оказали сомнение в справедливости присяги, желая сперва слышать удостоверение сего от Михаила Павловича, которого считали удаленным из Петербурга, как будто из несогласия его на мое вступление. Многие из сих офицеров до того вышли из повиновения, что генерал Сухозанет должен был их всех арестовать. Но почти в сие же время прибыл наконец Михаил Павлович, которого я просил сейчас отправиться в артиллерию для приведения заблудших в порядок.

Спустя несколько минут после сего, явился ко мне генерал-майор Нейдгарт, начальник штаба гвардейского корпуса, и взойдя ко мне совершенно в расстройстве, сказал:

—Sire, le regiment de Moscou est en plein insurrection; Chenchin et Frederichs (тогдашний бригадный и полковой командиры) sont grievement blessés, et les mutins marchent vers le Sénat, j'ai à peine pu les dévancer pour

vous le dire. Ordonnez, de grâce, au 1-er bataillon Préobrajensky et à la garde-à-cheval de marcher contre*.

Меня весть сия поразила, как громом, ибо с первой минуты я не видел в сем первом слушании действие одного сомнения, которого всегда опасался, но, зная существование заговора, узнал в сем первое его доказательство.

Разрешив 1 батальону Преображенскому выходить, дозволил конной гвардии седлать, но не выезжать; и к сим отправил генерала Нейдгарта, послав в то же время генерал-майора Стрекалова, дежурного при мне, в Преображенский батальон для скорейшего исполнения. Оставшись один, я спросил себя, что мне делать? и, перекрестясь, отдался в руки Божии, решил сам итти туда, где опасность угрожала.

Но должно было от всех скрыть настоящее положение наше, и в особенности от Матушки, и зайдя к жене, сказал:

– Il y a du bruit au regiment de Moscou; je veux y aller^{2*}.

С сим пошел я на Салтыковскую лестницу; в передней найдя командира Кавалергардского полка генерал-адъютанта генерала Апраксина, велел ему ехать в полк и сейчас его вести ко мне. На лестнице встретил я Воинова в совершенном расстройстве. Я строго припомнил ему, что место его не здесь, а там, где войска, ему вверенные, вышли из повиновения. За мной шел генерал-адъютант Кутузов; с ним пришел я на дворцовую главную гауптвахту, в которую только-что вступила 9 егерская рота лейб-гвардии Финляндского полка, под командой капитана Прибыткова. Полк сей был в моей дивизии. Вызвав караул под ружье и приказав себе отдать честь, прошел по фронту и, спросив людей, присягали ль мне и знают ли, отчего сие было и что по точной воле сие брата Константина Павловича, получил в ответ, что знают и присягнули. Засим сказал я им:

– Ребята, московские шалят; не перенимать у них и свое дело делать молодцами.

Белел зарядить ружья и сам скомандовал: “Дивизия вперед, скорым шагом марш”, – повел караул левым плечом вперед к главным воротам дворца. В сие время разводили еще часовых, и налицо была только остатальная часть людей.

Съезд ко дворцу уже начинался, и вся площадь усеяна была народом и перекрещавшимися экипажами. Многие из любопытства заглядывали на двор и, увидя меня, вошли и кланялись мне в ноги. Поставя караул поперек ворот, обратился я к народу, который, меня увидя, начал сбегаться ко мне и кричать Ура. Махнув рукой, я просил, чтобы мне дали говорить. В то же время пришел ко мне граф Милорадович и, сказал:

– Cela va mal; ils marchent au Sénat, mais je vais leur parler^{3*}, ушел, – и я более его не видал, как отдавая ему последний долг.

* Ваше величество! Московский полк в полном восстании; Шеншин и Фредерикс тяжело ранены, и мятежники идут к Сенату; я едва их обогнал, чтобы донести вам об этом. Прикажете, пожалуйста, двинуться против них первому батальону Преображенского полка и конной гвардии.

^{2*} В Московском полку волнение; я отправляюсь туда.

^{3*} Дело плохо; они идут к Сенату, но я буду говорить с ними.

Надо было мне выигрывать время, дабы дать войскам собраться, нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным. Все эти мысли пришли мне как-бы вдохновением, и я начал говорить народу, спрашивая, читали ль мой Манифест. – Все говорили, что нет; пришло мне на мысль самому его читать. У кого-то в толпе нашелся экземпляр; я взял его и начал читать тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый Бог меня поддержал.

(О Хвощинском прибавить) NB*

Наконец Стрекалов повестил меня, что Преображенский 1 батальон готов. Приказав коменданту генерал-лейтенанту Башуцкому остаться при гауптвахте и не трогаться с места без моего приказания, сам пошел сквозь толпу прямо к батальону, ставшему линией спиной к комендантскому подъезду, левым флангом к эзерциргаузу. Батальоном командовал полковник Микулин, и полковой командир полковник Исленьев был при батальоне. Батальон мне отдал честь; я прошел по фронту и, спросив, готовы ли идти за мной, куда велю, получил в ответ громкое молодецкое: – Рады стараться!

Минуты единственные в моей жизни, никакая кисть не изобразит героическую, почтенную и спокойную наружность сего истинно 1 батальона в свете, в столь критическую минуту.

Скомандовав, по-тогдашнему: “К атаке в колонну, перьвый и осьмой взводы, в полоборота налево и направо!” – повел я батальон левым плечом вперед мимо заборов тогда достраивавшихся дома Министерства Финансов и Иностранных дел к углу Адмиралтейского бульвара. Тут, узнав, что ружья не заряжены, велел батальону остановиться и зарядить ружья. Тогда же привели мне лошадь, но все прочие были пешии. В то же время заметил я угла^{2*} дома Главного Штаба полковника князя Трубецкого; ниже увидим, какую он тогда играл роль.

Зарядив ружья, пошли мы вперед. Тогда со мной были генерал-адъютанты Кутузов, Стрекалов, флигель-адъютанты Дурново и адъютанты мои – Перовский и Адлерберг. – Адъютанта моего Кавелина послал я к себе в Аничкин дом, перевести детей в Зимний дворец. Перовского послал я в конную гвардию с приказанием выезжать ко мне на площадь. В сие самое время услышали мы выстрелы, и вслед засим прибежал ко мне флигель-адъютант князь Голицын Генерального Штаба с известием, что граф Милорадович смертельно ранен.

Народ прибавлялся со всех сторон; я вызвал стрелков на фланги батальона и дошел таким образом до угла Вознесенской. Не видя еще конной гвардии, я остановился и послал за нею одного бывшего при мне конным старого рейткнехта из конной гвардии Лондыря с тем, чтобы полк скорее шел. Тогда же слышали мы ясно – “Ура, Константин” на площади против Сената, и видна была стрелковая цепь, которая никого не подпускала.

В сие время заметил я слева против себя офицера Нижегородского драгунского полка, которого черным обвязанная голова, огромные чер-

* Вписано между строк. (Пед.)

^{2*} Так в тексте. (Пед.)

ные глаза и усы и вся наружность имели что-то особенно отвратительное. Подозвав его к себе, узнал, что он Якубовский, но не зная, с какой целью он тут был, спросил его, чего он желает. На сие он мне дерзко сказал:

– Я был с ними, но услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам.

Я взял его за руку и сказал:

– Спасибо, вы ваш долг знаете.

От него узнали мы, что Московский полк почти весь участвует в бунте, и что с ними следовал он по Гороховой, где от них отстал. Но после уже узнато было, что настоящее намерение его было под сей личиной узнавать, что среди нас делалось, и действовать по удобности.

В это время генерал-адъютант Орлов привел Конную гвардию, обогнув Исаакиевский собор и выехав на площадь между оным и зданием военного министерства, то* тогда было домом князя Лобанова; полк шел в галоп и строился спиной к сему дому. Сейчас я поехал к нему и, воздоржавшись с людьми, сказал им, что ежели искренно мне присягнули, то настало время сие мне доказать на деле. Генералу Орлову велел я с полком итти на Сенатскую площадь и выстроиться так, чтобы пресечь елико возможно мятежникам сообщение с тех сторон, где их окружить было можно. Площадь тогда была весьма стеснена заборами от стороны собора, простиравшимися до угла нынешнего синодского здания; угол, образуемый бульваром и берегом Невы, служил складом выгружаемых камней для собора, и оставалось между ними материалами и монументом Петра Великого не более как шагов 50. На сем тесном пространстве, идя по шести, полк выстроился в две линии, правым флангом к монументу, левым достигая почти заборов.

Мятежники выстроены были в густой неправильной колонне спиной к старому Сенату. Тогда был еще один Московский полк. В сие самое время раздалось несколько выстрелов: стреляли по генералу Воинове, но не успели ранить тогда, когда он, подъехав, хотел угovarивать людей. Флигель-адъютант Бибииков, директор канцелярии Главного Штаба, был ими схвачен и, жестоко избитый, от них вырвался и пришел ко мне; от него узнали мы, что Оболенский предводительствует толпой.

Тогда отрядил я роту его величества Преображенского полка с полковником Исленьевым, младшим полковником Титовым и под командой капитана Игнатьева чрез булевар занять Исаакиевский мост, дабы отрезать сообщение с сей стороны с Васильевским островом и прикрыть фланг Конной гвардии; сам же, с прибывшим ко мне генерал-адъютантом Бенкендорфом выехал на площадь, чтоб рассмотреть положение мятежников. Меня встретили выстрелами.

В то же время послал я приказание всем войскам собираться ко мне на Адмиралтейскую площадь и, воротясь на оную, нашел уже остальную малую часть московского полка с большею частию офицеров, которых ко мне привел Михаил Павлович. Офицеры бросились мне целовать руки и ноги. В доказательство моей к ним доверенности поставил я их на са-

* Так в оригинале. (Ред.)

мом углу у забора, против мятежников. Кавалергардский полк, 2-й батальон Преображенского стояли уже на площади; сей батальон послал я вместе с первым рядами направо примкнуть к Конной гвардии. Кавалергарды оставлены были мной в резерве у дома Лобанова. Семеновскому полку велено было идти прямо вокруг Исаакиевского собора к манежу Конной гвардии и занять мост. Я вручил команду с сей стороны Михаилу Павловичу. Павловского полка воротившиеся люди из караула, составлявшие малый батальон, посланы были по Почтовой улице и мимо Конно-гвардейских казарм на мост у Крюкова канала и в Галерную улицу.

В сие время узнал я, что в Измайловском полку происходил беспорядок и нерешительность при присяге. Сколь мне сие ни больно было, но я решительно не полагал сего справедливым, а относил сие к тем же замыслам, и потому велел генерал-адъютанту Левашову, ко мне явившемуся, ехать в полк и, буде есть какая-либо возможность, двинуть его, хотя бы против меня, непременно его вывести из казарм. Между тем, видя, что дело становится весьма важным, и не предвидя еще, чем кончится, послал я Адлерберга с приказанием шталмейстеру князю Долгорукому приготовить загородные экипажи для Матушки и жены и намерен был в крайности выпроводить их с детьми под прикрытием кавалергардов в Царское Село. Сам же, послав за артиллерией, поехал на Дворцовую площадь, дабы обеспечить дворец, куда велено было следовать прямо обоим саперным батальонам – гвардейскому и учебному. Не доехав еще до дома Главного Штаба, увел я в совершенном беспорядке со знаменами без офицеров Лейб-гренадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроит; но на мое – “**Стой!**” отвечали мне:

– Мы – за **Константина!**

Я указал им на Сенатскую площадь и сказал:

– **Когда так,** – то вот вам дорога.

И вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствия к своим одинако заблужденным товарищам. К счастью, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца, и участь бы наша была более, чем сомнительна. Но подобные рассуждения делаются **после**; тогда же один бог меня наставил на сию мысль.

Милосердие Божие оказалось еще разительнее при сем же случае, когда толпа лейб-гренадер, предворимая офицером Пановым, шла с намерением овладеть дворцом и в случае сопротивления истребить все наше семейство. Они дошли до главных ворот дворца в некотором устройстве, так что комендант почел их за присланный мною отряд для занятия дворца. Но вдруг Панов, шедший в голове, заметил лейб-гвардии саперный батальон, только что успевший прибежать и выстроившийся в колонне на дворе, и, закричав:

– **Да это не наши!** – начал ворочать входящие отделения кругом и бросился бежать с ними обратно на площадь. Ежели б саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были б в руках мятежников, тогда как занятый происходившим на Сенатской площади и вовсе безызвестный об угрожавшей с тылу оной важнейшей опасности, я бы лишен был всякой возможности сему воспрепят-

ствовать. Из сего видно самым разительным образом, что ни я, ни кто не могли бы дела благополучно кончить, ежели б самому милосердию Божию не угодно было всем править к лучшему.

Здесь должен я упомянуть о славном поступке капитана лейб-гвардии Гренадерского полка князя Мещерского. Он командовал тогда ротой его величества, и когда полк, завлеченный в бунт ловкостью Панова и других соумышленников, отказался в повиновении своему полковнику Стюрлеру, из опасения нарушить присягу своему законному государю Константину Павловичу, Мещерский догнал свою роту на дороге и убеждением своим и доверием, которое вселял в людей, успел остановить большую часть своей роты и несколько других и привел их ко мне. Я поставил его с саперами на почетное место – к защите дворца.

Воротившись к войскам, нашел я прибывшую артиллерию, но, к несчастию, без зарядов, хранившихся в лаборатории. Доколь послано было за ними, мятеж усиливался; к начальной массе Московского полка прибыл весь Гвардейский экипаж и примкнул от стороны Галерной; а толпа гренадер стала с другой стороны. Шум и крик делались беспрестанны, и частые выстрелы перелетали через голову. Наконец, народ начал также колебаться, и многие перебежали к мятежникам, пред которыми видны были люди невоенные. Одним словом, ясно становилось, что не сомнение в присяге было истинной причиной бунта, но существование другого важнейшего заговора делалось очевидным. “Ура, Конституция!” – раздавалось и принималось чернию за ура, произносимое в честь супруги Константина Павловича!

Воротился генерал-адъютант Левашов с известием, что Измайловский полк прибыл в порядке и ждет меня у Синего моста. Я поехал к нему, полк отдал мне честь и встретил с радостными лицами, которые рассеяли во мне всякое подозрение. Я сказал людям, что хотели мне их очернить, что я сему не верю, что, впрочем, ежели среди их есть такие, которые хотят против меня итти, то я им не препятствую и дозволяю присоединиться к мятежникам. Громкое ура было мне ответом. Я при себе велел зарядить ружья и послал полк с генерал-майором Мартыновым, командиром бригады, на площадь, велел поставить в резерв спиной к дому Лобанова. Сам же поехал к Семеновскому полку, уже стоявшему на своем месте.

Полк, под начальством полковника Шипова, прибыл в величайшей исправности и стоял у самого моста на канале, батальон за батальоном. Михаил Павлович был уже тут. С этого места было еще ближе видно, что с Гвардейским экипажем, стоявшим на правом фланге мятежников, было много офицеров экипажа сего и других, но видны были и другие во фраках, расхаживавшие между солдат и уговаривавшие стоять твердо.

В то время, как я ездил к Измайловскому полку, прибыл требуемый мной митрополит Серафим из Зимнего дворца, в полном облачении и с крестом. Почтенный пастырь с одним поддяконом вышел из кареты и, положа крест на голову, пошел прямо к толпе; он хотел говорить, но Оболенский и другие сей шайки ему воспрепятствовали, угрожая стрелять, ежели не удалится.

Михаил Павлович предложил мне подъехать к толпе в надежде присутствием своим разуверить заблужденных и полагавших быть верными

присяге Константину Павловичу, ибо привязанность Михаила Павловича к брату была всем известна. Хотя страшился я для брата изменнической руки, ибо видно было, что бунт более и более усиливался, но желая испытать все способы, я согласился и на сию меру и отпустил брата, придав ему генерала-адъютанта Левашова. Но и его увещания не помогли; хотя матросы начали было слушать, мятежники им мешали, и Кюхельбекер взвел курок пистолета и начал целить в брата, что однако три матроса ему не дали совершить.

Брат воротился к своему месту, а я, объехав вокруг собора, прибыл снова к войскам, с той стороны бывшим, и нашел прибывшим лейб-гвардии Егерский полк, который оставил на площади против Гороховой за пешей гвардейской артиллерийской бригадой.

Погода из довольно сырой становилась холоднее; снегу было весьма мало, и оттого – весьма скользко; начинало смеркаться, – ибо был уже 3 час пополудни. Шум и крик делались настойчивее, и частые ружейные выстрелы ранили многих в Конной гвардии и перелетали чрез войска; большая часть солдат на стороне мятежников стреляли вверх.

Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистали мне чрез голову и, к счастью, никого из нас не ранило. Рабочие Исакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были б в самом трудном положении.

Я согласился испробовать атаковать кавалерию. Конная гвардия первая атаковала по-эскадронно, но ничего не могла произвести и по тесноте, и от гололедицы, но в особенности не имея отпущенных палашей. Противники в сомкнутой колонне имели всю выгоду на своей стороне и многих тяжело ранили, в том числе ротмистр Велио лишился руки. Кавалергардский полк равномерно ходил в атаку, но без большого успеха.

Тогда генерал-адъютант Васильчиков, обратившись ко мне, сказал:

– Sire, il n'y a pas un moment á perdre; l'on n'y peut rien maintenant; il faut de la mitraille!*

Я предчувствовал сию необходимость, но, признаюсь, когда настало время, не мог решиться на подобную меру, и меня ужас объял.

– Vous voulez que je verse le sang de mes sujets le premier jour de mon régime?^{2*} – отвечал я Васильчикову.

– Pour sauver votre Empire!^{3*} – сказал он мне.

Эти слова меня снова привели в себя; опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверно все; или, пощадив себя, жертвовать решительно Государством.

* Ваше величество, нельзя терять ни минуты; ничего не поделаешь: нужна картечь!

^{2*} Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?

^{3*} Чтобы спасти вашу империю.

Послав одно орудие 1-й легкой пешей батареи к Михаилу Павловичу с тем, чтобы усилить сию сторону, как единственное отступление мятежникам, взял другие три орудия и поставил их пред Преображенским полком, велел зарядить картечью; орудиями командовал штабс-капитан Бакунин.

Вся во мне надежда была, что мятежники устроятся таких приготовлений и сдадутся, не видя себе иного спасения. Но они оставались тверды; крик продолжался еще упорнее. Наконец, послал я генерал-майора Сухожанета объявить им, что ежели сейчас не положат оружия, велю стрелять. Ура и прежние восклицания были ответом и вслед за этим – залп.

Тогда, не видя иного способа, скомандовал: пали! – Первый выстрел ударил высоко в Сенатское здание, и мятежники отвечали неистовым криком и беглым огнем. Второй и третий выстрел от нас и с другой стороны из орудия у Семеновского полка ударили в самую середину толпы, и мгновенно все рассыпалось, спасаясь Англинской набережной на Неву, по Галерной и даже навстречу выстрелов из орудия при Семеновском полку, дабы достичь берега Крюкова канала.

Велев артиллерии взяться на передки, мы двинули Преображенский и Измайловский полки через площадь, тогда как гвардейский Конно-пионерный эскадрон и часть Конной гвардии преследовали бегущих по Англинской набережной. Одна толпа начала было выстраиваться на Неве, но два выстрела картечью их рассеяли, – и осталось собирать спрятанных и разбежавшихся, что возложено было на генерал-адъютанта Бенкендорфа с 4 эскадронами Конной гвардии и гвардейским Конно-пионерным эскадронам под командою генерал-адъютанта Орлова на Васильевском острове и 2 эскадронами Конной гвардии на сей стороне Невы. Вслед за сим вручил я команду сей части города генералу-адъютанту Васильчикову, назначив ему оставаться у Сената и отдав ему в команду Семеновский полк, 2 батальона Измайловского, сводный батальон Московского и Павловского полков, 2 эскадрона Конной гвардии и 4 орудия Конной артиллерии. Васильевский остров поручил в команду генерал-адъютанту Бенкендорфу, оставя у него прежние 6 эскадронов и придав лейб-гвардии Финляндского полка 1 батальон и 4 орудия пешей артиллерии. Сам отправился ко дворцу. У Гороховой, в виде авангарда, оставил на Адмиралтейской площади 2 батальона лейб-гвардии Егерского полка и за ними 4 эскадрона Кавалергардского полка. Остальной батальон лейб-гвардии Егерского полка держал посты у Малой Миллионной, у Большой Миллионной, у казарм 1-го батальона Преображенского полка и на Большой набережной у театра. К сим постам придано было по 2 пеших орудия. Батареи о 8 орудиях поставлены были у Эрмитажного съезда на Неву, а другая о 4 орудиях против угла Зимнего дворца на Неву. 1 батальон Измайловский стоял на набережной у парадного подъезда, 2 эскадрона кавалергардов – левее, против угла дворца. Преображенский полк и при нем 4 орудия роты его величества стоял на Дворцовой площади спиной ко дворцу, у главных ворот в резерве, а на дворе оставались оба саперных батальона и рота 1 гнадерская лейб-гвардии Гнадерского полка.

Ночь с 14 на 15 декабря была не менее замечательна, как и прошедший день; потому для общего понятия всех обстоятельств тогдашних происшествий нужно и об ней подробно упомянуть.

Едва воротились мы из церкви, я сошел, как сказано в первой части, к расположенным перед дворцом и на дворе войскам. Тогда велел снести и сына, а священнику с крестом и святой водой приказал обойти ближние биваки и окропить войска. Воротясь, я велел собраться Совету и, взяв с собой брата Михаила Павловича, пошел в собрание. Там в коротких словах я объявил настоящее положение вещей и истинную цель того бунта, который здесь принимал совершенно иной предлог, чем был настоящий; никто в Совете не подозревал сего; удивление было общее, и, прибавлю, удовольствие казалось общим, что Бог избавил от видимой гибели. Против меня первым налево сидел Н.С. Мордвинов. Старик слушал особенно внимательно, и тогда же выражение лица его мне показалось особенным; потом мне сие объяснилось в некоторой степени.

Когда я пришел домой, комнаты мои похожи были на Главную квартиру в походное время. Донесения от князя Васильчикова и от Бенкендорфа одно за другим ко мне приходили. Везде собирали разбежавшихся солдат Гренадерского полка и часть Московских. Но важнее было арестовать предводительствовавших офицеров и других лиц.

Не могу припомнить, кто первый приведен был; кажется мне – Щепин-Ростовский. Он, в тогдашней полной форме и в белых панталонах, был из первых схвачен, сейчас после разбития мятежной толпы; его вели мимо верной части Московского полка, офицеры его узнали и в порыве негодования на него как увлекшего часть полка в заблуждение, они бросились на него и сорвали эполеты; ему стянули руки назад веревкой, и в таком виде он был ко мне приведен. Подозревали, что он был главное лицо бунта; но с первых его слов можно было удостовериться, что он был одно слепое орудие других и подобно солдатам завлечен был одним убеждением, что он верен императору Константину. Сколько помню, за ним приведен был Бестужев Московского полка, и от него уже узнали мы, что князь Трубецкой был назначен предводительствовать мятежом. Генерал-адъютанту графу Толю поручил я снимать допрос и записывать показания приводимых, что он исполнял, сидя на софе пред столиком, там, где теперь у наследника висит портрет императора Александра.

По первому показанию начет Трубецкого я послал флигель-адъютанта князя Голицына, что теперь генерал-губернатор смоленский, взять его. Он жил у отца жены своей, урожденной графини Лаваль. Князь Голицын не нашел его: он с утра не возвращался, и полагали, что должен быть у княгини Белосельской, тетки его жены. Князь Голицын имел приказание забрать все его бумаги, но таких не нашел: они были или скрыты или уничтожены; однако в одном из ящиков нашлась черновая бумага на оторванном листе, писанная рукою Трубецкого, особой важности; это была программа на весь ход действий мятежников на 14 число, с означением лиц участвующих и разделением обязанностей каждому. С сим князь Голицын

поспешил ко мне, и тогда только многое нам объяснилось. Важный сей документ я вложил в конверт и оставил при себе и велел ему же, князю Голицыну, непременно отыскать Трубецкого и доставить ко мне. Покуда он отправился за ним, принесли отобранные знамена у лейб-гвардии Московских, лейб-гвардии гранадер и Гвардейского экипажа, и вскоре потом собранные и обезоруженные пленные под конвоем лейб-гвардии Семёновского полка и эскадрона конной гвардии проведены в крепость.

Князь Голицын скоро воротился от княгини Белосельской с донесением, что там Трубецкого не застал, и что он переехал в дом австрийского посла, графа Лебцельтерна, женатого на другой же сестре графини Лаваль.

Я немедленно отправил князя Голицына к управлявшему министерством иностранных дел графу Нессельроду с приказанием ехать сию же минуту к графу Лебцельтерну с требованием выдачи Трубецкого, что граф Нессельрод сейчас исполнил. Но граф Лебцельтерн не хотел вначале его выдавать, протестуя, что он ни в чем не виновен. Положительное настояние графа Нессельрода положило сему конец; Трубецкой был выдан князю Голицыну и им ко мне доставлен.

Призвав генерала Толя во свидетели нашего свидания, я велел ввести Трубецкого и приветствовал его словами:

– Вы должны быть известны об происходившем вчера. С тех пор многое объяснилось, и, к удивлению и сожалению моему, важные улики на вас существуют, что вы не только участником заговора, но должны были им предводительствовать. Хочу вам дать возможность хоть несколько уменьшить степень вашего преступления добровольным признанием всего вам известного; тем вы дадите мне возможность пощадить вас, сколько возможно будет. Скажите, что вы знаете?

– Я невинен, я ничего не знаю, – отвечал он.

– Князь, опомнитесь и войдите в ваше положение; вы – преступник; я – ваш судья; улики на нас – положительные, ужасные и у меня в руках. Ваше отрицание не спасет вас; вы себя погубите – отвечайте, что вам известно?

– Повторяю, я не виновен, ничего я не знаю.

Показывая ему конверт, сказал я:

– В последний раз, князь, скажите, что вы знаете, ничего не скрывая, или – вы невозвратно погибли. Отвечайте.

Он еще дерзче мне ответил:

– Я уже сказал, что ничего не знаю.

– Ежели так, – возразил я, показывая ему развернутый его руки лист, – так смотрите же, что это?

Тогда он, как громом пораженный, упал к моим ногам в самом постыдном виде.

– Ступайте вон, все с вами кончено, – сказал я, и генерал Толь начал ему допрос. Он отвечал весьма долго, стараясь все затемнять, но несмотря на то, изобличал еще больше и себя и многих других.

Кажется мне, тогда же арестован и привезен ко мне Рылеев. В эту же ночь объяснилось, что многие из офицеров Кавалергардского полка, бывшие накануне в строю и даже усердно исполнявшие свой долг, были в заговоре; имена их известны по делу; их одного за другим арестовали и привозили, равно многих офицеров Гвардейского экипажа.

В этих привозах, тяжелых свиданиях и допросах прошла вся ночь. Разумеется, что всю ночь я не только что не ложился, но даже не успел снять платье и едва на полчаса мог прилечь на софе, как был одет, но не спал. Генерал Толь всю ночь напролет не переставал допрашивать и писать. К утру мы все походили на тени и насилу могли двигаться. Так прошла эта достопамятная ночь. Упомнить, кто именно взяты были в это время, никак уже не могу, но показания пленных были столь разнообразны, странны и сложны, что нужна была особая твердость ума, чтоб в сем хаосе не потеряться.

Моя решимость была, с начала самого, – не искать виновных, но дать каждому оговоренному возможность смыть с себя пятно подозрения. Так и исполнялось свято. Всякое лицо, на которое было одно показание, без явного участия в происшествии, под нашими глазами совершившемся, призывалось к допросу; отрицание его или недостаток улик были достаточны к немедленному его освобождению. В числе сих лиц был известный Якубович; его наглая смелость отвергала всякое участие, и он был освобожден, хотя вскоре новые улики заставили его вновь и окончательно арестовать. Таким же образом лейб-гвардии Конно-пионерного эскадрона поручик Назимов был взят, ни в чем не созная, и недостаток начальных улик был причиной, что, допущенный к исправлению должности, он даже 6 генваря был во внутреннем карауле; но несколько дней спустя был вновь изобличен и взят под арест. Между прочими показаниями было и на тогдашнего полковника лейб-гвардии Финляндского полка фон-Моллера, что ныне дивизионный начальник 1-й Гвардейской дивизии. 14 декабря он был дежурным по караулам и вместе со мной стоял в главной гауптвахте под воротами, когда я караул туда привел. Сперва улики на него казались важными – в знании готовившегося; доказательств не было, и я его отпустил.

За всеми, не находящимися в столице, посылались адъютанты или фельдъегери.

В числе показаний на лица, но без достаточных улик, чтоб приступить было можно даже к допросам, были таковые на Н.С. Мордвинова, сенатора Сумарокова и даже на М.М. Сперанского. Подобные показания рождали сомнения и недоверчивость, весьма тягостные, и долго не могли совершенно рассеяться. Станным казалось тоже поведение покойного Карла Ивановича Бистрома, и должно признаться, что оно совершенно никогда не объяснилось. Он был начальником пехоты Гвардейского корпуса; брат и я были его два дивизионные подчиненные ему начальники. У генерала Бистрома был адъютантом известный князь Оболенский. Его ли влияние на своего генерала, или иные причины, но в минуту бунта Бистрома нигде не можно было сыскать; наконец, он пришел с лейб-гвардии Егерским полком, и хотя долг его был – сесть на коня и принять начальство над собранной пехотой, он остался пеший в шинели перед Егерским полком и не отходил ни на шаг от оною, под предлогом, как хотел объяснить потом, что полк колебался, и он опасался, чтоб не пристал к прочим заблудшим. Ничего подобного я на лицах полка не видал, но когда полк шел еще из казарм по Гороховой на площадь, то у Каменного моста стрелковый взвод 1 карабинерной роты, состоявший почти

весь из кантонистов, вдруг бросился назад, но был сейчас остановлен своим офицером поручиком Живко-Миленко-Стайковичем и приведен в порядок. Не менее того поведение генерала Бистрома показалось столь странным и мало понятным, что он не был вместе с другими генералами гвардии назначен в генерал-адъютанты, но получил сие звание позднее.

Рано утром все было тихо в городе, и, кроме продолжения розыска об скрывшихся после рассеяния бунтовавшей толпы, ничего не происходило.

Воротившиеся сами по себе солдаты в казармы из сей же толпы принялись за обычные свои занятия, искренно жалея, что невольно впали в заблуждение обманом своих офицеров. Но виновность была разная; в Московском полку послушание и потом бунт произошли в присутствии всех старших начальников – дивизионного генерала Шеншина и полкового командира ген.-майора Фредерикса и в присутствии всех штаб-офицеров полка; два капитана отважились увлечь полк и успели половину полка вывести из послушания, тяжело ранив генералов и одного полковника и отняв знамена! В Лейб-Гранадерском полку было того хуже. Полк присягнул; прапорщик, вопреки полкового командира, всех штаб-офицеров и большей части обер-офицеров, увлек весь полк, и полковой командир убит в виду полка, которого остановить не мог. Нашелся в полку только один капитан, князь Мещерский, который умел часть своей роты удерживать в порядке. Наконец, в Гвардейском экипаже большая часть офицеров, кроме штаб-офицеров, участвовали в заговоре и тем удобнее могли обмануть нижних чинов, твердо думавших, что исполняют долг присяги, следуя за ними, вопреки увещаний своих главных начальников. Но батальон сей первый пришел в порядок; огорчение людей было искренно, и желание их заслужить прощение столь нелицемерно, что я решился, по представлению Михаила Павловича, воротить им знамя в знак забвения происшедшего накануне.

Утро было ясное; солнце ярко освещало бивакирующие войска; было около десяти или более градусов мороза. Долее держать войска под ружьем не было нужды; но, прежде роспуска их, я хотел их осмотреть и благодарить за общее усердие всех и тут же осмотреть Гвардейский экипаж и возвратить ему знамя. Часов около десяти, надев в первый раз преображенский мундир, выехал я верхом и объехал сначала войска на Дворцовой площади, потом на Адмиралтейской; тут выстроен был Гвардейский экипаж фронтом, спиной к Адмиралтейству, правый фланг против Вознесенской. Приняв честь, я в коротких словах сказал, что хочу забыть минутное заблуждение и в знак того возвращаю им знамя, а Михаилу Павловичу поручил привести батальон к присяге, что и исполнялось, покуда я объезжал войска на Сенатской площади и на Англинской набережной. Осмотр войск кончил я теми, кои стояли на Большой набережной, и после того распустил войска.

В то самое время, как я возвращался, провезли мимо меня в санях лишь только что пойманного Оболенского. Возвратясь к себе, я нашел его в той передней комнате, в которой теперь у наследника бильярд. Следив давно уже за подлыми поступками этого человека, я как будто предугадал его злые намерения и, признаюсь, с особенным удовольствием объявил ему, что не удивляюсь ничуть видеть его в теперешнем его

положении пред собой, ибо давно его черную душу предугадывал. Лицо его имело зверское и подлое выражение, и общее презрение к нему сильно выражалось.

Скоро после того пришли мне сказать, что в ту же комнату явился сам Александр Бестужев, прозванный Марлинским. Мучимый совестью, он прибыл прямо во дворец на комендантский подъезд, в полной форме и щеголем одетый. Взошел в тогдашнюю знаменную комнату, он снял с себя саблю и, обошед весь дворец, явился вдруг к общему удивлению всех во множестве бывших в передней комнате. Я вышел в залу и велел его позвать; он с самым скромным и приличным выражением подошел ко мне и сказал:

– Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову.

Я ему отвечал:

– Радуюсь, что вашим благородным поступком вы даете мне возможность уменьшить вашу виновность; будьте откровенны в ваших ответах и тем докажете искренность вашего раскаяния.

Много других преступников приведено в течение этого дня, и так как генералу Толю, по другим его обязанностям, не было времени продолжать допросы, то я заменил его генералом Левашовым, который с той минуты в течение всей зимы, с раннего утра до поздней ночи, безвыходно сим был занят и исполнял сию тяжелую во всех отношениях обязанность с примерным усердием, терпением и, прибавлю, отменною сметливостью, не отходя ни на минуту от данного мной направления, т.е. не искать **виновных**, но всякому давать возможность оправдаться.

Входить во все подробности происходившего при сих допросах излишне. Упомяну только об порядке, как допросы производились; они любопытны. Всякое арестованное здесь ли, или привезенное сюда лицо доставлялось прямо на главную гауптвахту. Давалось о сем знать ко мне чрез генерала Левашова. Тогда же лицо приводили ко мне под конвоем. Дежурный флигель-адъютант доносил об том генералу Левашову, он мне, в котором бы часу ни было, даже во время обеда. Доколь жил я в комнатах, где теперь сын живет, допросы делались, как в первую ночь – в гостиной. Вводили арестанта дежурные флигель-адъютанты; в комнате никого не было, кроме генерала Левашова и меня. Всегда начиналось моим увещанием говорить сущую правду, ничего не прибавляя и не скрывая и зная вперед, что не ищут виновного, но желают искренно дать возможность оправдаться, но не усугублять своей виновности ложью или отпирательством.

Так продолжалось с первого до последнего дня. Ежели лицо было важно по участию, я лично опрашивал; малозначащих оставлял генералу Левашову; в обоих случаях после словесного допроса генерал Левашов все записывал или давая часто им самим писать свои первоначальные признания. Когда таковые были готовы, генерал Левашов вновь меня призывал или входил ко мне, и, по прочтении допроса, я писал собственноручное повеление Санкт-Петербургской крепости коменданту генералу-адъютанту Сукину о принятии арестанта и каким образом его содержать – строго ли, или секретно, или простым арестом.

Когда я перешел жить в Эрмитаж, допросы происходили в Итальянской большой зале, у печки, которая к стороне театра. Единообразие сих допросов особенного ничего не представляло: те же признания, те же обстоятельства, более или менее полные. Но было несколько весьма замечательных, об которых упомяну. Таковы были Каховского, Никиты Муравьева*, руководителя бунта Черниговского полка, Пестеля, Артамона Муравьева, Матвея Муравьева, брата Никиты, Сергея Волконского и Михайлы Орлова.

Каховский говорил смело, резко, положительно и совершенно откровенно. Причину заговора, относя к нестерпимым будто притеснениям и неправосудию, старался причиной им представлять покойного императора. Смоленский помещик, он в особенности вопил на меры, принятые там для устройства дороги по проселочному пути, по которому Государь и Императрица следовали в Таганрог, будто с неслыханными трудностями и разорением края исполненными²*. Но с тем вместе он был молодой человек, исполненный прямо любви к отечеству, но в самом преступном направлении.

Никита Муравьев был образец закоснелого злодея. Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад, он был во своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Тяжело раненный в голову, когда был взят с оружием в руках, его привезли закованного. Здесь сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжелой раны и оков, он едва мог ходить. Зная его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что – причиной несчастия многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действий и связи свои. Когда он все высказал, я ему отвечал:

– Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыть, чтоб считать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть – преступным злодейским сумасбродством?

Он поник голову, ничего не отвечал, но качал головой с видом, что чувствует истину, но поздно.

Когда вопрос кончился, Левашов и я, мы должны были его поднять и вести под руки.

Пестель был также привезен в оковах; по особой важности его действий, его привезли и держали секретно. Сняв с него оковы, он приведен был вниз в Эрмитажную библиотеку. Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой

* Здесь и далее Николай имеет в виду не Никиту Муравьева, а Сергея Ивановича Муравьева-Апостола. (Ред.)

²* Так в рукописи. (Ред.)

дерзкой смелости в заpiresательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг.

Артамон Муравьев был не что иное, как убийца, изверг без всяких других качеств, кроме дерзкого вызова на цареубийство. Подл в теперешнем положении, он валялся у меня в ногах, прося пощады!

Напротив, Матвей Муравьев, сначала увлеченный братом, но потом в полном раскаянии уже некоторое время от всех отставший, из братской любви только спутник его во время бунта и вместе с ним взятый, благородством чувств, искренним глубокоим раскаянием меня глубоко тронул.

Сергей Волконский набитый дурак, таким нам всем давно известный, лжец и подлец в полном смысле, и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоя, как одурелый; он собой представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека.

Орлов жил в отставке в Москве. С большим умом, благородной натурностию, он имел привлекательный дар слова. Быв флигель-адъютантом при покойном Императоре, он им назначен был при сдаче Парижа для переговоров. Пользуясь долго особенным благорасположением покойного Государя, он принадлежал к числу тех людей, которых щастие избаловало, у которых глупая надменность затмевала ум, считав, что они рождены для преобразования России. Орлову менее всех должно было забыть, чем он был обязан своему Государю, но самолюбие заглушило в нем и тень благодарности и благородства чувств. Завлеченный самолюбием, он с непостижимым легкомыслием согласился быть и сделался главой заговора, хотя вначале не столь преступного, как впоследствии. Когда же первоначальная цель общества начала исчезать и обратилась уже в совершенный замысел на все священное и цареубийство, Орлов объявил, что перестает быть членом общества, и, видимо, им более не был, хотя не прекращал связей знакомства с бывшими соумышленниками и постоянно следил и знал, что делалось у них. В Москве, женатый на дочери генерала Раевского, которого одно время был начальником штаба, Орлов жил в обществе как человек, привлекательный своим умом, нахальный и большой говорун. Когда пришло в Москву повеление к военному генерал-губернатору князю Голицыну об арестовании и присылке его в Петербург, никто верить не мог, чтобы он был причастен к открывшимся злодействам. Сам он, полагаясь на свой ум и в особенности увлеченный своим самонадеянием, полагал, что ему стоит будет сказать слово, чтоб снять с себя и тень участия в деле.

Таким он явился. Быв с ним очень знаком, я его принял как старого товарища и сказал ему, посадив с собой, что мне очень больно видеть его у себя без шпаги, что, однако, участие его в заговоре нам вполне уже известно и вынудило его призвать к допросу, но не с тем, чтоб слепо верить уликам на него, но с душевным желанием, чтоб мог вполне оправдаться; что других я допрашивал, его же прошу как благородного человека, старого флигель-адъютанта покойного Императора сказать мне откровенно, что знает.

Он слушал меня с язвительной улыбкой, как бы насмехаясь надо мной, и отвечал, что ничего не знает, ибо никакого заговора не знал, не

слышал и потому к нему принадлежать не мог; но что ежели б и знал про него, то над ним бы смеялся как над глупостию. Все это было сказано с насмешливым тоном и выражением человека, слишком высоко стоящего, чтоб иначе отвечать как из **снисхождения**.

Дав ему договорить, я сказал ему, что он, повидимому, странно ошибается на счет нашего обоюдного положения, что не он снисходит **отвечать мне**, а я снисхожу к нему, обращаясь не как с преступником, а как со старым товарищем, и кончил сими словами:

– Прошу вас, Михаил Федорович, не заставляйте меня изменить моего с вами обращения; отвечайте моему к вам доверию искренностию.

Тут он рассмеялся еще язвительнее и сказал мне:

– Разве общество под названием “Арзамас” хотите вы узнать?

Я отвечал ему весьма хладнокровно:

– До сих пор с вами говорил старый товарищ, теперь вам приказывает ваш Государь; отвечайте прямо, что вам известно.

Он прежним тоном повторил:

– Я уже сказал, что ничего не знаю и нечего мне рассказывать.

Тогда я встал и сказал генералу Левашову:

– Вы слышали? – Принимайтесь же за ваше дело, – и, обратясь к Орлову: – а между нами все кончено.

С сим я ушел и более никогда его не видал.

1. ЗАМЕЧАНИЯ НА РУКОПИСНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ТЕКСТА КНИГИ М.А. КОРФА (1848 ГОДА)

Против места в рукописи, л. 12 (С. 216)*: “Миновали многие годы. Тот, кто в юности мечтал о частной жизни на берегах Рейна, перешагнув его дважды с лаврами победы и ветвию мира, отомщая за пожарище Москвы сбережением Парижа. Коленопреклоненная Европа именovala его своим земным провидением...” – Николай написал: “**А русские** через год после того хотели на него руку поднять в самой Москве!”

Против последних строк текста в рукописи, л. 19 об., излагающего беседу Константина Павловича с Михаилом Павловичем в Варшаве в 1821 г. (С. 219), Николай написал: “Когда мы прибыли в Варшаву, брат Константин Павлович принял нас с свойственной ему приветливостью, меня же пристыдил не подлежавшими мне почестями; и когда старался от них увертываться, прося его избавить меня от них, принимая их почти за насмешку, то он шутя мне отвечал: “Это все потому, что ты – Мирликийский Царь”, и с тех пор часто мне давал это прозвище; не объясняя зачем?”

Против рассуждения в рукописи, л. 25, о вероятных причинах сохранения в тайне отречения Константина (С. 225–226), “...к некоторому опасению, возбужденному в нем предыдущими разговорами, чтобы и второй брат, по примеру старшего и по тому же праву, не отрекся также от наследия престола, если б оно было ему возвещено гласно и торжественно...” – Николай, принимая эту подсказанную услужливым Корфом мотивировку и, так сказать, закрепляя ее, написал: “Я не иначе могу себе изъяснить сие молчание пред нами, как опасением Государя, что я последую примеру старшего брата”.

В первоначальной рукописи, л. 34–34об., короткий, в нескольких строках рассказ о получении известия о смерти Александра I Николай вычеркнул и на полях написал:

“Это неверно, и чтобы объяснить в той же подробности, как все описано, надо мне будет говорить поневоле о себе.

25-го ноября, вечером часов в 6, я играл с детьми, у которых были гости. Как вдруг пришли мне сказать, что военный генерал-губернатор гр. Милорадович ко мне приехал. Я сейчас пошел к нему и застал его в

* Страницы в скобках обозначают соответствующие по содержанию тексты книги Корфа “Восшествие на престол императора Николая I-го” в настоящем издании.

приемной комнате, живо ходящим по комнате, с платком в руке и в слезах; взглянув на него, я ужаснулся и спросил:

– Что это, Михаил Андреевич, что случилось?

Он мне отвечал:

– Il y a une horrible nouvelle*.

Я ввел его в кабинет, и тут он, зарыдав, отдал мне письмо от кн. Волконского и Дибича, говоря:

– L'empereur se meurt, il n'y a plus qu'un faible espoir^{2*}.

У меня ноги подкосились; я сел и прочел письмо, где говорилось, что хотя не потеряна всякая надежда, но что государь очень плох.

Первая моя мысль была **Матушка**, и как ей объявить это ужасное известие. Было другое письмо от тех же лиц к г. Вилямову; ему пришлось повестить о сем Матушке; и только что успел я объявить о том же жене и хотел ехать к Матушке, как она за мной послала. Я застал ее в тех ужасных огорчениях, которых опасался; положение ее было столь ужасно, что я не решился ее покинуть и остался всю ночь с адъютантом моим Адлербергом в камердинерской комнате сидящим. Ночью часто меня Матушка призывала, ища утешений, которых я не в состоянии был ей дать. Под утро, часов в 7, прибыл второй фельдъегерь, с известием об минутной перемене к лучшему и с письмом императрицы Елизаветы Алексеевны.

Утром были мы у обедни и молебствия о здравии; весь день проводили в радости и надежде. На другой день, т.е. 27-го числа, мы снова были у обедни и у молебствия, по обычаю Матушки, в ризнице большой церкви. Там дверь в переднюю была стеклянная, и мы условились, что буде придет курьер из Таганрога, камердинер сквозь дверь даст мне знать. Только что после обедни начался молебен, знак мне был дан камердинером Гримом. Я тихо вышел, и в бывшей библиотеке, комнате Короля Прусского нашел гр. Милорадовича, по лицу его я уже догадался, что роковая весть пришла. Он мне сказал:

– C'est fini; courage maintenant, donnez l'exemple^{3*} – и повел меня под руку. Так дошли мы до перехода, что был за Кавалергардской комнатой. Тут я упал на стул, все силы меня оставили. Я послал за лейб-медиком Рюлем, чтоб вместе идти к несчастной Матушке, боясь без его присутствия объявлять ей. Мы пошли с ним и с Милорадовичем. Молебен продолжался; Матушка заметила мое долгое отсутствие, в ужасном беспокойстве стояла на коленях. Войдя, я простерся на землю, не говоря ни слова; она догадалась всему, – но – ни слова, ни слезы; ужасное оцепенение ей овладело. Я прошел чрез алтарь в церковь остановить службу и повел духовника Криницкого с крестом к Матушке. Тогда она, прижав губы к распятию, могла только заплакать.

Но мне предстоял другой священный долг; поручив Матушку попечению жены, с гр. Милорадовичем я пошел ко внутреннему Гранадерскому караулу, в тот день от роты Его Величества Преображенского полка”.

* Ужасные известия.

^{2*} Государь умирает; остается самая слабая надежда.

^{3*} Все кончено, мужайтесь; дайте пример.

Рассказ о присяге Николая Константиновичу Павловичу в рукописи, л. 35 (С. 234), был изложен так: "...после чего с графом Милорадовичем и бывшими тут генерал-адъютантами присягнул в большой дворцовой церкви императору Константину и подписал присяжный лист". Николай на полях написал: "Сначала шли мы к присяге в Малую церковь, но она, быв в переделке, не была освящена; потому воротились в Большую".

Разговор Николая с матерью и с А.Н. Голицыным после присяги, в первоначальной рукописи, л. 35 об., отсутствовал; Николай изложил его на полях в следующих выражениях (С. 234–235):

"Исполнив присягу, я пошел к Матушке, которую нашел уже в своих покоях, убитой горем, но в Христианской покорности к воле Божией. Я ей сказал, что исполнил священный долг своему Государю, и что все караулы, равно и бывший во дворце гр. Милорадович, генерал-адъютант кн. Трубецкой, генералы Кутузов, Потапов и многие другие вместе со мной присягнули. Матушка с испугом мне отвечала:

– Nicolas, qu'avez, vous fait? Ne savez vous pas qu'il y a un acte qui vous comme heritier presomptif?*

Я отвечал ей:

– S'il y en a un, il ne m'est connu, personne ne le connait, mais nous savons tous, que notre maitre, notre souverain legitime est mon frere Constantin, et nous avons rempli notre devoir – arrive ce qui pourra^{2*}.

Кн. Голицын был в Невском^{3*} и, прискакав оттуда, потребовал меня, в исступлении, вне себя от горя, но и от вести во дворце, что все присягнули Константину Павловичу, он начал мне выговаривать, зачем я брату присягнул и других сим завлек, и повторил мне, что слышал от матушки, и требовал, чтобы я повиновался мне неизвестной воле покойного Государя. Я отверг сие неуместное требование положительно, и мы расстались с князем, я – очень недовольный его вмешательством, он – столько же моей неуступчивостью".

В рукописи, л. 37 об., в рассказе о заседании Государственного совета 27 ноября Николай подчеркнул слова Шишкова, который утверждал, что "империя ни на одно мгновение не может остаться без Государя", (С. 236) и написал на полях: "И прав был".

Известное заявление Милорадовича в Государственном совете об отречении Николая Павловича от прав на престол, предоставленных ему манифестом Александра I, в первоначальной рукописи было изложено гораздо определеннее и вызвало два замечания Николая, согласно которым и редактирован был текст для печати (С. 236). В первоначальной рукописи, л. 38 – 38 об., место это читалось так: "Едва только, – сказано в журнале Совета, – члены успели выслушать с надлежащим благоговени-

* Что сделали вы, Николай, разве вы не знаете, что есть акт, который объявляет вас наследником?

2* Если и есть такой акт, он мне неизвестен, никто о нем не знал; но мы все знаем, что наш повелитель, наш законный государь – брат Константин, и мы исполнили наш долг – будь, что будет!

3* В Александро-Невской лавре, где были собраны для молебствия сановники. (Ред.)

ем, с горестными и умиленными сердцами, хранившуюся в конверте последнюю волю императора Александра I, как вдруг явился в собрание граф Милорадович с возвещением, что содержание Манифеста вполне известно великому князю Николаю Павловичу, но что он торжественно отрекся от предоставленного ему оным права и первый присягнул на подданство императору Константину, почему ожидает, что и члены Совета последуют его примеру. *Послание* это не могло не повергнуть членов в величайшее смущение. Надлежало решить борьбу не о *престоле*, а об *отречении от него*”.

Николай подчеркнул слова – “что содержание манифеста вполне известно”, поставил крест над словом “послание” и написал против этих мест на полях следующие замечания: “Не знаю, с чего гр. Милорадович мог сие объявить, ибо мне содержание Манифеста было вовсе неизвестно, и я первый раз видел и читал его, когда Совет принес его ко мне.

“Ежели б я манифест и знал, я бы и тогда сделал бы то же, ибо Манифест не был опубликован при жизни Государя, а Константин Павлович был в отсутствии, потому, во всяком случае, долг мой и всей России был присягнуть нашему законному Государю”.

В рукописи, л. 39 об. (С. 237), против слов из журнала Государственного совета о приходе членов Совета к Николаю: “Здесь великий князь Николай Павлович изустно подтвердил предстоявшим, что ни о каком другом предложении слышать не хочет, как только чтоб учинить верно-подданическую присягу, Государю Императору Константину Павловичу...” – Николай, поставив крест после слов “Николай Павлович”, на полях написал: “Из рук кн. Лопухина получил манифест и прочитал его в первый раз еще”.

В рукописи, л. 39 об. (С.237), против слов: “что бумаги, ныне читанные в Совете, ему давно известны” – Николай написал: “Это выражено неправильно Олениным; бумаг я не видал, как уже сказано, но слышал от Матушки, что был где-то акт отречения Константина Павловича. Об существовании же Манифеста мне никогда ничего известно не бывало”.

В рукописи, л. 39 об. (С. 237), к словам: “За сим – продолжает журнал, – по усиленной просьбе членов, его высочество, прочитав раскрытые в собрании Совета бумаги, поспешил предложить членам идти в придворную церковь для учинения присяги на верное подданство Государю императору Константину Павловичу”, – Николай сделал замечание:

«И это не так; когда услышали мой решительный отказ и требование присяги, гр. Литта первый сказал: “По воле покойного Государя мы, не присягнувшие Константину Павловичу, признаем вас нашим Государем; вы одни можете нам повелевать, и буде воля ваша непреклонна, мы должны вам повиноваться, но просим, ведите нас сами к присяге”, – что я и исполнил с охотой».

В рукописи, л. 43, в рассказе о замкнутом образе жизни Николая Павловича после присяги Константину не было упоминания о переезде его из Аничкова дворца в Зимний. Николай вставил на поле: “По неотложной просьбе Матушки, я переехал с женой в Зимний дворец, в комнаты брата Михаила Павловича”.

Место о приезде полковника бар. А.А. Фредерикса с донесением И.И. Дибича об открытии заговора в рукописи, л. 50 об. (С. 249), было изложено так: “После уже отъезда Михаила Павловича, дней чрез 8 или 9 по совершении присяги, великий князь Николай Павлович одним утром, часов в 6, был разбужен внезапным приездом из Таганрога полковника Измайловского полка барона Фредерикса”. Николай сделал на полях замечание: “По запискам жены, было утром 12-го декабря”.

Рассказ об “открытиях” правительством Александра I существования тайного общества первоначально в рукописи, л. 51 об. – 52, был изложен значительно короче, чем в печатном тексте (С. 249–250). Он читался так: “Последнее время жизни императора Александра омрачено было тяжким его сердцу открытием. Еще за несколько пред тем лет, по показанию одного чиновника, обратившегося со своим открытием к командовавшему тогда Гвардейским корпусом генерал-адъютанту Васильчикову, ему известно было, что горсть безумных молодых людей мечтает о преобразовании форм нашего государственного устройства”. Николай зачеркнул эти строки и на полях написал:

“По некоторым доводам я должен полагать, что Государю еще в 1818-м году в Москве после Богоявления, сделались известными замыслы и вызов Якушкина на цареубийство; с той поры весьма заметна была в Государе крупная перемена в расположении духа, и никогда я его не видал столь мрачным, как тогда. Впоследствии сей наружный оттиск расположения души изгладился”.

В первоначальной рукописи, л. 75 об., после рассказа о чтении Николаем народу перед дворцом манифеста шло прямо место о появлении генерал-майора Стрекалова с докладом, что первый батальон Преображенского полка готов. Николай поставил здесь в тексте рукописи крест и на полях изложил эпизод о появлении Веригина и Бедряги, внесенный затем Корфом в печатный текст (С.268):

“Покуда я был один, ко мне подошли два человека во фраках и сюртуках, с георгиевскими крестами в петлице; это были отставные израженные офицеры Веригин и Бедряга; последний сказал мне: “Знаем, Государь, что в городе делается; мы старые раненые офицеры, но покуда мы живы, до вас рука изменников не достанет”.

В том месте рукописи, л. 87 (С. 280), где говорилось о поездке Николая после стрельбы к Зимнему дворцу для распоряжений об усилении его охраны, Николай против слов о том, что к нему во время этого переезда “приближались разные лица с изъявлением преданности”, сделал на полях заметку:

“Около этого времени подошел ко мне почтенный старец – ганноверский посланник г. Дёрнберг, во фраке, только с тем, чтоб меня взять за руку в знак всегдашней его дружбы ко мне; а после добрый Н.М. Карамзин в губернском мундире, без шапки, в медвежьей шубе и в сапогах сошел с булеvara, чтоб мне поклониться”.

В рукописи, л. 90, в рассказ о карауле от Финляндского полка, стоявшем на сенатской гауптвахте непосредственно рядом с мятежниками и к ним не примкнувшим, Николай сделал вставку (С. 283):

“Стало-быть, окруженный мятежниками, тыл которых примыкал совершенно к платформе караула”.

В рукописи, л. 90, Николай сделал на полях заметку о верности порядку арестантов сенатской гауптвахты; заметка эта внесена Корфом в печатный текст (С. 283).

“Замечательно, что и бывшие в караульне арестанты, увещаемые одним из них, имя которого не припомню, не сделали ни малейшей попытки освободиться”.

Эпизод о первом обстреле мятежниками Николая и о присоединении к ним народа из толпы был в первоначальной рукописи, л. 92–92 об., изложен гораздо проще, чем в печатном тексте (С. 286), который пополнен был на основании записок Бенкендорфа и приводимой здесь записки Николая. В рукописи это место читалось так: “Частые выстрелы перелетали над Государем и его свитою. Наконец и чернь, подкупаемая деньгами и подносимым вином, стала колебаться, и многие перебежали к мятежникам, перед которыми видны были люди невоенные”. Николай на полях написал:

“При одном из сих залпов толпа черни, стоявшая до того без шапок вокруг меня, вдруг начала надевать шапки и дерзко смотреть. Лошадь моя, испугавшись выстрелов, бросилась в сторону. Тогда только заметил я перемену в толпе и невольно закричал:

– “Шапки долой!”

Все шапки мигом слетели и все хлынуло от меня прочь”.

При описании расположения войск после расстрела мятежников в первоначальной рукописи, л. 102 (С. 293), было сказано, что гвардейский саперный батальон был вместе с Преображенским полком и другими поставлен на Дворцовой площади. Николай на полях написал:

“Остался попрежнему на дворе дворца и усилил караул и посты оного”.

Несколько ниже, л. 103 (С. 293), Николай о том же гвардейском саперном батальоне записал:

“К гвардейскому примкнул учебный саперный батальон. Войска расставлял сам я”.

Возвращение Николая во дворец в первоначальной рукописи, л. 103, излагалось так: “В шесть часов вечера Государь возвратился во дворец. Там ожидали его с утра в беспокойстве смертельном весь двор и все лица, имеющие право приезда во дворец; ожидала и царственная семья в чувствах, которые можно только вообразить, но не описывать”. – Против этого места Николай на полях сделал следующую заметку, использованную Корфом в печатном тексте (С. 292–293):

“Во все время мятежа, жена сидела на окне углового кабинета в покоях Матушки и когда раздался первый пушечный выстрел, она пала на колени в теплой молитве, доколь не увидела меня, возвращавшегося. Встреча моя с Матушкой, женой и сыном была на деревянной лестнице, что вела прежде из-под больших ворот в переднюю маленькую дежурную комнату, подле спальни Матушки. Дядя герцог Александр Виртембергский с сыновьями все время сидел в бывшей голубой гостиной матушки и не позволял сыновьям явиться, куда долг их требовал. Зачем? – не догадываюсь”.

Несколько ниже в рукописи в рассказе К.Г. Репинского о беседе его со Сперанским по возвращении последнего из дворца (л. 107 об.) было, между прочим, такое место: “Сперанский провел весь этот день вместе с другими во дворце. Возвратясь оттуда, он позвал к себе нашего повествователя (т.е. Репинского. – *Ред.*), который рассказал все, что видел, и в конце заметил, что император Николай – герой, и его только бесстрашию и твердостью Россия обязана своим спасением. “Так, – отвечал Сперанский, – и все говорят, что так”.

Николай вычеркнул это место.

2. ЗАМЕЧАНИЯ НА РУКОПИСИ ДОПОЛНЕНИЙ К КНИГЕ М.А. КОРФА (Февраль 1849 года)

Корф предлагал, с согласия вел. кн. Михаила Павловича, внести в текст не вошедшее в первое издание книги место о его беседе с Николаем по приезде Михаила из Варшавы 3 декабря 1825 г. (С. 244–245). См. записки Михаила Павловича в настоящем издании С.361–362. Николай написал на полях (л. 5):

“Разговор сей между нами был, но я помню тоже, что я брату отвечал, что я иначе действовать не мог в положении, в котором поставлен был; что приезд сюда Константина Павловича всему бы делу дал иной и правильный оборот; но что упорство брата не ехать будет **одно** причиной несчастий, которых возможность не отвергаю, но в которых я перьвый погибну”.

В воспоминаниях П.И. Греча – в 1825 г. поручика, командира 6-й егерской роты л.-гв. Финляндского полка, 14 декабря стоявшей в карауле на главной гауптвахте Зимнего дворца, на л. 6 сказано, что когда по приказу Николая I рота зарядила ружья, “Государь вывел караул за ворота Дворца на внешнюю его сторону и *приказал удвоить все наружные посты*. Вслед за тем, вступил на площадь 1-й баталион Преображенского полка и Государь, поведя его далее, *поручил охранение дворца принцу Евгению Виртембергскому* и коменданту Башуцкому...”

Выделенные слова Николай I подчеркнул и против них на полях отметил: в первом случае – “не помню”, во втором – “этого не помню”.

В воспоминаниях П.И. Греча, на л. 6 об., говорилось, что С.-Петербургский комендант П.Я. Башуцкий, заметив стремившуюся проникнуть во двор Зимнего Дворца роту л.-гв. Гренадерского полка Н.А. Панова, “приказал караулу расступиться, в убеждении, что мятежники при виде расположенных во дворце саперов, не покусятся идти далее. Так и случилось. Ворвавшаяся во двор толпа, встретив неожиданное препятствие, остановилась. “Не туда зашли вы, – закричал комендант, – ступайте на Петровскую площадь”. – И они немедленно повертели со двора”. Против этого текста на полях Корф сделал примечание: “Это не совсем согласно с тем местом описания (с. 112), где говорится, что комендант при-

нял было толпу Панова за присланный самим Государем для охранения дворца отряд” (с. 281).

На полях под этим примечанием и против текста о том же эпизоде Греча – замечание Николая I: “...Никогда этого не слышал, и говоря час-то о том с покойником*, с которым в первые дни был в непрерывных сношениях, полагаю утвердительно, что первый рассказ как напечатан справедливее второго – *revu et corrigé*”.

В воспоминаниях П.И. Греча, на л. 7, было сказано о “неколебимой верности”, с какой участвовал в действиях 14 декабря 1-й батальон Финляндского полка. Николай на полях против этого места написал:

“Не совсем так. Командовал сим батальоном полк. Тулубьев; он неохотно шел с батальоном; причины не узнал я положительно. Когда я велел батальону занять Исаакиевский мост, батальон взошел и примкнул к роте его величества Преображенского полка; но стрелковый взвод, почти весь из кантонистов, взятых из учебного карабинерского полка, на мост не пошел. Дело это было потом замято, но Тулубьев вышел в отставку”.

В воспоминаниях Греча, л. 7, против того места, где говорилось, что командовавшего 14 декабря караулом от л.-гв. Финляндского полка на Сенатской гауптвахте подпоручика Я.Г. Насекена I (в тексте – Насакина) “Государь в тот же вечер потребовал перед себя ... поздравил его поручиком и кавалером ордена Св.Владимира 4-й степени”.

Николай I на полях написал: “Это так” (С. 283).

В воспоминаниях Греча, на л. 7, отмечалось, что 1-я егерская рота л.-гв. Финляндского полка, охранявшая Исакиевский мост, и 2-я и 3-я егерские роты, стоявшие на Английской набережной против Коммерческого клуба, “препятствовали мятежникам прорваться к Петровской площади”.

Николай I написал на полях по поводу этого текста: “Это несправедливо”.

В воспоминаниях адъютанта М.А. Милорадовича, подпоручика А.П. Башуцкого (сына С.-Петербургского коменданта П.Я. Башуцкого), на л. 8 об. рассказывалось, как во время чтения Николаем I на площади перед Зимним Дворцом Манифеста о вступлении на престол к нему подъехал начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-майор А.И. Нейдгардт с донесением о происшествиях в Московском полку”. Против этого места на полях – примечание Корфа: “В описании (с. 85) время прибытия Нейдгардта с этим донесением означено прежде от выхода Его Величества на площадь. Но Башуцкий был очевидцем и слышал все слова Нейдгардта, произнесенные, как и в описании сказано (с. 86), точно по-французски”.

На полях под этим примечанием и против соответствующего текста А.П. Башуцкого Николай I написал: “Это быть может, ибо в то время приходили многие с донесениями; но первое известие ко мне еще *в комнату* привез г. Нейдгардт” (с. 268).

В воспоминаниях А.П. Башуцкого о появлении перед дворцом первого батальона Преображенского полка говорилось, что преображенцы,

* П.Я. Башуцкий. (Ред.)

“если можно так выразиться, были не люди, а воплощенные обида, негодование, мщение и приверженность”; они якобы, встретили Николая криками ура, выбегали из строя и умоляли его позволить им “отнять у бунтовщиков знамя и кровью смыть пятно, нанесенное гвардейскому мундиру”. Николай против этого места написал на полях, л. 9 об. (С. 270).

“Это, кажется, я уже сказал, выражение батальона было, справедливее сказать, – спокойным, гранитным взглядом глубокого чувства своего долга.

Это* – несправедливо; каждый стоял на своем месте, и в этом их достоинство.

Это одна выдумка, и похожего ничего не было. Я прошел по фронту, обнял Исленьева и Микулина, а прочее – слово до слова, как уже описано^{2*}.

Несколько выше против рассказа Башуцкого о “излияниях русского народного сердца” в восклицаниях народа при вести о мятеже, переданной Николаем толпе, о поцелуях царя народу и пр. – Николай написал: “Справедливого много, но с прикрасами”.

Тем не менее Корф почти дословно ввел этот, по отзыву Николая, “прикрашенный” рассказ в текст своего сочинения (С. 267), изменив лишь в обращении Николая к толпе сентиментальное: “Дети”, стоявшее у Башуцкого, на военное: “Ребята!”.

Ниже в рассказе Башуцкого имеется сцена появления, во время обхода Николаем фронта преображенцев, гр. Милорадовича; в порванном мундире, с измятой лентой и в совершенно растерянном состоянии духа; несколько слов Николая, однако, тотчас, якобы возвращают самообладание Милорадовичу, и он, по приказанию Николая, идет за конной гвардией, чтобы ехать с нею на Сенатскую площадь. Доклад Милорадовича о мятежниках при этом излагается в следующих выражениях: “Sire! s ils m ont mis, moi, dans cet état, il n y a plus que la force, qui puisse agir”^{3*}.

Николай против этого места на полях, л. 10, написал:

“У г. Башуцкого, кажется, очень живое воображение. Это все – совершенная выдумка. Я уже сказал, что Милорадович ко мне пришел еще куда я стоял у ворот, и сказал мне: “Sire, cela va mal, mais je m’en vais leur parler”^{4*} – и исчез; я более его не видал. Весть об ране его принес мне кн. Голицын, генерал-губернатор, сколько упомянуть могу, только что я сел на коня против угла Главного Штаба или квартиры Дежурного Генерала”.

Несколько ниже: “Все выдумки”.

В воспоминаниях А.П. Башуцкого на л. 11 рассказывалось о задержке в сборе Конногвардейского полка для выхода на Петровскую (Сенатскую) площадь в связи с тем, что один из его офицеров, князь А.И. Одоевский, “бегая по конюшням, уверял, что повеление (прежде уже полученное) быть готовыми, отменено и что то была одна фальшивая трево-

* Т.е., что солдаты выбегали из строя.

^{2*} Имеется в виду первое издание книги Корфа. (Ред.)

^{3*} Государь, если уж они меня привели в такой вид, то тут остается действовать только силой.

^{4*} Государь, дело плохо, но я поговорю с ними.

га. Продав довольно долго, Милорадович потребовал, наконец, лошадь и адъютант полкового командира Орлова, Бахметев, предложил ему свою...”

Николай I отчеркнул это место вертикальной линией и на полях написал: “Я и этого не слышал, ближе всего может объяснить г. Орлов”.

В конце приведенного Корфом в его записке рассказа Башуцкого о кончине Милорадовича с письмом царя, зажатым в руке, Николай на полях, л. 15, написал: “За верность всего этого рассказа я не ручаюсь, по неверностям предыдущего”.

3. ЗАМЕЧАНИЯ НА РУКОПИСИ ВТОРОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ М.А. КОРФА (Март 1853 года)

В рукописи, представленной Корфом, л. 149 об. (С.271), выход Николая с Дворцовой площади во главе Преображенского батальона был изложен так: “...повернув колонну... левым плечом вперед в направлении к Адмиралтейской площади, остановил ее, велел зарядить ружья боевыми патронами, вызвать на фланги стрелков и полковому командиру с тремя фузелерными ротами идти на Сенатскую площадь, где стать спиной к Адмиралтейскому бульвару, напротив Галерной улицы; потом, обратясь к оставшейся еще своей роте... сказал” и т.д. Николай исправил:

“Идти к Сенатской площади”, “стать *правым флангом* к Адмиралтейскому бульвару, против *дома тогда кн. Лобанова*”.

После слов “к Адмиралтейской площади” Николай поставил крестик и на полях, л. 149 об. (С. 271), написал:

“Против угла тогда еще строившегося дома Главного Штаба, обнесенного временным деревянным забором. В эту минуту послышались ружейные выстрелы от стороны Сенатской площади. Государь спросил у полк. Микулина, заряжены ли ружья, и узнав, что нет”^{*} остановил ее, велел зарядить и т.д.

“Тут же вышел из-за ворот забора полковник кн. Трубецкой, впоследствии оказавшийся одним из главных лиц происшествия”.

В рукописи, л. 150 об., в рассказе о движении Николая к Сенатской площади (С. 273), после слов: “...останавливаясь несколько раз на пути для отдачи приказаний и выслушания донесений” – Николай поставил значок и на полях написал:

“В это время прибежал с Сенатской площади тогдашний флигель-адъютант кн. Андрей Голицын с известием, что слышанными выстрелами смертельно ранен ген. Милорадович”.

В рукописи на л. 150 об. – 151 (С. 271) рассказывалось, как Николай I, сядя у Главного штаба на лошадь, “случайно заметил Дежурного штаб-офицера 4-го пехотного корпуса князя Трубецкого, которого печальная известная по истории заговора роль скоро должна была от-

^{*} Далее – слова из рукописи Корфа, продолжающие вставку Николая I. (Ред.)

крыться”. Николай I отчеркнул это место вертикальной линией и на полях пометил: “NB”.

Место о получении известия о ранении Милорадовича в рукописи, л. 156 (С. 273), читалось так: “Гул бывших выстрелов донесся и до государя. Он вздрогнул и, приподняв руки, воскликнул: “Боже мой, первая кровь пролита!” – Окружавший народ как бы один человек с трепетом приник к его ногам. Вскоре прибежал флигель-адъютант князь Голицын с известием о ранении Милорадовича”. Николай зачеркнул это место и на полях написал: “Этого не бывало”.

В рукописи на л. 157 об. (С. 274) Корф воспроизводит речь Николая I к Конногвардейскому полку, в которой, в частности, говорилось: “Мне не нужно новых уверений в вашей преданности: вы всегда служили верно всем законным царям, и первый мундир, который я носил, был ваш, я тогда *не умел ценить этой чести* и поменялся с братом Константином”.

Выделенные слова Николай I зачеркнул и вместо них над строкой вписал: “Хотя был ребенком, с сожалением”.

В рукописи, л. 159–160 об. в рассказе К.Г. Репинского об общем виде Сенатской площади во время мятежа было сказано: “Явился и Грабегорский; он привез в извозничьих санях два довольно больших ящика и сам вскрыл один; в нем были карманные пистолеты. С ним приехал какой-то молодой человек, щеголь, в партикулярной шинели и фуражке, с обнаженной *статскою* шпагой в руках. Оба они, подняв вверх один – пистолет, другой – шпагу, начали кричать: Ура Константину Павловичу! Грабегорский стал заряжать пистолет: пуля оказалась слишком велика, он с площади ругательством спросил у молодого человека, нет ли ножичка, что ее обрезать... Тут раздалось несколько выстрелов, которые отняли у нашего повествователя охоту оставаться далее в числе зрителей”. Николай вычеркнул это место, однако на полях, против строк о появлении Грабе, написал: “В треугольной шляпе с плюмажем и в шинели”.

Против места в рукописи, л. 165 об. (С. 277), о прибытии на площадь Кавалергардского полка и 2 батальона Преображенского полка, Николай написал: “В то же время приехал ко мне ген.-ад. Васильчиков и ген. Толь верьхами, а Михаилу Павловичу дал я свою лошадь”.

К рассказу о том, как полковник Засс с конно-пионерами и конно-гвардейцами пробивался через ряды мятежников: “Этот натиск Засса был до того быстр и отважен, что в Преображенской роте приняли его сперва за врага”, – Николай сделал на полях рукописи, л. 170, замечание, помещенное Корфом в печатный текст (С. 279):

“Убит был унтер-офицер, замечательный тем, что при формировании лейб-гвардии конно-пионерного дивизиона был первый в образцовом обмундировании на смотре у покойного Государя”.

В рукописи на л. 184–185, в описании мер по предполагавшейся эвакуации членов императорской семьи из Петербурга в Царское Село Корф комментирует слова В.Ф. Адлерберга в разговоре по этому поводу с императрицами Марией Федоровной и Александрой Федоровной: “Адлерберг старался передать им личную свою уверенность в неминуемо-благополучном окончании дела. Уверенность была основана на внутреннем предчувствии, а *само предчувствие более всего на той твердости, на*

том мужестве и присутствии духа, которые Государь успел уже достаточно обнаружить в продолжение этого дня”.

Выделенный текст вычеркнут Николаем I. (С. 285).

Известный эпизод о команде артиллерии стрелять (С. 290–291) в рукописи, л. 199 об., второго издания был изложен так: “Наконец скомандовав в третий раз и выговорив *первая*, Государь быстро повернул лошаадь и поехал ко дворцу. Но произнесенное Бакуниным роковое слово оставалось без исполнения” и т.д. Николай зачеркнул это место и на поле написал: “Неправда, я не отъезжал с места”.

Несколько ниже в рукописи, л. 200 (С. 290–291), было сказано: “Но за первым выстрелом последовали тотчас второй, третий и далее так поспешно один за другим, что едва на седьмом канониры расслышали дробь, которая требовала прекращения пальбы”. Николай против этого места написал: “И это не так, всего с первой позиции у меня сделано 3 выстрела и у Михаила Павловича 2, из которых второй – по бегущей толпе вдоль Крюкова канала, где ныне Конно-гвардейский бульвар; затем я велел взять вперед на передки и вновь находясь у монумента, откуда сделать опять 2 выстрела по бегущей толпе по Неве”.

Еще ниже в рукописи, л. 201 об. – 202 (С. 291), было сказано: “Когда скопище рассеялось, одно орудие, по распоряжению Толя, сделало еще три выстрела ядрами вдоль по Галерной и потом догнало прочие, взявшиеся на передки и передвинутые вслед за бежавшими к углу Сената на набережную. Одна толпа бунтовщиков начала было опять выстраиваться в некотором порядке на льду Невы; но два выстрела картечью и ее рассыпали. Тогда Сухозанет велел остальным орудиям выстрелить вверх и потом для страха сделать еще по одному выстрелу из каждого ядрами – также вверх, вдоль Невы, наведя орудие левее Горного Корпуса. Все было кончено”. – Николай сделал несколько замечаний. Вычеркнув место о трех выстрелах ядрами вдоль Галерной, он на полях написал: “Это несправедливо”.

О выстрелах картечью по выстраивавшимся на льду Невы солдатам написал: “Это те выстрелы, о которых выше сказано”.

По поводу стрельбы ядрами вверх “для страха” написал: “Опять вздор. Все было покончено помянутыми двумя выстрелами. Не знаю, кто выдумал и сообщил эти мнимые подробности”.

Против заключительных слов: “Все было кончено...” написал: “Да, давно кончено 5 выстрелами, но действительными, а не романтическими”.

В рассказе о самом конце дня, в сноске под строкой в рукописи, л. 211 (С. 295), после слов о том, что Александра Федоровна воротилась к себе из церкви “без голоса и без сил”, а дети на ночь были расположены, “как на биваках”, было сказано: “государь лег в 3-м часу”. Николай зачеркнул последние слова и написал на полях:

“Ни на минуту не ложился, а пробыл всю ночь, как был в шарфе и шпаге, в беспрестанных допросах приводимых арестованных или в отдаче приказаний и получении донесений со всех концов”.

В рукописи, на л. 218 об. (С. 298), в завершающей части своего повествования Корф описывал разговор Николая I с цесаревичем Константи-

ном Павловичем в 1829 г. по поводу событий междуцарствия. Николай I выразил надежду, что теперь-то Константин признает оправданным его поведение в ту пору. В ответ Константин сказал, что, может быть, оставит после себя документ, который обнаружит весь его взгляд на это дело и причины его действий, и что если он исполнит такое свое намерение, то документ найдется *в письменном его столе*. После кончины цесаревича открылось, что этот стол был спасен во время Варшавской революции 1830 г. и с тех пор остался запечатанным...”

Выделенные слова Николай I зачеркнул, а против последней фразы написал на полях: “При вещах Е.В., хранившихся у княгини Лович”.

Далее в рукописи Корфа следовало: “Государь велел его принести, но *по снятии печатей* в нем не нашлось ничего ожидаемого...”

Николай I зачеркнул выделенный текст, над словами: “Государь велел его принести” вписал: “При свидании с княгиней в Гатчине”, а на полях против этой фразы сделал вставку: “куда она прибыла, провозжая тело цесаревича; Государь передал эти слова цесаревича княгине. Она отвечала, что ежели цесаревич исполнил намерение, то, возможно, найдется документ в сохранившемся его письменном столе. Стол бы прислан и отперт”.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА О СОБЫТИЯХ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г. (Записанные бароном М.А. Корфом)

После выдержанной в 1819 г. жестокой болезни великий князь Михаил Павлович, летом 1821-го пользовался водами в Карлсбаде и Мариенбаде и оттуда, на возвратном пути, приехал в Варшаву, где остановился, как всегда, у цесаревича Константина Павловича, в Бельведере. В то же время ожидали в Варшаву с Эмских вод и великого князя Николая Павловича с супругою, для которых цесаревич готовил помещение в Лазенках. Не вполне, может статься, оцененный современниками, потому что они мало знали превосходные качества высококой его души, но боготворимый великим князем Михаилом Павловичем, цесаревич Константин сам особенно любил младшего своего брата и постоянно являл ему теплую дружбу и неограниченное доверие, которые при разности их лет представляли почти отношения нежного отца к почтительному сыну.

– Видишь ли, Michel, – сказал он ему однажды среди своих приготовлений к встрече великого князя Николая Павловича, – с тобою мы подомашнему, а когда я жду брата Николая, мне все кажется, будто готовлюсь встретить государя.

Но эти слова были только преддверием или вступлением к другому важнейшему сообщению. Раз оба брата проезжались вместе в коляске по городскому валу.

– Ты знаешь мою доверенность к тебе – сказал вдруг цесаревич*: – Я хочу явить новое ее доказательство, открыв тебе великую тайну моей души. Не дай бог, чтоб нас постигло когда-нибудь величайшее несчастье, какое только может разразиться над Россией: потеря государя; но если б этому суждено было случиться при моей жизни, я дал себе святой обет отказаться, навсегда и невозвратно, от наследственных моих прав. Я, во-первых, слишком чту, уважаю и люблю государя, чтоб вообразить себя иначе, как с прискорбием и даже ужасом на том престоле, который прежде был занят им, и во-вторых, я женат на женщине, которая не принадлежит ни к какому владетельному дому и, что еще более, на польке, следовательно нация не может иметь ко мне необходимой доверенности, и отношения наши всегда останутся двусмысленными. Итак, я твердо положил себе уступить престол брату Николаю, и ничто не поколеблет этой зрело обдуманной решимости. Покамест она должна остаться в глубокой между нами тайне; но когда вперед у тебя будет речь об этом с братом Николаем, заверь его моим словом, что я ему верный и ревностный слуга до гроба, везде, где он захочет меня употребить; а если б и его не стало прежде меня, то я с таким же усердием буду слу-

* На полях вставка, потом зачеркнутая: – “на одном совершенно и теперь памятном великому князю месте, между Вольскою и Иерусалимскою заставами.

жить его сыну, может быть еще и с большим, потому что он носит имя моего благодетеля.

Вскоре после этого разговора прибыли в Варшаву ожидаемые гости. Неделя, которую они вместе тут жили, проведена была очень весело и в блестящих празднествах; потом оба великие князя, Николай и Михаил, отправились в Бешенковичи для командования вверенными им гвардейскими бригадами при смотре и маневрах, которые предназначены были в присутствии государя, возвратившегося весной перед тем с Лайбахского конгресса. Гвардейский корпус получил повеление после маневров расположиться на зиму в западных губерниях, с двойкою целию: **одною**, чтобы некоторым образом развлечь и освежить умы после случившегося незадолго перед тем известного события в Семеновском полку; **другою**, чтобы быть в ближайшей готовности к направлению в Италию на случай, если б ход тогдашних политических обстоятельств потребовал осуществить замышлявшуюся посылку армии на помощь австрийцам. В Бешенковичах, обедавая однажды с великими князьями, государь спросил, намерены ли они воротиться в Петербург, или же оставаться при своих бригадах, что он предоставляет совершенно на их волю. Оба единодушно отвечали, что как государю угодно было вверить им в командование бригады, то они и считают долгом ослушаться при них.

– Я и не ожидал от вас иного, – сказал государь, – но как матушка все еще беспокоится о твоём здоровье, Michel, то, отведя ваши бригады на места их расположения, приезжайте в Петербург с нею повидаться; после чего опять отправитесь к своим местам.

Так и сделалось; но оставляя Петербург после нескольких недель, великие князья получили приказание снова туда приехать ко дню рождения государя (12 декабря), к которому ожидалась и сестра их, великая княгиня Мария Павловна.

Великий князь Михаил Павлович явился еще несколькими днями ранее 12 декабря, по особому приглашению императрицы-матери к празднику, который она устроила в Смольном монастыре для великой княгини. Позже прибыл и цесаревич, так что в зиму с 1821 на 1822 г. в Петербурге соединилась, впервые после 1816 г., почти вся царственная семья. Великим князьям, которые сперва хотели ехать назад тот час после нового года, велено было остаться долее, и они отправились к своим бригадам не прежде начала февраля (1822 г.). В это время надлежало совершиться тому великому историческому событию, которое цесаревич давал предчувствовать своему брату в Варшаве.

В приезды свои в Петербург цесаревич останавливался всегда в принадлежавшем ему Мраморном дворце. Туда, бывало, когда окончится вечер у большого двора, он увозил с собою брата своего Михаила Павловича, и тут за чашкою чаю и сигарою проводил с ним половину ночи в неистощимых беседах о былом. Одаренный необыкновенною памятью и блестящим даром слова, и богатый воспоминаниями о царствованиях императрицы Екатерины и императора Павла, о Суворовских походах и о других происшествиях своего времени, Константин Павлович любил предаваться им в этих дружеских и откровенных беседах, и молодой брат его никогда не утомлялся слушать его живые и одушевленные рассказы.

Но перед тем еще великий князь Михаил Павлович должен был ежедневно являться к ужину императрицы-матери, который бывал обыкновенно часов около 10-ти. В один вечер, в январе 1822-го он ожидал, как всегда, извещения, что императрица вышла, но бьет 10 часов, бьет 11, а его все не зовут; наконец, за ним пришли уже в 12-м часу. В комнатах императрицы он застал цесаревича и великую княгиню Марию Павловну. В ту минуту, когда он вошел, великая княгиня целовала цесаревича в плечо, говоря: “Vous êtes un honnête homme, mon frère”*. – Между тем после входа Михаила Павловича всякие дальнейшие изъяснения прекратились; ужин обошелся безо всего особенного, и потом цесаревич, по обыкновению, повез брата к себе в Мраморный дворец.

– Помнишь ли ты наш разговор в Варшаве? – спросил он его, как только они сели в сани: сегодня вечером все кончилось; я объявил государю и матушке мои намерения и мою непреложную решимость. Они поняли и оценили их, и государь обещал составить о всем том акт, который сложится в четырех экземплярах в Государственном Совете, в Сенате, в Синоде и на престоле московского Успенского собора, но которого содержание будет хранимо покамест в глубокой тайне и огласится тогда только, когда настанет нужное к тому время.

Тем все и закончилось. И тогда и после при дворе соблюдалось мертвое молчание на счет случившегося, и никто не показывал вида, чтобы что-нибудь знал. Скоро потом великие князья отправились к своим постам.

Прошло три с половиною года. В продолжение этого времени вел. князь Михаил Павлович, по приглашениям цесаревича и по влечению собственного сердца, очень часто навещал его в Варшаве. Случась там и во второй половине ноября 1825-го, когда государь был в Таганроге, он жил, по-прежнему, в Бельведере, в покоях, которые отделялись от половины хозяина одною только комнатою. В цесаревиче в это время происходило что-то странное. И брат его и все приближенные видели, что он совсем не во всегдашнем расположении духа и необыкновенно пасмурен. Он даже часто не выходил к столу и на вопросы брата своего отвечал только отрывисто, что ему нездоровится. Вдруг Михаил Павлович стал замечать по дневным рапортам коменданта, что беспрестанно приезжают фельдъегери из Таганрога.

– Что это значит? – спросил он у своего брата.

– Ничего важного, – равнодушно отвечал цесаревич, – государь утвердил награды, которые я выпросил разным дворцовым чиновникам за последнее Его здесь пребывание.

И действительно, на другой день награжденные чиновники явились благодарить цесаревича; но сам он с тех пор казался еще скучнее, еще расстроеннее. Между тем на 26-е ноября, день военного праздника св. Георгия, назначена была особая церемония для всех георгиевских кавалеров, не только находившихся в Варшаве, но и созданных из ближайших округов. Накануне, 25 числа, цесаревич, все погруженный в то же расстройство, опять не выходил ко столу, брат его, отобедав один с княгиней Лович, прилег потом отдохнуть. Вдруг отворяется его дверь; цесаре-

* Вы – благородный человек, братец!

вич, пройдя ту комнату, которая разделяла их половины, зовет его к себе, для сообщения чего-то очень нужного.

– Michel, – сказал он, когда великий князь, накинув наскоро сюртук, к нему выбежал, – приготовься услышать страшную весть: нас постигло ужаснейшее несчастье.

– Что такое? – вскричал великий князь в смертельном беспокойстве, не случилось ли чего с матушкою?

– Нет, благодаря Бога, но над нами, над всею Россиею, разразилось то грозное бедствие, которого я всегда так страшился; мы потеряли нашего благодетеля: не стало Государя! – и он бросился в объятия брата, который не подозревая даже нисколько болезни императора, был поражен этим известием как громовым ударом.

Тут открылась загадка неизъяснимой дотоле грусти цесаревича. Она возбуждена была недугом государя, о котором, кроме него, никто не знал в Варшаве, и ход которого, по содержанию привезенных последним фельдъегерем сведений, еще более его встревожил. И при всем том, пока не было ничего решительного, он умел затаить свое беспокойство и тяжкие предчувствия в собственном сердце, не делясь ими ни с женою, ни с братом и один неся их бремя. Черта великого характера, отрицающегося от сладкой отрады сочувствия, чтобы только не приобщать других к своим страданиям!

Известие о кончине Александра Благословенного получено было в Варшаве 25 ноября в 7-мь часов вечера. Излив в объятиях любимого брата первые терзания жестокой печали и не дав даже себе времени объявить горестную весть своей супруге, цесаревич послал за Новосильцовым, за дежурным генералом Кривцовым, за начальником своей канцелярии Гинцом и за состоявшим при нем князем А.Ф. Голицыным.

– Теперь, – сказал он Михаилу Павловичу, – настала торжественная минута доказать, что весь мой прежний образ действия был не какою-нибудь личиною, и продолжать его с тою же твердостью, с которою я начал. В намерениях моих, в моей решимости ничего не переменилось, и воля моя – отречься от престола – более чем когда-либо непреложна. Приступим к исполнению.

Лица, за которыми было послано, жили в разных частях города и потому собрались не все вдруг. Первый пришел Новосильцов, и цесаревич тотчас передал ему роковую весть. Пораженный точно так же, как и великий князь, неожиданною ее внезапностию, он обомлел от печали и ужаса и едва мог придти в себя.

– Какие же теперь приказания **вашего величества?** – спросил он наконец.

– Прошу не давать мне этого непринадлежащего титула, – отвечал цесаревич и объявил, что он несколько уже лет тому назад отрекся от наследственных своих прав.

При всем том Новосильцов в продолжении речи несколько раз обратился к нему опять с тем же титулом.

– В последний раз прошу Вас – вскричал цесаревич с некоторым уже гневом – перестать и помнить, что теперь один законный государь и император наш – Николай Павлович.

В промежутке этих первых изъяснений явилась княгиня Ловицкая, которая, ожидая своего супруга к чаю и не видя его, решила сама за ним придти. Тут, при возвещении ей постигшего Россию несчастья, снова повторилась такая же трогательная сцена, какая была прежде между обоими братьями. Княгиня, женщина необыкновенных достоинств, особенно привязана была к покойному государю, не только приязнию семейственною и уважением к его личности, но и сочувствием, которое находила в нем к восторженно-религиозным своим идеям. Между тем мало-помалу собрались и все прочие призванные лица. Тогда цесаревич, пригласив свою супругу удалиться, объявил им о случившемся, прочел хранившиеся у него копии с бумаг о его отречении и, не принимая никаких возражений, подтвердил всем сказанное Новосильцову, что в силу сих актов теперь, за кончиною Александра Павловича, законный и единственный преемник русского престола есть Николай Павлович. Потом по приказанию его немедленно приступлено было к составлению соответственных тому бумаг для отправления в Петербург. Это были письма, подтверждавшие его отречение, к императрице-матери и к тому, которого он признавал законным монархом России и именовал в них титулом императорского величества, — те самые письма, которые потом обнародованы при манифесте императора Николая 12 декабря 1825 г. Дело это продлилось чрез всю ночь, и только с 5 часов утра цесаревич мог дать себе несколько отдыха. Но просмотрев бумаги и велел их переписывать, он возвратился к обычному спокойствию духа.

— Я исполнил свой обет и свой долг, — сказал он брату, не оставлявшему его все это время, — и если печаль о потере нашего благодетеля останется во мне навсегда неизгладимою, то по крайней мере я чист перед его священной для меня памятью и перед собственною совестью. Ты понимаешь, что никакая уже сила не может поколебать моей решимости; но чтобы еще более удостовериться в том матушку и брата и отнять у них последнее сомнение, я самого тебя к ним отправлю. Готовься сегодня же ехать.

Действительно, 26-го числа, когда акты были окончательно изготовлены и подписаны, великий князь Михаил Павлович, отобедав с цесаревичем, отправился в Петербург как с этими официальными бумагами, так и с сопровождавшими их частными еще письмами к Николаю Павловичу и к их родительнице. И любопытно одно: во все прежние свои поездки в Варшаву великий князь Михаил Павлович брал с собою, для своих бумаг, всегда один портфель, а в настоящий раз, как бы нарочно, при нем находился еще и другой, совсем новый. Он был обновлен этими священными актами, решавшими судьбу России, и с тех пор постоянно сохраняется великим князем.

Динабургского шоссе тогда еще не было. Дорога из Варшавы в Петербург от Ковно отгибала на Шавли и оттуда через Митаву входила в большой Рижский тракт. На всем протяжении пути до Митавы никто еще не подозревал постигшего Россию несчастья, и все было тихо по обыкновению. В самой Митаве жил тогда, по званию командира 1-го корпуса, Иван Федорович Паскевич, ныне знаменитый князь Варшавский. В проезд великого князя Паскевич явился к нему и от него первого

услышал о кончине Александра Благословенного. Но до самого великого князя слухи о событиях петербургских достигли не прежде, как на первой следующей станции, Олае. При нем в коляске находился адъютант его Вешняков; за ними, во второй коляске следовали другой его адъютант князь Долгоруков и медик Виллье. В Олае, пока перепрягали лошадей, Долгоруков донес, что в Митаве, между тем как у великого князя был Паскевич, один проезжий из Петербурга рассказал им, что великий князь Николай Павлович, а за ним все войско, все правительства, весь город принесли присягу государю императору Константину Павловичу. Рассказ был от очевидца и потому носил на себе всю печать достоверности. Эта весть повергла великого князя в большое волнение.

– Что будет при второй присяге другому лицу? – вскричал он, предусматривая, после всего слышанного от цесаревича, ее неизбежность.

В Риге река едва только стала, и экипажи пришлось перевозить на доках, а сам августейший путешественник переехал в легких санях. Здесь сопровождавший его рижский комендант Керн всячески домогался посредством разных нескромных выведываний оставшимися, разумеется, без успеха, узнать, что думает и что намерен делать цесаревич. Далее, в Нейермилене, тогдашней первой станции от Риги, великий князь получил с почтою письма, подтверждавшие ему все слышанное, и наконец, в Нарве узнал ближайшие еще подробности от встретившегося ему Опочинина, прежнего адъютанта цесаревича, который жил тогда в Петербурге в отставке и был отправлен Николаем Павловичем в Варшаву как человек близкий к его брату, чтобы быть немедленно в его распоряжении.

Несмотря на дурное по времени года положение дорог великий князь примчался в Петербург с изумительною быстротою. Выехав из Варшавы, как мы сказали, 26 ноября вечером, он 1 декабря*, рано поутру, был уже в петербургском своем дворце. Сюда тотчас приехал к нему брат его с с.-петербургским военным генерал-губернатором графом Милорадовичем, который в те дни везде и почти неотлучно находился при великом князе Николае Павловиче. Милорадовича скоро однако позвали на пожар, вспыхнувший где-то в строениях Невского монастыря, а оба великие князя поехали в Зимний дворец. Императрица Мария Федоровна еще не выходила из своей почивальни, и Михаил Павлович только через несколько времени мог быть перед нею допущен. Он вручил ей привезенные письма и рассказал подробности варшавских происшествий. Минута свидания не могла не быть тяжкою. Сердце матери терзалось и лютою скорбью о потере обожаемого сына, и заботою о благе оставленной им державы, и беспокойством об окончательной развязке жизненного для государства вопроса.

Выходя от своей родительницы, великий князь встретил в дворцовом коридоре Николая Павловича и за ним длинную свиту людей с делом и без дела, которые толпились тут, кто в смутном и тревожном ожидании будущего, кто уже и в искании, на всякий случай, милости разными послугами, переносом вестей и пр. Внезапное появление Михаила Павловича было происшествием первостепенной важности. Всем известно было,

* Ошибка: Михаил Павлович приехал в Петербург 3 декабря.

что он пользовался особенной любовью и доверенностью того государя, которому они присягнули, известно и то, что он приехал прямо из места его пребывания: следственно должен был все знать. Искали прочесть в чертах его, в выражении его лица, будущность свою и России, отгадать по виду его слово загадки, которой решение, как никто не сомневался, он с собою привез. И попытка была тем тягостнее, что никто не смел облечь своего жгучего любопытства в слова; все по необходимости могли ограничиваться одними косвенными вопросами: “Здоров ли государь император? Скоро ли можно ожидать сюда его величество? Где теперь его величество?” И великий князь, который, действительно **один**, знал, что истинный император российский не в Варшаве, а **среди их**, и между тем не считал себя ни в праве, ни в возможности сие провозгласить, на повторяемые со всех сторон вопросы подобного рода мог отвечать тоже только косвенно и отрывисто: что **брат его** здоров, что он оставил его в Варшаве, что о поездке его сюда ничего не слыхал, и т.п. После этой сцены, великий князь отправился в свой дворец, к великой княгине, которой дотеле почти не успел еще видеть, и начал с того, что велел отслужить в домовой своей церкви панихиду по усопшем.

Все это не могло не огласиться тотчас при дворе и по городу. Что же это значит, – стали говорить везде. – Великий князь выехал из Варшавы после уже того, как получено там было известие о кончине Александра Павловича, виделся здесь и с братом своим и с родительницею, отслужил и панихиду по покойном государе, а все еще не присягает новому императору. Отчего, когда целая Россия присягнула, только он один и приехавшие с ним себя от этого изъедают?” Слухи подобного рода, разнесшиеся в публике, в самом деле должны были породить сомнения и многообразные толки, и злоумышленники, которым через их связи все первым было известно, угадывая из самого уклонения великого князя от присяги, что императором будет не Константин Павлович, тогда же разочли, что благоприятнейшею эпохою и удобнейшим поводом к произведению в действие их замыслов будет день **второй** присяги.

Михаил Павлович, поставленный, таким образом, стечением обстоятельств в совершенно ложное положение, со своей стороны тоже томился мрачными предчувствиями. В день своего приезда он обедал с братом у императрицы в той самой комнате, где теперь кабинет государя наследника. После обеда братья остались одни.

– Зачем ты все это делал, – сказал Михаил Павлович, – когда тебе известны были акты покойного государя и отречение цесаревича? Что теперь будет при второй присяге в отмену прежней, и как бог поможет все это кончить?

Объяснив причины своих действий, брат его отвечал, что едва ли есть повод тревожиться, когда первая присяга совершена была с такою покорностью и так спокойно.

* Из числа прибывших с великим князем один только чиновник генерал-фельдцейхмейстерской канцелярии Ильин, являсь к своему начальству, был им приведен немедленно к присяге в Сергиевском соборе. (Сноска в оригинале.)

– Нет, – возразил Михаил Павлович, – это совсем другое дело: все знают, что брат Константин остался между нами старший; народ всякий день слышал в церквах его имя **первым** вслед за государем и императрицами, и еще с титулом цесаревича; все издавна привыкли считать его законным наследником, и потому вступление его на престол казалось вещью очень естественною. Когда производят штабс-капитана в капитаны, это – в порядке и никого не дивит; но совсем иное дело перешагнуть через чин и произвести в капитаны поручика. Как тут растолковать каждому в народе и в войске эти домашние сделки и почему сделалось* так, а не иначе?

В Петербурге покамест все оставалось по-прежнему: ибо привезенные Михаилом Павловичем письма не признавались достаточным основанием к перемене принятой системы действия. И императрица-мать и великий князь Николай Павлович считали необходимым дожидаться сперва отзыва цесаревича на известие о принесенной ему присяге и сверх того, по получении упомянутых писем, написали ему вновь, прося, если воля его об отречении неизменна, огласить оную для предупреждения всяких беспокойств актом более торжественным, чем-нибудь в роде манифеста. На ответ нельзя было рассчитывать прежде довольно продолжительного времени, а покамест положение Михаила Павловича становилось все более и более затруднительным, даже двусмысленным. Мы выше упомянули о толках, возбужденных тем, что он не присягнул новому императору, и хотя присягнуть при точной ему известности воли Константина Павловича было бы противно его совести и, так сказать, здравому смыслу: но все однако же по наружности выходило, что брат государев представляет собою как бы явный пример непокорности^{2*}. Чтобы извлечь себя из такого тяжкого для него самого и соблазнительного для других положения, он решился, с согласия и одобрения императрицы и брата своего, оставить Петербург и под предлогом личного успокоения Константина Павловича насчет здоровья их родительницы отправиться опять самому в Варшаву за окончательным ответом; но чтоб не разехаться с последним, если б он между тем был уже послан, его уполномочили останавливать всех курьеров, которых встретит на пути, и вскрывать их депеши. Утром в день своего отъезда он прощался с императрицею.

– *Quand vous verrez Constantin, – сказала она, – dites et répétez lui bien, que si l'on en a agi ainsi, c'est parce qu'autrement le sang aurait coulé.*

– *Il n'a pas coulé encore, mais il coulera*^{3*} – отвечал великий князь в печальном предчувствии^{4*}.

* Первоначально было написано: “что никто не обойден “ и т.д.

2* “Как бы” внесено над строкой, а после слова “непокорности” вычеркнуто – “в опасный для других соблазн”.

3* Когда ты увидишь Константина, скажи и повтори ему, что если так действовали, то это потому, что иначе должна была бы пролиться кровь. – Она еще не пролита, но пролита будет.

4* Ответ Михаила Павловича первоначально в рукописи был изложен так: “C'est au second segment qu'il coulera”, – пророчески отвечал великий князь”. Затем на полях была вписана редакция: “Il n'a pas coulé, mais il peut encore couler”, выправленная впоследствии так, как напечатано в тексте.

Михаил Павлович выехал 5-го числа после обеда по тому же Рижскому тракту; но не далее как в **Тееве** встретил адъютанта Николая Павловича – Лазарева, который, быв послан в Варшаву с донесением о принесенной присяге, возвращался назад с отказом цесаревича от принадлежащего ему императорского титула и от принесенной ему присяги. Затем, проехав еще до станции Ненналя, в 300-х верстах от Петербурга, великий князь решился, как дальнейшая поездка теряла уже всякую цель, ожидать тут того ответа, которому надлежало быть на последние письма, отправленные из Петербурга по его приезду. Сюда, т.е., в Ненналь, вскоре приехал и генерал Толь, в то время начальник штаба 1-й армии, посланный из Могилева главнокомандовавшим* графом Сакеном с рапортом о состоянии армии навстречу новому императору при предполагавшемся следовании его из Варшавы в Петербург. И его, и возвращавшегося из Варшавы с таким же, как и Лазарев, известием адъютанта военного министра Сабурова великий князь остановил при себе, как было о том условлено при отъезде его из Петербурга; но отзвывая на упомянутые выше письма все еще не было, и в ожидании его, Михаил Павлович прожил в Неннале в томительной скуке бездействия более недели. Наконец 13 уже декабря получил он письма из Петербурга: оказалось, что фельдъегерю, который вез окончательный и уничтожавший уже все колебания ответ цесаревича, дано было направление по другому тракту, именно чрез Брест-Литовск; с извещением о сем великому князю предписывалось явиться в Петербург к назначенному в 8 часов вечера заседанию Государственного Совета и к предудказанной на другой день присяге императору Николаю Павловичу. Но как это повеление достигло великого князя не прежде двух часов полудни того же самого дня, то отобедав наскоро в Неннале, он при всей поспешности переезда мог поспеть в Петербург только на следующий день, 14 декабря, после 8 часов утра. У городской Нарвской заставы ждал его адъютант нового государя Василий Перовский с приказанием явиться неотложно в Зимний дворец.

Направляясь ко дворцу через Театральную площадь и Поцелуев мост и доехав до Большой Морской, великий князь изъясил сопровождавшему его адъютанту Вешнякову удивление свое, что в городе в такой день все так тихо и спокойно. Вишнякову казалось, что так и быть должно.

– Посмотрим, что будет далее, – заметил великий князь.

Приехав во дворец, он тотчас явился к государю, который жил тогда в комнатах, занимаемых ныне наследником.

– Ну, ты видишь, что все идет благополучно, – сказал государь, – войска присягают, и нет никаких беспорядков.

Дай Бог, – отвечал великий князь, – но день еще не кончился.

Потом, по приглашению государя, он пошел к императрице-матери, переменяв только в отведенной ему в Зимнем дворце комнате дорожное свое платье на артиллерийский мундир. Императрица приветствовала его точно так же, как и государь, изъявлением радости, что все идет счастливо и без всякого волнения.

* Так в оригинале.

– Attendons la fin de la journée* – отвечал и ей великий князь.

Вдруг под окнами раздались звуки барабана: били под знамена, которые возвращались от совершившейся присяги Семеновского полка. Императрица готовилась одеваться к назначенному в 12 часу дня празднования вступления на престол молебну, и великий князь вышел от нее. Но в коридоре он встретил государя, который, объявляя ему, что в гвардейской конной артиллерии не хотят присягать, поручил ехать немедленно туда для восстановления порядка. К счастью, по известии о его приезде, ему догадались прислать из его дворца сани, и он по гололедице от худо еще установившегося зимнего пути поехал один в артиллерийские казармы, находившиеся тогда, как и теперь, под Таврическим дворцом. У Летнего сада ему встретились возвращавшиеся штандарты Кавалергардского полка – доказательство, что в нем присяга была окончена. Потом дорога его вела мимо казарм 2-го батальона Преображенского полка: он тоже присягнул уже в совершенном порядке. Но в артиллерийских казармах командовавший гвардейскою артиллериею генерал-майор Сухозанет встретил великого князя донесением, что некоторые офицеры, и во главе их прикомандированный к конной артиллерии гр. Коновницын, уклоняются от присяги под предлогом, что не уверены в достоверности отречения Константина Павловича, и самого великого князя Михаила Павловича считают удаленным из столицы только по несогласию его на вступление на престол Николая Павловича: вследствие чего он, Сухозанет, и нашелся принужденным их арестовать.

Великий князь тотчас пошел к неповинующимся и как свидетельством своим в том, что сам видел цесаревича, так и ручательством, что он добровольно и по собственному желанию отрекся от престола в пользу Николая Павловича, успел привести их к покорности; офицеры, а вслед за ними и небольшая горсть колебавшихся, по их примеру, нижних чинов присягнули в личном его присутствии. Кончив это дело, великий князь поехал назад в Зимний дворец, но еще на Преображенском плаце достигнут был нарочным, посланным к нему с известием, что Московский полк не хочет присягать, что там явное восстание; что бригадный и полковой командиры Шеншин и Фредерикс тяжело ранены возмущившимися, и что часть полка самовольно ушла из казарм с распущенным знаменем. При этой неожиданной вести великий князь прямо с Преображенского плаца направился на противоположный конец города, к Семеновскому мосту в казармы Московского полка.

Часть одного батальона занимала в этот день городские караулы, а часть другого увлечена была Щепиным-Ростовским и его соумышленниками на Сенатскую площадь; затем на месте оставалось еще около четырех рот (третий батальон был в загородном расположении). Когда великий князь вошел^{2*} на полковой двор, эти четыре роты стояли в сборе:

* Подождем конца дня.

^{2*} После слов – "...в загородном расположении" – первоначально было написано: "Под казарменными воротами к великому князю вышел один особенно любимый им фланговый солдат показать, как он изранен мятежниками. И это однако ж не остановило великого князя. Он вошел ..." и далее так, как в тексте.

перед ними ожидал священник в облачении за налоем, и расхаживали в недоумении командир гвардейского корпуса Воинов и командовавший гвардейскою пехотою Бистром. Великого князя встретило громкое ура.

– Как же нам сказали, что ваше высочество в оковах? – кричали солдаты.

– Вы видите, стало, как вас гнусно обманули, – отвечал великий князь и, объяснив им все обстоятельства в истинном виде, с таким же, как прежде в конной артиллерии, ручательством, спросил, готовы ли они теперь по долгу своему присягнуть законному государю русскому, императору Николаю Павловичу?

– Рады стараться, – было единодушным ответом убежденных солдат.

– А чтоб доказать вам, – продолжал великий князь, – что вас обманывали и что от меня вы слышали одну сущую правду, я сам вместе с вами присягну.

И точно, велев офицерам, повторяя слова присяги, ходить по рядам, чтобы следить, как исполняется это нижними чинами, он сам стал возле священника и тут же, на дворе, под открытым небом, посреди солдат и вместе с ними произнес присягу верноподданничества новому императору, – присягу, которая, по особенному стечению обстоятельств, была вообще **первою** еще в его жизни.

– Теперь, ребята, – сказал он, – если нашлись мерзавцы, которые осрамили ваш мундир, докажите же, что между вами есть и честные люди, которые присягали не по напрасну и готовы омыть это посрамление своею кровью; я поведу вас против вашей же братьи, которая забыла свой долг*.

– Рады стараться, – раздалось опять со всех сторон, и, повинувшись беспрекословно командному слову, все четыре роты с своими офицерами и в совершенном порядке тотчас выступили из казарменных ворот, откуда великий князь лично повел их по Гороховой к Сенатской площади – **повел** в полном смысле слова, потому, что в поспешности всех его переездов с прибытия в Петербург у него не было даже верховой лошади.

Государь в то время стоял с своею свитою близ Лобановского дома и забора, обведенного вокруг строения Иссаакиевского собора, а мятежники окружали в густой неправильной колонне памятник Петра Великого, спиною к Сенату, принадлежавший же к ним гвардейский морской экипаж стоял впереди особо, занимая широкий мост через бывший Адмиралтейский канал, кончавшийся там, где теперь начинается новый бульвар. Против них выдвинуты были с одной стороны, спиною к Адмиралтейскому бульвару, подоспевший уже на место Преображенский полк, которого одна рота под командою капитана Игнатьева загроживала Исакиевский мост; с другой стороны, спиною к Неве, на

* Это место первоначально читалось: “Теперь, ребята, – сказал он, когда священный обряд был окончен, – вы должны доказать, что присягали не понапрасну, и потому я поведу вас...” и т.д. Против этого места на поле карандашная пометка Корфа, надо полагать, при чтении записи Михаилу Павловичу: – “NB Мерзавцы себя подл.”, и затем на поле исправлено так, как напечатано выше.

дальнейшем ее пространстве – Финляндский полк, кроме одного взвода, удержанного на Васильевском острове командиром его, участником заговора бароном Розеном. Великий князь, приведя к государю покрывшую часть Московского полка, тотчас хотел идти сам перед ряды мятежников, взяв с собою некоторых из старших и особенно уважавшихся солдат, чтобы присутствием своим рассеять распушенные злоумышленниками ложные слухи и вместе подействовать на умы заблужденных примером и увещаниями товарищей*; но государь, видя явную опасность, не допустил его выполнить это намерение, и вместо того, по неприбытию еще вытребованного в подкрепление прочим силам Семеновского полка поручил великому князю отправиться за ним и ускорить его приход, для чего дал ему одну из собственных своих, находившихся тут в запасе верховых лошадей. Но Семеновский полк, где присяга совершена была без всякого замешательства, спешил уже сам по Гороховой на площадь. Великий князь встретил его на Красном мосту и оттуда, согласно полученному приказанию, один баталион послал к остальному отряду, а с другим и присланным к нему от государя орудием 1-й легкой бригады гвардейской пешей артиллерии, обойдя вокруг Исаакиевского собора, расположился у конно-гвардейского манежа, в самом близком расстоянии против морского экипажа. Пушка и ружья у людей были заряжены; но великий князь накрепко запретил кому-либо отваживаться стрелять без личного его приказанья.

Между тем к его отряду прибыл государь. Великий князь снова изъявил желание переговорить сам с мятежниками, и государь не мог сему более воспротивиться, но придал своему брату генерал-адъютанту Левашова. Подъехав к рядам морского экипажа, великий князь приветствовал их обыкновенным начальничьим тоном, и из толпы мятежников раздалось дружное:

– Здравия желаем, ваше императорское высочество^{2*}.

– Что с вами делается, и что вы это задумали? – спросил он.

И люди стали объяснять, что две недели тому назад им объявили вдруг о смерти государя Александра Павловича, когда никто из них не слышал еще и про его болезнь; потом заставили присягнуть государю Константину Павловичу, и они это исполнили безропотно; а наконец теперь, уверяя будто Константин Павлович не захотел их присяги и отказался царствовать, заставляют их присягать опять другому государю.

– Можем ли же мы, ваше высочество, – продолжали они, – взять это на душу, когда тот государь, которому мы присягнули, еще жив, и мы

* “Взяв с собою ... солдат”, – внесено позднее против карандашной пометки на поле. Все место первоначально читалось: “...чтобы уверив их в своем присутствии, рассеять чрез то распушенные злоумышленниками ложные слухи и укротить волнение”.

^{2*} Первоначально это место читалось: “Подъехав к самым рядам мятежного морского экипажа, “Здорово, ребята!” – закричал он голосом и тоном человека, привыкшего обращаться с русским солдатом, и из рядов людей, которые были вовсе не заговорщики, а только обманутые и увлеченными своими офицерами жертвы, на приветствие его раздалось дружное: “Здравия желаем, в.и. высочество”.

его не видим? Если уж присягою играть, так что ж после того останется святого?*

Великий князь напрасно усиливался уничтожить эти сомнения заверением, что Константин Павлович точно по доброй воле отрекся от престола; что он, великий князь, был личным тому свидетелем; что вследствие того и сам он присягнул уже новому государю и т.п.

– Мы готовы верить вашему высочеству, – отвечали несчастные жертвы, ослепленные настоячивыми внушениями своих начальников, – да пусть Константин Павлович сам придет подтвердить нам свое отречение, а то мы не знаем даже, и где он.

Во время этих переговоров случился печальный эпизод, печальный, но вместе и отрадный, как свидетельство, что распаление безумных страстей, обуревавшее некоторых из заговорщиков, не находило ни малейшего сочувствия в увлеченных ими нижних чинах. Известно и с достоверностью раскрыто, что действуя в их руках как орудие, солдаты ослеплены были отнюдь не мечтаниями о каком-либо ином порядке вещей, а единственно призраком законности^{2*}, и в самом уклонении своем от новой присяги видели только исполнение своего долга, отнюдь не замышляя ничего против членов царственной семьи, которую народ наш привык искони чтить как заветную святыню. Эпизод, о котором мы упомянули, заключался в известном покушении несчастного Кюхельбекера на жизнь великого князя. Бродя между рядами, он не дрогнув прицелился в нескольких шагах на брата своего государя; жизнь последнего была спасена только совокупным мгновенным движением трех матросов того же морского экипажа, который стоял в строю мятежников.

– Что он тебе сделал? – закричали они, и один вышиб из рук Кюхельбекера пистолет, а оба другие начали бить его прикладами своих ружей. Имена этих людей – Дорофеев, Федоров и Куроптев. По настоящему ходатайству самого великого князя преступник подвергнут был наказанию слабейшему, нежели какое следовало по закону, а избавители его и их семейства щедро были им упокоены и обеспечены...

Видя, что все усилия обратить непокорных остаются бесполезными, великий князь возвратился к своему отряду. Обе стороны стояли лицом к лицу, не приступая ни к чему решительному. Великий князь с стесненным сердцем ожидал условленного сигнала. Он должен был заключаться

* В первоначальном тексте слов: “и мы его не видим? Если... святого” не было; они внесены на поле взамен вычеркнутых слов: “и теперь, когда от нас требуют новой присяги, не приходит по крайней мере сам нам сказать, что точно отказался быть государем? – Суждения эти, в самой простоте их, очень трудно было опровергнуть, и великий князь тщетно усиливался” и т.д. – Исправление текста сделано Корфом на основании карандашной пометки на полях против первоначальной редакции: “Святая присяга” – почерком Корфа; эта заметка сделана Корфом, очевидно, при чтении рукописи Михаилу Павловичу по его указанию.

^{2*} Далее в рукописи вычеркнуто: “и что далее слову конституция злоумышленники, чтоб привлечь к нему расположение войска, давали смысл – супруги императора Константина. Солдаты, повторяем, в уклонении своем от новой присяги” и т.д.

в пушечных выстрелах, которые и раздались наконец со стороны Адмиралтейства. Но великий князь* все еще медлил: сердцу его тяжело было первым в жизни своей неприязненным ударом пролить кровь своих, русских. Последующие удары смешали однако толпу, и она устремилась в бегство именно к той стороне, где стоял Семеновский полк.

– Прикажите палить, ваше высочество, – сказал находившийся при орудии фейерверкер, – иначе они нас самих сомнут^{2*}.

Нельзя было более колебаться и – командное слово раздалось! Картечь на таком близком расстоянии произвела ужасное опустошение, и в числе самых первых жертв пало несчастное дитя, флейтщик морского экипажа. Тогда толпа, сжатая с обеих сторон, в одно мгновение рассыпалась; все бежали в разных направлениях, и площадь, миг перед тем кипевшая народом, совершенно очистилась скорее, нежели сколько нужно нам было, чтоб написать эти строки.

Все было кончено, и оставалось только ловить спрятавшихся и разбежавшихся. Возложив это на ген.-ад. Бенкендорфа, государь с своею свитою поехал во дворец. Великий князь остался несколько времени на месте в ожидании дальнейшего приказания, но не получая оно и видя, что присутствие его тут более не нужно, обратился также ко дворцу. Ему надлежало ехать мимо Преображенского полка, стоявшего еще в прежней позиции, у Адмиралтейского бульвара. Тут наступила трогательная сцена. Издавна в особенности любив этот отличный и почтенный полк, великий князь знал поименно не только всех офицеров, но почти и всех унтер-офицеров, даже многих из нижних чинов. Едва только он подъехал, как офицеры, обступив его лошадь, бросились целовать ему руки и ноги, а по рядам раздалось нескончаемое ура! – в выражение того восторга^{3*}, которым все были объяты, увидев здрава и невредима своего великого князя, о котором полк ничего не знал в продолжение целого утра, хотя они и провели его в таком близком друг от друга расстоянии. Тронутый до слез этими знаками привязанности, он должен был однако остановить ее порыв в опасении, чтобы крики не донеслись до дворца и не возбудили там ложной тревоги. Между тем, объезжая полк, великий князь как-то случайно миновал одну роту. Старики-гренадеры сильно этим опечалились:

– Разве мы чем провинились перед его высочеством, что он нас забыл? – спрашивали они своих офицеров.

* Дальше в рукописи шли следующие слова, вычеркнутые и замененные напечатанными в тексте: “знал тоже, что первые выстрелы будут холостые, с целью лишь подействовать на мятежников испугом. Выстрелы, однако, повторялись, и последующие были уже с картечью. Несколько ударов успели совершенно смешать толпу, и она устремилась...” и т.д.

^{2*} Слова фейерверкера внесены на полях вместо вычеркнутой фразы: “Но напор приближался. – Если мы останемся в бездействии, – говорили вокруг великого князя, – то нас самих сомнут”. – “Надлежало решиться на пролитие крови, и командное слово раздалось”. На поле имеется карандашная пометка, сделанная, по-видимому, Корфом при чтении рукописи Михаилу Павловичу.

^{3*} Вместо слов “а по рядам раздалось...восторг” первоначально было: “а солдаты последовали их примеру. Это было свидание детей с отцом после тяжелой опасности, при сознании в исполнении своего долга”.

Великий князь, которому о том донесли, поспешил утешить и их своим приветствием: тут повторилась опять та же умилительная сцена.

Когда Михаил Павлович прибыл в Зимний дворец, государь готовился выйти в придворный собор к торжественному молебну, оттянувшегося за всеми происшествиями до позднего вечера. Явясь к государю, он пошел от него к императрице-матери, чтоб успокоить ее на свой счет. Там был брат его, герцог Александр Виртембергский, и великий князь объявил ему совершенно неожиданную весть, что в рядах мятежников находится и его адъютант Александр Бестужев. Потом он последовал за государем в церковь и тут только впервые в этот день увиделся с своею супругою.

В заключение, когда все пришло уже в некоторый порядок, государь поручил ему съездить к Арсеналу, чтоб увериться личным осмотром, все ли там спокойно. Великий князь поехал туда из дворца чрез Большую Миллионную и Царицын луг. До моста чрез Зимнюю Канавку все имело вид города в осадном положении. На Дворцовой площади и в Миллионной бивуакировали многочисленные войска вокруг разложенных огней; на самом мосту стояли два орудия, но миновав его, сцена тотчас переменялась: город был точно так же безлюден и тих, как обыкновенно в ночную пору, изредка кое-где мелькал какой-нибудь запоздалый извозчик или уединенный пешеход, и по наружности никак невозможно было догадаться о пронесшейся грозе. Около Арсенала, где занимала караулы учебная артиллерийская бригада, и на возвратном пути через Дворцовую набережную все было точно так же тихо и спокойно. Только от Эрмитажного моста за поставленными и на нем орудиями улица принимала опять оживленный вид военного стана.

Когда великий князь вошел к государю, чтоб донести об исполнении своего поручения, была уже поздняя ночь, и здесь представилось ему неожиданное зрелище: перед государем стоял и в ту минуту упал на колени, моля о своей жизни, известный князь Трубецкой... Он и многие другие из заговорщиков были уже схвачены, и государь принимал первые их показания. Великому князю тут только сделалось известным существование обширного и сложного заговора, которого он нисколько не подозревал, приписывая дотоле все случившееся единственно уклонению от новой присяги.

День был окончен. Надлежало наконец подумать если не о успокоении, то о пище. После обеда накануне в Ненале и чашки чаю, выпитой ночью от сильной стужи на одной из станций между Нарвою и Петербургом, великий князь, среди беспрестанной физической деятельности и жестоких душевых волнений этого дня, не принимал никакой пищи.

– Mais, monseigneur, n'aurait-il pas faim? – спросил его напоследок кто-то из приближенных.

– Allez donc – отвечал он с обыкновенною своею счастливою находчивостью: c'est justement la faim (fin) que j'attends*.

* Не проголодались ли вы, ваше высочество? – Что вы! – конца-то я и жду. – (Непереводимая игра слов: faim – голод, fin – конец.)

ВОЗРАЖЕНИЯ М.А. КОРФА
НА “ПИСЬМО К АЛЕКСАНДРУ II
(по поводу книги барона Корфа)” А.И. ГЕРЦЕНА

Вольный русский писатель г. Герцен – Искандер уже несколько лет тому назад с восхищением передавал русским, что народ польский, в то время как сейм произносил низвержение дома Романовых, служил торжественную панихиду по Муравьеве, Пестеле и их друзьях.

Тот же “вольный русский писатель” постоянно украшает заглавный лист своей “Полярной звезды” портретами пяти Государственных преступников, казненных в Петербурге в 1826 г., а по его словам “беспощадно побитых грозой за то, что они слишком верили в Россию и слишком рано вышли на поле, запечатлев мученичеством свой подвиг”.

Посему легко было заранее предвидеть с каким чувством встретит этот писатель книгу: “Восшествие на престол Императора Николая I-го”, где мятежники названы “мятежниками”, какими они были в самом деле, а не “спасителями отечества замученными тираном”, какими изображает их революционная его кисть. Заранее также можно было предвидеть, какую ядовитую желчь оболет г. Герцен и составителя книги, будь он даже не “какой-нибудь Корф”, а первый историк и первый публицист в мире, и содержание книги, которое само собою рисует величественный, рыцарский образ Монарха, бывшего всегда метою злобных, площадных его клевет и ругательств.

Предвидения эти исполнились. Щедрая брань Герцена не могла, однако же, ни оскорбить, ни даже огорчить меня: голословность ее служит, напротив, лучшим доказательством, что события в книге изложены верно и с истинной точки зрения, ибо критик, чувствуя невозможность опровергнуть самые факты, должен был истощить свою изобретательность на фразы-фразы, á l’effet обыкновенное оружие памфлетистов, и эти стрелы свои направить против личности и нравственных свойств редактора, не имеющего чести быть ему известным.

Но являясь, в настоящем деле, не столько частным лицом, сколько исполнителем воли правительства и даже его органом, я считаю долгом оговориться от тех нареканий, которые, во всяком другом случае, забыл бы тотчас по их прочтении.

Г. Герцен называет текст книги “отталкивающим по своему тяжело-му, татарскому раболепству, по своему канцелярскому подобострастию, по своей униженной лести”. Где мой критик нашел следы всего этого в книге, излагающей одни голые факты, без всяких личных рассуждений ее редактора? **На чем**, при изложении событий, или изображении характеров, отразились эти качества? Сам Император Николай не дозволил бы, в описании событий 14-го декабря, как и во всем другом, не только слова, даже и тени лести. Так, в первой редакции, Он собственноручно вычеркнул одно место, где рассказывалось, как Спе-

ранский при разговоре о дне 14 Декабря назвал Его “героем”. Вина моя перед г. Герценом и ему подобными – в том, что я, говоря об императоре Николае, выражался почтительно, как свойственно всякому русскому, если бы даже не по сердцу, то по долгу приличия, когда он пишет о Монархе России. Эту вину я не только с радостью принимаю на себя, но, по христианскому чувству, сердечно желал бы чтоб и г. Герцен был в ней соучастником. Почтительность выражений о почившем в Боже Государе я соблюл бы, несмотря на всех Герценов в мире, и тогда, когда писал бы что-либо собственно от своего имени; тем еще более лежал на мне этот долг в книге, изданной в свет от имени Русского Императора, от имени сына, передающего современникам и потомству страницу из исторической жизни своего отца. Конечно г. Герцену, по свойствам его, трудно понять различие между раболепством и почтительностью и еще труднее ему оценить, как следует, все то, что не носит на себе следа злобы и клеветы против Монарха, которого он низко обманул при Его жизни и которому, за свой собственный обман, порывается, в бессильном ожесточении, мстить еще и после Его смерти.

Продолжая раздражаться своими эффектными фразами, мой критик рисует отвратительную картину, где представляет меня “идущим за тогдашними палачами, для того, чтобы сквернить гробы людей, если и заблуждавшихся, то **чистых** и пламенно любивших Россию”.

К счастью, не таково чувство, возбужденное моею книгою во всех людях благомыслящих, во всем огромном большинстве. За изъятием не многих отдельных лиц, или кружков, привыкших все порицать или всего бояться, все с признательностью приняли благородную мысль Монарха обнародовать ныне же, пока еще живы многие из современников, **истинный** очерк событий, уже принадлежащих истории; все оценили и ту бережливую снисходительность, с которою говорится в книге о преступниках, – снисходительность, простертую до того, что имена **переживших** заговорщиков в ней совсем умолчаны; не осталось незамеченным публикою и то, что вся книга проникнута состраданием к несчастным, а не упреками виновным. Но людей, замышлявших царевубийство и готовившихся привести его в исполнение, или действительных убийц Милорадовича и Стюрлера, или изрубивших Шеншина, Фредерикса и Хвоцинского, или посягавших на Митрополита, шедшего в волнующуюся толпу с крестом и словом примирения, – таких людей называть “**чистыми**” может лишь г. Герцен. **Этого** утешения он никогда не дождется от истории. Милосердие Александра II-го все простило и забыло; соответственно сему чувству милосердия эпилог книги всех, принимавших участие в 14-м Декабря, покрыл белым знаменем, назвав одних: “обольщенными самонадеянностью”, других – “увлеченными неопытностью молодости”. Но событие все-таки остается событием; убийства уже ничто не смоет со страниц летописи; скрыть его, или умалить значило бы **действительно** исказить истину, известную всякому в России, заподозрить Верховный уголовный Суд в бесчеловечной несправедливости, а членов сего Суда и самого даже Монарха признать преступниками против закона и совести. Да не будет так! История всегда с праведным отвращением назовет имена Равальяков, Анкерштре-

мов, Каховских, какими бы лаврами единомышленники ни старались их увенчивать; с таким же омерзением станет говорить о Мацциниях, Кошутах, Герценах, потому что защищать преступление и возбуждать к нему есть иногда вина тягчайшая самого преступления, наконец не забудет и того, **что** ожидало бы Россию 14-го Декабря, если б предприятие этих “**чистых**, столь пламенно любивших ее людей” имело успех хоть на несколько часов!

Замечательно, что в том же номере “Колокола” г. Герцен объявляет о своем намерении перепечатать вполне “Донесение следственной Комиссии и приговор Верховного уголовного Суда 1826 года”. Нельзя, конечно, ни минуты сомневаться в том, что он выдаст эти исторические акты, как и мою книгу, за ложь, раболепство и подобострастие, а свой пасквиль возведет на степень неуместной правды. Но все ли ему поверят, а между тем этою перепечаткою давно забытых и исчезнувших актов не осквернит ли он, гораздо более нашего, любезные ему могилы, возобновив в памяти людской ковы, умыслы и – трусость участников 14 Декабря, о которых у нас упомянуто только вскользь, огласив снова имена переживших, которые у нас сокрыты; наконец еще положительнее обнаружив безрассудство и ничтожность тех, которых он силится изобразить невинными мучениками святого дела. Где же будет тут то “примирение и понимание, то почтительное благоговение перед былым”, которых он требует от других и не сам ли он первый дерзко разроет могильные холмы своих друзей, мимо которых мы прошли со спокойным молчанием?

Далее г. Герцен винит “статс-секретаря и кавалера” в “мелком, ложном и рабском воззрении на события, которых смысл и сам Николай лучше его (т.е. лучше Корфа) понимал, потому что вспомнил о них еще на смертном одре, и в бросании оскорбления людям, так беспощадно побитым грозой за то, что слишком верили в Россию”.

Вопреки диктаторскому тону г. Герцена, напоминающего собою другого, печальной памяти диктатора – за кулисами, никто, считающий несчастьем безначалие, кровопролитие и междоусобие, не может иметь другого “воззрения” на события 14-го Декабря, как выраженного в моей книге. Точно также, а не иначе, понимал смысл их и Император Николай, которого **собственноручная** записка послужила главным материалом всей книги, но который на смертном одре, вопреки клевете г. Герцена, только **все и всех простил**, не упомянув ни **одним словом** о сих событиях. Если наименование революции “революциею” и сознательно принимавших в ней участие “заговорщиками и мятежниками” составляет “мелкое, ложное и рабское воззрение”, то я и здесь опять охотно беру на себя упрек г. Герцена. Пусть он изобретает для этих действий новые выражения, а я “в рабском моем воззрении” не могу назвать бунта благом, ни возбудителей его – благодетелями человечества. Но и из числа этих его героев никто не был “**беспощадно побит грозой**”, потому что Император Николай **для всех** смягчил приговор, основанный на точной силе законов, не вновь сочиненных именно на этот случай, а давно существовавших; не многие и погибли за то, что “слишком верили в Россию”, потому что большая часть настоящих заговорщиков ду-

мала совсем не о России, а только о самих себе, точно также как г. Герцен, все обливая своею желчью и всем подавая свои советы, думает, конечно, совсем не о пользе покинутого им отечества. В противоположность тому, что совершается теперь в наших глазах, **деспот** Николай великодушно призрел семейства осужденных, а **свободная** Англия, дающая притон русскому изменнику, расстреливает у пушечного дула своих непокорных подданных, хотя и они, может быть, только “слишком верили в Индию”, и растерзывает их невинных жен и детей, при рукоплесканиях своего вольного книгопечатания, столь изыскательного к другим. От чего г. Герцен, отъявленный враг “рабских воззрений” и “татарского раболепства”, не почтил своим вниманием этого контраста?

Чтобы нанести редактору окончательный, решительный удар, г. Герцен воспользовался весьма известною в журнальной полемике уловкою. Желая убедить своих читателей, что книга достигла чего-то, совершенно противоположного той цели, для которой ее издали, он говорит, что я “выдал Императора Николая и всех присных его на всеобщее посмешище, не щадя ни пола, ни возраста”. Ясно, что в этом замечании должно крыться что-то очень остроумное, но истинный смысл его не легко понять, потому что никому из нас не легко вознестись на высоту воззрения г. Герцена. Разве, может быть, показались ему смешными: не изменявшее Императору Николаю в этот день, ни на минуту, мужество и присутствие духа; или волнение и слезы Его родительницы и супруги; или решимость царского брата, с опасностью жизни, войти в толпу увлеченных к бунту солдат, чтобы вывести их на прямой путь; или подвиги геройского самоотвержения, явленные Митрополитом Серафимом, Милорадовичем, Стюрлером, Орловым и другими верными сынами России; или общая преданность к царю и Престолу огромного большинства войск и народа; или восторг, с которым саперы приветствовали вынесенного к ним царственного отрока? Позволено думать, что если бы во всем этом проявлялась хотя одна сторона, одна точка, доступная насмешке, или осуждению, то г. Герцен превознес бы мою книгу до небес; но именно в неистовых его ругательствах я и нахожу высшую ей похвалу. Смешны тут – и если бы г. Герцен мог писать иначе, то, верно, он сам бы в том сознался – смешны тут, говорю, но **печально** – смешны, одни собственные его герои, с их безрассудною попыткою, не имевшею ни цели, ни возможной, не только вероятной надежды иного успеха, кроме анархии и кровопролития.

Что же касается способа, употребленного г. Герценом излагать события, для потехи своих читателей, в смешном виде, то это – дело весьма легкое. Ход **всей** всемирной истории мог бы быть изложен в той же самой форме, в какой критик передал факты благородной, беспримерной в народных летописях борьбы между братьями, отрекавшимися от верховной власти. К счастью, наука и ее жрецы только с улыбкою презрения смотрят на клоунов, вторгающихся иногда в ее священную область с своими фарсами.

Наконец, еще несколько последних слов о смешном упреке, делаемом мне г. Герценом “в безграмотности” книги, которой составление, однако,

как сам он далее говорит, поручили мне будто бы потому, что знали мое “бойкое, хотя и несколько горячее” перо. Уверенность в блестящее и непогрешимое знание русского языка есть вообще слабая струна моего критика. Точно такие же упреки делал он непонравившимся ему Манифесту о мире и всемилостивейшему манифесту 26-го августа 1856 г., писанных не мною. Если бы я мог снизить до печатной полемики с г. Герценом, то нашел бы, в моей безграмотности достаточные средства доказать, если и не “горячо”, то, может быть, довольно “бойко”, что г. Герцен, впадающий на каждом шагу в ошибки против первых правил нашего языка, не есть судья в этом предмете.

В статье г. Герцена встречается, однако же одна, очень справедливая мысль: “Вместо брани, – пишет он, – не лучше ли обратиться к тогдашним событиям с серьезной и покойной (т.е. должно быть “спокойной”) мыслию и постараться понять их смысл”.

Жаль, что г. Герцен сам не пользуется теми советами, которыми он так щедро наделяет других!

(12 ноября 1857 г.)

М.А. КОРФ. САМОВОСХВАЛЕНИЕ ПРОТИВ ГЕРЦЕНА

(Оставшееся, разумеется, только в рукописи
и еще никому мною не показанное)

Барона Корфа невозможно подводить под один уровень с теми из числа сановников наших, которых вы избираете метою ваших, к сожалению часто справедливых порицаний. Государственная деятельность его всегда стояла на первом плане, и Россия помянет его не одним благим делом. В свое время правая рука Сперанского, Корф один создал 5 томов из числа 15-ти, составлявших первое издание Свода законов. Он же извлек потом канцелярии Комитета министров и Государственного совета из той моральной грязи, в которой обе валялись при прежних начальниках, и возвел ту и другую на невиданную у нас степень честности, правдивости и порядка. С изумительною деятельностью и быстротою в работе, с неприкосновенною чистотою правил, с светлым практическим умом, с высшим образованием*, он везде и во всем служил сам примером и руководителем для своих подчиненных.

Ему же было поручено впоследствии довершение воспитания в науке законодательства и управления – в.к. Константина Николаевича и, позже, обоих младших его братьев. В Государственном совете, в Главном правлении училищ, в опекуновом совете – он теперь член всех этих установлений, – как и в разных высших комитетах, часто раздавалась увлекательная и энергическая его речь за правду, за все доброе и полезное, и часто предупреждала она много дурного и нелепого.

Из хаоса библиотеки, называвшейся Публичною, но в существе представлявшей только огромную кладовую без света и без жизни, Корф успел создать такой дом науки, который если еще не первый в мире по своему богатству, то, конечно, первый по своему устройству и особенно по той либеральности и приветливости, с которой принимаются и удовлетворяются многочисленные его посетители – от первого вельможи до крепостного человека, от знатнейшей дамы до повивальной бабки. Самое издание книги, возбудившей в вас столько негодования^{2*}, Корф, не только не богатый, но не имеющий ничего, кроме служебных окладов, с самоотвержением обратил на пользу действительнейшего теперь у нас рассадника просвещения: тотчас при выходе в свет “Восшествия на престол Николая I-го” объявлено было, что государь, по просьбе редактора, предоставил всю выручку в пользу Публичной библиотеки, а из напеча-

* Вы ошибаетесь, относя окончание воспитания Корфа к царствованию Николая. Он был воспитан в Царскосельском лицее в самую светлую его эпоху (1811–1817) и принадлежал к одному выпуску с Пушкиным. (Примечание Корфа).

^{2*} Вычеркнуто: “сколько ни естественно всякому пользоваться для самого себя плодами своего труда”.

танного отчета за 1857-й год видно, что до 1858-го года этот источник принес свыше 24-х т.р.

Наконец, тому же лицу наша литература и наша наука обязаны чрезвычайно верным шагом – уничтожением по его докладу в самые первые месяцы нынешнего царствования того тайного, порожденного политическим страхом 1848 г. цензурного комитета, который представлял настоящую литературную инквизицию, тем более страшную, что она карала писателей и цензоров, ни у кого не спрашивая ответа и сама ни перед кем ни за что не отвечая.*

И одних исчисленных мною действий – многое, быть может, осталось мне еще неизвестным – достаточно, чтобы привязать имя этого благородного человека и истинного патриота к нашей административной истории. Свет и движение вперед во всем полезном для отечества были всегдашним его девизом, и, товарищ по школе Пущина и Кюхельбекера, он, хотя и другими путями, стремился к одинаковой с ними цели. Напрасно же вы его называете “каким-нибудь” и осыпаете насмешками или, прямее сказать, ругательствами. В России они не найдут ни веры, ни отголоска и только разве заподозрят правдивость многих из числа ваших замечаний насчет других лиц^{2*}. Скажу более, вы сами не верите ничему тому, что говорите о Корфе, потому что, верно, слыхали о нем совсем другое в бытность вашу и в Москве, и в Перми, и в Новгороде, как, может быть, продолжаете слышать теперь в Лондоне.

Имя его начало выдвигаться вперед – извините, вы ведь не любите старости – еще с тридцатых годов, и общий голос уже десятки лет призывает его на министерские посты, преимущественно юстиции и народного просвещения. От этого самого, вероятно, и не был он министром при Николае, не любившем слушаться общественного мнения. Теперь же обойдение Корфа при увольнении Норова^{3*} приписывается в публике совсем другой причине, истекшей, впрочем, также лишь от благородства его характера и, так сказать, государственной его честности. Быв назначен государем в число членов высшего комитета по крестьянскому вопросу, он прямо и смело просил уволить его от этого звания, не по недостатку сочувствия к великой мысли, – Корф всею душою издавна ей предан, – а потому, как гласно высказал, что не имел сам крестьян, никогда не жил в деревне и не находит в себе нужной опытности для помощи святому начинанию, а главное – боится, чтобы его имя, как человека беспоместного, не заподозрило дела в глазах помещиков и тем не повредило успеху. Это известно целому Петербургу, а из Петербурга разнеслось и по всей России; и такая черта самоотвержения стяжала Корфу еще большую популярность, хотя, разумеется, не понравилась многим из его товарищей, которые внутренне чувствовали, что для блага России и им над-

* К сожалению, Корф не упоминает, что комитет этот и учрежден был в 1848 г. в результате представленной им тогда докладной записки о вредном влиянии “Отечественных Записок” и “Современника” и что он состоял членом, а позднее председателем этого комитета.

^{2*} Вычеркнуто: “занимающих у нас высшие посты”.

^{3*} Норов оставил пост министра народного просвещения в 1858 г.

лежало бы по его примеру уступить место людям более сведущим. Со всем тем, они не нашли в себе довольно духа, чтобы отказаться, подобно Корфу, которого вы выставяете искателем почестей, от наград и отличий, ожидающих их при конце этого дела. От этого самого многие из них, натурально, старались представить государю подвиг Корфа* в превратном виде; но если и успели через то охладить прежнее расположение к нему Александра, то не могли, однако, подорвать доверия к государственным его достоинствам; доказательством этому то, что при увольнении весной 1858 г. больного графа Блудова за границу должность его, т.е. управление важнейшею законодательною частию государевой канцелярии, та самая должность, которую занимали некогда Сперанский и Дашков, вверена была не другому кому, как именно Корфу, и ему же, перед совершеннолетием наследника, велено было ознакомить его для приготовления к присяге с основными началами законовещения, что тоже так вам не полюбилось.

(Лето 1858 г.)

* Вычеркнуто: “в превратном виде, как бы вроде оппозиции или трусости, и таким образом человека, еще от времен первой молодости горячо призывавшего освобождение у нас крепостных людей, человека, уничтожившего у нас тайную цензуру и открывшего в библиотеке широкие двери просвещению”... “этот подвиг истинной государственной честности”.

В.Е ЯКУШКИН
ЗАМЕТКИ А.Н. СУТГОФА О 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Александр Николаевич Сутгоф (по иному написанию Сутгов) был одним из непосредственных участников восстания 14 декабря: он вывел на Сенатскую площадь значительную часть лейб-гвардии Гренадерского полка и до конца оставался при восставших. Это дает особое значение сохранившимся заметкам Сутгофа о происшествии 14 декабря.

А.Н. Сутгоф родился в 1801 г. Отец его был шведского происхождения, а мать малороссиянка. Он в детстве был отдан для учения в один из частных пансионов Москвы, но в 1812 г. он был перевезен в Киев, где в это время состоял на службе его отец в чине уже генерала. Обучение Сутгофа продолжалось, пока он в 1816 г. не поступил в лейб-гренадерский полк в Петербурге. Он вступил позднее в Северное тайное общество и, будучи уже поручиком, принял, как сказано, близкое участие в деле 14 декабря. Он был предан верховному уголовному суду, был признан виновным в следующем: принадлежал к тайному обществу без полного знания о сокровенной его цели. Принял одного члена. Лично действовал. Возмутил роту и присоединился к мятежникам. Команда его стреляла". Сутгоф был отнесен к 1-му разряду государственных преступников, который был приговорен к смертной казни отсечением головы, а за смягчением приговора – к вечной каторге. Сутгоф был отправлен вместе с другими декабристами в Сибирь; за неоднократными смягчениями определенного наказания сроки пребывания декабристов на каторге были сокращены, и Сутгоф в 1836 г. был уже на поселении; он тут женился, занялся земледелием, устроившись под Иркутском. Он уже не думал о дальнейшей перемене в своей судьбе, как вдруг совершенно для него неожиданно, по хлопотам его родных в 1848 г. он был переведен на Кавказ, рядовым Кубанского полка, через несколько лет был произведен в прапорщики, а после амнистии 1856 г. ему удалось перейти на службу в Москву. Здесь он впрочем пробыл недолго, расстроенное здоровье его требовало южного климата, и он вернулся на Кавказ, где получил место управляющего водами в Кисловодске, потом в Боржоми. Он скончался в 1872 г.

В библиотеке Е.И. Якушкина, очень много сделавшего для собрания и сохранения материалов о декабристах, сохранились заметки о 14 декабря, писанные Сутгофом. Как раз в 1857 г., когда Сутгоф переехал в Москву, вышло в свет третье издание книги Корфа: "Восшествие на престол Императора Николая I", – первое издание "для публики". В книге подробно описывались происшествия 14 декабря и, по просьбе Е.И. Якушкина, Сутгоф написал на полях книги свои замечания и возражения на рассказ Корфа.

Замечания Сутгофа, писанные таким образом, конечно, отрывочны, но они содержат много исправлений и дополнений к книге, обнаруживая

общую тенденцию ее, на основе официальных донесений, исказить истину в известном смысле, представлять все в самом неблагоприятном виде для мятежников. Я приведу здесь одно за одним замечания Сутгофа, не приводя их в особую систему и указывая только, к какому месту книги Корфа они относятся.

Корф, говоря о возмущении в лейб-гвардии Московском полку, (с. 266), указывает, что *часть* полка устремилась на площадь, а *другая часть* осталась в казармах; Сутгоф поясняет: “Рота гр. Ливена одна осталась в казармах, все прочие, за исключением немногих солдат, вышли на площадь”.

На с. 271 Корф говорит, что в наружности Якубовича было “что-то замечательно отвратительное”: Сутгоф возражает: “Якубович превосходной наружности”. Далее Корф рассказывает, что Якубович ходил к бунтовщикам с поручением Николая Павловича и затем “под личиною возвращения к законному долгу” старался разведать в противных рядах о положении дела, чтобы действовать по обстоятельствам. Против этого места Сутгоф на полях замечает: “все это несправедливо, Якубович был оскорблен на площади К. Щепиным-Ростовским. Поручение государя без успеха выполнил и, возвратившись вторично, получил приказание находиться в свите царской, где он недолго оставался; воспользовавшись первым удобным случаем, он отправился в театральную дирекцию, чем навлек на себя сильное, ни на чем не основанное подозрение”.

“Мятежные роты Московского полка стояли в густой неправильной колонне” – против этих слов Сутгоф приписал: “Каре”. Далее (с. 274–275) Корф со слов одного случайного очевидца описывает собравшуюся на площади толпу, представлявшую “зрелище совершенно своеобразное: шинели с мужицкими шапками, полушубки при круглых шляпах, полотенца вместо кушаков и т.п., целый маскарад распутства, замышляющего преступление. Солдаты, растегнутые, с заваленными на затылок киверами, в амуниции беспорядочно накинута, были большею частью пьяны”. Сутгоф отрицает все это: “очевидец или плут, или трус, все были одеты прилично; в народе были точно лица, непрезентабельные, но буйных, пьяных солдат не было, до прихода лейб-гренадер. Московцы стояли в большом порядке”. Против слов (с. 275): “в рядах мелькали по временам Александр Бестужев, Рылеев и несколько других, неизвестных нашему зрителю лиц, в упомянутых фантастических нарядах. Один Бестужев ходил в мундире; более никого не было видно в этом месте похожего по одежде на офицера или начальника. Вдруг раздалось несколько выстрелов... Выстрелы были по генерале Волкове”. Сутгоф объясняет: “Рылеев, закутанный в меховой воротник, только один раз на несколько минут приезжал на площадь. – Все офицеры кроме поручика Сутгофа, были в мундирах, шарфах и киверах. – В г. Волкова не стреляли, его народ чуть не убил камнями”.

По поводу рассказа о появлении на Сенатской площади гвардейского экипажа, Сутгоф замечает: “гораздо прежде гвардейского экипажа пришла 1 рота лейб-гренадерского полка”. Он исправляет указание Корфа, будто ротных командиров в гвардейском экипаже освободили матросы: “Ротных командиров освободили по совету Николая Бестужева младшие

офицеры”. Корф о приходе гвардейского экипажа выражается (с. 275–276): – “эта новая толпа” расположилась впереди Московского полка; Сутгоф возражает: “экипаж в большом порядке остановился не перед Московским полком, а в колонне к атаке между Московским каре (которого передний фас в это время занимала 1 рота лейб-гренадерского полка) и заборами”.

Против слов о появлении Государя на площади перед мятежниками и выстрелах в него (с. 276) – Сутгоф приписал: “никто не видел и не стрелял в Государя ни в это время, ни после”.

Корф рассказывает (с. 276), что приехав в казармы Московского полка, часть которого уже ушла на площадь, а часть не вернулась из караула, великий князь Михаил Павлович нашел на месте “не более четырех рот”, – “четыре сот человек” поясняет Сутгоф, и о приводе этих людей к присяге рассказывает: “Бистром не только словами, но и саблею старался заставить солдат присягнуть, когда же он убедился, что его красноречие не действует на сборную команду, тогда он обратился к фельдфебелю Бестужева роты и строго приказал ему привести к присяге, что и было немедленно выполнено. – Фельдфебель не пошел с ротой на площадь, привел команду к присяге и за это был разжалован в рядовые в дальние сибирские батальоны” Когда присягнувшая часть Московского полка была выведена к адмиралтейству и встретила Государя, “офицеры бросились целовать ему руки и ноги”. “Правда” замечает Сутгоф.

Корф, передавая (с. 278–279) об атаках конно-гвардейцев на мятежников, говорит, что атаки были безуспешны, были отбиваемы батальонным огнем. Сутгоф вносит поправку: “первые атаки производились на лейб-гренадер и москвитцев, которые с большим успехом отражали конно-гвардейцев холостыми зарядами; последняя атака была на гвардейский экипаж, тут им не поздоровилось, матросы их встретили боевыми зарядами, ранили полковника Велью и многих конно-гвардейцев”.

Приезде конно-пионеров, вопреки рассказу Корфа (с. 279) “они обьехали кругом и никто им не хотел препятствовать”.

К рассказу Корфа о лейб-гренадерах (с. 280–281) Сутгоф делает особенно много поправок. На карауле в Петропавловской крепости под 14 декабря были не две роты, а 3 разряд 1 батальона. Помешавший присяге поручик Кожевников был вовсе не пьян, а “трезвый”. Далее Корф передает, что командовавший фузелерной ротой (Сутгоф), присягнувший уже раньше вместе с другими, стал уговаривать солдат присоединиться к восставшим и обещал раздать им жалованье без приказа. Сутгоф поясняет: “лейб-гренадерский полк был у присяги потому только, что подпоручик того же полка Жеребцов и гвардейского генерального штаба поручик граф Коновницын приехали объявить поручику Сутгофу, что все полки присягнули и что они сами видели, как знамена отнесли во дворец. После присяги кн. Одоевский и подпоручик Палицын первые сообщили Сутгофу, что Московский полк вышел и что на честное слово лейб-гренадер считают. – О жалованье разговор был после, когда лейб-гренадеры уговаривали пор. Сутгофа скрыться, он отвечал, что этого никогда не сделает и что к тому же их жалованье у него в кармане. Солдаты сказали тогда, что они без жалованья обойдутся, лишь бы он не попал в руки правительства”.

По словам Корфа, лейб-гренадеры направились через Васильевский остров и Исаакиевский мост, а Сутгоф говорил, что они пошли “не на Васильевский остров, а прямо через лед от крепости к Сенатской площади”.

Когда приехавший полковой командир Стюрлер стал выводить оставшихся людей и готовился вести их по требованию государя ко дворцу, поручик Панов успел увлечь несколько рот, и по дороге ему, рассказывает Корф, пришла ужасная мысль завладеть дворцом. Но тут ему помешали бывший во дворце поручик того же лейб-гренадерского полка барон Зальца, смутил его своими вопросами а приход сапер заставил Панова воскликнуть: “да это не наши, ребята за мною!” и поворотить свою толпу назад. Сутгоф рассказывает это иначе:

“Панов увлек не несколько рот, а всех людей, бывших в казармах, кроме 1 взвода государевой роты, никакой ужасной мысли Панову в голову не приходило; идя мимо дворца, он увидел на дворе солдат в шинелях, принял их за 1 роту и начал входить во дворец, здесь он заметил, что он ошибся, закричал солдатам: ребята, это не наши, и в ту же минуту вышел. – История, рассказанная поручиком Зальца, от начала до конца, чистая ложь”. Когда немного дальше (с. 282) Корф ужасается, что опоздай немного саперы, Панов мог бы почти беспрепятственно исполнить свое зверское намерение, со всеми неисчислимыми последствиями, – Сутгоф замечает: “чистый вздор”.

Когда лейб-гренадеры под предводительством Панова пришли на Сенатскую площадь, они “соединившись с 1 ротой, заняли остальные три фаса каре; московцы в это время от холода столпились в середине каре и были в беспорядке”. На свидетельство Корфа, что подпоручик Тутолмин образумил стрелковый взвод государевой роты лейб-гренадерского полка, и взвод был приведен к государю, Сутгоф заявляет: “подпоручик Тутолмин ровно ничего не сделал, весь стрелковый взвод государевой роты пришел с полком на Сенатскую площадь и пристроился к 1 роте”. Корф тут же уверяет, что всякий раз, как государь показывался с виду сенатской гаупт-вахты, занимавший ее караул финляндского полка всякий раз отдавал честь. Сутгоф замечает: “если бы государь и показывался, как мог он (караул) его видеть?”.

По поводу рассказа поручика Зальца, как он вел борьбу для спасения лейб-гренадерского знамени, – о бароне Зальца выше уже было упомянуто, – Сутгоф заявляет: “Все это происходило в воображении поручика Зальца; он так был хорош, что полковой командир, близкий родственник, не мог решиться доверить ему роту”.

По словам Корфа ротные командиры лейб-гвардии гренадерского полка Пущин и Штакельберг уже на площади убеждали свои роты не бунтовать, два другие офицеры на них кинулись, крича солдатам: “Ребята, коли их”, но солдаты отказались от этого кровавого дела. Сутгоф возражает: “Пущина не было, а Штакельберг входил в каре, но не уговаривать солдат, а доказывать свое старшинство и право командовать полком, на что Панов ему отвечал, что он, Штакельберг, как пд. (подпоручик), лейб-гренадерами командовать не может. Пущину и Штакельбергу было бы плохо, если б гренадеры получили приказание приколоть их, и того, и другого ненавидели за их злость”.

В противность словам Корфа (с. 285) Сутгоф заявляет, что восставшие войска “стреляли только во время кавалерийских атак”.

По поводу рассказа, как три матроса накинулись на Вильгельма Кюхельбекера за покушение его на жизнь великого князя Михаила Павловича, Сутгоф замечает: “Никто Кюхельбекера не тронул, его же родной брат был ротным командиром в гвардейском экипаже; вся эта история очевидцами не подтверждается”.

Вопреки словам барона Корфа (с. 288), “лейб-гренадер и гвардейского экипажа еще не было на площади, когда митрополит подходил уговаривать возмутившихся”. Когда стали передвигать артиллерию, “к несчастью было темно и передвижений этих никто не видал”.

Перед открытием артиллерийского огня по мятежным войскам к ним был послан генерал Сухозанет с предложением помилования. Он въехал в середину мятежников. Сказанные им слова, по уверению Корфа, возымели было действие на солдат, но Сухозанета окружили офицеры и несколько “посторонних лиц распутного вида”, они спрашивали, привез ли он конституцию и грозились на него. Сухозанет в ответ им сказал, что он прислан с пощадою, а не для переговоров и усакал из среды отшатнувшихся перед ним заговорщиков. Вслед ему раздался залп, он остался невредим, но посыпались перья с его султана (с. 290). Сутгоф рассказывает дело совершенно иначе: “Сухозанет не доехал до фронта гвардейского экипажа, остановил лошадь, хотел что-то сказать, но только что его узнали, со всех сторон закричали ему – подлец, и в ту же минуту Его Превосходительство лег на лошадь и помчался обратно; выстрелами его не удостоили. Когда дальше Корф приводит донесение Сухозанета: Ваше Величество, сумасбродные кричат: конституция! – Сутгоф опять замечает: “кричали: подлец”.

Корф рассказывает: “Первый выстрел ударил высоко в здание сената. На него отвечали неистовыми воплями и беглым огнем”. “Вздор”, – замечает Сутгоф; “Пушин, Оболенский и Сутгоф были в это время впереди шагах в 30, и когда добежали до каре, беспорядок был уже общий и ружейных выстрелов не было”.

На указание Корфа, будто все “зачинщики и заговорщики” немедленно обратились в бегство Сутгоф возражает: “несправедливо, Щепин-Ростовский арестован на площади полковником Засом, а поручик Сутгоф с частью лейб-гренадер отдал свою шпагу генералу Шипову. На слова Корфа, что Павловский полк стрелял с Галерной по убежавшим мятежникам, Сутгоф замечает: “неправда”.

Вот и все замечания А.Н. Сутгофа, сделанные им на полях книги Корфа. Несмотря на их отрывочность, они вносят определенные черты в рассказ о происшествиях 14 декабря, и мы не можем не ценить этих замечаний, хотя они и писаны были почти через тридцать два года после памятного дня.

В. Якушкин

С.П. ТРУБЕЦКОЙ
ЗАМЕЧАНИЯ НА КНИГУ М.А. КОРФА
“ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ I-го”

Все, что писано до сих пор о днях, предшествовавших вступлению на престол покойного государя Николая Павловича, не имеет для меня и тени справедливости. Иностранцы прославляли великодушную борьбу двух братьев, не имевшую примера в истории, уступивших один другому престол обширнейшего в просвещенном мире государства. Русские по примеру иностранцев рассказывают то же. Отчего происходила такая странность? Иностранцы могли не знать того, что происходило в недрах императорского семейства; они видели только то, что ясно было всем, то есть, что Константин не принял принесенной ему присяги и что вследствие того Николай вступил на престол. Они видели междуцарствие в Российской империи, продолжавшееся 16 дней, в течение которых не было сделано меньшим братом, имевшим притязания на престол, никакой видимой попытки для удержания за собой престолонаследия; они знали, что этот брат, назначенный в духовном завещании Александра наследником престола после него, принес присягу брату старшему, законному наследнику по праву первородства, и заключили, что все это он сделал по доброй воле, по великодушью. Но русские почему повторяют то же за иностранцами? Откуда они взяли слова, влагаемые ими в уста вел. кн. Николая и которыми он будто бы отказывался принять престол, предложенный ему членами Государственного совета?

Быв отлучен от круга государственных деятелей в продолжении 30 лет и проведя все время царствования имп. Николая на противоположном крае пространного Российского государства, на восточных пределах империи, в дальнем сибирском крае, я не имел средств разрешить этого вопроса. Думаю, что льстецы и царедворцы сочинили из подобострастия эту кривую страничку, которую вклеили в историю. Это меня не удивляло, но если чему удивляюсь, то что нашел то же повторенным в рассказе человека, разделившего со мною заточение и испытавшего на себе всю мстительность Николая. Простое рассуждение должно убедить, что если бы Николай действительно не воспользовался обстоятельствами оттого, что признавал законным права старшего своего брата Константина, и великодушно обрекал себя на честь быть первым подданным своего брата, то не поступил бы с такою жестокостью, какую оказал в отношении тех, которые восстали против неправильного вступления его на престол. Неправильного потому, что Константину присягнули по манифесту правительствующего Сената, а Николай не хотел соблюсти для себя этой правильной формы и издал манифест от собственного лица, в котором объявлял, что старший брат отказался и что потому право остается за ним. Не так же ли бы он поступил, если б хотел овладеть престолом, не имея на то согласия истинного наследника?

В книге, изданной статс-секретарем бароном Корфом под заглавием “Восшествие на престол императора Николая I”, сказано, что великий князь не только не знал намерения имп. Александра назначить его своим наследником, но и не помышлял никогда, чтоб престол должен был когда-либо сделаться его достоянием, а потому был объят страхом, когда узнал, что Константин не принял данной ему присяги.

Такое повествование должно казаться очень странным всем тем, кто знал, что Александр давно уже сделал завещание, которое хранилось в трех экземплярах в московском Успенском соборе, в Государственном совете и в правительствующем Сенате. Публике петербургской было очень известно*, что этим завещанием Николай, назначался наследником престола, и, конечно, это знала не одна петербургская публика. Как же этого не знал великий князь, до которого это всех более касалось?!

Можно утвердительно сказать, что это обстоятельство никого не беспокоило: Александр казался таким здоровым, обещал жить еще долго, и о преемнике его никто не беспокоился.

Далее в той же книге рассказывается, как братья уступали друг другу престол, что уже писано было во всех иностранных сочинениях, описывавших тогдашние события в России, и из которых, вероятно, почерпнул свой рассказ и сочинитель статьи, которой эпиграфом служат ст[ихи] 10, 12 и 13-й второго послания апостола Павла к коринфянам.

Не стану разбирать^{2*} всех этих повествований, расскажу просто, что я слышал собственными ушами и видел собственными глазами в течение тревожных дней, когда еще не было известно, какой выход будет из запутанного дела, завязавшегося смертью Александра^{3*}.

Я был коротко знаком с действ. стат. сов. Федором Петровичем Опочининым. Приехав к нему 25 ноября, после разговора о тревожных

* В черновике так: “Это обстоятельство известно было не одной высшей петербургской публике; слух о нем должен был распространиться между многими, проживающими внутри государства, когда многим лицам, подобным пишущему эти строки, он не был тайною”.

^{2*} В черновике далее: “ни того, что рассказывается о происшествиях вступления на престол Николая, как в упомянутой выше книге, так и во всех иностранных, попадавшихся мне сочинениях, ниже в приложенной рукописной статье, в которую сочинитель ее поместил сведения, неизвестно мне откуда почерпнутые”.

^{3*} На этом беловик обрывается. Далее в рукописи помета автора: “За сим лист 2-й”. На листе 2-м далее зачеркнуто: “Счастливый случай доставил мне такие сведения, которые мало кому известны. Вероятно, никто из действующих лиц не оставил после себя записок, а все они уже померли и доверили ли кому, что происходило, мне не могло быть известным. Один есть человек, который, по предположению моему, должен знать, но увижусь ли я с ним когда, не знаю, и потому до времени остается для меня это сведение истинным. Вот что было в тот же день или, вернее сказать, вечер, когда приехал курьер с известием об опасной болезни, в которой находился тогда имп. Александр Павлович”. Далее вынесено на поле и тоже зачеркнуто: “В следующих строках я расскажу то, что мне было известно от человека, хорошо извещенного, не прибавляя ни же малейшего от себя”.

вестях, привезенных вчерашним курьером, он мне сказал*, что, получив известие, привезенное фельдъегерем, вел. кн. Николай пригласил к себе председателя Государственного совета кн. Петра Васильевича Лопухина, кн. Алексея Борисовича Куракина и гр. Михаила Андреевича Милорадовича, бывшего, как известно, тогда военным генерал-губернатором С.-Петербурга и, по случаю удаления императора от столицы, облаченного особою властью.

Великий князь объявил им свои права на престолонаследие, известные им по желанию Александра, чтоб он вступил после него на престол, и по отречению Константина Павловича^{2*} по случаю бракосочетания его с польскою девицею Грудзинскою, потом княгиней Ловичевою^{3*}.

Гр. Милорадович ответил неотрез, что вел. кн. Николай не может и не должен никак надеяться наследовать брату своему Александру в случае его смерти; что законы империи не дозволяют государю располагать престолом по завещанию; что притом завещание Александра известно только некоторым лицам и неизвестно в народе; что отречение Константина также не явное и осталось необнародованным; что Александр, если хотел, чтоб Николай наследовал после него престол, должен был обнародовать при жизни своей волю свою и согласие на нее Константина; что ни народ, ни войско не поймет отречения и припишет все измене, тем более что ни государя самого, ни наследника по первородству нет в столице, но оба были в отсутствии; что, наконец, гвардия решительно откажется принести Николаю присягу в таких обстоятельствах, и неминуемое за тем последствие будет возмущение^{4*}. Соповещение продолжалось до двух часов ночи. Великий князь доказывал свои права, но гр. Милорадович их признать не хотел и отказал в своем содействии. На том и разошлись^{5*}.

Когда было получено известие о кончине государя, тотчас были созваны Совет и Сенат.

Я приехал во дворец, когда уже заздравный молебен был внезапно прекращен по случаю приезда курьера с известием о смерти государя. Я вошел обыкновенным малым входом, известным под именем Комендантской лестницы, и был крайне удивлен, войдя в первую комнату, которая отделяет церковь от внутреннего караула, найдя в ней гр. Милорадовича, отдающего приказания коменданту Башуцкому разослать тот же час плац-адъютантов по всем караулам с приказанием привести немедленно караулы к присяге^{6*}.

* Далее зачеркнуто: “Знаешь ли, что я теперь попал в честь и люди, которые давно уже раззнакомились со мною, начинают делать мне визиты; сегодня был у меня даже кн. Алексей Борисович Куракин, который уже три года не был у меня. Потом он мне рассказал, что вчера поздно вечером”.

^{2*} Далее зачеркнуто: “бывшему в 1817 году”.

^{3*} Далее зачеркнуто: “Не знаю, что говорили и что помышляли сказать князя Лопухин и Куракин, но знаю, что”.

^{4*} Далее зачеркнуто: “в столице, которого утешить не будет никаких средств”.

^{5*} Последующий текст отчеркнут автором. Видимо, на этом заканчивался рассказ Опочинина, и далее автор продолжал свое повествование.

^{6*} Далее зачеркнуто: “Константину Павловичу”.

Это распоряжение было сделано графом до совещания Государственного совета.

Я вошел в залу собрания Совета и здесь с некоторыми другими лицами, адъютантами обоих великих князей Николая и Михаила, ожидал, какое постановление сделано будет Советом.

Приносят бархатную подушку, на которой стоит маленький ковчегец, золотой или позолоченный; узнаем, что это несут духовное завещание покойного императора.

Кн. Александр Николаевич Голицын при открытии заседания сказал, что покойный государь император оставил завещание с тем, чтоб оно было открыто тотчас после его смерти и прочтено прежде приступления к новой присяге или к какому-либо действию. Гр. Милорадович сейчас отвечал на эту речь, сказав, что в отношении престолонаследия государь по существующим в России законам не может располагать по духовному завещанию. Что из уважения к лицу покойного можно прочесть духовное его завещание, но исполнения по оному не* может быть. Затем приказано было принести завещание, и когда оно было прочтено, то адмирал Николай Семенович Мордвинов встал и сказал: “Теперь пойдемте присягать имп. Константину Павловичу”. Все встали и пошли сначала в покои вел. кн. Николая для объявления ему решения, принятого Советом. Мы поспешили в комнаты, чрез которые должно было проходить великому князю, и я видел его, как он, бледный, шатающийся на ногах, проходил в покои матери своей, имп. Марии Федоровны, откуда уже прошли прямо в большую церковь. Мы в свою очередь отправились туда же.

В комнате, где стоял обыкновенно внутренний караул, бывший в тот день от 1-го взвода роты его величества лейб-гвардии Преображенского полка, стоял нагой с крестом и евангелием. Солдаты спросили:

– Что это значит?

– Присяга, – отвечали им.

Они все в один голос:

– Какая присяга?

– Новому государю.

– У нас есть государь.

– Скончался.

– Мы не слыхали, чтоб он и болен был.

Пришел комендант Башуцкий и стал им рассказывать, что известно было уже о болезни и смерти государя. Тогда головной человек вышел вперед и начал те же возражения, прибавив, что они не могут присягать новому государю, когда^{2*} у них есть давно царствующий, а верить его смерти не могут, не слыхав даже о его болезни.

Дежурный генерал Главного штаба е.в. Потапов пришел на помощь коменданту, подтвердил его рассказ и начал уговаривать людей принести требуемую присягу. Солдаты настаивали упорно в своем отказе. Между тем вел. кн. Николай Павлович и члены Государственного совета успели

* Далее зачеркнуто: “не обязательно”.

2* Далее зачеркнуто: “знают, что есть уже”.

уже присягнуть в церкви и Николай вышел к упорствовавшему караулу, подтвердил слова генералов и объявил, что он сам уже только что присягнул новому государю Константину Павловичу. Волнение утихло, солдаты присягнули.

Посмотрев все эти происшествия в Зимнем дворце, я поехал в Сенат, чтоб узнать, что там делается.

Сенаторы уже разъехались. Я нашел только двух оберпрокуроров Александра Васильевича Кочубея и Семена Григорьевича Краснокутского. Они с негодованием рассказали мне, что сенаторы присягнули по одному словесному приказанию, переданному от министра юстиции, а на вопрос мой о конверте с духовным завещанием Александра отвечали, что министр велел его прислать к себе.

Из этого рассказа явно оказывается, что судьбами Отечества расплагал один гр. Милорадович*.

Через несколько дней после того, когда стало известно, что Константин не принимает данной ему присяги и между тем отказывается и ехать сам в Петербург и издать от себя манифест о своем отречении, граф, проходя в своих комнатах, остановился пред портретом Константина и, обратившись к сопровождавшему его полковнику Федору Николаевичу Глинке, сказал с горечью: “Я надеялся на него, а он губит Россию”^{2*}.

Из этого обстоятельства должно заключить, что графу неизвестным осталось торжественное объявление Константина Павловича с отречением, напечатанное в книге о вошестве на престол в приложениях под № 3. Если б это объявление не было скрыто, а объявлено всенародно, то не было бы никакого повода к сопротивлению в принятии присяги Николаю и не было бы возмущения в столице.

В тот самый день, когда была принесена присяга новому имп. Константину Павловичу, то есть 27 ноября^{3*}, вел. кн. Николай послал просить к себе действ. стат. сов. Федора Петровича Опочина. Этот человек был некогда адъютантом Константина Павловича, потом перешел в

* Далее зачеркнуто: “Он один положил непреодолимую преграду властолюбию вел. кн. Николая Павловича, отказавшись решительно действовать в его пользу и угрожая восстанием всех полков гвардии, если порядок первородства захотят обойти”.

^{2*} Далее зачеркнуто: “В это время приехал в Петербург попечитель Казанского университета Магницкий. Осведомившись из рапортов о приезжающих о приезде его и зная его за беспокойного человека, гр. Милорадович в тот же день выпроводил его вон из города. Это рассказываю только для того, чтоб показать, как власть графа была тогда велика в столице и как никто не смел ей противиться. Явно также кажется [одно слово не поддается прочтению], что вел. кн. Николай не оказал никакого великодушия и вовсе не помышлял оставить престол своему старшему брату Константину; но все, что были в его власти, средства употребил для достижения власти. Это еще яснее выкажется из последующего рассказа. После этого еще раз спрашиваю: откуда взяли господа историки сказание о великодушной и беспримерной борьбе двух братьев, взаимно уступающих друг другу престол такого огромного государства, как Российская империя. Это для меня непонятно. Но должен же быть источник, из которого вся эта ложь почерпнута, и любопытно бы было открыть этот источник”.

^{3*} Переправлено, было: “26”.

гражданскую службу, которую по неприятностям оставил, и проживал в С.-Петербурге довольно уединенно, в кругу небольшого числа хороших своих знакомых. Он постоянно сохранил благосклонное к себе расположение Константина Павловича и даже дружбу его; жил в городе в Мраморном дворце, принадлежавшем цесаревичу, а летом в его же Стрельнинском дворце. Не было в Петербурге человека, который был бы ближе его к Константину Павловичу. Его и избрал вел. кн. Николай посредником между собой и братом и ему поручил ходатайство об уступке ему престола, напомнив его высочеству, что он сам добровольно, без всякого принуждения отрекся от наследства*. В ночь на 30-е Опочинин уехал, но, встретив дорогою ехавшего из Варшавы вел. кн. Михаила Павловича, возвратился с ним обратно в столицу^{2*}.

Опочинин рассказал мне, что Константин, получив известие из Таганрога о смерти Александра, заперся на целый день в комнате и никого не принимал, никакого приказа не отдавал и ничего о кончине государя не объявлял в Варшаве^{3*}. Опочинин был снова отправлен с прибавлением просьбы, чтобы Константин прислал формальное и торжественное отречение, по которому Николай мог бы беспрепятственно вступить на престол. Гр. Милорадович постоянно настаивал на том, чтобы это было исполнено, если б не захотел Константин сам приехать в Петербург и лично передать престол брату.

Опочинин поехал с намерением употребить все средства, чтоб уговорить Константина приехать в столицу империи, и даже имел надежду, что слова его подействуют достаточно, чтоб заставить Константина^{4*} принять царство. Он вспомнил, что когда Константин писал к Александру по настоянию его величества в 1822 г., то он сказал Федору Петровичу, что имеет полную уверенность, что не переживет своего брата. Жена же Опочинина Дарья Михайловна, дочь фельдмаршала кн. Михаила Илларионовича Смоленского-Кутузова, не разделяла надежд своего мужа и говорила мне, что она уверена, что Константин не примет престола, что он всегда говорил^{5*}: “Меня задушат, как задушили отца”.

Опочинин, уезжая, знал неприязненное расположение войска и народа к великим князьям и как охотно все принесли присягу Константину, говоря, что ему служить можно, а братьям его нельзя, и потому понимал необходимость торжественного отречения Константина и считал

* Далее зачеркнуто: “письмом, посланным к покойному Александру в 1817 году”. Здесь Трубецкой ошибся в дате. Ниже последовало исправление 1817 г. на 1822 г.

^{2*} Далее зачеркнуто: “Михаил Павлович не привез со своей стороны никакого иного известия, как-то, что Константин Павлович, получив с поручиком фельдъегерского корпуса Миллером известие из Таганрога о смерти императора, заперся один в комнате и весь день никого не принимал. Сам Михаил Павлович мог его увидеть только на другой день перед отъездом и ничего от него не узнал о его намерениях и что вследствие полученного известия цесаревич никакого”.

^{3*} Далее зачеркнуто: “Из этих сведений невозможно было вывести никакого заключения”.

^{4*} Далее зачеркнуто: “остаться на царстве”.

^{5*} Далее зачеркнуто: “На престоле меня”.

надежнейшим, чтоб он сделал это не одним печатным манифестом, но лично, изрекши свое отречение пред войском лейб-гвардии и народом в столице.

Здесь оканчиваются мои сведения о течении переговоров Николая с Константином, исключая того, что в ответ на все свои домогательства Николай получил от Константина собственноручную записку, в которой он в самых неприличных и даже неблагопристойных выражениях писал, что он знать ничего не хочет, что делается в Петербурге, и чтоб делали что хотят и как хотят.

Так мне было рассказано, и это подтверждается рассказом бар[она] Корфа, когда он говорит, что последнее письмо Константина было написано в таких выражениях, что нельзя было его обнародовать, хотя после и прилагает в прибавлениях какое-то письмо, в котором ничего подобного не оказывается.

Вследствие этого публика справедливо обвиняла Константина в неуважении ни к себе, ни к народу и в отсутствии малейшего чувства любви к Отечеству; а публика была обманута скрытием воззвания, которым он объяснял причины, побуждающие его не принимать присяги, и приглашал народ присягнуть Николаю.

Это воззвание осталось бы неизвестным, если б не было припечатано в приложениях к книге, изданной бар[оном] Корфом.

“14 ДЕКАБРЯ 1825 И ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ”

В Аугсбургской газете от 28 декабря мы прочли...

Первая публикация. Вступительная заметка к сборнику “14 декабря 1825 и император Николай” напечатана от имени обоих его составителей – редакторов “Полярной звезды”. Кем написан текст: Герценом, Огаревым или ими совместно – не установлено. Опубл.: Герцен А.И. Собр. соч. М., 1958. Т. XIII. С. 440. Комментар. С. 624.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первая публикация. Опубл.: Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. С. 67–70; Комментар. – С. 513–516.

С. 69. *captatio benevolentiae* – снисканием расположения (лат.)

Ведь Кромвель, раскрывая тело короля Англии, не обижал его памяти. – Имеется в виду участие Кромвеля в вынесении особым верховным трибуналом 27 января 1649 г. смертного приговора английскому королю Карлу Стюарту.

...предоставляя усердию разных Устряловых продолжать клевету и месть... – В 1847 г. историк официально-монархического направления Н.Г. Устрялов выпустил “Историческое обозрение царствования императора Николая I” – в виде дополнения к изданной им ранее многотомной “Русской истории”, которая была одобрена правительством в качестве официального учебного пособия. Как раз незадолго до появления в широкой печати книги М.А. Корфа – в 1855 г. – “Русская история” с указанным дополнением вышла 5-м изданием. Описывая междуцарствие и восстание декабристов Устрялов в этом верноподданническом сочинении руководствовался идейными установками и фразеологией Манифеста Николая I от 19 декабря 1825 г. о восстании на Сенатской площади (“Русский инвалид”. 1825 г. 22 дек.). Предварительно “Историческое обозрение” было отредактировано Николаем I, собственноручно вписавшим сюда тексты о раскрытии декабрьского заговора и о своей присяге Константину Павловичу. См.: Устрялов Н.Г. Воспоминания о моей жизни // Древняя и новая Россия. 1880. № 8. С. 640–644.

ДОНЕСЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Оригинал под названием: “Его императорскому величеству высочайше утвержденной Комиссии для изыскания о злоумышленных обществах всеподданейший доклад” находится: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 454. Ч. 1.

* © Е.Л. Рудницкая, А.Г. Тартаковский.

Л. 22–147. 12 июня 1926 г. напечатано в “Русском инвалиде” (№ 138), 17 июня в “Северной пчеле” (№ 72), 19 и 21 июня в “Московских ведомостях” (№ 49, 50). Тогда же оно вышло и в Петербурге отдельными изданиями на русском и французском яз.: “Rapport de la commission d’enquête”. SPB. 1826. В июле помещалось во всех крупных европейских газетах. Оpubл.: Восстание декабристов: Документы. М., 1980. Т. XVII. Дела Верховного уголовного суда и Следственной комиссии. С. 24–61; коммент. С. 256–257. Далее: ВД.

УКАЗ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА...

Оригинал под названием: “Указ его императорского величества самодержца всероссийского из правительствующего Сената. Объявляется во всенародное известие” от 13 июля 1826 г. был напечатан отдельным сенатским изданием, а также 15 июля 1826 г. в “Северной пчеле” (№ 84, прилож.), 16 июля в “Русском инвалиде” (№ 168–169), 20 июля в “Санктпетербургских ведомостях” (№ 58). Оpubл.: ВД. Т. XVII. С. 249–250. Коммент. С. 278–279.

ДОКЛАД УГОЛОВНОГО СУДА

Оригинал под названием: “Всепресветлейшему, державнейшему великому государю императору и самодержцу всероссийскому Верховного уголовного суда всеподданейший доклад”. См.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 464. Л. 1–35. Напечатан: 15 июля 1826 г. в “Северной пчеле” (№ 84), 16 июля в “Русском инвалиде” (№ 168 и 169), 20 июля в “Санктпетербургских ведомостях” (№ 58). Позже вошел во 2-е изд. Полного Свода Законов. (Далее: ПСЗ) (Т. 1. № 464). Оpubл.: ВД. Т. XVII. С. 216–223. Коммент. С. 277.

РОСПИСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКАМ

Оригинал под названием: “Роспись государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям”. См.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 464. Л. 36–53. Напечатан 15 июля 1826 г. в “Северной пчеле” (№ 84), 17 июля в “Русском инвалиде” (№ 170, 171), 20 июля в “Санктпетербургских ведомостях” (№ 58); позже вошла во 2-е изд. ПСЗ (Т. 1. № 464). Оpubл.: ВД. Т. XVII. С. 224–236. Коммент. С. 277.

УКАЗ ВЕРХОВНОМУ УГОЛОВНОМУ СУДУ ОТ 10 ИЮЛЯ 1826 г.

Оригинал Указа Николая I Верховному уголовному суду от 10 июля 1826 г. находится: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 454. Ч. 3. Л. 289–293. Напечатан 15 июля 1826 г. в “Северной пчеле” (№ 84), 19 июля в “Русском инвалиде” (№ 172), 20 июля в “Санктпетербургских ведомостях” (№ 58). Оpubл.: ВД. Т. XVII. С. 244–246. Коммент. С. 277.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРХОВНОГО УГОЛОВНОГО СУДА ОТ 11 ИЮЛЯ 1826 г.

Публикация начинается со второй фразы протокола и включает только первый его абзац. Оригинал протокола вечернего заседания Верховного уголовного суда от 11 июля 1826 г. находится: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 454. Ч. 3. Л. 295–300 (док. № 81). Напечатана 15 июля 1826 г. в “Северной пчеле” (№ 84), 19 июля в “Русском инвалиде” (№ 172), 20 июля в “Санктпетербургских ведомостях” (№ 58). Опубл.: ВД. Т. XVII. С. 247–248. Комментар. С. 278.

МАНИФЕСТ 13 ИЮЛЯ 1826 г.

Экземпляр Манифеста официального издания от 13 июля 1826 г. находится в бумагах Верховного уголовного суда. См.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 454. Ч. 3. Л. 332–333. Помимо двух сенатских изданий, 13 июля в Петербурге и 18 июля в Москве, напечатан 15 июля в “Русском инвалиде” (№ 167); затем вошел во 2-е изд. ПСЗ (Т. 1. № 464). Опубл.: ВД. Т. XVII. С. 252–253. Комментар. С. 280–281.

ПИСЬМО К ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II (из Колокола)

Впервые напечатано в “Колоколе” 1 октября 1857 г. С. 27–31. В книге “14 декабря 1825 и император Николай” текст был воспроизведен с незначительными изменениями. Опубл.: Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. 35–46. Комментар. С. 503–509.

С. 151. ...отзываться с теми же пошлыми ругательствами... для осуждения их? – В состав Верховного уголовного суда, утвержденного Указом Николая I Правительствующему Сенату от 1 июня 1826 г., входили лица из “трех государственных сословий”: Государственного совета, Сената, Синода и ряд крупных военных и гражданских чинов, ревностно исполнявших волю царя, который и был фактически главным, “верховным” вершителем судеб декабристов. Из 72 членов суда значительную часть составляли люди преклонного возраста, престарелые администраторы и вельможи, включенные сюда главным образом как особо доверенные представители титулованной знати, высшей светской и церковной бюрократии. По подсчетам Н. Эйдельмана, средний их возраст составлял 55 лет – вдвое больше, чем у декабристов. См.: ВД. Т. XVII. С. 9–11, 70–71, 259–260. Эйдельман Н. Лунин. М., 1970. С. 202.

Под “пошлыми ругательствами” Герцен имел в виду скорее всего не обращение с подсудимыми со стороны суда, который непосредственно с ними почти не соприкасался (Ревизионная комиссия суда при вызове их ограничилась формальной и кратковременной процедурой), а оскорбительные нападки на декабристов в ходе следствия Николая I, о чем Герцену могло быть тогда известно главным образом из устно распространенных сведений.

...тех пяти-шести старцев, которых ваша рука возвратила из Сибири? – Имеется в виду Манифест Александра II от 26 августа 1856 г. “О всемилостивейшем даровании народу милостей и облегчений по случаю коронаования его императорского величества”. XV статья Манифеста касалась участи подвергшихся “разным политическим наказаниям”. В тот же день был издан именной указ Сенату, конкретизировавший эту статью, в том числе и применительно к осужденным по приговору Верховного уголовного суда 13 июля 1826 г. Здесь же был приведен поименный список помилованных. См.: 2-е изд. ПСЗ. Т. XXXI. № 30877, 30883. Согласно правительственным актам об амнистии, шумно разрекламированным либерально-монархической общественностью, декабристам, находившимся в Сибири на поселении, просто на жительстве и состоявшим там на службе, возвращались гражданские права (кроме прав на прежнее имущество и почетные титулы), им разрешалось вернуться в Европейскую Россию и жить там, где пожелают, за исключением Петербурга и Москвы. Однако в дополнение к этому были изданы секретные инструкции, существенно ограничивавшие права амнистированных, – за ними устанавливался полицейский надзор, запрещалось селиться в столичных губерниях и вступать на государственную службу. Герцен в “Голосах из России” (Лондон. Кн. III. 1857. С. IV–V) и Огарев в статье “Разбор Манифеста 26 августа 1856 года” (“Полярная звезда”. 1857. Кн. III. С. 15–16) подвергли критике коронационные милости за их половинчатость и дискриминационный характер по отношению к декабристам.

К моменту амнистии из 121 осужденных в 1826 г. в живых оставалось 52 декабриста, причем 34 жили на тех или иных основаниях в Сибири. Несколько человек находилось на Кавказе. С 1857 по 1863 г. в Европейскую Россию вернулось 22 человека. Некоторые остались там до конца жизни (И.И. Горбачевский, В.А. Бечаснов, М.К. Кюхельбекер, В.Ф. Раевский). Более 20 декабристов, преданных Верховному уголовному суду или подвергнутых внесудебным репрессиям, возвратились из каторги, ссылки и со службы на Кавказе еще до амнистии – в 30-х – первой половине 50-х годов XIX в. См.: *Сокольский Л.А.* Возвращение декабристов из Сибири // *Декабристы в Москве.* М., 1963; *Кодан С.В.* Амнистия декабристам (1856 г.) // *Вопр. истории.* 1982. № 4.

С. 152. ...со всеми поправками ваших дядюшек... – Речь идет о воспоминаниях великого князя Михаила Павловича, записанных с его слов М.А. Корфом и использованных в книге “Восшествие на престол императора Николая I”. См. настоящее издание. С. 355–369. Возможно, что Герцен имел в виду и включенные в третье (первое для публики) издание книги М.А. Корфа документы другого “дядюшки” Александра II – великого князя Константина Павловича. См.: *Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи.* М.; Л., 1926. (Далее: *Междуцарствие...*). С. XII, 116, 202, 213.

...виртембергского герцога... “хотя в то время взрослых и офицеров”... По свидетельству Николая I в заметках на книгу М.А. Корфа (см. настоящее издание. С.347), “дядя герцог Александр Виртемберг-

ский” “во время мятежа” “сидел в бывшей голубой гостиной матушки и не позволял сыновьям явиться, куда долг их требовал”. А. Виртембергский – брат вдовствующей императрицы Марии Федоровны (“матушки”). Его сыновья – Александр (21 год), корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка и Эрнст (18 лет). Выжидательная позиция герцога А. Виртембергского в день 14 декабря связана, видимо, с его причастностью к плану возведения на престол вдовствующей императрицы Марии Федоровны, родной сестры герцога. См.: *Бартошевич В.В.* Заметки о Константиновском рубле // *Константиновский рубль: Новые материалы и исследования.* М., 1991. С. 105–109; Гордин Я. *Мятеж реформаторов.* М., 1989. С. 133–134.

...Бенкендорфа... Орлова... – при подготовке двух первых, “секретных” изданий своей книги М.А. Корф пользовался устными рассказами и заметками А.Ф. Орлова. Третье (первое для публики) издание он дополнил некоторыми данными из неопубликованных тогда мемуаров А.Х. Бенкендорфа.

...не поверит... гоф-фурьерскому журналу, на который ссылается ученый статс-секретарь. – Герцен допускает неточность, называя камер-фурьерские журналы “гоф-фурьерскими”. Они велись не гоф-фурьерами (чин IX класса при “высочайшем дворе”), а камер-фурьерами (чин VI класса при “высочайшем дворе”) и изо дня в день фиксировали все происходящее при дворе, особенно всевозможные церемонии и быт царской семьи. См. Камер-фурьерский церемониальный журнал 1695–1817. СПб., 1853–1916; за последующие годы камер-фурьерские журналы не издавались и хранятся в архиве. М.А. Корф трижды ссылался на них в своей книге (с. XIII–XIV, 124–125, 129–130, 193), но должен был признать, что события 14 декабря описаны в них “довольно неточно”, что “легко объясняется общим смущением”.

...ни глазами того – вероятно, портного, который только заметил костюм инсургентов и назвал эту кучу людей ... как настоящий сапожник... – Высмеивая М.А. Корфа за грубые передержки в характеристике восставших, Герцен перефразирует строки из басни И.А. Крылова “Щука и кот”: “Беда, коль пироги начнет печи сапожник, // А сапоги тачать пирожник...”

...делать поправки к этой брошюре... – Помимо записок Николая I о междоусобице и восстании декабристов, широко использованных М.А. Корфом, в процессе подготовки книги царь трижды просматривал ее текст, результатом чего явились его письменные заметки, публикуемые в настоящем издании. (См. наст. издание. С. 342–354.)

...встретившись в борьбе с целой Европой вшило из нее победоносно. Имеется в виду успешное для России завершение войн с наполеоновской Францией 1812–1814 гг.

...Русский царь, достиг ты славной цели! – Строка из стихотворения А.С. Пушкина “На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году” (“Александр”).

С. 153. ...*Конгревовыми ракетами...* – В 1805 г. английский генерал В. Конгрив изобрел ракету, принятую после того на вооружение британской армией.

...всеобщее негодование...энергическим протестом, не довольное оценено. – Имеется в виду царевичество 11 марта 1801 г. В нем Герцен одним из первых в русской историографической традиции увидел не просто обычный для XVIII в. верхушечный аристократический переворот, а одно из начальных пробуждений русского общества от всевластия абсолютизма. Это проявилось в частности, в конституционной струе заговора, в неприятии деспотического режима Павла I широкими кругами дворянства и в восторженной реакции “свободных”, “образованных” слоев населения на устранение его с престола.

...Александр I ... толковал с Карамзиным и Сперанским об уложении... – В этих словах сказалось недостаточное знакомство Герцена с обстоятельствами идейно-политической борьбы в верхах русского общества начала XIX в. М.М. Сперанский, привлеченный Александром I с 1803 г. к подготовке проектов реформ, представил в 1809 г. “Введение к уложению государственных законов” – грандиозный план социально-политических преобразований России на буржуазных и конституционно-монархических основаниях. Естественно, что в 1809–1811 гг. – в пору наивысшего влияния Сперанского на правительственные дела – Александр I не раз “толковал” с ним об этом “уложении”. Что же до Н.М. Карамзина, то он был тогда принципиальным противником реформаторских начинаний Сперанского, равно как и вообще проводимого Александром I после Тильзита либерального курса. Как раз в те же годы он сблизился с великой княгиней Екатериной Павловной, возглавлявшей аристократическую оппозицию этому курсу, бывал в ее знаменитом салоне в Твери, где читал в рукописи главы из первых томов “Истории государства Российского”, и в феврале 1811 г. по ее просьбе составил “Записку о древней и новой истории России в ее политическом и гражданском отношениях” – сгусток умонастроений консервативных кругов дворянства и старой бюрократии, негодовавших на преобразовательные планы Сперанского. С этих антиреформистских позиций, в духе апологии самодержавного строя Карамзин и “толковал” с приехавшим в марте 1811 г. в Тверь Александром I. Здесь же Екатерина Павловна, втайне от Карамзина, ознакомила его с “Запиской”, охранительно-критический пафос которой вызвал у царя недовольство и раздражение против автора.

...дал Польше конституцию и всенародно говорил, что желал бы... вверенных ему Богом... – 15 ноября 1815 г. Александр I утвердил Конституционную хартию Царства Польского, согласно которой оно становилось неотделимой частью Российской империи; российский император объявлялся наследственным польским королем, а его власть ограничивалась хартией. Она провозглашала равенство всех перед законом, неприкосновенность личности и собственности, свободу вероисповеданий, печати и другие буржуазные свободы, разделение властей, относительно демократичную избирательную систему и т.д. Управление Царством Польским осуществлялось наместником при участии двухпалатного

сейма. Введение польской конституции Александр I рассматривал как первый реальный шаг на пути конституционных преобразований России в целом.

Герцен цитирует текст из речи Александра I при открытии польского сейма 15 марта 1818 г., обращенной в равной мере и к русскому обществу. В официальном переводе на русский язык он звучал так: “Образование, существовавшее в вашем краю, дозволило мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние надеюсь я с помощью Божией распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приготавливаю...” Речь Александра I произвела громадное, но идейно разноречивое впечатление на современников, подтолкнув освободительные устремления передовой дворянской интеллигенции. См.: *Семевский В.И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 262–274; *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 147–206.

...он сделал опыт в остзейских провинциях... – Речь идет о крестьянских реформах в Прибалтике в начале XIX в. 20 февраля 1804 г. было издано “Положение о Лифляндских крестьянах”, распространяемое и на Эстляндию: крестьяне признавались прикрепленными не к помещику, а к земле, и фиксировались их повинности. По Указам 23 мая 1816 г. для Эстляндии, 25 августа 1817 г. для Курляндии и 26 марта 1819 г. для Лифляндии крестьяне получали личную свободу, но без земли, которая провозглашалась собственностью помещиков.

...о которых он так резко писал в 1796 году к Кочубею... – Герцен имел в виду письмо Александра, тогда еще наследника престола, к В.П. Кочубею от 10 мая 1796 г., где он подверг уничтожающей критике “дурное” управление государством, придворные нравы и фаворитов Екатерины II и высказал желание отречься в будущем от российского престола. Этот один из ключевых документов для понимания внутреннего мира Александра и характера его царствования впервые, но с купюрами был опубликован М.А. Корфом в книге “Восшествие на престол императора Николая I-го” (См. настоящее издание. С. 214–216. – фр. текст; С. 310–311 – рус. перевод). Здесь были зашифрованы инициалами имена лиц, которых Александр “не желал бы иметь у себя и лакеями”: “князь Зубов, Пасек, князь Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев”. Полный текст см.: *Шильдер Н.К.* Император Александр I. Его жизнь и царствование. (Далее: Шильдер. Император Александр I). СПб., 1897. Т. 1. С. 112–114, 239.

... momento servitudinem... – помни о рабстве (лат.).

С. 155. *...нам кажется каким-нибудь чудачком... лицо вроде Мордвинова...* – Н.С. Мордвинов, адмирал, сенатор, член Государственного совета, председатель Вольного экономического общества пользовался в русском обществе репутацией государственного деятеля либерального толка, исполненного гражданского мужества и личной независимости. Современники отзывались о нем как о “муже редкой правоты и высокой честно-

сти”. Знаменитые “мнения” и “голоса”, смелые выступления Мордвинова в разных советах и комитетах, распространявшиеся повсюду в списках, принесли ему громадную популярность в кругах передовой молодежи. Неслучайно декабристы, в случае победы восстания, прочили его (наряду с М.М. Сперанским, А.П. Ермоловым и др.) в кандидаты во временное правительстве России. Мордвинов был единственным членом Верховного уголовного суда, кто отказался подписать смертный приговор пяти пошевенным впоследствии декабристам.

...и потом повторено в книге Н. Тургенева.... – Имеется в виду мемуарно-исторический труд декабриста Н.И. Тургенева “La Russie et les Russes par le N.Tourgeneff”. (Paris-Bruselles. 1847. Т. 1). См. русский перевод в кн.: Россия и Русские Николая Тургенева. М., 1915. Ч. 1.

С. 156. *...беспорядок и разврат управления дошли до крымского комиссариата...* – Речь идет о вопиющих злоупотреблениях и хищениях во время Крымской войны 1853–1856 гг. в интендантском ведомстве – от Комиссариатского департамента Военного министерства до Симферопольской правлиантской комиссии.

...под глазами двух полиций в пяти шагах от Зимнего дворца. – После подавления восстания декабристов, помимо существовавших в системе министерства внутренних дел полицейских учреждений, политическим сыском в России занималось созданное 3 июля 1826 г. III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, главноуправляющий которого являлся одновременно и шефом Корпуса жандармов, созданного 28 апреля 1827 г.

...преданные какими-то мерзавцами во второй армии... – Доносы на членов тайного общества декабристов во 2-й армии в июле-ноябре 1825 г. были поданы унтер-офицером 3-го Украинского уланского полка. И.В. Шервудом, принятым Ф.Ф. Вадковским в Южное общество, агентом начальника южных военных поселений И.О. Витта А.К. Бошняком и капитаном Вятского пехотного полка А.И. Майбородой. См.: Нечкина М.В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 195–201.

... преданные... Иаковым Ростовцевым... – Речь идет об известном эпизоде кануна восстания, когда 22-летний подпоручик лейб-гвардии Егерского полка, старший адъютант командующего гвардейской пехотой К.И. Бистрома Я.И. Ростовцев, член Северного общества, хорошо осведомленный в его планах, сообщил великому князю Николаю Павловичу о готовящемся против него выступлении. Глухо об этом эпизоде упоминалось еще в “Донесении Следственной комиссии”. В книге же М.А. Корфа он впервые получил подробное освещение, причем автор изобразил поступок Ростовцева в верноподданнических и сентиментально-романтических тонах – как деяние “благородного двадцатилетнего юноши, горевшего любовью к Отечеству”, который “в порыве молодого, неопытного энтузиазма” решил “ценою собственной жизни” спасти “и Отечество и Монарха”, и своих друзей-заговорщиков (См. настоящее изд. С. 253–254).

Герцен в “Письме к Александру II” и Огарев в “Разборе” книги М.А. Корфа (см. настоящее издание. С. 182–184), основываясь на ее фак-

тических данных, со злым сарказмом высмеяли эту фальшиво-идиллическую картину, безоговорочно заклеив Ростовцева доносчиком. В последующем (вплоть до его смерти в феврале 1860 г.) на страницах Вольной печати Герцен не раз гневно и с пристрастием обличал Ростовцева как видного сановника николаевского царствования, ведавшего военно-учебными заведениями, и как участника подготовки правительственной бюрократией крестьянской реформы (хотя с середины 1858 г. он перешел на радикально-реформаторские позиции, став едва ли не главной фигурой в деле освобождения крестьян), всякий раз напоминая при этом о его доносительном “энтузиазме” 1825 г. См. *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. XIII. С. 90, 140, 300, 306, 317–318, 340; Т. XIV. С. 64, 71. Инвективы Герцена и Огарева в адрес Ростовцева в немалой мере повлияли на оценки его поведения перед восстанием в исторической литературе – как дореволюционной, так – особенно советской. Историки не обращались обычно к анализу первоисточников, характеризовали поступок Ростовцева как предательский и самого его упоминали главным образом в ряду известных своей одиозностью доносчиков.

Между тем в свете мемуарно-эпистолярных материалов, в том числе записок и писем самого Ростовцева, введенных в оборот уже после полемики 1857–1858 гг., объективное значение его поступка в ходе событий 12–14 декабря 1825 г. вырисовывается несколько по-иному. 12 декабря Ростовцев уведомил лидеров Северного общества о своем намерении, как писал позднее И.Д.Якушкин, “умолять” великого князя Николая Павловича “не принимать престол”, в тот же день представил ему письмо с оценкой сложившейся ситуации и вечером был принят в Зимнем дворце. В письме, прямо указав на непопулярность великого князя (“доверяя льстецам и наушникам Вашим, Вы весьма многих против себя раздражили”), Ростовцев, в виду таящегося против него “возмущения” “при новой присяге”, угрозы внутренних междоусобиц и распада империи, убеждал Николая “погодить царствовать” и остаться верным присяге уже провозглашенному императором Константиноу. В ответ на распросьбы Николая, Ростовцев не назвал ни одного имени и вообще не сказал ничего более конкретного и, таким образом, не только не выдал никого персонально, но не сообщил ни о существовании тайного общества, ни о заговоре, ни о планах восстания. Правда, о многом из этого Николай был уже извещен рапортом И.И. Дибича из Таганрога с изложением доносов И.В. Шервуда, А.К. Бошняка, А.И. Майбороды, поэтому предупреждение Ростовцева имело только одно практическое следствие – Николай назначил присягу Сената на раннее утро 14 декабря. По свидетельству Ростовцева, 13 декабря он рассказал о происшедшем ближайшему своему приятелю, одному из организаторов восстания Е.П. Оболенскому, передав ему копию письма к Николаю и запись своего разговора с ним. Любопытно, что когда в апреле 1857 г. Ростовцев узнал о решении Александра II издать книгу Корфа во всеобщее сведение, то, именно по его, Ростовцева, настоянию освещение данного эпизода было в ней значительно расширено за счет включения указанных выше документов. В “Исторической записке” Корф воспроизводит свой разговор на эту тему с Ростовцевым: “Касающийся до меня эпизод, – сказал он мне, – передан был в прежних из-

даниях кратко и с опущением некоторых подробностей, потому что книга печаталась единственно для покойного государя, которому они во всей полноте были известны; при том в изложении вкрались некоторые неточности, а главное – нет тут письма, с которым я явился к Николаю Павловичу 12 декабря. Как теперь книга предназначается для публики, то необходимо все это исправить и пополнить”. Я совершенно с ним согласился, – продолжает Корф, – и просил его сделать все эти дополнения, чтобы предварительно представить их на просмотр и одобрение государя, что по получении от Ростовцева и было мною исполнено” (ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 53 об.). Однако из письма Ростовцева Николаю Корфом был изъят чрезвычайно важный текст, дезориентирующий великого князя в соотношении военно-политических сил на момент переприсяги: “Государственный Совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за Вас, военные поселения и Отдельный Кавказский корпус решительно будут против. Об двух армиях ничего сказать не умею”. (Два документа из бумаг генерал-адъютанта И.И. Ростовцева // Рус. архив. 1873. № 1. С. 452–512; Иаков Иванович Ростовцев // Рус. старина. 1889. № 9. С. 617–639; *Шильдер Н.К.* Император Николай I. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 256–260, 274–77; Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. М., 1951. С. 147; *Гордин Я.* Мятёж реформаторов. С. 148–160).

Со стороны самих декабристов поступок Ростовцева был расценен как морально двусмысленный и вызвал поначалу естественное осуждение. Однако и в ту пору, и позднее, когда на каторге и поселении сложилась их коллективными усилиями историческая концепция восстания, декабристы воздерживались от однозначно-уничтожающих оценок поведения Ростовцева, отказываясь видеть в нем вульгарное доношительство. Этот взгляд выразился, в частности, в мемуарах, написанных в Сибири или в первые годы после возвращения из ссылки (некоторые из них увидели свет в 60–х годах XIX в.). Так, по мнению М.А. Фонвизина, Ростовцев “идет во дворец” к великому князю “не из корыстных видов, а испуганный мыслию о междоусобном кровопролитии”. А.Е. Розен в своих записках называл Ростовцева “предостерегателем” – “нельзя причислить его к доносчикам, потому что он 12 декабря предварил членов общества Рылеева и Оболенского”, дав им прочитать письмо к великому князю Николаю Павловичу, которого “предостерегал от предстоящей опасности вообще, но не назвал никого” (*Фонвизин М.А.* Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. II. С. 191; *Розен А.Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 136; 187–188). Сходной точки зрения придерживались уже после обличений Герценом и Огаревым Ростовцева В.И. Штейнгель, Н.В. Басаргин, М.М. Нарышкин. См.: *Штейнгель В.И.* Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1. С. 133–134; 151–152; *Басаргин Н.В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1986. С. 434; Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1975. Вып. 36. С. 150.

Декабристы, вернувшиеся из ссылки и по-прежнему приверженные освободительным идеалам, для своей “защитительной” позиции в отношении Ростовцева находили также опору и оправдание в его активнейшем участии в подготовке освобождения крестьян. Более всего резко

высказал в этом плане свое несогласие с Герценом Е.П. Оболенский. В ответ на жалобы Ростовцева по поводу нападок на него герценовских вольных изданий 1 января 1859 г. он писал: “Скажу тебе, что если бы при первом появлении статьи Герцена на книгу Корфа я имел возможность написать о тебе в отношении 14 декабря, то, что я знаю о твоих действиях и о том, что мною и тобою сохранено в свежей памяти, я бы это исполнил, как долг и как обязанность честного человека обличить клевету и ложь [...] слова Герцена не тебя оскорбляют, а того, который, сидя на острове, нападает на личность, а не на дела [...] слова Герцена падут в море забвения, и достойны сожаления” (Рус. архив. 1873. № 1. С. 510–511). Справедливости ради, следует сказать, что сам Герцен в последней своей крупной работе о декабристах – “Исторических очерках о героях 1825 года и их предшественниках...” (1868), несомненно, под влиянием мемуарных свидетельств декабристов (Н.А. Бестужева, И.Д. Якушкина и др.), несколько смягчил свой взгляд на Ростовцева и уже не вменял ему доноительство: “один молодой офицер, Ростовцев, принадлежащий к Обществу, имел свидание с Николаем и не на кого лично не донося, сообщил ему план восстания и пр.” (*Герцен А.И.* Собр. соч. Т. XX. Ч. 1. С. 265; Воспоминания Бестужевых. М., 1951. С. 32–34, 688–689).

...воспользоваться анархией, царившей тогда по всей правительственной России. – Перемена царствования с самого начала движения декабристов рассматривалась как наиболее благоприятный момент для открытого выступления тайного общества, и специальный пункт на тот счет содержался еще в Уставе Союза спасения, которым присяга новому императору обуславливалась его согласием на введение конституции и представительного правления, т.е. предусматривалась возможность отказа членов общества от присяги со всеми вытекающими отсюда последствиями. См.: *Нечкина М.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 154, 156.

...Зачем Александр I, сделав акт такой важности ... держал это под спудом ... окружавших его смертный одр в Таганроге? – Здесь затронут один из самых темных и запутанных вопросов истории междоусобицы. М.А. Корф в своем сочинении, где она была описана, по словам Герцена, “подробно” и “чрезвычайно характеристично”, сколько-нибудь ясного ответа на этот вопрос не дал.

В 1797 г. Павел I издал Указ о престолонаследии, устанавливающий преимущественное право первородства по мужской линии при занятии Российского престола. Еще летом 1819 г. Александр I уведомил великого князя Николая Павловича (у которого незадолго до того родился сын – будущий император Александр II), что со временем будет объявлен наследником престола, поскольку сам он давно вынашивает мысль об отречении, а его законный ныне наследник – великий князь-цесаревич Константин не желает царствовать. Это решение мотивировалось также тем, что оба они не имеют прямых наследников по мужской линии.

Отречение Константина было оформлено внутри царской семьи посредством обмена письмами между ним и Александром I 14 января – 2 февраля 1822 г., но только спустя более полутора лет, 16 августа 1823 г., по поручению царя московским архиепископом Филаретом был состав-

лен Манифест об отречении Константина и назначении наследником престола Николая, положенный на хранение в Успенский собор в Москве. Копии с него, снятые А.Н. Голицыным, были переданы в Государственный совет, Сенат и Синод. В Манифесте предписывалось “государственным сословиям” принести “всеподданническую преданность” вновь назначенному наследнику лишь по смерти Александра I. Однако на конверте с подлинником Манифеста его собственной рукой было написано: “Хранить в Успенском соборе [...] до востребования Моего, а в случае Моей кончины открыть Московскому епархиальному архиерею и Московскому генерал-губернатору [...] прежде всякого другого действия”. Аналогичная надпись была сделана Александром I и на конверте с копией Манифеста для Государственного совета. Таким образом Александр I не исключал возможности вскрыть конверт с Манифестом видимо с целью его публикации *еще при своей жизни*, полагая, очевидно, одновременно с тем обнародовать акт и о своем отречении. Дело в том, что намерение отречься от престола еще с юношеских лет тесно увязывалось в сознании Александра с преобразованием самодержавия в России в конституционную монархию. В известном своем письме к Ф. Лагарпу от 27 сентября 1797 г. он писал, что когда придет его черед царствовать, “нужно будет стараться [...] образовать народное представительство, которое, должным образом руководимое, составило бы свободную конституцию [...], после чего моя власть совершенно прекратилась бы, и я, если Провидение покровительствовало бы нашей работе, удалился бы куда-либо и жил бы счастливый и довольный, видя процветание своей родины и наслаждаясь им” (*Шильдер Н.К.* Император Александр Первый. Т. 1. С. 162–163). Неслучайно мысль Александра об отречении вновь актуализировалась с конца 1810-х годов – в разгар секретной подготовки проектов социальных и конституционных реформ и прежде всего Государственной уставной грамоты. Это, в частности, отмечено в дневниковых записях А.И. Михайловского-Данилевского, фиксировавшего как свои личные впечатления от конфиденциальных разговоров царя в кругу ближайших сотрудников, так и рассказы других весьма осведомленных лиц: “Государю хотелось перед отречением издать новые гражданские и уголовные законы и еще несколько коренных постановлений, чем и намеревался заключить свое царствование”. Промедление Александра I в обнародовании Манифеста об изменении порядка престолонаследия может быть, таким образом, объяснено и тем, что хотя он не решился в начале 1820-х годов ввести в действие Государственную уставную грамоту, его еще не покинуло окончательно намерение установить конституционный строй, т.е. еще не исчерпанной мыслью приурочить издание этого Манифеста с актом о своем отречении к провозглашению российской конституции. А отречься от престола, судя по свидетельству того же Михайловского-Данилевского, он собирался, как сам доверительно говорил в 1817 г. в узком кругу своих приближенных, не ранее чем через 10-15 лет, когда иссякнут его физические силы, т.е. в конце 1820-х – начале 1830-х годов. См.: Рус. старина. 1897. № 6. С. 472–473; *Семевский В.И.* Политические и общественные идеи декабристов. С. 31–32; *Мироненко С.В.* Страницы тайной истории самодержавия. М., 1990. С. 8, 78–84. Не следует, вместе с

тем, забывать, что и в 1825 г. Александр I был полон сил и вовсе не думал о скорой смерти. Окружающим его состояние не внушало в этом отношении особых опасений. По верному замечанию С.П. Трубецкого “Александр казался таким здоровым, обещал жить еще долго, и о приеме его никто не беспокоился” (см. наст. издание. С. 384). Так или иначе, до кончины Александра I 19 ноября 1825 г. в Таганроге Манифест так и не был обнародован, и само его существование царь держал в глубокой тайне. О Манифесте он не оповестил официально столь непосредственно в нем заинтересованных великих князей Константина и Николая. Ничего не знали о нем ни императрица Елизавета Алексеевна, ни сопровождавшие Александра I в Таганрог такие высокопоставленные сановники, как П.М. Волконский, И.И. Дибич, А.И. Чернышев. О содержании Манифеста не был оповещен и московский генерал-губернатор Д.В. Голицын, которому надлежало в случае смерти царя немедленно распечатать конверт с Манифестом в Успенском соборе. Точными сведениями о секретном Манифесте располагали только лица, прямо причастные к его появлению: Филарет, А.Н. Голицын, А.А. Аракчеев и вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Между тем сокрытие Манифеста сыграло роковую роль во всем последующем развитии событий, и породив, в сущности, династический кризис 1825 г. С точки зрения действовавшего законодательства, юридически-этикетных норм, которыми по многолетней традиции сопровождалось вступление на престол монарха, и общественного правосознания государственный акт такого значения приобретал законную силу лишь с момента обнародования. См.: *Пресняков А.Е.* 14 декабря 1825 г. М.;Л., 1926. С. 52–81; *Бартошевич В.В.* По поводу одной публикации. // *Константиновский рубль: Новые материалы и исследования.* М., 1991. С. 135–153; *Корнилов А.А.* Курс истории России XIX века. М. 1993. С. 144.

...” *Сделайте одолжение, вы вперед!*” ... “*Нет-с, помилуйте, за вами!*” – Высмеивая процедуру взаимных присяг Константина и Николая в дни междуцарствия, Герцен использует диалог между Чичиковым и Маниловым из “Мертвых душ” Гоголя (Т. 1. Гл. 2).

Лазенки – Предместье Варшавы с резиденцией великого князя Константина Павловича, наместника в Царстве Польском.

С. 157. ...*московский генерал-губернатор ведет сенаторов присягать Константину Павловичу по записке Милорадовича, а Московский митрополит не хочет ... свой секрет.* – Герцен иронизирует над обстоятельствами присяги Константину в Москве, как они были освещены в книге М.А. Корфа (настоящее издание. С. 240–241). В ней вообще оказались скрытыми истинные причины присяги Николая Константину Павловичу, положившей начало провозглашению его в стране императором. М.А. Корф, руководствуясь записками Николая I, изобразил присягу им Константину как результат его великодушия и добровольной инициативы.

Дело, однако, обстояло совсем иначе. М.А. Милорадович, выражавший проконстантиновские симпатии столичных военных кругов, прежде всего гвардейских, и их явную неприязнь к известному своими деспотическими замашками Николаю всячески препятствовал его притязаниям на престол. К тому же в первые дни междуцарствия он был единственным

государственным лицом, располагавшем в Петербурге реальной силой. С.П. Трубецкой, со слов в высшей степени осведомленного Ф.П. Опочинина (в прошлом любимого адъютанта цесаревича, а в период междуцарствия – конфиденциального посредника между Петербургом и Варшавой), свидетельствовал в своих замечаниях на книгу М.А. Корфа, что 25 ноября 1825 г., как только стало известно о безнадежном положении Александра I, Милорадович по поводу заявленного Николаем права на престол, “ответил наотрез, что вел. кн. Николай не может и не должен никак надеяться наследовать брату своему Александру в случае его смерти; что законы империи не позволяют государю располагать престолом по завещанию; что притом завещание Александра известно только некоторым лицам и не известно в народе [...], что Александр [...] должен был обнародовать при жизни своей волю свою и согласие на нее Константина; что ни народ, ни войско не поймет отречения и припишет все измене [...], что, наконец, гвардия решительно откажется принести Николаю присягу, [...] и неминуемое за тем последствие будет возмущение [...]” (см. настоящее издание. С. 385, а также: *Трубецкой С.П.* Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. Т. 1. С. 233–234, 294–296, 385–386; *Гордин Я.* Указ. соч. С. 22–29).

27 ноября, сразу же по получении вести о смерти Александра I Милорадович и вынудил Николая присягнуть Константину. Стремясь упрочить его позиции, он принял меры к скорейшей присяге гвардии и петербургского гарнизона, употребил свой авторитет, чтобы побудить Государственный совет поступить таким же образом и направил адъютанта в Москву с письмом к генерал-губернатору Д.В. Голицыну, предлагая немедленно присягнуть цесаревичу, конверта же с Манифестом Александра I от 16 августа 1823 г. просил не вскрывать. Склонявшийся к этому Д.В. Голицын был поддержан обер-прокурором московских департаментов Сената П.П. Гагариным, но встретил сопротивление Филарета, лучше чем кто-либо другой знавшего, кому завещан российский престол, и ссылавшегося на отсутствие соответствующих указов Сената и Синода. После упорных настояний Д.В. Голицына Филарет дал согласие на присягу, которая и состоялась утром 30 ноября 1825 г.

С. 158. *...От вас ждут человеческого сердца... Вы необыкновенно счастливы!*” – Герцен цитирует свое “Письмо к императору Александру Второму”, опубликованное в “Полярной звезде” (1855. Кн. 1). См.: *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. XII. С. 272.

...граф Панин ударил в порыве верноподданнического усердия Пугачева... – Об этом реальном эпизоде, когда командовавший правительственными войсками генерал П.И. Панин, в Самаре в ответ на дерзкий ответ Пугачева ударил его до крови и вырвал клоч бороды, Герцен мог узнать из “Истории Пугачевского бунта” А.С. Пушкина (гл. 8).

...в Следственной комиссии и в государственном кабинете... позор долго не сотрется... – Во время допросов декабристов в Зимнем дворце Николай I осыпал их грубыми оскорблениями: “разбойник”, “изверг”, “закоснелый злодей”, “убийца”, “подлец” и т.д. Это засвидетельствовано в воспоминаниях декабристов и в записках и письмах самого царя.

РАЗБОР КНИГИ КОРФА

Первая публикация. Опубл.: *Огарев Н.П.* Избранные социально-политические и литературные произведения. М., 1952. Т. 1. С. 203–270.

С. 160. “*В гррррр заколочу Демосфена*”. – Анекдот, приведенный Огаревым, почти текстуально совпадает с рассказом Герцена в гл. ХЛ пятой части “Былого и дум” о случае, происшедшем с одним незадачливым солдатом на смотре войск Николаем I. Само это выражение, ставшее своего рода нарицательным обозначением воинствующего деспотизма времен Николая I, Герцен не раз употреблял в публицистических сочинениях и переписке. См.: *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. X. С. 159; Т. XV. С. 173; Т. XXIV. С. 409.

С. 163. ...(*от города Мир в Ликуи*)... – Рассказ о том, как во время пребывания в 1821 г. великого князя Николая Павловича в Варшаве он был наречен цесаревичем Константином “царем Мирликийским” заимствован М.А. Корфом из собственноручных заметок Николая I 1848 г. на рукописи первоначального текста его книги (см. настоящее издание. С. 342).

С. 164. *Жаль, что барон Корф ничего не разведал о разговоре Александра с схимником Алексием.* – В день отъезда Александра I из Петербурга утром 1 сентября 1825 г. он посетил Александро-Невскую лавру, где после молебна был приглашен в келью схимника Алексия. Келья являла собой странное зрелище: пол и стены были обшиты черным сукном, за перегородкой стоял черный гроб со схимой, свечами, ладаном и всеми принадлежностями похорон, служивший Алексию постелью. При этом он обратился к Александру I со следующими словами: “Государь, я человек старый и много видел на свете, благоволи выслушать слова мои. До великой чумы в Москве нравы были чище, народ набожнее, но после чумы нравы испортились. В 1812 г. наступило время исправления и набожности, но по окончании войны сей нравы еще более испортились. Ты, Государь, наш и должен стоять над нравами. Ты, сын Православной церкви, и должен любить и охранять ее. Так хочет Господь Бог наш!”

Келья схимника и его нравоучительная речь – последнее, с чем столкнулся Александр I, покидая свою столицу, произвели на него тягостное впечатление и еще более усилили его мистическое настроение. Рассказы об этом странном эпизоде получили устное распространение и запечатлелись в ряде сочинений, посвященных смерти Александра I. См. например: Последние дни жизни императора Александра I. Изд. И. Заикиным. СПб., 1827; Таганрог или подробное описание болезни и кончины императора Александра I. Сост. Н. Данилевским. М., 1828; *Шильдер Н.К.* Император Александр I. Его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. IV. С. 352–355, 482.

...и еще одно лицо. – Очевидно, речь идет о прусском принце Вильгельме (брате жены вел. кн. Николая Павловича – Александры Федоровны), которому Александр I в ноябре 1823 г. сообщил о своих завещательных распоряжениях относительно престолонаследия. По возвращении из России принц поставил об этом в известность своего отца – короля Фридриха Вильгельма III. Отсюда, вероятнее всего, дело получило официальную огласку – в Берлинском придворном календаре на 1824 г.

Николай Павлович прямо был назван наследником российского престола. Незадолго до отъезда в Таганрог о своем стремлении отречься от престола Александр I говорил наследному нидерландскому принцу Вильгельму Оранскому – мужу сестры царя Анны Павловны. Таким образом, в царской семье задуманные Александром I перемены в порядке престолонаследия не могли быть неизвестны. Неудивительно, что сведения о них проникли в придворно-аристократические сферы. Еще осенью 1823 г. сам Александр I рассказывал конфиденциально Н.М. Карамзину и его жене об отречении Константина и назначении своим преемником Николая. С.П. Трубецкой вспоминал, что “в высшем круге общества давно уже носилась молва, что Александр готовил себе в наследники второго своего брата Николая Павловича” и что “на этот предмет” составлено его “духовное завещание”. Вместе с тем, “это обстоятельство известно было не одной высшей петербургской публике; слух о нем должен был распространиться между многими проживавшими внутри государства, когда многим лицам, подобным пишущему эти строки, он не был тайною”. (См. наст. изд. С. 384); *Трубецкой С.П.* Указ. соч. Т. 1. С. 232–233; Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. М., 1866. С. 413; *Шильдер Н.К.* Император Александр I. СПб., 1898. Т. IV. С. 282, 478; *Пыпин А.Н.* Очерки литературы и общественности при Александре I. Пг., 1917. С. 175.

С. 165. *После этого какое же может оставаться сомнение в том, что Николай не только мог догадываться, но совершенно знал, в чем дело? Зная, в чем дело, зачем он присягал Константину?..* – Почти не располагая документальными данными, Огарев довольно точно почувствовал тенденциозность версии о том, что Николай до кончины Александра I, якобы, ничего не знал о государственных актах, связанных с объявлением его наследником престола и отречением Константина. Здесь и далее Огарев убедительно вскрывает непоследовательность и противоречия в обосновании этой версии в книге М.А. Корфа. (См. наст. изд., с. 234–238.) Трудно предположить, что о завещательных распоряжениях Александра I Николаю не рассказал прусский принц Вильгельм, друживший со своей сестрой и ее мужем, и что Николаю остался неизвестным Берлинский придворный календарь на 1824 г. Однако факт знакомства Николая еще до событий междоусобия с этими важнейшими актами удостоверяется рядом неопровержимых свидетельств. Так, в записке Константину Павловичу самого Николая от 3 декабря 1825 г. сказано, что 27 ноября после оглашения Манифеста Александра I о передаче ему права на престол и отречении Константина он, Николай, сообщил членам Государственного совета, что “содержание сего акта ему давно известно” (Рус. старина. 1897. № 2. С. 198–199). Это подтверждается записью в журнале заседаний Государственного совета 27 ноября 1825 г. собственного признания Николая на сей счет (она была приведена в книге М.А. Корфа и критически разобрана Огаревым). Правда, Корф дабы поставить под сомнение аутентичность этой записи, утверждал, что журнал не был поднесен на просмотр великому князю и потому не заслуживает доверия. В действительности же, государственный секретарь А.Н. Оле-

нин дважды подносил его Николаю (перед тем, как отослать в Варшаву цесаревичу), а тот даже в подписанный членами Государственного совета текст вносил исправления.

В особой своей записке об этом историческом заседании Государственного совета А.Н. Оленин рассказывает, что в ответ на просьбы его членов огласить Манифест Александра I Николай объявил им, “что он все знает, что дело это для него не было скрыто”. Тоже отмечено и в мемуарах другого участника заседания – А.С. Шишкова. (Сборник РИО. СПб., 1877. Т. XV. С. 508–509; *Шильдер Н.К.* Междуцарствие в России // Рус. старина. 1897. № 8. С. 198–199; *Он же.* Император Николай I. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 192, 202–203, 500).

Осведомленность Николая о существовании завещательных документов Александра I засвидетельствована в воспоминаниях литератора и театрального чиновника Р.М. Зотова, присутствовавшего 27 ноября в доме драматурга А.А. Шаховского при рассказе Милорадовича о только что происшедшем в Зимнем дворце. В ответ на настояния Милорадовича принести присягу Константину “Николай несколько поколебался и сказал, что, по словам матери его, императрицы Марии Федоровны, в Государственном совете, в Сенате и в Московском Успенском соборе есть запечатанные пакеты, которые в случае смерти Александра, повелено было распечатать, прочесть и исполнить прежде всякого другого распоряжения” (Ист. вестн. 1896. № 7. С. 42–43).

По авторитетному указанию С.П. Трубецкого в его замечаниях на книгу М.А. Корфа, еще 25 ноября 1825 г. в присутствии Милорадовича и других сановников Николай ясно дал понять: акты Александра I об объявлении его наследником и отречении Константина ему хорошо известны, что и дает ему право на престол (см. настоящее изд. С. 385). В записанных в ноябре-декабре 1847 г. Корфом воспоминаниях великого князя Михаила Павловича приведен его разговор с Николаем 3 декабря 1825 г. относительно принесенной им 27 ноября присяги Константину: “Зачем ты все это делал, – сказал Михаил Павлович, – когда тебе известны были акты покойного государя и отречение цесаревича?”. Любопытно, что на этот упрек Николай ничего не возразил.

Однако в феврале 1849 г. в заметках на дополнения Корфа к своему сочинению, куда тот собирался включить это свидетельство, Николай I никак не подтвердил слов, сказанных Михаилом Павловичем. Более того, еще в заметках 1848 г. на первоначальный вариант книги Корфа Николай I сослался на свои слова, якобы сказанные в конце ноября 1825 г. матери и А.Н. Голицыну: Манифест Александра I о престолонаследии “мне неизвестен, никто о нем не знал”, и эта фраза была воспроизведена Корфом в его книге.

Как бы то ни было, но в первом (1848 г.) издании книги Корфа этот эпизод из воспоминаний великого князя Михаила Павловича, уличающий Николая в осведомленности о завещательных актах Александра, был опущен, что вызвало со стороны великого князя недовольство. Обратив внимание Корфа на противоречия в освещении им вопроса о знакомстве Николая с этими актами, Михаил Павлович решительно настаивал на включении своего разговора с ним 3 декабря 1825 г. в новое изда-

ние книги: “Надо, чтобы потомство безошибочно видело роль каждого в этом важном деле, и видело также, что если Государственный совет и *другие* (явный намек на Николая I. – *Ред.*) сочли себя в праве и в возможности поступить вопреки воле Александра Павловича, то нашлись, однако, и такие, которые не покорились этому нарушению безмолвно и протестовали против него сколько были в силах; словом, надó, чтобы каждое из действовавших лиц было изображено в настоящем своем свете”. Корф не мог совсем пренебречь этими настояниями и в последующих изданиях книги коснулся данного сюжета, но далеко не полно, – по его собственному свидетельству в “Исторической записке”, “в весьма сокращенном виде, как приличествовало содержанию и тону всего сочинения” (ОРНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 25–30).

Совершенно очевидно, таким образом, что версия Корфа сложилась под решающим воздействием рекомендаций Николая I, стремившегося задним числом скрыть истинные обстоятельства своей поспешной и вынужденной присяги Константину и отвести обвинения в узурпации трона, права на который у него по действовавшему тогда законоположению были более чем сомнительны.

С. 166. ...” великий князь Николай Павлович торжественно отрекся... его величеству государю императору Константину”. – Огарев цитирует по книге Корфа (с. 236) речь Милорадовича на заседании Государственного совета 27 ноября 1825 г. В первоначальном варианте у Корфа этим словам предшествовало решительное утверждение Милорадовича: “содержание Манифеста вполне известно великому князю Николаю Павловичу”. В своих замечаниях 1848 г. Николай I дезуавировал это утверждение Милорадовича, еще раз отметив, что “мне содержание манифеста было вовсе неизвестно, и я первый раз видел и читал его, когда Совет принес его ко мне” (см. настоящее издание. С. 344–345). Корф учел царскую реплику и из окончательного текста книги подчеркнутые слова Милорадовича изъясил.

С. 167. ...Николай стал рассуждать о новом манифесте с Карамзиным... Написать манифест Сперанскому. – Огарев сжато излагает рассказ М.А. Корфа о подготовке Манифеста по поводу воцарения Николая. После известия о смерти Александра I Н.М. Карамзин часто бывал в Зимнем дворце, и Николай, звавший о его близости к покойному императору, намеревался сначала приблизить к себе знаменитого историка и писателя, пользовавшегося в русском обществе непререкаемым нравственным авторитетом. Согласно дневниковым записям К.С. Сербиновича еще за несколько дней до 12 декабря 1825 г., когда окончательно решился вопрос о вступлении Николая на престол, он предлагал Карамзину “заняться манифестом”. В дневнике Николая за 9 декабря отмечено: “Карамзин читал [...] свой проект манифеста”, и в тот же день они горячо обсуждали его текст (Рус. старина. 1874. № 10. С. 257; Междуцарствие... С. 77). Отмечая, что Карамзин “набросил на бумагу” начало и конец манифеста, М.А. Корф в своей книге неверно освещает причины последующего отстранения историка от столь ответственного поручения: параллельно к писанию манифеста был привлечен Сперанский, и Карамзин-де “сам от-

клонил это соперничество” (см. настоящее изд. С. 252–253). В действительности участие Карамзина в подготовке Манифеста “отклонил” не он сам, а Николай. Уже на следующий день – 10 декабря он привлекает к составлению Манифеста М.М. Сперанского, который 11-го декабря подготовил свой вариант, вполне устроивший царя. Для Николая оказались неприемлемыми ясно выраженные в карамзинском проекте манифеста просветительские представления о будущем царствовании как основанном на твердых законах, правосудии, милосердии и его преемственности с реформаторскими усилиями Александра I. См.: Неизданные сочинения и переписка Н.М. Карамзина. СПб., 1862. Ч. 1. С. 17–19.

С. 168. ...*Александр уважал в людях тайного общества ... велел арестовать Пестеля.* – Александр I, знавший о тайных политических обществах в армии еще с 1818 г., не предпринимал решительных планов к пресечению их деятельности почти до самой смерти. Лишь после поступления в июле-октябре 1825 г. крайне тревожных сообщений доносчика-провокаatora И.В. Шервуда, вошедшего в доверие к члену Южного общества Ф.Ф. Вадковскому, о зреющем заговоре во 2-й армии, Александр I 10 ноября отдал распоряжение усилить там разведывательные действия и арестовать Вадковского и его сообщников. П.И. Пестель же был арестован по доносу А.И. Майбороды, поступившем в Таганрог уже после смерти царя, – 1 декабря, и меры по обезвреживанию руководящего ядра Южного общества были приняты И.И.Дибичем и А.И.Чернышевым. Арест Пестеля состоялся утром 13 декабря в Тульчине. См.: рапорт И.И.Дибича на высочайшее имя от 4 декабря 1825 г. // *Шильдер Н.К.* Император Александр I. Т. IV. С. 408–418; *Федоров В.А.* Доносы на декабристов (1820–1825) // *Сибирь и декабристы.* Иркутск, 1985. Вып. 4.

...*в уничтожении смертной казни Елизаветой...* – императрица Елизавета Петровна фактически отменила смертную казнь в России Сенатским указом от 7 мая 1744 г., запрещавшем исполнение смертных приговоров над осужденными за различные виды преступлений, и в последующей законодательной практике не раз ссылалась на этот указ, подтверждая его действие. См.: ПСС. Т. XII. № 8944; Т. XIII. № 10086; *Соловьев С.М.* История России. М., 1963. Кн. 22. С. 527.

...*в наказе Екатерины.* – “Наказ” Екатерины II – философско-юридический трактат, изданный на русском языке (а также по-французски, по-немецки и на латыне) в качестве руководства для депутатов, избранных из различных сословий Российской империи в “Комиссию о сочинении нового Уложения”. “Наказ”, впитавший в себя воззрения умеренного крыла европейских просветителей, провозглашал ряд гуманистических, пробуржуазных принципов, обосновывал необходимость в России просвещенного абсолютизма и в первоначальном варианте содержал рекомендации к ограничению крепостного права.

...*Клейн-михелями...* – употребление в уничижительном смысле фамилии одного из самых одиозных сподвижников А.А. Аракчеева и деятелей николаевского царствования П.А. Клейнмихеля.

С. 169. ...*Блудов...* сам во время оно обещал статьи для этого журнала. – Огарев допускает неточность: журнал тайного общества, “редак-

тором которого хотел быть Тургенев”, – это задуманный им осенью 1818 г. в рамках программно-тактических положений Союза благоденствия журнал “Россия начала XIX века или Архив политических наук и Российской словесности”. Для содействия ему было основано из членов Союза и близких к ним лиц на правах “вольного” объединения “журнальное общество”. Издание этого журнала, однако, не осуществилось, и Д.Н. Блудов, уехавший в конце 1817 г. на дипломатическую службу в русскую миссию в Лондоне, никакого отношения к нему не имел. См.: *Ковалевский Е.Г.* Граф Блудов и его время. СПб., 1866. С. 113. Но он был деятельным участником другого, также не реализованного издательского замысла, – попытки издания в 1817 г. по инициативе М.Ф. Орлова и П.А. Вяземского журнала литературного общества “Арзамас” См.: *Азадовский М.К.* Затерянные и утраченные произведения декабристов // Литературное наследство. М., 1954. Т. 59. С. 671–635; *Гиллельсон М.И.* Молодой Пушкин и арзамаское братство. Л., 1974. С. 126–134.

В первом томе своих мемуаров – “Записки изгнанника” Н.И. Тургенев, стремясь завуалировать свою роль в тайных обществах, писал, что идея издания журнала принадлежала лично ему и не была каким-либо образом связана с Союзом благоденствия. “Я обратился с просьбой, – продолжает он, – написать статьи к некоторым лицам, совершенно посторонним обществу, и даже надеялся, что составитель этого донесения пришлет мне кое-что”. Вместе с тем, парируя выпад в свой адрес “Донесения Следственной комиссии” (“Издание журнала предпринимал [...] Николай Тургенев: есть несколько возмутительных песен, которые тогда были сочинены и может быть распускаемы”), он напомнил здесь, что автор «Донесения» тогда “сам снискал себе известность стихами, островами, эпиграммами, в которых не давал пощадить правительству, а некоторые стоят самых возмутительных песен» (Россия и Русские Николая Тургенева. М., 1915. Ч. 1. С. 172–173). Таким образом, комментируемое утверждение Огарева является контаминацией двух неверно понятых свидетельств.

С. 170. ...донесение клевет на одного из благороднейших людей – *Никиту Муравьева ... то, что он никогда не говорил.* – В ходе следствия Н.М. Муравьев в отличие от других декабристов держался сдержанно, не называл лишних имен, многое умалчивал. Имя Н.И. Тургенева возникло в его показаниях несколько раз – обычно в тех случаях, когда оно уже было известно следователям. См.: *Дружинин Н.М.* Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 250–254; ВД. Т. 1. С. 293, 307, 308, 311, 317, 319, 325. В “Донесении” показания Н.М. Муравьева на Тургенева упоминаются дважды. Одно из них, где он фигурирует среди основателей Северного общества, сильно задело Тургенева, как только ему стал известен текст “Донесения”. В своих мемуарах он приводит свидетельство Н.М. Муравьева, переданное через мать и жену перед отправкой в Сибирь, о том, что “никогда ничего не показывал” против Тургенева. См.: Россия и Русские Николая Тургенева. Т. 1. С. 214–215. Это и имел в виду Огарев.

С. 171. *Крузентольне (Der russische... с. 349).* – Имеется в виду труд шведского историка, литератора и публициста Магнуса Якоба Крузен-

штольпе “Der russische Hof von Peter I bis auf Nikolaus I und eine Einleitung. Bassalang von Peter dem Ersten”. Hambourg, 1855–1857. Bd. 1–6.

В последнем его томе освещалось царствование Николая I. В статье “Западные книги” (Колокол. Лист 6. 1 декабря 1857) Герцен указал на несомненную пользу этого труда, особенно в сравнении с официальной исторической литературой: “для нас, сведенных на Устрялова и Корфа, и эта книга не без интереса. Мы рекомендуем, впрочем, и остальные томы, в них русский читатель много найдет любопытного, особенно о временах Елизаветы, Екатерины II и о совершенно неизвестном у нас царствовании Павла I”. См.: Герцен А.И. Собр. соч. Т. XIII. С. 102.

plus royalistes que le roy – больше роялисты, чем сам король (фр.).

С. 173. *Александр I все более и более мучимый мыслью об убийстве отца, в котором был невинным участником.* – Представление Огарева об Александре I – “невинном участнике” антипавловского заговора отражает неосведомленность русского общества той эпохи в обстоятельствах дворцового переворота 1801 г., который до 1905 г. вообще был в России государственной тайной. Лидеры заговора Н.П. Панин и П.А. Пален еще в 1800 г. ввели его в курс дела, и Александр дал согласие на устранение Павла I с престола при условии сохранения ему жизни. Однако есть сведения, что он догадывался о возможности цареубийства, но никак не препятствовал ему и накануне даже принимал меры по организации сил заговорщиков. См.: Эйдельман Н. Грань веков. М., 1982. С. 187, 194, 217, 259–262, 275, 281, 283, 298, 299, 334.

По свидетельству Н.И. Греча – наблюдательного и многознающего современника – “образ вступления на престол оставил в душе Александра невыносимую тяжесть, с которой он сошел в могилу [...] . Тень отца, в смерти которого он был виноват, преследовала его повсюду” (*Греч Н.И. Записки о моей жизни.* М., 1990. С. 117–118). Всю последующую жизнь Александр I старался искоренить из сознания современников любые напоминания о своей причастности к заговору. С одной стороны, в критические моменты царствования над ним давлел страх разделить участь отца, с другой – Александр I, с его склонностью в углубленной рефлексии и мистицизму, действительно, терзался угрызениями совести, что не могло не отражаться на его политике и взаимоотношениях с окружающими.

С. 174. *...в начале составления общества не было мысли о перемене правительства, это очевидно из самого донесения следственной комиссии.* – Усеченно цитируя далее показание С.П. Трубецкого, Огарев неверно излагает “Донесение”, где ясно сказано: “Целью, составления их общества было с самого начала изменение государственных установлений”. Если под “переменой правительства” Огарев имел в виду коренные государственные преобразования, то они входили в программные установки уже первой конспиративной организации декабристов – Союза спасения, основатели которого предполагали освобождение крестьян от крепостного права и ликвидацию самодержавия с заменой его представительным правлением в форме конституционной монархии.

...Пестель шел далее; его задушевной мыслью было изменение экономического порядка в государстве... пролетариат в России был бы

невозможен. – В изложении аграрной программы Пестеля Огарев, как и следует из его подстрочной ссылки, опирался на мемуары Н.И. Тургенева “Россия и Русские” – единственный источник, откуда можно было тогда почерпнуть об этом сведения, поскольку “Донесение” Блудова об аграрных воззрениях Пестеля умалчивало, а следственная документация и текст “Русской Правды” с их изложением увидели свет только в XX в. Между тем самой “Русской Правды” (в ранней ее редакции 1822–1823 гг.) Тургенев не читал (поздняя была написана уже после его отъезда из России в апреле 1824 г.) и его свидетельства на сей счет основаны, видимо, на известных ему сведениях о жарких спорах с Пестелем на Петербургских совещаниях декабристов весной 1824 г. Сам же он виделся с ним тогда всего один раз. См.: Очерки из истории движения декабристов: Сб. статей. М., 1954. С. 107–108. По прошествии 15–18 лет (книга “Россия и Русские” писалась в конце 1830-х – начале 1840-х годов) Тургенев многое, видимо, запечатлел и передал существо аграрной программы Пестеля односторонне и неточно, сведя ее лишь к “обобществлению земельной собственности”, которая распределялась бы между всеми нуждающимися в ней, и на этом основании ошибочно квалифицировал пестелевскую программу как русский вариант социальных утопий Р. Оуэна и Ш.Фурье, получивших широкую известность в Европе уже в 1830-х годах. См.: *Russie et Russe par N. Tourgeneff*. Bruxelles, 1847. Т. I. P. 128–129.

Отправляясь от данной квалификации, Огарев, также, как и Герцен, считавший Пестеля “первым социалистом в России” (*Герцен А.И. Собр. соч.* Т. VII. С. 200, 418; Т. XX. Ч. 1. С. 241), усмотрел в его аграрном плане начала 1820-х годов зачатки теории русского общинного социализма середины XIX в., ориентированной на некапиталистический путь развития. В действительности же аграрный проект Пестеля предусматривал разделение всей обрабатываемой земли в пределах каждой волости на две равные части: одна – неотчуждаемый общественный фонд, который отдельными участками безвозмездно раздавался бы во временное пользование прежде всего малоимущим с целью предотвращения пауперизации населения, другая – находилась бы в частной собственности и не только помещичьей, но и крестьянской с правом купли-продажи, дарения, завещания и т.д. При наличии некоторых черт уравнительности и традиционных для России норм общинного землепользования, в целом проект Пестеля по своему объективному значению был программой переустройства аграрных отношений на типично буржуазных основаниях. См.: ВД, Т. VII. С. 44–48, 66–69; Литературное наследство. М., 1956. Т. 63. С. 104–106; *Волгин В.П.* Очерки истории социалистических идей. Первая половина XIX в. М., 1976. С. 373–374.

С. 175. *Автор донесения никогда не упускает случая ... как бы нелепа ни была выдумка.* – Герцен и Огарев, идеализировавшие декабристов как “рыцарей с головы до ног, кованых из чистой стали”, не имели, вместе с тем, достоверных и систематических сведений об их поведении на следствии (последние стали известными многие десятилетия спустя из публикаций декабристских мемуаров и документов следственного процесса). Поэтому они решительно не допускали самой возможности дачи

ими “пустых и лживых показаний” “ко вреду товарищей”, и любые сообщения такого свойства “Донесения” воспринимали с недоверием. Между тем, в ходе следствия многие декабристы по сложному сплетению причин сословно-этического, идейного, сугубо личностного порядка, раскаивались в своем участии в тайном обществе, называли неизвестные следствию имена участников движения, рассказывали о наиболее опасных, с точки зрения властей, эпизодах его истории, оговаривая, таким образом, друг друга. Такого рода чрезмерно откровенные показания, руководствуясь, правда, различными мотивами, давали и признанные вожди тайных обществ, например, П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.П. Трубецкой. См.: *Эйдельман М. Лунин. М., 1970. С. 110–177.*

В частности, все, что сказано в “Донесении” о так называемом Малороссийском обществе, роли в нем М.Н. Новикова и В.Л. Лукашевича, – не “ложь, изобретенная” его автором, а точное изложение показаний М.И. и С.И. Муравьевых-Апостолов об основанной М.Н. Новиковым в 1818 г. в Полтаве на базе масонской ложи “Любовь к истине” управы Союза благоденствия. См.: ВД. Т. IV. С. 258, 263, 281; М., 1950. Т. IX. С. 189, 192, 199, 244–245, 268, 280. О деятельности управы в исторической литературе имеются точно установленные данные, хотя существование Малороссийского общества как обширной конспиративной организации на следствии не было доказано. См.: *Семевский В.И. Указ. соч. С. 291–293; Лотман Ю.М. М.А.Дмитриев-Мамонов – поэт, публицист и общественный деятель // Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Тарту, 1959. Вып. 78. С. 62–83; Ланда С.С. Дух революционных преобразований. М., 1975. С. 162–164, 338–339.*

С. 175–176. *Такой клевете подвергся в особенности князь Трубецкой... в приказчики к своему барину.* – В донесении действительно присутствуют тенденциозные оценки С.П. Трубецкого как человека слабого, боязливого, не отдающего себе отчета в собственных словах и поступках и т.п. Эта уничижительная тенденция имела своим источником крайне неприязненное отношение к нему Николая I. В силу принадлежности С.П. Трубецкого к старинной титулованной аристократии и его прочных связей (через родственников жены) с влиятельными дипломатическими кругами Европы он представлялся особенно опасной фигурой в заговоре, и потому Николай I делал все, чтобы его нравственно и политически дискредитировать. В воспоминаниях Н.И. Греча зафиксированы распространявшиеся в петербургской публике еще с декабря 1825 г. злобные слухи о том, что в день восстания Трубецкой струсил, а на первом же допросе чуть ли не в слезах бросился перед царем на колени с просьбой о пощаде. Они явно были пущены из Зимнего дворца – свидетельство Н.И. Греча почти дословно совпадает с рассказом самого Николая I о допросе Трубецкого, который как отмечено в записках царя, “в самом постыдном виде” “изобличал еще больше и себя и многих других” (см. настоящее издание. С. 335; *Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 270–271; Лавров Н.Ф. Диктатор 14 декабря // Бунт декабристов. Л., 1926. С. 208–209.*

Стремлением морально унижить Трубецкого в глазах общественного мнения продиктована и ложная версия о растрате им, якобы, денег тай-

ного общества. По воспоминаниям весьма осведомленного публициста-эмигранта П.В. Долгорукова, она восходила непосредственно к Николаю I, редактировавшему рукопись “Донесения Следственной комиссии” перед выпуском ее в свет: “Николай прибавил к рукописи еще разные свои затеи (в чем признавался мне сам Блудов), а Блудов имел непростительную слабость согласиться на эти дополнения... В числе этих гнусных прибавлений находится между прочим *подлейшая клевета* на князя Сергея Петровича Трубецкого; там сказано, что собранные для дел тайного общества пять тысяч рублей он издержал, но не на дела общества [...]” (Долгоруков П.В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта, 1860–1867. М., 1992. С. 268–269).

В 1855 г. сын И.Д. Якушкина – Е.И. Якушкин побывал в Сибири у отца и его друзей – ссыльных, декабристов. В августе того же года, передавая их коллективные воспоминания о следствии 1825–1826 гг., он писал: “Про Трубецкого сочинили несколько возмутительных рассказов, но когда-нибудь откроется, что в них нет ни слова правды”. В одном из этих рассказов, продолжает Е.И. Якушкин, говорится, “что Трубецкой, когда привели его к Николаю Павловичу, упал на колени и просил пощадить его жизнь, и что Николай Павлович сказал ему: вы “будете жить, ежели у вас достанет сил жить так постыдно”. В отчете следственной комиссии есть намек на то, что Трубецкой воспользовался общественным капиталом в 5 т. руб. асс. Это последнее обвинение смешно, конечно, ему не верил и тот, кто писал его. Трубецкой был богат и ему не было нужды воспользоваться такой бездельной суммой – его пожертвования в пользу товарищей в Сибири показывают, кроме того, что его менее всего можно упрекнуть корыстолюбием. Но и первый рассказ – наглая ложь” (Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. М., 1926. Т. I. С. 54–55); Трубецкой С.П. Указ. соч. С. 54–58).

С. 177. ...этот документ в руках правительства и хранится под спудом... – “Русская правда” – основной конституционный документ Южного общества, – написанная П.И. Пестелем в качестве наказа (или проекта) Временному революционному правлению, должна была быть, по его замыслу, обнародована в момент победы восстания вместе с манифестом о низложении старого режима. Поэтому ее сохранению придавалось исключительное значение, и накануне ареста Пестеля она была тайно зарыта в землю в украинском селе Карнасовка. Царские власти, звавшие о существовании “Русской правды” еще из ноябрьского доноса А.И. Майборода, предприняли специальные усилия по ее розыску, в начале 1826 г. она была обнаружена и доставлена в Петербург. В “Донесении Следственной комиссии” “Русская Правда” не раз упоминалась, однако, ее ведущие социально-политические идеи, аграрная программа Пестеля, его взгляды на государственное и общественное устройство послереволюционной России здесь тщательно обойдены.

В ходе процесса над декабристами “Русская Правда” была сочтена самой страшной уликой против них, хотя, по мнению П.Е. Щеголева, “не только членам Верховного уголовного суда, но даже и членам Следственной комиссии она не была хорошенько известна”. После суда вместе

со следственными делами “Русская Правда” была запечатана и на 80 лет погребена в Государственном архиве. К ней не был допущен ни М.А. Корф, ни другой историк официального направления – М.И. Богданович, который в завершающем, 6-м томе своей “Истории царствования императора Александра I” (СПб., 1871) сумел все же использовать некоторые следственные материалы. Впервые к работе над “Русской Правдой” в начале 80-х годов был допущен Н.Ф. Дубровин, снявший с нее копию, по которой в начале XX в. П.Е.Щеголев подготовил издание памятника, но с существенными пропусками и дефектами. См.: *Пестель П.И.* Русская Правда. Наказ Временному верховному правлению. СПб., 1906. Полный и научно выверенный текст “Русской Правды” был введен в общественно-историографический оборот только в 1958 г. См.: ВД. Т. VII.

С. 179. ... было пущено в публику рукописное письмо Рылеева к жене... следственно оно подложное. – Речь идет о предсмертном письме К.Ф. Рылеева к жене от 13 июля 1826 г., проникнутом чувством глубокого раскаяния и христианского смирения. 15 июля А.Н. Голицын уведомил коменданта Петропавловской крепости А.Я. Сукина о повелении Николая I доставить письмо казненного по назначению и в тот же день оно было получено Н.М. Рылеевой. См.: ВД. Т. VIII. Алфавит декабристов. С. 391. Впервые напечатано Н.И. Гречем в составе его записок. См.: Рус. вестн. 1868. № 6. С. 384–385. Начиная с 1826 г. письмо расходилось по России в многочисленных списках (и даже перелагалось в стихи) как последнее высказывание популярного поэта и знаменитого политического узника. Потаенное распространение письма сыграло заметную роль в возбуждении недовольства передовых общественных кругов карательной политикой Николая I и беспрецедентной жестокостью самой казни. Лица, причастные к размножению списков “письма преступника Рылеева” подвергались политическим гонениям. См.: *Рылеев К.Ф.* Полн. собр. соч. М.;Л., 1934. С. 75–76, 518–519, 833–836.

Естественно, Огарев, не доверявший указаниям “Донесения” на раскаяния декабристов во время следствия, расценил покаянное письмо Рылеева правительственной фальсификацией. Это, однако, вызывало возражение со стороны военного писателя и историка Д.А. Кропотова, тесно связанного еще в молодости с семьей казненного декабриста. В 1869 г., в 3-м номере “Русского вестника” он писал: “Мне случилось прочесть в одном из лондонских изданий [...], будто написанное Рылеевым за несколько часов пред смертью письмо, в котором он выражает раскаяние и христианские убеждения, подложное и никогда не существовало. Я, со своей стороны, почитаю долгом засвидетельствовать, что оно действительно было им написано и в моем присутствии вручено жене Рылеева Ф.И. Прянишниковым, бывшим потом главнокомандующим почтовым ведомством, а тогда заведывавшим перепиской с заключенными” (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1980. Т. 2. С. 20).

Юшневский стоял задумчиво возле гроба ... и умер. – А.П. Юшневский, виднейший деятель Южного общества, живший с 1839 г. на поселении, умер 1 января 1844 г. при отпевании Ф.Ф. Вадковского, а не

Н.М. Муравьева, скончавшегося еще в 1843 г. Впоследствии на эту ошибку указал сам Огарев. В Листе 14 “Колокола” от 1 мая 1858 г. он поместил “Поправку”: “В вашей книге “14 декабря 1825 г. и император Николай I, – пишет нам один корреспондент, – вкралась важная ошибка (с. 248–249). Юшневский скончался не на похоронах Н. Муравьева, а другого товарища, Вадковского. Спешим исправить ошибку и притом не можем не повторить, что мы просим, умоляем всех соотечественников, имеющих в своих руках какие-нибудь документы о наших мучениках, о наших героях, доставлять их нам. Ведь для них настала история, это признал уже сам государь напечатанием корфовой книги. Мудрено ли, что мы наделали ошибок, не имея решительно никаких документов кроме воспоминаний и двух-трех разговоров шепотом за закрытыми дверями. Пусть же нам помогут – сыновья, братья, друзья великих предшественников наших”.

С. 182. *Доносчиков на тайное общество было четверо... ничего не донес.* – На самом деле их было не четверо, а по меньшей мере, пять. Это – близкий к кругу Союза благоденствия корнет лейб-гвардии Уланского полка А.Н. Ронов (1820), член Коренного совета Союза благоденствия, библиотекарь Гвардейского генерального штаба М.К. Грибовский (1821), член Южного общества, унтер-офицер 3-го Украинского Уланского полка И.В. Шервуд (1825), член южного общества, капитан Вятского пехотного полка А.И. Майборода (1825) и вошедший в доверие к декабристам В.И. Лихареву и В.Л. Давыдову, тайный агент начальника Южных военных поселений И.О. Витта А.К.Бошняк (Огарев называет его безымянным агентом), который, вопреки мнению последнего, доставил в 1825 г. важные сведения о разветвленном заговоре в 1-й и особенно во 2-й армиях. См.: *Федоров В.А.* Указ. соч. С. 130–147.

Член Союза благоденствия, подполковник квартирмейстерской части штаба 2-й армии Н.И. Комаров подозревался декабристами в измене еще в период Московского съезда 1821 г., куда был делегирован Тульчинской управой. “Было решение Комарова не принимать на наши совещания; ему уже тогда не очень доверяли”, – вспоминал И.Д. Якушкин. См.: Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. М., 1955. С. 43; *Нечкина М.В.* Указ. соч. С. 325–326, 351, 451. В “Донесении Следственной комиссии” воспроизведена реплика Якушкина Комарову: “Я на лице твоём вижу, что ты изменяешь обществу”, – очевидно, на этом основании Огарев и указал на него в числе других доносчиков. (О Я.И. Ростовцеве см. примеч. на с. 397–400 настоящего издания).

С. 186. *Из рассказа Корфа можно почти заподозрить Милорадовича в принадлежности к тайному обществу.* – Выражая недовольство Николая I М.А. Милорадовичем, М.А. Корф многозначительно намекал в своей книге на неприятие им мер к обезвреживанию петербургских руководителей заговора, имена которых 12 и 13 декабря 1825 г. были уже хорошо известны властям. К тайному обществу Милорадович, конечно не принадлежал, хотя был известен среди его участников своими либеральными настроениями. Вместе с тем, он мог быть осведомлен о планах декабристов от А.И. Якубовича и главным образом от

чрезвычайно близкого к нему Ф.Н. Глинки (не являясь членом Северного общества, он был вхож в штаб заговорщиков), рассчитывая использовать их усилия по срыву присяги Николаю, воцарению которого стремился воспрепятствовать. См.: *Базанов В.* Вольное общество любителей Российской словесности. Петрозаводск, 1949. С. 101–122; *Гордин Я.* Указ. соч. С. 133–137.

С. 187. *...кабаки были заперты и не были разбиты, несмотря на предложение Якубовича...* – Капитан Нижегородского драгунского полка А.И. Якубович, прославившийся военными подвигами на Кавказе, не был членом тайного общества, но находясь в 1825 г. в Петербурге, сблизился с декабристами и накануне восстания на совещании руководителей Северного общества у К.Ф. Рылеева предлагал “разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и идти ко дворцу”. Неприемлемое для декабристов по идейным и чисто этическим соображениям, это предложение было единодушно отвергнуто. См.: *Нечкина М.В.* День 14 декабря 1825 года. М. 1975 С. 30–31.

Это доказывают записки Е.Р. Дашковой... в нетрезвом состоянии. – В рассказе о свержении с престола Петра III в июне 1762 г. в Ропше Е.Р. Дашкова в своих записках упоминает письмо к Екатерине II А.Г. Орлова, написанное сразу вслед за тем с изложением обстоятельств умерщвления ее мужа. Письмо, реабилитирующее императрицу от подозрений в причастности к этому акту, тщательно хранилось, но после ее смерти, по приказу Павла I было уничтожено, однако, Ф.В. Ростовчин успел снять с него копию. Огарев отсылает читателя к третьей книжке “Полярной звезды” (апрель 1857 г.), где была напечатана статья Герцена “Княгиня Екатерина Романовна Дашкова” с пересказом этого эпизода из ее записок, причем Герцен привел здесь, со ссылкой на одного “достоверного человека”, текст письма А.Г. Орлова к Екатерине II, из которого следовало, что Петр III был убит непреднамеренно в пьяной драке. Огарев не мог сослаться на сами записки Е.Р. Дашковой, поскольку французское и русское их издание были выпущены Вольной печатью лишь в конце 1858 – начале 1859 г. См.: *Записки княгини Е.Р. Дашковой.* Лондон, 1859. Репринтное воспроизведение. М., 1990. С. 75; *Справочный том к запискам Е.Р. Дашковой, Екатерины II и И.В.Лопухина.* М., 1992. С. 45, 209–213; *Дашкова Е.Р.* Записки, Письма М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 78–79.

С. 188. *Из этого следовало бы, что Рылеев не был на площади... клевету донесения...* – Утром 14 декабря К.Ф. Рылеев находился на Сенатской площади и в ее окрестностях, способствовал сбору мятежных войск, но вскоре, по его собственному признанию: “побежал искать Трубецкого” – не явившегося на площадь диктатора восстания и с тех пор здесь больше не появлялся. См.: *Нечкина М.В.* День 14 декабря 1825 года. С. 333–334.

Донесение умолчало только имена трех членов тайного общества... на него показания... – В “Донесении Следственной комиссии” и в книге М.А. Корфа упомянуты как доносчики только И.В. Шервуд и А.И. Майборода.

С. 189–190. *Allons ensemble parler aux mutins... J'en viens* – Пойдем вместе уговаривать мятежников... Я только что оттуда (фр.).

С. 190. *...помиловать сына его друга Коновницына...* – К движению декабристов были причастны два сына прославленного героя Отечественной войны 1812 г., впоследствии Военного министра П.П. Коновницына – Петр, подпоручик Гвардейского генерального штаба, в 1825 г. член Северного общества, и Иван, прапорщик конно-артиллерийской роты, в тайном обществе не состоявший, но участвовавший в восстании 14 декабря в Петербурге. В данном случае речь идет, скорее всего, о первом из них. П.П. Коновницын-младший был осужден по IX разряду, приговорен к лишению чинов, дворянства с разжалованием в солдаты и определением в дальние гарнизоны.

...черная повязка... что-то замечательно отвратительное... один из предводителей мятежа – М.А. Корф в своей книге (см. настоящее изд. с. 271–272) почти дословно воспроизводит характеристику А.И. Якубовича из записок Николая I (см. настоящее издание. С. 328–329). Разговоры Якубовича с Николаем I 14 декабря (равно как и вообще его непоследовательное поведение в день восстания, отказ от ответственных военных поручений и т.д.) представляются противоречивыми и трудно объяснимыми. Декабристы и последующие историки по-разному оценивали образ действий Якубовича. Одни видели в его двусмысленных поступках чуть ли не предательство, другие – в контактах с Николаем I усматривали выполнение парламентарских или разведывательных заданий, третьи – полагали, что он скрытно действовал при этом в интересах умеренного крыла заговорщиков. Роль Якубовича накануне и в день восстания нуждается в дополнительном изучении. См.: Воспоминания Бестужевых. С. 704–707; Нечкина М.В. День 14 декабря 1825 года. С. 177–182.

С. 191. *Faites-moi ... rien à faire ici.* – Сделайте милость, ступайте домой, вам нечего здесь делать (фр.).

Cela ne servira à rien – Ни к чему это не приведет (фр.).

С. 192. *Chapeau claque* – складной цилиндр (фр.).

C'estr une affaire ... démêler – Это дело семейное, в которое Европе нечего вмешиваться (фр.).

С. 193. *...генерал Толь (из немцев)* – Генерал-адъютант, генерал-лейтенант свиты е.и.в. по квартирмейстерской части, начальник штаба 1-й армии К.Ф. Толь, принимавший участие в подавлении восстания и следствии над декабристами, был не “из немцев”, а выходцем из старинного голландского рода, еще в XV в. переселившегося в Эстляндию. К.Ф. Толь принадлежал к давно обрусевшим кругам остзейского дворянства, представители которого уже со второй половины XVIII в. составляли неотъемлемую часть офицерского корпуса русской армии.

С. 196. *К сожалению, Манифест 1 июня 1826 года ... не был напечатан в числе документов, и мы не имеем его перед глазами.* – При подготовке сборника “14 декабря 1825 и император Николай” его издатели из документов судебного процесса над декабристами располагали только брошюрой “Верховный уголовный суд над злоумышленниками, учреж-

денный по Высочайшему манифесту 1 июня 1826 года. С.-Петербург. 1826”, куда вошли акты, напечатанные 15–20 июля в столичных газетах – в “Северной пчеле”, “Санкт-Петербургских ведомостях” и “Русском инвалиде”. 21 июля последний (№ 174. С. 714) сообщал: “Жители других городов сим почтеннейше извещаются, что статья “Верховный уголовный суд над злоумышленниками”, в “Русском инвалиде” напечатанная, продается отдельной книжкой”. Такое же издание было выпущено во второй половине июля Сенатской типографией. Однако ни в одно из этих изданий сам Манифест от 1 июня 1826 г., написанный М.М. Сперанским и опубликованный 2 июня Сенатской типографией и 4 июня в “Русском инвалиде”, не был включен. См.: *Невелев Г.А. “Истина сильнее царя...”* М., 1985. С. 37, 171; ВД. Т. XVII. С. 69–70, 258–259.

С. 200. ...*Мы печатаем эти выписки из дела Мировича, потому что оно в публике не так известно...* – Дело В.Я. Мировича, в которому обратился М.М. Сперанский для историко-юридического обоснования судебной процедуры при рассмотрении дела декабристов в Верховном уголовном суде, хранилось самодержавной властью в строжайшей тайне и ко времени написания Огаревым “Разбора” действительно было почти не известно в русском обществе. Если не считать статьи В.А. Поленова “Отправление Брауншвейгской фамилии из Холмогор в Датские владения”, напечатанной в таком редком издании, как “Труды императорской Российской Академии” (СПб., 1840. Т. I), и Огареву вряд ли доступной, то документальные материалы о судьбе “Брауншвейгской фамилии” и самого Иоанна Антоновича появляются в русской печати лишь в “Чтениях МОИДР” за 1860 г. (Кн. III) и 1861 г. (Кн. I), затем в 1871 г. в “Сборнике РИО” (Т. VII) и 1873 г. в “Сборнике исторических материалов и документов, относящихся к новой русской истории XVIII–XIX века”. Исторические сочинения на эту тему М.И. Семевского, Д.Н. Блудова, А.Г. Брикнера проникают в печать еще позднее. См.: *Отечественные записки*. 1866. Т. VII; Ковалевский Ег. Граф Блудов и его время. С. 222–230; *Рус. старина*. 1974. № 10, 11. 26 том “Истории России” С.М. Соловьева с подробным описанием дела Мировича по материалам Государственного архива был опубликован в 1876 г.

Таким образом, Огарев мог опереться только на современные событиям правительственные акты, вошедшие в Полное Собрание Законов. Его утверждение о том, что попытка Мировича освободить Иоанна Антоновича из Шлиссельбургской крепости была спровоцирована Екатериной II, восходит, очевидно, к устным преданиям, распространявшимся вскоре после казни Мировича и закрепившимся в донесениях иностранных послов того времени из Петербурга. В.А. Бильбасов, автор одного из наиболее авторитетных исследований в этой области, считал такого рода предания “более или менее вымышленными” (*Бильбасов В.А. Иоанн Антонович и Мирович*. М., 1908. С. 30).

С. 204. ...*Судьба Лунина...* Лунин был один из замечательных партизанов 1812 года. – О судьбе М.С. Лунина, его участии в декабристском движении, пребывании на каторге и в ссылке, публицистической деятельности в Сибири, вторичном аресте в 1841 г. и заточении в Акатуй,

где он погиб в декабре 1845 г. при невыясненных до конца обстоятельствах см.: *Эйдельман Н.* Лунин. М., 1970; *Лунин М.С.* Письма из Сибири. М., 1987; *Лунин М.С.* Сочинения, письма, документы. Иркутск, 1988. Утверждение Огарева, что он был “один из замечательных партизанов 1812 года”, – ошибочно. Это одна из тех легенд, которыми был овеян героический облик Лунина при жизни и посмертно. В Отечественной войне он участвовал как штаб-ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка, отличившись во многих сражениях, но в партизанских отрядах не состоял.

С. 206. *Люби глас ... неправосудье истреби.* – Четверостишие из 9-й строфы стихотворения К.Ф. Рылеева “Видение. Ода на день тезоименитства Его императорского высочества великого князя Александра Николаевича. 30 августа 1823 г.”. Опубл.: Литературные листки. 1823. № 3. С. 39–40. Продолжает традицию гражданственно-”учительных” од Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, с их надеждами на просвещенного монарха как движущую силу общественных преобразований. Стихотворение характерно для ориентации передовой дворянской интеллигенции начала 20-х годов XIX в. на введение в России конституционно-монархического правления, проводящего сверху социально-политические реформы. Неслучайно обращение рылеевской оды к 5-летнему великому князю Александру Николаевичу, возведение которого на престол входило в планы умеренного течения в декабристском движении и активно обсуждалось даже в дни междуцарствия 1825 г. Стихотворение получило широкое распространение в списках и его строки (в том числе и те, что приведены в конце огаревского “Разбора”) были использованы А.И. Герценом в его известном “Письме к императору Александру II”, открывавшем собой первую книжку “Полярной звезды” 1855 г. См.: *Рылеев К.Ф.* Полн. собр. соч. С. 230–232, 621–623; *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. XII. С. 271–273.

М.А. КОРФ.

ВОШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. СПб., 1857.

С. 217. *...Великий князь найдет все в законном течении и устройстве, и ему придется только их поддерживать.* – Рассказ об объявлении Александром I Николаю Павловичу своего решения передать ему права на российский престол построен Корфом на записках Николая I. Этот же эпизод подробно описан в воспоминаниях императрицы Александры Федоровны, опубликованных во французском оригинале и русском переводе в “Русской старине” (1896. № 10). Копия их: “Memoires de 1817 a 1820”, хранится в ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2363/5. Здесь отрывок из этих воспоминаний воспроизводится по переводу его из книги “Междуцарствие...” С. 233.

“В июне месяце бригада моего мужа, состоявшая из Измайловского и стрелкового полков, выступила в лагерь близ Красного Села; я сопровождала туда великого князя. Матушка, которой принадлежало великолепное имение Красное, предоставила мне маленький домик, который и она занимала когда-то в царствование императора Павла во время военных

маневров. Этот маленький домик мне понравился, и я поселилась там на 3 недели, и эти три недели прошли слишком скоро для меня, так мне нравилась эта военная жизнь... Там, в Красном, однажды летом 1819 г., император Александр обедал у нас; он сидел между нами двумя, дружески беседуя; вдруг он переменял тон и, сделавшись очень серьезным, стал в следующих, приблизительно, выражениях говорить нам, что он остался доволен в это утро тем, как Николай провел свое командование, и что он вдвойне радовался видеть, что его брат хорошо исполняет свои обязанности, так как на него со временем возложено будет большое бремя, потому что он смотрит на него как на своего преемника; что это случится скорее, чем можно предполагать, так как это будет еще при его жизни.

Мы сидели, как окаменелые, широко раскрыв глаза, не произнося ни слова. Государь продолжал:

– Вы, кажется, удивлены, так знайте же, что брат Константин, который никогда не стремился к трону, теперь более чем когда-нибудь решил формально от него отказаться, предоставляя правам своим перейти к брату Николаю и его потомству. Что же меня касается, я решил сложить с себя свои обязанности и удалиться от света. Европа более чем когда-либо нуждается в государях юных, полных энергии и сил; а я уже не тот, что был, и я считаю своим долгом удалиться вовремя. Я думаю, что и король прусский поступит так же и уступит свое место Фрицу.

Видя, что мы едва сдерживаем рыдания, он принялся утешать нас и уверять, что все это случится не тотчас же, что может быть годы пройдут, прежде чем он приведет свой план в исполнение. Затем он оставил нас одних, и можно себе представить – в каком состоянии.

Никогда и тени подобных мыслей не было у меня, даже во сне! Нас точно громом поразило, и будущее представлялось нам мрачным и недоступным счастьем. Это был памятный момент в нашей жизни!”

С. 236. *...один из заговорщиков... потерял случай... и новым законом!* – Слова, сказанные А.А. и Н.А. Бестужевым членом Северного общества Г.С. Батеньковым при получении известия о присяге Государственного совета 27 ноября 1825 г. Константину Павловичу. Имелось в виду упущенная возможность легитимного провозглашения конституционно-монархического правления с возведением на престол императрицы Елизаветы Алексеевны или малолетнего великого князя Александра Николаевича. Нечто подобное Г.С. Батеньков говорил в тот день В.И. Штейнгелю, К.Ф. Рылееву и другим декабристам. См.: ВД. Т. XIV. С. 69, 70, 80. 101, 129–130.

С. 243. *...Сюда ежедневно являлся, по служебному своему званию один из самых деятельных заговорщиков ... успеху преступных их намерений...* – Имеется в виду один из директоров Северного общества, дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса полковник, князь С.П. Трубецкой, располагавший тесными связями в Главном штабе, в придворных и правительственных кругах.

С. 249. *Первое общество сего рода, основанное сперва по мысли трех лиц...* – Здесь говорится об инициаторах создания в начале 1816 г. Союза спасения капитане Гвардейского генерального штаба А.Н. Муравьеве,

прапорщике Гвардейского генерального штаба Н.М. Муравьеве и поручике лейб-гвардии Семеновского полка С.П. Трубецком.

С. 250. *Но показание одного чиновника... более утравивший свет...* – Речь идет о библиотекаре при Гвардейском штабе, члене Коренной управы Союза благоденствия М.К. Грибовском. Осенью 1820 г., незадолго до восстания Семеновского полка он сообщил подробнейшие сведения о тайном обществе командиру Гвардейского корпуса И.В. Васильчикову (затем представил о том же письменный донос начальнику штаба корпуса А.Х. Бенкендорфу). Вслед за тем на М.К. Грибовского было возложено, с одобрения Александра I, руководство тайной полицией в гвардии. Доносительная деятельность М.К. Грибовского долгое время хранилась в глубокой тайне, в печати его имя как правительственного осведомителя о декабристах впервые было названо только в 1873 г. Скрытым источником сведений М.А. Корфа на этот счет были, вероятно, рассказы самого И.В. Васильчикова. См.: *Равдин Б.А., Рогинский А.Б. Вокруг доноса Грибовского // Освободительное движение в России: Межвуз. сб. Саратов, 1978. Вып. 7. С. 91–100.*

...решился послать в Тульчин генерал-адъютанта Чернышева... для арестования одного из Бригадных командиров и командира Вятского пехотного полка полковника Пестеля. – Под “бригадным командиром” подразумевается генерал-майор С.Г. Волконский – единственный из членов Южного общества, кто командовал во 2-й армии бригадой. Однако М.А. Корф в данном случае ошибается, 6 декабря 1825 г. И.И. Дибич направил в Тульчин к главнокомандующему 2-й армией П.Х. Витгенштейну А.И. Чернышеву с предписанием арестовать П.И. Пестеля (на основании доноса А.И. Майбороды от 25 ноября 1825 г.), о Волконском же не было тогда и речи, поскольку сведения о его принадлежности к руководящему ядру Южного общества были получены из дополнительных распросов А.И. Чернышевым А.И. Майбороды в Тульчине лишь 22 декабря, и из показаний С.П. Трубецкого в Следственном комитете 23 декабря 1825 г. Арестован С.Г. Волконский был 7 января 1826 г. в Умани. См.: *Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. IV. С. 416; ВД. Т. IV. С. 10–38. Волконский С.Г. Записки. Иркутск, 1991. С. 37–43.*

С. 253. *...младшего товарища по штабной службе одного из заговорщиков...* – Имеется в виду активнейший участник Северного общества и восстания декабристов поручик, князь Е.П. Оболенский, также, как и Я.И. Ростовцев, состоявший адъютантом командовавшего гвардейской пехотой генерала К.И. Бистрома.

С. 262. *Это письмо заимствовано из разрешенного Государем Императором [...] изданию сочинения М.С. Волкова...* – Речь идет о книге известного русского инженера и ученого М.С. Волкова “Отрывки из зарубежных писем (1844–1849)”, вышедшей в Петербурге осенью 1857 г. Выпускник и профессор Института Корпуса путей сообщения, М.С. Волков явился поборником железнодорожного строительства в России. В 1836 г. одна из его статей на эту тему была рекомендована В.Ф. Одоевским А.С.Пушкину для публикации в “Современнике”. Сохранился высокий отзыв поэта об этой статье. В 40-х годах М.С. Волков был постоянным

сотрудником “Отечественных записок”, где выступал с работами по различным отраслям знания, в том числе по физиологии и теории музыки, а позднее проявил себя как выдающийся экономист. В 1843 г. М.С. Волков вышел в отставку и отправился в длительное заграничное путешествие, плодом чего и явилась указанная выше книга.

Во время путешествия в его руки случайно попали бумаги великой княгини Марии Павловны и среди них – копия письма к ней Николая I от 14 декабря 1825 г., текст которого М.С. Волков поместил в своей книге со следующим примечанием: “Сниходя к просьбе М.С. Волкова Ее Императорское Высочество Великая княгиня Мария Павловна соблаговолила испросить у Государя Императора Александра Николаевича дозволение напечатать записку к ней покойного Государя”. М.А. Корфу был предоставлен текст этого письма еще до выхода книги М.С. Волкова в свет. Любопытно, что вслед за ним он поместил здесь собственные воспоминания о 14 декабря 1825 г. с рассказом о поведении Николая I на Сенатской и прилегающей к ней площади, – едва ли не первый мемуарный текст о восстании декабристов, появившийся в русской подцензурной печати и в исторической литературе оставшийся совершенно незамеченным. См.: Отрывки из заграничных писем (1844–1849). СПб., 1857. С. 36–38; Пушкин. Письма последних лет, 1834–1837. Л., 1969. С. 176, 340, 375; Алексеев М.П. Пушкин и наука его времени // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1956. Т. 1. С. 117–119.

С. 265. *Двое из офицеров сего полка с другими их единомышленниками успели убедить солдат не присягать.* – “Двое офицеров” – это член Северного общества, штабс-капитан М.А. Бестужев, командир 3-й фузилерной роты лейб-гвардии Московского полка и штабс-капитан Д.А. Щепин-Ростовский, командир 6-й фузилерной роты того же полка, накануне восстания посвященный в заговор декабристов. Их “единомышленники” – поручик лейб-гвардии Московского полка А.А. Брокке, временно командовавший 2-й фузилерной ротой, и штабс-капитан этого полка, командир 5-й фузилерной роты В.Ф. Волков. Тот и другой не были членами тайного общества, но под влиянием организаторов восстания оставались верными присяге Константину Павловичу.

Злые умыслы этих двух офицеров ... и удержал от беспорядков и свою команду. – Опираясь на неточные в деталях воспоминания В.А. Перовского, М.А. Корф ошибочно указывает на “этих двух офицеров”, агитировавших начальника караула Московского полка у Нарвской заставы поручика А.С. Кушелева. В действительности, в ночь с 13 на 14 декабря М.А. Бестужев пришел сюда не с Д.А. Щепиным-Ростовским, а с подпоручиком того же полка князем М.Ф. Кудашевым, примкнувшим незадолго перед тем к Северному обществу. А.С. Кушелев, хотя и не входил в его состав, уже накануне восстания, сблизившись с декабристами – офицерами Московского полка, дал согласие не присягать Николаю Павловичу и склонить к тому же 4-ю роту. Появление М.А. Бестужева и М.Ф. Кудашева у Нарвской заставы было, видимо, связано со стремлением не пропустить через заставу великого князя Михаила Павловича, приезд которого с часу на час ожидался в Зимнем дворце и мог

отрицательно повлиять на планы заговорщиков. См.: ВД. Т. VIII. Алфавит декабристов. С. 105, 107; *Пресняков А.Е.* Указ. соч. С. 105–176; *Гордин Я.* Указ. соч. С. 216–218.

С. 265–266. *...один из упомянутых двух офицеров... и также ранил сопротивлявшихся ему гренадера и унтер-офицера.* – Командир лейб-гвардии Московского полка генерал-майор П.А. Фредерикс, бригадный командир 1-й гвардейской пехотной дивизии В.Н. Шеншин и полковник того же полка П.К. Хвоцинский были ранены сабельными ударами Д.А. Щепиным-Ростовским при выходе мятежных рот из казармы. Им же были ранены гренадер А. Красовский и унтер-офицер 5-й фузилерной роты Московского полка Моисеев.

С. 269. *...вошел внезапно незнакомый офицер, в адъютантском мундире... без всякого влияния на умы солдат.* – М.А. Корф в рассказе о “незнакомом офицере, в адъютантском мундире”, уговаривавшем солдат 2-й роты лейб-гвардии Преображенского полка не присягать Николаю Павловичу, имени его не называет. Между тем в записках капитана командира одной из рот Преображенского полка П.Н. Игнатьева, на которых основан этот рассказ (ОР РНБ. Ф. 380. № 57. Л. 3–7), “незнакомый офицер” был назван. Это – прапорщик лейб-гвардии Конного полка А.В. Чевкин, впоследствии известный дипломат и чиновник, который ко времени выхода в свет книги М.А. Корфа был еще жив, чем, видимо, и объясняется умолчание его имени. К тайному обществу А.В. Чевкин не принадлежал и какие-либо связи его с декабристами в исторической литературе не установлены. Арестованный еще в ночь на 14 декабря, он не был, однако, предан следствию и находился на военной службе до 1829 г. См.: *Пресняков А.Е.* Указ. соч. С. 101, 223; ВД. Т. VIII. Алфавит декабристов. С. 417–418; *Гордин Я.* Указ. соч. С. 214–215.

С. 271. *Он случайно заметил вышедшего из-за ворот забора одного штаб-офицера... скоро должна была открыться.* – Речь идет о С.П. Трубецком.

С. 273. *...сию последнюю нанес, одновременно с выстрелом Каховского, другой офицер... чтобы принудить графа удалиться.* – Это был Е.П. Оболенский, который как начальник штаба восставших из-за отсутствия С.П. Трубецкого фактически руководил мятежными войсками. Перед тем, как нанести удар М.А. Милорадовичу, он трижды убеждал его прекратить агитацию и удалиться с площади. См.: *Добринская Л.Б.* Евгений Оболенский в день 14 декабря 1825 г. // Проблемы общественной мысли и экономической политики России XIX–XX века. Л., 1972. С. 153–154.

С. 275. *Общая физиономия площади и бунтовавшей толпы, – рассказывает один очевидец, случайно зашедший туда во время утренней своей прогулки...* – По указанию Н.К. Шильдера, им был К.Г. Репинский, бессменный секретарь и доверенное лицо М.М. Сперанского с 1812 по 1839 г. См.: Каторга и ссылка. 1925. № 2 (15). С. 151. В предисловиях к разным изданиям своей книги М.А. Корф, перечисляя использованные материалы, воспоминаний К.Г. Репинского не называет. Тем самым является один из ее скрытых источников.

С. 281. ...командовавший 1-ю фузилерную роту офицер ... подошел к ней со словами: "Братцы... я раздам его без приказа". – Речь идет о члене Северного общества, поручике лейб-гвардии Гренадерского полка А.Н. Сутгофе, сумевшем уже после его присяги Николаю Павловичу вывести свою роту на помощь восставшим на Сенатской площади.

На пути ему вдруг пришла ужасная мысль – овладеть Зимним дворцом и, в случае сопротивления, истребить всю находившуюся в нем царственную семью. – Хотя мысль о цареубийстве не раз обсуждалась в тайных обществах, начиная с 1816 г., накануне восстания она была отклонена, попытка К.Ф. Рылеева в эти дни побудить П.Г. Каховского совершить покушение на Николая была его личной инициативой, а не согласованным решением руководителей Северного общества. По принятому ими плану государственного переворота, при захвате Зимнего дворца царская семья должна была быть арестована впредь до решения Верховным собором вопроса о государственном устройстве России. При введении конституционно-монархического правления судьба царской семьи решалась сама собой. В случае же ее сопротивления или введения республиканского строя предполагалось, что она будет выслана за границу. Поэтому утверждение М.А. Корфа о намерении Н.А. Панова "истребить ... царственную семью" является домыслом, не нашедшим себе места даже в таком тенденциозном документе, как "Донесение Следственной комиссии".

С. 287. ...между ними бродил, возбуждая их, молодой человек, отставной гражданский чиновник... Навел пистолет на брата своего царя. – Имеется в виду В.К. Кюхельбекер.

С. 288. ...один из тайных заговорщиков молодой поручик... смутить взвод, составленный из молодых солдат. – Речь идет о поручике лейб-гвардии Финляндского полка бароне А.Е. Розене. Не являясь членом тайных организаций декабристов, в последние дни междуцарствия он присутствовал на совещаниях Северного общества и согласился участвовать в восстании. На Исакиевском мосту А.Е. Розен задержал две с половиной роты Финляндского полка, шедших на Сенатскую площадь для поддержки правительственных войск.

С. 290. Настала решительная минута... – Описание артиллерийского обстрела восставших на Сенатской площади было составлено для второго издания книги (вошло во все последующие ее издания) на основе рассказа в письме к Корфу генерал-адъютанта А.И. Философова, принимавшего участие в этом эпизоде в качестве поручика и бригадного адъютанта 1-й артиллерийской бригады. Письмо не имеет даты, но время его написания предположительно определяется началом 1850-х годов. См.: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2533 (Письма, записки и заметки по поводу работы гр. М.А. Корфа "История жизни и царствования императора Николая I". Л. 17–18).

"Ежели вы действительно желаете передать потомству подробное описание событий 14 декабря 1825 г., то поместите и следующую черту, ярко обрисовывающую образ мыслей и пылкий и решительный нрав покойного нашего товарища и друга Ильи Бакунина.

Когда заряды были привезены, орудия заряжены и о сем государю, стоявшему у угла забора Исаакиевской церкви, донесено, его величество послал Сухозанета объявить мятежникам, чтобы они покорились. Залп из ружей проводил генерала, который с сим ответом явился к государю без султана на шляпе. Выслушав его, государь, звонким своим голосом прокомандовал:

– Пальба орудиями по порядку; первый фланг, начинай! **Первая!**

Команда эта, повторяемая всеми начальниками, наконец, выговорена была и Бакуниным; но слово **“Отставь!”**, прокомандованное государем, остановило **выстрел**. Через несколько секунд государь опять прокомандовал пальбу, и опять **“Отставь!”** остановило оную. Наконец, в третий раз его величество, убежденный в необходимости этой жестокой меры, прокомандовал опять и, сказав слово: **“Первая!”**, поскакал ко дворцу.

Третий раз повторенная Бакуниным команда оставалась без исполнения. **Пальник**, два раза слышавший отказ, не спешил выполнить команду банника: **“Пли!”** – Бакунин заметил или ожидал это, он мгновенно соскочил с лошади, бросился к пальнику и сказал:

– Что ты не стреляешь?

Ответ в полголоса:

– Свои, ваше благородие.

– **Ежели бы я стоял перед дулом, то и тогда не должен бы ты был останавливаться!** – закричал ему Бакунин.

Выстрел тотчас последовал, за ним второй, третий, так поспешно один за другим, что едва на седьмом выстреле канониры наши расслушали дробь для прекращения пальбы, с третьего выстрела уже раздававшуюся, и то тогда, когда мы все офицеры, на батарее бывшие, бросились их останавливать.

Я вспомнил все эти обстоятельства, когда вы уже вышли от меня, любезный Модест Андреевич. Извините мою старую память: ведь это дела давно минувших лет, предание старины глубокой.

Весь ваш душою А.Философов”.

С. 291. *В числе схваченных почти в самую первую минуту находился один из офицеров лейб-гвардии Московского полка. – Им был Д.А. Щепин-Ростовский.*

С. 295. *Когда великий князь вошел в кабинет Государев... лежал на коленях, умоляя о жизни один из заговорщиков, стяжавших вдруг самую несчастную известность... – Речь идет о С.П. Трубецком (см. примеч. на с. 412–413).*

...На другое утро появилось в петербургских газетах краткое известие о событиях рокового дня... – М.А. Корф имеет в виду составленное Д.Н. Блудовым по поручению Николая I вечером 14 декабря первое официальное сообщение о восстании, обнародованное 15 декабря 1825 г. в Прибавлениях к Санкт-Петербургским ведомостям (№ 100). Перепечатано 19 декабря 1825 г. в “Русском инвалиде”.

ДОПОЛНЕНИЯ

ЗАПИСКИ НИКОЛАЯ I

Мемуарные тексты Николая I, писанные карандашом, воспроизводятся по автографам, хранящимся в коллекции рукописей Библиотеки Зимнего дворца, при соблюдении правил современной орфографии и с сохранением характерных для эпохи индивидуальных особенностей правописания автогра. Сокращения отдельных слов и имен раскрываются без оговорок. Не оговариваются также зачеркивания и исправления в рукописи. Под строкой даны переводы французских текстов и примечания составителей, обозначенные пометой: “Ред.”. В настоящем издании использованы пояснения, примечания и переводы Б.Е. Сыроечковского к публикации мемуарных текстов Николая I в сборнике “Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи” (М.; Л., 1926).

Собственноручная рукопись записок Николая I о вступлении на престол и восстании 14 декабря 1825 г. написана на больших листах плотной бумаги обычного формата и состоит из четырех тетрадей (ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1394). Первая тетрадь (Л. 1–3) содержит в себе краткое вступление и рассказ о воспитании Николая Павловича и кампаниях 1812–1814 гг. По упоминаниям во вступлении 6-ти лет, прошедших после 1825 г., и в конце текста – 18 лет, прошедших после 1814 г., датируется 1831–1832 гг. (“Междуцарствие...” С. 11, 13). Во второй тетради (Л. 4–9), озаглавленной “О наследии после императора Александра I”, излагаются обстоятельства, при которых Николай Павлович узнал в 1819 г. о намерении Александра I передать ему права на российский престол. Датирующих признаков в тексте второй тетради нет, но, судя по тому, что он написан на бумаге с одним и тем же штемпельным знаком “Императорской Петергофской бумажной фабрики” (с двуглавым орлом среди овала), что и текст первой тетради, можно предположить, вторая тетрадь заполнялась одновременно с первой.

Третья тетрадь (Л. 10–23 об.) с описанием кануна восстания, его хода и подавления, по упоминанию в тексте 10-ти лет, прошедших после этих событий, датируется 1835 г. С этой нашей датировкой второй и третьей тетрадью согласуется запись в дневнике Корфа за 16 ноября 1847 г. Здесь идет речь о чтении наследником великим князем Александром Николаевичем в присутствии великого князя Константина Николаевича и Корфа записок Николая I, начинавшихся рассказом о сообщении Александром I своего решения передать ему права на российский престол и заканчивавшихся описанием событий 14 декабря, т.е. текста указанных выше тетрадей. Причем, наследник сказал, что записки эти составлены Николаем I в два приема: – в 1831 и 1835 гг. Четвертая тетрадь (Л. 23–31 об.) включает в себе описание происшедшего в ночь с 14 на 15 декабря 1825 г., арестов и допросов декабристов в первые дни после восстания. Она датируется по дневниковым записям Корфа за февраль 1848 г. Там под 20 февраля указано, что на балу у П.А. Клейнмихеля Николай I сказал Корфу, что, ознакомившись с перво-

начальным текстом его книги, “написал и еще несколько листов о дальнейших происшествиях, но [...] уже только более для памяти в семье”. О том, что эти новые записки составлены Николаем I, наследник говорил Корфу еще 11 февраля. Следовательно, четвертая тетрадь датируется началом февраля 1848 г. См.: “Междоусарствие...” С. 10.

Таким образом, записки Николая I о междоусарствии и восстании 14 декабря 1825 г. сложились из трех одновременно созданных частей: часть 1 – 1831–1832 гг. (тетради первая и вторая), часть 2 – 1835 г. (тетрадь третья) и часть 3 – февраль 1848 г. (тетрадь четвертая). Кроме того, в свое время имелось еще несколько листов записок с рассказом о получении в Петербурге в конце ноября 1825 г. известия о кончине Александра I и принесении присяги Константину Павловичу. Об их существовании 16 декабря 1847 г. сообщил Корфу наследник, отметивший, что нигде не мог отыскать этих листов, видимо, к тому моменту уже утерянных. По хронологии описываемых событий они должны были располагаться между второй и третьей тетрадями. Неясно, однако, принадлежали ли они к составу одной из этих тетрадей, т.е. были написаны в 1831–1832 гг. или в 1835 г., либо составлены в какое-то другое время как самостоятельная часть.

Записки Николая I стали вводиться в научный оборот с начала нынешнего века. Н.К.Шильдер в известном труде “Император Николай I. Его жизнь и царствование” (Спб. 1903. Т. 1. С. 122–123, 148–150, 155) опубликовал три отрывка из второй тетради. П.Е. Щеголев в “Былом” (1907. № 10) и в книге “Николай I и декабристы” (Пг., 1919. С. 44–62) напечатал третью тетрадь. Четвертая тетрадь увидела свет в “Красном архиве” (1924. № 6). Полностью записки Николая I были опубликованы Б.Е.Сыроечковским в 1826 г. в сборнике “Междоусарствие...” В настоящем издании печатается текст второй, третьей и четвертой тетрадью записок Николая I.

ЗАМЕТКИ НИКОЛАЯ I НА КНИГУ М.А. КОРФА И МАТЕРИАЛЫ К НЕЙ

Николай I, как уже отмечалось во вступительной статье, трижды обращался к труду Корфа.

Первый раз – в начале 1848 г., когда Корф представил ему чрез наследника, великого князя Александра Николаевича, рукопись первоначального текста своей книги, и царь сделал на ней критические и уточняющие заметки. См.: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1405. Ч. 1. Рукопись озаглавлена “Историческое описание 14-го Декабря 1825-го г. и предшедших ему событий, в том виде, как оно было первоначально составлено и рассмотрено Государем Императором Николаем Павловичем”.

Второй раз – в феврале 1849 г., когда Корф представил царю собственноручно переписанный им текст некоторых собранных дополнительно материалов к книге со своими примечаниями на полях. См.: Там же. Ч. II. Л. 4–18. Рукопись озаглавлена: «Дополнения к “Историческому описанию 14-го Декабря 1825-го года”». Сюда были включены: 1) “Рассказ Велико-го князя Михаила Павловича” (отрывок из его воспоминаний, записанных Корфом в 1847 г.); 2) “Воспоминания 2-го С.Петербургского коменданта

генерал-майора Греча”); 3) “Воспоминания Действительного ст. сов. Башуцкого, состоявшего в то время адъютантом при графе Милорадовиче, находившегося при его лице во весь день 14-го декабря”*; 4) “Выписка из современного Дневника Диякона Прохора Иванова, состоящего при С.Петербургских митрополитах с 1813-го года”. Николай I сделал свои заметки на полях первых трех указанных выше текстов.

В третий раз он обратился к истории своего воцарения в марте 1853 г., когда Корф представил рукопись книги, подготовленную ко второму изданию и значительно расширенную за счет не вошедших в первое издание сведений. Николай I сделал на ней свои новые заметки. См.: Там же. Ч. III. Рукопись озаглавлена Корфом. “14-е Декабря 1825-го года. Экземпляр с собственноручными отметками и поправками Императора Николая 1-го”.

В целом все эти заметки Николая I, иногда сжатые и лаконичные, иногда довольно пространные, дополняют его собственные записки о междуцарствии и 14 декабря. Единственный раз они были опубликованы Б.Е. Сыроечковским в сборнике “Междуцарствие...”, однако, неполностью – некоторые заметки на дополнения к книге Корфа (1849) и на рукопись, подготовленную ко второму изданию (1853), в сборник не вошли. В настоящем издании, за исключением несущественных фактических и редакционных поправок, впервые публикуется полный текст заметок Николая I.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА О СОБЫТИЯХ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Воспоминания были записаны Корфом со слов великого князя в декабре 1847 г. См.: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Т. XI. Л. 314–315; ОР РНБ. Ф. 380. Д. 51. Л. 2 об.–3. Их широко использовал Н.К. Шильдер в книге “Император Николай I. Его жизнь и царствование”. Опубликовано по копии у П.А. Ефремова в журнале “Минувшие годы” (1908. № 10).

В настоящем издании публикуются по автографу корфовской записи. См.: ГАРФ, Ф. 728. Оп. 1. Д. 1408. Л. 2–90 об. Автограф озаглавлен: “Записка, содержащая в себе воспоминания Великого князя Михаила Павловича о событиях 14-го декабря 1825-го года, составленная по личным мне рассказам его Высочества и исправленная потом по Его указаниям и под Его собственным руководством (1847)”. Переводы и текстологические примечания под строкой принадлежат Б.Е. Сыроечковскому, здесь же оговорены пояснения М.А. Корфа.

ВОЗРАЖЕНИЯ М.А. КОРФА НА “ПИСЬМО К ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II (ПО ПОВОДУ КНИГИ БАРОНА КОРФА)” А.И. ГЕРЦЕНА

Воспроизводится по автографу М.А. Корфа. См.: ГАФР. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2073. Л. 35–43 об. Опул.: *Сыроечковский Б.Е.* Корф в полемике с Герценом // Крас. арх. 1925. № 3 (20). С. 308–314.

* Опул.: Ист. вестн. 1908. № 1.

САМОВОСХВАЛЕНИЕ ПРОТИВ ГЕРЦЕНА

Воспроизводится по автографу М.А. Корфа. См.: ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2566. Л. 4–7. Опубл.: *Сыроечковский Б.Е.* Корф в полемике с Герценом // Крас. арх. 1925. № 3 (10). С. 314–316.

В.Е. ЯКУШКИН.

ЗАМЕТКИ А.Н. СУТГОФА О 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Заметки А.Н. Сутгофа написаны на полях книги М.А. Корфа “Восшествие на престол императора Николая 1-го” в 1857 г. по просьбе Е.И. Якушкина, сына декабриста. Опубл.: *Былое.* 1907. № 4/16. Сведения о Сутгофе, сообщаемые публикатором Заметок В.Е. Якушкиным, не совсем точны. А.Н. Сутгоф начал свое образование в Московском университете, вступил на военную службу юнкером в 1817 г., в 7-й егерский полк, в 1819 г. переведен в 25 егерский полк, поручик – с 1822 г., в декабре 1823 г. переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк. Принят в Северное общество в сентябре 1825 г. По данным алфавита А.Д. Боровкова, Сутгоф “был на решительных совещаниях у Рыльева и согласился для достижения цели общества поддерживать присягу цесаревичу. Он возмутил и вывел на площадь командуемую им роту” – это была рота, только что присягнувшая Николаю I. Он еще в казармах приказал солдатам зарядить ружья. Его рота была первым отрядом лейб-гренадеров, примкнувших к восстанию. См.: *Декабристы: Биогр. справочник.* М., 1988. С. 321. В приговоре Верховного уголовного суда Сутгоф был осужден по I разряду и по конфирмации 10 июля 1826 г. приговорен к каторжной работе вечно. Вначале был отправлен в Свартгольм, а затем в Сибирь. Вскоре после прибытия в Читинский острог переведен в Петропавловский завод. На поселение Сутгоф был обращен после отбытия срока каторги, сокращенной до 13 лет, на основании указа 10.7.1839 г. См.: Там же. С. 170–171.

С. 379. “*Рота гр. Ливена одна осталась в казармах*”. – Это замечание Сутгофа позволяет существенно уточнить подлинное число вышедших на Сенатскую площадь лейб-гренадер. По подсчетам Г.С. Габаева их было около 1250 человек. См. Указ. соч. С. 266.

“...*все это несправедливо. Якубович был оскорблен на площади К. Щепиным-Ростовским*”. – О поведении Якубовича на Сенатской площади см.: *Нечкина М.В.* День 14 декабря 1825 года. С. 176–182.

“*В г. Волкова не стреляли...*” – В публикации опечатка. Речь идет о командующем гвардейским корпусом генерале от инфантерии А.Л. Войнове.

С. 382. “...*лейб-гренадер и гвардейского экипажа еще не было на площади...*” – Нечкина полагает, что переговоры митрополит начал с одними москвичами, а завершены они были во время прихода моряков и гренадеров. См.: Там же. С. 232, 237–238.

“*Кричали: подлец*”. – Это замечание Сутгофа совпадает с воспоминаниями Николая Бестужева и с показаниями Штейнгеля.

С.П. ТРУБЕЦКОЙ.
ЗАМЕЧАНИЯ НА КНИГУ М.А. КОРФА
“ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I”

Печатается по публикации в кн.: С.П.Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности. (Иркутск, 1983. Т. 1), где рукопись воспроизводится по автографу. Датируется временем не ранее сентября 1857 – не позднее начала февраля 1858 г. Текстолог. и реальный коммент. см. в указ. изд., с. 389–392.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Авинов Николай Николаевич**, земский деятель, историк 57
- Аврамов Иван Борисович** (1802–1840), поручик квартирм. части. Декабрист 121, 142, 147
- Аврамов Павел Васильевич** (1790 или 1791–1836), полковник, командир Казанского пех. п. Декабрист 84, 90, 120, 140, 146
- Адлерберг Владимир Федорович** (1791–1884), гр. (с 1847), полковник л.-гв. Московского п., ад. вел. кн. Николая Павловича 17, 21, 25, 28, 29, 40, 41, 59, 211, 213, 232, 234, 252, 268, 269, 271, 285, 292, 328, 330, 343, 352
- Азадовский Марк Константинович** (1888–1954), литературовед, фольклорист, библиограф, этнограф 409
- Акулов Н.П.** см. Окулов Н.П.
- Александр I** (Александр Благословенный, Александр Павлович, Alexandre) (1777–1825), имп. с 1801 13, 18, 19, 31, 33, 39–41, 50–52, 69, 72, 80–82, 96–100, 102, 103, 106, 149, 152–157, 159–166, 168, 173, 174, 181, 185, 187, 204, 206, 210, 214, 216–222, 224–231, 234, 236–239, 244, 245, 248–250, 252, 257, 259, 280, 286, 297, 298, 300, 302–305, 307, 308, 310–314, 317, 322–326, 334, 342, 344–346, 358–361, 366, 383–385, 387, 388, 394–396, 400–408, 410, 414, 419–421, 426, 427
- Александр II** (Александр Николаевич, Саша, Sacha) (1818–1881), вел. кн., имп. с 1855 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20–27, 39–42, 44, 45, 47, 48, 50–56, 58, 59, 68, 69, 105, 107, 151, 160–162, 166, 206, 211, 216, 233, 234, 237, 253, 257, 259, 262, 270, 299, 317, 326, 370, 371, 377, 392, 393, 398, 400, 403, 419, 420, 422, 426–428
- Александр Благословенный** см. Александр I
- Александр Македонский** (356–323 до н.э.), царь Македонии с 336, знаменитый полководец Др. мира 270
-
- * Принятые сокращения: австр. – австрийский; ад. – адъютант; АН – Академия наук; англ. – английский; арм. – армия, армейский; арт. – артиллерия, артиллерийский; АХ – Академия художеств; библ. – библейский; вел. – великий; венг. – венгерский; Верх. уг. суд – Верховный уголовный суд по делу декабристов; воен. – военный; гв. – гвардия, гвардейский; ген. – генерал, генеральный; ген.-ад. – генерал-адъютант; ген.-губ. – генерал-губернатор; ген.-лейт. – генерал-лейтенант; ген.-м. – генерал-майор; ген. от инфант. – генерал от инфантерии; гл. – главный; главноком. – главнокомандующий; гос. – государство, государственный; гражд. – гражданский; гр. – граф, графиня; ГС – Государственный совет; губ. – губернатор, губерния, губернский; гусар. – гусарский; действ. – действительный; деп. – департамент; див. – дивизия, дивизионный; драг. – драгунский; др. – древний; егер. – егерский; е.и.в. – его императорское величество; и.д. – исполняющий должность; имп. – император, императрица, императорский; инж. – инженер, инженерный; ин. – иностранный; кавал. – кавалерия, кавалерийский; кап. – капитан; канц. – канцелярия, канцелярский; квартирм. – квартирмейстерская; кирасир. – кирасирский; КМ – Комитет министров; кн. – князь, княгиня, княжна; кол. – коллежский; кол. ас. – коллежский ассесор; ком. – командующий; корп. – корпус; л.-гв. – лейб-гвардия; лейт. – лейтенант; мин. – министерство; мин. – мифологический; нач. – начальник; над. – надворный; нар. – народный; отд. – отдельный; отст. – отставка, отставной; п. – полк; пех. – пехота, пехотный; пом. – помощник; предв. – предводитель; предс. – председатель; прус. – прусский; рим. – римский; рос. – российский; ротм. – ротмистр; рус. – русский; сап. – саперный; светл. – светлейший; с.е.и.в.к. – собственная его императорского величества канцелярия; Следственная комиссия – Высочайше учрежденная 17 декабря 1825 года Следственная комиссия для изыскания о злоумышленных обществах; сов. – советник, стат. – статский; тайн. – тайный; тит. – титулярный; улан. – уланский; ун-т – университет; фл. – флотский; фл.-ад. – флигель-адъютант; фр. – французский; швед. – шведский; шт.-кап. – штабс-капитан; шт.-ротм. – штабс-ротмистр.

- Александр Николаевич см. Александр II
- Александр Павлович см. Александр I
- Александра Федоровна (рожд. Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, принцесса прус.) (1798–1860), вел. кн., жена вел. кн. Николая Павловича, имп. с 1825 20, 41, 157, 189, 212, 216, 234, 253, 285, 292, 295, 311, 312, 352, 353, 404, 419
- Александренко Василий Никифорович (1861–1909), историк 58
- Алексеев Михаил Павлович (1896–1981), литературовед 422
- Алексей Михайлович (1629–1676), царь с 1645 197
- Алексий, схимник 164, 227, 404
- Альма Тадема Лоренс (1836–1912), голландец, художник 45
- Андреев 2-й Андрей Николаевич (1803 или 1804–1831), подпоручик л.-гв. Измайловского п. Декабрист 122, 143, 147, 203
- Андреева Татьяна Васильевна, историк 63
- Андреевич 2-й Яков Максимович (1801–1840), подпоручик 8 арт. бригады. Декабрист 96, 119, 135, 145
- Андрянов, фельдфебель Преображенского п. 284
- Анкарстрем (Анкерштрем), швед. отст. гв. кап. из круга оппозиционно настроенного к политике Густава III дворянства. В марте 1792 г. выстрелом из пистолета смертельно ранил короля 371, 372
- Анкерштрем см. Анкарстрем
- Анна Ивановна (1693–1740), имп. с 1730. Дочь Ивана V Алексеевича, племянница Петра I 195
- Анна Леопольдовна (рожд. Елизавета-Екатерина-Христина; Анна Мекленбургская) (1718–1746), дочь герцога мекленбург-шверинского и Екатерины Ивановны (дочери Ивана V Алексеевича), с 1739 – принцесса брауншвейгская. С 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741 – “правительница” Росс. имп. при малолетнем имп. Иване VI Антоновиче 197
- Анна Мекленбургская см. Анна Леопольдовна
- Анна Павловна (1795–1865), вел. кн., дочь Павла I, в замужестве королева нидерландская 405
- Анна Федоровна (рожд. Юлиана-Генриетта-Ульрика, принцесса Саксен-Кобургская) (1781–1860), вел. кн. и цесаревна. Первая жена вел. кн. Константина Павловича 218
- Анненков Иван Александрович (1802–1878), поручик л.-гв. Кавалергардского п. Декабрист 108, 121, 138, 146
- Ансело Ж.-А.-Ф.-П., франц. поэт, драматург, публицист 29
- Антон-Ульрих (1714–1774), принц Брауншвейг-бевер-люнебургский, муж Анны Леопольдовны, генералиссимус рус. войск 197
- Апраксин Степан Федорович (1792–1862), гр., фл.-ад., полковник и командир л.=гв. Кавалергардского п., 15.XII.1825 – ген.-м., Впоследствии ген.-ад., ген. от кавал. 186, 267, 327
- Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), ген. от арт. Временщик при дворе Павла I и Александра I 154, 161, 164, 168, 173, 177, 196, 221, 224, 261, 402, 408
- Арбузов Антон Петрович (1797 или 1798–1843), лейт. Гв. экипажа. Декабрист 99, 100, 106–108, 111, 112, 119, 136, 145
- Аркадьев, унтер-офицер 111
- Арцыбашев Дмитрий Александрович (1803 или 1804–1831), корнет л.-гв. Кавалергардского п. Декабрист 108
- Афанасий (Волховский или Вольховский) (ум. 1776), епископ ростовский с 1763, писатель 200
- Б... (В...) см. Барятинский Ф.С.
- Базанов Василий Григорьевич (1911–1981), литературовед 416
- Бакунин Илья Модестович (1800–1841), поручик I арт. бригады гв. арт. 193, 285, 290, 291, 333, 353, 424, 425
- Балакирев Милий Алексеевич (1836–1910), композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель 57

- Баллейде (Балледье, Белледье) Альфонс (1820–1859), франц. историк и литератор 21, 27, 46, 59
- Бартошевич Виталий Владимирович, историк, нумизмат 394, 402
- Барятинский (Барятинской, Борятинский) Александр Петрович (1799–1844), кн., шт.-ротм., ад. главноком. 2 арм. Декабрист 84, 87, 90, 92, 119, 134, 139, 145
- Барятинский (Б..., В...) Федор Сергеевич (1742–1811), кн., обер-гофмаршал, участник дворцового переворота 1762 215, 310, 396
- Басаргин Николай Васильевич (1800–1861), поручик, старший ад. Гл. штаба 2 арм. Декабрист 23, 60, 84, 90, 120, 138, 146, 399
- Батеньков (Батенков) Гавриил Степанович (1793–1863), подполковник корп. инж. путей сообщения. Декабрист 23, 24, 101–109, 114, 115, 120, 139, 146, 420
- Батый, Бату, Саин-хан (1208–1255), монгольский хан, внук Чингис-хана, полководец, основатель гос. Золотая Орда 153
- Бахметев Николай Павлович, шт.-ротм., ад. А.Ф. Орлова 273, 351
- Башуцкий Александр Павлович (1803–1876), подпоручик л.-гв., Измайловского п., ад. М.А. Милорадовича. Впоследствии ад. воен. ген.-губ. С.-Петербурга П.В. Голенничева-Кутузова и П.К. Эссена. Литератор 272, 273, 349–351, 427
- Башуцкий Павел Яковлевич (1771–1836), ген.-лейт. л.-гв. Измайловского п., комендант С.-Петербурга, член Верх. уг. суда. Впоследствии ген.-ад., ген от инфант., сенатор 270, 281, 328, 348, 349, 385, 386
- Бедряга, отст. офицер 268, 346
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), лит. критик, публицист 36, 49, 62, 63
- Белосельская-Белозерская Анна Григорьевна, кн. 334, 335
- Белоусов, фельдшер 167, 245, 249, 251, 253, 322, 324
- Беляев 1-й Александр Петрович (1803–1887), мичман Гв. экипажа. Декабрист 99, 100, 111, 112, 140, 146
- Беляев 2-й Петр Петрович (1805–1864), мичман Гв. экипажа (брат предыдущего). Декабрист 111, 112, 121, 140, 146
- Беляевы см. Беляев А.П. и Беляев П.П.
- Бенкендорф Александр Христофорович (1781 или 1783–1844), гр. (с 1832), ген.-ад., ген.-лейт., нач. I кирасир. див. Член Следственной комиссии. С 1826 – шеф жандармов и гл. нач. III отделения с.е.и.в.к. 25, 35, 60, 69, 118, 152, 156, 159, 194, 209, 263, 276, 286, 292, 293, 329, 333, 334, 347, 368, 394, 421
- Бер Иосиф, книготорговец во Франкфурте 60
- Бертель Александр Карлович (1788–1830), подполковник 9 арт. бригады, командир 2 легкой роты. Декабрист 96, 120, 142, 147
- Бестужев (лит. псевд. Марлинский) Александр Александрович (1797–1837), шт.-кап. л.-гв. Драг. п. Декабрист 34–37, 62, 85, 98–104, 106–109, 111, 112, 114, 119, 135, 146, 188, 189, 265, 275, 338, 369, 379, 400, 417, 420
- Бестужев Михаил (Михайло) Александрович (1800–1871), шт.-кап. л.-гв. Московского п. Декабрист 99, 106, 112, 119, 139, 146, 189, 204, 334, 380, 400, 417, 422
- Бестужев Николай Александрович (1791–1855), кап.-лейт. 8 фл. экипажа. Декабрист 33, 34, 62, 99, 103, 106, 108, 112, 119, 139, 146, 204, 379, 400, 417, 420, 429
- Бестужев Петр Александрович (1804–1840), мичман 27 фл. экипажа, ад. командира Кронштадтского порта и воен. губ. Кронштадта Ф.В. Моллера I-го. Декабрист 99, 121, 144, 147, 400, 417
- Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801–1826), подпоручик Полтавского пех. п. Декабрист 87–89, 91, 92, 95–98, 116–119, 132, 148, 154, 155, 178, 204
- Бечаснов Владимир Александрович (1802–1859), прапорщик 8 арт. бригады. Декабрист 96, 97, 119, 135, 145, 393
- Бибиков Илларион Михайлович (1793–1861), полковник л.-гв. Гусар. п., фл.-ад. 20, 266, 275, 329

- Бильбасов Василий Алексеевич (1837–1904), историк, публицист 418
- Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772), гр. (с 1730), герцог Курляндский (с 1737), фаворит имп. Анны Ивановны 168
- Бистром Карл Иванович (1770–1838), ген.-лейт. л.-гв. Егер. п., ком. всей пех. гв. корп. Член Верх. уг. суда. 20. XII. 1825 – ген.-ад. Впоследствии ген. от инфант. 119, 253, 256, 276, 321, 336, 337, 365, 380, 397, 421
- Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), гр. (с 1842), дипломат, литератор. Впоследствии товарищ министра нар. просвещения, министр внутренних дел, главноуправляющий II отделением с.е.и.в.к., президент Петербургской АН, предс. ГС и КМ 17, 20, 25, 28–32, 61, 118, 169, 171, 177, 200, 377, 408, 409, 411, 413, 418, 425
- Боассель Александр Филиппович, прапорщик л.-гв. Финляндского п. 267
- Бобрищев-Пушкин 1-й Николай Сергеевич (1800–1871), поручик квартирм. части. Декабрист 120, 143, 147
- Бобрищев-Пушкин 2-й Павел Сергеевич (1802–1865), поручик квартирм. части (брат предыдущего). Декабрист 120, 140, 146
- Бобров, фельдфебель 111
- Богданович Иван Иванович (ум. 1825), кап. л.-гв. Измайловского п. Декабрист 192, 278
- Богданович Модест Иванович (1805–1882), воен. историк 57, 414
- Бодиско 1-й Борис Андреевич (1800–1828), лейт. Гв. экипажа. Декабрист 111, 112, 121, 144, 147
- Бодиско 2-й Михаил Андреевич (1803–1867), мичман Гв. экипажа (брат предыдущего). Декабрист 111, 121, 141, 146
- Болотников Алексей Ульянович (1753–1828), сенатор, член ГС, член Верх. уг. суда 261
- Борисов 1-й Андрей Иванович (1798–1854), отст. подпоручик. Декабрист 119, 134, 145
- Борисов 2-й Петр Иванович (1800–1854), подпоручик 8 арт. бригады (брат предыдущего). Декабрист 95–97, 119, 134, 141, 145
- Бонапарт см. Наполеон I
- Боровков Александр Дмитриевич (1788–1856), в 1825–1826 – правитель дел Следственной комиссии, автор “Алфавита членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайше учрежденною 17 декабря 1825 г. Следственной комиссией”. Впоследствии сенатор (1840–1846) 28, 30, 61, 429
- Борятинский А.П. см. Барятинский А.П.
- Бошняк Александр Карлович (1786–1831), отст. кол. сов. Один из доносчиков на декабристов 397, 398, 415
- Брауншвейг-Вольфенбительский Антон см. Антон-Ульрих, принц Брауншвейг-беве-р-люнебургский
- Бриген (Бригген) Александр Федорович фон-дер. (1792–1859), отст. полковник. Декабрист 56, 80, 81, 121, 142, 147
- Брикнер Александр Густавович (1834–1896), историк 418
- Броке Алексей Александрович (1802–1871), поручик л.-гв. Московского п. Привлекался к следствию по делу декабристов 112, 422
- Брут Марк Юний (85–42 до н. э.), рим. политический деятель 114
- Булатов Александр Михайлович (1793–1826), полковник, командир 12 егер. п. Декабрист 110, 111, 114, 115
- Булатов Михаил Леонтьевич (1760–1825), ген.-лейт. Отец предыдущего 35
- Булгари Николай Яковлевич (1805–1841), гр., поручик Кирасир. п. Декабрист 121, 142, 147
- Булгари Яков Николаевич (ум. 1828), гр., действ. стат. сов. Привлекался к следствию по делу декабристов 92
- Булыгин Александр Алексеевич, поручик л.-гв. I арт. бригады 279, 285
- Бурцов Иван Григорьевич (1795–1829), полковник, командир Украинского пех. п. Декабрист 34, 75, 79, 82–84, 92
- Бычков Афанасий Федорович (1818–1899), археограф, историк 9, 10, 43, 44, 57, 58

- Вадковский 2-й Александр Федорович (р. ок. 1801), подпоручик 17 егер. п. Декабрист 117
- Вадковский 1-й Федор Федорович (1800–1844), прапорщик Нежинского конно-егер. п. (брат предыдущего). Декабрист 72, 91, 98, 119, 135, 145, 250, 324, 397, 408, 414, 415
- Васильчиков Илларион Васильевич (1777–1847), гр. (с 1831), кн. (с 1839), ген. от кавал., член ГС, ген.-ад., шеф л.-гв. Конно-егер. п. Член Верх. уг. суда 250, 261, 277, 288–290, 293, 313, 319, 332–334, 346, 352, 421
- Вацура Вадим Эразмович, литературовед 62
- Вашингтон Джордж (1732–1799), американский гос. деятель, главноком. американской арм. во время Войны за независимость Северной Америки (1775–1783). Первый президент США (1789–1797) 85, 93, 177
- Веденяпин (Вединяпин) 2-й Алексей Васильевич (1804–1847), прапорщик, 9 арт. бригады. Декабрист 120, 144, 147
- Веденяпин (Вединяпин) 1-й Аполлон Васильевич (1803–1872), подпоручик 9 арт. бригады (брат предыдущего). Декабрист 96, 119, 143, 147
- Велио (Веллио, Вельо) Осип Осипович (Иосиф Иосифович) (1795–1857), барон, ротм. гв. Конного п. 114, 279, 332, 380
- Веригин отст. офицер 268, 346
- Веригин Николай Иванович, подпоручик л.-гв. Московского п. 112
- Вешняков Иван Петрович, полковник л.-гв. Гренадерского п., ад. вел. кн. Михаила Павловича 360, 363
- Вигель Филипп Филиппович (1786–1856), чиновник, писатель-мемуарист 61
- Вилламов Григорий Иванович (1775–1842), секретарь имп. Марии Федоровны. Впоследствии статс-секретарь, главноуправляющий IV отделением с.е.и.в.к. 232, 343
- Виллие (Вилье) Яков Васильевич, лейб-медик 360
- Вильгельм, принц прус. см. Фридрих Вильгельм IV
- Вильгельм II (Фридрих-Георг-Людвиг) (1792–1849), принц Оранский, король нидерландский и вел. герцог люксембургский (1840–1849). В 1816 сочетался браком с вел. кн. Анной Павловной 226, 318, 405
- Вильмот Кэтрин (ум. 1824), англ. компаньонка кн. Е.Р. Дашковой 416
- Вильмот (в замужестве Брэдфорд) Марта (1774–1873), англ. издательница “Записок” кн. Е.Р. Дашковой (сестра предыдущей) 416
- Виртембергский Александр-Фридрих (1771–1833), герцог, брат имп. Марии Федоровны. В России с 1800, ген. от кавал. 119, 189, 265, 293, 347, 369, 393, 394
- Виртембергский Александр (Фридрих-Вильгельм-Александр) Александрович (1804–1881), принц, корнет л.-гв. Кавалергардского п., сын предыдущего. Впоследствии ген.-м. и шеф Стародубского кирасир. п. В 1833, после смерти отца, оставил рус. службу и навсегда уехал из России 293, 394
- Виртембергский Евгений (1788–1857), принц, племянник имп. Марии Федоровны, ген. от инфант. 191, 270, 276, 278, 287, 292, 348
- Виртембергский Карл-Фридрих-Александр (1823–1891), принц, с 1864 – король Карл I виртембергский. В 1846 сочетался браком с вел. кн. Ольгой Николаевной 17
- Виртембергский Эрнст (Евгений), принц, корнет л.-гв. Кавалергардского п., сын А.-Ф. Виртембергского 293, 394
- Витгенштейн Петр Христианович (1768–1843), гр., светл. кн. (с 1834), ген. от кавал., главноком. 2 арм., член ГС. Впоследствии ген.-фельдмаршал 82, 250, 324, 421
- Витовтов Павел Александрович (1797–1876), кап. л.-гв. Сап. бат. Впоследствии ген.-ад. и командир 4 арм. корп. 280, 283
- Витт Иван Осипович (1781–1840), гр., ген.-лейт., нач. воен. поселений и руководитель тайн. полиции Херсонской и Екагеринославской губ. 72, 182, 397, 415

- Вишневский Федор Гаврилович (1798 или 1799–1865), лейт. Гв. экипажа. Декабрист 111, 121, 144, 147
- Власьев, кап. внутренней стражи Шлиссельбургской крепости, охранявшей Ивана VI Антоновича 198
- Войнов (Воинов) Александр Львович (1770–1832), ген. от кавал., ком. Отд. Гв. корп. 114, 134, 186, 189, 235, 253, 263, 267, 275, 276, 278, 325–327, 329, 365, 379, 429
- Войнаровский Андрей (ум. 1740), украинский казацкий старшина, племянник и участник заговора Мазепы, герой одноименной поэмы Рыльева 179
- Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962), историк 411
- Волков Владимир Федорович (ум. 1828), шт.-кап. л.-гв. Московского п., командир 5 фузилерной роты. Участник восстания на Сенатской площади 112, 422
- Волков Матвей Степанович (1802–1875), экономист, инж. 262, 421, 422
- Волков Федор, унтер-офицер 283
- Волконский Петр Михайлович (1776–1852), кн., светл. кн. (с 1834), ген.-ад., ген. от инфант. Гв. ген. штаба, член ГС. Впоследствии ген.-фельдмаршал, министр имп. двора и уделов 167, 184, 212, 213, 227–229, 231, 232, 242, 246, 256, 298, 299, 307, 343, 402
- Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865), кн., ген.-м., бригадный командир 19 пех. див. Декабрист 23, 24, 35, 84, 87, 88, 92–94, 98, 116, 119, 135, 136, 146, 324, 339, 340
- Вольф Фердинанд (Христиан-Фердинанд) Богданович (Бернгардович) (1796 или 1797–1854), кол. ас., штаб-лекарь, доктор при полевом ген.-штаб-докторе 2 арм. Декабрист 84, 90, 120, 138, 146
- Воропанов Николай Фаддеевич (ум. 1829), ген.-м., командир л.-гв. Финляндского п. Впоследствии ген.-ад. 267, 287
- Враницкий (Вроницкий) Василий Иванович (1785 или 1786–1832), полковник квартирм. части. Декабрист 96, 97, 120, 144, 147
- Вульф Алексей Николаевич (1805–1881), в 1822–1826 – студент Дерптского ун-та, с 1829 – унтер-офицер Гусар. принца Оранского п., один из близких друзей А.С. Пушкина 33
- Выгодский (настоящая фамилия Дунцов) Павел Фомич (1802–1881), выходец из крестьянской семьи, пиaseц в канц. волынского гражд. губ. Декабрист 120, 142, 147
- Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), кн., поэт. лит. критик, гос. деятель 28, 49, 409
- Вяткин Александр Сергеевич (1798–1891), кап. л.-гв. Финляндского п. 287
- Габаев Георгий Соломонович (1877–1956), историк 429
- Гагарин Павел Павлович (1789–1872), кн., обер-прокурор общего собрания московских деп. сената. Впоследствии сенатор, предс. КМ и ГС, член ряда правительственных комитетов и комиссий 17, 19, 240–242, 403
- Гаевский Павел Иванович (1797–1875), переводчик. С 1826 – цензор Гл. цензурного комитета, с 1828 – старший цензор с.-петербургского цензурного комитета, в 1837 – вице-директор деп. нар. просвещения 33
- Гармиза Вадим Владимирович, историк 57
- Гаррик (Garrick) 214, 215, 310
- Гастфер (Гастефер) Павел Антонович, шт.-кап. свиты е.и.в. по квартирм. части 114
- Гебель Густав Иванович (ум. 1856), подполковник Черниговского пех. п., полковник – 9. I. 1826. Впоследствии ген.-м., второй комендант в Киеве 116, 117
- Гейсмар Федор (Фридрих-Каспар) Климентьевич (1783–1848), барон, ген.-м., командир кирасир. бригады. Впоследствии ген.-ад., ген. от кавал. 118
- Ген Виктор Евстафьевич (1813–1890), сотрудник имп. Публичной библиотеки. С 1856 – старший библиотекарь, с 1864 штатный старший библиотекарь 60
- Геннади Григорий Николаевич (1826–1880), библиограф и библиофил 61

- Герасимова Юлия Ивановна, историк 60, 61
- Гербель Карл Густавович (1788–1852), полковник гв. конной арт., 15. I. 1826 – фл.-ад. Впоследствии ген.-ад., ген.-лейт. 264
- Геруа Александр Клавдиевич (1784–1852), фл.-ад., полковник, командир л.-гв. сап. бат. 18, 213, 280, 283
- Герцен (Искандер) Александр Иванович (1812–1870) 3–5, 10, 13, 22, 25, 31, 37, 43–50, 52–63, 70, 158, 370–375, 390, 392–400, 402–404, 410, 411, 416, 419, 428, 429
- Гессен Сергей Яковлевич, историк, литературовед 61
- Гиллельсон Максим Исаакович (1915–1987), литературовед 62, 409
- Гинц, нач. канц. вел. кн. Константина Павловича 358
- Глебов Михаил Николаевич (1804–1851), кол. секретарь, пом. письмоводителя при управляющем Гос. комиссией погашения долгов. Декабрист 122, 141, 146
- Глинка Владислав Михайлович (1903–1983), искусствовед, музейный работник, писатель 62
- Глинка Федор Николаевич (1786–1880), полковник, состоящий по арм. Декабрист 37, 74, 79–81, 83, 387, 416
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), 11
- Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772–1843), гр. (с 1832), ген.-ад., ген.-лейт., член Следственной комиссии. Впоследствии воен. ген.-губ. С.-Петербурга, член ГС 118, 234, 269, 271, 327, 328, 344
- Голицын Александр Михайлович (1718–1783), кн., ген.-аншеф, ген.-фельдмаршал 200
- Голицын Александр Николаевич (1773–1844), кн., сенатор, член ГС, в 1817–1824 – министр духовных дел и нар. просвещения. Главноначальствующий над почтовым деп. член Следственной комиссии. Впоследствии канцлер всех росс. орденов 15, 19, 118, 164, 165, 183, 211, 221, 222, 224, 226, 235, 237, 241, 251, 252, 257, 261, 311, 324, 344, 386, 401, 402, 406, 414
- Голицын Александр Федорович, кн., состоял при нач. канц. вел. кн. Константина Павловича 358
- Голицын Андрей Михайлович (1792–1863), кн., фл.-ад. Впоследствии ген. от инфант., тульский воен. губ., ген.-губ. витебский, моголиевский и смоленский. Сенатор 273, 280, 328, 334, 335, 350–352
- Голицын Валерьян (Валериан) Михайлович (1803–1859), кн., тит. сов., камер.-юнкер. Декабрист 90, 116, 120, 143, 147
- Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844), кн., светл. кн. (с 1841), ген. от кавал., член ГС, воен. ген.-губ. Москвы (1820–1844) 224, 239, 240, 340, 402, 403
- Голицын Сергей Михайлович (1774–1859), кн., попечитель и гл. директор московской голицынской больницы. Впоследствии член ГС, попечитель московского учебного округа, предс. московского опекунского совета 239
- Головин Евгений Александрович (1782–1858), ген.-м. л.-гв. Егер. п., командир 4 бригады 2 гв. пех. див. 20, 213, 267, 287, 288
- Головин Иван Гаврилович (1816–1890), публицист, с 1842 – эмигрант 45
- Гольянов, прапорщик 285
- Горбачевский Иван Иванович (1800–1869), подпоручик 8 арт. бригады. Декабрист 37, 56, 63, 96, 97, 119, 134, 145, 393
- Гордин Яков Аркадьевич, историк, писатель 394, 399, 403, 416
- Горский (Грабе-Горский) Осип-Юлиан Викентьевич (1766–1848), отст. стат. сов. Случайный участник восстания на Сенатской площади 121, 130, 352
- Граббе Павел Христофорович (1789–1875), полковник Северского конноегер. п. Член Союза благоденствия, участник Московского съезда 1821 83
- Грабе-Горский см. Горский О.-Ю. В.
- Граве Владислав Христофорович (1802–1850), поручик л.-гв. Преображенского п. Привлекался к следствию по делу декабристов 234
- Греч Николай Иванович (1787–1867), журналист, писатель, филолог 26, 29, 410, 412, 414

- Греч Павел Иванович (1797–1886), поручик л.-гв. Финляндского п. 213, 267, 348, 349, 427
- Грибовский Михаил Кириллович, симбирский вице-губ. Публицист и переводчик. Член Союза благоденствия, тайн. агент и доносчик на декабристов. Впоследствии слободско-украинский (харьковский) губ. 415, 421
- Гримм, камердинер имп. Марии Федоровны 233, 293, 343
- Грин Ц.Н., историк 62
- Гродецкий Анастасий Степанович, помещик, дворянский заседатель Киевского гл. суда, член Польского тайн. общества 88
- Громнитский (Громницкий) Петр Федорович (1803–1851), поручик Пензенского пех. п. Декабрист 96, 119, 137, 146
- Грудзинская Иоанна см. Лович Ж.А.
- Гудим (Гудимов) Иван Павлович (ум. 1828), поручик л.-гв. Измайловского п. Привлекался к следствию по делу декабристов 111
- Давиньон А., петербургский дагерротипист 36
- Давыдов Василий Львович (1793–1855), отст. полковник. Декабрист 84, 87–89, 93, 98, 116, 119, 135, 145, 415
- Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), ген.-лейт., герой Отечественной войны 1812. Поэт 34
- Данилевский Николай см. Даниловский Н.И.
- Даниловский (Данилевский) Николай Иванович (р. 1744), писатель 404
- Дашков Дмитрий Васильевич (1783 или 1788–1839), министр юстиции в 1829–1839, с февраля по ноябрь 1839 – главноуправляющий II отделением с.е.и.в.к. 377
- Дашкова Екатерина Романовна (рожд. гр. Воронцова) (1743 или 1744–1810), кн., статс-дама, президент Петербургской АН и Росс. академии 187, 416
- Дезин Вилим Петрович фон (1740–1826), адмирал, член ГС, сенатор 261
- Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), барон, поэт 33
- Демидов Николай Иванович (1773–1833), ген.-лейт., 15. XII. 1825 – ген.-ад. Впоследствии ген. от инфант., гл. директор пажеского и сухопутного кадетских корп., сенатор 292, 313
- Демосфен (ок. 384–322 до н.э.), др.-греческий оратор 160, 184, 404
- Державин Гаврила Романович (1743–1816), поэт., гос. деятель 419
- Дернберг, гр., ганноверский посланник в Петербурге 280, 313, 346
- Дибич Иван Иванович (Иоганн-Карл-Фридрих-Антон) (1785–1831), барон, гр. (с 1827), ген.-лейт., ген.-ад., нач. Гл. штаба е.и.в. Впоследствии Дибич-Забалканский (с 1829), ген.-фельдмаршал 89, 122, 183, 184, 186, 227–229, 231–233, 249–251, 256, 307, 323, 324, 343, 346, 398, 402, 408, 421
- Дивов Василий Абрамович (1805–1842), мичман Гв. экипажа. Декабрист 99, 100, 111, 112, 121, 137, 145
- Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт, гос. деятель 405
- Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович (1790–1863), гр., отст. ген.-м. Один из основателей преддекабристской тайн. организации “Орден русских рыцарей” 75, 412
- Добринская Лидия Борисовна, историк 423
- Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), лит. критик, публицист 27, 32, 40, 62
- Долгоруков, кн. 241
- Долгоруков Василий Андреевич (1804–1869), кн., ген.-ад. (с 1845), член ГС (с 1853), с 1856 – шеф жандармов и гл. нач. III отделения с.е.и.в.к. 24, 26, 54
- Долгоруков Василий Васильевич (1787–1858), кн., шталмейстер (с 1819). Впоследствии обер-шталмейстер 285, 330
- Долгоруков Илья Андреевич (1797–1848), кн., полковник л.-гв. I-й арт. бригады, ад. вел. кн. Михаила Павловича 360
- Долгоруков Петр Владимирович (1816/1817–1868), кн., историк и публицист, издатель. С 1859 – эмигрант 29, 61, 413

- Дорофеев Сафон, матрос Гв. экипажа 114, 287, 367
- Доу Джордж (1781–1829), англ. живописец. В 1819–1829 работал в Петербурге. Создатель Воен. галереи Зимнего Дворца 35
- Дружинин Николай Михайлович (1886–1986), историк 409
- Друцкой-Любецкий Франциск-Ксаверий (1779–1846), кн., министр финансов в Царстве Польском с 1821. Впоследствии член ГС 14
- Дубровин Николай Федорович (1837–1904), ген. от арт., воен. историк 414
- Дурново Николай Дмитриевич (1792–1828), полковник Гв. ген. штаба, фл.-ад. Участник подавления восстания декабристов в Петербурге 190, 271, 272, 328
- Дюпен Андре Мари (1783–1865), франц. политический деятель, юрист 183
- Дюпре Бенжамен, франц. издатель 60
- Евгений (Ефимий Алексеевич Болховитинов) (1767–1837), историк, археограф и библиограф. В 1822–1837 – митрополит киевский. Член Верх. уг суда 288, 289
- Екатерина II Алексеевна (рожд. Софья-Фредерика-Августа Анхальт-Цербстская) (1729–1796), имп. с 1762 52, 157, 168, 185, 187, 195, 197–199, 214, 217, 318, 356, 396, 408, 410, 416, 418
- Екатерина Павловна (1788–1819), вел. кн., дочь Павла I. В 1809–1812 – жена принца Георга Ольденбургского, ген.-губ. тверского, ярославского и новгородского. Впоследствии (с 1816) супруга принца, а затем короля Вильгельма I Виртембергского 395
- Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа) (1779–1826), имп., жена Александра I, дочь маркграфа баден-дурлахского 80, 81, 105, 226, 227, 232, 242, 311, 318, 343, 402, 420
- Елизавета Петровна (Елизавета I) (1709–1761/1762), имп. с 1741 157, 168, 197 198, 408, 410
- Ентальцев (Янтальцев) Андрей Васильевич (1788–1845), подполковник, командир 27 конно-арт. роты. Декабрист 120, 141, 147
- Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), ген. от инфант. и ген. от кавал., воен. и гос. деятель 397
- Ефремов Петр Александрович (1830–1907), библиограф, bibliофил 428
- Жеребцов Семен Николаевич, подпоручик л.-гв. Гренадерского п. 380
- Живко-Миленко Стойкович см. Стойкович Я.М.
- Жуков, рядовой 89
- Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), поэт, с 1825 – воспитатель вел. кн. Александра Николаевича 28, 59, 233, 419
- З... (S...) см. Зубов П.А.
- Завалишин Дмитрий Иринархович (1804–1892), лейт. 8 фл. экипажа. Декабрист 90, 100, 120, 136, 145
- Загорецкий Николай Александрович (1797–1885), поручик квартирм. части. Декабрист 121, 142, 147
- Заикин Иван Иванович (ум. 1834), книгопродавец и издатель в С.-Петербурге 404
- Заикин Николай Федорович (1801–1833), подпоручик квартирм. части. Декабрист 121, 143, 147
- Закревский Арсений Андреевич (1783–1865), гр., воен. и гос. деятель, член Верх. уг. суда. В 1848–1859 – ген.-губ. Москвы 24
- Зальца Владимир Иванович (1802–1873), барон, поручик л.-гв. Гренадерского п. 20, 213, 281–283, 381
- Засс Корнил Корнилович (1793–1857), полковник и командир л.-гв. конно-пионерного эскадрона, 15. XII. 1825 – фл.-ад. 213, 279, 352, 382
- Зейфорт Карл Иванович, поручик л.-гв. Финляндского п. 283
- Зильберштейн Илья Самойлович (1905–1988), литературовед, коллекционер 62
- Зотов Рафаил Михайлович (1796–1871), писатель, драматург, театральный деятель 37, 62, 406

- Зубов (З..., S...) Платон Александрович (1767–1822), светл. кн., воен. и гос. деятель, фаворит Екатерины II 215, 310, 396
- Иван (Иоанн) IV Васильевич Грозный** (1530–1584), вел. кн. с 1533, первый рус. царь с 1547 192, 197
- Иван (Иоанн) VI Антонович** (1740–1764), номинальный росс. имп. в 1740–1741 8, 171, 197, 198, 418
- Иванов Илья Иванович** (1800–1838), бухгалтер полевого провиантского комиссионерства 3 пех. корп. Декабрист 96, 120, 140, 146
- Иванов Павел**, иподиакон при митрополите Евгении 288
- Иванов Прохор** (ум. 1853), иподиакон при митрополите Серафиме 193, 213, 288, 428
- Ивашев Василий Петрович** (1797–1840), ротм. л.-гв. Кавалергардского п., ад. П.Х. Витгенштейна. Декабрист 84, 90, 120, 138, 146
- Ивашев Петр Никифорович** (1767–1838), ген.-м., отец В.П. Ивашева 35
- Игнатъев Павел Николаевич** (1797–1879), гр. (с 1877), кап. л.-гв. Преображенского п., 21. XII. 1825 – фл.-ад. 18, 19, 213, 271, 274, 276, 423
- Изабе Жан-Батист** (1767–1855), франц. живописец 292, 313
- Ильин Василий Иванович**, пом. правителя канц. ген.-фельдцейхмейстера 361
- Иисус Христос** см. Христос
- Иоанн Грозный** см. Иван IV Васильевич
- Иоанн**, принц см. Иван VI Антонович
- Искандер** см. Герцен А.И.
- Исленьев Николай Александрович** (1785–1851), ген.-м., командир л.-гв. Преображенского п., 15. XII. 1825 – ген.-ад. Впоследствии ген. от инфант. 18, 213, 270, 271, 328, 329, 350
- Иуда Искаротский** (библ.) 183
- Кавелин Александр Александрович** (1793–1850), фл.-ад., полковник, ад. вел. кн. Николая Павловича. Член Союза благоденствия 17, 191, 192, 211, 266, 270, 277, 278, 294, 295, 328
- Кавелин Константин Дмитриевич** (1818–1885), историк, публицист, общественный деятель 50
- Канкрин Егор Францевич** (1774–1845), гр. (с 1829), ген.-лейт., сенатор, министр финансов, член ГС 261
- Кановницын** см. Коновницын I-й П.П.
- Карамзин Николай Михайлович** (1766–1826), историк, писатель, публицист 20, 28, 41, 61, 153, 167, 192, 252, 280, 292, 346, 395, 405, 407, 408, 419
- Каренин Владимир** см. Комарова В.Д.
- Карл I** (1600–1649), англ. король с 1625, из династии Стюартов 390
- Карно Лазар-Никола** (1753–1823), франц. гос. и воен. деятель, математик 153
- Карцов Петр Кондратьевич** (1750–1839), адмирал, сенатор, член ГС, член Верх. уг. суда 261
- Каховский Петр Григорьевич** (1799–1826), отст. поручик. Декабрист 104, 106, 108, 112–114, 119, 133, 148, 204, 273, 283, 288, 339, 372, 423, 424
- Качалов Петр Федорович** (1780–1855), кап. I ранга Гв. экипажа 112, 275
- Квашнин-Самарин Александр Петрович** (1800–1859), кап. л.-гв. сап. бат. 279
- Керн Ермолай Федорович**, ген.-м., рижский комендант 360
- Киреев Иван Васильевич** (1803–1866), прапорщик 8 арт. бригады. Декабрист 96, 119, 137, 146
- Киселев Павел Дмитриевич** (1788–1872), гр. (с 1839), ген.-ад., ген.-м., нач. Гл. штаба 2 арм. В 1837–1856 – министр гос. имуществ 17, 30
- Клейнмихель Петр Андреевич** (1793–1869), гр. (с 1839), ген.-ад. (с 1826), член ГС (с 1842), в 1842–1855 – главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями 15, 58, 69, 408, 426
- Ключевский Василий Осипович** (1841–1911), историк 64
- Ковалевский Егор Петрович** (1809 или 1811–1868), писатель, путешественник, гос. деятель 61, 409, 418
- Кодан Сергей Владимирович**, историк 393

- Кожевников Андрей Львович (1802–1867), подпоручик л.-гв. Гренадерского п. Декабрист 113, 187, 280, 380
- Кожевников Нил Павлович (1804–1837), подпоручик л.-гв. Измайловского п. Декабрист 99, 108, 121, 144, 147
- Козьмин Борис Павлович (1888–1958), историк 64
- Кошкин Сергей Александрович (1785–1861), петербургский обер-полицмейстер с 1830 69
- Колошин Петр Иванович (1794–1848), кол. сов. в Деп. внешней торговли. Декабрист 75, 76, 81, 83
- Комаров Николай Иванович (1796–1853), подполковник квартирм. части при Гл. квартире 2 ар. Член Союза благоденствия, участник Московского съезда 1821 82–84, 182, 415
- Комарова Варвара Дмитриевна (рожд. Стасова, лит. псевд. Каренин Владимир) (р. 1862), писательница 57
- Комаровский Евграф Федотович (1769–1843), гр., ген.-ад., ген.-лейт., командир Отдельного корп. внутренней стражи, член Верх. уг. суда 19, 213, 271, 277, 287
- Конгрев (Конгрив) Уильям (Вильям) (1772–1828), англ. конструктор 153, 395
- Коновницын 2-й Иван Петрович (1806–1867 или 1871), гр., прапорщик 9 конно-арт. роты. Оказал сопротивление присяге Николаю I. Был арестован, в 1826 освобожден с установление тайн. надзора, который был снят в 1836 364 417
- Коновницын (Кановницын) 1-й Петр Петрович (1803–1830), гр., подпоручик Гв. ген. штаба (брат предыдущего). Декабрист 106, 121, 144, 147, 204, 380, 417
- Коновницын Петр Петрович (1764–1822), гр., ген. от инфант., ген.-ад., герой Отечественной войны 1812, отец И.П. и П.П. Коновницыных 190, 417
- Константин Николаевич (1827–1892), вел. кн., сын Николая I 13, 14, 21, 58, 375, 426
- Константин Павлович (К.П.-ч, Constantin) (1779–1831), вел. кн. и цесаревич 14, 25, 39, 59, 87, 104, 108, 112, 113, 116, 156, 157, 162, 164–167, 181, 183–187, 191–196, 212, 213, 216–218, 223, 227, 228, 230, 232, 234, 236–242, 244–249, 253–255, 257–260, 262, 264–268, 270, 272–276, 278., 281, 282, 284, 286, 289, 294, 298–300, 302–305, 312, 317, 318, 321–332, 334, 342, 344, 345, 348, 352–356, 360–362, 364, 366, 367, 383–390, 393, 398, 400–407, 420, 422, 427
- Корнилов Александр Александрович (1862–1925), историк 402
- Корнилович Александр Осипович (1800–1834), шт.-кап. Гв. ген. штаба. Декабрист 33, 34, 97, 106, 107, 120, 140, 146
- Корф (Korff) Модест (Modeste) Андреевич (1800–1876), барон, гр. (с 1872) 3–27, 31, 34, 36–47, 50–52, 54–64, 67–70, 151–153, 155–157, 159–169, 182–196, 206, 211, 342, 346–355, 367, 368, 370, 372, 375–384, 389, 390, 392–394, 396–400, 402–407, 410, 414–417, 419, 421–430
- Косяков Дмитрий (ум. до 1857), фельдфебель л.-гв. Преображенского п. 189, 269
- Кочубей Александр Васильевич (1788–1866), обер-прокурор сената 387
- Кочубей Виктор Павлович (1768–1834), гр., кн. (с 1831), дипломат, гос. деятель, сенатор, член ГС. Впоследствии предс. ГС и КМ 19, 39, 40, 52, 153, 161, 211, 214, 297, 310, 313, 396
- Кошут Лайош (1802–1894), венг. политический и гос. деятель, вождь национально-освободительного движения и революции в Венгрии в 1848–1849 372
- К. П.-ч см. Константин Павлович
- Краснокутский Семен Григорьевич (1787 или 1788–1840), действ. стат. сов., обер-прокурор в I отделении 5 деп. сената. Декабрист 107, 108, 120, 143, 147, 387
- Красовский Андрей, гренадер 112, 423
- Кривцов Александр Иванович, ген.-м., дежурный ген. Гл. штаба цесаревича Константина Павловича 358

- Кривцов Сергей Иванович (1802–1864), подпоручик л.-гв. Конной арт. Декабрист 91, 121, 142, 147
- Крижановский (Крыжановский) Северин Фаддеевич (1787–1839), подполковник польского л.-гв. Конно-егер. п. Участник польских тайн. организаций, член Патриотического общества (с осени 1822 – его фактический руководитель) 87
- Криницкий Павел Васильевич (ум. после 1828), протосвитер, член Коллегии духовных училищ. С 1808 – духовник царский и член синода. После смерти Александра I оставался духовником имп. Марии Федоровны 233, 343
- Кромвель Оливер (1599–1658), деятель Англ. буржуазной революции XVII в., вождь индпендентов, лорд-протектор Англии с 1653 69, 390
- Кропотов Дмитрий Андреевич (1817–1875), историк, воен. писатель 414
- Крузенштолпе (Crusenstolpe) Магнус-Иаков (Якоб) (1795–1865), швед. историк, писатель, публицист 171, 187, 409, 310
- Крыжановский см. Крижановский С.Ф.
- Крылов Иван Андреевич (1769 или 1768–1844), баснописец 394
- Крюков 1-й Александр Александрович (1793–1866), поручик л.-гв. Кавалергардского п., ад. П.Х. Витгенштейна. Декабрист 84, 90, 120, 138, 146
- Крюков 2-й Николай Александрович (1800–1854), поручик квартирм. части (брат предыдущего). Декабрист 84, 90, 120, 137, 146
- Крюковы см. Крюков А.А. и Крюков Н.А.
- Кудашев Михаил Федорович (1805–1847), кн., подпоручик л.-гв. Московского п. Привлекался к следствию по делу декабристов. Впоследствии ген.-м. 422
- Кузьмин (Кузмин) Анастасий Дмитриевич (ум. 1826), поручик Черниговского пех. п. Декабрист 116–118
- Куракин Алексей Борисович (1759–1829), кн., сенатор, член ГС, предс. деп. гос. экономии. Член Верх. уг. суда 261, 385
- Курбский Андрей Михайлович (1528–1583), кн., полководец, политический деятель, писатель 33
- Куроптев Алексей, матрос Гв. экипажа 114, 287, 367
- Курута Дмитрий Дмитриевич (1770–1838), гр. (с 1826), ген.-лейт., нач. Гл. штаба вел. кн. Константина Павловича. Впоследствии ген. от инфант. 248, 299
- Кутузов ген.-ад. см. Голенищев-Кутузов П.В.
- Кутузов, Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), кн. Смоленский (с 1812), полководец, ген.-фельдмаршал (с 1812) 388
- Кушева Екатерина Николаевна (1899–1990), историк 64
- Кушелев Андрей Сергеевич (ок. 1800–1861), поручик л.-гв. Московского п. Впоследствии ген.-лейт. 265, 422
- Кушелев Григорий Григорьевич (1802–1855), гр., шт.-кап. л.-гв. Конной арт. 264
- Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846), отст. кол. ас. Декабрист 34, 35, 99, 114, 115, 119, 134, 146, 332, 367, 376, 382, 424
- Кюхельбекер Михаил Карлович (1798–1859), лейт. Гв. экипажа (брат предыдущего). Декабрист 111, 121, 141, 146, 393
- Лаваль, гр. см. Трубецкая Е.И.
- Лавров Николай Федорович, историк 412
- Лагарп Фридрих-Цезарь (1754–1838), швейцарский политический деятель. В России с 1783, воспитатель вел. кн. Александра и Константина Павловичей. Впоследствии один из руководителей Директории Гельветической республики 52, 214, 401
- Лазарев Алексей Петрович (1795 – после 1851), шт.-кап. л.-гв. Измайловского п., ад. вел. кн. Николая Павловича 25, 238, 239, 247, 248, 363
- Лакруа Фредерик (Lacroix Frédéric), франц. писатель 29
- Ланда Семен Семенович (1925–1990), историк 412

- Ланской Василий Сергеевич (1754–1831), гр., сенатор, член ГС, член Верх уг. суда 261
- Лапла Михаил (в формулярном списке Матвей) Демьянович (1799 или 1800–1841), подпоручик л.-гв. Измайловского п. Декабрист 121, 145, 147
- Ласси (Лессий) Петр Петрович (1678–1751), ирландец, гр. (с 1739). В России с 1700, ген.-фельдмаршал (с 1739) 198
- Лебедев Кастор Никифорович (1812–1876), писатель, гос. деятель 35
- Леббельтерн Людвиг (1774–1854), гр., австр. посол в Петербурге в 1815–1826 335
- Левашов Василий Васильевич (1783–1848), гр. (с 1833), ген.-ад., член Следственной комиссии, затем Верх уг. суда. Впоследствии ген. от кавал., предс. ГС и КМ 118, 176, 177, 196, 211, 278, 286, 330–332, 338, 339, 341, 366
- Левкович Янина Леонтьевна, литературовед 62
- Лемке Михаил Константинович (1872–1923), историк 64
- Лермантов Дмитрий Николаевич (1802–1854), лейт. Гв. экипажа. Привлекался к следствию по делу декабристов 112
- Лессий см. Ласси П.П.
- Лжедмитрий I (Лже-Дмитрий) (ум. 1606), царь с 1605. Самозванец (предположительно Григорий Отрепьев) 195
- Ливен Александр Карлович (1801–1881), гр., поручик л.-гв. Московского п. 379, 429
- Линдгёрст (Линдгорст) Джон (1772–1863), барон, англ. гос. деятель, адвокат 155
- Линтон Вильям (1812–1897), англ. поэт публицист, гравер 48
- Лисовский Николай Федорович (1802–1844), поручик Пензенского пех. п. Декабрист 96, 120, 142, 147
- Литвак Борис Григорьевич, историк 57
- Литта Юлий Помпеевич (1763–1839), гр., член ГС 237, 345
- Лихарев Владимир Николаевич (1803–1840), подпоручик квартирм. части. Декабрист 120, 141, 147, 415
- Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758–1838), кн., ген. от инфант., министр юстиции, член ГС, ген.-прокурор Верх. уг. суда 166, 199, 236, 260, 261, 271, 274, 283, 286, 302, 312, 329–331, 351, 365
- Лобанов-Ростовский Яков Иванович (1760–1831), кн., сенатор, член ГС (брат предыдущего). Член Верх. уг. суда 261
- Лобановы-Ростовские, кн. см. Лобанов-Ростовский Д.И. и Я.И.
- Ловицкая см. Лович Ж.А.
- Лович (Ловицкая) Жаннета Антоновна (рожд. гр. Иоанна Грудзинская) (1795–1831), кн., с 1820 мorganатическая супруга вел. кн. Константина Павловича 14, 218, 227, 298, 354, 357, 359, 385
- Лондырев, Лондырь, рейткнехт 278, 328
- Лопухин Иван Владимирович (1756–1816), сенатор, масон, мемуарист 416
- Лопухин Петр Васильевич (1753–1827), кн., предс. ГС и КМ, главноуправляющий Комиссиею составления законов, предс. Верх. уг. суда 19, 59, 199, 236, 238, 247, 248, 253, 259–261, 300, 302, 308, 309, 322, 325, 345, 385
- Лорер Николай Иванович (1797 или 1798–1873), майор Вятского пех. п. Декабрист 92, 120, 140, 146
- Лотман Юрий Михайлович (1922–1993), литературовед 412
- Луи Филипп (Людовик-Филипп) (1773–1850), герцог Орлеанский, франц. король в 1830–1848 17, 183
- Лукашевич Василий Лукич (1787 или 1788–1866), стат. сов., переяславский поветовый маршал. Член Союза благоденствия. Привлекался к следствию по делу декабристов 79, 175, 412
- Лунин Михаил Сергеевич (1787–1845), подполковник л.-гв. Гродненского гусар. п. Декабрист 30, 32, 37, 53, 61, 74–76, 120, 138, 146, 204, 392, 412, 418, 419
- Любецкий см. Друцкой-Любецкий К.Ф.
- Люблинский (настоящая фамилия Мотшнович) Юлиан Казимирович (1798–1873), дворянин Волынской губ. Декабрист 95, 119, 141, 147

Людовик-Филипп см. Луи Филипп

М... (М...) см. Мятлев

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844), в 1819–1826 – попечитель Казанского учебного округа 387

Мазгана (Мозган) Павел Дмитриевич (1802–1843), подпоручик Пензенского пех. п. Декабрист 96, 120, 140, 146

Мазепа Иван Степанович (1644–1709) гетман Левобережной Украины в 1687–1708 198

Мазер Карл Петер (1807–1884), швед. художник 35

Майборода Аркадий Иванович (ум. в январе–феврале 1844), кап. Вятского пех. п. Один из доносчиков на декабристов. Впоследствии полковник, окончил жизнь самоубийством 73, 86, 98, 116, 176, 182, 250, 251, 324, 397, 398, 408, 413, 415, 416, 421

Мамонтов см. Дмитриев-Мамонов М.А.
Мантейфель Григорий (Готгард-Иоаким) Андреевич (1795–1836), гр., шт.-ротм. л.-гв. Кавалергардского п., ад. М.А. Милорадовича 240, 251, 324

Мария Николаевна (1819–1876), вел. кн., дочь Николая I. В замужестве герцогиня лейхтенбергская 216, 317

Мария (Марья, Marie) Павловна (1786–1859), вел. кн., дочь Павла I. В замужестве вел. герцогиня саксен-веймар-эйзенахская 185, 219–221, 262, 306, 312, 356, 357, 422

Мария Федоровна (Федоровна) (София-Доротея-Августа-Луиза, принцесса Виртембергская) (1759–1828) имп., вторая жена Павла I 156, 164, 167, 189, 194, 221, 228, 232, 233, 238, 248, 258, 263, 266, 285, 292, 293, 297, 299, 301, 304, 352, 360, 386, 394, 402, 406

Марлинский А. см. Бестужев А.А.

Мартынов Павел Петрович (1782–1838), ген.-м., командир 3 бригады л.-гв. Измайловского п. 278, 331
Маццини Джузеппе (1805–1872), деятель итальянского национально-освободительного движения 372

Мердер Карл Карлович (1788–1834), фл.-ад., полковник л.-гв. Измайловского п., один из воспитателей вел.

кн. Александра Николаевича. Впоследствии ген.-ад. 270

Меттерних (Меттерних-Виннебург) Келленс-Венцель-Лотар(1773–1859), кн., австр. гос. деятель, министр ин. дел и фактический глава правительства в 1809–1821, канцлер в 1821–1848. Один из организаторов Священного союза 173, 174

Мецкерский Сергей Иванович, кн., кап. л.-гв. Гренадерского п. 282, 331, 337

Миклашевский I-й Александр Михайлович (1798 или 1799–1831), подполковник 22 егер. п. Декабрист 84

Микулин Василий Яковлевич (1792–1841), полковник л.-гв. Преображенского п., батальонный командир 270, 271, 328, 350, 351

Миллер, поручик, фельдъегерь 388

Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825), гр. (с 1813), ген. от инфант., член ГС, воен. ген.-губ. С.-Петербурга 55, 113, 114, 133, 157, 165, 166, 183, 184, 186, 189, 190, 204, 232–234, 236, 240, 241, 243, 251, 252, 256, 261, 263, 270–273, 275, 278, 283, 288, 294, 295, 311, 313, 320, 321, 324, 326–328, 342–345, 349–352, 360, 371, 373, 385–388, 402, 403, 406, 407, 415, 423, 428

Минье Клод Этьен (1804–1879), франц. офицер, изобретатель 153

Мирликийский царь (библ.) см. Николай, св. угодник

Мирович Василий Яковлевич (1740–1764), подпоручик Смоленского пех. п., организатор неудавшегося заговора 1764 по освобождению из Шлиссельбургской крепости Ивана VI Антоновича 103, 197, 200, 418

Мирович Федор, переяславский полковник, дед предыдущего 198

Мироненко Сергей Владимирович, историк 396, 401

Митьков Михаил Фотиевич (1791–1849), полковник л.-гв. Финляндского п. Декабрист 84, 90, 120, 138, 146

Михаил Николаевич (1832–1909), вел. кн., сын Николая I 20

Михаил (Michel) Павлович (1798–1848), вел. кн., сын Павла I, член Следст-

- венной комиссии 4, 15, 16, 19, 25, 35, 59, 105, 114, 115, 118, 134, 146, 156, 160, 167, 184, 186, 191, 211, 212, 218, 220, 226–228, 231, 232, 235, 237, 244–249, 253, 255–260, 264, 265, 276, 277, 285, 286, 289, 290, 291, 296, 298, 301, 307, 312, 314, 318, 321–323, 325, 326, 329–334, 337, 342, 345, 346, 348, 352, 353, 355–365, 367–369, 380, 382, 386, 388, 393, 406, 422, 427, 428
- Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790 или 1798–1848), воен. историк, ген.-лейт. (с 1835) 35, 401
- Мишле Жюль (1798–1874), франц. историк 51
- Модзалевский Борис Львович (1874–1928), литературовед 61
- Мозалевский Александр Евтихиевич (ок. 1803–1851), прапорщик Черниговского пех. п. Декабрист 118
- Мозгалевский Николай Осипович (1801–1844), подпоручик Саратовского пех. п. Декабрист 96, 120, 143, 147
- Мозган см. Мазгана П.Д.
- Моисеев (Мосеев), унтер-офицер 5 фузелерной роты л.-гв. Московского п. 112, 423
- Моллер Александр Федорович фон (1796–1862), полковник, л.-гв. Финляндского п. 336
- Молостов (Молоствов) Владимир Порфирьевич, полковник, л.-гв. Гренадерского п., ад. принца Евгения Виртембергского 270
- Монж Гаспар (1746–1818), математик. В период Вел. франц. революции – морской министр 153
- Мордвинов Александр Николаевич (1792–1869), гр., управляющий IV отделением с.е.и.в.к. (1831–1839), сын Н.С. Мордвинова 35
- Мордвинов Николай Семенович (1754–1845), гр. (с 1834), адмирал, сенатор, член ГС, Член Верх. уг. суда 30, 155, 261, 325, 334, 336, 386, 396, 397
- Морков Аркадий Иванович (1747–1827), гр. (с 1796), член ГС, член Верх. уг. суда 261
- Мосеев см. Моисеев
- Муравьев Александр Михайлович (1802–1853), корнет л.-гв. Кавалергардского п. Декабрист 30, 32, 91, 103, 121, 140, 146
- Муравьев Александр Николаевич (1792–1863), отст. полковник Гв. ген. штаба. Декабрист 73–76, 79, 81, 120, 141, 147, 172, 203
- Муравьев Артамон Захарович (1793–1846), полковник, командир Ахтырского гусар. п. Декабрист 76, 91, 96, 97, 119, 135, 145, 339, 340
- Муравьев Михаил (Михайло) Николаевич (1796–1866), гр. Муравьев-Виленский (с 1865), отст. подполковник (брат А.Н. Муравьева). Впоследствии ген. от инфант., министр гос. имущества, ген.-губ. Северо-Западного края. Усмиритель польского восстания 1863 75–77, 83, 89, 171
- Муравьев Никита Михайлович (1795–1843), кап. Гв. ген. штаба (брат А.М. Муравьева). Декабрист 32, 34, 74–76, 79, 81–86, 88, 90–92, 94, 100, 103, 109, 119, 136, 146, 170, 175, 179, 202, 203, 324, 339, 409, 415, 421
- Муравьев Николай Николаевич (1768–1840), ген.-м., основатель Московского учебного заведения для колонновожатых. Отец А.Н. и М.Н. Муравьевых 172
- Муравьев-Апостол Ипполит Иванович (1806–1826), прапорщик квартирм. части (младший брат С.И. и М.И. Муравьевых-Апостолов). Декабрист 110, 118
- Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793–1886), отст. подполковник. Декабрист 23, 24, 35, 41, 42, 50, 74–76, 79, 91, 92, 94, 103, 116, 118, 119, 133, 145, 146, 175, 339, 340, 412
- Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795–1826), подполковник Черниговского пех. п. (брат предыдущего). Декабрист 35, 74–76, 79, 81, 86–89, 91, 92, 95–98, 101, 116–119, 132, 148, 154, 155, 175, 178, 194, 202, 204, 339, 370, 412
- Муррей Джон (1808–1892), англ. книгоиздатель 45
- Мусин-Пушкин Епафродит Степанович (1791–1831), лейт. Гв. экипажа. Декабрист 111, 121, 144, 147

- Муханов Петр Александрович (1800–1854), шт.-кап. л.-гв. Измайловского п. Декабрист 34, 116, 120, 139, 146
- Мыльников Александр Сергеевич, историк 57
- Мятлев (М..., М...) 215, 310, 396
- Мятлева, хозяйка дачи “Знаменское” 226, 318
- Назимов Михаил Александрович (1801–1888), шт.-кап. л.-гв. Конно-пионерного эскадрона. Декабрист 121, 143, 147, 203, 336
- Наполеон I, Наполеон Бонапарт (1769–1821), франц. полководец, первый консул Франц. республики в 1799–1804, имп. в 1804–1814 и марте–июне 1815 35, 85, 93, 173, 177, 178, 204, 214
- Наполеон III, Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873), франц. имп. в 1850–1870 183
- Нарышкин 2-й Михаил Михайлович (1798–1863), полковник Тарутинского пех. п. Декабрист 84, 121, 140, 146, 399
- Насакин (Насекен) I-й Яков Густавович, подпоручик л.-гв. Финляндского п., отст. 1835 283, 349
- Невелев Геннадий Абрамович, историк 57, 58, 60–62, 418
- Нейдгард Александр Иванович (1784–1845), ген.-м., нач. гл. штаба Гв. корп. Впоследствии ген. от инфант. 235, 265, 266, 268, 280, 312, 326, 327, 349
- Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862), гр., член ГС, управляющий мин. ин. дел (впоследствии министр). Член Верх. уг. суда 114, 261, 335
- Нестеровский Авим Васильевич (1780–1830), полковник, командир I арт. бригады и батарейной роты № 1 Гв. арт. 285
- Нечкина Милица Васильевна (1901–1985), историк 3, 16, 58, 62, 63, 397, 400, 415–417, 429
- Никитин Павел Ефимович, кол. сов., чиновник, состоявший за обер-прокурорским столом 238, 302
- Николаев Степан Степанович (1789–1849), полковник л.-гв. Казачьего (в тексте л.-гв. Измайловского) п. Впоследствии ген.-лейт., наказной атаман кавказского линейного казачьего войска 250, 324
- Николай Николаевич (1831–1891), вел. кн., сын Николая I 20
- Николай I (Николай Павлович, Nicolas) (1796–1855), вел. кн., имп. с 14. XII. 1825 3–6, 8, 10–22, 25–33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44–48, 51, 53–56, 58–64, 69, 148, 150–152, 156, 157, 159, 160, 162–169, 171, 175, 176, 179, 181–196, 198–200, 202–205, 209–212, 216–223, 225, 226, 228–240, 242–249, 251–255, 257, 259–262, 264, 267, 268, 271, 276, 278–280, 283, 284, 288, 294, 296–305, 307–309, 311–314, 317, 321, 339, 342, 344–356, 358–360, 362–365, 370–373, 375, 376, 378, 379, 383–394, 396–408, 410, 412–417, 419, 420, 422–430
- Николай, св. угодник, чудотворец Мирликийский (царь Мирликийский) 16², 219, 342, 404
- Нимврод (миф.) 92
- Нифонтов Александр Сергеевич (1899–1987), историк 58
- Новиков Михаил Николаевич (1777–1824), надр. сов., бывший правитель канц. малороссийского ген.-губ. кн. Н.Г. Репнина. Масон, член преддекабристской тайн. организации “Орден рус. рыцарей”, член Союза спасения 74, 79, 80, 175, 412
- Новосильцов Николай Николаевич (1761–1836), гр. (с 1833), сенатор, член Гл. совета училищ и попечитель Виленского учебного округа. С 1821 состоял при вел. кн. Константине Павловиче. Впоследствии предс. ГС и КМ 228, 358, 399
- Норов Авраам Сергеевич (1795–1869), писатель, переводчик. Впоследствии министр нар. просвещения 57, 376
- Норов Василий Сергеевич (1793–1853), отст. подполковник (брат предыдущего). Декабрист 34, 89, 120, 138, 146, 204
- Оболенский I-й Евгений Петрович (1796–1865), кн., поручик л.-гв. Финляндского п., старший ад. дежурства пех. Гв. корп. Декабрист 23, 24, 42, 79, 84, 85, 90, 94, 102–104, 106–109, 114, 116, 119, 133, 145, 321, 329, 331, 336, 337, 382, 398–400, 421, 423

- Оболенский Михаил Андреевич (1805–1873), кн., историк-архивист 58
- Огарев (Р.Ч.) Николай Платонович (1813–1877) 3, 5, 13, 25, 31, 32, 46–50, 52, 53, 56, 57, 63, 64, 206, 390, 393, 397–399, 404, 405, 407–411, 414–416, 418
- Одоевский Александр Иванович (1802–1839), кн., корнет л.-гв. Конного п., поэт. Декабрист 34, 99, 106, 108, 114, 120, 140, 146, 174, 261, 272, 284, 350, 380
- Одоевский Владимир Федорович (1803–1869), кн., писатель, философ, музыкальный критик. С 1846 был помощником директора имп. Публичной библиотеки и директор Румянцевского музея 7, 9, 27, 44, 49, 421
- Оксман Юлиан Григорьевич (1895–1970), историк, литературовед 36, 62, 63
- Окулов (Акулов) Николай Павлович (р. 1797 или 1798), лейт. Гв. экипажа. Декабрист 111, 121, 145, 147
- Оленин Алексей Николаевич (1763–1843), статс-секретарь, и.д. гос. секретаря, президент АХ и директор имп. Публичной библиотеки 236, 238, 308, 345, 406
- Ольга Николаевна (1822–1892), вел. кн., дочь Николая I. В замужестве герцогиня, затем королева Виртембергская 17, 18, 212
- Опочинин Федор Петрович (1779–1852), ад. вел. кн. Константина Павловича в 1800–1808. С 1809 на гражд., а затем придворной службе. Впоследствии член ГС 239, 247, 360, 384, 385, 387, 388, 403
- Опочинина Дарья Михайловна (рожд. Голенищева-Кутузова), жена Ф.П. Опочинина 388
- Оранский Вильгельм см. Вильгельм II
- Оржикский (Оржитский) Николай Николаевич (1796–1861), отст. шт.-ротм. Ахтырского гусар. п. Декабрист 121, 144, 147
- Орлов Алексей Григорьевич (1737–1807/1808), гр. (с 1762), воен. и гос. деятель, участник дворцового переворота 1762, ген.-аншеф (с 1769), с 1770 за победы у Наварина и в Чесменском бою – Орлов-Чесменский 187, 416
- Орлов Алексей Федорович (1786–1861), гр. (с 1825), кн. (с 1856), ген.-ад., ген.-м., бригадный командир л.-гв. Конного п. и бригадный нач. в I Кирасир. див. Впоследствии ген. от кавал., шеф жандармов, предс. ГС и КМ 15, 17, 36, 58, 152, 189, 190, 192, 194, 211, 213, 264, 272, 273, 278, 279, 292, 313, 326, 329, 333, 351, 373, 394
- Орлов Михаил (Михайло) Федорович (1788–1842), ген.-м. Декабрист 34, 35, 62, 75, 80, 83, 100, 101, 109, 110, 339–341, 409
- Остен-Сакен (Сакен) Фабиан Вильгельмович фон дер (1752–1837), гр., кн. (с 1831), ген. от инфант., главноком. I арм., член ГС, ген.-фельдмаршал (с 1826) 248, 363
- Оуэн Роберт (1771–1858), англ. социалист-утопист 411
- Охотников Константин Алексеевич (ок. 1789–1824), отст. кап. 32 егер. п., бывший ад. М.Ф. Орлова. Член Союза благоденствия 83
- П... (Р...) см. Пассек П.Б.
- Павел, апостол 384
- Павел I (1754–1801), имп. с 1796 52, 153, 161, 168, 171, 181, 185, 187, 356, 395, 400, 410, 416, 419
- Пален Петр Алексеевич фон дер (1745–1826), гр., ген. от кавал. Один из гл. организаторов заговора против Павла I в марте 1801 187, 410
- Палицин Степан Михайлович (1806–1887), прапорщик Гв. ген. штаба. Декабрист 380
- Панин Никита Петрович (1770–1837), гр., вице-канцлер в 1799–1800 и 1801, участник заговора против Павла I 410
- Панин Петр Иванович (1721–1789), гр., ген.-аншеф. В июле 1774 – августе 1775 командовал войсками против отрядов Е.И. Пугачева 158, 403
- Панов 2-й Николай Алексеевич (1803–1850), поручик л.-гв. Гренадерского п. Декабрист 99, 110, 113, 119, 136, 145, 192, 193, 281–283, 330, 331, 348, 381, 424
- Парадизов Петр Павлович, историк 61, 63
- Паскевич Иван Федорович (1782–

- 1856), гр. (с 1828), кн. (с 1832), ген.-ад., ген.-лейт., командир I пех. корп. Член Верх. уг. суда 244, 359
- Пассек (П..., Р...) Петр Богданович (1736–1804), ген.-ад., ген.-аншеф, сенатор, гос. деятель. Участник дворцового переворота 1762 215, 310, 396
- Пашков Василий Александрович (1759–1834), член ГС, предс. деп. Законов 261
- Перовский Василий Алексеевич (1795–1857), гр. (с 1855), полковник л.-гв. Измайловского п., ад. вел. кн. Николая Павловича 17, 211, 256, 265, 271, 272, 328, 363, 422
- Пёстель Павел Иванович (1793–1826), полковник, командир Вятского пех. п. Декабрист 74–76, 80–82, 84–98, 103, 110, 116, 119, 131, 132, 135, 140, 143, 148, 154, 168, 174–179, 182, 204, 250, 324, 339, 370, 408, 410–414, 421
- Пестов Александр Семенович (1802–1833), подпоручик 9 арт. бригады. Декабрист 96, 97, 119, 136, 145
- Петр I (Peter I) Великий (1672–1725), царь с 1682, имп. с 1721 13, 33, 46, 48, 49, 152, 153, 168, 171, 197, 246, 270, 272, 274, 283, 291, 313, 329, 365, 410
- Петр III Федорович (Карл-Петр-Ульрих) (1728–1762), имп. в 1761–1762 157, 168, 171, 187, 195, 416
- Пивоваров, унтер-офицер 283
- Пистолькорс Василий Васильевич (1796–1839), кап. л.-гв. конной арт., командир батареи 264
- Повало-Швейковский (Швейковский) Иван Семенович (1787 или 1788–1845), полковник Саратовского пех. п. Декабрист 89, 93, 96, 97, 119, 136, 145
- Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель 49
- Поджио I-й Александр Викторович (1798–1873), отст. подполковник. Декабрист 89–93, 116, 119, 135, 145, 176, 177
- Поджио 2-й Иосиф Викторович (1792–1848), отст. шт.-кап. (брат предыдущего). Декабрист 89, 120, 139, 146
- Покровский Михаил Николаевич (1862–1932), историк 54
- Поленов Василий Алексеевич (1776–1851), историк, писатель, переводчик 418
- Поливанов Иван Юрьевич (1798 или 1799–1826), отст. полковник л.-гв. Кавалергардского п. Декабрист 121, 142, 147
- Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803–1884), библиофил и библиограф 44
- Поляков Петр Иванович, полковой священник л.-гв. Конного п. 264
- Помаранецкий Андрей Валентинович, историк 62
- Попов Гавриил Степанович (1799–1874), писатель. С 1818 занимал различные чиновничьи посты при кн. А.Н. Голицыне. Впоследствии статсекретарь ГС 257
- Порох Игорь Васильевич, историк 54, 58, 60–63
- Потапов Алексей Николаевич (1780–1846), ген.-ад., ген.-м. л.-гв. Конноегерск. п., дежурный ген. штаба е.и.в. Член Следственной комиссии 118, 233, 234, 279, 285, 344
- Пресняков Александр Евгеньевич (1870–1929), историк 402, 423
- Прибытков Николай Александрович, шт.-кап. л.-гв. Финляндского п. Отст. 1827 267, 327
- Пржецлавский Осип Антонович (1799–1879), писатель, цензор. Издатель “Петербургского Еженедельника” (“Тigodnik Petersburgski”) – официальной газеты Царства Польского, выходившей в Петербурге с 1829 по 1858 60
- Прыжов Иван Гаврилович (1827–1885), историк, публицист, этнограф. Член “Народной расправы”. По делу нечаевцев был осужден на 12 лет каторги и вечное поселение в Сибири 63
- Прянишников Федор Иванович (1793–1867), чиновник почтового ведомства 414
- Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742–1775), предв. Крестьянской войны 1773–1775 в России 41, 158, 195, 198, 200, 202
- Пузанов, полковой ад. л.-гв. Гренадерского п. 17
- Пушкарев Лев Никитович, историк 63

- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 11, 13, 28, 32–34, 41, 49, 57, 58, 61, 62, 200, 375, 394, 403, 409, 421, 422
- Пушин Андрей Павлович, шт.-кап. л.-гв. Гренадерского п. 284, 381
- Пушин Иван Иванович (1798–1859), кол. ас., судья Московского над. суда. Декабрист 23, 24, 35, 41, 42, 62, 102, 106, 109, 114, 115, 120, 136, 145, 376, 382
- Пушин Михаил Иванович (1800–1869), кап., командир л.-гв. Конно-пионерного эскадрона (брат предыдущего). Декабрист 106, 121, 144, 147
- Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), историк литературы, этнограф 31, 57, 405
- Равальяк, франц. католик-фанатик, убивший короля Генриха IV 371
- Равдин Б.Н., историк 421
- Радищев Александр Николаевич (1749–1802), писатель, революционер 4
- Раевские 110
- Раевский Владимир Федосеевич (1795–1872), майор 32 егер. п. Декабрист 393
- Раевский Николай Николаевич (1771–1829), ген. от кавал. Герой Отечественной войны 1812 г. С 1824 – в отст., с 1826 – член ГС 34, 340
- Разумовский Кирилл Григорьевич (1728–1803), гр. (с 1744), ген.-фельдмаршал (с 1764), последний гетман Украины в 1750–1764 200
- Редон Одилон (1840–1916), франц. граф-ик и живописец 45
- Ремезова Н.Г., историк 63
- Репин Николай Петрович (1796–1831), шт.-кап. л.-гв. Финляндского п. Декабрист 106, 120, 141, 146
- Репинский Косьма Григорьевич (р. 1796), секретарь и доверенное лицо М.М. Сперанского 348, 352, 423
- Рьего (Рьего)-и-Нуньес Рафаэль (1785–1823), испанский революционер 114
- Рогинский Арсений Борисович, историк 421
- Розен Андрей Евгеньевич (1799–1884), барон, поручик л.-гв. Финляндского п. Декабрист 28, 61, 108, 122, 141, 146, 366, 399, 424
- Романовы, боярский род, с 1613 – царская, а с 1721 – имп. династия в России 185, 246, 370, 405
- Ронов Александр Никитич, отст. корнет л.-гв. Уланского п. Впоследствии шт.-кап., в 1846 – заседатель в Уг. палате С.-Петербурга 415
- Ростовцев Яков (Иаков) Иванович (1803–1860), подпоручик л.-гв. Егер. п., и. д. старшего ад. штаба Гв. пех. корп. Член Северного общества 107, 156, 182–184, 211, 213, 254–256, 263, 325, 397–400, 415, 421
- Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), гр., фаворит Павла I, ген.-ад., ген. от инфант. В 1812–1814 воен. губ., главноком. в Москве, затем член ГС 416
- Рот Логин Осипович (ум. после 1840), ген.-лейт., командир 3 пех. корп. 251, 324
- Ртищев Николай Федорович (1754–1835), ген. от инфант., сенатор 241
- Р.Ч. см. Огарев Н.П.
- Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), отст. подпоручик. Правитель дел. канц. Росс.-Американской компании, поэт. Декабрист 34, 53, 85, 90, 93, 94, 98–111, 114, 119, 131, 132, 148, 174, 177–179, 181, 183, 188, 204, 206, 256, 275, 321, 335, 379, 399, 412, 414, 416, 419, 420, 424, 429
- Рылеева Наталья Михайловна (рожд. Тевяшева) (1800–1853), жена К.Ф. Рылеева 414
- Рьего см. Риего-и-Нуньес Рафаэль
- Рюль Иван Федорович (Иоганн-Георг) (1768 или 1769–1846), лейб-медик 233, 343
- С... (С...) см. Салтыковы
- Сабуров Андрей Иванович, ротм. л.-гв. Гусар. п., ад. А.И. Татищева 238, 363
- Сазонов Николай Иванович (1815–1862), публицист, с конца 1830-х годов эмигрант 59
- Сакен см. Остен-Сакен Ф.В.
- Салита Ефим Григорьевич, историк 57
- Салтыков Сергей Николаевич (1776–1826), кн., сенатор, член ГС, член Верх. уг. суда 261
- Салтыковы (С..., С...) 215, 310, 396
- Свиньин Павел Петрович (1788–1839), писатель, журналист 34

- Свистунов Петр Николаевич (1803–1889), корнет л.-гв. Кавалергардского п. Декабрист 91, 110, 121, 138, 146, 324
- Семевский Василий Иванович (1848 или 1849–1916), историк 396, 401, 412
- Семевский Михаил Иванович (1837–1892), историк 418
- Семенов Алексей Васильевич (1799–1864), над. сов., столоначальник в деп. внешней торговли мин. финансов. Член преддекабристской организации “Священная артель” и Союза благоденствия. Впоследствии гражд. губ. Кавказской области, виленский губ., сенатор 79
- Семенов Степан Михайлович (1789–1852), тит. сов., экспедитор Гражд. канц. московского воен. ген.-губ. Декабрист 79, 81, 82, 84, 109
- Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский) (1763–1843), митрополит с.-петербургский с 1821. Член Верх. уг. суда 193, 227, 238, 253, 288, 325, 331, 373
- Сербинович Константин Степанович (1797–1874), чиновник, литератор 61, 407
- Сиверс Александр Александрович (1866–1954), историк, генеалог 60
- Симанский Лука Александрович (1791–1828), полковник, командир л.-гв. Измайловского п. 278
- Слепцов, шт.-ротм. 116
- Смирдин Александр Филиппович (1795–1857), издатель и книгопродавец 35
- Смоленский-Кутузов М.И. см. Кутузов М.И.
- Сокольский Л.А., историк 60, 393
- Соловьев Вениамин Николаевич (ок 1798–1866 или 1871), барон, шт.-кап. Черниговского пех. п., командир 2 мушкетерской роты. Декабрист 116–118
- Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк 408, 418
- Соц Василий Иванович, писатель, переводчик 34
- Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), гр. (с 1839), гос. деятель, член ГС, член Верх., уг. суда. Впоследствии член ряда высших гос. комитетов 1820–1830-х годов, с 1826 – фактический глава II отделения с.е.и.в.к. 6, 9, 13, 15, 19, 28, 30, 51, 153, 155, 167, 185, 211, 222, 252, 253, 257, 261, 325, 336, 348, 370, 371, 375, 377, 395, 397, 407, 408, 418, 423
- Спиридов Михаил Матвеевич (1796–1854), майор Пензенского пех. п. Декабрист 96, 97, 119, 134, 145
- Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства, археолог 6–10, 13, 57, 58
- Стасов Дмитрий Васильевич (1828–1918), общественный деятель, адвокат. Брат предыдущего 10
- Стойкович (Живко-Миленко) Яков Михайлович, поручик л.-гв. Егер. п. Отст. 1832 337
- Стрелков Степан Степанович (1782–1856), ген.-м. л.-гв. Измайловского п. Состоял при вел. кн. Николае Павловиче 266, 269, 271, 288, 327, 328, 346
- Стюрлер Николай Карлович (ум. 1825), полковник, командир л.-гв. Гренадерского п. 55, 113, 114, 133, 280–283, 288, 331, 371, 373, 381
- Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730–1800), гр. Рымникский (с 1789), кн. Итальянский (с 1799), полководец, генералиссимус (с 1799) 356
- Суворова Елена Ивановна, историк 57
- Сукин Александр Яковлевич (1764–1837), ген.-ад., ген. от инфант., сенатор, член ГС, комендант с.-петербургской крепости. Член Верх. уг. суда 261, 338, 414
- Сумароков Павел Иванович (ум. 1846), писатель, сенатор, член Верх. уг. суда 336
- Сутгоф Александр Николаевич (1801–1872), поручик л.-гв. Гренадерского п. Декабрист 4, 41, 42, 99, 106, 108, 113, 119, 137, 145, 192, 378–382, 424, 429
- Сутгоф Николай Иванович, ген.-м., отец А.Н. Сутгофа 35
- Сухоин (Сухинин) Иван Иванович (1795, [по собственному показанию 1797]–1828), поручик Александрийского п. Декабрист 116, 118

- Сухозанет Иван Андреевич (Онуфриевич) (1785–1861), ген.-м., нач. арт. гв. корп. 18, 19, 59, 213, 264, 265, 279, 285, 290, 326, 333, 353, 364, 382, 425
- Сыроечковский Борис Евгеньевич (1881–1961), историк, архивист 55, 426–429
- Татищев Александр Иванович (1763–1833), гр. (с 1826), ген. от инфант., воен. министр, член ГС, предс. Следственной комиссии 118, 171, 238, 261
- Тизенгаузен Василий (Вильгельм-Сигизмунд) Карлович (1779 или 1780–1857), полковник, командир Полтавского пех. п. Декабрист 89, 96, 97, 101, 119, 142, 147
- Титов Николай Александрович, полковник л.-гв. Преображенского п. 329
- Токарев Александр Андреевич (ум. 1821), орловский губ. прокурор. Член Союза благоденствия и общества “Зеленая лампа” 79
- Толстой Владимир Сергеевич (1806–1888), прапорщик Московского пех. п. Декабрист 122, 142, 147
- Толстой Лев Николаевич (1828–1910) 10, 11
- Толстой Федор Петрович (1783–1873), гр., медальер, скульптор, живописец, гравер. Член Союза спасения и Союза благоденствия. С 1828 – вице-президент, а затем (1859–1868) товарищ президента петербургской АХ 60
- Толстой Яков Николаевич (1791–1867), шт.-кап. л.-гв. Павловского п., старший ад. Гл. штаба. Член Союза благоденствия 84
- Толь Карл Федорович (1777–1842), барон, гр. (с 1829), ген.-ад., ген.-лейт., нач. Гл. штаба I арм. 19, 59, 193, 213, 248, 249, 253, 289, 291, 292, 294, 313, 334–336, 338, 352, 353, 363, 417
- Торсон Константин Петрович (1793–1851), кап.-лейт., ад. нач. Морского штаба. Декабрист 99, 103, 120, 138, 146
- Трубецкая Екатерина Ивановна (рожд. гр. Лаваль) (1800–1854), кн., жена С.П. Трубецкого. Первая из жен декабристов последовала за мужем в Сибирь (июль 1826) 334, 335
- Трубецкой Василий Сергеевич (1776–1841), кн., ген.-ад., ген.-лейт. 234, 271, 292, 294, 344
- Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860), кн., полковник л.-гв. Преображенского п., дежурный штаб-офицер 4 пех. корп. Декабрист 4, 23, 24, 32, 42, 61, 62, 74–76, 78, 79, 85, 91, 94, 96, 98, 101–111, 114, 119, 133, 145, 174–176, 195, 328, 334, 335, 351, 369, 383, 388, 402, 403, 405, 406, 410, 412, 413, 416, 420, 421, 423, 425, 430
- Трухин Сергей Степанович, майор, командир I батальона Черниговского пех. п., 9. I. 1826 – подполковник 117
- Трюбнер Николай (1817–1884), англ. издатель и библиограф 45, 54
- Тулубьев Александр Никитич, полковник л.-гв. Финляндского п. 349
- Тургенев (Tourguéneff N.) Николай Иванович (1789–1871), действ. стат. сов. Декабрист 29, 32, 34, 37, 61, 73, 75, 80, 81, 83–85, 94, 103, 122, 130, 137, 145, 155, 169, 170, 174, 179, 200, 397, 409, 411
- Тутолмин Иван Васильевич (ум. 1838), сенатор, член ГС 261
- Тутолмин Федор Дмитриевич (1803–1870), подпоручик л.-гв. Гренадерского п. 282, 381
- Тюриков Иван, унтер-офицер л.-гв. Павловского п. 284
- Тютчев Алексей Иванович (1801 или 1802–1856), кап. Пензенского пех. п. Декабрист 96, 119, 137, 146, 203
- Уваров Сергей Семенович (1786–1855), гр. (с 1846), гос. деятель, в 1833–1849 – министр нар. просвещения 35
- Устрялов Николай Герасимович (1805–1870), историк 17, 18, 32, 39, 69, 210, 390, 410
- Фаленберг (Фалленберг) Петр Иванович (1791–1873), подполковник квартирм. части. Декабрист 90, 120, 139, 146
- Федоров Владимир Александрович, историк 408, 415
- Федоров Матвей, матрос Гв. экипажа 114, 287, 367
- Фейнберг Илья Львович (1905–1979), литературовед 62
- Филарет (в миру Дроздов Василий Ми-

- хайлович) (1782/1783–1867), митрополит московский в 1825–1867 19, 59, 164, 167, 213, 221, 222, 224, 239–242, 400, 402, 403
- Философов Алексей Ларионович (Илларионович) (1799–1874), поручик, бригадный ад. I арт. бригады Гв. арт. 59, 211, 213, 285, 424, 425
- Фок Александр Александрович (1803 или 1804–1854), подпоручик л.-гв. Измайловского п. Декабрист 121, 145, 147
- Фонвизи (Фон-Визин) Иван Александрович (1789–1853), отст. полковник квартирм. части. Декабрист 83, 89, 101
- Фонвизин (Фон-Визин) Михаил (Михайло) Александрович (1787–1854), отст. ген.-м. (брат предыдущего). Декабрист 32, 37, 49, 62, 75, 76, 83, 89, 100, 109, 120, 139, 146, 399
- Фонвизины, братья см. Фонвизин И.А. и Фонвизин М.А.
- Фохт Иван Федорович (1794–1842), шт.-кап. Азовского пех. п. Декабрист 121, 143, 147
- Фредерикс 4-й Александр Андреевич (1788–1849), барон, полковник л.-гв. Измайловского п. 249, 250, 323, 346
- Фредерикс 1-й (Фридрикс, Frédéricks) Петр Андреевич (1786–1855), барон, ген.-м., командир л.-гв. Московского п. 55, 112, 137, 265, 312, 326, 327, 337, 364, 371
- Фридрих Вильгельм III (1770–1840), король Пруссии с 1797 404
- Фридрих (Фриц) Вильгельм IV (1795–1861), король Пруссии с 1840 404, 405, 420
- Фриц см. Фридрих Вильгельм IV
- Фролов 2-й Александр Филиппович (1804–1885), подпоручик Пензенского пех. п. Декабрист 120, 138, 146
- Фурман Андрей Федорович (1795–1835), кап. Черниговского пех. п. Декабрист 119, 143, 147
- Фурие Франсуа Мари Шарль (1772–1832), франц. социалист-утопист 411
- Хвоцинский Павел Кесаревич (1790–1852), полковник л.-гв. Московского п. Член Союза благоденствия 55, 112, 137, 266, 267, 328, 371, 423
- Христос (Иисус Христос) (библ.) 154, 183, 223
- Щебриков Александр Романович (ок. 1802–1876), лейт. Гв. экипажа. Привлекался к следствию по делу декабристов 112
- Щебриков Николай Романович (1800–1862), поручик л.-гв. Финляндского п. (брат предыдущего). Декабрист 112, 114, 120, 130, 145, 147, 204
- Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856), философ 49
- Чевкин Александр Владимирович (1803–1887), поручик л.-гв. Конного п. 423
- Чекин Лука Федорович, поручик. С 1756 состоял при охране Ивана VI Антоновича 198
- Челяев, полковник гв. арт. 285
- Черкасов Александр Иванович (1728–1788), барон, президент Медицинской коллегии, член суда над Мировичем 200
- Черкасов Алексей Иванович (1799–1855), барон, поручик квартирм. части. Декабрист 121, 142, 147
- Черкасский см. Черковский А.
- Черковский (Черкасский) Антоний, киевский помещик, член польского тайн. общества 88
- Чернышев Александр Иванович (1786–1857), гр. (с 1826), кн. (с 1841), светл. кн. (с 1849), ген.-ад., ген.-лейт., нач. легкой гв. кавал. див., член Следственной комиссии 19, 28, 29, 69, 116, 118, 213, 227, 250, 324, 402, 408, 421
- Чернышев Захар Григорьевич (1797–1862), гр., ротм. Кавалергардского п. Декабрист 122, 142, 147, 324
- Чеснаков Лука, мещанин 186, 268
- Чижов Николай Алексеевич (1803–1848), лейт. 2 фл. экипажа. Декабрист 122, 143, 147
- Чингисхан (Чингис-Хан) (собст. имя Тэмуджин, Темучин), ок (1155–1227), полководец, основатель единого Монгольского гос. 153

- Шахирев Андрей Иванович** (1799–1828), поручик Черниговского пех. п. Декабрист 120, 143, 147
- Шаховской Александр Александрович** (1777–1846), кн., драматург театральный деятель 406
- Шаховской (Шаховский) Федор Петрович** (1796–1829), кн., отст. майор. Декабрист 74–76, 79, 120, 130, 143, 147
- Шау, переводчик, преподаватель англ. языка вел. кн. Александра Николаевича** 45, 60
- Шварц Федор Ефимович** (1780-е – 1867), в 1820 – полковник, командир л.-гв. Семеновского п. Впоследствии ген.-лейт. 177, 196
- Швейковский см. Повало-Швейковский И.С.**
- Шебунин Андрей Николаевич** (1887 – после 1938), историк 61
- Шекспир, Уильям** (1564–1616), англ. драматург и поэт 46
- Шеншин (Chenchine) Василий Никанорович** (1784–1831), ген.-м. л.-гв. Финляндского п., командир I бригады I гв. пех. див., 15. XII. 1825 – ген.-ад., 1826 – ген.-лейт. 55, 112, 137, 265, 266, 269, 312, 326, 327, 337, 364, 371
- Шервуд Иван Васильевич** (1798–1867), унтер-офицер 3 Украинского улан. п., доносчик на декабристов, с 1826 – “Шервуд-Верный” 72, 182, 250, 324, 397, 398, 408, 415, 416
- Шильдер Николай Карлович** (1842–1902), историк 396, 399, 401, 404–406, 408, 421, 423, 427, 428
- Шимков Иван Федорович** (1803 или 1804–1836), прапорщик Саратовского пех. п. Декабрист 96, 120, 140, 146
- Шипов Сергей Павлович** (1789 или 1790–1876), ген.-м., командир л.-гв. Семеновского п. Член Союза спасения и Союза благоденствия, 15. XII. 1825 – ген.-ад., и.д. нач. штаба Гв. корп. 112, 275, 331, 382
- Шишков Александр Семенович** (1754–1841), адмирал, сенатор, член ГС, министр нар. просвещения, президент Росс. академии. Член Верх. уг. суда 33, 166, 236, 261, 344, 406
- Шмидт, книготорговец** 44
- Шницлер Иоганн-Генрих** (1802–1871), историк и статистик 17, 18, 29, 32, 191, 210
- Шпейер Василий Абрамович** (1802–1869), лейт. Гв. экипажа. Привлекался к следствию по делу декабристов 111, 112
- Штакельберг Петр Егорович (Рейнгольдович)** (1794–1848), барон, поручик л.-гв. Гренадерского п. 284, 381
- Штейнгейль Владимир Иванович** (1783–1862), барон, отст. подполковник. Декабрист 23, 42, 99, 100, 102, 103, 105–109, 115, 120, 139, 146, 399, 420, 429
- Шульгин Александр Сергеевич** (ум. 1841), ген.-майор, обер-полицмейстер С.-Петербурга 272
- Шеголев Павел Елисеевич** (1877–1931), литературовед, историк 413, 414, 427
- Щепило (Щипилла) Михаил Алексеевич** (ум. 1826), поручик Черниговского пех. п. Декабрист 96, 116–118
- Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович** (1798–1858), кн., шт.-кап. л.-гв. Московского п. Декабрист 99, 106, 112–114, 119, 137, 145, 189, 334, 364, 379, 382, 422, 423, 425, 429
- Щербатов Михаил Михайлович** (1733–1790), кн., историк 4
- Щипилла см. Щепило М.А.**
- Эйдельман Натан Яковлевич** (1930–1989), историк, писатель 3, 57, 58, 60–62, 392, 410, 412, 419
- Эйлерт, прус. епископ** 214
- Юшневский Алексей Петрович** (1786–1844), ген.-интендант 2 арм. Декабрист 82, 84, 86, 87, 90, 119, 135, 145, 179, 414, 415,
- Яблоновский Антон Станиславович** (1793–1855), кн., камергер и вице-референдарий Царства Польского. Участник польских тайн. организаций 88
- Яковлев Иван Алексеевич** (1767–1846), отец А.И.Герцена 60
- Якубович (Якубовский) Александр Иванович** (1796 или 1797–1845), кап. Нижегородского драг. п. Декабрист 99–102, 106–108, 110, 111, 114, 120,

- 134, 145, 151, 187, 189, 190, 195, 243, 271, 272, 321, 329, 336, 379, 415–417, 429
- Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856–1912), внук И.Д. Якушкина 378, 382, 413, 429
- Якушкин Евгений Иванович (1826–1905), юрист, общественный деятель, сын И.Д. Якушкина, отец предыдущего 24, 378, 413, 429
- Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857), отст. кап. Декабрист 23, 24, 60, 74–76, 83, 89, 116, 120, 136, 146, 182, 203, 346, 398–400, 413, 415
- Якушкины см. Якушкин В.Е., Якушкин Е.И. и Якушкин И.Д.
- Янтальцев см. Ентальцев А.В.
- Alexandre empereur см. Александр I
- В... см. Барятинский Ф.С.
- С... см.Салтыковы
- Chenchine см. Шеншин В.Н.
- Constantin см. Константин Павлович
- Stusenstolpe см. Крузенштольде М.-Я.
- Frédéricks см. Фредерикс П.А.
- Garrick см. Гаррик
- М... см. Мятлев
- Marie см. Мария Павловна
- Michel см. Михаил Павлович
- Korf Modeste см. Корф М.А.
- Nicolas см. Николай I
- Р... см. Пассек П.Б.
- С... см. Зубов П.А.
- Sacha см. Александр Николаевич
- Tourgénéff N. см. Тургенев Н.И

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора.....	3
Вольная русская печать и книга барона Корфа (Статья)	5
14 декабря 1825 и император Николай. Издано редакцией “Полярной звезды”. По поводу книги барона Корфа. Лондон, 1858.....	65
Восшествие на престол императора Николая I-го. Составлено по высочайшему повелению статс-секретарем бароном Корфом. Третье издание (первое для публики). Санкт-Петербург, 1857.....	207
Дополнения:	
Записки Николая I (Тетради 2-я, 3-я, 4-я)	317
Замечания Николая I на книгу М.А. Корфа	342
1.Замечания на рукописном экземпляре первоначального текста книги М.А. Корфа (1848 года).....	342
2. Замечания на рукописи дополнений к книге М.А. Корфа (Февраль 1849 года)	348
3. Замечания на рукописи второго издания книги М.А. Корфа (Март 1853 года).....	351
Воспоминания великого князя Михаила Павловича о событиях 14 декабря 1825 г. (Записанные бароном М.А. Корфом)	355
Возражения М.А. Корфа на “Письмо к Александру II (по поводу книги барона Корфа)” А.И. Герцена	370
М.А. Корф. Самовосхваление против Герцена.....	375
В.Е. Якушкин. Заметки А.Н. Сутгофа о 14 декабря 1825 г.	378
С.П. Трубецкой. Замечания на книгу М.А. Корфа “Восшествие на престол императора Николая I-го”	383
Комментарии	390
Указатель имен	431

Научное издание

**14 декабря 1825 года
и его истолкователи**
(Герцен и Огарев против барона Корфа)

*Утверждено к печати
Институтом российской истории РАН*

Редактор издательства *Л.М. Кузнецова*
Художник *Б.М. Рябышев*
Художественный редактор *В.Ю. Яковлев*
Корректор *А.В. Морозова*

Набор выполнен в издательстве
на компьютерной технике

ИБ № 1026

Л.Р. № 020297 от 27.11.91 г.

Подписано к печати 13.10.94
Формат 60×90 ¹/₁₆, Гарнитура Таймс
Печать офсетная. Усл.печ.л. 29,0
Усл.кр.-отгт. 29,0. Уч.-изд.л. 34,2
Тираж 3570 экз. Тип. зак. 3208

Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90
Санкт-Петербургская типография № 1 РАН
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ “НАУКА”

вышли в свет книги:

Документы Печатного приказа (1613–1615 гг.). 30 л.

В сборник включены тексты двух делопроизводственных книг из фонда государственного нотариального учреждения России XVII в. – Печатного приказа. Книги печатных пошлин – это уникальные источники, которые содержат записи явленных в Приказ грамот, имеющие всестороннюю информационную ценность по социально-экономической истории периода “Смуты”.

Для историков, археографов.

Одиссей. Человек в истории. 1994: Картина мира в ученом и народном сознании. 25 л.

“Одиссей. 1994” продолжает традицию предыдущих пяти выпусков и в то же время, несомненно, имеет свое лицо. Он открывается яркой и темпераментной статьей Л.М. Баткина, посвященной трудному и плодотворному творческому пути замечательного историка-медиевиста А.Я. Рувича. Среди авторов основного раздела – как талантливые молодые исследователи, так и крупнейшие отечественные и зарубежные ученые – В.Н. Топоров, А.П. Каждан, Дж. Констебл. Раздел, посвященный актуальным проблемам современного гуманитарного знания, представлен статьями Ю.Л. Бессмертного и двух известных польских ученых – Е. Топольского и В. Вжозека. Завершает сборник блестящая по форме и новаторская по содержанию работа Н.В. Брагинской о “Картинах” Филострата Старшего как неизвестном доселе жанре античной литературы.

Для историков, преподавателей, студентов.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ “НАУКА”

готовятся к печати:

Горская Н.А. **Историческая демография России эпохи феодализма: (Итоги и проблемы изучения).** 20 л.

В книге прослеживается путь, пройденный отечественными историками в изучении историко-демографических процессов феодальной эпохи России со времени зарождения исторической демографии в недрах изучения истории народонаселения (XVI – середина XIX в.) до 90-х годов XX в.

Для историков.

Заборовский Л.В. **Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1955–1956 гг.): Документы, исследования.** 16 л.

Книга состоит из двух частей. В первой – представлены архивные документы, касающиеся переговоров о переходе литовской шляхты в русское подданство. Во второй части работы автор анализирует драматическую ситуацию накануне шведского вторжения в Польшу (так называемого Потопа).

Для историков, преподавателей.

Страна Синей птицы: Русские в Бельгии. 14 л.

“Русские в Бельгии”, “бельгийцы глазами русских”, “русские, как их представляют себе жители Бельгии” – этим темам посвящен сборник статей и эссе, авторами которого являются как зарубежные ученые, так и наши соотечественники, живущие и работающие в Бельгии.

Для историков и широкого круга читателей.

Шетинина Г.И. Накануне. Идеи́ная жизнь русской интеллигенции в конце XIX – начале XX века. 18 л.

Анализируются взгляды идеологов либерализма и представителей радикальной демократической мысли конца XIX – начала XX в. Восполняются также множественные проблемы в историческом исследовании. Позиции Владимира Соловьева, Льва Толстого (последние годы жизни), Б.Н. Чичерина и С.Н. Трубецкого изучены с точки зрения их отношения к цивилизации, к созданию буржуазного правопорядка в России.

Для историков, широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей.

Гражданская война в России: Перекресток мнений. 25 л.

Авторы книги, главным образом зарубежные историки, на основе большого круга источников и материалов исследуют предпосылки, начало, ход и последствия гражданской войны.

Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся историей гражданской войны в России.

Археографический ежегодник за 1992 год. 33 л.

Ежегодник включает статьи и материалы по проблемам археографии, источниковедения, архивоведения и специальных исторических дисциплин. В частности об опыте факсимильных изданий источников в России и за рубежом, о документальных публикациях по истории трех революций в России, об истории официального летописания в XVII в., основании монастырей. Новые материалы освещают деятельность отечественных историков – Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, М.В. Довнар-Запольского, Е.Ф. Шмурле, первого русского филиграноведа И.В. Лаптева.

Для историков, архивистов, филологов.

**АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ "АКАДЕМКНИГА"**

Магазины "Книга-почтой"

117393 *Москва*, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2; 197345 *Санкт-Петербург*, ул. Петрозаводская, 7

Магазины "Академкнига" с указанием отделов "Книга-почтой":

690088 *Владивосток*, Океанский пр-т, 140 ("Книга-почтой"); 620151 *Екатеринбург*, ул. Мамина-Сибиряка, 137 ("Книга-почтой"); 664003 *Иркутск*, ул. Лермонтова, 289 ("Книга-почтой"); 660049 *Красноярск*, пр-т Мира, 84; 103009 *Москва*, ул. Тверская, 19-а; 117312 *Москва*, ул. Вавилова, 55/7; 117383 *Москва*, Мичуринский проспект, 12; 630076 *Новосибирск*, Красный пр-т, 51; 630090 *Новосибирск*, Морской пр-т, 22 ("Книга-почтой"); 142284 *Протвино* Московской обл., ул. Победы, 8; 142292 *Пушино* Московской обл., МР "В", 1 ("Книга-почтой"); 443002 *Самара*, пр-т Ленина, 2 ("Книга-почтой"); 191104 *Санкт-Петербург*, Литейный пр-т, 57; 199164 *Санкт-Петербург*, Таможенный пер., 2; 194064 *Санкт-Петербург*, Тихорецкий пр-т, 4; 634050 *Томск*, наб. реки Ушайки, 18; 450059 *Уфа*, ул. Р. Зорге, 10 ("Книга-почтой"); 450025 *Уфа*, ул. Коммунистическая, 49

Магазин "Академкнига" в Татарстане:

420043 *Казань*, ул. Достоевского, 53

